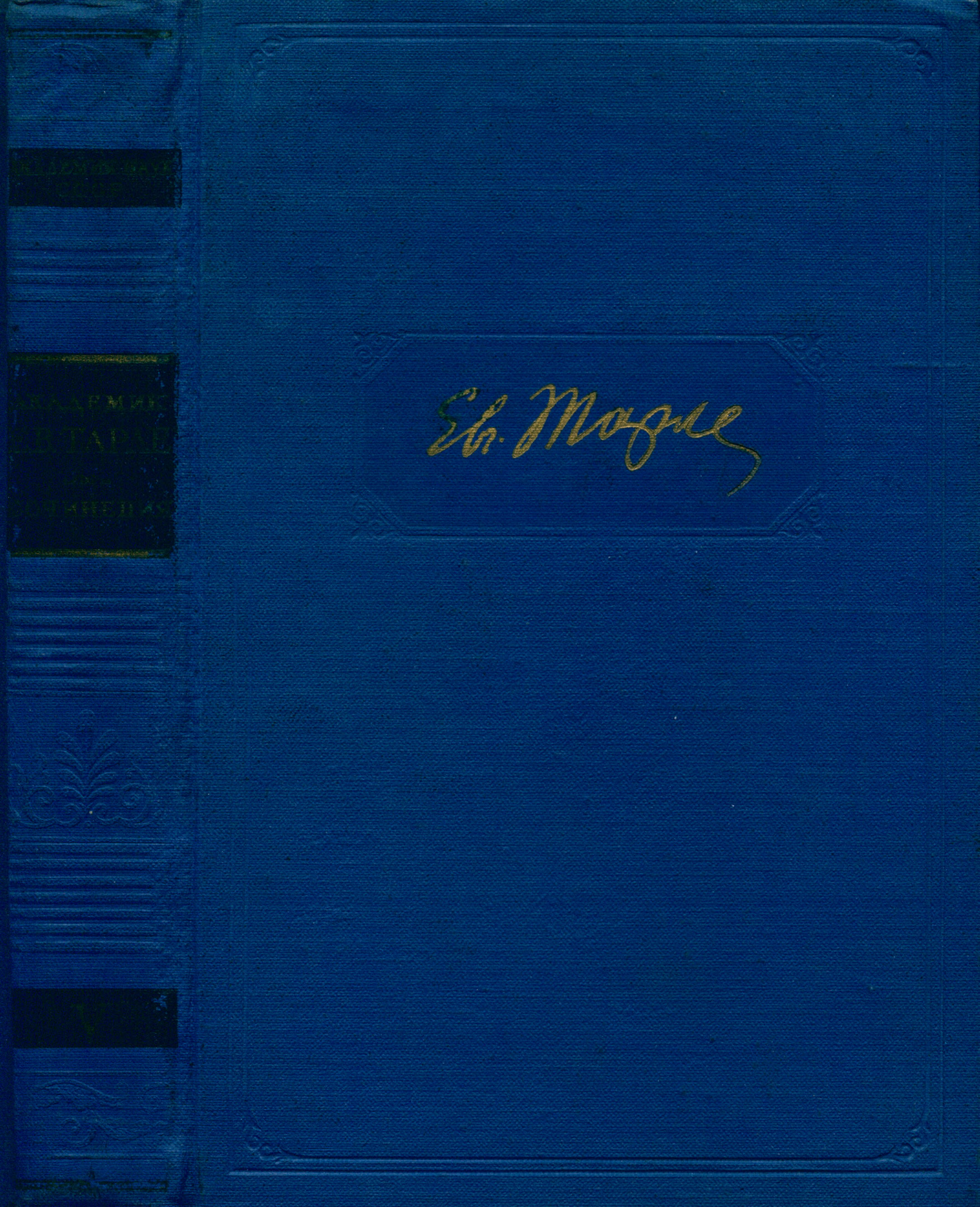

АКАДЕМИК
Е.В. ТАРЛЕ
СОЧИНЕНИЯ
V
Евг. Тарле

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

АКАДЕМИК
Евгений Викторович
Тарле

СОЧИНЕНИЯ
В
ДВЕНАДЦАТИ
ТОМАХ

1958

ИЗДАТЕЛЬСТВО
АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА

АКАДЕМИК
Евгений Викторович
Тарле

СОЧИНЕНИЯ

ТОМ
V

1958

ИЗДАТЕЛЬСТВО
АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА

Е. В. ТАРЛЕ

ОТ РЕДАКТОРА

Большую часть настоящего тома Сочинений Е. В. Тарле занимает широко известный его труд «Европа в эпоху империализма» [1]. Этот труд воспроизводится ниже по второму изданию, вышедшему в свет в 1928 г., с учетом поправок, сделанных самим автором, подготовлявшим третье издание этой работы.

Заглавие книги Е. В. Тарле шире ее содержания. Это не изложение общей истории Европы в эпоху империализма, а преимущественно история внешней политики этого времени, написанная на широком историческом фоне.

В годы, непосредственно следовавшие за первой мировой войной, причины войны, ее течение и характер волновали общественность всех стран, потрясенную чудовищной бойней, для тех времен совершенно беспрецедентной по своим масштабам и по опустошительности. Огромный поток мемуаров и документальных публикаций по животрепещущему для той поры вопросу о происхождении мировой войны, горячие политические споры в разных странах по вопросу о ее виновниках привлекли внимание Е. В. Тарле, всегда живо откликавшегося на злобу дня. Его книга представляет попытку историка обобщить колоссальный материал источников по предыстории и истории войны, появившийся в течение первого десятилетия после ее окончания.

Читатель без труда увидит, что автор не стоял на позициях ленинской теории империализма, хотя определенное влияние, и притом немалое, эта теория на него оказала. Само собой разумеется также, что в наше время, через тридцать лет после ее выхода в свет, книга Е. В. Тарле не могла не устареть. Но в момент своего появления она вызвала большой интерес и приковала к себе внимание.

---

[1] Впервые опубликован в 1927 г.

Книга тотчас же после своего выхода в свет вызвала острую полемику в советской исторической науке. Главным оппонентом Е. В. Тарле выступил М. Н. Покровский, упрекавший автора в оправдании политики Антанты. Е. В. Тарле возражал против этого обвинения. Возражать было тем легче, что его противник со своей стороны стоял на ошибочных методологических позициях.

Справедливость требует признания того факта, что при обличении политики правительства империалистических держав и их дипломатии в предвоенное десятилетие острое перо Е. В. Тарле с особой страстностью разило именно германских империалистов. Е. В. Тарле подчеркивал в своей книге, что он причисляет правительства Антанты к виновникам войны. Но пристрастие к разоблачению вины именно немецкой стороны в книге безусловно имеется. В этом известная ее слабость и односторонность как исторического труда.

Но как раз в этом же и ее сила. Книга и сейчас сохраняет ценность именно как страстный, полный искренней ненависти, художественно выполненный памфлет против германского империализма, справедливо бичующий преступления кайзеровской Германии. Более того: книга сохраняет политическую актуальность, которую давно потеряли выступления многих оппонентов Е. В. Тарле. И она будет эту актуальность сохранять и в будущем — по крайней мере до тех пор, пока человечество не избавится от угрозы германского империализма и милитаризма, от опасности возобновления германской агрессии.

Кроме труда «Европа в эпоху империализма», в IV том Сочинений вошли две небольшие работы: «Военная революция на западе Европы и декабристы», написанная к столетнему юбилею восстания декабристов и первоначально опубликованная в журнале «Каторга и ссылка» [2]. Она представляет опыт исторической параллели между движением декабристов в России и революцией 1820 г. в Испании.

Наконец, в четвертый том вошел еще очерк «Граф С. Ю. Витте» [3], в котором дается характеристика внешней политики Витте и вместе с тем увлекательно написанный портрет этого последнего крупного деятеля царской России.

В. М. Хвостов

---

[2] Военная революция на западе Европы и декабристы. «Каторга и ссылка». М., 1925, № 8 (21), стр. 113—124.

[3] Граф С. Ю. Витте. Опыт характеристики внешней политики. Л., 1927, 96 стр.

Военная революция на Западе Европы и декабристы

Декабрьское восстание по своему формальному, внешнему типу гораздо более похоже на испанское пронунсиаменто, как заметил первый покойный Д. К. Петров, чем на любой из русских государственных переворотов XVIII в., и поведение части петербургской гвардии в декабре 1825 г. нисколько не объясняется (даже и в самой малой доле) воспоминаниями о роли, которую гвардия играла в XVIII столетии. Это явление психологически и политически иного порядка, и все попытки связать его как-нибудь с традициями XVIII в. всегда будут искусственны и голословны. Именно декабрьские события и показали, как далеко зашла европеизация России и насколько аналогичные условия порождают всюду, от Гвадалквивира до Невы, аналогичные явления. Герцен, очевидно, имел в виду именно подчеркнуть *европейский* характер и смысл движения, когда усматривал символическое значение в пулях, попавших 14 декабря в памятник Петра Великого. Рассматриваемое в рамках общеевропейской истории, восстание декабристов продолжило собой (и заключило) серию военных переворотов и попыток переворотов, которая началась в 1820 г. в Испании, продолжалась мимолетными вспышками в Пьемонте и в Неаполе и произвела необычайно сильное впечатление на русское передовое офицерство и вообще на русские передовые круги в последние пять лет царствования Александра I. Нужно заметить, что не только в России революционное движение на Пиренейском и Апеннинском полуостровах в 1820 г. произвело такой могучий эффект. И во Франции, и в Германии, и даже в Англии и далекой Ирландии действие, произведенное испанскими и (в несравненно меньшей степени, впрочем) итальянскими событиями,

было потрясающим. Это объясняется тем, что впервые тут после долгих десятилетий с начала торжества железной деспотии наполеоновской империи, а потом ограниченной в своем кругозоре и, казалось, всесильной реакции Священного союза, разразилась революционная гроза самым неожиданным образом, без всякой, казалось, подготовки. Впервые после давно отошедшей в историю Великой французской революции послышались забытые речи о естественном праве, правах гражданина и человека, праве на восстание, низвержение деспотизма и т. д. Еще с итальянскими волнениями Священный союз сравнительно быстро справился; но испанская революция длилась с января 1820 г. до средины 1823 г., и притом революционерам удалось почти все это время так или иначе владеть правительственной властью и всем государственным механизмом. «За Пиренеями уж правила свобода»,— писал об этих годах молодой Пушкин.

Успех испанской революции, ее относительная длительность, наконец, тот факт, что сломлена была власть революционеров *исключительно* иностранным (французским) военным вмешательством,— все это нанесло страшный удар всей идеологии Священного союза и теоретиков церковно-политической реакции. *Впервые* обнаруживалось с непререкаемой ясностью, что идеи Великой французской революции нисколько не убиты и не похоронены, а, напротив, обнаруживают удивительную живучесть; впервые с самого конца французской революции демонстрировалось, как, в сущности, шатки троны и алтари, как мало уверены в себе их защитники, как неустойчив созданный Священным союзом порядок вещей.

Испания могла привлечь особенное внимание революционно или даже только оппозиционно настроенных элементов и именно тех европейских стран, которые были (или считались) отсталыми в экономическом, культурном, политическом отношениях.

В самом деле. Казалось бы, испанская революция решительно противоречит тому канону, который в те годы считался неоспоримым и который может быть формулирован так: революция имеет шансы на успех лишь там, где есть крепкая и многочисленная буржуазия (тогда говорили: «среднее сословие»). Конечно, это было выведено из изучения французской революции 1789 г. Но в Испании крепкой буржуазии не было и в помине: разорение и запустение, продолжавшиеся больше двухсот лет, свели промышленность и торговлю в Испании к весьма незначительной величине.

«Средний класс», правда, существовал в Испании, но политической роли не играл. Существовала уже в последние годы XVIII и начале XIX в. и *интеллигенция;* интересно отметить,

что для обозначения этого понятия в Испании уже тогда существовало особое слово: intelectualidad *. Эта интеллигенция вербовалась несравненно меньше из купечества и мануфактуристов, чем из дворянства как провинциального, так и высшего. И именно молодое офицерство больше всего пополняло собой этот немногочисленный слой общества, очень чуждый как невежественной, фанатической крестьянской массе, так и правящим кругам, окружавшим престол испанской линии Бурбонов.

Далее. Разобщенность высшего и низшего сословий в Испании была огромна; может быть, из всех стран Европы только Россия превосходила ее в этом отношении. Высший класс отчасти являлся владельцем земельных богатств, отчасти же кормился придворной, гражданской, военной службой, и очень значительные его слои были прямо заинтересованы в существовании безответственного режима, фактически сводившегося к кормлению на государственный счет всей почти знати и немалой части среднего и мелкого дворянства. Что касается крестьянства и низшего городского населения (рабочий класс, как таковой, был ничтожен количественно), то эти круги народа несли на себе почти целиком всю тяготу обложения, все беды и злоключения от полного бесправия, совершенного отсутствия чувства законности и даже отсутствия сколько-нибудь обеспеченного порядка и спокойствия в стране; но эти слои были почти сплошь безграмотны и находились под сильнейшим воздействием очень активного, очень организованного, очень могущественного духовенства. Духовенство же поддерживало абсолютизм не за страх, а за совесть.

Кучка передовой военной молодежи составляла в Испании в первые годы после освобождения ее от Наполеона ничтожную количественно величину сравнительно со всей массой кадрового офицерства, либо вполне преданного абсолютизму, либо (в большинстве случаев) совершенно безразличного в политическом отношении. Характерно, между прочим, что эта кучка передовой военной молодежи в Испании (так же, как декабристы в России) была настроена в общем весьма патриотически и очень гордилась тем, что Испания была одной из двух континентальных стран, не подчинившихся Наполеону; второй страной была Россия, и мне приходилось неоднократно встречать в тогдашней испанской литературе восторженные упоминания о «пожаре Москвы, спасшем Европу».

Чем меньше ждали революции именно в Испании, тем большее впечатление она произвела. Движение в Неаполе, тоже военное и тоже увенчавшееся сначала некоторым успехом, не

* Ср. M e n d e z B e j a r a n o M. Historia política de los afrancesados con alcunas cartas y documentos inéditos. Madrid, 1912, p. 69.

могло даже отдаленно идти в сравнение с испанской революцией. Во-первых, оно разразилось позже, чем в Испании, во-вторых, оно с самых первых дней отличалось гораздо меньшей решимостью, в-третьих, оно было быстро задавлено, в-четвертых, о нем вообще Европа очень мало знала, так как даже в короткие месяцы конституционного правления неаполитанская пресса ничего почти не сделала для освещения событий в глазах европейского общественного мнения, тогда как испанская революция получила сразу же могущественную союзницу в лице французской либеральной печати. Не только географическая близость Испании к Франции, но и идейное содержание испанского движения роднило новых мадридских правителей с французскими последователями конституционалиста Бенжамена Констана, с почитателями памфлетиста Поля Луи Курье и народного поэта Беранже и др. А когда Священный союз на Веронском конгрессе 1822 г. выдвинул окончательно мысль об усмирении испанской революции французскими вооруженными силами, когда Шатобриан стал решительно агитировать в пользу интервенции, когда все реакционные силы при французском дворе сделали интервенцию своим очередным и самым важным делом, тогда французская оппозиционная пресса еще усилила свой и до того живой интерес к Испании,— и в Европе в 1823—1825 гг., со слов французских газет, не переставали узнавать и повторять об ужасах наступившей (после французской интервенции) испанской реакции.

Таким образом, смело можно утверждать, что в то пятилетие, 1820—1825 гг., когда созревало революционное движение в России, разразившееся 14 декабря, именно Испания стояла в центре внимания будущих декабристов, поскольку они вообще интересовались Западной Европой.

Напомним в нескольких словах, что именно произошло в Испании.

Вернувшийся в Испанию в 1814 г. после прекращения наполеоновского владычества король Фердинанд VII оказался жестоким и тупым деспотом, при котором все давнишние пороки давно уже гнившего абсолютизма с особой силой, в особенно нетерпимом виде выступили наружу. Дикий произвол власти, фанатизм инквизиции, общая продажность, нищета народа — все это казалось особенно вопиющим после только что геройски перенесенной борьбы против Наполеона. Несколько раз пробовали революционно настроенные офицеры поднять армию против Фердинанда VII, но это не удавалось. То в собственной среде находились предатели, то выдавали унтер-офицеры, которым за предательство обещано было иначе для них недоступное производство в офицерский чин, то солдаты, покорно слу-

шая все, что им говорил офицер, чуть дело доходило до особы короля, оказывались решительно несогласными ни в чем, что могло бы хоть отчасти показаться восстанием против самого Фердинанда. И все-таки мысль о военном перевороте не покидала офицеров.

Нужно было ждать счастливого случая,— как ждали этого случая и будущие декабристы, которые подумали, будто дождались его в декабре 1825 г. Но испанские революционно настроенные офицеры дождались такого случая, который в самом деле способен был привести в их ряды серую солдатскую массу: они воспользовались естественным нежеланием солдат отправляться в далекую, опасную, непонятную им войну против южноамериканских колонистов. Следует заметить, что восстание в южноамериканских колониях Испании, начавшееся еще в годы Наполеона, оказывалось явственно сильнее испанского правительства. Малочисленные усмирительные испанские отряды, разбросанные по необъятным пространствам, погибали под пулями и кинжалами инсургентов и вымирали от тропического, непривычного климата; прятаться приходилось в лесах, чащах, пустынях, очень мало известных самим инсургентам и уж вовсе не известных приезжим испанским войскам. Борьба была вполне безнадежна. А тут еще само испанское правительство с отличавшим его легкомыслием и непониманием истинного значения своих поступков принялось распространять в армии известия о неслыханных мучениях, которым будто бы восставшие колонисты подвергают попадающих в их руки испанских солдат. Эта пропаганда имела целью возбудить воинственный пыл усмирительных отрядов, а на самом деле солдаты, предназначаемые для экспедиции, совсем пали духом: отныне они знали, что им грозит не простая смерть, а квалифицированная, с неслыханными предварительными мучениями. Новая большая отправка подкреплений в Южную Америку предвиделась в начале 1820 г. Среди солдат уже в 1819 г. замечалось брожение. Пропаганда революционно настроенного офицерства на этот раз, наконец, упала на благодарную почву. Войска, стоявшие в Кадисе и предназначенные к отправке в экспедицию, громко роптали. Между ними стала к тому же свирепствовать желтая лихорадка, занесенная больными, эвакуированными из Америки обратно в Испанию. Пришлось часть кадисского лагеря перенести в Севилью и дальше к северу. И настроение кадисских войск понемногу распространялось все дальше и шире и охватывало значительную часть испанской армии. Жалованье солдатам задерживалось, пропитание отпускалось скудное (да и то разворовывалось комиссариатом снабжения), и эти условия тоже непрестанно раздражали и волновали солдат.

Нужно сказать, что даже среди монархически настроенного офицерства и чиновничества в этот период (до революции 1820 г.) замечалось некоторое раздражение против правительства и наклонность к либерализму. Например, арестованные по политическим делам и сидевшие в 1819 г. в военных тюрьмах офицеры пользовались, в сущности, почти полной свободой, принимали кого хотели, писали кому хотели, иногда тайком выпускались днем из тюрьмы, и тюремное начальство знало об этом, но смотрело сквозь пальцы. Арестованные в течение всего 1819 г. продолжали деятельно готовить восстание и были в непрерывных сношениях с оставшимися на свободе товарищами. Дон Антонио Кирога, полковник, сидевший под арестом еще с лета 1819 г. в доминиканском монастыре в Алкала-де-лос-Газулес, был даже избран заговорщиками в начальники и руководители восстания. Другим руководителем назначен был офицер генерального штаба, командир батальона, стоявшего в Кабесас-де-сан-Хуан на полпути по главному шоссе, соединяющему Кадис с Севильей, дон Рафаэль дель-Риэго.

Дон Риэго был едва ли не самой яркой волевой личностью испанской революции. Начав блестяще свою карьеру в генеральном штабе в столице, он был переведен, вследствие подозрений в либерализме, в астурийскую глушь батальонным командиром. Риэго имел влияние и авторитет как в революционном офицерстве, так и среди масонских лож (продолжавших нелегально существовать в Испании). Он-то и склонил окончательно еще колебавшихся заговорщиков к необходимости начать восстание, не откладывая дальше. В декабре 1819 г. решение было принято окончательно. 1 января 1820 г. Риэго собрал в 8 часов утра свой батальон, провозгласил пред солдатами восстановление конституции 1812 г., передал власть над деревней Кабесас новым властям и выступил на условленное соединение с Кирогой. Явившись в Аркос, он арестовал генерала графа Кальдерона и его штаб. Затем подошел и опоздавший несколько (из-за проливных дождей) Кирога. Дальнейшие шаги инсургентов были сплошь удачны по своим результатам; королевская армия была в состоянии полного разложения, и дисциплина была налицо только в тех частях, которые тут же сформировались из заранее известных преданных революции солдат различных батальонов. Город Сан-Фернандо (бывш. Isla de Leon) был занят без всякой борьбы. Риэго присоединял к движению батальон за батальоном. Овладев кассой военного округа (около 27 тысяч песет) в Борносе, он пошел на Херес-де-ла-Фронтера. Вступив в город 5 января, Риэго встретил в жителях полную покорность, но и совершенную апатию. Главнокомандующим генералом восставших войск был провозглашен Кирога. Но верных батальонов у революционеров было

всего семь. В Кадисе королевские войска против ожидания не сразу перешли на сторону революции. Прошло несколько очень тревожных для Кироги и Риэго дней, ожидаемых известий о быстром, самостоятельно возгорающемся пожаре революции ниоткуда не поступало. Гражданское население молча подчинялось то королевским командирам, то революционным, смотря по тому, кто в данный момент в данном городе находился. Кадис не сдавался,— об осаде его и взятии силой нельзя было, конечно, и думать, располагая всего 7 батальонами *без артиллерии* и без кавалерии.

Общее положение в течение первых недель восстания было очень мало обнадеживающим для революции: революционные войска (все те же несколько батальонов) держались в трех-четырех захваченных пунктах и выжидали событий. И даже прибывший в Сан-Фернандо вождь крайних либералов («экзальтированных», esaltados) Алкала Джулиано, которому Риэго поручил составить манифест к испанскому народу, составил этот документ в очень скорбных и подавленных тонах, причем обнаружил крайне малую степень уверенности в победе. Но несмотря на долгие неудачи, на много недель скитаний, на полную амнистию, обещанную королем Фердинандом восставшим солдатам (но не офицерам), солдаты восставших батальонов оставались верны своим вождям Кироге и Риэго. Правда, королевские войска хотя и не примыкали к восстанию, но соблюдали нечто похожее на нейтралитет. Кое-где они сражались, а кое-где офицеры и генералы не решались противопоставлять их инсургентам. В большой город Кордову, например, Риэго свободно вошел, имея при себе всего 285 человек. Но, правда, и держаться там он долго не мог. Жители прятались по домам и проявляли полнейшую пассивность.

При сколько-нибудь обдуманных и решительных действиях правительство Фердинанда могло бы и на этот раз еще справиться с революцией. Но ни ума, ни решимости, ни уверенности в своей правоте, ни сколько-нибудь убежденных и верных сторонников Фердинад VII не имел. Это был человек, способный на любое злодеяние в тех случаях, когда оно было для него лично не сопряжено ни с какой опасностью, но совершенно лишенный даже и тени мужества. Силы революции он безмерно преувеличивал; об общем, хоть и пассивном, недовольстве населения он знал; и в первые дни после того, как получил известие о восстании на юге, он колебался между системой уступок и тактикой репрессий, не доводя до сколько-нибудь последовательных шагов ни ту, ни другую. Кирога и Риэго держались в отчаянных условиях,— но они решили выиграть время. И они не ошиблись. 20 февраля вне района их почти вовсе растаявших уже батальонов восстал город Корунья, и как

войска, так и население примкнули к лозунгу восстановления конституции 1812 г. За Коруньей последовали Ферроль, Виго и ряд других городов.

Объятый страхом Фердинанд, очень мало доверявший мадридскому гарнизону, сразу же пошел теперь на уступки. Он учредил комиссию специально для изыскания причин неудовольствия населения. Одновременно были освобождены из тюрем инквизиции томившиеся там заключенные,— правда, далеко не все. Манифестом, появившимся 3 марта, обещаны были реформы и уничтожение злоупотреблений. Но было поздно. Именно эти уступки показали, что правительство еще слабее, чем восставшие. И это соображение побудило генерала Абисбала, человека весьма подозрительного по своим нравственным качествам, некогда участвовавшего в военном заговоре и предавшего самым низким образом своих товарищей, снова совершить предательство, но на этот раз против короля и в пользу восставших, чтобы этим заслужить себе прощение в случае окончательной победы революции. Измена Абисбала окончательно сломила дух правительства. Непосредственно он увлек за собой, правда, немного войск, но гвардия, стоявшая в Мадриде, после перехода Абисбала на сторону революции, серьезно заволновалась, и тогда король, вне себя от страха, поспешил подписать 6 марта 1820 г. манифест о созыве кортесов.

Манифест появился рано утром 7 марта в официальной газете, и тотчас же начались в Мадриде колоссальные манифестации с требованиями установления конституции, полной политической амнистии, немедленного созыва обещанных кортесов. Вечером того же 7 марта, узнав от генералов гвардии, что с минуты на минуту гвардия поднимет знамя восстания, король объявил о немедленном созыве кортесов и восстановлении конституции 1812 г. Революция победила в столице, и тотчас же провинция примкнула к движению. Во главе революции стала хунта (junta), как бы временное революционное правительство, которое, правда, не сместило короля, но объявило, что не доверяет ему и что будет зорко следить за выполнением королевских обещаний. Кирога и Риэго не только были спасены этим крутым поворотом дел, но и сделались сразу национальными героями. Они узнали о происшедшем, когда вдруг к ним из Кадиса явилась делегация с известием, что Кадис (получивший вести из Мадрида) примкнул к движению. Когда уполномоченные Кироги прибыли в Кадис, их встретили с ликованием, но тут произошел эпизод, необычайно повысивший революционное настроение в стране. На мирную толпу напали войска,— еще не сразу сообразившие, что произошло, и подстрекаемые реакционно настроенным офицерством,— и учинили резню. Конечно, эта резня 10 марта 1820 г. в Кадисе

не только не помогла, но крайне повредила королю. Революционеры решили действовать беспощадно относительно побежденных сторонников и слуг реакции.

Но реакция сопротивляться уже не думала: резня в Кадисе перепугала ее самое страшно. Король Фердинанд окончательно покинул мысль о сопротивлении, и революция победила окончательно. Королю был, в сущности, оставлен только титул. Вся власть была отдана по вновь введенной конституции 1812 г. (с дополнениями) кортесам — народному представительству.

С лета 1820 г. до самого 1823 г. Испания была конституционной страной. Но ни на один момент ни король Фердинанд не мирился искренно с новым порядком вещей, ни Священный союз во главе с Александром I и Меттернихом не желали признать испанских революционеров окончательными победителями. После долгих приготовлений и тайных переговоров в принципе была решена вооруженная интервенция, и собравшийся осенью 1822 г. конгресс в Вероне поручил усмирение Испании французскому королю Людовику XVIII. Весной 1823 г. французская армия, под предводительством племянника короля, герцога Ангулемского, перешла через Пиренеи и пошла на Мадрид.

В течение нескольких месяцев все было кончено. Испанская революционная армия отчасти была разбита, отчасти растаяла при отступлении. Французы вошли в столицу, и вскоре туда явился Фердинанд VII; революционеры не покончили с ним, полагая, что вследствие этого месть победителей несколько смягчится. Самодержавие короля было восстановлено в полной мере, и начались казни и преследования всех, сколько-нибудь активно действовавших с начала 1820 г. Одним из первых погиб инициатор революции — Риэго. 17 августа 1823 г. Риэго явился в Малагу, в казармы расположенного там корпуса генерала Зайя, и пытался побудить офицеров и солдат к возобновлению борьбы. Видя, что убеждения не действуют, он удалился с небольшой кучкой последователей в горы, где около месяца вел упорнейшую партизанскую войну с французами. Узнанный и преданный французам свинопасами в Сиерра-Моренских горах (15 сентября), он чуть не был растерзан фанатической толпой по дороге в тюрьму. Когда в Мадрид пришло известие о его поимке, то король Фердинанд был вне себя от радости так же, как двор, духовенство и высшее чиновничество. Французы перевезли в Мадрид арестованного, которого по дороге били, мучили, осыпали камнями подстрекаемые духовенством крестьяне. Как только его доставили в Мадрид, тотчас же «фискалу» (обвинителю) поручено было составить обвинительный акт. Этот акт изобиловал неслыханной руганью, что вовсе не было в обычаях испанской юстиции, и настолько поразил

умы, что в некоторых французских и английских газетах это обстоятельство было с укоризной отмечено. Риэго был назван подлецом, гнусным изменником, чудовищем и т. д. Риэго был повешен 12 октября 1823 г.

Таковы были события в Испании. Как могли повлиять на будущих декабристов эти трагические перипетии начала и конца испанского революционного движения?

Известие об испанских событиях было получено в Петербурге 23 марта 1820 г. Передовые люди — Н. Тургенев, Чаадаев — встретили эту весть с восторгом. «Слава тебе, славная армия испанская»,— писал Тургенев, приравнивавший освобождение от самодержавия Фердинанда к освобождению от ига Наполеона: «Во второй раз Гишпания доказывает, что значит дух народный, что значит любовь к отечеству». Чаадаев называл испанскую революцию величайшей, всемирной новостью и находил, что в испанских делах кое-что близко касается России. Он не развивал этой мысли в письме к брату, прямо мотивируя свою несловоохотливость в данном случае боязнью перлюстрации. Декабристы и лица их убеждений и их круга были прямо потрясены испанскими событиями,— восторгам не было конца. Сходство между Россией и Испанией в некоторых отношениях, решающая роль восстания войск — все это особенно поражало воображение. Рылеев превозносил Риэго в стихах, Пушкин отомстил за его память «придворному льстецу», который осмелился в присутствии Александра I порочить казненного революционного вождя. Ни революционное движение в Неаполе, ни вспышки в Пьемонте не играли даже в отдаленной степени той роли в идеологии и настроениях декабристов, как испанское восстание. Даже греческое восстание не имело в данном отношении того значения: греческая война была национальной войной одного народа против другого, греков против турок, и она затрагивала такие сложные и запутанные интересы, что ни в каком случае не могла без оговорок быть сопричисленной к революционным взрывам, вроде потрясших Пиренейский полуостров. Грекам сочувствовали Пушкин и декабристы, но им же если не сочувствовал, то больше всех фактически помог освободиться не какой-либо революционный энтузиаст, а Николай I, ненавидевший самую идею греческого восстания. И до Николая I в недрах русского двора и правительства грекам сочувствовали, например, по религиозным мотивам («крест против полумесяца») очень многие из тех, которые впоследствии судили декабристов и затравили Пушкина.

Можно сказать, что с 1821 г., когда были окончательно и бесповоротно задавлены все революционные попытки в Неаполе и Пьемонте, когда (кстати заметим) во Франции взяло на

несколько лет верх реакционное течение, Испания оставалась единственным светочем, указывавшим, что в Европе революционный дух еще не повсеместно искоренен. И вот пришли новые, печальные для передовой России известия: французская армия, исполняя поручение Священного союза, перешла в 1823 г. Пиренеи и, разгромив революционную испанскую армию, восстановила самодержавный трон Фердинанда VII. Риэго был повешен одним из первых, и о его казни я уже сказал. Нужно добавить, что Фердинанд VII после победы, одержанной над революционерами при помощи французских штыков, предался оргии мести. Он мстил казнями, пытками, преследованиями, восстановлением инквизиции, удушением последних признаков свободной мысли, мстил за свою вынужденную уступчивость, за трехлетнее притворство и подчинение. Именно то, что Фердинанд творил в Испании с осени 1823 г., а особенно в 1824 и 1825 гг., и заставило многих декабристов, например, Каховского, по его собственным словам, поставить одной из целей будущего военного восстания в Петербурге уничтожение всей императорской семьи.

Вплоть до самых декабрьских событий в передовых кругах России не тускнела память о только что отошедших в историю испанских событиях и их героях.

В Петербурге, во время «междуцарствия» 1825 г., в одном книжном магазине красовались портреты Риэго и Кироги. Беляев и другие морские офицеры во время плавания у испанских берегов в 1824 г. говорили о Риэго и провозглашали тосты в честь его памяти. Скажем еще в заключение, что некоторые декабристы (Рылеев), при всем своем восторге пред испанской революцией, полагали, что русская революция не может быть покончена интервенцией, как была покончена революция в Испании (не говоря уже о Пьемонте и Неаполе). Что именно при этом имелось в виду — географические или иные условия,— выяснить трудно.

Не подлежит сомнению только одно: русские революционеры были сильно ободрены начальным и длительным по тому времени успехом испанской революции. Что Испания 1820 г. и по своей социальной структуре, и по полному невежеству народных масс, и по силе религиозных чувств, и по крутости и жестокой решительности методов управления, и по целому ряду других признаков гораздо более походит на Россию, чем, например, Франция 1789 г.,— это слишком бросалось в глаза, и после всего сказанного выше на этом можно больше не останавливаться. Роль испанской армии — не главная, а решающая, единственная — тоже, конечно, не могла не поразить будущих декабристов, с жадностью следивших, во французской передаче, за испанскими событиями.

2*

Обе аграрные страны на западном и восточном концах Европы не имели в 1820—1825 гг. сколько-нибудь сильного среднего класса,— и так продолжалось и в Испании, и в России еще 100 лет, и за эти 100 лет Испания и Россия выработали лишь очень слабую и политически довольно беспомощную буржуазию; в обеих странах в течение всего этого столетия армия в решающие моменты оказывалась всегда самым могучим фактором движения; в Испании при этом не только самым могучим, но и единственным. Социологически параллельное изучение новейшей истории Испании и России могло бы дать очень ценные и неожиданные результаты. Но наша задача в этой краткой заметке, написанной к столетнему юбилею декабрьского восстания, заключалась только в том, чтобы отчасти воскресить ту духовную атмосферу, в которой жили будущие декабристы, напомнить о некоторых событиях, которые могли произвести на них (и действительно произвели) сильное впечатление.

Реакция, наступившая в Испании в 1823 г. и обострившаяся в России после 14 декабря 1825 г., старалась всячески в обеих странах уничтожить самое воспоминание о военных восстаниях, происшедших в Испании в 1820 г., а в России в 1825 г. Но если в России интерес к декабристам никогда не замирал окончательно и пробуждался всякий раз, когда по цензурным условиям становилось возможным о них говорить и писать, то нельзя, к сожалению, сказать этого об Испании: испанская историография, начиная от времен Фердинанда VII и до нынешней эпохи генерала Примо де Ривера, довольно небрежно и безучастно относилась и относится по сей день к событиям 1820 и следующих годов. Но, однако, уже по тому, что пока опубликовано, можно судить, что не только во многом существенном, но и в целом ряде бытовых мелочей и обстановочных деталей испанские инсургенты и русские декабристы и до, *и после событий, с которыми те и другие связали свое имя*, имели между собой немало общего. Когда будет написана полная история революционного движения в России (а это только начато) и такая же полная история революционного движения в Испании (что еще вовсе не начато),— тогда отмеченная здесь аналогия окажется и не единственной, и не случайной. Тут мы могли ее именно только бегло отметить, потому что интересовались не всем этим вопросом в его полноте, но лишь психологическим влиянием, которое могли иметь испанские события на декабристов.

1925 г.

Европа в эпоху империализма 1871–1919 гг.

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

Мне показалось необходимым ввести в мою книгу целый ряд дополнений, документальных иллюстраций, даже отдельных параграфов, а также уточнить и развить некоторые мысли, высказанные в первой, вводной, главе. Дополнил и пояснил я некоторые пункты и в главе о начале войны. Именно эти главы и вызвали больше всего критики, правда, основанной очень часто на недоразумениях или на невнимательном чтении. Во всяком случае долг автора был пояснить и развить подробнее то, что могло показаться неясным. В общем, все эти дополнения заняли больше места, чем я первоначально рассчитывал, но (если это не самообольщение автора) книга выиграла в полноте, которая, впрочем, в таких общих курсах может быть лишь относительной.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Непосредственной целью автора этой книги было дать его слушателям в университете сжатое пособие, которое позволило бы им приступить к слушанию университетского курса с известной подготовкой. У нас есть книги на русском языке, либо посвященные общему изложению всей истории XIX—XX вв., либо больших отделов ее, либо отдельных капитальных вопросов; некоторые из них я указываю в своем месте. Что касается моей книги, то она в первых главах имеет целью дать общий, очень сжатый вводный очерк, который позволил бы начинающему читателю, интересующемуся историей последних десятилетий, ориентироваться в сложном и пестром лабиринте событий, раньше чем приступить к более детальному ознакомлению с ними, либо по только что упомянутой русской литературе, либо — кто знает языки — по литературе иностранной (тоже мной в самых главных чертах отмечаемой). Эти главы представляют собой очень сжатый обзор содержания того курса, который несравненно детальнее излагается мной с университетской кафедры. Мне приходилось и приходится выслушивать настойчивые просьбы о таком общем введении к курсу со стороны самых разнообразных категорий моих слушателей. И студент, пришедший из рабочего факультета, и окончивший школу второй ступени (где история часто преподается в высшей степени небрежно и неудовлетворительно), и люди, уже побывавшие в высших учебных заведениях, при всей неодинаковости своей подготовки, одинаково указывали и указывают на полную необходимость иметь такое пособие по истории последнего полустолетия, которое облегчало бы им возможность разобраться в сложнейшем материале, предлагаемом им с кафедры, а также излагае-

мом в общих и монографических работах по истории XIX — XX вв. Но им нужен вовсе не конспект, не фактическая памятка, им нужен общий обзор, нужны руководящие линии, первые просеки, по которым можно было бы начать углубляться в дремучий лес фактов. В этой книге я попытался ответить, насколько это было в моих силах, на этот трудный, но законный запрос тех, которые переступили или собираются переступить порог университетской аудитории. Но в последних главах моей книги эта задача — и без того нелегкая — значительно осложнилась еще тем, что для периода 1914—1919 гг. я не мог ограничиться установлением этих общих линий исторической эволюции, поскольку они для меня самого выясняются на основании изучения фактического материала, постепенно делающегося известным. Мне нужно было считаться с тем, что этот фактический материал у нас несравненно менее известен, чем материал, хотя бы, например, предшествующего периода. Мне приходилось быть очень разборчивым в фактах и скупым на слова, потому что иначе вместо сжатого пособия получилось бы несколько огромных фолиантов, но все же я принужден был сильно изменить масштаб и отводить рассказу о конкретных фактах гораздо больше места, чем я делал это в первых главах [1]. Но этим основная задача моей книги не изменялась, а лишь осложнялась; в главном же она оставалась одной и той же с первой строки книги до последней: дать целесообразные и мотивированные первые подступы к изучению громады фактов, с которыми моему читателю придется встретиться в дальнейшей работе в аудитории и при знакомстве с литературой.

Первоначально в мой план входило дать в этой книге также историю 1919—1928 гг. Но занятия в «Библиотеке великой войны» в Венсенском замке (близ Парижа), где уже собрана и постоянно пополняется огромная литература источников по истории войны и послевоенного времени, убедили меня в необходимости посвятить послевоенному периоду особую книгу, которая явится непосредственным продолжением, второй частью этой ныне предлагаемой работы. Историю 1919—1928 гг. нужно не только пояснять, но и подробно рассказывать, излагать факты, которые сплошь и рядом очень мало у нас известны. Самый масштаб второй части моей работы, посвященной 1919—1928 гг., будет совсем иной, чем тот, которого я старался держаться в предполагаемой первой части. Отчасти мне пришлось изменить, как сказано, масштаб изложения уже в последних главах первой части (там, где я говорю о подготовке к войне, о самой войне 1914—1918 гг. и о капитуляции Германии). История 1919—1928 гг. будет мной изложена подробнее, потому что, во-первых, самая эпоха полна сложнейших и крупнейших событий и явлений, во-вторых, для целого ряда вопросов

нет научной литературы на русском языке, а для некоторых вопросов нет ничего и на иностранных языках, и мне невозможно потому никуда отсылать читателя, который хотел бы глубже вникнуть в какую-либо из рассматриваемых проблем.

Для истории 1871—1919 гг. дело обстоит лучше, особенно для периода до образования Антанты; оттого я и старался быть как можно более кратким, излагая события этого периода. Кроме того, некоторые вопросы (например, все, что относится к истории социалистических партий, особенно к истории социал-демократии в Германии) я имел основание считать более или менее освещенными в литературе, имеющейся на русском языке, и более известными читателю, и поэтому посвящаю им лишь общие указания и самые краткие характеристики, избегая деталей. Истории рабочего движения *во время* войны 1914—1918 гг. я посвящу отдельную монографию. Если моя книга поможет студенту подготовиться к слушанию подробного университетского курса или натолкнет его на чтение специальной литературы по тем или иным затрагиваемым мной вопросам, цель моя будет достигнута.

В своих библиографических указаниях, приложенных к этой книге, я обращаю внимание своих читателей не только на русскую, но и на иностранную литературу. Опыт университетского преподавания и ведения семинариев в последние годы убедил меня в том, что опасения относительно полного будто бы незнания иностранных языков нашими студентами сильно преувеличены. Сплошь и рядом мои слушатели и участники семинариев отказывались, например, довольствоваться часто сокращенными, а иногда и неудовлетворительными переводами мемуарной литературы последних лет и прибегали к подлинникам. Они настоятельно просили меня, когда я писал эту книгу, отнюдь не довольствоваться указанием имеющейся (очень скудной количественно) русской литературы по истории Западной Европы и Америки 1871--1919 гг., но непременно указать и литературу иностранную. Разумеется, нелепо было бы даже и ставить себе тут задачу достигнуть исчерпывающей полноты. Я старался перечислить лишь немногое, с чего, на мой взгляд, удобнее начать самостоятельное углубление в затронутые моей книгой вопросы. При этом я старался при равенстве прочих условий давать предпочтение (в своих указаниях) тем книгам, которые мои слушатели могут найти в Публичной библиотеке, а московские студенты — в богатейшем Институте Маркса и Энгельса, созданном Рязановым, доступ куда широко открыт всем желающим работать. Литература и источники по истории 1919—1928 гг. будут мной указаны во второй части работы, которая будет посвящена этой эпохе.

Глава I

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ПЕРИОДА 1871—1914 гг.

Период 1871—1914 гг. во всемирной истории отмечен некоторыми признаками, которые придают ему особый характер, резко отличающий его во многих отношениях как от предшествующей, так и от последующей эпохи. Попытаемся в немногих словах отметить эти признаки.

1. Никогда еще за всю историю новейшего капитализма такие огромные свободные капиталы не были предоставлены в распоряжение промышленности, торговли, биржи, сельского хозяйства, транспорта, как в означенный период. И никогда не обнаруживалось такого быстрого увеличения значения *вывоза капитала* из экономически сильных стран в более экономически слабые, как именно к концу этого периода. Как образовались в предшествующую эпоху эти капиталы — вопрос особый, который не входит в хронологические рамки этой книги. Для нас важно тут больше всего то, что эти капиталы — и в Соединенных Штатах, и в Англии, и во Франции, а с конца 90-х годов и в Германии — росли так быстро, что даже параллельно шедшего усиления промышленности не хватало сплошь и рядом для помещения капиталов, и вопрос об эмиграции финансового капитала [1], *о рынках* для помещения свободной наличности сделался (перед войной 1914 г.) одним из злободневных, из боевых вопросов экономической политики великих держав (кроме России и Японии).

Эта свободная денежная наличность, естественно, избирала себе помещение там, где процент или прибыль были выше. Этому естественному стремлению отчасти мешали могущественные силы тоже экономического происхождения. Называть эти помехи «искусственными» — неосновательно, потому что в сложном жи-

вом комплексе явлений можно, только играя словами, одни факторы называть естественными, а другие искусственными. В Ниагаре одинаково естественны вода и мешающие ей камни. Помехой для свободной миграции капиталов из одних стран в другие была, но, правда, в редких случаях, прежде всего политика, обусловленная интересами «национальной» промышленности. Еще Наполеон I говорил, что промышленность более «национальна», чем «торговля». Капитал, уже вложенный в промышленность, оказывается в большинстве случаев политически сильнее и влиятельнее капитала еще «свободного». Поэтому, например, французские промышленные круги воспротивились участию французского капитала в постройке Багдадской железной дороги; поэтому единственный оставшийся до сих пор «германофобским» слой североамериканских капиталистов — промышленники — противится изо всех сил помещению американских капиталов в Германии (да и вообще в Средней Европе) после войны. Промышленники не потому только ставили иногда (правда, очень редко) препятствия к свободной миграции капиталов, что им самим был нужен дешевый капитал, но и потому, что они боялись усиления чужой промышленности. Важно было другое препятствие: конкуренция финансового капитала других капиталистических держав. Этим положением вещей порождались два результата. Во-первых, свободный капитал (там, где он был в больших количествах) с каждым десятилетием все настойчивее искал себе выхода и выгодного помещения; вопрос о завоевании новых рынков в Африке и в Азии именно для помещения свободных капиталов начал все неотступнее занимать умы заинтересованных. Второй результат заключался в том, что сначала доступность и дешевизна кредита дали могущественный толчок технической революции, как поистине должно назвать гигантский технический прогресс последних десятилетий, и создали возможность неслыханно быстрого распространения новых и новых изобретений. Времена, когда между изобретением, например, Уатта, и широким его распространением, полным его использованием проходили годы и годы, эти времена миновали. Самые смелые опыты, самые дорогие и внезапные преобразования всего фабричного снаряжения — все это стало так доступно, как никогда не было. Дешевизной и обилием кредита не только неслыханно поощрялся и распространялся технический прогресс, но и представлялись вообще громадные возможности количественного роста промышленных предприятий. Все же, хоть и можно указать на исключения, чаще всего капитал устремляется за границу, лишь удовлетворив, насытив спрос промышленников у себя дома. Но с каждым десятилетием вопрос о вывозе и помещении капитала за границей становился все настоятельнее для капиталистических держав. А чем более монополизирова-

лась самая организация финансового капитала, вывозимого в колонии и, шире говоря, в экономически более слабые страны, тем более *падал* интерес к техническому прогрессу в производстве, и это явление стало местами (например, в Англии) прямо бросаться в глаза уже с последних лет XIX в.

2. Этот второй результат появления и роста гигантских капиталов подводит к рассмотрению следующего характерного признака периода 1871—1914 гг. Мы говорили о преобладающей и руководящей роли именно *финансового* капитала, вложенного в торговлю и промышленность, в экономической и политической жизни передовых капиталистических держав. В течение всей средины и всего конца XIX в. капитал, вложенный в торговлю и промышленность, шел от победы к победе. Эти победы *при необычайном разнообразии внешних форм и проявлений* (иногда до неузнаваемости скрытых и отличных во всем) вели к одному и тому же результату, как бы предначертанному всей мировой экономической эволюцией: к политическому торжеству представителей капитала, вложенного в торговлю и промышленность, над представителями землевладельческого хозяйства. С этой точки зрения, например, дни 27, 28 и 29 июля 1830 г., когда пала монархия Бурбонов во Франции, или день 7 июля 1832 г., когда английская реформа стала законом, день 19 февраля 1861 г. в России, или день 26 апреля 1865 г. в Соединенных Штатах, когда Джонсон сдался генералу Шерману и кровопролитное пятилетнее междоусобие между промышленным Севером и плантаторским Югом закончилось бесповоротным поражением рабовладельцев,— все это разные этапы и формы одного и того же исторического процесса.

Новые социальные слои, связанные с торгово-промышленным капиталом, победили везде без исключения, где только они сталкивались с представителями землевладения плантаторского, феодального или крепостнического типа. Среди этих победивших социальных слоев представители промышленного производства к концу XIX в. часто играли в Англии, Германии, Соединенных Штатах первенствующую роль. Колоссальное экономическое значение промышленного производства (возраставшее с ростом народонаселения) объясняется, между прочим, еще и тем, что, как уже было выше замечено, громадный и все растущий общественный класс — рабочий — теснейшими узами связан именно с промышленным капиталом и со всеми его судьбами. Противоположность интересов рабочих и работодателей, делающая, по известному выражению, рабочий класс «могильщиком» капиталистического строя, сказывается и больше всего может сказаться при экономической или — в решающие моменты — при революционно-политической борьбе рабочих против хозяев и защищающего хозяев государства. Но пока эта решаю-

щая минута не наступала, и в тех случаях, когда представители промышленного капитала боролись против других разновидностей капиталистического класса, рабочий класс оказывался всегда солидарен именно с представителями промышленного капитала (либо весь рабочий класс, либо его большинство). Так было в Англии в 1817—1832 гг. при борьбе за *избирательную реформу*, так было во Франции в дни июльской революции 1830 г., так бывало в моменты борьбы в германском рейхстаге при *Вильгельме I, и особенно при* Вильгельме II при обсуждении таможенной политики (и прежде всего при обсуждении торговых договоров с Россией).

Это невольное, стихийное, так сказать, «сотрудничество» обоих непримиримо враждебных классов, связанных с промышленностью, в *тех случаях*, когда шла борьба промышленного капитала с землевладением, или в тех редких случаях, когда промышленный класс противился свободе банковских и биржевых действий, эта общая заинтересованность в подобных обстоятельствах и предпринимателей и рабочих делали всегда промышленный капитал могучей движущей силой в течение всего периода 1871—1914 гг.

Но вместе с тем нужно помнить, что *банковский капитал возрастал* в передовых капиталистических державах в такой огромной прогрессии, что никакие препятствия, конечно, не могли ему помешать постоянно мигрировать в экономически более слабые страны. Да и препятствия эти становились совершенно ненужными при гигантском росте капитала, и именно это повсеместное распространение европейского и американского капиталов больше любой другой экономической силы способствовало интернационализации всей хозяйственной жизни земного шара, созданию мирового хозяйства, тесной связанности, зависимости и взаимодействию разнообразнейших хозяйственных феноменов, происходящих на самых далеких пунктах земли. Колебание бумаг на мировых фондовых биржах, тенденция к уравнению *цен на товары на самых* разнородных и удаленных друг от друга рынках сбыта — это только два ярких признака и последствия появления «мирового хозяйства».

Однако появление этого «мирового хозяйства» отнюдь не создало той идиллии «мирного соревнования», о которой грезили еще в середине XIX в. такие ученые и политические мечтатели, как Бокль или Кобден. Напротив, если, в частности, промышленники сплошь и рядом толкали свое государство к военным выступлениям во имя захвата новых рынков сырья и рынков сбыта, то и вообще финансисты, руководители банков и фондовых бирж *тоже требовали* (больше всего в самые последние годы перед войной 1914 г.) деятельной военно-дипломатической поддержки всюду, где только *они стремились поместить*

свободную наличность. Крупп, фирма «Вулкан», братья Маннесманы влияли на германское правительство в том же направлении, в каком главари парижской биржи влияли на правительство французское. Экспортеры свободных капиталов стали в последние 10—15 лет перед мировой войной еще гораздо более энергично толкать Европу к катастрофе, чем это делали экспортеры товаров.

Прибавим к этому, что в России не промышленный, а именно торговый капитал мог толкать правительственный организм к экспансии, мог поощрять завоевательные тенденции еще тогда, когда русская промышленность была слабо развита. Промышленники стали оказывать влияние в этом же (завоевательном) направлении лишь в последние 10 лет перед войной, а торговый капитал был стародавней политической силой на Руси, хотя до сих пор еще с этой точки зрения сравнительно мало изученной. Дело было не только в связи между интересами хлебного экспорта и вопросом о Константинополе и проливах. Когда окончательно будет разрушена легенда об экономической всегдашней «отсталости» России, может быть, вся история внешней политики императорского периода будет пересмотрена коренным образом[2]. Тут, в этой книге, ни старая, ни новая история России нас сами по себе не касаются; достаточно лишь отметить, что и в вопросе о проливах, и в вопросе о русско-германских договорах, и в вопросе о Персии или Китае русский торговый капитал и мотивы непосредственной территориальной экспансии гораздо раньше и гораздо активнее, чем капитал промышленный, содействовали росту империалистских тенденций в русской внешней политике последних десятилетий перед мировой войной. Оставляя историю России совершенно вне рамок этой книги, мы именно потому и должны были сделать это специальное указание: слишком существенным фактором европейской истории оказалась русская внешняя политика перед войной.

3. Третий признак разбираемого периода, подобно, впрочем, и двум предыдущим, характеризуется явлениями, назревавшими уже задолго до наступления этого периода, но только в рассматриваемую эпоху — в последнюю треть XIX и в начале XX в.— достигшими особой степени яркости и очевидности. Определить совокупность этих явлений можно так: необычайная (и общая для всех великих капиталистических держав) готовность к разрешению основных проблем международной экономической конкуренции непосредственной «пробой сил», другими словами, непосредственной сначала дипломатической, потом военной борьбой.

Этот признак — руководящая агрессивная роль именно финансового капитала — и является характерным для последнего довоенного периода.

Первое явление — легкость на подъем и эластичность государственной машины — *объясняется также* последствиями развития финансового капитала: громадными успехами техники, организацией транспорта, возможностью почти мгновенной мобилизации, появлением колоссальной специальной промышленности, обслуживающей армию и флот, усовершенствованием службы связи в самом широком смысле слова и т. п., а прежде всего тем, что самое государство, как оно организовалось в Европе к концу XIX в., было теснейшими узами связано с экономически господствующим классом — представителями финансового капитала, сознавало себя его орудием и даже видело в этом сознании главный смысл своего существования; и при этом там, где оно было по традиции связано с представителями землевладения (как в Германии), оно все-таки во всех решительных случаях без колебаний становилось на сторону банков и промышленности. Что же касается второго явления — постоянной мысли о «пробе сил» в тех кругах, которые являлись руководящими во всей экономической жизни своей страны,— то здесь играли роль разнообразные мотивы, которые в главном могут быть сведены к следующим. В Германии бурный, неслыханно быстрый процесс роста промышленности (и к концу процесс роста свободных капиталов) вызвал настойчивое стремление к овладению колониями не только как рынками сбыта, но и как рынками сырья, а потом и как местами помещения свободных капиталов. Мысль пацифистов о свободе торговли в английских колониях, о возможности мирным путем экономически овладеть чужими колониями, не покушаясь на отнятие их военным путем, эта мысль не пользовалась в указанных кругах успехом. Большинство (я говорю о большинстве среди руководителей германской промышленности) отвечало, что не сегодня-завтра идея Джозефа Чемберлена снова появится на политической арене, и Англия закроет границы $1/4$ части земного шара, которая находится под скипетром английского короля; меч, и только меч, должен дать Германии ее «место под солнцем», и ждать нельзя. В последние годы пред войной прибавилось еще стремление к вывозу свободных капиталов. Чисто экономическими средствами борьбы ничего тут поделать нельзя. Таково было укрепившееся мнение. В Англии среди многих промышленников и финансистов господствовало убеждение, во-первых, что время работает для Германии и против Англии, и если вовремя не решиться разрушить эту могущественную машину, созданную Бисмарком, то даже и чисто экономическая конкуренция с ней станет для Британской империи непосильной. Во-вторых, в Англии указывалось, что если Вильгельм II говорил: «Будущее Германии на воде»,— то это именно означает стремление силой отнять у Англии колонии, и это же стремление изобличается гигантским ростом

Академик Е. В. ТАРЛЕ

ЕВРОПА В ЭПОХУ ИМПЕРИАЛИЗМА 1871—1919 гг.

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ ДОПОЛНЕННОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
*МОСКВА * 1928 * ЛЕНИНГРАД*

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ВТОРОГО ИЗДАНИЯ КНИГИ «ЕВРОПА В ЭПОХУ ИМПЕРИАЛИЗМА. 1871—1919 гг.»

германского военного флота. Среди представителей английского капитала германофобские чувства питались как тенденциями наступательного, так и тенденциями оборонительного свойства. Умерялись несколько эти чувства в данной социальной среде тем соображением, что Германия была важным, вторым после Америки, рынком сбыта для английских товаров. Но именно конкуренция в вопросе о вывозе и помещении свободных капиталов страшно обостряла борьбу с Германией. Во Франции тенденции оборонительного характера были в этот период сильнее, и страх экономического и политического обессиления Франции и, может быть, уничтожения ее великодержавия преобладал; но не отсутствовали и другие мотивы. Финансисты и промышленники, деятельно поддерживавшие марокканскую политику Делькассе, а потом Клемансо, мечтавшие о колоссальных лотарингских запасах железа, были представителями не только оборонительных, но и наступательных тенденций. Замечу, что и во Франции вопрос о выгодном помещении за границей свободных капиталов необычайно усиливал позицию империалистски настроенных дипломатов. В России наступательный характер политических настроений среди крупнопромышленных кругов был очень мало заметен еще в первые годы XX в.; после 1905 г. он стал более выраженным. Особенно после англо-русского соглашения 1907 г. и предоставления России всей Северной Персии стало возможным мечтать о близком овладении новыми колоссальными рынками, «всеми берегами Черного моря», как формулировалась тогда эта задача. Внедрение иностранного капитала со всеми его последствиями могущественно усиливало русский империализм и, особенно накануне войны, очень обостряло его агрессивную тенденцию.

Основная структура русской политической жизни в разбираемую эпоху этим одним далеко не исчерпывается. Но в данной связи важно отметить, что и в России, и в Германии, и во Франции, и в Англии экономически влиятельные слои, если не целиком, то в заметной части своей, привыкали смотреть на «пробу сил» как на неизбежное и во всяком случае удобное, под руками находящееся средство для разрешения назревших проблем. Ошибки военных писателей, легкомысленные повторения якобы авторитетными и непогрешимыми специалистами слов о безусловной невозможности долгих войн «в наше время» и о том, что будущая война будет исчисляться неделями или немногими месяцами,— все это еще более популяризовало удобную мечту о пробе сил. Почему бы не потерпеть восемь недель, когда через восемь недель генерал Шлиффен обещает полную победу? А ведь в каждой стране, не только в Германии, были свои Шлиффены, и они обыкновенно различались между собой только в установлении числа недель: победу же (каждый своей

стране) они гарантировали вполне, как и покойный начальник германского генерального штаба. Эти тенденции внешней политики великих держав, конечно, сильно влияли даже и на такие страны, в которых отсутствовали или были не так могущественны указанные предпосылки стремления финансового капитала к пробе сил, а была налицо главным образом жажда непосредственного накопления земельных богатств, приращения своей ограниченной территории. Если в Италии вопрос о завладении Триполитанией стал на очередь, то это было прямым следствием марокканской политики Франции, а итальянское выступление поставило на очередь вопрос о насильственном уничтожении Турции и повлекло за собой выступление балканских держав против Турецкой империи. Боязнь опоздать к разделу добычи играла часто главную роль. Экономические интересы не только сегодняшнего, но иногда завтрашнего дня диктовали в подобных случаях той или иной державе ее политику.

4. Наконец, отметим еще четвертый признак, характерный не для всей истории европейского капитализма в 1871—1914 гг., но для конца этого периода. С 90-х годов XIX в. североамериканский капитал (переживавший пору быстрого и гигантского развития) начинает все более и более влиять на мировую политику и стеснять европейские капиталистические державы. Прежде всего запретительный тариф Мак-Кинлея с позднейшими дополнениями (1897 г., и особенно 1909 г.— тариф Пэна-Олдрича) изгнал европейские товары с внутреннего (богатейшего) североамериканского рынка. Затем, пользуясь громадным политическим преобладанием Соединенных Штатов на всем великом американском континенте, североамериканский капитал повел очень успешную борьбу с европейским сбытом в Центральной и Южной Америке. Далее. Уже в 1909 г. Соединенные Штаты помешали намечавшимся соглашениям европейских держав, клонившимся к разделу Китая на зоны отчасти политического, отчасти экономического преобладания, и с тех пор не переставали очень ревниво относиться к китайскому рынку. (О выдвинутом в 1909 г. статс-секретарем Штатов Геем принципе «открытых дверей» в Китае речь будет дальше в своем месте.) Все это стесняло европейский финансовый капитал, ограничивало его поле действия, ставило его в худшие условия, чем в каких он был еще совсем недавно. Последствием должно было оказаться еще большее обострение экономической конкуренции, а потому и политического соревнования и вражды между европейскими капиталистическими державами. После выступления на мировое поприще североамериканского капитала земной шар начал становиться для капитала европейского как бы слишком тесным. Погоня за рынками сбыта и сырья, а также за возможностью выгодного вывоза капиталов должна была с

этих пор приобрести еще более острый характер. Тенденция к разрешению экономических вопросов непосредственной «пробой сил» должна была еще более усилиться.

Таковы были общие условия, в которых жил и развивался западноевропейский капитализм в последние десятилетия перед мировой войной.

5. Что касается рабочего класса, то он в описываемый период, конечно, расширял и углублял свое классовое самосознание, социал-демократия организовывала миллионные массы, рабочая пресса имела десятки читаемых органов,— но чем более усложнялись настроения в рабочей среде относительно вопросов международной (в частности, например, колониальной) политики, тем менее становились или казались реальными в глазах правительств опасения, что рабочий класс всей своей массой ответит на мобилизацию революционным выступлением. Именно с этой специальной, больше всего нас тут интересующей точки зрения, может быть, не так неправ был по-своему покойный Лео Иогихес, когда он перед войной как-то с большой горечью заявил, что одна массовая демонстрация против мобилизации и войны имела бы больше значения для сдержки колониальных хищников, чем самые блестящие избирательные победы социал-демократической партии.

Влиятельнейшие слои рабочей массы, рабочие всех специальностей, близко связанных с производством вооружения, военного кораблестроения и т. п., первые стали обнаруживать тенденцию к отказу от лозунгов революционной борьбы против милитаризма, и их часто и резко упрекали их противники в измене революционным лозунгам во имя собственных материальных выгод: сохранения работы и увеличения заработной платы. Но не только в них было дело: и в некоторых других категориях рабочей массы обнаруживалось более или менее широко распространенное стремление к отказу от активной борьбы против той решительной подготовки к военным выступлениям, которая открыто велась правящими кругами всей Европы. Дело было не только в том, что как в Соединенных Штатах, так и в Англии могущественный рабочий класс абсолютно не влиял (и даже не часто и пробовал влиять) на правительство именно в области этих проблем внешней политики, вооружений, конфликтов и т. д. В обеих англо-саксонских державах чисто политическая организация рабочего класса была внове, но и в Германии социал-демократия в главной своей массе еще задолго до бернштейновского ревизионизма очень вяло и очень мало протестовала против внешней политики своего правительства. А в последние годы перед войной 1914 г. она даже выдвинула публицистов, которые, по существу дела, по мере сил трудились своим пером на пользу пропаганды завоевательной политики.

3*

Во Франции вождь социалистической партии Жорес больше других старался вести борьбу против колониальных захватов и других проявлений воинствующей дипломатии Третьей республики, но его в этих вопросах поддерживали слабо и недружно, и он оказался бессилен хоть в чем-нибудь реально помешать Делькассе или Клемансо, или любому из их последователей. Тут же подчеркну, во избежание недоразумений, что рядом с «рабочей аристократией» были и рабочие пролетарские массы в точном смысле слова, были люди, жившие в условиях ничтожной заработной платы и сверхсильного труда, рядом с правым крылом в социалистических партиях существовало и левое крыло, рядом с ширившимся ревизионизмом шла публицистическая и агитационная деятельность Либкнехта, Розы Люксембург, Клары Цеткин, *того же Иогихеса, революционно настроенных приверженцев* прямого действия во Франции, в Англии, в Италии, в Бельгии. Эти левые течения получили могущественную идейную поддержку, когда разразилась русская революция 1905 г. и когда вопрос о революционной роли всеобщей забастовки внезапно стал на очередь дня. Между 1905 г. и взрывом мировой войны 1914 г. были налицо такие факты, как ряд грандиознейших проявлений экономической борьбы рабочего класса в Англии, как ряд больших стачек во Франции, причем были уже налицо и стачки синдицированных государственных чиновников (почтово-телеграфных служащих), резче стали звучать голоса представителей левого крыла социал-демократии в Германии. И все-таки даже и тени какого бы то ни было активного сопротивления внешняя политика всех великих держав перед войною не встретила, хотя эта политика на глазах у всех прямо и спешным темпом вела к войне и Фридрих Адлер в январе 1915 г. с отчаянием восклицал: «Не тот факт, что пролетарии стоят друг против друга в окопах, а то, что они в каждой стране объединяются с господствующими классами,— вот что ощущается, как крах социал-демократической идеологии, как поражение социализма» [3]. Нам тут важно отметить пока, как сказано уже, только недостаточное противодействие части рабочего класса империалистской политике правительств перед войной.

Для меня методологически неприемлемо воззрение, на котором все больше и охотнее настаивает в последние годы Каутский,— то воззрение, что капиталистическое развитие последней эры всемирной истории не должно было «обязательно» вызвать к жизни агрессивно-империалистскую политику. Примкнуть к этому воззрению значило бы *неминуемо* быть принужденным заниматься бесплодными и наивными поисками пресловутых «виновников войны» и объяснять мировое землетрясение предосудительными качествами Вильгельма, интригами Пуанкаре и честолюбием Извольского. Иного логического выхода нет,

и со все усиливающимся недоумением вникал я в тот аргумент, который, по-видимому, представляется старому теоретику наиболее победоносным: агрессивная политика империализма является «наиболее дорого стоящим и наиболее опасным методом» из всех современных методов капиталистической политики. Совершенно верно,— но что же отсюда можно вывести? Как будто история делается после зрелого, дружеского, всеобщего обсуждения вопроса о войне и взвешивания и подсчета выгод и невыгод, после чего обсуждающие и решают: стоит ли повоевать друг с другом или, может быть, воздержаться?

Это такая же сказка на исторические темы, а не история, как и учение о том, будто возможен «ультраимпериализм», т. е. полюбовное установление соглашения или союза всех империалистских держав для общей эксплуатации земного шара с разделом сфер влияний. Как это возможно при увеличивающейся *тесноте* земного шара для все растущих гигантских сил финансового капитала в экономически передовых странах? Как представлять себе полюбовное размежевание и, главное, длительное соблюдение первоначальных условий там, где так гнетуща необходимость захвата либо *все уменьшающихся,* либо в лучшем случае стационарных или медленно увеличивающихся экономических благ при *все увеличивающейся* силе и способности отдельных империалистских организмов к нападению? Мы видим в наши дни, что выходит, например, из попыток «полюбовно» поделить нефть. Если эти попытки будут иметь вообще какое-нибудь реальное значение, то разве в том отношении, что приблизят новую войну, а вовсе не отдалят ее. Я настаиваю, что воззрение Каутского не выдерживает исторической критики, *даже* если согласиться с его отрицательным отношением к самой категории «финансового капитала». Но, признавая финансовый капитал колоссальной движущей силой современного исторического процесса, мы и подавно не имеем ни малейшего логического права принимать эти пацифистские мечты Каутского о бескровном «ультраимпериализме» за нечто реальное. Если мысль о «необязательности» (и, следовательно, «случайности»?) войны 1914—1918 гг. логически приводит нас к наивнейшей вере во всеопределяющую роль личности, то мечта Каутского об ультраимпериализме еще более логически может привести нас к вере в то, что отныне будто бы можно с минимальными расходами и неудобствами делать всемирную историю в Женеве, во дворце Лиги наций.

Ни до, ни после войны никакие комбинации в духе этого «ультраимпериализма» не были мыслимы — *и немыслимы* в настоящий момент. И хоть очень дорога и «невыгодна» была война 1914—1918 гг., есть все основания думать, что финансовый капитал и все подчиненные ему силы могут и впредь в тот

момент, который они найдут подходящим, поскольку это от них будет зависеть, снова *не остановиться* пред расходами и «невыгодами», хотя с каждой новой войной «расходы» будут становиться все значительнее.

Намечалась грандиозная *внешняя* борьба, столкновение самых гигантских сил, какие только видело человечество. Могущественно организованный финансовый капитал и в Англии, и во Франции, и в Германии, двигая, как марионетками, дипломатией, *всюду* вел систематически провокационную политику. Могущественные экономические силы более отсталых стран, вроде России и Италии, действовали в том же духе. Рассмотрим в самых сжатых чертах, каковы были социальная структура и внутреннее положение в Европе пред обострением этой внешней борьбы с первых лет XX в. Начнем этот краткий обзор с Франции.

Еще несколько слов хотелось бы мне сказать в этой вводной главе. Хотя я много раз подчеркиваю в своей книге, что *все* «великие державы» без единого исключения в течение *долгих лет вели политику*, которая неминуемо должна была кончиться кровавым столкновением, хотя неоднократно мной указывается, что только лицемерие публицистов Антанты могло изобрести теорию *о полной «невинности»* Антанты и исключительной «виновности» Германии, но у некоторых моих читателей и критиков, к удивлению моему, сформировалось, по-видимому, впечатление, что я считаю «виновницей» войны одну Германию. Приписываю я это курьезное заблуждение, во-первых, невнимательному чтению моей книги (где не один раз, а десяток раз излагается моя мысль о поведении Антанты), во-вторых, некоторой аберрации, вызываемой тем, что Антанта хотела начать войну чуть-чуть позже лета 1914 г. (по чисто техническим, а отнюдь не «гуманным» соображениям), и *поэтому* с чисто внешней стороны ей «защищаться» от этого обвинения легче и сподручнее, и когда вы изучаете *документацию* 23 июля — 4 августа 1914 г., то, конечно, большая агрессивность, как вам представляется, не на стороне Антанты, особенно не *на стороне* Англии и Франции [4]. Но делать отсюда выводы о принципиальном «миролюбии» Антанты могут только исторические учебники для детей среднего возраста, принятые в некоторых странах Антанты. На слова Эдуарда Грея, что он «десять дней подряд» делал все, чтобы сохранить мир в июле 1914 г., ему в свое время было отвечено: «Да, вы десять *дней* подряд делали все, чтобы сохранить мир, но *пред* этим вы десять *лет* подряд делали все, чтобы вызвать войну». В этом смысле Антанта и Германия *вели себя одинаково.* Тут же отмечу, что ведь даже все главные «рабочелюбивые» тенденции английских правящих классов в тече-

ние предвоенного времени (уже с 1903 г.), всю готовность к уступкам и т. д. я тоже объясняю в своей книге *именно* чисто тактическим приемом, вечной мыслью о подготовке войны с Германией и о необходимости пытаться ослабить жестоко обострившуюся в Англии как раз с 1905 г. классовую борьбу. Это не помешало одному из критиков приписать мне изумительнейшую мысль: будто я говорю, что Англия готова была перейти к... государственному социализму,— и только нападение Германии помешало этому! Тут я даже отказываюсь догадываться, что *могло подать повод к подобному совершенно фантастическому* утверждению; *ни единого звука* ни о чем подобном у меня нет, и вся глава об английской внутренней политике построена именно как реальная иллюстрация *тактики* английского правительства ввиду будущей войны с Германией.

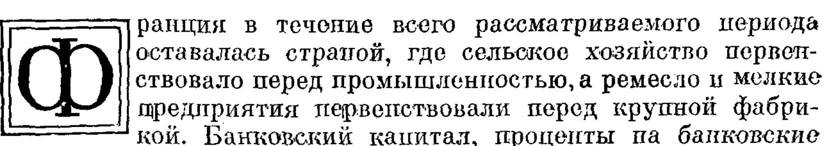
Европа, которой управлял под разнообразными внешними формами финансовый капитал, была полна взрывчатых и горючих элементов пред войной; все предпосылки к обострению внешних проявлений классовой борьбы внутри каждого государства и международной борьбы в широчайшем масштабе были налицо, особенно с 1905 г. Период 1905—1914 гг. в Западной Европе *еще* не походил по революционным внешним проявлениям классовой борьбы ни на позднейший период 1917—1923 гг., ни на период 30—40-х годов XIX столетия, ни на март, апрель, май 1871 г. в Париже. Но эта эпоха 1905—1914 гг. *уже* не походила и на период 1871—1904 гг. Годы 1905—1914 были преддверием к эпохе грандиознейших международных и междуклассовых конфликтов, которая теперь едва только началась, но уже успела изменить облик человечества.

Глава II

ОБЩИЙ ХАРАКТЕР ВНУТРЕННЕГО РАЗВИТИЯ ФРАНЦИИ В 1871—1914 гг.

1. Утверждение республики во Франции. Характер конституции. 2. Главные моменты политической борьбы в эпоху республики

[1]



Франция в течение всего рассматриваемого периода оставалась страной, где сельское хозяйство первенствовало перед промышленностью, а ремесло и мелкие предприятия первенствовали перед крупной фабрикой. Банковский капитал, проценты на банковские вклады, мелкая собственность — *движимая* и *недвижимая* — характерные черты французской экономики. В 1869 г. население Франции было равно 38 400 000 чел., в 1903 г.— 39 100 000 чел., в 1906 г.— 39 250 000 чел. Из этого числа в первые годы XX в. самостоятельных работников (зарабатывающих самостоятельно) *было 15 880 000 человек. В свою очередь из этих 15 880 000 человек хозяев* промышленных, торговых, ремесленных заведений, сельских хозяев и вообще лиц, стоящих во главе той или иной отдельной хозяйственной единицы, а также служащих в государственных учреждениях, *было 4 870 000 человек,* поденщиков и вообще так называемых «изолированных» работников (домашняя прислуга, батраки и т. п.) — 4 130 000 человек, наконец, рабочих, а также служащих в промышленных, горных, ремесленных, торговых предприятиях — 6 880 830 человек. Любопытно более детальное рассмотрение первой цифры — самостоятельных *хозяев: из них 42% запято сельским хозяйством, 29% — торговлей, 12% — промышленностью и ремеслами,* остальные 17% приходятся на государственную службу, свободные профессии и т. п. Значит, самостоятельное крестьянское хозяйство в первые годы XX в. оставалось *такой же* огромной и социально значительной категорией, как и раньше. Сельскохозяйственная мелкая буржуазия держалась крепко. Далее.

Уже с середины XIX в. во Франции началось быстрое возрастание как абсолютной цифры свободных капиталов, так и количества мелких держателей капитала; в последнее десятилетие XIX и в первые годы XX в. эти два явления продолжали параллельно развиваться. Французские банки, концентрировавшие вклады бесчисленных мелких вкладчиков, экспортировали капитал в грандиозных размерах, размещая его то в правительственных и коммунальных займах иностранных держав, то в частных и казенных промышленных предприятиях и железных дорогах за границей. Считалось, что в середине 900-х годов около 40 миллиардов франков французских капиталов было вложено в заграничные займы и предприятия, а к началу мировой войны цифра эта уже равнялась около 47—48 миллиардов. Колоссальные суммы были вложены также во французские внутренние займы и предприятия. Но промышленное производство во Франции росло несравненно медленнее, чем свободные капиталы. Французский капитал в своем непрерывном росте увеличивал не столько число рабочих в стране, сколько число мелких и средних вкладчиков, и политическое влияние принадлежало во Франции не столько промышленникам, сколько банкам и бирже.

На этой почве строй буржуазной республики оказался прочнее, чем того ждали и враги и друзья этого строя. Во Франции после крушения Коммуны окончательно консолидировался строй сильно централизованной республики — «республики с монархическими учреждениями», как ее назвали английские государствоведы.

Нужно признать, что республиканский строй утвердился во Франции не без серьезной борьбы. Монархисты разных толков и оттенков имели большинство в Национальном собрании, избранном весной 1871 г., и если что спасло республику, то прежде всего боязнь, не вызовет ли восстановление монархии новых восстаний и волнений (воспоминание о Коммуне продолжало стоять грозным призраком), а затем и невозможность объединить всех монархистов на каком-либо определенном кандидате. Глава исполнительной власти Тьер, решившийся поддерживать республику, был свергнут враждебным ему голосованием Собрания 24 мая 1873 г., и его преемником в качестве президента Французской республики стал маршал Мак-Магон. Будучи открытым монархистом, Мак-Магон все же не решился попытаться восстановить монархию. С каждым годом становилось все более и более ясно, что многочисленнейшие и влиятельнейшие слои буржуазии согласны поддерживать буржуазную республику, не пускаясь ни в какие новые политические авантюры. В 1875 г. прошла в Собрании новая французская конституция (действующая с небольшими изменениями до

настоящего времени). 16 мая 1877 г. президент Мак-Магон сделал попытку *управлять, не считаясь* с республиканским (очень, правда, незначительным) большинством, которое образовалось в палате после выборов 1876 г. Он отставил министерство против воли палаты, затем распустил неугодную ему палату и назначил новые выборы, которые произошли в октябре 1877 г. и дали 320 *республиканцев* и 210 монархистов. В январе 1879 г. произошел новый конфликт президента с палатой, и Мак-Магон подал в отставку. 30 января 1879 г. президентом республики был избран старый республиканец *Жюль Греви*. Так кончился первый трудный период борьбы республики за свое существование.

Обратимся теперь к характеристике республиканской конституции. Французская республика является наиболее централизованной из всех великих военных держав, и в ее административном праве и быте до сих пор сохраняют полную силу весьма многие законы и положения, изданные еще при Наполеоне I, при Реставрации и при Наполеоне III. Весь административный костяк, вся структура управления, все нравы и обычаи суда и администрации остались почти без малейших изменений такими, какими они были при империи. Строжайшая централизация, полное бессилие местного самоуправления, громадное влияние префекта не только в управлении департаментом, но и во всех областях местной жизни — вот основная черта общественного быта французской провинции. Точно так же довольно призрачной является «независимость» суда от министра юстиции, т. е. от того же кабинета, другой член которого — министр внутренних дел — бесконтрольно распоряжается назначениями, перемещениями и увольнениями префектов. Такая же централизация царит и в области финансов, путей сообщения, народного просвещения.

«Народный суверенитет», проявляющийся в прямом выборе на четыре года *палаты депутатов* и в двухстепенном выборе *сената* (избираемого от местных выборных учреждений — «генеральных советов»), создает эти два верховные законодательные учреждения, которые, соединяясь по одному разу в 7 лет в одно общее заседание («конгресс»), избирают главу государства, президента республики. Президент назначает кабинет министров, ответственный перед законодательными палатами, точнее — перед палатой депутатов, потому что были случаи, когда правительство, оставшееся в меньшинстве в сенате, продолжало оставаться у власти, пока оно пользовалось доверием палаты депутатов. Всякий закон должен пройти как через палату, так и через сенат.

Такова в основных своих чертах ныне действующая конституция Третьей французской республики.

[2]

Эта конституция и оказалась (в полном логическом соответствии с только что указанными характерными чертами данного исторического периода) самой устойчивой из всех конституций, когда-либо во Франции существовавших от самого начала Великой революции 1789 г. Собственно, защитникам этой конституции пришлось четыре раза — при маршале Мак-Магоне, в эпоху упомянутого выше так называемого «переворота» 16 мая 1877 г., в 1887 г.— в эпоху генерала Буланже, в 1891—1892 гг.— во времена так называемого «панамского дела», и в 1898—1900 гг., в годы дрейфусовского процесса,— оборонять республику от очень резких и страстных нападок справа, со стороны монархических партий, а также крайних националистов; но все эти нападения ограничивались борьбой в печати, в парламенте, на публичных митингах; иногда дело доходило до уличных демонстраций, но если исключить не имевшее даже и тени успеха выступление Деруледа на похоронах Феликса Фора, то ни разу ярые враги республики не находили возможным учинить открытое вооруженное на нее нападение. Ни за монархистами, ни за крайними националистами не стояло сколько-нибудь серьезной силы. Остатки дворянства, крайне незначительная часть крупной буржуазии, часть католического духовенства, часть генералитета и офицерства — вот слои, на которые опирались «противники справа», желавшие уничтожения парламентарной республики. Всего этого было мало. Когда они объединились в 1887 г. вокруг генерала Буланже, сделавшегося как бы олицетворением идеи «реванша», т. е. будущей войны против Германии, то даже среди его сторонников не было точно выяснено, во имя чего следует низвергнуть республику? Во имя нового цезаря, т. е. самого генерала Буланже, или во имя возвращения на престол династии (Орлеанской, так как Бурбонов уже на свете не было)? Точно так же, когда по делу о крахе Панамской компании среди всей буржуазии и среди более зажиточных слоев крестьянства началось страшное волнение, так как оказались причастными к самым неблаговидным проделкам не только члены парламента, но и некоторые министры, то монархистам все же не удалось своей агитацией внедрить мысль о необходимости заменить «сгнивший» республиканский строй каким-либо иным. Наконец, когда в эпоху дела Дрейфуса, капитана французской службы и еврея по происхождению, обвиненного в 1894 г. в шпионстве в пользу Германии, начали всплывать факты, доказывавшие необоснованность обвинения и подложность доказательств, вся Франция разделилась на два лагеря, и с 1898 г. монархисты и националисты, имевшие полную поддержку как церкви, так и значительной части (на первых порах)

офицерства, повели очень успешную пропаганду, которая склонила первоначально на их сторону обширные слои буржуазии и крестьянства. Что касается рабочего класса, то в нем боролись два течения. Одни разделяли точку зрения старого вождя левого течения Жюля Геда, утверждавшего, что дело Дрейфуса — ссора одних капиталистов с другими, что это как бы семейная распря в недрах буржуазного класса, что для рабочих Дрейфус такой же посторонний и враждебный человек, как и осудившие его полковники и генералы, и что делать из этого судебного процесса почву для успешной классовой борьбы нет ни возможности, ни необходимости. Напротив, Жорес утверждал, что рабочий класс, отстаивая Дрейфуса от ложных обвинений, борясь против попрания в лице Дрейфуса прав человека и гражданина, борется за свое собственное дело, что объединение монархистов и националистов с церковью и с высшими чинами армии грозит самому существованию республики и что если так, то французскому рабочему классу далеко не все равно, в каких государственных рамках будет протекать его классовая борьба: в республике или в монархии. В общем, точка зрения Жореса победила. Уже с 1899 г. стал обозначаться явный, хотя сначала и медленный поворот общественного мнения в средней и мелкой буржуазии, среди представителей свободных профессий, в ученых и литературных кругах против грозившей Франции победы объединившихся реакционных партий. Радикалы в конце концов восторжествовали, и кабинеты Вальдека Руссо (1899—1902 гг.) и Эмиля Комба (1902—1905 гг.) не только ликвидировали дело Дрейфуса полным восстановлением несправедливо осужденного в его правах, но и повели наступление против воинствующего клерикализма и против реакционно настроенных кругов командного состава армии. В течение всего этого времени радикалы пользовались полной поддержкой социалистической партии. Идея «сотрудничества классов» в общей борьбе против реакции, выдвинутая Жоресом, временно торжествовала. Борьба против конгрегаций, вопрос об отделении церкви от государства (отделение состоялось в 1906 г., уже в министерство Рувье, но было подготовлено Комбом) — все эти проблемы разрешались радикальным правительством при деятельной поддержке социалистов. Но с 1906 г. это сотрудничество окончилось. В кабинете Саррьена (1906 г.) министром внутренних дел сделался Клемансо, который вскоре стал главой кабинета; его кабинет продержался до середины июля 1909 г.

Эра Клемансо сделалась, по выражению Жореса, временем «социального консерватизма». Так как она очень характерна для понимания истинной природы социальных и политических отношений в эпоху Третьей республики, то остановимся на министерстве Клемансо несколько подробнее.

Жоржу Клемансо было, когда он сделался впервые министром в 1906 г., шестьдесят пять лет, и за ним числилось около сорока лет политической деятельности. Мэр одного из округов Парижа во время Коммуны 1871 г., он не стал на сторону Коммуны, но и не оказал своей поддержки ее победителям. Попав в Национальное собрание в 1871 г., он начал там свою долгую парламентскую карьеру, которая еще до войны 1914 г. дала ему историческое имя. Он стал вождем радикальной партии, сначала ничтожной численно, потом (с конца 90-х годов, и особенно после дела Дрейфуса) приобревшей большое и длительное влияние. Радикализм мелкой и средней буржуазии имел свою длительную и прочную традицию. Якобинцы 1793 г. числились его предками, и Клемансо не раз с гордостью называл себя «сыном Великой французской революции».

Из семьи деревенского врача (и сам врач по специальности), Клемансо всецело принадлежал к интеллигентному слою провинциальной мелкой буржуазии. Аристократия и духовенство, с одной стороны, рабочий класс — с другой, были всегда для него чужими, и на всякие притязания этих классов, шедшие вразрез с интересами, духовными потребностями и привычками буржуазии, Клемансо смотрел как на враждебные поползновения к разрушению его идеала: радикальной республики, основанной на принципах личной свободы и собственности. До средины 900-х годов, до первой русской революции в особенности, для Клемансо главный враг был справа, и он неутомимо, проявляя часто большой блеск ума, громадный публицистический талант, язвительное остроумие, яркий ораторский дар и железную волю, боролся с клерикалами и монархистами; политика радикализма в деле Дрейфуса была в значительной степени делом его рук.

Но времена менялись. Образование объединенной социалистической партии, революционный характер синдикалистского движения, русская революция 1905 г. и ее влияние на настроения рабочего класса в Европе (и в частности во Франции) — все это заставило значительнейшую часть радикальной партии повернуть (и довольно круто) вправо. Ее вождем и на этот раз оказался Клемансо. Не все пошли за ним. Ни Комб, ни Камилл Пелльтан не захотели способствовать этому двойному политическому процессу: отделению радикалов от их вчерашних союзников и фактическому единению их с недавними противниками. Но большинство пошло за Клемансо, и когда Клемансо стал сначала (1906 г.) министром внутренних дел, а потом (1906—1909 гг.) премьером, то вся его деятельность оказалась направленной на борьбу именно с рабочим классом, а радикальное большинство парламента беспрекословно его поддерживало.

Несколько раз во время чисто экономических конфликтов

между рабочими и работодателями в эпоху 1906—1909 гг. войска стреляли в рабочих, всякий раз Клемансо брал на себя полную ответственность и принципиально оправдывал действия войск. Разрыв с социалистической партией был полный и резкий. Жестокая полемика Клемансо против Жореса в прессе, а потом (с 1906 г.) в парламенте была внешним и очень ярким проявлением этого разрыва.

Министерство Клемансо ушло в июле 1909 г., ровно за пять лет до войны, и все правительства, которые сменяли друг друга у власти, кто бы ни стоял во главе их, умеренный ли «радикал-социалист» Бриан, или радикал Думерг, или близкий к правым республиканцам Пуанкаре, или бывший социалист Вивиани, — все более и более обнаруживали в своей жизни и деятельности две черты: растущую тревогу по поводу надвигающейся международной катастрофы (причем иногда к этим настроениям явно примешивались и надежды на победу), а с другой стороны, полное бессилие, а иногда и решительное нежелание провести последовательно необходимую финансовую реформу, которая серьезно затронула бы интересы крупного капитала. Могущество крупных банков и фондовой биржи оказалось настолько действительным, что их заправилы свергали любое правительство, которое только осмеливалось подумать о сколько-нибудь справедливом и действительно «демократическом» прогрессивно-подоходном налоге. Министр финансов Кайо, тогда считавшийся представителем идеи прогрессивно-подоходного налога, подвергся жестокой газетной травле со стороны всей консервативной, клерикальной и умеренно-республиканской печати, направляемой крупными банками. Доведенная до отчаяния газетной кампанией, принявшей характер явного вмешательства в частную жизнь министра, жена Кайо убила (в марте 1914 г.) редактора газеты «Фигаро» Кальметта, и Кайо после этого должен был покинуть свой пост.

Это бессилие радикальных правительств провести финансовую реформу, а также ряд давно назревших новых законов об охране и защите интересов трудящихся, вызывало в левых кругах социалистической партии и в рабочей массе вообще раздражение и разочарование в парламентаризме. На почве этого разочарования в 1905—1914 гг. стало усиливаться в отдельных рабочих синдикатах, а также в центральной синдикалистской организации — «Главной конфедерации труда» — революционное настроение. Мысль о «прямом действии» (action directe), т. е. о действии путем сначала всеобщей забастовки, а затем и революционного захвата власти, начала все более и более овладевать умами. Вождь парламентской социалистической фракции Жорес подвергался иногда резким нападениям со стороны синдикалистов. В частности, теоретики идеи прямого действия настаивали

на том, что только «забастовка мобилизуемых» и всеобщая стачка в момент мобилизации может фактически предотвратить войну; Жорес утверждал, что это средство должно быть пущено в ход одновременно во *всех* готовых вступить в войну державах, ибо иначе погибнет именно та страна, где такая всеобщая стачка произойдет; немцы же (устами Бебеля) определенно заявили, что они не берутся осуществить у себя подобную стачку. Обе стороны продолжали отстаивать свои точки зрения вплоть до 1914 г. Объединение отдельных социалистических групп во Франции в единую социалистическую партию (Французскую секцию рабочего интернационала) произошло в 1905 г. и больше всего связано с именем Жореса. В последний год перед великой войной, к декабрю 1913 г., официально числилось в этой партии 72 765 человек (делающих партийные взносы), но на парламентских и кантональных выборах за социалистических кандидатов подавалось (например, в апреле 1914 г.) около 1,4 миллиона голосов. Число официально зарегистрированных членов партии после войны быстро возросло (в 1920 г. их числилось 180 тысяч человек).

Но и до и после войны число депутатов объединенной социалистической партии в палате депутатов было не настолько значительно ($^1/_{10}$, $^1/_9$, $^1/_8$, $^1/_7$, $^1/_6$ общего числа), чтобы они могли оказывать решающее влияние на направление внешней политики. С другой стороны, приверженцы «прямого действия» на самом деле не имели сил и возможностей организовать всеобщую забастовку в случае мобилизации. Это понимали их враги, это понимали и они сами, и угрозы всеобщей забастовкой не оказывали действия. Об успехах антимилитаризма во Франции перед войной больше всего говорила именно пресса, обслуживавшая крупнокапиталистические круги и близкая к министерству иностранных дел, и делала она это с прямой и ничуть не скрываемой целью вызвать правительство на возможно более широкие репрессии. Фактически французское правительство в своей внешней политике перед войной нисколько с существованием антимилитаризма не считалось. Конечно, стачечное движение в последние 10—12 лет пред войной принимало иногда громадные, непривычные для Франции размеры. Особенно это явление стало учащаться после русской революции 1905 г. Забастовки углекопов, портовых рабочих, матросов и служащих торгового флота, рабочих электротехников следовали в 1906—1913 гг. одна за другой. Раздражали и тревожили представителей правящего класса в особенности быстрое синдицирование и забастовки чиновничьего пролетариата, вроде почтово-телеграфных служащих. Стачка железнодорожников в 1910 г., хотя и неудавшаяся, все же произвела сильное впечатление. Правда, она была воспринята рабочими как поражение, и по позднейшему

свидетельству коммунистической «La vie ouvrière» (№ 65, 20 juillet 1920) число членов федерации железнодорожников, равное до стачки 1910 г. 57 тысячам человек, упало тотчас после стачки до 14 тысяч человек (вскоре — к 1913 г.— оно повысилось до 23 тысяч). Но это стачечное движение не успело вообще стать пред войной фактором решающим.

Можно сказать так: революционные элементы и революционное настроение во французском рабочем классе были пред войной налицо, но не были настолько сильны, чтобы сколько-нибудь резко повлиять на внешнюю политику Франции.

Глава III

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ДО ОБРАЗОВАНИЯ АНТАНТЫ

1. Колониальная политика. 2. Франко-русский союз. 3. Настроения после Фашоды

1

В эпоху, когда Клемансо впервые стал во главе французского правительства, все вопросы внутренней французской политики стали все больше и больше отходить на задний план перед проблемами политики внешней. О министерстве Клемансо нам придется еще говорить, теперь же обратимся к краткому обзору главных течений в области внешней политики Франции за то же первое тридцатилетие существования республики,— от Франкфуртского мира 1871 г. до начала англо-французского сближения в 1902—1903 гг.

Первые годы после поражения 1870—1871 гг. Франция была всецело занята залечиванием своих ран, возрождением армии, уплатой 5 миллиардов контрибуции, внутренними делами, спорами о форме правления. 5 сентября 1873 г. последний миллиард был уплачен победителям, и спустя 11 дней — 16 сентября 1873 г.— последние германские отряды очистили французскую территорию. В 1875 г. Бисмарк некоторое время носился с мыслью о новом нападении на Францию, с тем чтобы уж окончательно разгромить ее и лишить места среди великих держав. Но на этот раз Англия и Россия явно встревожились и дали понять в Берлине о своем неудовольствии. Бисмарк вовремя отступил. Это не только не заставило Францию прекратить реорганизацию и перевооружение армии, но, напротив, побудило ее ускорить военные реформы, и уже к началу 80-х годов Франция снова считалась одной из главных военных держав Европы. Однако союзников у нее не было, и думать о борьбе с Германией она не могла. Со своей стороны Бисмарк, потеряв надежду на возможность нового быстрого разгрома Франции, повел

политику, направленную к тому, чтобы отвлечь французов от европейских дел, занять их умы далекими колониальными предприятиями. Еще в 1878 г., во время Берлинского конгресса, он заговаривал с французским представителем о своем сочувствии идее завоевания Туниса французами. Тунисская экспедиция вскоре после этого была решена в Париже, и в 1881 г. Тунис был завоеван и объявлен под французским протекторатом. Помимо отвлечения французов от Европы Бисмарк мог рассчитывать также, что колониальные предприятия неминуемо должны поссорить Францию с другими колониальными державами. Действительно, завоевание Туниса сильно раздражило Италию, которая тоже питала надежду на Тунис, и Бисмарку легко было в 1882 г. привлечь Италию к союзу с Германией и Австрией (к так называемому с тех пор «Тройственному союзу»). Дальнейшие колониальные предприятия Франции (завоевание Индокитая в 1885—1886 гг., постепенное завоевание Центральной Африки с конца 1880-х годов, завоевание громадного острова Мадагаскара в 1894 г.) неоднократно и очень резко ухудшали отношения между Францией и Англией. С этой точки зрения расчеты Бисмарка оказались верными. Но, с другой стороны, империалистически настроенные круги в Германии были не очень довольны тем, что Французской республике удалось в какие-нибудь 15—20 лет составить себе колоссальную колониальную империю, которая почти в семнадцать раз превосходила своими размерами всю Францию, тогда как за это время Германия приобрела колонии, далеко уступавшие французским и по размерам, и по ценности.

В самой Франции эта кипучая колониальная политика вызывала немало протестов и нареканий. В 1885 г. министерство Жюля Ферри, решительного сторонника колониальных предприятий, пало вследствие яростных нападений со стороны Клемансо, вождя радикальной оппозиции. Клемансо выражал тогда в этом вопросе мнения очень сильных и многочисленных во Франции мелкобуржуазных элементов, которые смотрели на далекие колониальные войны как на нечто им совсем ненужное и даже опасное (напротив, крупный капитал всецело поддерживал Жюля Ферри). Клемансо, нападая на политику колониальных расширений, не переставал указывать, что Франция должна сосредоточивать все свои силы в Европе для охраны своей вечно угрожаемой восточной границы (со стороны Германии). Несмотря на оппозицию со стороны Клемансо, колониальные завоевания Франции продолжались почти без перерывов. Достаточно сказать, что почти 85% всех французских колониальных владений, бывших налицо к 1914 г., завоевано французами именно за время с 1880 до 1914 г. и всего менее 15% существовало до времен Третьей республики. Франция

создала себе колоссальные новые владения и заняла второе (после Англии) место среди великих колониальных держав.

Колониальная политика Франции развивалась кипуче еще до 1891 г., когда был заключен союз с Россией.

[2]

Франко-русский союз был дипломатической комбинацией, которая стала почти неизбежной после заключения в 1879 г. союза между Австрией и Германией, а в особенности с 1882 г., когда к австро-германскому соглашению примкнула Италия и таким образом возник Тройственный союз. Тройственный союз был явно обращен враждебным острием как против Франции, так и против России и, конечно, был сильнее, чем Франция и Россия в отдельности. Положение Франции и России было тем более критическим, что как раз в 80-х годах обе эти державы были в самых натянутых отношениях с Англией: французы из года в год медленно, но неуклонно проникали в Центральную Африку, двигаясь с запада на восток и держа явно курс на верховья Нила, и с каждым годом становилось яснее, что рано или поздно они туда явятся и обострится вопрос об английском владычестве в Египте, а русские войска стояли перед границей Афганистана, и угроза Индии казалась возможной, если не сейчас, то в будущем. При этих обстоятельствах английская пресса, как консервативная, так и либеральная, в общем приветствовала образование Тройственного союза как узды для Франции и России. К тому же английскому правительству стало известно, что Италия, вступая в союз, сделала оговорку: она не обязана воевать, если Тройственный союз выступит против Англии. Самое вступление Италии в Тройственный союз диктовалось двумя соображениями: во-первых, стремлением создать противовес против Франции, только что захватившей Тунис, и, во-вторых, желанием создать терпимые отношения с Австрией, которую Италия не переставала бояться.

Криспи — министр-президент Италии, Кальноки — министр иностранных дел Австро-Венгрии, Бисмарк — канцлер Германской империи,— вот деятели, много поработавшие над укреплением Тройственного союза. К концу 80-х годов этот союз казался не только мощным по своим силам, но и крайне прочно сколоченным дипломатическим сооружением. Для Бисмарка этот союз был нужен с точки зрения охраны существующего положения вещей в Европе, охраны от вечной угрозы со стороны Франции, не мирившейся с потерей Эльзас-Лотарингии; для завоевательно настроенных кругов крупнокапиталистического класса Германии тесное сотрудничество с Австрией было

4*

необходимо для проникновения германских товаров и капиталов на Балканы и в азиатскую Турцию. Для Австрии этот союз был охраной от возможного нападения со стороны России. Об Италии и мотивах, побудивших ее вступить в союз, сказано выше; нужно только прибавить, что германский торгово-промышленный капитал в 80-х, 90-х и 900-х годах прочно обосновался на Апеннинском полуострове и связал Италию с Германией очень сложными и крепкими узами. Франция и Россия оказались изолированными и разобщенными на разных концах европейского континента, лицом к лицу с могущественным Тройственным союзом и с еще более враждебной им и еще более могущественной Англией. Все эти условия привели французское правительство к мысли о сближении и союзе с Россией, а Александра III заставили с большой готовностью в конце 80-х годов на это откликнуться. Собственно, еще в 1881—1882 гг. Гамбетта, с одной стороны, генерал Скобелев, с другой стороны, вели агитацию в пользу франко-русского союза. Но некоторое время Александр III опасался раздражать Германию и старался, одновременно с попытками сблизиться с Францией, не порывать также отношений с Германией, и в 1887 г. согласился заключить по мысли Бисмарка договор с Германией о том, что в случае войны какой-либо державы против Германии Россия обязуется соблюдать нейтралитет, и такое же обязательство берет на себя Германия относительно России. Казалось бы, отныне франко-русский союз становился ненужным для Франции. Но на самом деле агитация в пользу этого союза не прекращалась. На этом сходились самые разнородные направления[1]. Кроме соображений политических, в пользу союза говорили и интересы влиятельнейших в экономическом отношении классов обеих стран. С одной стороны, французские свободные капиталы уже с конца 60-х годов (еще при империи) искали себе выгодного помещения за границей, а к концу 80-х годов эта потребность в выгодном заграничном помещении стала так настоятельна, что сплошь и рядом французские капиталисты и банки вкладывали значительные суммы в довольно рискованные порой предприятия, лишь бы был обещан высокий процент. Россия же представляла огромные в этом смысле выгоды. Во-первых, она могла дать очень хороший процент на вложенные капиталы, и, во-вторых, все же Российская империя представляла собой гораздо более надежное и устойчивое государство, чем какие-нибудь мелкие республики Центральной Америки, Балканские страны или Турция, куда тоже шел французский капитал. В особенности кредитоспособность России в глазах не только крупных, но и очень влиятельных во Франции мелких держателей банковских бумаг могла подняться при гарантии русских займов со стороны французского

правительства, а французское правительство могло (и желало) дать такую гарантию, если Россия пойдет на союз с Францией. Для России же получить в свое распоряжение колоссальные свободные фонды означало получить возможность широко развить как фабрично-заводскую деятельность, так и строительство новых железных дорог. Вся покровительственная таможенная политика Александра III была направлена на усиление производства в России, но это усиление было бы крайне затруднено без непрерывных и широких потоков французского золота. Индустриализация России при Александре III и Николае II была очень сильно двинута вперед французскими капиталами. В общем Франция вложила в Россию более 13 миллиардов франков золотом (к 1912 г.). А в 1890 г. отпало и последнее препятствие к заключению союза: договор 1887 г. между Россией и Германией (который был назван его творцом Бисмарком «договором о взаимном перестраховании») не был возобновлен. Как раз в средних числах марта 1890 г., когда граф Шувалов прибыл в Берлин из Петербурга, чтобы возобновить договор 1887 г., Бисмарк вышел в отставку (17 марта 1890 г.), и договор прекратил свое действие. После этого состоялись демонстративные путешествия французской эскадры в Кронштадт, а русской — в Тулон, и заключение в 1891 г. оборонительного и наступательного союза между Российской империей и Французской республикой. Обе державы обязывались в случае войны с Германией одной из них — немедленно выступить со всеми своими силами на помощь союзнице.

За 23 года своего существования до войны (1891—1914 гг.) франко-русский союз пережил следующие два периода. Период первый — 1891—1907 гг. В это время со стороны русской дипломатии не обнаруживалось ни малейшего желания не только воевать с Германией, но даже вести против нее дипломатическую борьбу, сколько-нибудь длительную и серьезную, по какому бы то ни было вопросу. Что же касается Франции, то и она была далека от агрессивных замыслов, не только вследствие явного нежелания России ввязываться в войну с Германией, но и вследствие ряда иных обстоятельств: сначала (в 1891—1901 гг.) из-за обострившейся борьбы с Англией, а потом — особенно с 1904 г.— из-за ослабления России, втянутой в войну на Дальнем Востоке. Второй период начинается со второй половины 1907 г. и длится до начала войны 1914 г. В сентябре 1907 г. было оформлено (состоявшееся еще в августе) русско-английское соглашение по всем вопросам азиатской политики, где соприкасались интересы обеих держав, и с этой поры Англия примкнула фактически к франко-русскому союзу, хотя формально и не была связана с ним никакими обязательствами. С этого времени в правящих сферах как Франции, так и России

постепенно распространяется и крепнет убеждение, что Тройственный союз в решительный момент окажется слабее Антанты (так стало называться англо-франко-русское соглашение). Это убеждение тем более росло, что с каждым годом Италия все более отдалялась от Германии и Австрии и сближалась с Антантой. На Италию в данном случае могущественно влияла Англия; да и ни для кого не было тайной, что Италия ни при каких обстоятельствах не может и не хочет воевать против той группы держав, на стороне которой стоит Англия: вся длинная береговая полоса Апеннинского полуострова оказалась бы беззащитной перед британским флотом. Кроме того, при переходе на сторону Антанты Италия могла надеяться рано или поздно отнять от Австрии Трентинскую и Триестскую области.

Все эти условия повлияли в смысле некоторого усиления активности франко-русской комбинации относительно Германии и Австрии. Но об этом периоде мы будем говорить подробнее в своем месте, а пока подчеркнем, что в первой своей фазе, в 90-х годах XIX столетия, франко-русский союз был повернут враждебным фронтом не против Германии, но против Англии. И как раз в эти годы обострение франко-английских отношений дошло до кульминационной точки.

[3]

Дело в том, что в победоносном шествии французов по Средней Африке таилась величайшая опасность. Французы шли (медленно, десятилетиями, но непрерывно), двигаясь от запада к востоку, от Атлантического океана к Индийскому, англичане же, завоевывая Восточную Африку, двигались (тоже медленно, десятилетиями, и тоже неуклонно) по долине Нила, с севера на юг. Опытные колониальные политики давно уже предвидели момент, когда оба течения должны были встретиться, и, конечно, встретиться враждебно. Точкой пересечения этих двух движений оказалось местечко Фашода на верхнем Ниле, куда почти одновременно подошли французский отряд под начальством полковника Маршана и английский отряд под начальством лорда Китченера. Произошел острый дипломатический конфликт, достигший высшего напряжения поздней осенью 1898 г. Лорд Сольсбери, стоявший в это время во главе английского правительства, начал весьма недвусмысленно грозить войной, если французы не уйдут из Фашоды. Французское правительство принуждено было уступить. Дальнейший путь на восток Африки был для французских войск закрыт. Раздражение во Франции охватило не только крупнокапиталистические, но даже и часть мелкобуржуазных кругов, которые, как выше было указано, вовсе еще не стояли тогда за

активную колониальную политику. Слово «Фашода» сделалось термином для обозначения национального унижения Франции. Во французской прессе (даже очень националистически настроенной) начали раздаваться впервые голоса, спрашивавшие, кого скорее следует считать вечным, «наследственным» врагом Франции: Германию или Англию? При таком настроении начавшаяся в 1899 г. англо-бурская война вызвала во Франции самое горячее сочувствие к бурам и восторги по поводу первых побед буров над англичанами. В националистических кругах России и Франции некоторое время даже обнаруживалось стремление дипломатически вмешаться в англо-бурскую войну в пользу буров. Была даже сделана попытка, разоблаченная впоследствии Вильгельмом II (в его известном интервью с корреспондентом «Daily Telegraph» в 1908 г.), привлечь и Германию к этому общему выступлению великих держав против Англии. Дело, впрочем, ограничилось лишь проектами, разговорами, статьями угрожающего характера в прессе.

Таково было общее умонастроение французских правящих кругов во Франции к началу XX столетия. Никогда, за все время существования Третьей республики, не обнаруживалось такого примирительного настроения по отношению к Германии, как в 1898—1900 гг., в прямой зависимости от решительной и ожесточенной вражды к Англии. Фашоду называли «вторым Седаном» и требовали отмщения за «национальный позор». Со своей стороны руководящие органы английской прессы во главе с «Times» вели упорную и угрожающую полемику против французских притязаний в долине Нила, а также заняли решительно враждебную позицию относительно французских военных кругов, отстаивавших в эти годы неприкосновенность обвинительного приговора по делу Дрейфуса. Не следует забывать, что дело Дрейфуса как раз в это время вступило в самый острый свой фазис и жестоко волновало всю Францию.

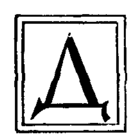
Казалось бы, конечная цель Бисмарка, еще с конца 70-х годов толкавшего Францию в сторону колониальных предприятий, была достигнута: Франция жестоко рассорилась с Англией, и ее позиция в Европе была этим ослаблена. Бисмарк, сошедший в могилу летом 1898 г., еще до Фашоды, мог наблюдать, как приближается исполнение его давнишней надежды. Но ни он, ни его преемники не были приготовлены к тому крутому и неожиданному повороту, который внезапно обозначился с первых же лет XX столетия в английской политике и дал новое направление всем международным отношениям великих европейских держав. Чтобы понять, как этот поворот (точнее, переворот) произошел, нужно рассмотреть, хотя бы вкратце, основные черты английской истории в последние десятилетия XIX в.

Глава IV

АНГЛИЯ В ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ XIX ВЕКА

1. Приобретение Египта. Вражда с Францией. Фашода. 2. Отношения с Германией. Начало антагонизма. 3. Ирландские дела. Отношения с Россией. Бурская война. 4. Чемберлен и его попытки заключить союз с Германией

1



ля Великобритании разгром наполеоновской Франции в 1870—1871 гг. и основание Германской империи в тот момент, когда эти события произошли, казались скорее выгодными. И в самом деле, правящие круги в Англии в большинстве решительно сочувствовали Германии. Франция уже тогда была колониальной и морской державой, которая при известных условиях могла стать опасной для английского владычества на востоке, для английского влияния в Европе. Германия не имела ни колоний, ни флота, ее интересы тогда нигде не встречались с английскими, а с императорской Францией, напротив, в самом конце 60-х годов отношения у Англии были довольно холодными. Прорытие Суэцкого перешейка французами сильно беспокоило Англию. Все эти причины привели к тому, что разгром Франции был встречен в Лондоне очень спокойно; были и злорадные голоса. Но уже в 1875 г. Англия определенно не пожелала допустить нового разгрома Франции, затевавшегося Бисмарком: европейское равновесие и без того было сильно нарушено в пользу Германии. С 1881 г., с начала завоевания Туниса, открывается эра новых французских колониальных экспедиций. В 1882 г. началось завоевание Тонкина и Аннама в Индокитае, и 11 мая 1885 г. эти и сопредельные территории были уступлены Китаем Французской республике. Когда в течение 80-х и первой половины 90-х годов французы присоединили колониальные земли в Центральной Африке и (в 1894—1895 гг.) окончательно захватили остров Мадагаскар, враждебное отношение к Франции стало возрастать в Англии весьма заметно.

Решительное столкновение, как сказано, произошло из-за Фашоды, когда англичане прямой угрозой войны заставили французское правительство отказаться от попытки проникнуть в долину Нила. Дело в том, что в годину конфликта из-за Фашоды и в связи с этим конфликтом для англичан решался окончательно вопрос о Египте.

С самого первого момента после прорытия Лессепсом в 1869 г. Суэцкого канала Англия не переставала стремиться к захвату Египта и вновь прорытого канала, на который она смотрела как на прямой путь в Индию. В 1875 г. Англия скупила почти все акции Суэцкого канала, какими располагало обанкротившееся правительство египетского хедива Измаила-паши. Некоторое время Франция и Англия имели одинаковые права финансового контроля в Египте. Но в 1882 г. все положение круто изменилось. Против европейцев вспыхнуло национальное восстание, и Англия повела в ответ открытую войну против Египта. Франция же отказалась принимать в этой войне активное участие. Англичане бомбардировали Александрию, заняли Каир. С тех пор они уже не уходили оттуда. Фиктивным владыкой Египта оставался хедив, а реальными властителями — англичане. Но в том же (1882) году против них началось новое, очень могущественное восстание под начальством нубийца Могаммеда-Ахмеда, принявшего сан Махди, пророка и наследника Магомета. Посылая против Махди один за другим небольшие отряды, англичане терпели сначала поражение за поражением. Город Хартум, в котором заперся генерал Гордон, был со всех сторон окружен махдистами; спешивший ему навстречу лорд Уольсли опоздал на несколько дней, и Хартум был взят осаждающими, а английский гарнизон (с генералом Гордоном) вырезан. Случилось это в январе 1885 г. Судан был очищен от англичан, и махдисты грозили изгнать их также из Египта.

Правда, эти угрозы так и оставались угрозами, но и англичане далеко не сразу решились покончить с фанатической армией махдистов. Медленно, годами продвигаясь на юг и укрепляясь на постепенно занимаемых позициях, англичане только к осени 1898 г. подошли к Хартуму. Лорд Китченер 1 сентября 1898 г. совершенно стер с лица земли армию дервишей (махдистов) и занял Хартум. С этого времени и Египет, и Судан фактически находятся в английском обладании, и все попытки египтян освободиться от Англии оставались и остаются пока тщетными *.

Эта долгая борьба за Египет увенчалась в том же 1898 г. после военной победы над махдистами дипломатической победой

* Опубликовано в 1927 г.— *Ред.*

над французами в Фашоде. Но отношения с Францией были настолько испорчены и общее дипломатическое положение Англии было настолько ухудшено наступившей в 1899 г. и длившейся около трех лет бурской войной, что британское правительство решилось (в 1898 и в следующие годы) на очень смелый и многозначительный шаг: на предложение союза Германской империи.

2

Шаг этот был совершенно неожиданным. Тут мы должны обратиться к характеристике *англо-германских отношений*, поскольку они начали складываться в последние годы XIX столетия. Эти отношения далеко не сразу получили тот грозный характер, который таким роковым образом повлиял на всю европейскую историю в начале XX в. и был одной из главных причин разразившейся в 1914 г. катастрофы. Но уже с конца 80-х годов английские консулы и английские коммерсанты и частные лица не переставали с самых отдаленных точек земного шара присылать сведения и донесения о все более растущей и заметной конкуренции германского ввоза в самых разнообразных отраслях торговли и промышленности. Эта конкуренция давала себя чувствовать не только в чужеземных владениях — в России, в Южной Америке, в Китае, в Японии, в Италии, на Балканском полуострове, в Малой Азии, но кое-где и в колониях самой Британии, и даже в самом Лондоне. В общем донесения сходились в констатировании четырех основных фактов: 1) германские товары по качеству обыкновенно уступают английскому производству; 2) германские товары значительно дешевле английских; 3) немцы предоставляют оптовым покупателям часто очень льготные и долгосрочные кредиты; 4) немецкий сбыт обслуживается несравненно лучше, чем английский, благодаря громадной армии превосходных коммивояжеров, изучающих потребности рынка, проникающих в самые глухие дебри и способствующих тому, что с каждым годом немецкое производство все более и более применяется ко всем условиям, нуждам, характерным особенностям потребителей.

Началась эта конкуренция в 80-х годах. Но в 90-х годах она с каждым годом принимала такие размеры, что в торгово-промышленных кругах Великобритании стали поговаривать об опасности, грозящей английскому благосостоянию. Это были еще одинокие голоса, но число их все увеличивалось. Нужно вспомнить, что с середины XIX в. англичане привыкли почти к монопольному положению как на рынках сбыта, так и на рынках сырья в большинстве внеевропейских стран, куда вообще допускались европейские товары. Огромные барыши

промышленников позволяли не только из года в год усиливать производство, но и создавали почву, при которой тред-юнионы могли вести (и вели) постоянную и очень успешную борьбу за повышение заработной платы. Большие категории рабочего класса в Англии, под влиянием растущего материального благосостояния, все более и более отходили от традиций чартизма; даже расширение избирательного права как в 1867, так и в 1884 г., фактически распространившее все права на рабочий класс, было достигнуто без какой бы то ни было революционной борьбы. Профессионализм становился в течение всей второй половины XIX столетия основным направлением большинства английского рабочего класса.

Так дело шло, пока предприятия английской промышленности были в цветущем состоянии. Но было ясно, что положение непременно изменится и аполитизм рабочего класса быстро исчезнет, как только в стране настанет безработица и заработная плата перестанет возрастать сообразно с увеличивающейся дороговизной жизни. Для английских политически и экономически господствующих классов опасность от усиливающейся немецкой конкуренции являлась, таким образом, одновременно и экономической, и внутренне-политической опасностью. Но вместе с тем положение вещей в конце 80-х годов и в течение всего последнего десятилетия XIX в. было таково, что как консервативному кабинету Сольсбери (1886—1892 гг.), так и либеральному правительству сначала Гладстона, потом Розбери (1892—1895 гг.) и снова консервативному кабинету Сольсбери (с 1895 г. правившему в Англии) было просто *невыгодно* вступать в сколько-нибудь *неприязненные отношения* с Германией.

3

Три серьезные заботы поглощали внимание британских правителей как раз в 80-х годах и в начале 90-х годов XIX столетия: революционное *движение* в Ирландии, *враждебная* политика России, натянутые отношения с Францией. Что касается Ирландии, то здесь уже в конце 70-х годов начался новый период обострения аграрного вопроса, того вопроса, который целые века (в особенности же с XVII столетия) составлял все содержание ирландской истории. Обезземеленные фермеры, угнетенные высокой арендной платой, грабительством посредников (миддльмэнов), бравших у лендлордов землю в аренду крупными участками и раздававших ее с большой для себя выгодой мелким держателям, прибегали в одни эпохи к открытым восстаниям, в другие — к террору политическому, а чаще всего к партизанскому аграрному террору. Это был основной фон. Немногочисленная и тогда маловлиятельная

сама по себе городская буржуазия Ирландии выставляла из своей среды революционных борцов, которые отчасти уходили в аграрный террор, отчасти же выдвигали на первый план вопрос о политическом освобождении Ирландии от англичан. Борьба велась не только революционным, но и парламентским путем, и обыкновенно парламентские лидеры ирландской партии не одобряли революционного образа действий своих соотечественников, считая их тактику ошибочной. Так, врагом революционных актов был знаменитый О'Коннель, парламентский вождь ирландцев, с именем которого связана в истории отмена ограничительных законов против католиков в 1829 г. и длительная, но безуспешная борьба за ирландское самоуправление в 30-х и 40-х годах XIX в. Но с конца 70-х годов и вплоть до начала 90-х лидером парламентской ирландской группы был Чарльз Парнель, талантливый, энергичный, яркий деятель, блестящий оратор и организатор. Он решительно занял дружественную позицию относительно революционного движения, развивавшегося как раз в эти годы в Ирландии, и вся эта легальная и нелегальная борьба в парламенте и вне парламента глубоко волновала Англию. Глава либерального министерства Гладстон пытался дать Ирландии некоторое самоуправление, но потерпел неудачу, был свергнут консерваторами в 1886 г., и борьба с Ирландией продолжалась неустанно. Когда сошел с политической сцены и вскоре умер (в 1891 г.) Парнель, в парламенте исчезла самая яркая фигура, какая только была в ирландской партии, но брожение в Ирландии не прекращалось.

Поглощенное ирландскими делами, английское правительство должно было считаться в то же время с осложнениями во внешней политике. Начиная с 60-х годов, русское продвижение в Средней Азии не прекращалось. Туркестан, Хива, Бухара, Мерв, Ферганская область — все эти владения либо были присоединены к Российской империи, либо попали в полнейшую от нее зависимость, и уже в 1885 г. русские войска били афганцев сравнительно не так далеко от индийской границы. Еще в 1884 г. русскими войсками был взят Мерв, и вскоре после этого английское правительство определенно и вполне открыто выступило с протестом и с требованием разграничения между русскими и афганскими владениями. Это разграничение после долгих и нелегких негоциаций состоялось в 1896 г. Но истинно миролюбивых отношений между Британской и Российской империями все не устанавливалось: как раз со второй половины 90-х годов XIX столетия начала проявляться крайняя активность русской политики на Дальнем Востоке. Россия заняла Порт-Артур, часть Маньчжурии, и русская угроза английскому влиянию в Китае обозначилась вполне ясно. Вплоть до русско-японской войны или, точнее, вплоть до Портсмутского мира

1905 г. эта русская угроза стояла перед глазами английских правителей.

Не только Ирландия и не только русская угроза приковывали к себе внимание Англии: никогда со времен Наполеона I отношения между Англией и Францией не были так обострены, как именно в последние годы XIX в. Мы уже видели, что английская и французская линии продвижения по африканскому материку скрестились, наконец, в конце 1898 г. в местечке Фашоде на верхнем Ниле и что хотя дело не дошло до войны между Англией и Францией, но отношения казались вконец испорченными. В распространеннейшей парижской газете «Matin» появлялись статьи, прямо направленные против королевы Виктории (например, под названием «Королева, которую следует повесить»: «La Reine à pendre»); на бульварах выставлялись карикатуры на Викторию и на представителей английского правительства, причем некоторые из этих карикатур были таковы, что английский посол выехал на время из Парижа в знак протеста. Наконец, вспыхнувшая в 1899 г. англо-бурская война дала исход этому раздражению, и в 1899—1901 гг. временами возникали даже проекты дипломатического вмешательства в пользу буров. Раньше чем коснуться этого момента (и последовавшего затем крупного поворота в британской политике), мы должны обратиться к первым годам англо-бурского конфликта.

Дело в том, что именно эти первые годы англо-бурского конфликта тесно связаны с первой зарницей приближавшейся катастрофы, с первым открытым проявлением вражды между Англией и Германией. После только что охарактеризованных трудностей в общем положении Великобритании нетрудно понять, что Англия ни в коем случае не желала обострять отношений еще и с Германией.

Да и сама Германия оказывалась до поры до времени одним из крупных и выгодных рынков для английского сбыта.

Если не считать вывоза из Великобритании в ее колонии и доминионы, то на *первом* месте в числе держав, куда сбывались английские провенансы в 80-х и 90-х годах XIX столетия, стоят Соединенные Штаты, на втором Германия, на третьем Франция. Выведено, что в *среднем* за 10 лет (1885—1895 гг.) *ежегодно:*

Англия вывозила своих товаров:

в Соединенные Штаты	на 34 200 000	фунтов стерл.
в Германию	» 26 600 000	» »
во Францию	» 22 000 000	» »

Эти данные выведены на основании официальной английской статистики и подали повод либеральной партии еще со

второй половины 90-х годов вести агитацию против уже возникшей и все усиливавшейся в торгово-промышленном мире вражды к Германии [1].

В течение 80-х годов Англия была полна предупредительности в отношениях своих к Германии, и в 1890 г. уступка Англией острова Гельголанда Германии в обмен на Уганду, Виту и Занзибар праздновалась в Германии как национальное торжество и как победа Германии [2]. Несмотря на умножавшиеся с каждым годом очень беспокойные тайные донесения консулов и открытые констатирования этого факта в газетных статьях со стороны путешественников, торговцев, промышленников, британское министерство иностранных дел отказывалось еще смотреть на Германию как на державу, торговая конкуренция которой уже начинает заметно стеснять и ограничивать английский сбыт. Когда в июне 1895 г. в Англии произошла смена министерства и либеральный кабинет лорда Розбери был заменен кабинетом консерватора маркиза Сольсбери, то портфель министра колоний попал в руки Джозефа Чемберлена, убежденного сторонника соглашения с Германией; да и сам глава правительства, старый Сольсбери, относился к Германии весьма благоприятно. Словом, общее положение Англии было таково, что удобнее и выгоднее было до последней возможности *не замечать* нового противника. Но новый противник напомнил о себе сам и сделал это, воспользовавшись обостренным до крайности уже в середине 90-х годов бурским вопросом.

Обе «крестьянские республики» — Трансвааль и Оранжевая республика — были под угрозой уже в конце 70-х годов. Война, которую против буров начал в 1877 г. Биконсфильд, а закончил в 1881 г. Гладстон, была неудачна для англичан. Конечно, ее можно было продолжать еще несколько лет, и участь буров была бы решена на двадцать лет раньше, чем это случилось на самом деле. Спасения прочного и окончательного все равно для них не было. Горсточка голландских мужиков могла надеяться только на необъятные территории, леса, пустыни, но ниоткуда никакой помощи не видела. В 1881 г. буров спасло нежелание Гладстона в одно и то же время воевать в Египте, в Ирландии и в Южной Африке. Так как Египет и Ирландия были важнее, то Южную Африку (буров) и пришлось временно бросить.

В средине 80-х годов в Трансваале открыто было золото, и туда хлынули полчища переселенцев и авантюристов. Трансвааль стал еще более ценной добычей, чем он мог казаться раньше. Но, кроме того, оказались налицо новые условия, которые опять приковали взоры британского правительства к обеим бурским республикам.

Дело в том, что много событий произошло на черном материке с 1881 г., когда прекратилась англо-бурская война. Гер-

мания успела утвердиться в Юго-Западной и в Восточной Африке, завладев там и тут территориями, правда, экономически не первоклассными, но обширными; Франция успела создать себе большую колониальную империю отчасти на севере материка (прибавив к Алжиру Тунис), отчасти в центре. Махдистское восстание в Судане и верхнем Египте, прямо направленное против англичан и достигшее в первой половине 80-х годов больших успехов, еще не было тогда усмирено, и Хартум оставался в руках восставших. Наконец, Италия предприняла ряд шагов, направленных к завоеванию обширной территории на востоке Африки. При всех этих условиях министр колоний Чемберлен поставил своей целью поспешное укрепление британского владычества в Африке, расширение сферы британского влияния; и — в более далеком будущем — соединение североафриканских владений Англии с южными владениями непрерывной цепью британских территорий, которые были бы рано или поздно соединены железной дорогой Каир—Капштадт.

Завоевание обеих бурских республик стало, таким образом, на очереди дня. С июня 1895 г., когда пал либеральный кабинет лорда Розбери и консерваторы во главе с маркизом Сольсбери овладели властью, портфель министерства колоний перешел в руки лидера унионистов Джозефа Чемберлена. Сравнительно поздно, шестидесяти лет от роду, занял этот человек первенствующее положение в британской политике, но общественная деятельность его началась за двадцать лет с лишком, еще в начале 70-х годов, и он успел сыграть выдающуюся роль в муниципальной жизни г. Бирмингема (где неоднократно избирался в городские головы), а также в парламенте в 80-х и начале 90-х годов. Политическая идея Чемберлена может быть характеризована так: государство не только может, но и обязано вмешиваться в отношения между рабочим и работодателем, и фабричное законодательство должно быть решительно направлено к защите интересов трудящихся; к этому же должны быть устремлены основные тенденции муниципального хозяйства; заработная плата, продолжительность рабочего дня, все другие условия жизни рабочего класса должны быть таковы, чтобы рабочий класс в своей массе был непосредственно и ближайше заинтересован в сохранении и процветании Британской империи; только обладание рынками дешевого сырья и обширными рынками сбыта может обеспечить английскую промышленность настолько, чтобы и промышленники, и рабочие могли безболезненно «делиться прибылями». Другими словами, Чемберлен не верил или прикидывался, что не верит в возможность резкого обострения классовой борьбы, пока английская промышленная деятельность развивается на основе экономической эксплуатации всей Британской империи и на почве

громадного политического могущества и влияния этой империи среди остального мира. Огюст Филон и другие представители позднего манчестерства склонны были сближать идеи Чемберлена с «государственным социализмом». Конечно, это нелепость. Правильнее было бы самую характерную черту его миросозерцания видеть в *неразрывной*, логически обусловленной связи его воззрений на рабочий вопрос с его же безусловным и резко выраженным британским империализмом. Это миросозерцание заставило его, например в 80-х годах, круто разойтись с Гладстоном по вопросу об Ирландии: Чемберлен (бывший в кабинете Гладстона министром торговли) находил нужным всячески стремиться к разрешению аграрного вопроса в Ирландии, но категорически отклонял всякую мысль о сколько-нибудь широком самоуправлении этой страны. В 1886 г. он резко разошелся с Гладстоном, когда тот внес в палату общин билль о самоуправлении Ирландии, и вместе с Гартингтоном стал во главе так называемой либерально-унионистской партии, не перестававшей с тех пор поддерживать консерваторов. Но вместе с тем он продолжал настаивать на необходимости широкого рабочего законодательства и деятельно способствовал созданию фабричного закона 1891 г.

Этот-то деятель и получил в июне 1895 г. от лорда Сольсбери предложение занять пост министра колоний в только что образовавшемся консервативном министерстве. С первых же дней Чемберлен стал душой правительства, далеко отодвинув на задний план прочих членов кабинета (вместе с премьером). Очередной задачей британской политики он признал уничтожение самостоятельности двух бурских республик, и эта задача представлялась ему особенно спешной вследствие дошедших до британских властей в Капской колонии точных сведений о тайных переговорах, ведшихся уже с января 1895 г. между резидентом близкой германской колонии (Юго-Западной Африки) и Трансваалем.

Предлогом к дипломатической вражде, а потом и к объявлению войны послужило требование Англии, чтобы все уйтлендеры, т. е. новейшие переселенцы в Трансвааль, получили все конституционные права трансваальских граждан. Президент Трансвааля Крюгер противился этому из боязни, что такое приравнение в правах повлечет за собой не только фактическое, но и юридическое присоединение Трансвааля к Англии. Исхода не было. Первая попытка вооруженной рукой захватить Трансвааль была сделана в декабре 1895 г. Д-р Джемсон, колониальный деятель и хищник и фанатически настроенный приверженец идеи «британской Южной Африки», друг и сподвижник Сесиля Родса, колонизатора и завоевателя обширных территорий к северу от Капской колонии, собрал отряд добровольцев

и вторгся в конце декабря 1895 г. в пределы Трансвааля; одновременно должно было вспыхнуть восстание в Иоганнесбурге, крупнейшем городе Трансвааля, с преобладающим населением уйтлендеров. Предприятие потерпело полное фиаско: буры разбили отряд Джемсона и захватили в плен большинство участников вместе с самим Джемсоном. И вот тут-то разразился первый инцидент, показавший, что экономическое соперничество между Англией и Германией начинает переходить в открытую политическую неприязнь. Изумленная Европа прочла 4 января 1896 г. отправленную накануне из Берлина телеграмму от императора Вильгельма президенту Крюгеру. Вильгельм поздравлял трансваальского президента с победой и прибавлял, что очень рад, что бурам самим удалось справиться с нападением, не прибегая к помощи дружественных держав. Намек был совершенно ясен: Германия обещала бурам свое покровительство на случай войны с Англией, потому что, если бы Вильгельм имел в виду одного только авантюриста Джемсона (от солидарности с которым поспешил отречься Чемберлен), то не имели никакого смысла слова о помощи дружественных держав. Так это и было истолковано.

Что на самом деле имел в виду Вильгельм, посылая эту явно и умышленно провокационную телеграмму, сказать нелегко. Впоследствии, когда вся вредность этой выходки для Германии обнаружилась вполне, Вильгельм, по раз навсегда усвоенному им правилу, попытался переложить ответственность на Маршаля фон Биберштейна, по совету которого он послал эту телеграмму Крюгеру. Во всяком случае в Англии (особенно в шовинистической «джингоистской» прессе, обслуживавшей интересы крупной промышленности и завоевательного империализма) телеграмма Вильгельма комментировалась долгие месяцы в самом враждебном и воинственном тоне.

Консервативный кабинет, руководимый Чемберленом, и не думал отказываться от своих намерений относительно бурских республик и методически готовился к решительному удару. Но раньше нужно было довести до конца уничтожение махдистов, и это было сделано Китченером 1 сентября 1898 г. при Омдурмане, после чего верхний Египет и Судан оказались в прочном обладании англичан. Спустя несколько недель, в том же сентябре 1898 г., лорд Китченер подошел к Фашоде, где находился французский отряд Маршана, и, как было уже упомянуто в другой связи, возник длительный и крайне острый дипломатический конфликт, окончательно улаженный лишь весной 1899 г., когда (21 марта 1899 г.) была подписана англо-французская конвенция, разграничившая французские и английские владения в области озера Чад и в области бассейна верхнего Нила (по этой конвенции французское влияние было совершенно

устранено из области верхнего Нила, но зато за французами были признаны колоссальные территории западнее этой области по экватору и между экватором и тропиком Рака). Тотчас после окончания этих осложнений с французами Чемберлен опять обратился против Трансвааля. Все лето и раннюю осень перевозились английские войска и военное снаряжение из метрополии в Капскую колонию и дальше — к трансваальской границе. 11 октября 1899 г. вспыхнула война.

Англо-бурская война длилась гораздо дольше, чем предполагали как друзья, так и враги англичан. Буры защищали свою независимость с необычайным мужеством и на первых порах с большим успехом. В течение первых нескольких месяцев англичане терпели поражение за поражением. Буры вторглись в английские владения, осадили Ледисмит, Мэфкинг, Кимберлей, разбили англичан в двух довольно значительных столкновениях. Временами в эту осень и зиму 1899/1900 г. казалось, что война англичанами будет проиграна окончательно.

4

В Европе эти неожиданные события производили необычайное впечатление. В России (в кругах московского дворянства, в редакциях правых газет и органов, националистически настроенных, и еще в кое-каких кругах) некоторое время носились с мыслью о дипломатическом вмешательстве великих континентальных военных держав — России, Франции и Германии — в пользу буров. Мысль была оставлена, да и едва ли был момент, когда можно было серьезно думать о ее осуществлении (хотя русская дипломатия делала негласные шаги в этом направлении в 1900 и в 1901 гг.). Вильгельм, спустя восемь лет, подтвердил (перед корреспондентом газеты «Daily Telegraph», в 1908 г.), что ему делались предложения (со стороны России и Франции) об общем выступлении в пользу буров и будто только благодаря его несогласию дело расстроилось. Так или иначе, вмешательства не произошло.

Но в Англии были весьма осведомлены обо всех этих настроениях. И вот тогда-то Чемберлен решился снова выдвинуть мысль, к которой он склонялся уже с 1897 г., и повторить ход, который во всяком случае должен был предохранить Англию вплоть до окончания бурской войны от неприятных неожиданностей: он предложил Германии вступить в союз с Англией.

Подробности дела стали известны лишь недавно из документов, опубликованных в коллекции «Die grosse Politik der europäischen Kabinette», и из книги тогдашнего секретаря германского посольства в Лондоне Эккардштейна. Его разоблачения вызвали большое волнение в германской печати и спе-

циальной литературе. Сам Эккардштейн и очень многие публицисты современной Германии полагают, что император Вильгельм и канцлер Бюлов совершили одну из самых губительных ошибок, отвергнув английское предложение. Чего бы (говорят они) не могла достигнуть Германия, имея за собой поддержку Англии! Не только была бы немыслима катастрофа 1918 г., но даже и самая война была бы излишней: Германия получила бы такие колониальные владения, такие экономические возможности, что ее полный расцвет был бы делом вполне обеспеченным. С другой стороны, слышатся голоса, доказывающие, что самое предложение Чемберлена либо было нереальным и невозможным, либо непременно втравило бы Германию в войну с Россией и Францией, причем суперарбитром воюющей Европы оказалась бы Англия, которая не посмотрела бы на свой союз с Германией и в решающий момент не дала бы Германии воспользоваться плодами победы. Таковы в главных чертах оба суждения о предложении Чемберлена.

Следует признать, конечно, что Чемберлен, в случае принятия Германией его предложения, получал непосредственную выгоду: Россия и Франция были бы парализованы в своих будущих попытках выступлений против Англии. Не только обеспечивалась бы полная свобода действий Англии в Южной Африке, где все еще не кончалась война с бурами, но британское правительство могло бы увереннее действовать и в Новом Свете. Дело в том, что как раз в это время в Англии с большим беспокойством и недоверием следили за действиями правительства Соединенных Штатов в вопросе о прорытии Панамского канала. Соединенные Штаты очень уверенно шли к безраздельному овладению этим будущим каналом, и все попытки Англии заручиться хоть некоторыми положительными правами относительно этого канала встречались с упорным противодействием. Наконец, осложнения в Китае, где Россия начинала играть все более и более активную роль, тоже заставляли Англию думать о выходе из состояния полной изолированности.

Если Англия, таким образом, только выигрывала от союза с Германией в эту пору, то для Германии вопрос представлялся несравненно сложнее. Правда, сообщая Николаю II об английском предложении, Вильгельм II старался представить дело так, будто союз с Англией открывает перед германским народом самые радужные перспективы; Вильгельму это было нужно для того, чтобы узнать, на какие компенсации может рассчитывать со стороны России Германия, если она во имя «традиционной дружбы» к России откажется от английского предложения. Самая попытка эта обличает характерную для Вильгельма II черту: преувеличенное мнение о степени наивности тех, с кем он имеет дело. Конечно, не только он писал это письмо, когда

5*

уже твердо решил на союз с Англией не идти, но и в России столь же твердо могли быть в это время убеждены, что на союз с Англией Германия ни в каком случае не пойдет (и именно потому, что подобное письмо могло быть написано).

И действительно. Как Вильгельм II, так и канцлер империи Бюлов на союз с Англией решили ответить отказом, по-видимому, даже без особых колебаний. Этот союз неминуемо делал Германию «солдатом Англии на континенте», и война с Россией и Францией делалась вопросом времени. Да притом еще самое время начала войны отныне зависело бы от Англии, а не от Германии. Тяжесть же войны пала бы почти полностью на Германию, и после войны Англия оказалась бы в роли верховного судьи над всеми державами истощенного, обескровленного континента. Мало того. Одержать сколько-нибудь решительную, окончательную победу над Россией и Францией помешала бы Германии сама же Англия, в предначертания которой вовсе не входило безмерное усиление Германии, ее главной экономической конкурентки. Конечно, критикуя тогдашние действия германской дипломатии с точки зрения всей последующей истории, приверженцам Эккардштейна легко утверждать, что хуже того, что на самом деле произошло в 1914—1919 гг., ничего с Германией случиться не могло и что лучше было бы воевать против России и Франции, имея Англию на своей стороне, чем видя ее в стане своих врагов. Но в 1899—1901 гг. об очень близкой мировой войне еще мало думали, и отложить выбор казалось возможным. Вильгельм II именно в эти годы особенно носился с мыслью об образовании союза всех великих континентальных держав против Англии, т. е. его интересовала программа, прямо враждебная планам Чемберлена. Нечего и говорить, что часть верхов крупнопромышленной буржуазии и приверженцы колониальных приобретений были решительно против союза с Англией, особенно тогда, в разгар англо-бурской войны, когда вообще в широчайших слоях германского народа, в средней и мелкой буржуазии, отчасти даже кое-где в рабочем классе проявлялась довольно остро неприязнь к Англии.

На предложение Чемберлена германское правительство не пошло. Но оставаться изолированной Британская империя, как сказано, не могла и не хотела. Германский отказ толкал ее на другой путь. Для того чтобы вступить на этот новый путь, необходимо было произвести крутой поворот руля, нужно было решиться на ряд очень рискованных шагов, на крупные жертвы, на чрезвычайные усилия.

И как раз в этот момент на всемирно-историческую арену вышел новый человек, которому суждено было связать свое имя с этим поворотом в британской политике.

Глава V

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА БРИТАНСКОЙ ИМПЕРИИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ АНТАНТЫ И В ЭПОХУ СОЗДАНИЯ АНТАНТЫ

1. Политика уступок и «умиротворения». Дарование конституции бурам. Аграрная реформа в Ирландии. 2. Ллойд-Джордж. Эра социальных реформ. 3. «Революционный бюджет» 1909 г. 4. Реформа палаты лордов

1

Чтобы понять главную движущую пружину внутренней и внешней политики всех британских правительств, сменявших друг друга у власти в течение тринадцати лет, истекших между завоеванием Англией обеих бурских республик и началом мировой войны, нужно усвоить себе следующую мысль: правящие слои Британской империи, постепенно убедившись в полной неизбежности предстоящего великого столкновения с Германией и давая себе весьма ясный отчет в неизмеримых по своей важности экономических и политических его последствиях для империи и прежде всего для всего социального строя Англии, шли на самые большие, еще недавно считавшиеся совершенно немыслимыми уступки, жертвы, компромиссы, лишь бы обеспечить к решительному моменту наибольшие для себя шансы победы над грозным врагом, лишь бы для этой цели 1) свести к минимуму возможность революционного взрыва в самой Англии или в Ирландии, в только что покоренной части Южной Африки или в Индии и 2) заручиться возможно большим количеством союзников среди великих, а также и второстепенных держав. Оба пункта этой программы требовали часто очень больших и чувствительных жертв, и много таких жертв было принесено в 1901—1914 гг. Этот тактический прием увенчался удачей, правда, не полной (с точки зрения тех, кто его пустил в ход). Второй пункт — приобретение Англией союзников — будет

нами рассмотрен в следующей главе. Тут мы обратимся пока исключительно к первому пункту и рассмотрим политику британского правительства в пределах самой империи.

Отметим прежде всего, что эта политика в только что указанном отношении не менялась в течение всего данного периода, охватывающего все царствование Эдуарда VII (22 января 1901 г.— 10 мая 1910 г.) и первые годы царствования его сына и преемника Георга V (с 1910 г. до начала мировой войны 1914 г.), хотя за это время успело смениться несколько разнохарактерных кабинетов: консервативный кабинет лорда Сольсбери (до июля 1902 г.), консервативный кабинет Бальфура (июль 1902 г.— декабрь 1905 г.), либеральное министерство Кемпбель-Баннермана (декабрь 1905 г.— апрель 1908 г.), либерально-радикальный кабинет Асквита (с апреля 1908 г. до декабря 1916 г.). Консерваторы вели политику уступок в ирландском вопросе и в колониальных делах, либералы проводили ее в области социально-экономических и политических отношений в самой Англии, но все время это была та же политика последовательных уступок с целью хоть на время скорейшего умиротворения недовольных элементов. Вот главные этапы этой политики.

1. 31 мая 1902 г. по договору, подписанному в Претории, буры, окончательно и безнадежно побежденные и абсолютно лишенные возможности продолжать войну, признали себя подданными английского короля. Им, однако, не только сразу же была обещана широчайшая автономия и вся полнота гражданских и политических прав, но и, в самом деле, обещанное было реализовано. После некоторых видоизменений окончательно введена была конституция, по которой законодательная власть принадлежит избранным всеобщей подачей голосов народным представителям, а министерство, назначаемое губернатором, сменяется в зависимости от вотумов палаты (перед которой министерство ответственно). Губернатор назначается королем, и Эдуард VII назначил губернатором генерала Боту, который был душой упорного сопротивления англичанам во все годы англо-бурской войны. Это не значит, конечно, что все обстояло и обстоит идиллически благополучно в бывших бурских республиках и что все довольны. Положение рабочего класса (не говоря уже о жесточайше эксплуатируемых привозных китайских кули) несравненно хуже на юге Африки, чем, например, в самой Англии. Есть и еще справедливо недовольные элементы населения, например кафры. Но главная цель была достигнута: когда в годы мировой войны (в 1914, отчасти в 1915 г.) образовалась небольшая группа повстанцев в Южной Африке, решившая начать борьбу с Англией, то к ней мало кто примкнул, и движение без труда было раздавлено. А в общем

бывшие бурские республики в 1914—1918 гг. не вредили, но помогали англичанам. Но плоды этой политики сказались впоследствии, а в 1902—1906 гг., когда она проводилась, многие (в том числе очень влиятельные органы континентальной прессы), с удивлением отмечая эту неслыханную уступчивость победителей после такой долгой и яростной борьбы, усматривали тут неопровержимое доказательство внутреннего сознания слабости Англии.

2. Еще большее впечатление произвела следующая по времени уступка английского кабинета: консервативный кабинет решил сделать то, перед чем отступил даже Гладстон. Решено было провести в широком масштабе коренную аграрную реформу в Ирландии и превратить, несмотря на громадные затраты, безземельного ирландского арендатора, вечного, стихийного революционера, в мелкого собственника. Другими словами, нужно было ликвидировать наследие истории, вернуть землю, отнятую окончательно у ирландцев в XVII столетии, ирландским обезземеленным крестьянам, а лендлордов, которые этой землей владели и эксплуатировали безземельных ирландцев именно при помощи аренды этой самой земли, вознаградить в той или иной мере из государственных средств. Это было сделано в 1903 г., когда консервативный кабинет Бальфура провел через парламент аграрную реформу (билль Уиндгема), дававший кредиты в 112 миллионов фунтов стерлингов для выкупа у лендлордов земли и отдачи ее крестьянам-фермерам на основе очень облегченных, сильно рассроченных платежей.

Весь выкуп земли рассрочивался для фермеров на 68 лет, причем платежи были значительно (около 25%) ниже той арендной платы, которую за эту же землю приходилось прежде платить лендлорду, владельцу земли. Последствия этой реформы были колоссальны, особенно с того момента, когда (в 1909 г.) был введен в известных случаях принцип принудительного отчуждения земли, если лендлорд не соглашается продать свою землю правительству (которое уже от себя раздавало землю крестьянам-арендаторам, а они обязывались в 68 лет выплатить правительству должную сумму). Еще до войны приблизительно половина всей лендлордской земли перешла к крестьянам, и в течение войны и после нее этот процесс не останавливался. Мелкая крестьянская собственность была насаждена в Ирландии с необычайной быстротой. Казне приходилось считаться с громадными расходами, так как лендлордам платилось заведомо больше (на 12%) против рыночной цены на землю. Любопытно, что даже после издания правил о принудительном отчуждении (в 1909 г.) правительство продолжало переплачивать лендлордам за их землю. Правительство неохотно пускало в ход «опасный» прием насильственного

отчуждения. Но самое существование этого акта о насильственном отчуждении имело магическое действие: всякое сопротивление со стороны лендлордов прекратилось.

2

Ликвидация бурской войны и ирландская аграрная реформа были лишь началом той эры уступок и компромиссов в жизни Британской империи, о которой тут идет речь. Предстояли еще большие решения — тоже компромиссные, тоже рассчитанные на ближайшие годы — по целому ряду существеннейших вопросов всего социально-политического уклада и быта империи. Германская конкуренция усиливалась из года в год, кризис в разных отраслях английской промышленности нарастал, призрак безработицы, уменьшения заработной платы все чаще и чаще становился перед рабочим классом Англии. Если уже в 90-х годах кончилась эра почти монопольного владычества английского импорта на многих рынках, то в 900-х годах вопрос уже начинал ставиться как будто о *вытеснении* Англии с некоторых из этих рынков. Стихийное революционизирование рабочего класса, не замечавшееся в Англии с самого конца чартизма, т. е. с конца 40-х годов XIX в., теперь, при все ухудшающейся общей экономической конъюнктуре, неминуемо должно было в ближайшем будущем снова стать на очередь дня. Все эти возможности и опасности были учтены правящими слоями буржуазии. Но раньше чем предприняты были шаги в сторону социально-политических и финансовых реформ, консервативная партия, руководимая в этом случае (как и во многих других) унионистом Чемберленом, выдвинула мысль о введении протекционизма, т. е. о сильнейшем ограничении существовавшей в Англии более полувека свободы торговли. Мысль протекционистской агитации была та, что необходимо все колоссальные владения британской короны закрыть для иностранных конкурентов и сделать империю как бы единым монопольным рынком сырья и сбыта для продуктов британской промышленности. Таким путем, правда, не решался полностью вопрос об опасностях германской конкуренции на мировом рынке вообще, но такая значительная часть мирового рынка, как Британская империя, оказывалась обеспеченной от проникновения чужих товаров. Но эта агитация натолкнулась на упорное сопротивление. В средней и мелкой буржуазии и в рабочем классе существовало распространенное мнение, что протекционизм сильно удорожит жизнь в Англии и не принесет столь серьезных компенсаций, чтобы стоило идти на этот рискованный опыт. Выборы, происходившие в январе 1906 г., показали, что от протекционизма большинство избирателей спасения не ждет. В палате, избранной в 1900 г. и правившей до конца 1905 г., числилось 374 консер-

ватора: в январе 1906 г. их было выбрано 132. Либералов и членов рабочей партии, которых в 1900—1905 гг. было в палате общин всего 186, в январе 1906 г. было выбрано 428. Это большинство подкреплялось еще ирландскими националистами, которые ждали от либерального кабинета введения ирландского самоуправления. Так как главным пунктом избирательной платформы был именно вопрос о введении протекционизма, то подавляющее большинство, полученное врагами протекционизма — либералами и рабочей партией,— на ближайшее время, по крайней мере, совершенно прекращало всякие разговоры об уничтожении свободы торговли.

Членов рабочей партии было избрано в январе 1906 г. 54 человека, и они, примыкая к либеральному большинству во всех вопросах проведения социальных, политических и финансовых реформ, в то же время не сливались с этим большинством, а настойчиво требовали неотложного проведения намеченных реформ и систематически «радикализировали» либеральную партию. Моральный вес 54 членов рабочей партии в парламенте был велик не только благодаря большому количеству рядовых членов партии; ее поддерживали даже многие из тех элементов рабочего класса, которые впоследствии резко разошлись с рабочей партией и ушли от нее далеко влево, в сторону революционного прямого действия.

На конгрессе рабочей партии в Манчестере в 1901 г. левое (марксистское, революционно-социалистическое) течение оказалось в значительном меньшинстве; в 1902 г. в Ньюкасле оно уже овладело почти половиной конгресса (291 тысяча представленных голосов против 295 тысяч); в 1904 г. в Брэдфорде оно опять оказалось в значительном меньшинстве, а в 1905 г. на конгрессе в Ливерпуле и в 1906 г. на конгрессе в Лондоне левое радикальное течение одержало положительную победу. Для либерального правительства вывод был ясен: реформы «сверху» — и довольно поспешные — становились решительно необходимы. Дело было не в нескольких десятках парламентских голосов рабочей партии, а в миллионах рабочих, о настроении которых можно было судить на основании этих фактов. Руководящим деятелям по внутреннеполитическим делам в либеральном кабинете, вступившем во власть тотчас же после выборов, стал не глава кабинета Кемпбель-Баннерман, а министр торговли Давид Ллойд-Джордж. Ллойд-Джордж по происхождению своему принадлежал к мелкой сельской буржуазии Уэльса; он занял в кабинете позицию крайнего радикала в политике и приверженца идеи (как он сам сформулировал однажды) наибольших уступок рабочей партии, какие только возможны без революционного разрушения существующего социального строя. Другими словами, именно он и сделался главным проводником политики

далеко идущих компромиссов. Еще только собираясь вступить в кабинет, Ллойд-Джордж прямо заявлял, что или либеральная партия осуществит серьезные социальные реформы, вступит в борьбу с «безбожной эксплуатацией» всего народа земельными магнатами, потребует и достигнет ослабления «феодальной твердыни», т. е. палаты лордов, мешающей всем социальным реформам, проведет ряд мер против «постыдной нищеты» рабочих кварталов, или же возникнет и усилится новая партия, которая сметет прочь старых либералов. Другими словами, Ллойд-Джордж хотел сделать либеральную партию партией социальных реформ, которая вовремя «предотвратила бы» или «задержала бы» обострение борьбы между социализмом и капиталистическим миром. «До сих пор не было сделано никакого реального усилия, чтобы противоборствовать социалистической миссии между рабочими. Когда это усилие будет сделано, вы найдете приверженцев даже между рабочими»,— так заявлял он в 1905 г.

Что и Ллойд-Джордж при всем своем мнимом «пацифизме» никогда не терял из виду возможной войны с Германией и руководился этой перспективой, он доказал, как увидим далее, в июле 1911 г., когда именно его угрожающее выступление в разгаре марокканских осложнений чуть не привело к взрыву общеевропейской войны, ровно на три года раньше, чем это случилось на самом деле. Тогда, в 1911 г., опасность революционных волнений в рабочем классе была в Англии меньше, чем в тот момент, когда либеральный кабинет получил власть. Так, по крайней мере, судила пресса правящих кругов.

Напомним вкратце, что было сделано либеральным кабинетом в эти годы, в особенности с 1908 г., когда после болезни и отставки Кемпбель-Баннермана первым министром стал Асквит, а Ллойд-Джордж покинул министерство торговли и стал канцлером казначейства.

Прежде всего был проведен ряд законов, не только обеспечивающих даровое первоначальное образование для детей неимущих родителей, но и дающих возможность дарового питания детей в столовых при школах. Затем (в 1907 г.) сильно сокращена была возможность пользования ночным трудом, а ночной труд женщин-работниц был воспрещен совершенно. Все правила по охране здоровья рабочих, работающих на фабриках, были распространены полностью на рабочих, которые работают либо у себя на дому, либо на квартире у хозяев. Рядом законоположений были значительно расширены права на вознаграждение и возмещение, а также на пожизненные пенсии, на лечение и т. п. во всех случаях несчастий с рабочими, происшедших при работе, а также в случае появления так называемых «профессиональных болезней» у рабочих (1906—1907 гг.). Под суровый и активный контроль были поставлены все отрасли промышлен-

ности, где, по существу дела, здоровье рабочих подвергается особой опасности. Было установлено 11 категорий таких вредных отраслей производства, и для постоянного наблюдения за исполнением всех правил, специально выработанных для этих отраслей, кабинет создал 11 новых должностей особых инспекторов, которым вменялось в обязанность беспощадно возбуждать судебные преследования против хозяев, виновных в умышленном — или хотя бы по небрежности — нарушении этих правил. В 1908 г. для шахтеров был установлен восьмичасовой рабочий день. Ряд законов, изданных в 1906—1909 гг., был направлен в той или иной степени к защите интересов трудящихся в отдельных отраслях промышленности. Правительственная пресса склонна была очень сильно преувеличивать, конечно, значение этих частичных улучшений для рабочего класса.

В 1909 г. особым парламентским актом была создана организация бирж труда, которая дала правительству ряд указаний, позволивших приступить к выработке обширного закона о страховании рабочих. Рабочие, лишившиеся работы и не находящие новой не по своей вине, получили право на пособие на время безработицы со стороны государства. Все люди наемного труда получили также право на пособие в случае болезни и старости. По этому закону (Insurance Act), выработанному Ллойд-Джорджем, каждый рабочий имеет право в случае болезни получать в течение 172 дней по 10 шиллингов в неделю, а работница — по $7^1/_2$ шиллингов в неделю. Лекарства и медицинская помощь, сверх того, — бесплатно. Что касается стариков, неимущих и неработоспособных, то они (как мужчины, так и женщины) должны были получать отныне по 5 шиллингов в неделю. Еще до того, как прошел этот закон о страховании, правительство провело (в 1906 г.) билль о расширении прав профессиональных союзов (тред-юнионов). За тред-юнионами было признано право организовывать обход фабрик и заводов особыми их уполномоченными для мирного убеждения рабочих в уместности коллективного прекращения работ в данном предприятии. С другой стороны, тот же билль уничтожал судебную (в порядке гражданских исков) ответственность тред-юнионов перед предпринимателями, потерпевшими убытки от тех или иных действий тред-юнионов (например, от призыва к стачке). После бурной оппозиции со стороны консерваторов этот билль прошел. В 1909 г. тред-юнионам было дано право образовывать — вместе с представителями предпринимателей — смешанные комиссии для установления размеров заработной платы в угольной промышленности, а также во всех промыслах, где работа берется рабочими на дом.

Целый ряд более частичных законоположений, проведенных в те же годы (1906—1910), а также административных

распоряжений, исходивших от отдельных министерств, необычайно усиливал юридически и материально тред-юнионы и подкреплял парламентский союз либеральной партии с рабочей партией. Одновременно правительство сделало ряд шагов в сторону раздробления землепользования и воссоздания почти исчезнувшего в Англии класса мелких земельных держателей. В 1907 г. лорд Каррингтон, министр земледелия, разделил коронные земли на мелкие участки и роздал их в пожизненную аренду. В следующем (1908) году прошел закон, имеющий колоссальное принципиальное значение для Англии: по этому закону (Small holdings and Allotments Act) советы графств дают безземельному земледельцу для обработки и пожизненного пользования мелкие участки земли, которые этими советами — а в некоторых случаях правительственными комиссарами — выкупаются из земель лендлордов по рыночной стоимости земли в данном месте. Получающие эту землю и их преемники по пользованию обязаны платить государству за аренду, но *не* считаются собственниками этих участков, и выкупная сумма покрывается самим же государством. Принцип *обязательного* отчуждения лендлордской земли был, таким образом, применен не только к Ирландии, но и к самой Англии. Мы видим, таким образом, в 1906—1909 гг. ряд законодательных и административных усилий, направленных отчасти к привлечению рабочего класса, отчасти к созданию и укреплению мелкой сельскохозяйственной буржуазии. Эта политика продолжалась, может быть, несколько более замедленным темпом также в 1910—1914 гг., но с 1909 г. правительство должно было предпринять и выдержать упорную борьбу за свой новый бюджет.

3

Это был тот знаменитый, исторический «революционный бюджет» 1909 г., который значительно усиливал фискальные поборы с недвижимой собственности, с капитала, с нетрудового дохода вообще, в самом широком смысле. Очень значительно были повышены также государственные взыскания при передачах имуществ, особенно при получении наследств. Крупнособственнические, землевладельческие по преимуществу, элементы, могущественные в Англии, пошли походом против этого бюджета. Все упования врагов бюджета перенеслись на палату лордов. В своей речи в Глазго лорд Мильнер, обращаясь через головы своих слушателей к палате лордов, убеждал лордов «отвергнуть бюджет — и к черту последствия!» «Лорды отвергли бюджет, и сами пошли к черту»,— ответил на это уже много спустя Ллойд-Джордж.

Два вопроса не могут не возникать у читателя: 1) Почему

этот бюджет стал необходимостью? 2) Какие именно общественные классы боролись против него с таким упорством? Ответ на первый вопрос нетруден. Закон о страховании безработных и престарелых, да и другие законы, как проведенные в 1906 — 1909 гг., так и намеченные к законодательным сессиям на ближайшие годы, требовали огромных затрат из средств государственного казначейства. Общая же тенденция правительственной политики побуждала построить новый, расширенный бюджет на сильном увеличении налогового бремени, падающего именно на наиболее состоятельные слои населения. Что же касается другого вопроса, то на него можно ответить так: в оппозиции к «революционному бюджету» Ллойд-Джорджа оказались прежде всего крупные земельные собственники и часть больших индустриальных и финансовых магнатов. Но и главная масса торгово-промышленной буржуазии приняла бюджет без особого восторга, а отчасти и с некоторым ропотом; очень уж он показался радикальным. Принятие бюджета не только либеральным большинством, но даже частью консервативного меньшинства в палате общин показало, что на эту меру правящая буржуазия посмотрела именно как на необходимую уплату по счетам за издержки, уже раньше признанные не только целесообразными, но и прямо необходимыми. Положение усложнялось тем, что одновременно с расходами, вызывавшимися новым социальным законодательством, приходилось думать также о непомерно увеличивавшихся издержках на армию и флот: ведь об антагонизме с Германией нельзя было никак забыть ни на один миг. Еще в 1895 г. военно-сухопутный бюджет Англии был равен $19^1/_2$ миллионам фунтов стерлингов, а в 1905 г.— 33 598 тысячам ф. ст. Морской бюджет в 1895 г. был равен 27 742 тысячам ф. ст., а в 1905 г.— 42 769 тысячам ф. ст. Расходы по закону о рабочих пенсиях уже в 1911 г. должны были дойти до $12^1/_2$ миллионов ф. ст.; вообще приходилось уже в 1909 г. предвидеть колоссальное развертывание расходного бюджета в ближайшие годы.

Ллойд-Джордж, составляя свой бюджет, решил нажать налоговым прессом прежде всего на верхушку землевладельческих магнатов и представителей высшей плутократии. *Половина* всего земельного фонда Великобритании принадлежит всего $2^1/_2$ тысячам собственников. Вообще же 95% *всего* национального капитала находилось в 1908 г. в руках $^1/_9$ части населения [1]. Было ясно, что при такой концентрации движимых и недвижимых богатств налоговый пресс можно нажимать вполне безопасно и даже с одобрением громадного большинства народа, пока это нажимание будет направляться на крупные капиталы и земельные владения. И действительно, новый бюджет Ллойд-Джорджа круто повышал налоговое бремя на большие доходы

и уменьшая зато налоги на средние и малые доходы (от 200 до 2 тысяч фунтов в год). От этого проигрывали всего 10 тысяч человек, но выигрывали 700 тысяч. Сильно повышались налоги на земельную собственность, на наследство, на торговлю спиртными напитками. В общем, больше 75% всех новых расходов покрывались новыми статьями прихода, уплачивавшимися исключительно состоятельными классами.

Ллойд-Джордж говорил, что своим бюджетом он бьет, во-первых, земельных магнатов и, во-вторых, кабатчиков. В самом деле, «революционный бюджет» 1909 г. отличается от предыдущих бюджетов прибавкой доходных статей на 17,2 миллиона ф. ст. Из этой суммы землевладельцы уплачивают *новых* налогов и пошлин 6350 тысяч ф. ст., владельцы водочных заводов и питейных заведений — 4,2 миллиона ф. ст., подоходный налог увеличивается на 3,5 миллиона ф. ст., такса, взимаемая с автомобилей, подымается на 600 тысяч ф. ст. Собственно только две статьи косвенно или прямо затрагивают карман всего населения: прибавка на марки (650 тысяч) и увеличение пошлины на табак (1,9 миллиона ф. ст.). Ллойд-Джордж заявлял, что эти новые доходы, взимаемые им с земельных магнатов, с питейных заведений, отчасти с капиталистов вообще, нужны государству для новых социальных законов, направленных к улучшению быта рабочего класса и вообще неимущих. Борьба против бюджета со стороны затронутого меньшинства велась ярая, но, конечно, совершенно безуспешная. Бюджет Ллойд-Джорджа прошел в палате общин. Но 30 ноября 1909 г. в палате лордов он был отвергнут большинством 350 голосов против 75. Этот вотум лордов поставил на очередь дня самый вопрос о существовании аристократической палаты наследственных законодателей.

4

В палате лордов числилось в 1909 г., когда возник этот жестокий конфликт с правительством, 606 членов, из них меньше 90 было на стороне либерального кабинета, остальные же — консерваторы. Притом среди консерваторов была обильнее всего представлена именно та землевладельческая аристократия, которая больше всего была затронута бюджетным биллем Ллойд-Джорджа. Провал этого билля в палате лордов вызвал бурю негодования как в рабочем классе, так и в некоторых слоях мелкой буржуазии. Решительно был поставлен по инициативе Ллойд-Джорджа и на митингах, и в прессе вопрос о целесообразности дальнейшего существования архаического, средневекового учреждения, где люди заседают по праву рождения, где эти пожизненные и наследственные законодатели пользуются правом уничтожить любой закон, желательный народным пред-

ставителям и принятый уже палатой общин. В начале 1910 г. произошли общие парламентские выборы. Правительственное большинство заняло в новой палате 386 мест, консервативная оппозиция — 273. Из правительственного большинства 275 человек принадлежало к либеральной партии, 40 — к рабочей, остальные 71 — к ирландским националистам. Эта палата просуществовала недолго. Правительству не удалось достигнуть никакого соглашения с лордами. Палата общин приняла билль, вовсе лишавший палату лордов права отвергать законопроекты, прошедшие через палату общин; за палатой лордов оставалось только право отсрочивающего, но не окончательного *вето*. Что же касается «финансовых биллей» (т. е. прежде всего бюджета), то они даже без отсрочки становятся законами, и лорды теряют право даже вносить в них какие бы то ни было изменения, и вся их роль относительно финансовых биллей сводится к чистейшей формальности. Все прочие билли, даже в случае непринятия их лордами, становятся законами и входят в силу, если палата общин примет их в трех сессиях подряд. (Подпись короля остается по-прежнему обязательной для всякого закона.) Но раньше, чем добиваться принятия этого законопроекта, менявшего английскую конституцию, правительство решило снова распустить парламент. Новые выборы (в декабре того же 1910 г.) дали почти те же результаты, что и январские. Законопроект о палате лордов прошел через нижнюю палату и после некоторых колебаний через палату лордов, которая, таким образом, как бы сама наложила на себя руки: но ей ничего другого не оставалось сделать, так как ей было дано понять, что в случае сопротивления король своей властью назначит такое количество новых либеральных лордов, что законопроект все равно пройдет. В августе 1911 г. билль о палате лордов был подписан королем.

Таким образом, не только бюджет Ллойд-Джорджа стал законом (лорды его приняли еще до реформы их палаты), но и попутно была уничтожена твердыня аристократических привилегий. Оправдывались слова Ллойд-Джорджа, сказанные им еще в 1909 г., когда лорды отвергли его бюджет: «Теперь они попались! Их своекорыстие победило их хитрость!»

Уничтожение законодательной власти палаты лордов было одним из заключительных актов внутренней политики либерального кабинета, последовательно стремившейся к уменьшению горючих материалов, которые могли бы стать особенно опасными в случае военного столкновения с Германской империей. Другим из этих заключительных актов было проведение закона о вознаграждении депутатов. Только с этих пор из английского политического быта исчезла одна из характерных черт периода безраздельного господства аристократии и плутократии.

Это не означало, что исчезли *все* черты, *все* пережитки этого периода. И вообще английские публицисты либерального лагеря склонны крайне преувеличивать значение всех этих довоенных реформ. В действительности, ни колониальный, ни ирландский, ни тем более рабочий вопрос, ни финансовый, ни даже вопросы конституционные не были «разрешены» в период 1901—1914 гг. Но потенциальная *опасность* этих вопросов была *несколько* уменьшена, их революционное *острие* было отчасти *временно* притуплено. С *этой* точки зрения и консервативный кабинет Бальфура до конца 1905 г., и либеральные кабинеты Кемпбель-Баннермана в 1905—1908 гг. и Асквита в 1908—1914 гг. сделали многое, что позволило английской дипломатии встретить грозу 1914 г., не боясь сколько-нибудь сильного внутреннего взрыва.

А грядущие события 1914 г. уже давно начали «отбрасывать свою тень» (по английскому выражению) на всю европейскую политику. В те самые годы, когда в Англии общественное внимание было поглощено отмеченными внутренними вопросами, за кулисами король Эдуард VII, при полном согласии и сочувствии как консервативного, так, впоследствии, и обоих либеральных кабинетов, создавал Антанту.

Нам важнее всего, конечно, не детали его действий, не дипломатическая обстановка, среди которой возникла и укрепилась Антанта, но те объективные факты — прежде всего экономического характера,— которые сделали Антанту со всеми роковыми ее последствиями сначала возможной, а потом и неизбежной. Мы подошли к тому моменту, когда враждебная коалиция окружила Германию. Раньше чем приступить к рассказу об этом сложном факте, так могущественно повлиявшем на дальнейшие события, мы должны дать хотя бы в самых сжатых чертах характеристику исторического пути, пройденного Германией с конца XIX столетия вплоть до того времени, когда она начала уже чувствовать медленное стягивание и сжатие кольца, в котором она очутилась, и предприняла ряд попыток, направленных к тому, чтобы разорвать это кольцо и чтобы *тем же усилием, тем же ударом* превратиться окончательно в «мировую державу».

Самая двойственность этой цели тоже является одной из трудностей при всякой попытке анализа событий, предшествовавших взрыву мировой войны. Но мы должны стараться «не представлять вещи проще, чем они есть на самом деле» (в этом грехе упрекнул покойного историка философии Куно Фишера его слушатель, недавно скончавшийся известный филолог Магнус). Между тем именно этим грехом страдает в большинстве случаев европейская историография (не только германская), когда касается последних десяти лет, предшествовавших войне.

Глава VI

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГЕРМАНИИ ОТ ОБЪЕДИНЕНИЯ ИМПЕРИИ ДО ОБОСТРЕНИЯ АНГЛО-ГЕРМАНСКОГО СОПЕРНИЧЕСТВА

1871—1904 гг.

1. Рост германского капитализма в первые десятилетия существования империи. 2. Германские партии. Эволюция социал-демократии. 3. Германская правительственная машина. Руководящие деятели. Князь Бисмарк. «Социальное законодательство». Закон против социалистов. Перелом в истории тарифного законодательства Германии. 4. Начало правления Вильгельма II. Отставка Бисмарка. Борьба Вильгельма II с социал-демократией. Торговые договоры. Гражданское уложение. Общий характер первых 15 лет царствования. 5. Внешняя политика Германской империи в описываемый период. Колонии. Политика послебисмарковской эпохи. Телеграмма Крюгеру. Начало ухудшения отношений с Англией. Захват Циндао. Идея экономической экспансии в Малой Азии. Концессия на Багдадскую железную дорогу. Китайские дела

1

Некоторым германским историкам и публицистам, которые в наши дни пытаются набросать картину недавнего прошлого, кратковременную сорокасемилетнюю историю «бисмарковской империи», иногда эта история представляется рядом роковых, непоправимых ошибок, порождавших болезни, которые долго и тайно разъедали могучий организм и в решительный момент его обессилили и погубили; иногда, напротив, эта история представляется некоторыми из них историей цветущего рая, который погиб прежде всего из-за зависти, соревнования, опасений, непримиримого своекорыстия внешних врагов, раздавивших в конце концов Германию исключительно численным и материальным превос-

ходством своих соединенных сил. Обе эти точки зрения я тут упоминаю только затем, чтобы подчеркнуть, насколько до сих пор еще в историографии не изжиты воззрения, которые более достойны младенческих времен исторической науки, чем XX столетия. Эти воззрения и методы рассуждения способны скорее запутать самую несложную проблему, чем помочь справиться с вопросом, в самом деле крайне трудным; а он так труден, что, *даже подходя к нему не с такими рассуждениями, но с* методом бесконечно более надежным и реальным, все же нельзя надеяться справиться со всеми трудностями этого вопроса при помощи нескольких шаблонных фраз.

Германский народ, создавший величайшую культуру, занимающий одно из первых мест во всех без исключения областях духовного творчества, являющийся в полном смысле слова великим народом по своим исключительным интеллектуальным дарованиям и качествам характера, достиг к средине второго десятилетия XX в. колоссальных успехов в экономической своей деятельности, громадного политического могущества — и с этой головокружительной высоты был низринут после долгой титанической борьбы против самого могущественного союза великих держав, какой только видела история. Нас не интересует тут особенно тот вопрос, который так страстно обсуждался и продолжает до сих пор обсуждаться в германской публицистике и историографии: насколько виновны в катастрофе ошибки германской дипломатии и действительно ли германская дипломатия была по своему личному составу так уже поголовно неудовлетворительна, как об этом принято писать (и как об этом настойчиво говорили в Германии еще задолго до катастрофы). К слову замечу, что уже наличность таких выдающихся людей, как князь Лихновский, Брокдорф-Ранцау, Бернсторф, Кидерлен-Вехтер, Маршаль фон Биберштейн, не даст ни малейшего права говорить об общей будто бы неудовлетворительности германской дипломатии. Более важно другое: почему этим только что названным умным и проницательным политикам не удалось, несмотря на их усилия, спасти Германию от катастрофы? Почему возобладали не они, а именно те, которые толкали страну в пропасть? А еще важнее третье: понять неимоверную сложность исторически сложившейся обстановки, в которой германский капитализм начал в XX в. бороться за свое самоутверждение и преобладание. Только анализ этого вопроса и может дать некоторый ключ к пониманию событий.

С самого начала усвоим себе следующее. При условии существования капиталистического строя в Германии, в Англии и в остальном мире, «проба сил» между Англией и Германией в том или ином виде, рано или поздно — в 1911 г., когда это чуть не случилось, или в 1914, когда это случилось на самом деле, или

позже,— была неизбежна. Могли быть задержки, побочные течения и факторы второстепенного порядка могли отдалить или приблизить развязку, но предотвратить ее вовсе могло либо «полюбовное» соглашение держав о предоставлении Германии всех возможностей в вывозе свободных капиталов, а также огромной колониальной империи в Африке и Малой Азии, либо добровольный отказ германских капиталистических кругов от попытки воспользоваться колоссальной материальной мощью страны с целью одним удачным ударом наверстать потерянное и упущенное, получить, хоть и с опозданием, то, чего нельзя было получить в свое время из-за слишком позднего приобретения нужных политических средств, из-за слишком поздно пришедшего объединения и создания империи. И притом требовалось бы, чтобы и Англия, и Франция, и Россия тоже совсем отказались бы от захватнической политики. И первая и вторая гипотезы явно не историчны, лишены даже минимального исторического правдоподобия: «добровольно» — до сих пор по крайней мере — такие дела не делались в истории никогда. Далее. Мы не знаем, в чем выразилась бы и при каких обстоятельствах произошла бы эта проба сил, если бы катастрофа 1914 г. не наступила; мы можем также представить себе, что эта проба сил могла бы и не окончиться столь уж решительным военно-политическим результатом. Одного только нельзя себе представить: чтобы при существовавшем соотношении экономических сил обоих антагонистов который-нибудь из них был бы настолько «побежден», чтобы другой мог надеяться совсем отныне не считаться с экономическим соперничеством побежденного. Самое большее, на что мог рассчитывать в этом отношении победитель, это на некоторую передышку в экономической борьбе. Военно-политической победой Германия могла получить центрально-африканскую колониальную империю от океана до океана и сферу влияния от Скутари до Персидского залива; после такой же победы Англия могла ничего этого Германии не дать и даже совсем изгнать ее изо всех колоний и пустить ко дну ее флот. Но и в первом (воображаемом) случае английский индустриализм остался бы на арене и продолжал бы борьбу за экономическое преобладание, и во втором (в самом деле происшедшем) случае Германия уже через несколько лет после войны и поражения опять начала внушать живейшие опасения и бирмингемским металлургам, и ланкаширским ткачам, и шотландским и уэлльским шахтовладельцам, и строителям торговых судов, и производителям химических товаров. Уничтожить вовсе всю мировую экономическую ситуацию и заменить ее другой не может никакая политика, даже если ей предоставлены все материальные средства разрушения и полный простор для действий в течение четырех лет с лишком, как это было в 1914—1918 гг.

Самое большее на что, в случае победы, можно было рассчитывать, это на лучшую в будущем обстановку борьбы с конкурентом. Любопытно, что еще задолго до войны в обоих лагерях довольно отчетливо знали, что говорить об «уничтожении» соперника (как мечтала об «уничтожении» Германии «Saturday Review» еще в 1897 г.) можно только для разжигания нужных воинственных страстей в мало рассуждающей обывательской массе. И все-таки неизбежное случилось. Если для нас не фраза, а верная мысль, что «бытие определяет сознание», то мы не вправе удивляться, что катастрофа наступила совсем независимо от того, насколько «сознание» всех участников говорило сначала против целесообразности «пробы сил» с такими затратами и усилиями, какие заведомо не оправдывались (и не могли оправдаться) ближайшими результатами. Когда экономическая действительность резко обострила противоречия интересов, то сознание заинтересованных классов в обоих лагерях начало быстро заволакиваться, терять еще недавнюю остроту и правильно рассчитывающий скептицизм стал быстро уступать место голосу страсти, критическое отношение к реальности своих выкладок заменилось легкомысленным оптимизмом и наступление катастрофы стало в прямую зависимость от любого удобного случая и сделалось вопросом времени. И это явление, совершенно неизбежное, замечалось не только в Германии но и у ее соперников.

Попытаемся отметить основные линии внутреннего развития Германии накануне образования Антанты.

В первые годы после образования Германской империи (1871—1873 гг.) искусственно созданная вследствие внезапного огромного притока капиталов благоприятная экономическая конъюнктура характеризуется основанием массы новых промышленных и банковых предприятий. Эта эпоха (время «грюндерства») кончилась крутым и жестоким кризисом 1873 г., банкротством или сильнейшим сокращением большинства вновь основанных предприятий и длительными и повторными приступами биржевой паники. Эти же годы искусственного и краткого процветания отмечены довольно большим стачечным движением, как всегда бывает при внезапных повышениях темпа промышленной деятельности и внезапно проявляющейся нужды в рабочих руках. С 1873 г., после непродолжительного (вслед за кризисом) угнетения рынка начинается снова постепенный рост промышленной деятельности, который с начала 80-х годов приобретает необычайно интенсивный характер. Ряд технических открытий и усовершенствований, начавшийся с изобретения Джилькрайста (в 1878 г.), превратил огромные, но до сих пор мало пригодные залежи лотарингской железной руды в превосходное сырье, которое могло отныне стать основанием для громадной сталелитейной промышленности. В частности, машино-

строение в течение 80-х и 90-х годов начало приобретать поистине гигантские размеры, что, естественно, отразилось тотчас же на всех прочих отраслях промышленной деятельности. Громадная и превосходно организованная торговая служба при промышленности, великолепный (как нигде в мире) аппарат для распространения германских товаров — все это сильно способствовало быстрому внедрению германской промышленности на рынках всего земного шара: прежде всего в Англии и России, потом в Италии, Австрии, Испании, на Балканах, в 90-х и 900-х годах — в Южной Америке, на Дальнем Востоке, в Африке. Усиливавшаяся с каждым годом мощь Германской империи оказывала тоже деятельную и существенную помощь германским промышленникам в этом завоевательном и всегда победоносном движении. Рабочих рук стало не хватать уже с середины 90-х годов XIX столетия. Эмиграция в Америку из Германии прекратилась; на сельскохозяйственные работы (на весну, лето, часть осени) приходили из западных губерний России десятки тысяч батраков. Стачечное движение среди промышленных рабочих, а также среди углекопов в последнее десятилетие XIX и в первые годы XX в. было много сильнее, чем в предшествующие годы, сообразно с общим и на этот раз очень устойчивым и усиливающимся процветанием производства [1].

Расцвет германской промышленности в первые четырнадцать лет XX столетия (до мировой войны) не только не прекратился, но с каждым годом становился все могущественнее. На этой экономической почве в социальном составе германского народа произошло глубочайшее изменение, главной чертой которого была индустриализация страны.

В 1871 г. Германская империя насчитывала 41 миллион жителей, а в 1910 г.— 67½ миллионов. Увеличение народонаселения шло параллельно с непрерывным и все ускоряющимся процессом превращения Германии в промышленную страну. Вот главные статистические иллюстрации этого факта. Взяты три даты, когда была собрана наиболее полная статистическая информация.

Число лиц, занятых (считая их семьи)

Годы	Сельск. хоз.	Промышлен.	Торговлей	Поден. работой и дом. прислуга	Государ. службой и своб. профессиями
1882	19 225 455	16 088 080	4 531 080	938 294	2 222 982
1895	18 501 307	20 253 141	5 966 846	886 807	2 835 014
1907	17 681 176	26 386 537	8 278 239	792 748	3 407 149

Без определенной профессии (ohne Beruf und Berufsbenennung) было: в 1882 г.— $2^1/_4$ миллиона, в 1895 г.— $3^1/_3$ миллиона, в 1907 г.— 5 174 703 человека. Итак, в 1882 г. сельское хозяйство кормило 42,5% населения, а в 1907 г.— всего 28,6% [2].

Из числа *всей* части населения, кормящегося при промышленности, самостоятельно зарабатывающих рабочих в точном смысле слова в 1907 г. в Германии числилось больше $8^1/_2$ миллионов человек [3]. По абсолютному числу рабочих, занятых в промышленных предприятиях и горных промыслах, а также всех наемных лиц, занятых в торговле и транспорте, Германия перед войной стояла на первом месте среди всех стран земного шара.

Следующая таблица составлена в Германии на основании данных 1907 г. (а для других стран по последним их переписям перед 1907 г.):

Страны	Число рабочих и служащих в торговле, транспорте и промышленности	Процентное отношение ко всему количеству людей, самостоятельно зарабатывающих
Германия	11 744 560	40
Великобритания	8 363 857	45,8
Соединенные Штаты	7 039 177	24,1
Франция	6 880 830	35,5
Россия	5 596 889	17,9
Италия	3 989 816	24,5
Австрия	3 138 800	23,3
Бельгия	1 372 251	41,6
Венгрия	943 468	13,6
Швейцария	699 402	44,9
Нидерланды	650 574	33,7
Швеция	413 023	20,9
Дания	277 270	25,2
Норвегия	242 642	27,7

Неслыханные размеры промышленных и торговых успехов Германии в последние пятнадцать лет перед войной были таковы, что, например, 80-е годы становились в глазах новых германских поколений перед началом мировой войны какой-то от-

даленной эпохой, не сразу и не вполне понимаемой. Известный статистик М. Мендельсон (директор статистического управления г. Ахена) совершенно правильно заметил, что, например, в 1830 г. тогдашним людям экономическое положение XIV или XV столетий казалось *ближе*, чем людям 1913 г. могли казаться хотя бы те же 30-е годы. Следует прибавить, что в *некоторых* отношениях экономическая жизнь Германии в 1900 г. была ближе к экономической жизни 1870 г., чем к экономической жизни 1913 г.: так бурно повышался темп германской торгово-промышленной деятельности именно в самые последние годы перед войной.

Уже с середины 80-х годов XIX столетия для руководящих кругов германской промышленности было ясно, что самым могучим соперником германского торгово-промышленного капитализма является капитализм английский. Не североамериканский, не бельгийский, подавно не французский, а именно английский. И все этапы победного шествия и проникновения германского капитала в те или иные части мирового рынка неизменно заставляли подводить временные итоги в форме сравнения и сопоставления германских цифр с цифрами английскими; при этом каждый пройденный этап обозначал собой гигантские успехи Германии.

Два главных признака были особенно характерны именно потому, что дело шло о главных нервах индустриального развития — о железе и угле.

Англия и в конце 70-х годов XIX в., и спустя 30 лет почти не сдвигалась с одной точки: она добывала ежегодно около 15 миллионов тонн железа из своих недр; конечно, ей этого не хватало, и она принуждена была выписывать железо из-за границы, отчасти из своих колоний. Германия же главную массу железа, нужного ей, добывала из своих недр, и, главное, имелась полная, доказанная возможность расширять эту добычу в нужных размерах; правда, и она выписывала часть железа из-за границы (в 1911 г. она выписала 9¾ миллиона тонн), но зависела от этого импорта несравненно меньше, чем Англия. Добыча же из германских рудников увеличивалась колоссально. Перед открытием Джилькрайста, в 1878 г., в Германии было добыто около 5 миллионов тонн (т. е. в три раза меньше, чем в Англии), но уже в 1887 г.— 9 миллионов тонн, в 1897 г.— 15 миллионов тонн (столько же, сколько в Англии), в 1907 г.— 27 миллионов тонн (почти вдвое, чем в Англии), в 1911 г.— 29¾ миллиона тонн. Что касается угля, то здесь, правда, Англия была и осталась на первом месте, но германская добыча увеличилась с 39 миллионов тонн в 1878 г. до 143 в 1907 г. и до 230 накануне мировой войны. Англия добывала перед войной 267 миллионов тонн угля, но часть его шла за границу на

продажу, и та же Германия закупала большие количества английского угля для нужд своего пароходства и своей промышленности. Население Англии возрастало ежегодно на 400 тысяч человек, а Германии — на 900 тысяч человек, эмиграция же лишала Англию ежегодно 139 тысяч человек, а Германию (перед войной) всего 28—30 тысяч человек. Таким образом, такой важный фактор для развития промышленности, как прирост населения, больше благоприятствовал Германии, чем Англии. За 35 лет — с 1870 по 1905 г.— население Англии увеличилось с 31 миллиона до 43 миллионов, население же Германии с 39 миллионов поднялось до 60 миллионов. (В 1914 г. в Германии считалось до $67^3/_4$ миллиона человек.)

На стороне Германии, как уже упомянуто выше, в этой обозначившейся уже довольно резко в последние годы XIX в. конкуренции была, сверх того, несравненно лучшая и шире поставленная, чем в Англии, техническая школа всех ступеней. Англичане перед войной 1914 г. нисколько не умаляли этого факта и откровенно заявляли, что им необходимо в спешном порядке произвести в этой области коренную ломку и провести реформу по немецким образцам. Далее. Германия располагала колоссальной армией странствующих приказчиков (коммивояжеров), которые с громадным успехом внедряли германские товары в самые глухие углы Южной и Центральной Америки, Африки, в меньшей степени — Азии, не говоря уже о Европе. Ко всем этим условиям присоединились еще более важные: 1) относительная дешевизна германских товаров (обусловленная в значительной мере гораздо большей дешевизной рабочих рук в Германии), 2) долгосрочные кредиты, которые оказывали немецкие торговцы и промышленники клиентам, особенно в России, на Балканском полуострове, в Южной и Центральной Америке, в Китае, и 3) умение приспособиться к покупателю, внимательное изучение всех особенностей рынка, талант завоевать клиента. Избалованный вековой монополией своего положения английский торгово-промышленный капитал уже отвык от этих приемов и очень болезненно переживал это превосходство капитала германского, но перенять эти приемы вплоть до войны 1914 г. не сумел, да и теперь не перенял (в этом сознавались неоднократно сами англичане).

Грозная опасность вырастала для Англии. Конечно, Англия по общему обороту внешней торговли в последнее время перед войной еще занимала первое место на земном шаре, но всего на 22% превосходила в этом отношении Германию. Германия заняла после Англии первое место, опередив Соединенные Штаты; о других странах нечего и говорить. Но и Англии приходилось считаться с тем, что в 10—15 лет Германия ее догонит и перегонит, потому что с каждым годом цифра германского

вывоза фабрикатов и ввоза (на $^4/_5$ сырья) приближалась к английской. Это пока не значило, что непосредственно сами по себе, без дальнейших сопутствующих явлений, о которых сейчас будет речь, английские правящие классы, т. е. прежде всего крупная буржуазия, были готовы начать войну против Германии, ничего не выжидая, с прямой и открыто поставленной целью уничтожить конкурента, но к концу XIX и в первые годы XX в. создалось такое положение, что всякий шаг Германии стал истолковываться в Англии самым недоброжелательным образом, всякое увеличение военно-морского могущества Германской империи стало рассматриваться как прямой вызов, как угроза существованию Великобритании. Ко времени вступления на престол короля Эдуарда VII образовалось такое дипломатическое положение, при котором могущественные слои населения уже начали свыкаться с мыслью о Германии как о враге, более страшном, чем Россия и Франция. И вот тут-то среди германских промышленников и прежде всего среди металлургов, шахтовладельцев, оружейных заводчиков и всех несметных поставщиков военного материала началось движение, приведшее к появлению в имперском министерстве адмирала фон Тирпица и к созданию в течение восьми лет второго в мире военного флота. Как раз тогда, когда представители английского капитализма только ждали благоприятных условий и подходящих шагов со стороны противника, чтоб иметь ловкий повод и возможность приобщить широкие слои своего народа к антигерманским настроениям и приучить их к мысли о неминуемой пробе сил,— в это самое время среди вождей германской промышленности, а под их прямым влиянием и в руководящих политических сферах фронт определенно повернулся против Англии и был предпринят ряд действий, которые непременно должны были быть истолкованы как прямая подготовка к великому столкновению на море.

Отметим самое существенное в этом крутом повороте германской политики.

Сначала постараемся уловить основную мысль, руководившую этим поворотом, затем коснемся общей обстановки, в которой протекала германская внутренняя и внешняя политика, и, наконец, напомним о тех формах и внешних проявлениях, которые при всей второстепенности своего исторического значения сравнительно с первыми двумя моментами все же сыграли свою роль в обострении кризиса и в некотором приближении срока развязки.

Начну с напоминания того факта, о котором я говорил на первых страницах этой книги: общий темп гигантского капиталистического развития так неслыханно ускорился в последнее время перед войной, что все *противоречия,* неразрывно с

этим развитием связанные, должны были неминуемо обостряться буквально с каждым годом. Таков был экономический общий фон событий. Вспомним, что общая годовая сумма внешней торговли Германии (ввоз+вывоз) была еще в начале 80-х годов XIX в. равна в круглых цифрах приблизительно 5 миллиардам марок, в 1891 г.— 7 миллиардам, в 1902 г.— 11 миллиардам, в 1907 г.— 17 миллиардам, а в 1912 г.— $21^1/_4$ миллиарду марок. Если считать на марки, то в 1912 г. сумма внешней торговли Англии была равна $27^1/_2$ миллиардам, а Соединенных Штатов — 16 миллиардам. Но ни Англия, ни даже Соединенные Штаты не могли сравниться с Германией в быстроте темпа развития, и Германия явственно и ускоренно подвигалась от второго своего места к первому. Да и общий темп мирового торгово-промышленного развития все ускорялся: ведь в сущности от начала существования капитализма на земном шаре только в 1903 г. общая сумма *всей* мировой внешней торговли (т. е. сумма всего вывоза и всего ввоза *всех* стран земного шара) дошла впервые до 100 миллиардов марок в год, а в 1912 г. эта сумма была уже равна 160 миллиардам марок [4]. Итак, из этой суммы (160 миллиардов) $64^3/_4$ миллиарда принадлежали трем главным соперникам — Англии, Германии, Соединенным Штатам, и всего около 95 миллиардов — всем остальным странам земного шара в совокупности.

Вопрос не ставился для Германии так, как его могли формулировать некоторые круги в Англии или в Соединенных Штатах: есть налицо три соперника, из них одолеть непосредственной военной силой, настолько, чтобы серьезно подорвать его экономическое процветание, можно лишь *одного*, поэтому следует именно против него бороться. Так, по словам американских пацифистов, формулировались будто бы мысли сторонников вмешательства Америки в войну в 1915—1917 гг.: Англию раздавить нельзя, а Германию можно, поэтому нужно пойти с Англией против Германии, а не наоборот. В Германии в конце XIX и начале XX в. даже самые необузданные империалисты не мечтали о полной, сокрушающей победе над Англией, не мечтали о такой победе, которая бы очистила мировой рынок от одного конкурента и оставила бы на арене лишь Германию и Соединенные Штаты.

Речь шла о другом: о создании самостоятельной германской колониальной империи, которая бы дала германскому капитализму *прежде всего* широкую мировую арену для действий финансового капитала, в частности независимый ни от кого *собственный* рынок сырья, а затем и увеличила бы рынок сбыта. Но первая задача казалась важнее и раньше второй стала на очередь. Германия вывозила фабрикаты (а из сырья — главным образом лишь каменный уголь), ввозила же большей частью

(на $^4/_5$ всей суммы ввоза) именно *сырье* и пищевые продукты. Америка, английские колонии, Россия — теоретически рассуждая — могли задушить целый ряд отраслей германской промышленности единым росчерком пера, воспретив безусловно вывоз нужного Германии сырья. По мере того как росла торговая конкуренция Германии с Англией, вопрос о таком искусственном *лишении* Германии сырья, конечно, должен был приобретать все более и более беспокоящий и конкретный характер. Далее. Колонии могли — и должны были — увеличить собой также германские рынки сбыта, но, конечно, не такие колонии, как те, которыми Германия обзавелась в действительности, а такие, которые *по населенности и покупательной способности* могли бы сравниться с английской или французской колониальной империей. Эта функция колоний для Германии была, конечно, далеко не так существенна, как первая,— колониальное сырье было для Германии нужнее, чем колониальные покупатели ее фабрикатов,— но все же иметь новые рынки сбыта (и притом рынки монопольные) было бы полезно. Наконец, колониальная политика должна была дать Германии военные опорные пункты, плацдармы для постепенного, в будущем, овладения тем или иным новым рынком. Таковы были задания, выдвинутые германскими промышленными кругами еще в 80-х годах. Как известно, Германии удалось обзавестись всеми своими важнейшими (африканскими) колониями именно в течение 80-х годов, когда Англия была занята отчасти ирландскими делами, отчасти движением России к Афганистану, отчасти борьбой с махдистами в Судане, отчасти французскими успехами в Центральной Африке и когда, как в своем месте уже было мной сказано, ей вовсе не хотелось ссориться с Германией. Когда предприниматель из Бремена Людериц создал факторию в Юго-Западной Африке (Ангра-Пекенья) и предложил Бисмарку объявить германский протекторат над ближайшим хинтерландом занятой им бухты, 24 апреля 1884 г. Бисмарк официально уведомил все державы о германском протекторате над обширной территорией между бухтой и Оранжевой рекой. В том же (1884) году Германия захватила Того и часть Камеруна, а вскоре затем, полюбовно разделив с Англией Новую Гвинею, Германия получила северо-восточную часть Новой Гвинеи. Наконец, в 1885 г. началось в Восточной Африке занятие владений занзибарского султана, а также сопредельных территорий. Большая часть всех этих земель в Восточной Африке была впоследствии (по англо-германскому договору 17 июня 1890 г.) отдана англичанам в обмен на остров Гельголанд. Но оставшиеся за Германией части восточноафриканских владений увеличились впоследствии некоторыми новыми аннексиями, и эта колония (немецкая Восточная Африка) считалась вплоть до

1914 г. одним из важнейших колониальных владений Германии. Наконец, Германии удалось укрепиться на некоторых островах Тихого океана и в 1911 г. получить часть Французского Конго, по соглашению с Францией (относительно Марокко).

Все колониальные владения Германской империи в совокупности достигали трех с небольшим миллионов квадратных километров с населением около 12 миллионов туземцев и 28 тысяч белого населения. Конечно, сравнительно с Британской (еще довоенной) колониальной империей (28 миллионов квадратных километров и около 375 миллионов жителей вне Европы) эти цифры очень скромны. Но также и по внутренней ценности своей германские колонии не шли ни в какое сравнение с английскими, включающими богатейшие части земного шара вроде Индии, Канады, Австралии, Южной Африки, бесчисленных островных владений и т. п. Даже с французской колониальной империей немецкие колонии не могли в отдаленной степени сравниться ни количественно, ни качественно. Германии достались обрывки и остатки. Бисмарк с неохотой начал эту эру колониальных завоеваний и брал колонии только там и тогда, где и когда это ни малейшего риска за собой не влекло. Его толкали финансисты, промышленники и судовладельцы, создавшие «Германское колониальное общество», но он шел в эту сторону нехотя, он ни за что не хотел делать Великобританию врагом Германии. «Кошмар коалиций» преследовал его все последние годы его канцлерства. Колониальные империалисты Германии испытывали глухое раздражение против старого канцлера, шептали о его дряхлости, робости, непонимании новых задач. Это обстоятельство тоже облегчило Вильгельму II выполнение давнишнего желания в марте 1890 г., когда он, наконец, решился принудить канцлера к отставке.

И в самом деле, в области колониальных планов началась новая эра.

Но раньше чем мы перейдем к ней, коснемся еще одной важной стороны дела, без которой характеристика социально-политической обстановки колониальных предприятий 90-х и 900-х годов в Германии была бы неполна.

2

Когда мы говорим, например, о Франции или Италии или даже о Соединенных Штатах в 1890—1914 гг., то, конечно, мы должны считаться с тогдашними настроениями рабочего класса в этих странах. Но мы очень хорошо понимаем, что возможно было бы без труда представить себе весьма важные шаги правительства этих стран, резко расходящиеся с желаниями и интересами рабочего класса. Что же касается Англии и Германии,

то, при всем различии их политического строя в указанный период, решительно *невозможно* вообразить себе, что в вопросах колоссальной важности, могущих поставить страну перед опасностью войны, английское или германское правительство могло бы годы и годы вести политику, решительно осуждаемую большинством рабочего класса. Удельный вес германского рабочего класса был так огромен, что рабочих еще можно было, выбрав удачный и вполне спокойный момент, провоцировать и *оскорблять речами, по не действиями*. Можно было ораторствовать (ни с того, ни с сего, в эпоху глубокого мира и спокойствия) перед новобранцами, приглашая их на будущее время стрелять в собственных отцов, как приглашал их Вильгельм II, приводя их к присяге, но в Германии никак нельзя было в самом деле стрелять *без малейших поводов* в рабочих, проводящих чисто экономическую забастовку в частном предприятии, как это сделал во Франции Клемансо в 1907 г., тотчас же подтвердивший, что и впредь будет так поступать, и оставшийся во главе кабинета. Можно было разыгрывать из себя монарха, правящего божьей милостью и ответственного лишь перед небом, но нельзя было даже пытаться фактически нарушить конституцию, хотя бы в самом ничтожном вопросе. Если все это принять к сведению, то, даже не зная фактов, о которых сейчас будет речь, пришлось бы сделать сам собой напрашивающийся вывод: если вопрос о колониях и тесно с ним связанный вопрос о постройке военного флота могли занять такое место в германской политической жизни, если политика империи так же, как политика Англии, Франции, России, четыре раза за десять лет приводила к преддверию войны, а в пятый раз вызвала, наконец, катастрофу, то, *значит*, рабочий класс далеко не был единодушен ни в колониальном, ни в военно-морском вопросах, *значит*, имперское правительство могло не опасаться большого революционного протеста в случае любой вызванной им войны. И действительно, если бы кто начал только присматриваться к настроениям в недрах единственной партии, представляющей собой в годы империи германский пролетариат, то сейчас же увидел бы, что такое предположение совершенно правильно.

Здесь не место излагать историю германской социал-демократии в последние годы перед войной, а также историю ревизионизма и борьбы с ревизионизмом на партейтагах, в партийной прессе, на партийных митингах. Читатель, не знающий иностранных языков, может обратиться хотя бы, например, к указываемой в библиографии, переведенной на русский язык книге Франца Меринга или Лукина; при знании немецкого языка можно обратиться, например, еще к книге Dorzbacher'a «Die deutsche Sozialdemokratie und die nationale Machtpolitik» [5].

Мы тут постараемся лишь высказаться об основных исторических причинах, породивших ревизионизм, и так как для нас это по связи с только что сказанным более всего важно, мы рассмотрим в самых общих чертах, как эволюционировали взгляды части рабочего класса на колониальный вопрос и теснейшим образом связанные с ним проблемы международной политики. Мы не будем останавливаться здесь на всех побочных и сопутствующих явлениях, способствующих росту ревизионизма. Конечно, справедливы часто повторяющиеся и в немецкой и в русской литературе указания на роль громадного и влиятельного (по своему положению и функциям) бюрократического механизма партии, на проникновение отчасти мелкобуржуазной, отчасти специфически чиновничьей идеологии в этот особый мир, снизу доверху (а «верхи» при дисциплине и централизованности партии играли колоссальную роль); не могут быть обойденными молчанием и те нарекания на (правда, малочисленных) «академиков», т. е. на лиц из интеллигенции, прошедших высшую школу,— нарекания, которые слышались долгие годы из рядов левого крыла партии; слева обвиняли этих лиц в привнесении оппортунизма, в мелкобуржуазном страхе перед революцией и т. д.; наконец, бесспорно, часть средней и мелкой буржуазии и даже часть плохо оплачиваемого мелкого государственного чиновничества сплошь и рядом отдавали при тайной подаче голосов на парламентских выборах свои голоса социал-демократам. Эти элементы были настолько драгоценны, так как существенно способствовали избирательным победам партии, что с ними приходилось считаться, и, конечно, это обстоятельство тоже подкрепило ревизионистскую тактику, ревизионистские заявления и выступления. Но все эти и им подобные явления, за которыми нельзя отрицать известного значения, конечно, не могут сами по себе исчерпывающе объяснить, как случилось, что огромная партия германского пролетариата, еще в 1875 г. официально шедшая под флагом революционного марксизма, уже в 1891 г. на партейтаге в Эрфурте начала как бы раздваиваться в своих настроениях и убеждениях, прислушиваясь к речам Фольмара и его сторонников, затем с 1891 по 1898 г. пережила все более и более углубляющуюся раздвоенность настроений и тенденций, а с 1899 г. часть (и довольно значительная) устремилась за бернштейновскими лозунгами и покинула революционизм для «реформизма», и тактика парламентской борьбы и легальной оппозиции заняла первенствующее положение в партии, революционной не только по своему происхождению, но и по основам все еще официально принимаемой и повторяемой доктрины.

Основное объяснение явлений, конечно, следует искать в характерных особенностях того периода, который переживала вся

германская экономика. Революционизм в германской социал-демократии в конце XIX и в начале XX в. стал уменьшаться в напряженности и в степени влияния по причинам, аналогичным тем, по которым в Англии в середине XIX в. бесследно исчез чартизм; и, параллельно, расцвет германских профессиональных союзов в конце XIX и начале XX в. был аналогичен расцвету английского тред-юнионизма в 60-х, 70-х, 80-х, 90-х годах XIX в. Профессионализм, экономизм, борьба за улучшение экономического положения, рост аполитизма, равнодушие к революционным лозунгам — все эти явления, которые пережила Англия раньше, Германия пережила позже, в те времена, когда промышленность страны шла от успеха к успеху, когда новые и новые рынки завоевывались чуть не ежедневно, когда капитал считал наиболее выгодным для себя помещением именно промышленные предприятия, когда часто не рабочий (особенно квалифицированный) искал нанимателя, но предприниматель искал рабочего, а иногда и заискивал перед рабочим. Как раз когда для Англии кончались эти времена, для Германии они начинались; и, как мы видели, именно отчасти *потому* это процветание и кончалось в Англии, что для Германии оно начиналось и Германия отбивала у Англии рынок за рынком. Дело было не только в общем повышении благосостояния для широких категорий рабочего класса, но и в том, что с каждым десятилетием необычно быстро возрастала масса квалифицированных рабочих с сильно повышенной заработной платой, еще более живо и непосредственно чувствовавших тесную зависимость своего положения и всех перспектив своей карьеры от дальнейшего подъема и интенсификации промышленной деятельности. Профессиональные союзы, чисто экономические требования и чисто экономические забастовки, организационно и материально поддерживаемые профессиональными союзами,— вот что начинало явственно первенствовать в идейной и общественной жизни многочисленных и влиятельных категорий рабочего класса. Социал-демократическая партия напоминала о себе по разу в пять лет: перед выборами в рейхстаг — и не во всех германских государствах — при выборах в местные ландтаги; она напоминала о себе время от времени митингами, парламентскими речами партийных членов, ежегодными партейтагами. Профессиональный же союз был ежедневно нужен и важен и часто касался самых жизненных интересов рабочего и его семьи. После отмены в 1890 г. закона о социалистах партийная пресса широко развилась в Германии, существовавшая степень политической свободы и личной обеспеченности не была так ничтожна, чтобы сама по себе могла вызвать революционный гнев рабочего класса. Восстать же немедленно, с надеждой на социальный переворот, при существовавших условиях, а глав-

ное при указанной экономической конъюнктуре, неблагоприятной для революционного движения, не считало возможным даже левое крыло партии, продолжавшее борьбу с ревизионизмом.

Мы можем тут ограничиться очень немногими фактическими напоминаниями. С самого эрфуртского партейтага 1891 г. ревизионистское движение не переставало усиливаться. В 1899 г. вышла книга Эдуарда Бернштейна «Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie» («Предпосылки социализма и задачи социал-демократии»). В этой книге Бернштейн в сущности совершенно отказывался от революционного марксизма и не только от «предпосылок», но и от логических последствий этой доктрины. Реформизм, профессионализм, сотрудничество с буржуазными партиями — вот что выдвигалось на первый план. Первый же партейтаг, собравшийся после появления книги Бернштейна (в Ганновере в 1899 г.), формально не стал на сторону этого «ревизионистского манифеста», но фактически реальная деятельность руководящих верхов партии все больше и больше строилась на ревизионистской, а не на революционной идеологии. Теория неизбежной катастрофы капитализма, учение о диктатуре пролетариата, частичный, но важный вопрос о возможности массовой политической забастовки как о первом этапе пролетарской революции — все это сдавалось Бернштейном и его последователями в архив, и все это руководящими верхами партии поминалось все реже и реже и все с большим и большим скептицизмом. Старому парламентскому бойцу и лидеру Бебелю удавалось ловкими формулировками на партейтагах при вотировании резолюций прикрывать теоретическое отступление от былых лозунгов, но это мало кого обманывало.

По выражению Шмоллера, кельнский социал-демократический партейтаг 1893 г. был «последней победой марксизма» над ревизионистскими течениями. Вождями ревизионизма на верхах партии окончательно становятся Фольмар, Шиппель, Бернштейн, Гейне. Южная (баварская, вюртембергская, баденская) социал-демократия заняла особенно боевую ревизионистскую позицию. Профессиональные союзы, эволюционируя вправо, сильно влияли на партию. Число членов профессиональных союзов еще в 1895 г. было равно 260 тысячам, а в 1912 г. их было уже $2^1/_4$ миллиона. Перед войной капитал, которым располагали профессиональные союзы Германии, доходил до 81 миллиона марок золотом, а постоянный капитал социал-демократической партии был равен одному *миллиону марок* (*даже собственно* несколько меньше одного миллиона). С могуществом профессиональных союзов социал-демократическим лидерам приходилось перед войной очень сильно считаться. А профессиональные союзы (и притом самые могущественные, самые влиятельные)

все шире и глубже захватывались ревизионизмом. Конечно, левое крыло деятельно боролось против ревизионизма и отнюдь не сдавало своих позиций. Вожди были ярко талантливы и самоотверженны, но «армия» у левого крыла была невелика.

На последнем предвоенном социал-демократическом партейтаге в Иене осенью 1913 г., за год до войны, Фишер воскликнул: «Где тот товарищ, который еще верит теперь в крушение капиталистического общества... От революционизма не осталось ничего, кроме очень принужденно звучащих (gezwungen klingende) революционных фраз».

Тут, конечно, были налицо большое преувеличение и полемическая выходка: у левого крыла революционизм не был фразой, но был убеждением, за которое не одному и не двум из этого крыла привелось впоследствии заплатить своей кровью. Но характерно, что ревизионист Фишер чувствовал явственно опьянение «победой». Иначе он не посмел бы, без риска вызвать бурю негодования, произнести на партейтаге подобные хвастливые слова.

На этой экономической и идеологической почве вопрос о приобретении колоний неминуемо должен был подвергнуться очень значительному пересмотру. Еще в середине 80-х годов в партии господствовало воззрение, что колониальная политика есть политика разбоя, захвата и угнетения цветных рас. В 90-х годах стали говорить об экономическом использовании колоний.

С конца же 90-х годов ревизионистское крыло германской социал-демократии все решительнее и отчетливее переходило на точку зрения необходимости *политического,* а не только экономического завоевания новых колоний. Фольмар менее резко, Ротер более категорично говорили о необходимости при известных условиях поддерживать на высоте германский флот и заботиться об округлении колониальной империи. Конечно, слишком категорически защищать все это еще считалось ересью, руководящие верхи партии (правда, очень вяло) полемизировали с Ротером, но подобные воззрения с каждым пятилетием все ширились и крепли. Серьезным толчком к дальнейшему углублению этого течения послужили марокккские осложнения, начавшиеся в 1905 г. На сцену выступил Рихард Кальвер, уже и раньше один из заметных публицистов ревизионистского крыла партии.

Нужно сказать, что вообще марокккское дело поставило социал-демократию в трудное положение. С одной стороны, Жорес ежедневно говорит, что французские капиталисты ведут в Марокко чисто разбойничью, аннексионистскую политику, что германское правительство совершенно справедливо домогается «открытых дверей» в Марокко и что оно имеет все основания и логическую правоту в затеянной дипломатической борьбе. А с другой

стороны, германская социал-демократия порицает активную политику своего правительства в марокканском вопросе. Кто же прав? Рихард Кальвер и его единомышленники стали на ту точку зрения, что права Германия, а главное, что германский рабочий класс, помимо всего, существенно заинтересован в том, чтобы Марокко не перешло в монопольное владение французского капитала. Но вообще Кальвер и его единомышленники еще считали возможным со временем франко-германское экономическое сотрудничество. Что же касается Англии, то они думали, что, во-первых, неизменный, экономически и политически обусловленный интерес Англии не позволит ей никогда быть длительно в дружбе с какой бы то ни было европейской великой державой, а, во-вторых, часть английского рабочего класса непосредственно и существенно заинтересована в продолжении традиционной эксплуатации английским капиталом всех британских колоний и что английские рабочие в своей массе не могут и не хотят изменить английскую политику. Вывод Рихарда Кальвера (руководящего публициста «Sozialistische Monatshefte» в 1905—1907 и в следующие годы) заключался в требовании образования континентального союза держав,— нужно договорить: против Англии. Как видим, если отбросить оговорки и недомолвки, внешнеполитический идеал в эти годы у Рихарда Кальвера и у официальных представителей и руководителей германской дипломатии был практически один и тот же. Ближайшим практическим выводом являлось требование, предъявляемое членам партии,— поддерживать усиление германского флота: «большие военные флоты, конечно, неутешительное явление культурного развития человечества, но они — налицо», а поэтому и Германия должна иметь сильный флот. Рихард Кальвер защищает и судостроительную политику фон Тирпица: Англия вовсе не потому враждует против Германии, что Германия пугает ее развитием своего флота, и даже не будь в Германии флота, все равно Англия не простила бы ей ее промышленных и торговых успехов. Англия — главный враг, и скрывать от себя этот факт бесполезно.

За Кальвером выступил Карл Лейтнер, редактор иностранного отдела венской «Arbeiter Zeitung» и тоже деятельный сотрудник «Sozialistische Monatshefte» в 1909 и в следующие годы. Лейтнер пошел еще дальше Кальвера. Он прямо склонен приравнивать слишком энергичную борьбу социал-демократов против внешней политики правительства к измене интересам пролетариата, ибо «русские *панслависты и английские джинго»* пользуются этими нападками для своих целей. На самом деле такая борьба социал-демократической партией вовсе в эти годы и не велась, и Лейтнер ломился в открытую дверь. Чем дальше, тем больше он усваивал себе не только мысли, но и ходячую

фразеологию рядового патриотического германского публициста: у нас, немцев, нет достаточно сильного национального чувства, как у англичан и французов; мы, немцы, должны бороться против русских попыток захватить гегемонию; мы не хотим ослаблять свое правительство в его борьбе с врагами и т. д.; все, даже итальянцы, воюют и завоевывают (например, Триполитанию); только одним немцам ничего не перепадает, а их обвиняют в воинственности и т. д. Лейтнер решительно отвергает все попытки английского правительства достигнуть ограничения морских вооружений как Англии, так и Германии по взаимному соглашению. Нет, это значило бы, что Англия навсегда будет сильнее, чем Германия. Словом, и тут, в этом опасном и чреватом последствиями отказе Германии от соглашения, Лейтнер нисколько не отклоняется от воззрений Бюлова, Тирпица, Бетман-Гольвега, Вильгельма II.

Ничуть не уступая Лейтнеру в энергии, почти одновременно с ним, самыми щекотливыми и сложными проблемами партийной внешней политики занялись Людвиг Квессель и Гергард Гильдебранд. Оба — решительные сторонники широко поставленной колониальной деятельности; оба протестуют против обвинения Германии в империализме, так как экономическое использование внеевропейских земель вовсе еще не есть империализм, по их мнению. Квессель при этом оптимист или, может быть, по тактическим соображениям хочет казаться оптимистом. Он верит в возможность полюбовного размежевания сфер влияния между Англией и Германией вне Европы. Квессель подчеркивает, что и чисто политическим обладанием пренебрегать не следует, ибо оно имеет самые реальные экономические последствия, и что, фактически или юридически, но государство, владеющее колонией, всегда сумеет создать для своего ввоза (в эту колонию) монопольное положение. Гильдебранд смелее Квесселя: он не очень, по-видимому, верит в возможность мирным путем разрешить и примирить заострившиеся противоречия капиталистического мира и, по видимому, вряд ли имеет что-либо против войны. Он прямо признает, что существующее распределение внеевропейских земель крайне несправедливо, что Германия в этом распределении обижена, что Россия и Франция злоупотребляют своей силой на суше, Англия злоупотребляет своим могуществом на море, а мы, «немцы», «обязаны перед нашими детьми» обеспечить себе колониальное будущее. Гильдебранд писал уже перед самой войной, и, вспоминая, например, агадирский инцидент, он с укоризной ставил на вид товарищам по партии, что не посмели бы Англия и Франция оказать тогда такое сопротивление, если бы они не полагались на враждебное отношение германской социал-демократии к колониальным предприятиям германского правительства. Гильдебранд предвидит на-

ступление (и довольно близкое) периода обостренной борьбы за рынки, ибо «крестьянские земли», в том числе Россия, земли, от которых тесно зависят промышленные страны, обзаведутся окончательно собственной промышленностью и перестанут служить для «западной» промышленности рынком сбыта и, что еще важнее, рынком сырья. Гильдебранду мерещится экономически-политический союз континентальной Европы против Британской империи, с одной стороны, и «русского колосса» — с другой.

Таков был круг идей, разделяемых перед войной некоторыми весьма *влиятельными элементами* партии [6].

Что же делало левое крыло? Левое крыло не переставало бороться с ревизионизмом, с колониальными вожделениями, с патриотической агрессивностью, которая стала все заметнее выходить наружу. Но тут необходимо сделать одно замечание.

Неудивительно после всего, сказанного выше, что ревизионизм все усиливался среди германской социал-демократии, и вплоть до самой войны, и в первые $1^{1}/_{2}$ года войны это направление было безусловно господствующим на верхах партии и очень сильным в некоторых категориях рабочих масс. Но за этим бьющим в глаза и действительно преобладающим фактом обыкновенно забывается другое, в высшей степени характерное явление, которого я и коснусь.

Дело в том, что приблизительно с середины первого десятилетия XX в. как в германской, так и в австрийской социал-демократии вдруг начинает очень слышно звучать голос революционного меньшинства, так слышно, как не звучал ни разу с самого начала победного шествия ревизионизма. Казалось бы, это явление парадоксальное. Если революционное настроение среди части рабочих масс Германии уже в 90-х годах XIX в. шло на убыль, *параллельно с усилившимся подъемом промышленности*, то уж подавно в 1905—1914 гг. это настроение должно было почти вовсе замереть, потому что, как только что сказано, расцвет промышленности в XX в. далеко оставил за собой все, чего можно было ждать, судя по прошлому.

А между тем факт налицо. Раньше чем обратиться *к объяснению* этого факта, вглядимся в некоторые характерные его особенности. Группа Розы Люксембург, Карла Либкнехта (т. е. группа революционно настроенных социал-демократов) теоретически *стояла на той же почве революционного марксизма*, как и предшествующие поколения их единомышленников. Но *практически* у революционеров эпохи, предшествующей мировой войне, была *одна* задача, *один* основной мотив пропаганды, *одна* непосредственная платформа; они говорили на митингах, на партейтагах, писали в немногих газетах, которыми могли располагать, главным образом об одном и том же: о необходимости революционого протеста масс в случае войны. Далеко не все они

и далеко не всегда утверждали, что это выступление кончится водворением социалистического строя, и вообще они избегали в эти годы часто развивать темы, касавшиеся социального переворота. *Для этого* они благоприятной почвы в те годы под собой не ощущали. Но о необходимости как можно скорее и как можно положительнее связать себя и французских и английских товарищей по Интернационалу революционными обязательствами в случае объявления мобилизации,— *об этом* они неустанно говорили. И *для этого* почва у них была очень прочная; *к этому* лозунгу прислушивались и те слои рабочей массы, которые, казалось, вполне охвачены были во всех других отношениях ревизионистскими настроениями.

Объяснение этому факту мы найдем на ближайших страницах. Очень поздно, только за несколько лет до войны (а больше всего с конца 1908 г., со времени знаменитой беседы Вильгельма с сотрудником «Daily Telegraph» и вызванной этим страшной бури в Германии), рабочие массы и верхи партии начали с серьезным беспокойством убеждаться в том, что их жизнью и смертью играет неуравновешенный и ограниченный человек, что так называемые «ответственные» руководители германской политики весьма мало перед кем бы то ни было ответственны, словом, даже те, кто мечтал о колониях и умышленно закрывал глаза на очевидный факт близящейся войны, стали понимать, что добиться войны еще не значит добиться колоний, что *хотеть* колоний мало,— нужно *уметь* их взять, и что при том положении вещей, какое образовалось внутри и вне государства, лучше бы Германии повременить с решительными выступлениями. Другими словами: к Розе Люксембург, Карлу Либкнехту, Лео Иогихесу и их товарищам стали несколько больше прислушиваться не потому, что убедились в несоответствии войны и захвата колоний с принципами социализма, но потому, что кое-кто со страхом начал понимать, что при подобных Вильгельму руководителях имперской политики Германская империя может потерпеть поражение. Конечно, нечего много распространяться о том, что левое течение имело и иные корни и что далеко не *весь* германский рабочий класс был «рабочей аристократией» по положению. Низкая в некоторых отраслях заработная плата, тиски нужды, неуверенность в завтрашнем дне, давление налогового пресса, постоянные раздражающие известия о грубейшем обращении с отбывающими воинскую повинность — все это само по себе было почвой, питавшей левые настроения в обширных слоях рабочей массы. Но я тут хочу отметить, что именно внешняя политика стала все более раздражать и беспокоить *также* и «рабочую аристократию» перед войной 1914 г.

Мы теперь подошли к теме, которой трудно было касаться без только что сделанных предварительных пояснений. В первом

параграфе этой главы мы рассмотрели ближайшие требования германского финансового капитала в конце XIX в. и подчеркнули, что создание колониальной империи было основным из этих ближайших требований. Во втором параграфе мы напомнили, что единственный громадный и могущественный класс, который еще в момент вступления Вильгельма II на престол, т. е. в 1888 г., стоял на принципиально революционной точке зрения, пережил с тех пор довольно быструю эволюцию, круто изменившую настроения довольно значительной его части; мы видели, что это изменение, в частности, привело к усвоению некоторыми более или менее «положительного» или «смягченного» взгляда на расширение политическими средствами арены действий финансового капитала, на колониальную политику, на необходимость экономического использования и, если нужно, политического захвата новых земель. Теперь мы должны рассмотреть, как воспользовалось фактически германское правительство этими широкими возможностями, таким положением, когда наиболее влиятельные слои капиталистической буржуазии его прямо *толкали* на активную внешнюю политику, а наиболее влиятельные и многочисленные слои рабочего класса ему в этом *не очень препятствовали.*

«Путь свободен!» — как бы говорила история Вильгельму II. Но это ему только так казалось. На самом деле путь был полон явных, а еще более скрытых опасностей, одна страшнее другой.

Постараемся уловить характерные черты правительственного механизма, созданного Бисмарком, и его функционирования как при Бисмарке, так и в первые так называемые «счастливые» пятнадцать лет царствования Вильгельма II до образования Антанты.

3

Могущество Германской империи родилось 18 января 1871 г. в зеркальном зале Версальского дворца и погибло 28 июня 1919 г. в том же зеркальном зале Версальского дворца. Германская империя возникла во время войны и погибла от войны. Вообще, на всем протяжении своего полуторатысячелетнего существования германский народ больше и чаще других западноевропейских народов испытывал непосредственное и непреодолимое воздействие и влияние соседей. Ни одна европейская страна не имела (и не имеет) таких — и так много — могущественных соседей и ни одна в борьбе за свое экономическое и политическое существование не подвергалась такому серьезному риску, в случае неудачной войны, потерять свою самостоятельность. Исторические и географические условия сдавили Германию на сравнительно небольшой территории, и труден был ее долгий исторический путь [7]. Когда в 1871 г., в разгаре победоносной борьбы против Франции, за несколько дней до капитуляции Па-

рижа, прусский король Вильгельм I возложил на себя в занятом им Версале императорскую корону, то этим актом, казалось, былая, многовековая раздробленность уступала место полному национальному единству германского народа, былая слабость сменялась могуществом и славой. Как ни был осторожен и мало склонен к оптимизму первый канцлер новой империи, Бисмарк, но если бы ему предсказали, что его детище просуществует всего 47 лет, то едва ли он этому поверил бы, хотя опасения никогда не покидали его.

В самом деле. Несокрушимо было только политическое единство германского народа, а вовсе не монархическая форма этого единства; ведь и в 1918 г., после военного разгрома, погибла только *монархия,* а единство уцелело и только изменило внешнюю свою форму. Действующая ныне германская («веймарская») конституция Гуго Прейса даже несколько более сплачивает германские «земли» («Länder») в единое целое, чем былая имперская конституция Бисмарка сплачивала германские «государства» («Staaten»). Бисмарковская Германия была могущественна, нынешняя — бессильна, разоружена, бедна, уменьшена в своей территории, подавлена победителями. Все изменилось, но единство осталось.

В чем тайна этого факта? В том, что и для торговой, и для промышленной, и для средней, и для крупной буржуазии, и для всего рабочего класса политическое единство открывало новые и широкие перспективы, и вовсе не случайностью было то, что вождь рабочего класса Лассаль был решительным сторонником объединения. Защищать германский вывоз, защищать интересы германского купца и промышленника могло лишь сильное, объединенное государство; сплотиться в могучую политическую силу рабочий класс мог только в большом едином государстве; наконец, непосредственная военная защита немецкой территории от могущественных соседей была сколько-нибудь надежна только при объединении. Все эти элементарные, но гнетуще сильные мотивы и соображения создали и поддерживали единство в эпоху блеска, богатства и славы — в 1871—1914 гг., продолжают поддерживать его в эпоху поражения, обеднения, унижения — в 1919—1926 гг. И если слабость централизаторского начала в германской имперской конституции бросалась в глаза задолго до войны и немцам, и особенно иностранцам [8], то иностранцы далеко не всегда отдавали дань тому капитальному факту, что могущественнейшие экономические и политические интересы делали все эти государственно правовые особенности германского строя безвредными для германского единства, так как не *могло* найтись ни одного класса, которому было бы выгодно воспользоваться указанными недочетами государственной машины для сепаратистских целей.

Но это единство получило в 1871 г. резко выраженную и намеренно подчеркнутую монархическую форму, внешнее обличие и внутренний дух которой так своеобразны, что на них стоит остановиться.

Бисмарк и не хотел, а отчасти и не мог объединить Германию *вокруг Пруссии так, как, например, Италия объединилась вокруг Пьемонта, т. е. он не хотел и не мог уничтожить полностью власть всех монархов, царствовавших в отдельных государствах Германии.* Конституция Германской империи была построена так, что до конца империи юристы и государствоведы спорили о том, чем считать Германию: «государственным союзом» или «союзом государств» («Bundesstaat» или «Staatenbund»)? Остались короли, великие герцоги, местные парламенты, *полная внутренняя* административная самостоятельность каждого отдельного государства, вошедшего в состав Германской империи, но вся внешняя политика, армия и флот, имперские финансы, чеканка монеты и выпуск кредитных билетов, почта и телеграф, таможенная политика и управление — все это отошло в ведение имперского правительства — *канцлера и статс-секретарей,* назначаемых императором и ответственных только перед императором. Бисмарк не хотел уничтожать старые местные династии, не желая нанести этим удар монархическим традициям и подорвать монархический дух в Германии, да кроме того, если бы он даже и хотел это сделать, то натолкнулся бы на жестокое сопротивление, *особенно со стороны южных,* больше земледельческих, чем промышленных государств, вроде Баварии, Вюртемберга, Бадена, где вообще идея объединения возбуждала меньше энтузиазма, чем в Средней, Северной и Западной Германии, где были сильны промышленная буржуазия и рабочий класс. Но зато, как сказано, все направление внешней политики оставалось всецело в руках императора, да и вообще все общеимперские дела всецело им направлялись и разрешались, поскольку для них не требовалось издания новых законов. Однако и на законодательство император мог влиять очень значительно. Законодательная власть принадлежала по имперской конституции двум учреждениям: *рейхстагу,* выбираемому чрез каждые пять лет всеобщей, прямой, равной и тайной подачей голосов и состоящему из 397 депутатов, и *союзному совету,* учреждению, составленному из сановников, *назначаемых* правительствами всех государств, входящих в Германскую империю. В этом союзном совете число представителей от Пруссии (назначаемых, таким образом, прусским королем) было так велико, что фактически без их согласия не мог пройти через союзный совет ни один закон. А так как всякий закон *должен был пройти через рейхстаг и через союзный совет,* то, значит, любой закон, неугодный прусскому королю, мог быть провален в союзном совете голосами

прусских представителей, назначенных, как сказано, прусским королем. Таким путем прусский король мог фактически противиться воле рейхстага и провалить в союзном совете те законопроекты, которые прошли через рейхстаг. А прусский король по конституции был *всегда* вместе с тем германским императором. Мало того. Не только имперское правительство, с канцлером во главе, назначалось и смещалось императором и было исключительно пред ним ответственно, но и в Пруссии (самом большом из всех германских государств) король смещал и назначал министров, ни с кем не считаясь, кроме своей воли. Мы видим, какая огромная власть была отдана имперской конституцией в руки *одному* человеку, соединявшему в себе два звания: германского императора и прусского короля. «Я слишком укрепил всадника в седле»,— говаривал к концу жизни Бисмарк, намекая на слишком большую власть, оставленную в руках германского императора. Так обстояло дело с точки зрения юридической, государственно-правовой. *Но были налицо в течение всего существования этой империи такие обстоятельства, которые как бы сговорились, чтобы еще более «укрепить всадника в седле».*

Постараемся вкратце охарактеризовать отношение *отдельных классов германского народа к императорской власти*, и мы увидим, почему за все 47 лет существования империи дело ни разу не дошло до решительного движения — хотя бы только парламентского — в пользу ограничения слишком огромных императорских полномочий.

1. В противоположность тому, что случилось в Англии, в Германии *сельское хозяйство не только не было экономически* задавлено промышленностью, но, напротив, земледелие и вся сельскохозяйственная культура необычайно расцвели именно в последние десятилетия XIX и в первые годы XX в. Капитал ушел не только в индустрию, но и в земледелие, и последствия сказались тотчас же. Умы сельских хозяев были заняты главным образом таможенной политикой. Кто же входил в состав охватившего всю империю «Союза сельских хозяев», оказывавшего чрезвычайно сильное влияние на весь правый сектор германского рейхстага? «Союз сельских хозяев» объединял в огромной степени земельных собственников и отчасти земельных долгосрочных арендаторов. Сюда входили и потомки старых дворянских родов, у которых еще оставались в обладании родовые поместья, и люди крупного и среднего торгово-промышленного класса, ликвидировавшие почему-либо свою деятельность в городе и перенесшие свои капиталы на купленную ими землю, и крестьяне-собственники. Для них всех «Союз сельских хозяев» был как бы огромной профессиональной организацией, призванной защищать их интересы, противопоставляемые интересам потребителя сельскохозяйственных продуктов, т. е. интересам

всех *городских* классов и прежде всего рабочих и торгово-промышленной буржуазии. Партии, которым на выборах помогали «сельские хозяева», были партиями консервативными по преимуществу (консерваторы и свободные консерваторы и так называемая christlichsoziale Partei, а также — местами — католический «центр» тоже пользовались часто поддержкой «Союза сельских хозяев»). Конечно, это было не случайностью: именно дворянскими своими элементами «Союз сельских хозяев» соприкасался с придворными сферами, с династией, с личным составом высшей бюрократии, т. е. с наиболее консервативными элементами в стране, привыкшими отождествлять свои интересы с возможно меньше ограниченным произволом и личным усмотрением монарха. Пользуясь этими непосредственными связями, можно было сильно влиять на таможенную политику в интересах сельского хозяйства, а в рейхстаге, кроме того, консервативные партии, где руководящую роль играли именно крупные землевладельцы, не переставали настаивать на ограждении внутреннего рынка от ввоза сельскохозяйственных продуктов из-за границы.

2. Далее. Крупная и средняя промышленность, крупный и средний торговый капитал были представлены большей частью национал-либералами, которые еще в 70-х годах стояли па платформе «либеральных» реформ, расширения власти рейхстага и т. д. Но по мере усиления социал-демократии, либерализм национал-либералов все тускнел, и в 1878 г., после второго покушения на жизнь императора Вильгельма I, они окончательно перешли в лагерь правительства. Они вотировали «закон о социалистах» (в 1878 г.), лишивший социал-демократию до самого 1890 г. значительной части политических прав и конституционных гарантий. В последние годы XIX и в начале XX в. они были верными выразителями нужд и стремлений крупного промышленного капитала. Они стояли за активную колониальную политику, они приветствовали всякий шаг германского правительства, направленный против Англии; вообще воинственный и угрожающий тон Германии в делах международной политики встречал с их стороны полное сочувствие. Во внутренней политике они стояли прежде всего за сильную власть, которая могла бы пускать в ход всю полицейскую и военную силу государства для ограждения существующего строя от революционных выступлений рабочего класса. Ясно, что не могли они бороться против правительства с целью расширения прав рейхстага, потому что всякое увеличение власти рейхстага, где (под конец империи) из 397 членов было 110 социал-демократов, влекло за собой увеличение влияния социал-демократии.

3. Партия центра объединялась внешне и организационно идеей отстаивания интересов католиков в стране и была сильна

именно на юге и на западе Германии, где большинство населения — католики. Классовый состав ее был очень пестрый. Мелкая и средняя буржуазия и крестьянство по преимуществу в Баварии, Вюртемберге и Бадене, мелкая и средняя буржуазия, отчасти некоторые рабочие и ремесленники, психологически близкие к мелкобуржуазной стихии,— в Рейнской области,— вот классы, поддерживавшие эту партию, всегда очень сильную в рейхстаге. Программа партии центра, в соответствии с ее очень пестрым социальным составом, была не во всех своих частях выдержана и последовательна, и никогда нельзя было с уверенностью предсказать, как себя поведет центр в трудную минуту. Иногда центр стоял за либеральные меры, иногда за реакционные, иногда склонялся к смягчению таможенной политики, иногда к повышению тарифных ставок. Был, однако, один пункт, относительно которого центр был непоколебимо тверд: он отстаивал всеми мерами гарантированную имперской конституцией внутреннюю самостоятельность отдельных германских государств от всяких поползновений имперского правительства нарушить их автономию. Эта католическая партия была заинтересована в том, чтобы католические южные государства Германии были по возможности ограждены от влияния протестантской Пруссии, король которой являлся в то же время германским императором. Что касается отношения к социал-демократам, то центр, конечно, готов был поддержать всякое мероприятие правительства, направленное против социал-демократов, за исключением тех случаев, когда сам центр по каким-либо причинам был не в ладах с правительством и желал либо сделать ему неприятность, либо подороже продать свою дальнейшую помощь. Во всяком случае ни для кого не могло быть сомнений, что во всех сколько-нибудь серьезных социальных конфликтах центр всегда будет на стороне правительства против социал-демократов.

4. Остается сказать еще несколько слов о так называемых свободомыслящих (freisinnige Volkspartei). Эта партия, отражавшая взгляды части мелкой буржуазии, части служащей интеллигенции и специалистов, части купечества и банкового мира столицы и больших городов, никогда не была очень могущественна в рейхстаге, но в 80-х и 90-х годах XIX в. ее талантливый вождь и большой оратор Евгений Рихтер пользовался большим влиянием и считался как бы главным представителем буржуазной оппозиции. Но эта партия уже к началу XX в. сильно потускнела и утратила свое значение. Дело в том, что во всех вопросах социального строительства свободомыслящие стояли на точке зрения старого либерализма («манчестерства»), проповедовали полное невмешательство государства в отношения между трудом и капиталом и в социал-демократах усматривали

гораздо больших врагов, чем в стоящих правее национал-либералах. В колониальной политике и в вопросе об усилении вооружений империи они не шли так далеко, как национал-либералы, но и к последовательной борьбе за усиление власти рейхстага они оказались неспособными. Страх перед усилением социал-демократии сковывал их и останавливал перед каждым сколько-нибудь решительным шагом.

Таковы были партии рейхстага, стоявшие правее социал-демократов. Ни одна из них *не желала* дальнейшего ограничения императорской власти. Что касается социал-демократии и ее настроений, то об этом уже сказано было раньше. Тут речь идет только о партиях буржуазных.

Император был им нужен также как вождь в борьбе за усиление международного положения Германии, в борьбе за колонии, за новые рынки. Если возникло за все существование империи действительно оппозиционное течение в консервативных и отчасти в национально-либеральных кругах, то это было уже перед взрывом мировой войны, когда со страниц *правой* прессы исходили нетерпеливые намеки и упреки Вильгельму II за его излишнее миролюбие, уступчивость, нерешительность. Эти попреки, как увидим, тоже сыграли впоследствии свою роль в июле 1914 г., когда бросался жребий войны или мира.

Итак, конституция, дающая монарху решающие, *ничем* не ограниченные права и полномочия в области внешней политики и очень мало ограниченные права в области общеимперской законодательной деятельности; экономическое процветание и связанный с ним известный упадок революционизма в *единственной* партии, опиравшейся на рабочие массы; отсутствие сколько-нибудь резко выраженной оппозиционности в какой бы то ни было из буржуазных партий; все более и более усиливающиеся и все шире и шире распространяющиеся в разных слоях народа, диктуемые рядом экономических соображений стремления к приобретению колоний и вообще к торговой, промышленной и политической экспансии — вот условия, среди которых пришлось действовать германской верховной власти от начала империи до взрыва мировой войны. Прибавим к этому второстепенные, но тоже очень важные моменты: прочный стародавний бюрократический строй в Пруссии и прочих германских государствах, превосходно (с технической стороны) организованная и дееспособная армия, многочисленное и очень спаянное корпоративным духом дворянство, заполнявшее все командные посты в армии и в бюрократии, весьма влиятельная как в крестьянстве, так и во всех слоях буржуазии монархическая традиция, овеянная славой побед 1864 г. над Данией, 1866 г. над Австрией, 1870—1871 гг. над Францией, славой блистательно совершенного объединения Германии.

«Всадник», о котором говорил Бисмарк, в самом деле очень прочно «сидел в седле». Посмотрим теперь, как он проявлял и на что употреблял свою силу.

С 1871 г. вплоть до отставки Бисмарка (17 марта 1890 г.) фактическим правителем внутренних и внешних дел Германской империи был канцлер империи, князь Бисмарк. С 17 марта 1890 г. до крушения империи 9 ноября 1918 г. все окончательные решения произносились Вильгельмом II, а временами ему принадлежала и вся *фактическая* власть.

Трудно представить себе двух людей, более непохожих друг на друга, чем эти два человека, которые в хронологической последовательности правили Германской империей в течение всех сорока семи лет ее существования.

Прежде всего Бисмарк понимал, что Германия, при всей своей силе, окружена страшными опасностями извне, что для нее проигрыш большой войны, вследствие географических и экономических условий, всегда опаснее, чем для любой другой державы, и что поражение для нее может стать равносильно уничтожению великодержавности. Вся его политика с 1871 г. была направлена к сохранению добытого, а не к приобретению нового. Даже когда в 1875 г. он опять подумывал напасть на Францию, это объяснялось громадными вооружениями французов и страхом Бисмарка пред несомненной будущей войной. Он намеренно старался сбросить со счетов все, что сколько-нибудь увеличивало вероятность войны Германии с какой-либо великой державой или коалицией держав. «Кошмар коалиций» — так определялось душевное состояние Бисмарка в последние 19 лет его правления. Он знал великую австро-франко-русскую коалицию, созданную в 1756 г. австрийским канцлером Кауницем, от которой чуть не погибла монархия Фридриха Великого, и он как будто предвидел еще более грандиозную коалицию 1914 г., от которой на самом деле погибла монархия Вильгельма II. Он неспроста повторял, что весь восточный вопрос «не стоит костей одного померанского гренадера» и что он, Бисмарк, будто бы «никогда не читает константинопольской почты», отстраняясь от восточного вопроса, от балканских недоразумений с Россией, единственной страной, которой он боялся даже и независимо от коалиций. Бисмарк заключил союз с Австрией в 1879 г., союз с Италией в 1882 г. (создав этим Тройственный союз), чтобы иметь опору на случай войны с Россией или Францией, но в 1887 г. он вступил в уже упомянутое в своем месте соглашение с Россией («договор о перестраховании»), по которому Германия и Россия обязывались не выступать друг против друга в случае войны каждой из них с какой-либо третьей державой. Он поощрял всячески завоевательную политику Франции в Африке и Азии, во-первых, чтобы отвлечь французов

от мысли о «реванше», об обратном завоевании Эльзаса и Лотарингии, а во-вторых, чтобы способствовать этим ухудшению отношений Франции с Англией и Италией. Наконец, он очень скупо и неохотно шел на создание германских колоний, чтобы, в свою очередь, не рисковать опасными ссорами с великой морской державой.

Эта политика воздержания и осторожности требовала многих жертв и раздражала порой крупнокапиталистические круги, но Бисмарк, уступая им, старался все же уступить как можно меньше. Его взоры были устремлены исключительно на Европу, а еще точнее — на Францию, Россию, Англию как на вероятных врагов, на Австрию и Италию — как на нужных союзников. Уже с Балкан начинался тот далекий мир, который, пожалуй, мог интересовать, но не волновать князя Бисмарка. Что касается внутренней политики, то здесь стремления Бисмарка были так же консервативны (т. е. направлены на сохранение существующего положения), как и в политике внешней. Сначала, вплоть до 1878 г., он вел упорную борьбу против тех политических сил, в которых он видел опасность для созданной им империи; против сепаратистских течений в южных, католических странах Германии, а также на западе Пруссии — в Рейнланде — и в польских провинциях Пруссии — против католического духовенства, в котором он усматривал тайных подстрекателей против единства империи. Эта борьба не была по существу тем, чем ее называли сторонники Бисмарка и он сам,— «культуркампфом», борьбой за культуру (т. е. за светскую культуру против клерикального невежества и фанатизма), это была по существу борьба против сепаратистских течений. Но, с одной стороны, «сепаратизм» был явно неопасен, ибо в Германии не было ни одного класса общества, который желал бы распадения империи, и Бисмарк с каждым годом в этом все более и более убеждался; а с другой стороны, в 1878 г. он предпринял (впервые) яростный поход против социал-демократии. Вести разом борьбу на два фронта — и против католиков и против социал-демократов — он не мог. Нужно было выбирать, и Бисмарк выбрал без колебаний.

Ускорившим этот выбор внешним толчком оказалось то обстоятельство, что в 1878 г. произошло одно за другим два покушения на императора Вильгельма I. В обоих покушениях социал-демократическая партия была нисколько не виновата, и Бисмарк, разумеется, знал об этом.

После покушения Геделя Бисмарку не удалось провести общего закона против социалистов: его проект провалился в рейхстаге (большинством 251 голоса против 54). Это случилось в рейхстаге 24 мая 1878 г., а 2 июня произошло новое покушение на Вильгельма I: его тяжко ранил д-р Нобилинг. Хотя ни Ге-

дель, ни Нобилинг не принадлежали к социал-демократической партии, но обстоятельства были использованы Бисмарком вполне. Рейхстаг был распущен спустя неделю после покушения Нобилинга, а новый рейхстаг поспешил принять «исключительный закон» против социалистов (большинством 221 голоса против 149). Смысл и прямые последствия этого законодательства заключались в том, что отныне агитационная деятельность социал-демократической партии как в легальной прессе, так и на митингах становилась до последней степени затруднительной, вернее, просто невозможной. Партия становилась в полунелегальное положение. При двенадцатилетнем господстве этого законодательства, правда, число социал-демократических депутатов в рейхстаге не переставало возрастать, но жизнь рядового рабочего, члена партии, была нелегка: сплошь и рядом он *должен был старательно скрывать* от полиции и от хозяев свою партийную принадлежность, подвергался утеснениям и гонениям.

Но Бисмарк решил повести борьбу против социал-демократии не только путем полицейских притеснений, но и более сложными и утонченными методами. Осенью 1881 г. началась «эра рабочего законодательства», т. е. проведение по инициативе имперского правительства через рейхстаг ряда законов, направленных в той или иной степени к защите интересов труда.

В ноябре 1881 г. открылась сессия вновь избранного рейхстага.

17 ноября 1881 г. появилось торжественно составленное имперское послание к рейхстагу, в котором говорилось, что «исцеление социальных зол должно искать не исключительно в репрессиях против социал-демократических излишеств, но равномерно и в положительном споспешествовании благу рабочих».

Для начала правительство представило законопроект о страховании рабочих от несчастных случаев.

Существовавший в Германии закон 7 июня 1871 г. о страховании рабочих от несчастных случаев не имел в сущности большого практического значения: рабочий обязан был доказать на деле, что он пострадал *именно по вине предпринимателя или* его уполномоченного, или приказчика, и тогда только мог рассчитывать на вознаграждение.

Закон, внесенный на рассмотрение рейхстага, в конце 1881 г. вошел в силу. Этот закон установил обязательное страхование рабочих от несчастных случаев во всех промышленных предприятиях. Вся материальная тягота по уплате пени и вознаграждений пострадавшим рабочим возлагалась на товарищества предпринимателей. Параллельно через рейхстаг проходил законопроект (внесенный в рейхстаг в мае 1883 г.) о страховании рабочих на случай болезни. Закон был построен так, что расходы

несли как больничные кассы, содержимые на счет взносов рабочих, так и предприниматели. Пред войной (в 1911 г.) застрахованных от несчастных случаев рабочих и служащих в Германии числилось $24^1/_2$ миллиона человек. Бисмарк не скрывал мотивов, которые руководили им в проведении этих законов.

«Социал-демократия уж такова, какова она есть; но она во всяком случае — значительный симптом, «манифакел» (слова, начертанные огненными буквами на стене во время Валтасарова пира) для собственнических классов, напоминание, что не все обстоит так, как должно, и что можно приложить руку к улучшению»,— так заявил Бисмарк в рейхстаге 26 ноября 1884 г. и прибавил еще яснее: «*Если бы не было социал-демократии и если бы масса людей ее не боялась, то даже умеренные успехи* (*die mässigen Fortschritte*), *достигнутые нами в области социальных реформ вообще, еще не существовали бы, и поскольку это так,— страх пред социал-демократией для тех, у кого нет сердца относительно их бедных сограждан, вполне полезный элемент*».

Он имел в виду оппозицию со стороны части консерваторов и свободомыслящих, которые довольно упорно противились этим законам. Социал-демократы усматривали лицемерие в этом законодательстве, проводимом в эпоху систематического гонения против единственной рабочей партии в стране, и уже потому отрицательно отнеслись к законопроектам. Третий закон — о страховании на случай неработоспособности и старости — прошел после очень долгого обсуждения в общей и специальной прессе только в мае 1889 г. весьма слабым большинством (185 голосами против 165), причем против закона голосовали социал-демократы, свободомыслящие и вся партия центра, кроме 13 человек, а за закон — консерваторы и национал-либералы. И в этом законе и в предыдущих двух есть много недостатков. Социал-демократы указывали на то, что пенсия выдается лишь с 70 лет, когда большей частью рабочие уже успевают умереть; что доля рабочих взносов слишком велика, что предприниматели все же несут (относительно) несоразмерно малую долю расходов сравнительно с получаемыми ими доходами и т. д. Во всяком случае такие законы о страховании были для тогдашней Европы большой новостью, и впоследствии социал-демократическая историография, продолжая подчеркивать лицемерие и политические задние мысли творца этих законов — Бисмарка, не отказывалась признать, что все три закона по существу являлись бесспорно крупным шагом вперед сравнительно с тем законодательством, которое в те годы существовало в остальных капиталистических странах. Но, возлагая на промышленников кое-какие материальные жертвы, Бисмарк в то же время не

переставал деятельно содействовать увеличению их прибылей рядом законодательных мер, превративших Германию в страну последовательно проведенной покровительственной таможенной системы.

До 1877 г. в Германии во многих отношениях царил принцип свободы торговли. Страшный торгово-промышленный и финансовый крах 1873 г. произвел громадное впечатление на промышленников, на торговую буржуазию, на правительство. Кризис был объяснен не только легкомысленным основанием дутых предприятий, не только колоссальным, необдуманным, в самом деле вполне «анархическим» производством, но также и необеспеченностью «национального рынка для национальной промышленности». Когда (в июне 1876 г.) из имперского министерства ушел Рудольф Дельбрюк, правая рука Бисмарка в управлении имперскими финансами и во всем, что касалось экономической жизни империи, то стало ясно, что канцлер пойдет по пути протекционизма (Дельбрюк стоял за ту относительную свободу торговли, какая существовала еще с 60-х годов).

У Бисмарка были при этом также и чисто финансовые побуждения. Он желал сильно повысить таможенные доходы империи. В 1879 г. новый тариф, круто повышавший таможенные ставки, прошел через рейхстаг. Этот тариф почти закрывал германский рынок для иностранной конкуренции во всех главных отраслях промышленности. Но «аграрии» (сельские хозяева) требовали и для себя таможенного покровительства, и в 1885—1887 гг. прошел ряд крупных повышений таможенных ставок (иногда в 5 раз) на главные продукты земледелия. Конечно, это возбуждало ропот и в промышленном, и в рабочем классе (так как удорожало съестные припасы), но в эти годы германская промышленность уже шла от успеха к успеху и в конце концов примирилась до поры до времени с этими жертвами.

Бисмарк кончал свое долгое правление, неизменно придерживаясь принципа соблюдения внутри империи такого экономического равновесия, которое, с одной стороны, привлекло бы к правительству все собственнические круги, как бы противоречивы ни были их интересы, а с другой — уменьшило бы возможность революционного воздействия социал-демократии на рабочие массы. То и другое ему удавалось далеко не в одинаковой степени, и полностью никогда не удавалось до конца. Но частично он своей первой цели временами достигал. Упорно боролся он также с сепаратистскими стремлениями в Эльзас-Лотарингии, где часть торгово-промышленного класса и мелкого землевладения тяготела к Франции, и в Познани и восточных провинциях вообще, где польский элемент оказывался очень живучим и устойчивым. Все попытки онруссачения обеих этих окраин не удавались. И Эльзас-Лотарингия, и Польша

интересовали Бисмарка прежде всего как форпосты будущей войны, как яблоко раздора с точки зрения внешней, а не внутренней политики.

Да и вообще внешняя, а не внутренняя политика приковывала до конца его беспокойные взоры. Воскрешение шовинизма и воинственного настроения Франции в 1886—1888 гг. в связи с блестящей и бурной карьерой генерала Буланже, первые признаки начинающегося франко-русского сближения, молчаливая, но несомненная враждебность императора Александра III, беспокойные пограничные инциденты на западе — все это волновало и беспокоило старого князя гораздо больше, чем он это хотел показать, и близко его наблюдавшие люди не обманывались его мнимым спокойствием.

Таково было положение вещей, когда в марте 1888 г. скончался 91 года от роду император Вильгельм I, а спустя три месяца скончался наследовавший ему сын его Фридрих III.

После смерти Фридриха III (который уже, вступая на престол, умирал от рака в горле) на германский престол вступил 15 июня 1888 г. его сын и наследник тридцатилетний Вильгельм II.

Попытаемся дать в самых кратких чертах характеристику этого человека.

4

После всего сказанного выше ограничимся лишь самой краткой формулировкой положения вещей, которое Вильгельм II застал, вступив на императорский престол: быстро богатеющая промышленная страна, обладающая в то же время цветущим сельским хозяйством; могущественнейшая в мире сухопутная армия, прочно налаженный и исправно действующий бюрократический аппарат; довольно сильные монархические традиции в буржуазии и крестьянстве; большой рабочий класс, не отказавшийся еще от революционной доктрины, но уже десять лет подчиняющийся исключительному закону 1878 г.; во внешней политике — союз Германии с Австрией и Италией, благосклонное отношение к этому союзу консервативного английского кабинета (вследствие вражды Англии с Францией и Россией); первые, уже совершенные шаги к созданию колониальной империи; явное нежелание какой бы то ни было буржуазной партии вести борьбу за расширение прав рейхстага и невозможность для социал-демократов с успехом вести эту борьбу без союзников; колоссальные полномочия императорской власти в области внешней политики и громадное влияние монарха в области политики внутренней; явная и полная готовность значительной части капиталистических кругов поддержать активную и приобретательскую колониальную политику, если ее захочет повести

новый правитель,— вот общие условия, встретившие Вильгельма на пороге его царствования. Блеск, сила, растущее богатство, лучезарное для монархии настоящее, светлое будущее — вот как рисуется это время в воспоминаниях современников.

Как же случилось то, что произошло в действительности? *Что* легло между июньским днем 1888 г., когда молодой император, могущественнейший государь Европы, впервые показался на балконе берлинского дворца, приветствуемый толпами народа, и тем дождливым осенним утром 10 ноября 1918 г., когда около голландской пограничной станции Эйзден остановился забрызганный грязью автомобиль и вышедший из него бледный, как полотно, седой человек подошел к изумленному таможенному чиновнику и, сдав свою императорскую шпагу, просил его о пристанище? Почему после блестящего начала все окончилось неслыханным разгромом, полной гибелью, непоправимым позором, поспешным бегством?

Не в характере и уме Вильгельма было главное дело, потому что не личности делают историю. Но если далекие, конечные исторические результаты не зависели ни от его свойства, ни от чьей другой индивидуальности, то внешнюю физиономию и сплетение событий нельзя вполне ясно уразуметь, игнорируя человека, тридцать лет подряд говорившего и действовавшего от имени Германской империи.

Много было попыток дать характеристику Вильгельма II. Писали о нем личные враги (например, Бисмарк в III томе своих «Gedanken und Erinnerungen»); писали простые, бесхитростные наблюдатели (вроде гофмаршала Цедлиц-Трюцшлера); писали явные льстецы, может быть, даже уверившие себя, что они беспристрастны (вроде покойного известного историка Карла Лампрехта в его книге «Der Kaiser», вышедшей в 1913 г.); писали шовинисты, находившие, что он недостаточно решителен во внешней политике (например, Paul Liman, «Der Kaiser»); писали социал-демократы, называвшие его «коронованным глупцом», «der gekrönte Narr»; писал Лев Толстой — правда, в нескольких строках,— назвавший его «самым смешным, если не самым отвратительным представителем современного императорства»; писали талантливые и очень критические популяризаторы, вроде Эмиля Людвига и т. д. В этом кратком общем обзоре было бы совершенно не к месту пытаться дать сколько-нибудь исчерпывающую характеристику. Мы только отметим те черты его ума и характера, без которых непонятны многие (и притом самые значительные по последствиям) его действия.

Коренная черта его натуры — могуче развитое, *все* в нем побеждающее чувство самосохранения. Непобедимое, всегда настороженное, оно брало верх над всеми другими его

8*

наклонностями, и в последнем счете всегда оно и только оно определяло его поведение. Оно сказывалось и в личной, и в общественной его жизни. Конечно, он знал, что неловко ни разу не рискнуть совершить самый коротенький воздушный рейс или подводное путешествие, не переставая в то же время воинственными речами приветствовать полеты цеппелинов и спуск новых подводных лодок; что нельзя так себя распустить, чтобы ни единого раза за всю долгую войну даже и отдаленно не приблизиться к мало-мальски опасному месту, хоть на минуту очутиться поблизости от линии огня, когда и английский король, и семидесятисемилетний Клемансо это делали и сочли приличным и нужным хоть раз подвергнуться личной явной и непосредственной опасности. Вильгельм знал, конечно, что об этом говорят, что это его роняет. Знал, но пребыл непоколебимо тверд в ограждении своей безопасности. Что он *непременно* убежит, когда налицо будет возможность опасности,— это как-то твердо знали все, и друзья и враги, и его бегство в ночь с 9 на 10 ноября 1918 г. никого не изумило. Еще до войны Вильгельм *всегда* уступал, когда только наталкивался на отпор или решительное противодействие. Так он поступил, предав буров (которых он же подбивал к военному сопротивлению), когда сообразил, что англичане раздражены и все равно с бурами покончат; так он поступил в 1908 г., когда опубликованная в «Daily Telegraph» беседа императора вызвала против него бурю негодования в Германии: Вильгельм пошел на унизительное обещание рейхстагу, что впредь он будет вести себя осторожнее [9].

Второй его характерной чертой (но все же значительно менее сильной, чем первая) было самопревознесение, неуравновешенное стремление видеть себя и особенно представлять себя могущественнее, чем это было на самом деле, мудрее, проницательнее всех, с кем он был в сношениях. В тесной связи с этой стороной его характера было его «благочестие», которое состояло в том, что *все*, что он говорил и делал, он приписывал велению и внушению божества, перед коим он отвечает «за свой народ». Может быть, он даже и не вполне прикидывался, а в самом деле постарался внушить себе эту удобную теорию. *Его* «бог» никогда и ни в чем его не стеснял: все, чего хотелось Вильгельму, всегда хотел и «бог». Эта наиболее отталкивающая и наиболее вредная из всех форм суеверия давала Вильгельму полнейший душевный комфорт и полную уверенность, что все будет в конце концов прекрасно. «Я веду вас навстречу великолепным временам» (den herrlichen Tagen führe ich euch entgegen),— восклицал он в своих бесконечных и бесчисленных речах и прибавлял глубокомысленные соображения, что господь бог «не возился бы так» с пруссаками, если бы не предназначал их впоследствии для чего-нибудь великого.

Самохвальство, тщеславие и связанную с этими чертами лживость первая заметила в нем его мать, а потом и многие другие, кто с ним сталкивался. Все его провокационные речи, которыми он волновал и раздражал Европу в течение всего своего царствования, все эти заявления, что нужно порох держать сухим, все воинственные бряцания оружием — все это Вильгельм пускал в ход именно тогда, когда ровно ничего не грозило Германии. Самую неистовую речь, где он требовал, чтобы его солдаты вели себя, как гунны при Аттиле, он сказал, отправляя войска в совершенно безопасную для них экспедицию в Китай в 1900 г., где немцы действовали вместе со всей Европой против совсем плохо вооруженных и слабых боксерских отрядов. Но там, где в самом деле было возможно нарваться на отпор, Вильгельм, при всей словоохотливости, хранил *всегда* молчание. Его самохвальство кончалось там, где начиналась его боязнь за себя, а его боязнь за себя не кончалась нигде и никогда.

Постоянное выдвигание собственной особы, кстати и некстати, на первый план заставило наблюдателей сказать о нем крылатое слово: «Император Вильгельм желает быть на каждой свадьбе — невестой, на каждых крестинах — новорожденным, на каждых похоронах — покойником». Внешность, парад, мундир, широковещательный тост, газетная шумиха, торжества на гонках яхт, военные юбилеи, визиты к иностранным дворам, открытия новых учреждений, освящения новых замков, старых знамен, спуск броненосцев, прием депутаций, телеграммы с поздравлениями, соболезнованиями, увещаниями — вот что наполняло его жизнь и было главными формами его деятельности. Теперь уже положительно известно, что делами он занимался очень мало и всегда плохо, когда брался за них: всегда все путал и всему мешал на маневрах и вообще в военном деле. Ума небольшого и неглубокого, хотя и быстрого, способностей очень посредственных, образования поверхностного и довольно легкого, конечно, не могло хватить на все те бесчисленные дела и интересы, за которые хватался и о которых пекся Вильгельм. И он заменял все эти качества дилетантским апломбом, самоуверенностью, с которой он говорил и о живописи, и о музыке, и о востоковедении, и о Библии, и об архитектуре, и об истории (о «героях», избираемых господом для руководительства человечеством), и вообще о чем угодно. На настоящую умственную работу, на серьезные усилия мысли, сколько-нибудь длительные, он был абсолютно неспособен. Он был суетлив, но совсем не прилежен, напротив, его близких серьезно беспокоила даже явная и всегдашняя лень императора, его болтливость и нежелание прослушать доклад до конца, не перебивая докладчика, а под конец и просто полная неспособность ни к какому усидчивому труду. Суетливость, легкая возбуждаемость, внешняя

энергия речей, неслыханная самоуверенность плохо маскировали слабовольного, неуравновешенного, неумного человека. Этот-то человек и стал волей случая и по праву родового наследования правителем Германской империи. Долго ужиться с Бисмарком он не мог никак. Только год и девять месяцев продолжалось их сотрудничество. Бисмарк именно в этот период, приглядевшись к новому императору, высказал в разговоре с Шурцом, что американская конституция хороша тем, что если глава государства — президент — окажется неподходящим для занимаемого им высокого поста, то через четыре года его можно убрать, а в монархиях — никак нельзя. Чтобы в такой короткий срок превратить старого консерватора и монархиста Бисмарка в «республиканца»,— для этого нужно было уж очень постараться. Бисмарк разошелся с императором сначала по вопросу о слишком частых визитах Вильгельма к русскому двору (Бисмарк не видел в этом прока и боялся излишней словоохотливости и бестактности Вильгельма), а потом по вопросу о созвании (это была мысль Вильгельма) в Берлине конференции держав для урегулирования социального вопроса. Бисмарк утверждал, что решительно ничего из этой конференции не выйдет,— и из нее ничего не вышло. Но этот вопрос был лишь предлогом, как и другие (например, Бисмарк не желал, чтобы отдельные министры без его ведома и не по его поручению делали доклады императору). Главное же было в другом: Вильгельм желал самостоятельно управлять делами, что при Бисмарке было совершенно невозможно.

Вильгельм, конечно, не посмел бы посягнуть на Бисмарка, если бы обстоятельства ему не благоприятствовали в этом. Среди крупнокапиталистических кругов Бисмарк утратил часть своей популярности вследствие отмеченной выше сдержанности в деле приобретения новых колоний; среди социал-демократов, в рабочем классе его ненавидели за закон против социалистов; могущественная в рейхстаге католическая партия центра не забыла ему былых гонений против католического духовенства. Словом, были налицо такие сильные течения против Бисмарка, что Вильгельм наконец отважился довести ссору до разрыва. 17 марта 1890 г. Бисмарк подал в отставку. Последние 8 лет своей жизни он провел в имении, не переставая следить за политической жизнью, и часто весьма зло критиковал действия Вильгельма.

С этой поры и начинается «вильгельмовская эра» германской истории — «die wilhelminische Aera», как ее называют немецкие историки и публицисты.

Нужно сказать, что в области внутренней политики отмеченные выше свойства Вильгельма не принесли и не могли принести таких гибельных результатов, как в области политики

международной. Начать с того, что в области внутренней политики настоящего вызова на бой он за все свое царствование не сделал: он очень много говорил о том, что он ни перед кем, кроме бога, не ответствен, что он *один* только распоряжается в Германии и не потерпит никого рядом, что «так хочу, так приказываю, да будет вместо рассуждения моя воля» (sic volo, sic jubeo, sit pro ratione voluntas) и т. д. Но он только *на словах* разыгрывал из себя самодержца. *На деле же* он за все тридцать лет царствования ни разу не посмел нарушить конституцию. Решиться же на то, на что, например, решился 2 декабря 1851 г. во Франции Луи-Наполеон, т. е. на государственный переворот с целью водворения самодержавия, Вильгельм никогда не смел и помыслить. Изредка с правых скамей рейхстага слышались слова об отряде гренадер, которые могут легко справиться с оппозицией, но никогда само правительство даже и угроз таких не пускало в ход, если не считать слов канцлера Бюлова уже в 1900-х годах, что «за Робеспьером всегда следует сабля Бонапарта» (он это сказал в 1906 г. по адресу социал-демократов). Это не значит, конечно, что самые речи Вильгельма с назойливым подчеркиванием симпатий к самодержавию не раздражали часть буржуазии. Раздражал также нелепый и навязчивый культ памяти Вильгельма I, которого Вильгельм II переименовал ни с того ни с сего в «Вильгельма Великого», причем и тут главной (явственной) целью этого культа было поддержание монархических и династических симпатий. Этого посредственного, сдержанного, по-своему честного и скромного человека, своего деда, Вильгельм II называл истинным основателем империи, а Бисмарка — лишь исполнителем державной воли «Вильгельма Великого». При Вильгельме II официальной доктриной сделалась теория, изложенная канцлером империи Бетман-Гольвегом в ноябре 1910 г. в рейхстаге, в ответ на запрос социал-демократа Ледебура по поводу одной речи Вильгельма: прусский король вовсе не ответствен перед народом, потому что не народ, а Гогенцоллерны *сами*, своими трудами и талантами, создали Пруссию. К слову замечу, что эти слова привели в полный восторг русского посла в Берлине, графа Остен-Сакена [10]. Эти вызывающие речи явно клонились к восхвалению и возвеличиванию чистейшего абсолютизма. Все это раздражало либеральную часть буржуазии. О торжестве реакционных начал в Германии стали все громче говорить в прессе именно с начала 90-х годов. Но после всего сказанного выше незачем подробно повторять, что главная масса буржуазии в это время своими основными социально-экономическими интересами настраивалась на монархический, а вовсе не на оппозиционный лад. Поэтому слегка иронизировали над речами Вильгельма, но этим дело в первые годы и ограничивалось. Если где речи

Вильгельма в эти годы оставили более глубокий след — это в рабочих массах.

Дело в том, что и к социальному вопросу Вильгельм II отнесся сначала так же порывисто, развязно, по-дилетантски, как и ко всем прочим вопросам, существующим на свете. Затеял он, как уже упомянуто, нелепую и ненужную конференцию представителей держав для обсуждения положения рабочих, и это окончилось ничем. Закон о социалистах был отменен в 1890 г., и социал-демократия опять получила возможность проявлять себя не только в рейхстаге, но и в прессе и на собраниях. И вот тут-то Вильгельм II решил занять против нее самую резкую позицию. Что социал-демократы очень далеки были в тот момент от каких бы то ни было революционных выступлений, что вся экономическая конъюнктура была такова, что профессионализм, экономизм, реформизм все больше забирали влияние и оттесняли былой революционный дух,— это было очевидно для всех, об этом писали и говорили, и Вильгельм это прекрасно знал и не считал революцию возможной. Но, следуя своей натуре, *именно* поэтому он стал безудержно груб и вызывающ, когда говорил о социал-демократах. В течение всего последнего десятилетия XIX и в первые годы XX в. Вильгельм постоянно находил случай для публичного поношения социал-демократии. Он их называл людьми, «не имеющими отечества», грозил, непристойно бранился и снова грозил. Эта грубая брань, на которую нельзя было отвечать той же монетой вследствие существования «закона об оскорблении величества», производила на рабочий класс впечатление, разумеется, прямо противоположное тому, на которое рассчитывал неутомимый оратор. В 1903 г. однажды в рейхстаге Бебель даже заявил при общем смехе: «Я оцениваю каждую императорскую речь приблизительно в сто тысяч новых голосов в нашу пользу». Если это и преувеличено, то сказать, что поведение Вильгельма прошло совсем уже бесследно, никак нельзя: глубокое, неискоренимое недоверие и неприязненное чувство к личности императора и к монархии вообще внедрялось в рабочие массы этими провокационными выступлениями весьма усердно. Отчасти именно этим объясняется тот любопытный факт, что единственный пункт, в котором ревизионистски настроенные рабочие вполне сходились с товарищами, стоявшими левее их, было определенно отрицательное отношение к монархическому принципу. Напрасно некоторые вожди ревизионизма пытались и тут пробить брешь в революционной доктрине: в *этом* вопросе за ними мало кто пошел, и сами они этот пункт сочли целесообразным оставить в стороне. И когда настали грозные для Вильгельма ноябрьские дни 1918 г., то единственным пунктом, на котором Шейдеман и Эберт всецело сошлись с Карлом

Либкнехтом и Розой Люксембург, было именно категорическое требование об отказе Вильгельма от престола. А быстрота и легкость, с которыми те же Шейдеман и Эберт приняли тогда республиканскую платформу, объясняются именно тем, что они ясно сознавали, до какой степени *вся* масса рабочего класса, без различия оттенков, отшатнется от них, если они этого не сделают.

Хуже всего для Вильгельма было то, что рабочие не только не любили его, но они его и не уважали и нисколько не боялись, невзирая на всю шумиху его грозных речей. Рабочий класс становился в Германии огромной силой не по дням, а по часам, таким же быстрым (и все ускоряющимся) темпом, каким росла и ширилась германская промышленность. Еще в 1878 г. можно было провести против социал-демократии исключительные законоположения, еще можно было рассчитывать что-то с ней сделать, как-то справиться при помощи устрашения. Но в конце 80-х годов все труднее и труднее становилось применять на практике эти методы и в 1890 г. пришлось отменить исключительные законы. А уж восстановить их *никак* не было возможно. Не в том было дело, что в 1893 г. в рейхстаг было выбрано 44 социал-демократа (из 397 всех членов рейхстага): самый факт существования громадного и все растущего рабочего класса делал немыслимым слишком полное торжество реакции. В декабре 1894 г. правительство внесло в рейхстаг закон, направленный к усилению кар за стремление низвергнуть существующий социальный строй. Закон был так сформулирован, что в сущности чуть не все проявления деятельности социал-демократии можно было подвести под тюрьму; но в мае 1895 г. он был провален в рейхстаге. И не это любопытно, а то, что *ни единого момента* ни в прессе, ни в рейхстаге *никто* серьезно не думал, что этот законопроект пройдет. Только Вильгельм, пожелавший совершить эту попытку, да, может быть, покорный исполнитель его воли, тогдашний канцлер князь Гогенлоэ, уповали, что этот проект (die Umsturzvorlage) может стать законом. Второе поползновение подобного же типа (тоже всецело и исключительно направленное против социал-демократов) произошло в 1900 г., когда уже другой канцлер (Бюлов) внес в рейхстаг законопроект, каравший каторжными работами всех лиц, которые будут мешать силой или угрозой свободе труда. Другими словами, за активную борьбу против штрейкбрехеров рабочим грозила каторга. Этот законопроект был также отвергнут. Эти два примера показали, что методы действия против рабочего класса новыми исключительными законами уже невозможны. Третьей попытки не делалось.

Но, как сказано, другие глубокие экономические причины усиливали в некоторых влиятельнейших категориях рабочего

класса реформистские и ревизионистские тенденции. Вильгельму в этом отношении повезло: его царствование совпало с действием этих общих экономических причин. Его провокационная брань против социал-демократов сама по себе была бессильна пробудить революционный дух, хотя, как сказано, кое-что в этом отношении Вильгельмом и было достигнуто. «Повезло» ему и относительно других классов — и по той же самой причине: головокружительный хозяйственный расцвет страны до поры до времени притуплял все углы, несколько облегчал улаживание (конечно, временное) самых острых классовых конфликтов.

Главным из конфликтов, происходивших в начале царствования Вильгельма не между рабочими и работодателями, а между разными категориями капиталистов и собственников, было столкновение аграриев с промышленниками на почве пересмотра таможенного законодательства в 1892—1894 гг. Эта борьба возгоралась и потом несколько раз, но никогда уже она не достигала такой остроты, как в указанные годы.

Канцлером тогда был генерал Каприви, получивший свой пост в 1890 г. после ухода Бисмарка и продержавшийся до октября 1894 г., когда он был заменен князем Гогенлоэ. Далеко не орлом был этот старый карьерист и царедворец, призванный Вильгельмом именно затем, чтобы быть послушным и беспрекословным исполнителем императорской воли, но и он твердо знал, что конечная победа непременно останется не за землевладением, а за фабрикой, не за аграриями, а за представителями промышленного капитала. «Германия уже не земледельческая, а промышленная страна»,— провозгласил он в рейхстаге в 1892 г. Как всегда и везде в эту историческую эпоху, промышленный капитал оказался неодолим в борьбе, возгоревшейся в Германии. Речь шла о заключении новых торговых договоров с целым рядом стран: с Австрией, Италией, Швейцарией, Бельгией, Испанией, Румынией, Сербией и Россией. Не заключать вовсе договоров и, следовательно, пребывать в постоянной таможенной войне с другими странами — было для Германии абсолютной невозможностью: она уже тогда не могла жить без сбыта своих фабрикатов за границей. А с другой стороны, заключить выгодные для германской промышленности торговые договоры с земледельческими странами, вроде России, возможно было, лишь отказавшись от высоких, почти запретительных пошлин, которыми был (в особенности с 1887 г.) обложен ввоз в Германию продуктов сельского хозяйства из-за границы. Таким образом, промышленники и аграрии оказались в двух враждебных станах. Аграрии вопили о своем разорении, о предстоящем полном исчезновении хлебопашества в стране, если на внутренний рынок будет допущен дешевый русский

хлеб; промышленники требовали крутого понижения ввозных пошлин на русский хлеб, чтобы одновременно обеспечить за собой колоссально важный русский рынок сбыта для германских фабрикатов. Рабочий класс в этом вопросе тоже всецело был против аграриев. Социал-демократическая пресса указывала на вопиюще высокие цены на продукты, на митингах говорилось о систематическом грабеже всей нации сельскими хозяевами, о необходимости положить этому предел. Демонстрации безработных в Берлине в 1892 г. произвели тоже очень сильное впечатление, потому что именно высокие цены на продукты так страшно обостряли, делали такой трагической всякую заминку в работе или в получении жалованья служащими. Экономисты и публицисты, отражавшие взгляды и требования промышленного капитала, указывали также на полную необходимость ввоза иностранного хлеба и продуктов сельского хозяйства вообще с точки зрения удешевления рабочего труда, а потому и всего производства. Против такой коалиции, как промышленники и рабочие, конечно, никакая сила в Германии долго держаться не могла. Но борьба была отчаянная. Защищая интересы русского сельскохозяйственного вывоза, Витте повел таможенную войну против Германии. Аграрии развили огромную энергию. Именно тогда, в конце 1892 г., был создан упомянутый выше «Союз сельских хозяев», который повел грандиозную агитацию за сохранение покровительственных ставок на хлеб и на сельскохозяйственные продукты. После жестокой борьбы, продолжавшейся около трех лет (1892—1894 гг.), промышленный капитал победил на всех пунктах. Торговые договоры (особенно самый важный из них — с Россией, прошедший через рейхстаг в 1894 г.) понизили ввозные пошлины настолько, что русское сельское хозяйство получило возможность смотреть на Германию как на серьезный рынок сбыта; этот договор был одним из условий, создавших почву для укрепления русской валюты. Но зато германская промышленность получила широкий доступ на русский рынок, и, по признанию германских экономистов, Россия была для германской промышленности несравненно выгоднее, чем все германские колонии, вместе взятые.

Когда проходили эти торговые договоры, они встречали длительное и ожесточенное сопротивление со стороны консерваторов, на которых (как сказано выше) опирался «Союз сельских хозяев» и на которых он оказывал могущественное давление. Дело дошло до того, что Вильгельм II самолично выступил на защиту этих договоров (особенно договора с Россией), взывая к патриотическим и монархическим чувствам консерваторов и намекая на грозящее серьезное ухудшение отношений с Россией в случае, если договор не пройдет. В конце концов,

конечно, консерваторы сдались. Но они ждали только случая, чтобы вознаградить себя и, как увидим, дождались этого случая через десять лет после заключения русско-германского торгового договора 1894 г.

Разорения германского сельского хозяйства, о котором кричал «Союз сельских хозяев», не последовало: германский рынок оказался таким емким, огромным, снабженным такой покупательной силой, что никакой катастрофы в этом смысле не последовало. А потому и гневное пророчество органа аграриев «*Kreuzzeitung*», сделанное в конце 1894 г., что «отныне германский земледелец будет смотреть на императора, как на своего личного врага», не оправдалось. Да и угроза была нелепа: в реакционно настроенной монархической власти «земледельцы» (т. е., другими словами, землевладельцы-собственники) видели оплот и защиту своих земель и своих привилегий от возможного напора со стороны как социал-демократии, так и более или менее радикально настроенной части мелкой городской буржуазии. Ссориться с императором надолго и всерьез им и в голову не приходило.

С другой стороны, торгово-промышленная буржуазия была очень удовлетворена договорами 1892—1894 гг. с иностранными державами и ролью, сыгранной императором во время парламентской борьбы за эти договоры против аграриев. А тут еще в 1896 г. последовало событие, которое также усилило и без того крепкую позицию монархии: закончилась работа, над которой больше двадцати лет трудились лучшие германские юристы, и в рейхстаг был внесен новый германский кодекс гражданского права — «Bürgerliches Gesetzbuch». Этот кодекс устанавливал полное законодательное единство в гражданском праве империи, представлял стройную и продуманную, последовательную систему юридических норм, подводившую прочный юридический фундамент под господствовавший строй социально-экономических отношений. Выметались прочь все еще кое-где, в отдельных частях Германии, удержавшиеся обломки и пережитки обветшалых законов и форм былого полуфеодального быта, строилась новая просторная храмина для совершенно беспрепятственного дальнейшего развития капитализма. Конечно, классовый интерес буржуазии нашел себе полное выражение и удовлетворение в новом кодексе. Но и социал-демократия в общем не очень враждебно отнеслась к нему: в социал-демократической прессе проводилась та точка зрения, что при *существующем* строе этот кодекс, при всех своих недостатках, при всей буржуазноклассовой подоплеке, сравнительно меньше нарушает интересы рабочего класса, чем, например, те дробные и пестрые устарелые законоположения, какие действовали в разных частях Германии до 1896 г. На чем настаивали

социал-демократы — это на внесении в кодекс права рабочих образовывать повсеместно в Германии ассоциации и соединять *эти ассоциации в общеимперские федерации*, с отменой всех ограничений этого права, существовавших в законе. Князь Гогенлоэ (бывший канцлером с 1894 г. после ухода Каприви) воспротивился этому включению нового пункта в гражданское право, но обещал издание особого закона об ассоциациях, который удовлетворил бы требованию социал-демократов. И действительно, в 1897 г. такой закон прошел через прусский ландтаг и вошел в силу для Пруссии, а в декабре 1899 г. этот же закон прошел через рейхстаг и вошел в силу для всей Германской империи. Этот закон подводил прочный юридический базис под все профессиональное движение рабочего класса. Отныне «классовая юстиция», на которую справедливо жаловалась социал-демократия и в прессе и в рейхстаге, могла, конечно, сажать в тюрьму и штрафовать отдельных рабочих за те или иные действия во время стачек (против хозяев или против штрейкбрехеров), за те или иные правонарушения; судьи могли во время таких процессов явно несправедливо отдавать *всегда* предпочтение показаниям полиции и хозяев пред показаниями рабочих, могли временами (например, во время больших рурских стачек 1905 или 1912 гг.) особенно свирепствовать против рабочих, обвиняемых в «насильственных действиях» полицией или хозяевами, но уже не могли ни разу и нигде в Германии, даже в самых реакционных ее углах, закрывать профессиональные организации рабочих или препятствовать их деятельности. Бернштейнианское (ревизионистское) движение указывало на этот закон 1899 г. как на один из примеров и условий возможности легальным путем бороться за интересы рабочего класса на почве капиталистического строя. Левое крыло возражало, указывая на то, что все подобные уступки слишком малы, чтобы из-за них отрекаться от революционного марксизма.

Так вступила Германия в XX век. Мы видим, что первое десятилетие самостоятельного правления Вильгельма II (после отставки Бисмарка) окончилось в области внутренней политики вполне благополучно для императорской власти, несмотря на все бестактные, необдуманные, нелепые выходки и поползновения Вильгельма. Он по мере сил обыкновенно портил свое дело сам, но благоприятные обстоятельства были сильнее его: неслыханное процветание германской промышленности со всеми сопутствующими явлениями продолжало быть великолепным и грандиозным общим фоном, на котором сменялись политические события.

Но Германия не была робинзоновским островом: она находилась в центре боровшихся сил мирового капитализма.

Распространяясь экономически, она теснила других; богатея, она разоряла других; мечтая вслух о колониальной империи, она беспокоила других. И эти «другие» были сами полны завоевательных планов и настроений, ничуть не меньше, чем Германия. На нее смотрели и ее слушали ее соперники несравненно внимательнее, чем ей это представлялось в те годы.

Вспомним же, что делали и говорили те люди, которым была дана власть и возможность выступать и говорить от ее имени.

5

Внешнюю политику Германии за все время существования Германской империи можно разделить на четыре периода: первый — от основания империи до отставки Бисмарка (1871—1890 гг.), второй — от отставки Бисмарка до зарождения Антанты (1890—1904 гг.), третий — от зарождения Антанты до начала войны (1904—1914 гг.), четвертый — политика во время войны, вплоть до разгрома и конца империи (1914—1918 гг.).

Первый период, как уже было сказано, может быть назван консервативным по преимуществу. Старый канцлер в течение последних двадцати лет своей деятельности стремился прежде всего сохранить то, что ему удалось приобрести в первые восемь лет. Лучше других он знал, как трудно было дело, каким случайным иногда казался успех; он никогда не забывал, что, по собственному признанию, он не вернулся бы живым с поля битвы при Садовой, если бы эта битва была проиграна пруссаками. Самоубийство ему казалось единственным в таком случае выходом, хотя бы в форме подставления своей груди под австрийские пули. Помнил он также, с каким беспокойством он смотрел на Петербург в зимние месяцы 1870—1871 гг. «Кошмар коалиций» преследовал его, и если этому нужны доказательства, достаточно прочесть его политическое завещание «Gedanken und Erinnerungen».

Но нам теперь нужно говорить о времени, следующем за отставкой старого канцлера.

«Кто пишет историю глупостей германской политики со времени увольнения Бисмарка, а до известной степени со времени отставки графа Каприви, тот, к сожалению, пишет историю германской политики»,— так выражается поседевший на службе выдающийся германский дипломат, барон Эккардштейн [11].

Прежде всего отметим, что все четыре канцлера, занимавшие этот пост между отставкой Бисмарка и началом мировой войны, т. е. и Каприви (1890—1894 гг.), и князь Гогенлоэ (1894—1900 гг.), и Бюлов (1900—1909 гг.), и Бетман-Гольвег (1909—1917 гг.), были в сущности орудиями и исполнителями

воли императора, точнее — мысли стоявших за ним лиц, вроде барона Фрица фон Гольштейна, Эйленбурга и др. И именно в области внешней политики эта воля не имела ни малейшего противовеса в рейхстаге. Ведь единственным формальным поводом говорить о внешней политике было для рейхстага обсуждение бюджета министерства иностранных дел, да и то никаких резолюций, одобряющих или порицающих эту политику, рейхстаг не выносил. Вильгельм был на редкость лишен каких бы то ни было дипломатических способностей, это знали твердо и в Германии и в Европе, но сам император еще и теперь об этом не догадывается и из своего голландского уединения продолжает обвинять в ошибках кого угодно, но только не себя самого. Его попытки обмануть контрагентов поражали своей наивностью, прозрачностью и аляповатостью. Он всегда представлял себе противника (или «друга», все равно) гораздо глупее, чем тот был в действительности. Если, например, прочесть его письма и телеграммы к Николаю II, то можно поразиться, как наивно Вильгельм подделывается под предполагаемые им свойства русского императора: суеверие, страх перед революцией, нерасположение к республиканской форме правления во Франции, веру в теорию божественного происхождения царской власти и т. д.; как, например, он намекает, что им с Николаем можно беседовать по душе, ибо они оба получили власть от господа, а вот с каким-нибудь президентом Лубэ нельзя, так как Лубэ — человек обыкновенный, и т. п.: как будто действительно можно было расторгнуть или ослабить франко-русскую комбинацию этими соображениями.

Второй его характерной чертой (как дипломата) было доходящее до курьеза преувеличение значения разных внешних мелочей и пустяков, которые в дипломатическом обиходе еще могут иной раз подчеркнуть значение какого-либо уже состоявшегося соглашения или иного акта, но *никогда* не в силах создать новую дипломатическую ориентацию *сами по себе*. Вильгельм, например, искренно возмущался, когда после ряда любезных его визитов запросто к французскому послу, после двух-трех ласковых тостов, после внезапного посещения французского учебного военного судна и т. п. никаких изменений в пользу Германии во французской политике не воспоследовало. Он преувеличивал в связи с этим значение личных отношений. Неслыханно горячий, прямо восторженный прием Рузвельта, посетившего (уже в отставке) Берлин, долженствовал укрепить отношения Германии и Соединенных Штатов, а в эпоху мировой войны Рузвельт оказался одним из влиятельнейших и самых решительных агитаторов в пользу — сначала войны Штатов против Германии, а потом — полного разгрома Германии. Но самым роковым свойством Вильгельма (в этой области) была

нетерпеливость, быстрая раздражительность, столь же быстро сменявшаяся растерянностью и внезапной уступчивостью, неумение держать себя в руках настолько, чтобы хоть как-нибудь замаскировать свое настроение. К этому всему прибавлялось довольно большое невежество и непонимание действительности. Достаточно вспомнить, что он в августе 1914 г. требовал, чтобы германские консулы разожгли среди магометан всего мира немедленную «священную войну» против англичан, и преисерьезно верил в это. Он, впрочем, и не хотел знать фактов, которые ему были неприятны: эту черту отмечают довольно единодушно все, приходившие с ним в соприкосновение. Роль канцлеров была в течение всего этого периода только ролью докладчиков. Но тут же отметим, к слову, что в 1890—1907 гг. за спиной императора стояло одно лицо, громадная роль которого только сравнительно недавно вполне выявлена,— барон Фриц фон Гольштейн, скрывавшийся в тени в качестве директора в министерстве иностранных дел. Этот человек, очень работоспособный и дельный, в сущности и составлял доклады, представлявшиеся канцлерами императору, и, в совершенстве изучив натуру Вильгельма, искусно подсказывал императору его резолюции, подсказывал самим построением доклада. В 1925 г. выяснилось документально, что Гольштейн вел широкую биржевую игру и был в постоянных сношениях с биржей; он отражал в своих воззрениях интересы наиболее агрессивно, завоевательно настроенных сфер крупного капитала. Он был очень важной, хотя и скрытой пружиной, посредством которой капитализм создавал империалистскую внешнюю политику. Это — только деталь, конечно. Империалистская, агрессивная тенденция в германской внешней политике была неизбежна.

Как можно вкратце определить агрессивную внешнюю политику новейшего империализма? Империалистская агрессивная внешняя политика — это финансовый капитал, надевший военную форму и вооружающийся затем, чтобы победить мешающих ему соперников в непосредственной пробе сил уже не экономической только конкуренцией, а также и вооруженной силой, если это представляется выгодным. Германская внешняя политика неминуемо должна была принять агрессивный облик, потому что некоторые из потребностей финансового капитала (прежде всего приобретение новых колоний) не могли быть удовлетворены в предвидимом будущем одними только чисто экономическими средствами. Гольштейн сплошь и рядом вел к войне; канцлеры иногда, но не всегда, смягчали эти тона; император склонен был больше всех поддаваться Гольштейну, этому настойчивому проводнику наступательной империалистской идеи. Влиятельная, зависимая от крупной тяжелой промышленности пресса толкала его еще больше на этот путь.

В этот первый послебисмарковский период (1890—1904 гг.) германская империалистская политика нащупывала почву и как бы производила предварительные разведки по трем направлениям: 1) в Африке, 2) в Китае и 3) на Ближнем Востоке — в странах Турецкой империи.

1. В Африке Германия встретилась с необычайными трудностями. Во-первых, в 1890 г. (спустя несколько месяцев после отставки Бисмарка) решено было отдать Англии Занзибар, Пембу, Уганду и Виту, где незадолго до того объявлен был германский протекторат. За эти уступки Германия получила очень важный в стратегическом отношении островок Гельголанд у немецких берегов на Немецком море, принадлежавший до 1890 г. Великобритании. Правда, этот остров мог в случае англо-германской войны стать страшной угрозой для Германии, если бы он остался в английских руках, но в 1890 г. о такой войне еще никто не думал, и многим приверженцам активной колониальной политики Германии казалось обидным уступать колоссальные африканские земли, только что приобретенные, за этот ничтожный (в смысле территориальном) островок. Во всяком случае тут сказалась роковая раздвоенность в положении Германии: нужно было вечно думать о своей безопасности в Европе и приносить в жертву этой идее ценные части своих колониальных владений, а главное, компрометировать свое колониальное будущее. Достаточно взглянуть на карту, чтобы убедиться, что после этой сделки 1890 года германская Восточная Африка (т. е. та страна, что еще оставалась в руках Германии) уже не могла распространяться ни к востоку от озер Ниассы, Танганайки и Виктории, ни за Килиманджаро, к северу, ни в сторону Бельгийского Конго, к западу. Единственной — довольно туманной — возможностью распространения оставался юг, т. е. Португальский Мозамбик. Нужно было добиться: 1) чтобы Португалия согласилась продать свою колонию Германии и 2) чтобы англичане позволили Португалии продать, а немцам купить. До поры до времени и речи об этом нельзя было начинать. Таков был не очень обнадеживающий дебют самостоятельного правления Вильгельма II в области колониальной политики в Африке.

А между тем отношения с Англией в этот момент были еще дружественными; Англия еще смотрела на Францию и на Россию, а не на Германию, как на главных своих врагов. При вражде со стороны Англии колониальное будущее Германии становилось еще сомнительнее и загадочнее.

Мысль об Африке, однако, не покидала германскую дипломатию, и с 1893, а особенно с 1894 г., была поведена крайне рискованная игра на другом конце черного континента, не на востоке, а на юго-западе: от германских властей в юго-западной

африканской колонии Германии (Süd-West Afrika) стали протягиваться тайные (но быстро обнаруженные англичанами) нити к президенту Трансваальской республики Крюгеру. Это как раз были годы, когда буры уже почувствовали занесенный над ними английский нож и искали помощи. Но в том-то и дело, что никакой реальной помощи немцы не могли им дать, да вовсе и не собирались. Это была та опасная манера, которая была свойственна Вильгельму: ободрять словами и жестами издали на борьбу, вовсе не собираясь оказать личной помощи. Он ободрял таким образом президента Крюгера, подстрекая его к сопротивлению, он писал мадагаскарской королеве Рановало как раз, когда французы завоевывали (в 1894 г.) остров Мадагаскар. Ни там, ни тут он ни малейшей помощи, конечно, не оказал. Мы уже рассказали выше о том, как Вильгельм II поздравил в начале января 1896 г. Крюгера с победой над Джемсоном, как в Англии с этого момента скрытое нерасположение к Германии из-за усилившейся торговой конкуренции перешло в политическую вражду, хотя тоже пока не очень откровенную, и как англо-бурская война прошла и окончилась без какого бы то ни было вмешательства со стороны Германии. Но для колониальных надежд Германии уничтожение бурских республик было тягчайшим ударом: и с этой стороны тоже перед дальнейшим распространением германской колонии вырастала прочная стена, отчасти с фронта, отчасти с фланга, со стороны сплошных уже теперь британских владений. Отныне приходилось до поры до времени отвести взоры от Африки.

2. Еще до начала англо-бурской войны, но уже тогда, когда было ясно, во-первых, что англичане в скором времени в том или ином виде наложат руку на обе бурские республики и, во-вторых, что они решительно никому не позволят вмешаться в это дело, германская дипломатия стала все с бо́льшим и бо́льшим вниманием и интересом следить за дальневосточными делами. Конечно, Китай мог бы, если бы обстоятельства сложились благоприятно для Германии, вознаградить ее за утраченные в Африке надежды. Нужно напомнить, что Китай играл тогда (и продолжает играть теперь) несколько своеобразную роль: европейский империализм не мог рассчитывать поглотить его путем, например, раздела. Этому прежде всего мешала торговая конкуренция между *всеми* заинтересованными в Китае великими державами, затем слишком выгодное, сравнительно со всеми прочими, географическое положение *двух* держав — Японии и России, которые еще могли иной раз подумывать о полюбовном между собой размежевании (да и то думала больше Япония, чем Россия), но уж во всяком случае подпускать на равных правах каких-нибудь третьих лиц не желали. Наконец, громадной помехой для всяких без исключения проектов раздела были

Соединенные Штаты, которые желали сохранить торговые возможности во всем Китае и противились каким бы то ни было особым правам европейских держав в этой стране и дележу ее на «сферы влияния». Были и еще препятствия, мешавшие распорядиться с Китаем так, как в свое время было поступлено с Индией или с Африкой; но можно ограничиться и этими, главными.

Следовательно, нужно было придумать иные формы экономического использования, или, точнее, пришлось продолжать тактику, пущенную в ход англичанами в Китае еще в 40-х годах XIX столетия: захватывать очень небольшие (иногда совсем ничтожные в смысле территориальной величины) пункты у моря, прочно занимать их гарнизоном и делать из этого укрепленного пункта торговые экскурсы в прилегающую страну, не продвигаясь при этом дальше со своим военным отрядом. Это и есть экономическая экспансия, опирающаяся на присутствие в данных краях, в определенном пункте, военной силы.

Неожиданный толчок заставил европейских империалистских политиков обратить на Китай живейшее внимание: в 1894 г. вспыхнула война между Китаем и Японией (нападающей стороной явилась Япония, недооценившая тогда европейской заинтересованности в китайском рынке). Китай потерпел жестокое поражение, и Япония заняла Ляодунский полуостров. Китай, абсолютно неспособный противиться японцам, пошел на все условия, и подписанный в Симоносеки мирный договор удовлетворял всем японским желаниям. Но русское правительство обратилось к Франции и Германии с целью общим протестом заставить Японию отказаться от главных плодов ее победы. Это в самом деле произошло, и Вильгельм заручился секретным обещанием Николая II не противиться, если Германия займет где-нибудь на китайском берегу «угольную станцию». В 1897 г. Россия заняла Порт-Артур, и тогда же, воспользовавшись как предлогом убийством в Китае двух немецких католических миссионеров, Вильгельм II в свою очередь решил занять (в виде репрессии, а также возмещения) бухту Циндао — называемую часто неправильно Киао-Чау — в провинции Шан-Тунг. Канцлером в те годы был старый князь Гогенлоэ, а статс-секретарем (министром) иностранных дел — Бюлов, который с 1900 г. занял пост канцлера. Бюлов не скрывал, что смотрит на это первое занятие китайской территории как на шаг к утверждению Германии на Тихом океане. В прямую противоположность англичанам, которые поглощали целые империи, никогда об этом даже и не заикаясь и никогда вслух не хвалясь,— а так, будто между делом и нечаянно,— германские дипломаты школы Вильгельма II сами раздували всякий свой, даже маленький, успех, оповещая весь мир о своих широ-

чайших замыслах и создавая этим вокруг себя атмосферу недоверия, зависти и опасений. Бюлов, сам себя явственно считающий (судя по его книге о германской политике, вышедшей еще перед войной) осторожным и проницательным дипломатом, именно был типичным представителем вильгельмовской эры. И Бюлов не только в качестве ловкого и послушного царедворца, но и по собственному убеждению старался обставить все это китайское дело как можно торжественнее. Что бы в этом направлении ни выдумал Вильгельм II, за Бюловым остановки не было никогда.

Уже после занятия Циндао германским отрядом в 1897 г. принц Генрих Прусский был назначен командующим второй морской дивизией, отправляемой в Китай. Как всегда в тех случаях, когда не было и тени реальной опасности, Вильгельм II обставил дело крайне грозно и торжественно и в тронной речи к рейхстагу при открытии осенней сессии заявил, что он «не поколебался» даже жизнью родного брата рискнуть во имя престижа отечества. Со своей стороны сам Генрих перед отплытием обещал Вильгельму понести в Китай «евангелие его величества». Даже и речи о сопротивлении со стороны Китая не было и быть не могло. Циндао осталось за Германией. Это было началом.

В 1900 г. вспыхнуло «боксерское» восстание в Китае, и германский представитель барон Кеттелер был убит. Летом того же года граф Вальдерзее был поставлен усилиями Вильгельма во главе соединенных отрядов европейских держав, и хотя беспорядки прекратились еще до его появления, вокруг этого похода в Германии поддерживался большой газетный шум: Вильгельм II склонен был очень преувеличивать этот второстепенный и случайный факт «немецкого предводительствования войсками Европы». Как всегда, шума вокруг этой экспедиции Вильгельм наделал очень много к прямому (тоже как всегда) вреду для Германии. «Пощады не давать! — воскликнул он 27 июля 1900 г. в напутственной речи к войскам в Бремергафене,— пленных не брать! Воюйте так, чтобы через тысячу лет ни один китаец не посмел даже косо взглянуть на немца!» [12] Целых пять речей — и все в таком же точно духе — произнес император, отправляя Вальдерзее. Любопытно, что, когда Вальдерзее, наконец, прибыл в Китай, уже все было давно кончено, и восстание совершенно потухло.

Усмирителями, впрочем, явились все великие державы Европы и Япония. Мешая друг другу, они не позволили никому на этот раз продолжать раздел Китая, и статс-секретарь Соединенных Штатов Гей заявил, что Соединенные Штаты будут отстаивать принцип «открытых дверей» (т. е. свободы торговли) в Китае для всех наций при полном их равно-

правии. Пришлось на этот раз воздержаться от территориальных захватов.

Но первостепенный успех действительно ждал германское правительство на Востоке, и Бернгарду фон Бюлову, который с 1900 г. стал канцлером Германской империи, выпало на долю видеть осуществление стародавней мечты Бисмарка: Россия ушла из Европы на долгие годы. Уже после японо-китайской войны Дальний Восток стал поглощать все внимание русской дипломатии. Занятие Порт-Артура, происки в Китае окончательно поставили Россию лицом к лицу с Японией, а с 1902 г., после неудачи маркиза Ито, который приезжал в Петербург заключить соглашение с Россией, но уехал ни с чем и отправился тотчас же в Лондон заключать союз с Англией, война России и Японии стала на очередь дня. Происки Безобразова, полное присоединение весною 1903 г. императора Николая II к планам Безобразова, низвержение Витте, пытавшегося остановить это движение к пропасти, ошибочная мысль Плеве о «маленькой войне» и легкой победе как средстве против революции — все это быстро и неотвратимо толкало Россию дальше и дальше к войне. То, о чем Бисмарк лишь мечтал, осуществлялось воочию и в обширнейших размерах.

Подобно Бисмарку, который в конце 1876 г. при всяком удобном случае толкал Россию к войне с Турцией (и даже говорил о «русском национальном достоинстве» и т. д.), и Вильгельм в 1902—1904 гг. изо всех сил старался ускорить военное столкновение России с Японией. Правда, Вильгельму приходилось ломиться в открытую дверь, так как мысль о создании «Желтороссии», о завоевании Маньчжурии и Кореи прочно засела в петербургских придворных сферах, где орудия Николая II, великосветские авантюристы с Безобразовым во главе, без труда совладали с сопротивлением, которое оказывал им Витте. Мы тут пишем не историю России и поэтому не будем говорить обо всех условиях, сделавших *возможным* это поистине безумное, самоубийственное выступление со стороны русского самодержавия и *неизбежным* поражение русских войск. Нам важно здесь лишь отметить, как эти события отразились на Германии и на дипломатической борьбе великих держав вообще.

Вильгельм, по своему обыкновению, не знал меры и вел себя так наивно и торопливо, что если бы в Петербурге не решились уже все равно идти напролом, рискуя даже войной с Японией, то, наверное, усомнились бы и стали бы осторожнее. Дело было не только в курьезной надписи к рисунку, изображавшему дракона: «Народы Европы, охраняйте ваши священные права». Вильгельм, сделавший эту надпись, повиновался в данном случае обычному своему влечению к позе и к фразе.

Главное было в том, чтобы втравить в борьбу с «драконом» именно Россию и этим освободить свой «восточный фланг» и надолго развязать себе руки в Европе. Толкая Николая II на Дальний Восток, всячески одобряя завоевательные планы и идеи, оправдывая горячо все претензии русского правительства в Китае и Корее, лживо уверяя в возможности держать в руках Великобританию военными демонстрациями недалеко от индийской границы, наконец с готовностью повторяя свои обещания, что Россия может быть вполне уверена в его дружественном нейтралитете, пока будет длиться война, Вильгельм не считал даже нужным притворяться, не считал необходимым лицемерно утверждать, будто он хотел бы сохранения мира на Дальнем Востоке. Мало того, после первого года войны, когда русское дело уже явно было там проиграно, Вильгельм всячески старался побороть всякую мысль о «преждевременном» мире и в своей корреспонденции с Николаем не переставал настаивать на решительном продолжении борьбы, при этом прикидываясь (весьма неумело), будто он убежден, что России удастся в конце концов собрать новые огромные силы и сбросить японцев в море. Нужно прочитать только его переписку с Николаем в 1904—1905 гг., чтобы понять, как грубо, неумело, торопливо, по-детски наивно «хитрил» Вильгельм, как простодушно выдавал он себя при этом на каждом шагу.

Но дело делалось и без него так, что лучше он и пожелать не мог: только после Мукдена и Цусимы война, наконец, закончилась. Россия, казалось, была надолго выведена из строя. В следующей главе мы рассмотрим, как Вильгельм II этим воспользовался.

Тем не менее была одна темная сторона во всем этом счастливом для германского империализма развитии событий на Дальнем Востоке. Англо-японский блок, вытеснивший Россию, оказался настолько сильным еще *до* войны 1904—1905 гг., что уже с момента заключения англо-японского союза в 1902 г. всякие германские надежды относительно будущей экспансии в Китае должны были очень сильно потускнеть. Тем более, что с 1900 г., со времени усмирения боксерского восстания, правительство Соединенных Штатов не переставало из года в год все настойчивее подчеркивать свою доктрину «открытых дверей» в Китае, т. е., другими словами, президенты Соединенных Штатов (сначала Мак-Кинлей, а с 1901 г.— Теодор Рузвельт) наперед давали знать, что делить Китай они не желают и будут этому противиться. Значит, Англия и Япония, с одной стороны, Америка — с другой, становились в Китае стеной против Германии, и Китай тоже ускользал, как ускользала Африка. Но оставалась третья страна, третий шанс обеспечить за собой большие экономические возможности и даже, если повезет,

расширить область своего непосредственного политического влияния. Ближний Восток, громадный конгломерат земель, подвластных турецкому султану,— вот что должно было вознаградить за неудачи или *неполные* удачи в других местах.

3. В начале XVI столетия Турецкая империя была величайшей державой мира, и хотя за четыреста лет, прошедших от начала XVI до начала XX столетия, она и потеряла очень много земель, но все-таки меньше, чем потеряла от 1911 до 1919 г. Та Турецкая империя, к которой стали приглядываться представители германского финансового капитала, а за ними и германское правительство, в конце 90-х годов XIX столетия во всяком случае более походила на империю Солимана Великолепного, чем на тот клочок земли на южном побережье Черного моря, который *теперь* называется Турцией. Турция в эпоху, о которой идет речь,— в конце XIX и начале XX в.— была равна 3896 тысячам квадратных километров с населением в $38^3/_4$ миллиона человек. Пространством, следовательно, она была почти в семь раз больше Германии; население же было, сравнительно с громадной территорией, редкое, и, значит, для колонизации являлся полный простор, а вместе с тем общее количество населения в *империи было настолько велико*, что Турция могла стать очень ценным рынком сбыта. Но, кроме того, она была и драгоценным рынком сырья, и нужно было только приложить капитал и труд, чтобы оплодотворить эти колоссальные территории. Еще в 40-х годах знаменитый германский экономист Фридрих Лист указывал на громадное значение, которое могут иметь турецкие земли для хозяйственной жизни Германии. Но, конечно, только после объединения Германии и заключения теснейшего союза с Австрией явились условия, когда германский капитал мог с большими надеждами на успех устремиться в эту сторону. При союзе (а со временем, быть может, и слиянии) с Австрией, при слабости балканских государств, прямой путь в Турцию был открыт: от Гамбурга и Берлина до Багдада и Персидского залива можно было проехать и провезти товары, нигде не рискуя встретиться на море с англичанами, да и вообще не встречая и самого моря (если не считать «ленту» узкого Босфора). Можно было, наконец, в случае, если обнаружится в том нужда, направлять именно сюда поток германской эмиграции; эмигранты селились бы в Малой Азии, в Аравии, в Месопотамии и являлись бы прочным авангардом Германии, ибо не теряли бы тесной и прямой связи с родиной.

Вильгельм II решил ускорить дело укрепления германского влияния в Турции личным визитом к султану Абдул-Гамиду. Нужно сказать, что почва для чисто политического сближения с Турцией была очень прочная и очень выгодная: не имея

непосредственных границ с Турцией, Германия, во всяком случае в ближайшем будущем, не могла рассчитывать на присоединение той или иной части турецкой территории. Напротив, прямой интерес повелевал Германии действовать в духе сохранения целостности Турецкой империи именно потому, что при ее разделе львиные доли достались бы, конечно, России и Англии. Вместе с тем за эту политическую поддержку Германия могла бы требовать от султана обширных экономических льгот, концессий, и могла добиваться для себя в области торгово-промышленных отношений исключительных и преимущественных милостей.

В октябре 1898 г. Вильгельм II с необычайной торжественностью и произнесением, как всегда, речей приступил к своей поездке на Восток. Он обнаружил намерение посетить Иерусалим и по дороге видеться с султаном. Вся поездка была ознаменована большими торжествами, встречами, приемами и носила явный характер обдуманной политической демонстрации. Демонстрировалось начало активной политики Германии на Балканах и в Малой Азии.

8 ноября 1898 г. в Дамаске, поминая (ни с того, ни с сего) падишаха Саладина, сражавшегося во время третьего Крестового похода против крестоносцев, и в том числе и против германского императора Фридриха Барбароссы, Вильгельм вдруг заявил: «Пусть султан и триста миллионов магометан, разбросанных по земле, будут уверены, что германский император во все времена останется их другом». Этот тост, обращенный по существу к магометанским подданным Англии и России, прозвучал как угроза. Именно тогда ни с Англией, ни с Россией никаких трений у Германии не происходило. Но Вильгельм II, как уже отмечено, именно и любил произносить угрожающие и воинственные спичи тогда, когда никакой опасности абсолютно ниоткуда не предвиделось.

Тотчас после этого путешествия начались доверительные переговоры между некоторыми крупными (металлургическими по преимуществу) фирмами и турецким правительством. Фирмам деятельно помогали германские власти. Речь шла о концессии на железную дорогу, которая соединяла бы Константинополь с Багдадом. Эта дорога должна была иметь колоссальное экономическое значение для всей Малой Азии, Месопотамии, Сирии, Аравии, Персии, так как предполагались ветки от магистрали в разные стороны.

Когда 27 декабря 1899 г. глава одного из могущественных германских сталелитейных концернов Георг Сименс заключил, наконец, с турецким правительством договор о концессии на постройку Багдадской железной дороги, Англия сделала вид, что это ее мало касается. Это было притворством: багдадское

предприятие, как вскоре оказалось, рассматривалось Англией с самого начала как прямая угроза Индии, но в 1899 г. и в ближайшие полтора года, пока не прекращалась война с бурами, лучше было не начинать ссоры с Германией.

Что касается России, то и для нее дружба с Германией в тот момент была существенно необходима для продолжения дальневосточной наступательной политики, а поэтому никаких протестов против этого германо-турецкого соглашения не последовало.

Все значение этой Багдадской дороги отчетливо характеризовал (уже когда постройка шла полным ходом) русский дипломат Шебеко в доверительном докладе министру иностранных дел Сазонову: «В настоящем своем фазисе сооружаемый путь представляет уже прекрасный сбыт для изделий германских фабрик и заводов, так как весь железостроительный материал доставляется из Германии. В будущем законченном виде дорога даст возможность германской промышленности наводнить своими продуктами Малую Азию, Сирию и Месопотамию, а по окончании линии Багдад — Ханекин — Тегеран, также и Персию. Политическое значение дороги для Германии заключается в том усилении и возрождении Турции, которое неминуемо должно повлечь за собой проведение железнодорожного пути через всю страну от Константинополя до Персидского залива с разветвлениями во все стороны. Усиление Турции и в особенности ее военного могущества является одной из главных задач германской политики последних лет, направляемой к привлечению Оттоманской империи в сферу Тройственного союза. Относясь с некоторым недоверием к роли, которую сыграет Италия в минуту опасности, Германия озабочена заменой этой союзницы другой, интересы которой более совпадали бы с ее собственными; таковой является Турция, и германский генеральный штаб неустанно работает уже давно над реорганизацией турецкой армии. По первоначальному проекту Багдадская железная дорога должна была прорезать Малую Азию в значительно более северном направлении, нежели нынешняя линия, а именно, она должна была проходить через Ангору, Сивас, Харпут, Диарбекир и Моссул. По этому проекту она представляла постоянную угрозу нашей границе, так же как Сирийская линия должна была служить угрозой против Англии в Египте. По осуществлении этого проекта Турция должна была иметь возможность при мобилизации концентрировать свои войска как на русской границе, так и на границах Египта... руководящая идея осталась все та же: с одной стороны, проведением мирового пути длиною в 2500 километров открыть новые рынки для германской промышленности, с другой — проведением стратегических дорог на севере и юге дать возможность окреп-

шей будущей союзнице оказать Германии содействие в случае войны, угрожая нашей границе и английскому владычеству в Египте»[13].

Успех германского капитала был блестящий. Мы не говорим уже о том, что, держа в своих руках железные дороги, немцы в самом деле могли рассчитывать сделаться хозяевами всех азиатских владений Турции; но даже в непосредственном будущем самая постройка этой железной дороги должна была принести столько прибылей, дать столько заказов заводам, потребовать такой усиленной и щедро вознаграждаемой работы, что, казалось, перед германской промышленностью открывается золотой век. «Мы счастливы, конечно, мы счастливы» (Wir sind glücklich, freilich, sind wir glücklich),— восклицал один из наиболее читаемых органов буржуазной прогрессивной прессы «Berliner Tageblatt». Ему вторил тот социал-демократ, который впоследствии, говоря с Бернштейном об этом (довоенном) периоде, с гневом и горечью сказал, объясняя легкость, с которой повышались претензии Германии: «Мы стали слишком пышными» (Wir sind zu üppig geworden).

На самом же деле все обстояло еще сложнее и еще опаснее для миллионов человеческих жизней, которые должны были погибнуть в случае катастрофы. Ибо самая катастрофа разразилась не потому, что германский капитализм оказался к 900-м годам окончательно удовлетворенным: он оказался лишь достаточно могучим и уверенным в себе, чтобы стремиться выбиться на мировой простор, чтобы стремиться к заполучению тех владений, которые ему были нужны для дальнейшего его расцвета. Его представители начали без страха думать о «пробе сил», считая, что исторический момент для этого благоприятен.

И тут-то оказалась роковая ошибка в счете[14]. Капиталистическое развитие соперников Германии выдвинуло и у них империалистский «бронированный кулак», о котором так любил поминать в своих речах император Вильгельм, и (в неодинаковой степени) у них тоже появились партии и течения, быстро свыкавшиеся с мыслью не только о неизбежности, но и о желательности большой войны. Германия была так могущественна, что ни франко-русский союз, ни Англия в отдельности напасть на нее не могли, она же могла с довольно большой вероятностью победы напасть если не на Англию, то на франко-русский союз. В то, что франко-русский союз может соединиться с Англией, ни Вильгельм II, ни канцлер Гогенлоэ, ни после него — канцлер Бюлов, ни стоявший за их спиной барон фон Гольштейн не считали возможным верить вплоть до того момента, когда это на самом деле произошло. «Бойтесь быть слишком сильными»,— пророчески писал в 1871 г. великий историк Фюстель де Куланж императору Вильгельму I. А Германия Вильгельма II

была неизмеримо еще сильнее и богаче, и этим самым облегчала образование враждебной коалиции.

Багдадская железная дорога была самым крупным по своим возможным результатам успехом германской внешней политики за все царствование Вильгельма II. Но этот успех, чем больше он с каждым годом развивался и обозначался, ставил все более и более четко обозначавшийся назревавший вопрос об англо-германском соперничестве. В обеих странах представители империалистской идеи стремились превратить это соперничество в более или менее близком будущем из экономического в военно-политическое; в обеих странах начала прорываться в империалистских кругах зловещая фраза: «Время работает против нас, ждать дальше бесполезно». Но обе страны еще не были готовы, и, прежде всего, у противников Германии отсутствовало представление о возможности специального комбинирования всех своих сил для борьбы с Германией: до такой степени сами они сознавали остроту разногласий, которые существовали между ними самими и которые заставляли порой одних бороться с другими еще больше, чем с Германией.

Короче говоря, к началу XX в. существовала уже достаточная экономическая почва для появления антигерманской коалиции, но еще отсутствовали идеологические и политические условия, нужные для скорейшего ее создания. Конечно, речь тут шла не только об обороне, но и о чисто завоевательных целях. Необходимы были большие усилия настойчивой воли, далекого расчета, ясного сознания цели, дипломатической выдержки, деятельной политической интриги, чтобы ускорить время наступления этого события в истории европейских международных отношений, создания этой политической комбинации, предрешенной всей игрой взаимно противоборствующих капиталистических сил. 22 января 1901 г. на английский престол взошел человек, которому суждено было связать свое имя с этим событием, повлекшим за собой такие неисчислимые и роковые последствия.

Глава VII

СОЗДАНИЕ АНТАНТЫ 1904—1907 гг.

1. Проекты Джозефа Чемберлена относительно сближения с Германией. Торговый и военный флот Германии. Неудача попытки Чемберлена. 2. Поворот английской политики. План Эдуарда VII. 3. Договор Англии с Францией 8 апреля 1904 г. Политика Делькассе. Начало завоевания Марокко французами. 4. Выступление германской дипломатии. Путешествие Вильгельма II в Танжер. Отставка Делькассе. 5. Свидание Вильгельма II с Николаем II в Бьорке. Бьоркский договор. Уничтожение Бьоркского договора. 6. Англо-русское соглашение 31 августа 1907 г. и окончательное образование Антанты

1

Поверхностная и вечно срывающаяся мысль Вильгельма II, абсолютно лишенного чувства исторической действительности и всегда склонного к детским преувеличениям значения отдельных личностей (в особенности коронованных), заключалась в том,— как он это многократно высказывал, повторил при взрыве войны и теперь, в своем голландском уединении, продолжает утверждать,— будто виной всех несчастий как Германии, так и всей Европы, т. е. виной создания Антанты, был только король Эдуард VII и никто иной. «Он мертвый все-таки сильнее меня!» — воскликнул Вильгельм в августе 1914 г., желая дать понять, что вина в войне не на нем, Вильгельме, а на Эдуарде VII, желавшем этой войны.

Это мнение через правительственные и правые газеты, через значительную часть либеральной прессы широко распространено было в германском обществе, а из Германии перешло и в другие страны. После всего сказанного в предшествующих главах нам незачем много останавливаться на том, что роль Эдуарда в создании Антанты была ролью не творящего, а несколько ускоряющего события фактора, и только. Об общих причинах тут

повторять незачем. Коснемся только некоторых обстоятельств, облегчивших Эдуарду VII его задачу и имевших место отчасти еще до его вступления на престол. Прежде всего нужно вспомнить о том, что уже было сказано касательно попыток Англии вступить в соглашение с Германией. Эти попытки (1895, 1898, 1899, 1900 гг.) были все отвергнуты Германией; да и по существу дела, при продолжающемся и усиливающемся экономическом соперничестве они не могли дать длительных и реальных результатов. Да и в Англии к ним мало кто относился вполне серьезно. Едва ли и для самого Джозефа Чемберлена этот план сближения с Германией был чем-либо бо́льшим, чем временное облегчение положения в трудные моменты вражды Англии с Францией, Россией и войны с бурами. Нужно сказать, что эти попытки еще до восшествия Эдуарда VII на престол встречались довольно сдержанно в крупнокапиталистических, особенно промышленных кругах, где неуклонно, с каждым годом, все более и более внимательно и беспокойно следили за неслыханным ростом германского производства и где все соображения иного порядка отходили на задний план. Берлинский корреспондент «Times» уже в 1900 г. открыто высказывал (и об этом донесли Фрицу Гольштейну, фактическому заправиле германской политики), что «английское правительство, должно быть, сошло с ума, если оно хочет дружить с Германией, а не с Россией». Но главное было, конечно, в нежелании Германии. Ни в 1895 г., когда лорд Сольсбери предлагал политическое сближение (на почве раздела Турции) Вильгельму, ни весной 1898 г., ни осенью 1899 г. (когда предложение союза исходило от Джозефа Чемберлена), ни осенью 1900 г., когда речь шла о китайских делах и совместной политике в Китае, ничего из всех попыток политического соглашения между Англией и Германией не вышло. Скажем несколько слов об этой последней попытке, сравнительно мало известной.

Ввиду все более и более пугавших Англию завоевательных тенденций русской дипломатии в Китае англичане, сейчас же после подавления боксерского восстания, вновь стали думать о союзе с Германией. Россия будет продолжать свои «экстравагантные выпады в Китае столько, сколько ей это будет угодно»,— писал 23 октября 1900 г. герцог Девонширский первому советнику германского посольства в Лондоне барону Эккардштейну: «Если в Китае это пойдет так дальше, то что станется с нашей хлопчатобумажной промышленностью в Ланкашире? Но и ваша промышленность (в Германии — *Е. Т.*) вскоре очень болезненно это почувствует» [1]. Но и тут с германской стороны обошли вопрос молчанием.

Когда на этом оборвались (уже навсегда) попытки Англии вступить в общие политические соглашения с Германской им-

нерией, на некоторое время внимание промышленных, торговых и рабочих кругов было отвлечено решительной агитацией консервативной партии в пользу создания крепкого и замкнутого хозяйственного целого из всех британских владений, которые должны были принять общий высокий покровительственный тариф и этим оградить себя от иностранной конкуренции. Но рабочий класс решительно высказался против этого плана, так как боялся вздорожания цен и не очень верил в благие для промышленности последствия этого. Да и часть буржуазии (вся либеральная партия) либо колебалась, либо прямо высказывалась против протекционизма.

Агитация Джозефа Чемберлена и его сторонников в последние годы XIX и в первое пятилетие XX в. в пользу создания таможенной стены, которая сделала бы всю Британскую империю монопольным рынком для британской индустрии,— эта агитация после долгой и упорной борьбы провалилась. Выборы 1905 г. дали полную победу либералам и рабочей партии — двум партиям, изо всех сил боровшимся против протекционизма.

Но этим провалом еще ничего не решалось. По существу проблема оставалась во всем своем грозном значении. При нежелании большинства английского народа пойти на осуществление плана Чемберлена фатально обострялся вопрос о борьбе с опаснейшим конкурентом другим путем. Физически его уничтожить, как подсказывали публицисты «Saturday Review» еще в 1897 г.? Воевать с Германией, чтобы силой изгнать ее с заморских рынков и силой подорвать ее экономическое благополучие? *Так* открыто вопрос еще пока не ставился ни в 1904—1907 гг., ни раньше никем из ответственных за свои слова публицистов, не говоря уже о политических деятелях. Но тут возникло новое обстоятельство, необычайно облегчившее задачу всем, кто начал усматривать в войне против Германии единственный остающийся выход. Внезапно вопросы стратего-политические выступили на первый план: германское правительство само пришло на помощь наиболее ожесточенным своим противникам в Англии.

Постройка военного флота в таких размерах, которые в восемь лет (1898—1906) сделали Германию второй морской державой на земном шаре, началась в 1898 г., и удивительно не это, а то, что она началась так поздно. Это было одним из неизбежных выводов из всего, что мы пытались вкратце уяснить в предшествующих главах. «Наше будущее находится на воде»,— сказал Вильгельм II в одной из ранних своих речей. Мысль эта (как и подавляющее большинство высказываемых им) принадлежала не ему. Те же круги, которые требовали колоний, естественно, требовали и флота, так как не представляли себе при-

обретения и охраны колоний иначе, как при помощи могущественного военного флота. Торговый тоннаж Германии усиливался в колоссальной степени. В год основания Германской империи (1871) в Германии существовало 7 судостроительных верфей, а в 1897 г.— уже 39, число же рабочих, занятых судостроением, возросло с 2800 до 37 750. (В 1913 г. верфей было уже 47.) Тоннаж торгового флота в Германии перед войной превосходил уже 5 миллионов тонн. Эта цифра была в четыре с лишком раза меньше цифры английского тоннажа, но стояла на первом месте после английской цифры, тогда как в первые годы Германской империи торговый тоннаж был совсем ничтожен [2].

Идея охраны этого громадного торгового флота стала тоже аргументом в пользу создания военного флота. Приобретение от Англии острова Гельголанда в 1890 г. (о чем уже говорилось выше) и постройка Кильского канала, открытого в 1895 г., соединившего Балтийское море с Немецким, уже показали, что имперское правительство пойдет на очень большие жертвы для создания морской силы. В 1897 г. во главе военного ведомства стал адмирал фон Тирпиц, и уже в 1898 г. от рейхстага были потребованы первые громадные кредиты на значительную «судостроительную программу». За этой программой последовала вторая — в 1900 г., и третья — в 1907 г. Кроме этих колоссальных и единовременных ассигновок, правительство почти ежегодно требовало от рейхстага нового и нового увеличения постоянного морского бюджета. Морской бюджет империи за первые двадцать лет правления Вильгельма II возрос в 9 раз. Какова была основная мысль Тирпица? Ему удалось создать в несколько лет огромный флот; ему удалось после 1906 г., когда впервые были пущены в ход дредноуты, сильно изменить соотношение сил между немецким и британским флотами, так как дредноуты почти сводили к нулю значение прежних броненосцев и нужно было начинать строить флот как бы сначала: конечно, Англия строила больше Германии, но все же добиться прежнего соотношения — «двух против одного» — Англия уже не могла. Все эти успехи были значительны. Но какую политическую цель имел в виду Тирпиц?

В настоящее время не только социал-демократы, но и лица, часто очень далеко от них стоящие, горько упрекают Тирпица в этом создании флота, которым он так гордился. Они указывают, что, кроме страшного вреда, флот ничего Германии не принес: именно постройка военного флота, утверждают они, окончательно толкнула Англию на создание антигерманской коалиции; они обвиняют, кроме того, Тирпица в отсутствии продуманной *до конца* мысли: ведь знал же он, что *никогда* Англия не позволит перегнать себя, никогда германский флот не будет настолько могуч, чтобы истребить английский или

вырвать у него владычество на морях. Зачем же было его строить? Тирпиц отвечал неоднократно на эти упреки и в своих воспоминаниях, и в дружественной периодической печати. Его система защиты такова: он и не думал когда бы то ни было выстроить такой флот, который был бы сильнее английского: он хотел только дать Германии такой флот, который заставил бы призадуматься Англию, если бы она захотела напасть на Германию, который, словом, мог бы, чем бы ни кончилась борьба, все же нанести тяжелые потери английскому флоту. Конечно, это объяснение — весьма путаное, и оно никого не удовлетворило. Едва ли, впрочем, старый и умный циник, фон Тирпиц, самый талантливый (и один из наиболее беззастенчивых) среди сановников вильгельмовской эры, сам надеялся, что кто-нибудь поверит его словам.

Так или иначе, но постройка флота началась, и уже в 1902—1904 гг. было ясно, что Германия обращается в первую после Англии морскую державу. Строиться такой флот мог *только* против Англии. Британское адмиралтейство определенно обеспокоилось. В это время новый король и стал оказывать серьезное влияние на направление английской политики.

2

Эдуард VII вступил на престол 22 января 1901 г., когда ему пошел уже шестидесятый год. Его знали до той поры мало и знали, так сказать, односторонне. Известен он был как любитель скачек, светских развлечений, большой картежной игры; вспоминались два-три громких скандала лондонской великосветской и клубной жизни, к которым какое-то отдаленное касательство имело имя наследника британской короны. Черты его ума и характера, которым суждено было проявиться за его девятилетнее царствование, были сначала мало известны. Его мать, королева Виктория, очень ревниво не подпускала его к делам правления, и именно на этой почве между ею и сыном существовало длительное охлаждение.

Эдуард VII оказался человеком большого и очень гибкого ума, широкого кругозора, настойчивого характера, огромных способностей к притворству, крупнейших дипломатических талантов, отчетливого понимания сложившейся общемировой и, в частности, европейской конъюнктуры. В современной ему и в позднейшей, уже послевоенной, германской публицистике и историографии Эдуарда VII довольно единогласно (если не считать Бернштейна и отчасти Гардена) считают, как сказано, злым гением, погубившим Германию. Английскому королю в Германии приписывают и создание и осуществление программы окружения Германии железным кольцом враждебных ей госу-

дарств, создание Антанты, которой суждено было разрушить империю Гогенцоллернов.

Конечно, патриотические страсти в данном случае сильно преувеличивают роль Эдуарда. Никогда королю, какими бы способностями он ни был одарен и какую бы сатанинскую злобу к Германии ни питал, не удалось бы круто повернуть весь ход внешней политики Великобритании, если бы он не нашел вполне подготовленную почву. Его сила была в том, что он, вступая на престол, уже вполне отчетливо видел, куда должны будут неминуемо, рано или поздно, повернуть и пойти кабинет и парламент. И что это было так, у нас есть неопровержимое доказательство. Когда король вступил на престол, первым министром консервативного кабинета был маркиз Сольсбери. 11 июля 1902 г. Сольсбери подал в отставку, и премьером стал Бальфур. 5 декабря 1905 г. Бальфур ушел, и во главе нового (либерального) правительства стал Кемпбель-Баннерман. Когда Кемпбель-Баннерман тяжко заболел и ушел в отставку 8 марта 1908 г., то премьером сделался Асквит, который еще был в должности в мае 1910 г., когда Эдуард VII скончался. И все эти разнохарактерные правительства и такие непохожие друг на друга люди в одном были абсолютно согласны между собой: все они с полной охотой и готовностью предоставляли королю с первого дня его правления до смерти управлять британской внешней политикой; все они беспрекословно и охотно брали на себя роль исполнителей и помощников, и никогда ни малейших трений, ни малейших недоразумений между королем и *ответственными* министрами не происходило. Европа сначала изумлялась, а потом вскоре привыкла к этому порядку вещей, казалось бы, совсем немыслимому в Англии со времен Стюартов: английский король, вполне лишенный по конституции и по всем традициям как права, так и возможности действовать самостоятельно, разъезжал по столицам великих держав, заключал союзы и соглашения, связывавшие и обязывавшие Англию, менял всю картину британской дипломатической деятельности, произносил многозначительные речи, за которыми следовали тайные, но волновавшие всю Европу переговоры между королем и министрами европейских держав, и на всю эту кипучую, имевшую огромные последствия деятельность Эдуарда все министры всех четырех кабинетов, сменившихся за его царствование, смотрели совершенно одинаково, как на нечто весьма желательное, весьма положительное и даже необходимое. От магната и консерватора маркиза Сольсбери до одного из вождей рабочей партии Кейр-Гарди, сказавшего: «Я республиканец, но когда у нас будет республика, я буду агитировать за выборы Эдуарда VII в президенты»,— очень многие самые разнородные политические деятели Англии, в той или иной мере обслуживавшие капиталисти-

ческий строй или соглашательски настроенные, находили внешнюю политику короля крайне важной для всего будущего страны.

Это и показывает, что Эдуард явился как раз тогда, когда обстановка для осуществления его идеи создалась подходящая.

Как можно характеризовать эту идею? Тут следует отличать то, что *высказывалось* с обычным дипломатическим лицемерием в речах, тостах, статьях, от того, что *подразумевалось* и что выявилось лишь впоследствии. Высказывалось следующее: Англия — под угрозой. Германия не только теснит ее на всех рынках, с каждым годом все успешнее и чувствительнее, но начала систематически строить огромный флот с прямой и очевидной целью рано или поздно сразиться с англичанами, и если не отнять у них владычество на морях, то разделить с ними это владычество и отобрать у них часть колоний. Одновременно постройкой Багдадской железной дороги Германия грозит Индии и грозит также Суэцу и Египту,— притом грозит с сухого пути, где она бесспорно сильнее Англии.

Эта угроза делается еще серьезнее вследствие тесной дружбы Германии с Турцией. Вместе с тем на континенте Европы Германия до такой степени могущественна, что франко-русский союз явственно не может надеяться на победу в войне против Германии, Австрии и Италии. Что Италия будет воевать на стороне Германии и Австрии, с которыми она была в формальном союзе, это еще казалось в момент вступления Эдуарда на престол более чем вероятным. При этих условиях Англия вполне изолирована, Франция и Россия находятся с ней в дипломатической вражде, и даже во Франции ставится в прессе вопрос: кто больший враг? Германия или Англия?

Итак, Англия в опасном положении. Единственно, что может ее предохранить,— это создание настолько могущественного союза, который сдержал бы все воинственные стремления правящих германских классов. Союз с Францией и Россией — вот единственный выход из положения; союз, который необычайно затруднил бы свободу движений Германии и уменьшил бы ее шансы на победу. Задача — чисто оборонительная, направленная к сохранению европейского мира. Об этом так и говорили. Выходило, что Англия печется исключительно об общем мире и спокойствии и что король Эдуард ниспослан на землю главным образом в видах споспешествования благополучию и преуспеянию рода человеческого. *Подразумевалось* же некоторой частью правящих кругов Англии (а кое-кем не только подразумевалось, но иногда — впрочем, редко — и писалось), что, может быть, создав такой могучий блок против Германии, лучше не ждать ее нападения, а пойти на нее походом и уничтожить как-нибудь одним сильным ударом всю эту экономическую и

политическую угрозу [3]. Эти мысли, впрочем, стали проявляться чаще уже в самые последние годы царствования Эдуарда VII и после его смерти, когда созданная им политическая система — Антанта — окрепла, когда в Англии усилилась тенденция преувеличивать реальное значение возрождения и восстановления русской армии. Во всяком случае сам король, со свойственной ему осторожностью и обдуманностью, ни разу не проронил ни одного слова, которое хоть отдаленно могло быть сочтено за угрозу «европейскому миру». По существу же, конечно, Антанта была могущественным орудием не только оборонительной, но и агрессивной политики. И самый факт появления этого гигантского орудия воинствующего империализма стал новой угрозой миру.

В Германии многими овладевали беспокойство и раздражение. Чем яснее вырисовывались контуры Антанты, тем больше и больше выступала наружу идея этого дипломатического сооружения: об окружении (Einkreisung) Германии с 1907 г. стали говорить и писать как о ближайшей возможной опасности для страны. Но в первые годы об этом окружении писали в Германии как о несбыточной мечте Англии, чувствующей будто бы собственный упадок сил в борьбе с могучим соперником.

Параллельно с возбуждением против Англии росла в широких крутах германской буржуазии, бюрократии, офицерства, дворянства уверенность в том, что Англия вступила в полосу упадка. Англия задыхается в собственном жиру и неспособна к серьезному усилию, твердил еще в 1899 г. Герберт Бисмарк. Трехлетняя борьба с ничтожными бурскими республиками представлялась в Германии «скандалом», позорящим великую империю и решительно подрывающим ее престиж. Кронпринц германский с той рассудительностью, которую он не обнаруживал никогда перед войной, но задним числом проявляет столь охотно и столь часто в своих мемуарах (писанных уже в изгнании, в Голландии), утверждает, будто во время своего путешествия (до войны) он поражался громадностью и могуществом Британской империи, и высказывает сожаление, что в Германии недооценивали этого могущества. Кронпринц во всяком случае прав: в Германии действительно убедили себя перед войной, что Англия живет лишь старой славой, что она — Карфаген, а Германия призвана быть Римом. Во время войны эту параллель между Англией и Карфагеном любил развивать знаменитый историк, гордость германской, да и мировой, науки — Эдуард Майер.

Это опаснейшее чувство — пренебрежение к противнику — овладевало германскими широчайшими кругами все более и более. Гигантские успехи германской торговли и промышленности с каждым годом все более и более оттесняли Англию на всех

рынках и, конечно, еще увеличивали гордую уверенность Германии в своих силах. С начала царствования короля Эдуарда VII в наиболее читаемой германской прессе прибавились к этим чувствам еще раздражение и беспокойство по поводу сложной дипломатической негоциации, которая, как это явно чувствовалось, во-первых, была рассчитана на несколько лет и на несколько последовательных и дополняющих друг друга приемов, во-вторых, развивалась внутренно логически и без единой неудачи для ее автора и, в-третьих, была всецело направлена к полной политической изоляции Германской империи. Всякие отрицания и опровержения английской прессы только усиливали беспокойство и подозрительность в Германии, и нужно сказать, что англичане действительно злоупотребляли и до сих пор иногда злоупотребляют наивностью тех, к кому обращаются. Ведь читаем же мы в большой интересной книге Кеннеди (вышедшей в 1922 г.) «Старая и новая дипломатия» такие, рассчитанные как будто на маленьких детей, невероятные строки: «...завистливые немцы замечали лицемерие английской политики всюду. Они усматривали его особенно в дипломатии короля Эдуарда VII. Они не могли понять его действительной любви к путешествиям. Всякий раз, как он совершал поездку в ту или иную европейскую столицу, это было (по их мнению) затем, чтобы сплести новую петлю в его сети коалиций против Германии» [4].

Конечно, в этом случае немцы были правы, и каждое путешествие Эдуарда в Париж, в Рим, в Ревель, даже некоторые из его ежегодных поездок в Мариенбад — все это было направлено к тому, чтобы усилить готовящуюся коалицию — сегодня Францией, завтра Россией; все сводилось к тому, чтобы оторвать от Германии или охладить ее политических друзей — сегодня Италию, завтра Австрию, потом Румынию. Объяснять все эти (имевшие серьезнейшие последствия) передвижения короля Эдуарда только его страстью к туризму — значит безмерно преувеличивать наивность читателя. Эдуард VII стоял в центре сложнейших дипломатических интриг и тайных переговоров, направленных к одной главной цели: окружить Германию цепью враждебных или полувраждебных ей великих и малых держав. Рабочий метод британской дипломатии в эту пору был таков: король Эдуард делает предварительные шаги и ведет также все дальнейшие принципиально важные переговоры с главой государства и правительства той державы, которую он желает привлечь к антигерманской коалиции. Английское министерство — точнее, премьер и статс-секретарь по иностранным делам — держится королем в курсе всего дела. Когда принципиальные базы соглашения готовы, в переговоры вступает статс-секретарь, и затем соглашение одобряется правительством и входит в

силу. Авторитет короля среди его министров был колоссален. Судя по воспоминаниям Грея и других, никогда между королем и министрами споров и осложнений не происходило [5]. Основная политическая цель ни разу не менялась, а в дипломатических интриге и тактике Эдуард VII не знал себе соперников, и министры привыкли за время его царствования к тому, что наиболее деликатную, трудную первоначальную работу король берет на себя. Что касается английского парламента, то он вообще очень редко по своей инициативе вмешивается в иностранную политику правительства (в английском парламенте не существует даже парламентской комиссии иностранных дел), а правительство не считало полезным предавать гласному обсуждению ни свои явные действия, ни свои скрытые цели. Таким образом, перед королем была открытая дорога. Никто его не стеснял, гибкая конституционная машина предоставила ему в области международной политики фактическое всевластие, которым со времен Стюартов, с XVII столетия, никогда не пользовался ни один английский король.

Обратимся теперь к главному результату его политики.

3

Антанта была создана в два приема: в 1904 г., когда было заключено англо-французское соглашение, и в 1907 г., когда к этому соглашению примкнула Россия. Собственно впервые этот термин (Антанта) был пущен в ход в начале 40-х годов XIX столетия, когда произошло довольно мимолетное англо-французское сближение: его назвали тогда *сердечным согласием* — l'Entente cordiale. В 1904 г. англо-французское соглашение, по старой памяти, тоже стали называть сначала l'Entente cordiale, а потом просто l'Entente — соглашение. С 1907 г., когда к двум западным державам примкнула Россия, то эту комбинацию стали называть Тройственным согласием, triple Entente, или опять-таки, для краткости, Антантой.

Предприятие Эдуарда VII *осложнялось тем положением*, в котором он застал и отношения Англии с Францией и отношения Англии с Россией. В обоих случаях приходилось не просто чужую державу делать другом и союзником, но нужно было превращать в союзников старинных и упорных врагов. Естественным *могущественным рычагом могло стать, правда, нерасположение* обеих названных континентальных держав к Германии, но единственным средством быстро преодолеть их вражду и раздражение против Англии и ускорить их сближение с Англией было согласие английского правительства на известные *жертвы — и жертвы немалые. Эдуард VII и стоявшее за* ним правительство (сначала — в 1904 г. — консервативное,

потом — в 1907 г. — либеральное), не колеблясь, на эти жертвы пошли.

Началось с Франции. В течение всего существования Третьей республики французский капитал, ища наиболее выгодного помещения, всегда поддерживал колониальные предприятия правительства и часто наталкивал на них правительство. В своей колониальной политике Третья республика шла от успеха к успеху; за всю свою историю Франция не приобрела и 1/9 доли того, что приобрела за последние тридцать три года перед войной — начиная с завоевания Туниса. И всегда, едва окончив одно колониальное завоевание, французское правительство намечало следующее. Так, после завоевания в 1894 г. острова Мадагаскар на первый план в соображениях министерства колоний выдвинулся вопрос о присоединении в том или ином виде громадной Марокканской империи, занимающей крайний северо-запад Африки, между Средиземным морем и Сахарой, Атлантическим океаном и Алжиром.

«Колониальная партия», т. е. партия финансистов, толкавшая правительство на новые завоевания, уже 11 апреля 1892 г. устами министра Этьена (очень крупного капиталиста и предпринимателя) заявила: «Франция теперь чувствует, что ей нужны новые рынки в заморских странах». В 1894 г. было основано министерство колоний. Во главе его стал Теофиль Делькассе, энергичный и честолюбивый человек, приверженец активной хищнической колониальной и общей политики, находившийся под большим влиянием наиболее беспокойной предприимчивой группы финансистов и колониальных деятелей; с 1898 г. он стал министром иностранных дел.

Теофиль Делькассе был французским министром иностранных дел около семи лет — с 1898 г. до июня 1905 г. Он принял дела от своего предшественника Габриеля Аното в те времена, когда отношения Франции с Англией были в высшей степени натянуты и когда впервые идея сближения с Германией стала как бы обозначаться перед взором правящих кругов республики. Делькассе, вступив в должность, нашел на столе в министерском кабинете запись разговора Аното с германским послом князем Мюнстером, который сделал некоторые дружественные предложения. Делькассе оставил эти предложения без ответа.

Идея Делькассе была совершенно определенная: у Франции есть лишь один враг — Германия и лишь один существенный возможный в будущем союзник (кроме России) — Англия. Союз с Англией есть такое благо, для достижения которого можно пожертвовать не только Фашодой и Египтом, но и более крупными ценностями. Следует сказать, что некоторые слои мелкой

и отчасти средней буржуазии Франции с беспокойством относились к Делькассе и стоявшим за ним колониальным и крупнофинансовым слоям. Резко отрицательную позицию против Делькассе (стоявшую часто в противоречии с общей линией поведения газеты) занял, например, публицист газеты «Matin» Ардюэн, которого Жорес назвал «типичным представителем буржуазного здравого смысла». Ардюэн боялся Делькассе, боялся будущей войны (до которой сам не дожил), боялся революции, которую считал очень возможной спутницей войны [6].

Делькассе был бесспорно типичным политиком-империалистом и проявил себя таковым еще в качестве главы колониального ведомства.

Не обращая внимания на указания оппозиции, что колонии слишком дорого стоят стране, что Франция, в колониях которой насчитывается (в средине 90-х годов XIX в.) 32 миллиона человек, ежегодно тратит на колонии 74 миллиона франков, тогда как Англия на свою колониальную империю, где живет 375 миллионов человек, тратит всего 62 миллиона франков в год, колониальное ведомство продолжало стремиться к расширению владений. В 1898 г. это движение натолкнулось на жестокую неудачу: как уже было сказано, французы, уступая угрозам англичан, должны были покинуть Фашоду, занятую ими на верховьях Нила. Вражда против Англии, как сказано выше, достигла после Фашоды очень больших размеров и стала проявляться в довольно бурных формах. Французской колониальной партии стало ясно, что дальнейшие завоевания на востоке Африки отныне немыслимы. Тем чаще стали говорить и писать о Марокко. Но и тут немыслимо было и мечтать о немедленном завоевании страны: при острой вражде с Англией всякая попытка в этом направлении могла бы вызвать новое столкновение с британской дипломатией, новое унижение вроде Фашоды. Дело в том, что Англия стояла на первом месте среди стран, торгующих с Марокко; кроме того, Англия стратегически была заинтересована в том, чтобы громадные берега Марокко, выходящие как на Средиземное море, так и на Атлантический океан, в непосредственной близости от Гибралтара, не попали в руки какой-либо великой державы. Нужно прибавить, что Англия всегда решительно противилась всяким даже отдаленным французским покушениям на Марокко. Так обстояло дело в 1899—1901 гг.

И вдруг Европа с удивлением узнает, что король Эдуард едет с демонстративным дружественным визитом в Париж. Визит был отложен из-за болезни короля, но состоялся в 1903 г.

Тотчас же после этого стали ходить слухи о каких-то больших уступках, которые Англия хочет сделать французам в Африке.

Наконец, после подготовительной работы, продолжавшейся в глубокой тайне почти год, 8 апреля 1904 г. было подписано и распубликовано англо-французское соглашение, что явилось полной неожиданностью для германского правительства.

Это соглашение, творцами которого были с английской стороны король Эдуард VII, а с французской — министр иностранных дел Делькассе, улаживало *все* спорные вопросы во всех частях земного шара, все недоразумения и старинные счеты, существовавшие где бы то ни было между Францией и Англией. Непосредственный выигрыш Франции был огромен: по основному пункту соглашения Франция отказывалась от каких бы то ни было притязаний на Египет, занятый англичанами, Англия же признавала право Франции на вмешательство во внутренние дела Марокко и обещала не препятствовать тем «реформам», которые Франция там захочет ввести. Франция при этом только обязывалась не препятствовать Англии пользоваться теми правами, которыми до сих пор пользовались англичане в Марокко, и не возводить военных укреплений на Гибралтарском проливе. Другими словами, Марокко отдавалось всецело во власть Франции. Французы приобретали огромную новую колониальную империю, англичане же не получали в сущности никаких новых территориальных или экономических выгод взамен, потому что отказ Франции от Египта не имел реального значения: ведь все равно французы, отброшенные в 1898 г. от Фашоды, смотрели на свои позиции и претензии в Египте как на дело, окончательно и бесповоротно потерянное. Можно сказать, что эта огромная неравномерность в полученных от соглашения выгодах, эта совсем необычная для Англии «великодушная» уступчивость и показалась крайне подозрительной. Другая сторона договора больше всего произвела впечатление в Германии. Там уже с 1903 г. знали о Марокко и Египте, ибо еще в марте 1903 г. германский посол Радолин получил сведения об этом от самого Делькассе, но не знали об остальных пунктах трактата, улаживавших *все* споры между Англией и Францией, не знали, например, что взамен отказа от некоторых привилегий по части рыбной ловли у берегов Ньюфаундленда Франция получила от Англии обширнейшие и выгоднейшие для нее новые территории в долине Сенегала (в Западной Африке), а кроме того, большие земли в Нигерии, которая уже раньше была поделена Францией и Англией. Эти большие уступки английской территории, о которых французы и мечтать никогда не могли, щедро округляли французские владения в Африке и делали из них одно грандиозное и компактное целое. Затем, одним из пунктов соглашения был раздел Сиама на сферы английского и французского влияния, опять-таки к полному удовольствию французской «колониальной партии». Наконец, англичане с самого

1894 г., когда был завоеван французами Мадагаскар, не перестававшие сначала настаивать на правах свободной торговли там, а затем, после введения французами стеснительного для иностранцев таможенного тарифа на острове, упорно и резко протестовавшие, объявили теперь, что они отказываются от своего протеста по поводу этого мадагаскарского тарифа.

Таковы были главные, решающие пункты соглашения 8 апреля 1904 г. Франция получала огромные выгоды и приобретения и получала их из рук своего векового, грозного врага, прославленного своей неуступчивостью, алчностью, непреклонным упорством в отстаивании своих выгод. Разом все недоразумения и споры улаживались к полнейшей выгоде Франции [7]; все желания и даже отдаленные мечты французов исполнялись; Англия разом меняла свою враждебную и подозрительную политику относительно Франции на самую дружественную и предупредительную. Все это было так удивительно, что кое-кто из европейских дипломатов ждал каких-либо протестов со стороны английского парламента, но ничего подобного не случилось. Соглашение было принято английскими руководящими партиями совершенно безропотно.

Тогда естественное беспокойство стало охватывать некоторые правящие круги Германии. Единственным объяснением всего этого происшествия могло быть одно: Англия пошла на все жертвы, очень для нее чувствительные, затем, чтобы сразу прекратить вражду с Францией и запастись союзником на случай борьбы с Германией. Эта догадка, конечно, была совершенно справедлива; она вскоре превратилась в полнейшую уверенность. Кроме этой самой серьезной и беспокойной стороны дела, раздражение в германских торговых, промышленных и колониальных сферах вызывалось еще мыслью о том, что огромная, близкая к Европе, очень обильная подземными богатствами, плодоносная во многих своих частях Мароккanская империя переходит почти целиком в руки французов (только узкая полоса на севере Марокко по франко-испанскому особому соглашению переходила к Испании) и что, таким образом, от Германии ускользает возможность — притом последняя, так как таких стран уже больше на земном шаре не оставалось, — обзавестись хоть одной такой колонией, которую можно было бы сопоставить с богатыми владениями Франции и Англии. К тому ж у Германии уже были налицо большие торговые и отчасти промышленные интересы в Марокко, и этим интересам при водворении французского владычества грозила опасность.

4

Все эти соображения толкали германскую дипломатию на борьбу. За борьбу стоял директор министерства иностранных

дел Фриц фон Гольштейн, вдохновлявший канцлера Бюлова; за борьбу стоял и Вильгельм, которого без труда можно было убедить, что хорошо было бы одним удачным ударом и оторвать Францию от Англии и воспрепятствовать французам укрепиться в Марокко. Но нужно было несколько выждать: шла русско-японская война, почему следовало дождаться более решительных поражений России, чтобы Франция оказалась вполне изолированной. В феврале 1905 г. русская армия потерпела тяжкий урон при Мукдене, а в марте Вильгельм II поехал на своей яхте в Танжер (в Марокко) и там на банкете германской колонии произнес речь (31 марта), в которой подчеркнул, что он считает Марокко независимой страной, а султана верховным и независимым ни от кого правителем. Эта демонстрация прямо намекала на дополнительный (неопубликованный, но ставший всем известным) договор Англии и Франции, по которому определенно предусматривалась возможность установления французского протектората в Марокко и уничтожения власти султана.

Впечатление от поездки и речи Вильгельма было огромное. Весь апрель и май 1905 г. прошли в напряженнейшем ожидании. Во Франции распространялась серьезная тревога. Воевать с Германией из-за Марокко было немыслимо. Во-первых, гнать войска на убой из-за нового колониального приобретения, о котором очень мало кто знал и думал (кроме заинтересованных финансистов), было невозможно: слишком вопиющим и безобразным преступлением показалось бы это даже и не одним социалистам, и можно было нарваться на революционный протест. Во-вторых, Россия была настолько занята войной с Японией, что не могло быть речи о помощи с ее стороны. В-третьих, несмотря на соглашение с Англией, вовсе не было уверенности, что Англия выступит немедленно и что ее помощь на суше может оказаться сколько-нибудь существенной; даже сам Делькассе, стоявший за отпор притязаниям Германии, сулил на заседании совета министров помощь всего в размере 100 тысяч англичан, которые будто бы должны в случае войны высадиться в Шлезвиге. Да и то все это пока было лишь разговором, ничуть не обязательным для английского правительства. Воевать же против Германии один на один Франция решительно была не в состоянии, да и ее подготовка с чисто технической стороны была в тот момент не очень удовлетворительна. А из Германии неслись угрозы за угрозами. 6 июня 1905 г. произошло решительное заседание совета министров в Париже, и Делькассе подал в отставку. Решено было уступить. Эта уступка заключалась в том, что французское правительство, во главе которого в тот момент стоял Рувье, согласилось, правда, не сразу, а только через $2^1/_2$ недели, на непременное желание Германии, чтобы участь Марокко была решена конференцией европейских держав. За эти $2^1/_2$ недели

Рувье сделал предложение Германии покончить дело без всякой общей конференции, а полюбовным соглашением между Францией и Германией, причем французы уступили бы Германии часть Марокко. Это было выгоднейшим для Германии результатом, но Вильгельм на это не согласился. Долго и горько пришлось германским дипломатам каяться и признаваться в этой роковой ошибке: случая утвердиться в Марокко уже больше никогда не представлялось, и французское правительство уже никогда больше не повторяло своего предложения.

Трудно сказать, почему Вильгельм и стоявшие за ним Бюлов и барон фон Гольштейн полагали, что общая конференция держав окажется для Германии выгодной. Конференция собралась в середине января 1906 г. в испанском городке Алжезирасе. Она продолжалась несколько менее трех месяцев и привела к соглашению, которое хотя и не отдавало Марокко под французский протекторат, но предоставляло Франции и Испании право организовывать полицию в Марокко, а также (фактически) обеспечивало за Францией преимущественное влияние на марокканские финансы. Но за подданными всех держав обеспечивалась свобода экономической деятельности в Марокко. За Францией признавались также некоторые преимущественные права на территории Марокко, соседней с Алжиром (принадлежащим Франции).

На этой конференции Францию поддерживали: Англия, Россия, Италия, Испания; даже Австрия только голосованием и чисто формально поддерживала Германию. Конечно, Франция не получила того, на что могла рассчитывать на основании англо-французского соглашения 1904 г. Но и Германия добилась далеко не всего, чего хотела.

Умный и глубокий критик предвоенной германской дипломатии барон Эккардштейн, первый советник германского посольства в Лондоне, утверждает в своих воспоминаниях, что никаких определенных планов, мыслей, руководящих целей в германской политике относительно Марокко не было; что неизвестно, зачем Германия пошла в это осиное гнездо, почему она пропустила выгоднейшие возможности покончить дело с Францией соглашением, когда Рувье предложил это в июне 1905 г., зачем понадобилось созывать в Алжезирасе конференцию по марокскому вопросу в 1906 г., когда наперед было ясно, что все державы, кроме Австрии, окажутся на стороне Франции.

Подводя итоги своим политическим усилиям и выступлениям, завершившимся Алжезирасской конференцией, Вильгельм II и его советники могли констатировать, что французы получили в будущем возможность подкапываться всячески под самостоятельность Марокко, пользуясь и соседством Алжира и особыми правами, признанными за ними в Алжезирасе, а нем-

цы и впредь могут бороться лишь сомнительным и громоздким орудием — созывом международных конференций, причем на таких конференциях у них и впредь будет столь же мало поддержки, как было в Алжезирасе.

А главное — не было достигнуто ослабление Антанты, т. е. Франция не охладела к мысли о соглашении с Англией. Напротив, пережитая весной 1905 г. тревога заставила французские правящие сферы стремиться не только сохранить, но углубить и расширить новые узы, связавшие Францию с Англией. Россия была страшно ослаблена поражением в Маньчжурии, а затем революция 1905 г. временно отдалила ее от сколько-нибудь активной внешней политики. При этих условиях Англия представлялась французским правителям единственной опорой против Германии. С своей стороны английская дипломатия старалась искусно использовать это настроение, созданное во Франции длительной тревогой по поводу Марокко, и широко использовала мысль, неосторожно пущенную в германскую печать Гольштейном,— именно, что если Англия нападет на Германию, то все свои потери на море Германия возместит за счет Франции на суше. Значит, Франция все равно становилась как бы заложницей пред лицом Германии. Во Франции началась деятельная подготовка в армии (уже не прекращавшаяся вплоть до 1914 г., хотя еще и в 1914 г. далеко не завершенная). Вождь радикальной партии Клемансо выступил с агитацией в пользу превращения англо-французского соглашения в формальный союз и требовал от англичан быстрого создания большой сухопутной армии. В самой Англии все росло число приверженцев этого требования.

Итак, Антанта после этого первого удара не распалась, а как будто укрепилась. В германской националистической прессе, в органах крупных промышленников особенно говорили о необходимости решительного выступления с целью оторвать Францию от Англии.

Но еще раньше германская дипломатия решила попытаться оторвать от Франции Россию.

5

Мысль о необходимости дать Германии компенсацию за сближение Англии с Францией не оставляла Вильгельма, и на этой почве произошло то событие, которое возбудило в середине 1905 г. много шума и волнения в Европе, долгое время оставалось загадочным не только для широкой публики, но и для руководителей европейской политики, и разъяснилось лишь после русской революции, когда были опубликованы документы, относящиеся к вопросу [8].

Дело рисуется в главных своих чертах так.

Воспользовавшись тяжкими поражениями, которые терпела Россия с самого начала войны с Японией, фактической изолированностью Николая II в этот момент, его раздражением против Франции, которая как раз в апреле 1904 г. вошла в дружбу с явным врагом России — Англией, Вильгельм решил попытаться разрушить франко-русский союз. Уже в конце октября 1904 г. Вильгельм писал Николаю II о «комбинации трех наиболее сильных континентальных держав», т. е. России, Франции и Германии. Идея была явно подсказана Фрицем фон Гольштейном, вдохновителем германской политики. «Я был очень удивлен, когда два дня тому назад стороной меня уведомили, что барон Гольштейн, первый советник министерства иностранных дел, желает меня видеть. Вы, конечно, припомните, дорогой граф, что эта важная особа, может быть, истинный вдохновитель политики берлинского кабинета, для официальных послов оставался невидимым...»,— так сообщал 27 октября 1904 г. русский посол в Берлине Остен-Сакен министру иностранных дел Ламздорфу. Гольштейн высказал ту же мысль о союзе России, Франции и Германии. Речь шла о том, чтобы Россия и Германия заключили между собой союз, а потом разом предъявили бы Франции требование примкнуть к ним. Что Франция испугается и примкнет — Гольштейн, а за ним и канцлер князь Бюлов и особенно Вильгельм не сомневались. Но если даже Франция и не примкнет, франко-русский союз, острие которого направлено против Германии, будет во всяком случае сломлен безнадежно. Но в России, *хотя сам Николай (особенно* в 1904 и в *начале* 1905 г.) склонялся к подписанию договора с Германией, Ламздорф сильно противился, боясь ловушки со стороны Вильгельма: слишком уж ясно было, что главная цель его в затеянном деле рассорить Россию с Францией. Ламздорф ставил особенно на вид Николаю (см., например, доклад его 15 ноября 1904 г. в «Красном архиве», 1924, V, стр. 22), что ни в каком случае нельзя действовать на Францию «запугиванием», тогда как для Вильгельма именно это и было дороже всего из всей затеи, ибо самая попытка «запугивания» разорвала бы в клочки франко-русский союзный договор. Так дело тянулось до лета 1905 г., когда Вильгельм II во время своей крейсировки в северных водах организовал (внезапно и тайком даже от сопровождавшей его свиты) свидание с Николаем в Бьорке, в Финском заливе. Тут произошла сцена, которую Вильгельм описал в письме к канцлеру Бюлову (это описание было опубликовано только в начале 1926 г.). Ему удалось, наконец, заставить царя подписать договор. Вильгельму, как он живописует в своем послании к Бюлову, казалось, что на эту сцену подписания договора взирают с небес король Фридрих-Вильгельм III, Николай I и другие члены обе-

их династий, некогда дружившие между собой (у Вильгельма ни одной попытки слукавить никогда не проходило без этих религиозных и династических чувствительных воспоминаний, если дело касалось именно Николая II). Договор был подписан в Бьорке 24/11 июля 1905 г.— с немецкой стороны Вильгельмом, фон Чиршки и Бегендорфом, с русской стороны — Николаем и случившимся тут адмиралом Бирилевым. Самые важные статьи были первая и четвертая. Первая гласила: «В случае, если одна из двух империй подвергнется нападению со стороны одной из европейских держав, союзница ее придет ей на помощь в Европе всеми своими сухопутными и морскими силами». Четвертая статья читалась так: «Император всероссийский после вступления в силу этого договора предпримет необходимые шаги к тому, чтобы ознакомить Францию с этим договором и побудить ее присоединиться к нему в качестве союзницы». Трудно сказать, понимал ли вполне ясно император Николай II, что он делает, подписывая этот договор. Но Ламздорф и Витте, узнав о происшедшем, пришли в ужас. «Совершенно между нами,— кажется, в Бьорке были несколько настроены и не вполне дали себе отчет в истинных целях императора Вильгельма: совершенно разрушить франко-русский союз и получить возможность окончательно скомпрометировать нас в Париже и Лондоне. Россия изолированная и неизбежно зависимая от Германии — вот его давняя мечта»,— так писал министр Ламздорф русскому послу в Париже Нелидову 28 сентября 1905 г. Из разговоров с Рувье, председателем французского совета министров, Нелидов, с своей стороны, убедился, что Франция ответит категорическим отказом в случае, если ей решатся предложить присоединиться к союзу Германии и России. Положение делалось совсем невозможным: как было перешагнуть через этот Рубикон? Ламздорф так обозлен был на Николая II, поставившего его в нелепое положение, что уже не давал себе труда скрывать это. «Я должен вам сообщить,— писал он снова Нелидову 9 октября 1905 г.,— что вот уже почти год, как император Вильгельм твердит нашему *бедному*, дорогому августейшему монарху о необходимости подписать им вдвоем договор об оборонительном союзе и обязать Францию как нашу союзницу примкнуть к нему. Мне удалось воспрепятствовать этой грубой попытке, дав понять императору, что главная, если не единственная, цель Вильгельма заключается в том, чтобы поссорить нас с Францией и за наш счет выйти самому из состояния изолированности». Аргументация Ламздорфа и Витте возобладала, и Николай дал знать Вильгельму, что если Франция не пожелает примкнуть к Бьоркскому договору, то этот договор не может иметь силы, а должен быть изменен, именно статьи 1-я и 4-я. Но Ламздорф не желал даже и предлагать

Франции официально что бы то ни было подобное: «Я не скрыл от его императорского величества, что его вынудили сделать нечто невероятное и что обязательства, которые он на себя принял, находятся в «неблаговидном противоречии» (кавычки Ламздорфа — *Е. Т.*), принятом на себя по отношению к Франции его августейшим отцом в 1891—1893 гг.». Ламздорф был раздражен до крайности. «Вот, милейший Александр Иванович, та новая передряга, в которую мы ни за что, ни про что ввязались после стольких странных авантюр последних двух лет. Можете себе представить, насколько все это утешительно! — так писал министр Нелидову.— Но надо постараться выпутаться с наименьшим ущербом. Несомненно, что императора Вильгельма взбесит это отступление, и не постарается ли он, с отличающей его неразборчивостью в средствах, наделать в Париже и Лондоне разоблачений, вредных для России?» Вильгельм действительно был сильно разочарован отступлением Николая и силился доказать ему (телеграмма от 29 сентября 1905 г.), что «обязательства России по отношению к Франции могут иметь значение лишь постольку, поскольку она (Франция) своим поведением заслуживает их выполнения»; он указывал также, что сам «бог был свидетелем» того, что они с Николаем подписали в Бьорке: «Что подписано, то подписано!». Но решительные выступления Ламздорфа и Витте повлияли на Николая.

Дело провалилось безнадежно, и Вильгельм уже с начала октября 1905 г. знал это вполне точно: ведь русское правительство отказалось даже вести сколько-нибудь официальный разговор с французами, даже не осмеливалось показать им текст Бьоркского соглашения. Еще в октябре и ноябре продолжалась кое-какая переписка, но уже ни малейшего реального смысла и значения она не имела. Последнее письмо Вильгельма к Николаю II, где еще упоминается о Бьорке, относится к 28 ноября 1905 г. Но Вильгельм тут уже не льстит себя надеждами на успех. Он только скрывает свое раздражение, предаваясь явно фантастическим «воспоминаниям» об Александре III (который, как известно, совсем не выносил Вильгельма II, питал к нему болезненную антипатию и даже не давал себе труда скрывать это): «Твой дорогой отец... притом находился со мной в очень дружеских и близких отношениях. Например, во время маневров около Нарвы он откровенно высказал мне свое отвращение к французскому республиканскому строю, высказывался в пользу восстановления монархии в Париже и просил меня помочь ему в этом». Эта явная и курьезная выдумка (как всегда у Вильгельма, наивная и шитая белыми нитками) имела, конечно, целью укорить Николая за то, что он не хочет идти по стопам отца и не хочет «тоже» вместе с Вильгельмом «запугивать» Францию.

Все было кончено. Бьоркский инцидент оказывался ликвиди-

рованным. Весной 1906 г. на Алжезирасской конференции по поводу Марокко Россия уже всецело поддерживала Францию во всех ее притязаниях и неизменно голосовала против Германии. Одновременно в Париже налаживался В. Н. Коковцовым (под верховным наблюдением графа Витте) знаменитый «заем до Думы» (давший потом — в июле 1906 г. — возможность распустить I Думу). Поведение русского делегата в Алжезирасе стояло в строжайшей причинной связи с этим займом[9]. Ясно было, что финансовые и политические скрепы франко-русского союза остались неослабленными. А кроме того, со второй половины 1906 г. в Германию начали проникать первые слухи о том, что Эдуард VII желает включить в Антанту еще и Россию.

6

С первых месяцев 1907 г. уже не могло быть никаких сомнений в том, что какие-то очень деятельные переговоры между Англией и Россией действительно ведутся.

Задача на первый взгляд была еще более трудная, чем та, которую английская и французская дипломатия разрешили в 1904 г. Вражда Англии к России началась еще в XVIII столетии и чрезвычайно обострилась в первой половине XIX в., несмотря на то, что экспорт русского хлеба, льна, пеньки, других продуктов сельского хозяйства направлялся тогда в значительной степени именно в Англию и русский помещичий класс, поскольку он сбывал эти продукты на внешние рынки, был прямо заинтересован в терпимых политических отношениях с англичанами. Но и вражда шла не столько со стороны русского, сколько со стороны английского правительства: Николай I, напротив, неоднократно — и в 1826—1827 гг., и во время своего визита в Лондон в 1842 г., и в 1850—1852 гг. (перед самой Крымской войной) — не переставал делать попытки к соглашению. Длительных результатов эти попытки никогда не имели, — все разбивалось о недоверие англичан. Дело в том, что быстрое территориальное расширение русской империи на юго-запад, юг и юго-восток тремя флангами угрожало Индии: замыслы относительно Константинополя, утвердившиеся в русских правящих и придворных сферах еще в 70-х годах XVIII в., движение на Закавказье и дальше в Персию, наконец, движение по Средней Азии, начатое при Николае I и продолжавшееся в обширных размерах при Александре II, — все эти три движения России в трех направлениях составляли в глазах английских стратегических авторитетов и английской дипломатии прямую, с разных сторон подходящую к Индии, угрозу. В 1854 г. Англия взялась за оружие, чтобы оградить Турцию от русских завоевательных планов; по мере того как Россия завоевывала Туркестан, Бухару, Хиву,

английское беспокойство и противодействие все росли; в 1878 г. опять заговорили о войне Англии против России с целью ограждения Турции; в 1884—1885 гг., после занятия Мерва и подхода русских войск к границам Афганистана, отношения снова обострились до последней степени, и когда 17/30 марта 1885 г. генерал Комаров разбил высланный против него афганский отряд и занял весь богатейший оазис Пендже, который вместе с тем являлся как бы плацдармом для дальнейшего похода на Герат, то первый министр Гладстон произнес резкую речь в парламенте и побудил королеву Викторию обратиться непосредственно с довольно угрожающей телеграммой к Александру III. Русское продвижение остановилось, с Афганистаном был заключен мир, и спустя несколько лет установлены были особой разграничительной комиссией новые границы между Россией и Афганистаном. Россия оказалась у самых ворот в Индию.

Если дело чуть не дошло до войны даже при Гладстоне, старавшемся вообще поддерживать с Россией миролюбивые отношения, то при консервативном правительстве Сольсбери —и в 1886—1892 гг., и с 1895 г., когда власть после перерыва опять перешла к кабинету Сольсбери,— русско-английские отношения продолжали отличаться натянутостью и нескрываемым с обеих сторон недоброжелательством. С 1896 г. ко всем прежним причинам ссор прибавилась новая: дальневосточная политика России угрожала поглотить весь Северный Китай и так или иначе жестоко повредить экономическим и политическим интересам Англии на Дальнем Востоке. Тон правительственной прессы и кругов, близких к русскому правительству, становился (особенно с 1899 г.) все более и более резким; неудачи Англии в первый год англо-бурской войны особенно оживляли надежды тех, кому завоевание Индии представлялось делом вовсе не таким уж трудным. «Английские броненосцы, как ящерицы, к Герату не побегут»; «Англия идет под гору, Россия — в гору»; «Россия — молодая страна с военным честолюбием»,— писало «Новое время». Подобные же мысли повторялись в других газетах, считавшихся выразительницами мнений русского правительства. Когда в 1902 г., после неудачного предложения соглашения с Россией, японский дипломат маркиз Ито прибыл в Лондон, то здесь без малейших колебаний консервативный кабинет принял все его предложения, и англо-японский союз был заключен. Этот союз был, конечно, прямым прологом к войне Японии с Россией. Япония делала этой войной не только свое, но и английское дело: движение России к Тихому океану, движение в глубь Китая было остановлено, и совершенно очевидно было, что оно остановлено на продолжительный срок.

И вот тогда-то, несмотря на все английское сочувствие японской победе, несмотря на новое подкрепление англо-японского

союза, японские дипломаты (уже начиная с переговоров, приведших к заключению Портсмутского мира) стали замечать — и японская пресса, при всей своей сдержанности, впоследствии это отметила — нечто *не вполне понятное*: Англия как будто перестала их так поддерживать, как поддерживала все время, пока шла вооруженная борьба. Мысль Эдуарда VII, разделенная всецело британским кабинетом, выяснилась лишь спустя два года — не в августе 1905 г., когда был заключен Портсмутский мир, а в августе 1907 г., когда было подписано англо-русское соглашение.

Дело в том, что русско-японская война и русское поражение изменили все положение в дипломатической игре: было ясно, что ни в Китае, ни на границах Индии, ни в других местах Азии, временно, по крайней мере, Англия может не бояться России,— настолько Россия была не в силах предпринять там какое-либо угрожающее движение; а с другой стороны, Россия могла все же очень и очень пригодиться для борьбы с Германией, и слишком уже ослаблять Россию в пользу Японии не могло поэтому входить в дальнейшие английские расчеты. Немедленно, в ближайшие годы, Россия, конечно, не могла выступить против Германии, но при доказанной всей историей способности России быстро оправляться после поражений и принимая во внимание, что в войне против Германии Россия была бы не одинока, а действовала бы вместе с двумя первостепенными державами, можно было наперед сказать, что в европейской политике Россия все же гораздо скорее окажется в состоянии играть некоторую роль, чем в политике азиатской, где формальным договором Англия и Япония гарантировали себе отныне взаимную поддержку для охраны неприкосновенности своих азиатских владений в случае покушения на них со стороны любой третьей державы.

Во всяком случае в предстоящий, ближайший исторический период представлялось возможным использовать Россию против Германии. Но и тут нужно было делать дело быстро и круто, т. е. сразу радикально заменить вековую вражду тесной политической «дружбой» и полным сотрудничеством, и это сейчас же после русско-японской войны 1904—1905 гг., начатой при деятельном подстрекательстве Англии и ведшейся при огромной финансовой и дипломатической поддержке японцев со стороны англичан. Тут тоже нужны были жертвы, тоже нужно было общее улажение всех спорных вопросов и такое их разрешение, которое в самом деле удовлетворило бы тогдашние русские правящие сферы. Весной 1907 г. переговоры между обоими правительствами настолько подвинулись вперед, что о готовящемся событии заговорили открыто во всей Европе. В германской прессе беспокойство было гораздо более острым, чем в 1904 г.,

когда состоялось англо-французское соглашение. Правда, с русской стороны следовали определенные заверения, что ни в коем случае предстоящее соглашение не направляется против Германии; правда, непосредственной опасности от России быть не могло, так как Россия была еще слишком слаба и революция, кроме того, вовсе не считалась в европейских политических кругах вполне подавленной. Но больше всего беспокоила Германию, судя по правой, а отчасти и либеральной прессе, очень уж явственно развертывающаяся английская программа окружения Германии враждебными ей державами. «Eduard's Einkreisungs-politik» — «политика окружения», проводимая Эдуардом VII, сделалась любимой темой политической печати в Германии. Социал-демократическая печать тоже со вниманием и беспокойством отнеслась к готовящемуся новому событию; она обвиняла германскую дипломатию в бездарности и ошибках, которые будто бы и привели к этому результату. Левая, антиревизионистски настроенная часть социал-демократии видела в обороте, который принимали события, новое доказательство, что без активнейшего противодействия со стороны международного пролетариата гордиев узел европейской политики будет разрублен мечом и что угашение революционного духа в рабочем классе необходимо повлечет за собой усиление воинственного настроения в крупнокапиталистических слоях всех великих держав, прямо ведущих Европу к войне.

Так или иначе, внимание самых разнообразных слоев народа в Германии было приковано к англо-русским переговорам, вернее, к самому факту этих переговоров, так как подлинное их содержание больше угадывалось, чем было точно известно. В других странах, которых этот поворот английской политики касался менее непосредственно, и интерес к нему не был таким жгучим. Но все-таки огромное значение этого события признавалось решительно всеми. Между тем в Петербурге и Лондоне работа кипела. Из материалов секретного архива русского министерства иностранных дел мы знаем теперь, что русское правительство без труда пошло на главное требование Англии, т. е. на создание условий, гарантировавших безопасность Афганистана от русских покушений. Вот как высказывался Коковцов, министр финансов и в тот момент влиятельный человек также в вопросах внешней политики [10]: «Уроки прошлого убеждают нас в необходимости вести исключительно реальную политику, чуждую случайностей и отклонений в сторону. С этой точки зрения отдаленность Афганистана и недоступность его нашему влиянию должны заставить нас признать его вне сферы наших насущных интересов, о чем нам надлежит совершенно определенно заявить Англии, для которой афганский вопрос является жизненным. Таким открытым заявлением нам, быть может,

удастся успокоить тревоги Англии и избежать нежелательных и опасных трений. Важность же соглашения с Англией так велика, что для достижения его можно было бы даже отчасти поступиться стратегическими соображениями, которые, быть может, связаны с афганским вопросом». Русское правительство соглашалось с этой точкой зрения. Англичане не скрывали, что они требуют полного предоставления им свободы действий в Афганистане: «Такая возможность, как военные действия британских войск в Афганистане, должна всегда иметься в виду не только для защиты англо-афганского договора, но и для обеспечения исполнения настоящей конвенции»,— так заявила Англия уже к самому концу переговоров [11]. Другое требование Англии (тоже направленное к защите подступов к Индии) касалось Тибета. Англия желала, чтобы Россия совершенно воздержалась от каких бы то ни было средств и методов вмешательства в тибетские дела, даже от посылки каких бы то ни было «научных» экспедиций и т. п., и обязалась бы ни под какими предлогами не нарушать неприкосновенности тибетской территории. С своей стороны Англия шла на те же обязательства; к слову замечу, что по всем условиям проникновения в Тибет англичане гораздо легче могли при желании нарушить это соглашение, чем русские. Таковы были собственно английские главные требования. Что же предлагала Англия взамен?

Она предлагала в сущности довольно слабо замаскированный раздел Персии. Русский министр иностранных дел Извольский стоял всецело на точке зрения желательности соглашения России с Англией, потому что только это соглашение давало отныне русской дипломатии возможность сколько-нибудь активной политики на Ближнем Востоке: о Дальнем Востоке приходилось после Портсмутского мира забыть. Но даже и те, кто не разделял полностью точки зрения Извольского, были увлечены положительным предложением Англии относительно Персии: Англия отдавала России северную, самую богатую часть Персии, брала себе меньшую и худшую (южную часть) и этим самым давала России возможность занять очень твердую стратегическую исходную позицию для дальнейшего движения на юг, к Персидскому заливу, в случае, если бы отношения с Англией когда-либо впоследствии испортились. «Нейтральная» зона, которая должна была разделять отныне обе сферы влияния, была такова, что, конечно, она не могла в случае осложнений прикрыть англичан. Дело было решено. 31 августа (н. с.) 1907 г. были подписаны русско-английские конвенции: 1) относительно Персии, 2) относительно Афганистана, 3) относительно Тибета, 4) приложение к конвенции относительно Тибета,— и произошел обмен идентичными нотами между министром Извольским и послом сэром Артуром Никольсоном о недопущении

в Тибет «научных» экспедиций. Министр иностранных дел заявил, что непременно нужно чем-нибудь компенсировать Германию, например пообещать ей прекратить сопротивление постройке Багдадской железной дороги, ибо если Германия поведет борьбу против предлагаемого Англией раздела Персии, это может подорвать все значение англо-русского договора. Но Коковцов высказался против этого изменения в отношении к Багдадской дороге, так как Багдадская дорога, особенно две ее ветки по направлению к персидской границе, это — прямая опасность для будущего русского владычества в Северной Персии. Министр торговли и промышленности прибавил, что и для экономических интересов России эти ответвления Багдадской дороги в сторону Персии в высшей степени вредны и лишают Россию возможности монопольного экономического использования североперсидского рынка. Эта точка зрения и восторжествовала. Тотчас после подписания этих документов они были опубликованы.

Несмотря на непрерывные толки об этом соглашении уже в течение многих месяцев, впечатление в правящих сферах всех великих держав и особенно в прессе было колоссальное. Поражала, во-первых, мотивировка, где говорилось, что русский император и английский король, «воодушевленные искренним желанием уладить по взаимному согласию различные вопросы, касающиеся интересов их государств на Азиатском материке, решили заключить соглашения, предназначенные предупреждать всякий повод к недоразумению между Россией и Великобританией»; поражала также львиная доля в экономическом разделе Персии, доставшаяся России. В сферу русского влияния отходила вся та часть Персии, которая заключена между русской границей и линией, «идущей от Кастри-Ширина через Исфагань, Иезд, Хакк и оканчивающейся в точке на персидской границе, при пересечении границ русской и афганской». Англичане же брали себе ту часть Персии, которая лежит к югу от линии, идущей от афганской границы через Газик, Бирджанд, Керман и оканчивающейся в Бендер-Аббасе. Не говоря уже о гораздо большей экономической ценности русской части, было ясно, что вследствие чисто географических условий вся доставшаяся России часть в непродолжительном времени попадет не только в экономическое, но и в полное политическое ее обладание и составит даже не колонию, а просто продолжение сплошной русской территории, продолжение Кавказа. При этих условиях нейтральная зона (средняя часть Персии) гораздо скорее могла очутиться в русских, а не в английских руках. Наконец, хотя Афганистан признавался по конвенции о нем находящимся вне сферы русского влияния, но стратегически положение России так усиливалось, что Афганистан отныне оказывался в го-

раздо большей степени под русским ударом (из Персии), чем прежде.

Все это произвело такое впечатление, что в политической прессе Германии, Австрии, Италии, Франции слышались голоса, утверждавшие, что Россия, даже в случае победоносной для себя войны с Англией, не могла бы требовать больше, чем она получила без пролития капли крови, «в виде подарка», и что все, потерянное ею на Дальнем Востоке после проигранной войны с Японией, теперь с избытком возмещено этой дипломатической удачей.

В самой России это соглашение было принято неодинаково. Для кругов крупного торгового и промышленного капитала и для политических партий, к ним близких, эта новая и огромная (в особенности в возможном будущем) экспансия, эти громадные экономические возможности в Персии, и все это в момент бессилия только что разбитой и дезорганизованной армии, финансовой слабости, внутреннего, далеко еще не утихшего брожения, казалось большим и неожиданным успехом. Кроме того, либеральная часть буржуазии испытывала в тот момент борьбы за конституцию больше симпатии к Англии, чем к Германии, откуда, как всем было известно, еще со времен Вильгельма I и Александра II шли советы, клонившиеся к отстаиванию самодержавных позиций русской монархии. Наконец, среди правящих сфер в узком смысле слова, среди сановников, придворных чинов, среди личного состава правящего аппарата было течение, представленное, как сказано, министром иностранных дел Извольским, в пользу дружбы с Англией как такого ценного фактора, который даст России возможность новой «энергичной» политикой восстановить утерянный престиж. К этому течению (но по другим мотивам) примыкал Коковцов, видевший в дружбе с Англией большое подспорье для оздоровления русских финансов, потрясенных войной 1904—1905 гг. (Очень уж скоро Коковцов разглядел воинственные цели Извольского и стал противником его.)

Но в том же кругу существовало и большое нерасположение и недоверие к Англии и подозрительность относительно ее внезапного и столь непохожего на нее «великодушия» при разделе Персии. Представителем этого течения был бывший министр внутренних дел в кабинете Витте П. Н. Дурново. Он смотрел на дело главным образом с точки зрения будущего развития революционных возможностей и полагал, что всякая политика, дружественная Англии, тем самым враждебна Германии, а ссориться с Германией и особенно воевать с ней Россия не может (с надеждой на успех), и ей это незачем, так как никакого непримиримого столкновения интересов у нее с Германией нет. Монархический же принцип во всяком случае выйдет

ослабевшим из подобного столкновения, кто бы ни победил, так как в России и в Германии принцип монархической власти стоит крепче, чем где-либо в остальной Европе. К воззрениям Дурново в эти семь лет, прошедших между подписанием конвенций 1907 г. и началом войны 1914 г., примыкали почти все «правые» организации; но они были бессильны реально помешать ходу событий.

В Англии тоже слышались голоса, указывавшие довольно настойчиво и не без раздражения на слишком, по их мнению, большую и опасную цену, которую пришлось заплатить «за русскую дружбу»; но в подавляющем большинстве круги, вообще интересующиеся внешней политикой, либо определенно одобрили этот новый шаг своего правительства, либо воздержались от какой бы то ни было критики: ведь цель — главная, и о которой ни слова, конечно, не было сказано в конвенции,— была ясна. В Антанту вступил третий сочлен, что и нужно было Англии. Во Франции больше всего (и совершенно открыто) этим именно и были довольны. Были довольны прежде всего банковские и биржевые сферы, всесильные во Франции, так как англо-русское соглашение необычайно подкрепляло, делало более устойчивым и финансовое и политическое положение русского правительства и тем самым укрепляло русские финансовые обязательства. Держатели русских бумаг, которые были так встревожены в 1905 г., на которых нужно было очень сильно действовать и большим процентом и рекламой в почти сплошь подкупленной прессе в 1906 г., когда весной Коковцов хлопотал в Париже о новом займе, со второй половины 1907 г. обнаружили признаки успокоения. Французское же правительство, во главе которого стоял тогда Клемансо, было особенно довольно явным усилением Антанты и вследствие этого усилением французской международной позиции. Демонстративно «сердечные» встречи Клемансо с королем Эдуардом VII в 1907 и 1908 гг., как и весь тон официозной французской печати, показывали, что дело идет не о Персии, не об Афганистане, не о Тибете, а о чем-то несравненно более важном, близком и грозном.

Глава VIII

ПОПЫТКИ РАЗРУШЕНИЯ АНТАНТЫ 1908 г.

1. Аннексия Боснии и Герцоговины. 2. Дело о дезертирах в Касабланке

1

Опубликование англо-русских конвенций 31 августа 1907 г. нигде не возбудило такого волнения, как в Германии. Империя в опасности! Эдуард VII закончил дело окружения Германии, и мы разобьем эту цепь или погибнем! Такого рода речи слышались в руководящих империалистических кругах и в печати (не только пангерманской, но и более умеренной). «Пангерманцами» (Alldeutsche) назывались сторонники самой агрессивной политики Германии, направленной на включение в состав империи «добром или силой» тех земель, где в той или иной мере существует германский элемент населения. Так, Курляндия (а более щедрые говорили — весь Остзейский край), фламандские провинции Бельгии, немецкая часть Австрии прежде всего должны были быть инкорпорированы. В колониальной политике пангерманцы стремились к созданию большой немецкой колониальной империи в Африке, причем и европейские, и внеевропейские их пожелания, конечно, могли осуществиться лишь после удачной войны как с соседями, так и с Англией [1]. Но даже и более трезвые политические круги Германии не скрывали своего беспокойства, а князь Бюлов, канцлер империи, говорил (именно по поводу англо-русского сближения) о «защищенности» Германии. И это не потому, что действительно в 1907 г. или в ближайшие 3—4 года можно было бояться нападения со стороны Антанты. В Германии лучше, чем где-либо, знали, что Россия еще не в состоянии воевать, а Франция без нее не выступит, несмотря на дружбу с Англией. Но, во-первых, было ясно, что Антанта рассчитана вовсе не на немедленное военное

выступление и что России сначала дадут оправиться; во-вторых, уже и сейчас нужно было готовиться к дипломатическому противодействию России на Балканах, да и всюду, так как, попав в фарватер британской политики, русская дипломатия неминуемо должна была принять антигерманское направление; в-третьих, наконец, непосредственные результаты экономического раздела Персии затрагивали интересы Германии, так как было ясно, что и Россия на севере Персии, и Англия на юге будут иметь отныне такой огромный вес и смогут так жестоко и непрерывно давить на персидское правительство, что, сколько бы Германия ни подтверждала свои собственные права на свободную торговлю и т. д., фактически все равно положение в Персии немецких купцов и промышленников окажется рано или поздно очень неприглядным; а кроме того, и Россия, и Англия получали теперь возможность сильно вредить Багдадской немецкой железной дороге, да и стратегически эта дорога оказывалась и под русским и под английским ударами. Выходило, что образованная будто бы с «оборонительными» целями Антанта начала с завоеваний: с дележа Марокко и Персии.

Помимо всех этих соображений, было еще одно: ведь, как сказано в своем месте, именно эти годы — 1901—1914 — были годами такого неслыханного, бурного развития германской промышленности, такого огромного роста внешней торговли, что подобного темпа развития даже и подозревать было нельзя еще, например, в начале царствования Вильгельма II. Сообразно с этим не по дням, а по часам росли притязания и влияние всех консервативных и полуконсервативных — вроде национал-либеральной — партий, которые требовали скорейшего превращения Германии из великой державы (Grossmacht) в державу мирового значения (Weltmacht), скорейшего утверждения ее влияния в Африке, в Азии, на мировом рынке вообще. Пангерманцы в своих завоевательных мечтаниях в сущности только вслух высказывали то, к чему в той или иной степени стремились многие консерваторы и национал-либералы да кое-кто и из партий, стоявших левее. Именно в эту пору также те элементы рабочего класса, которых впоследствии публицисты левого крыла назвали термином «рабочая аристократия», стали обнаруживать все больший и больший интерес к успехам и задачам империалистской политики своего правительства. И Кальвер и другие (менее заметные) ревизионистские публицисты определенно стали настаивать на необходимости колониальных завоеваний во имя интересов рабочего класса. И вот, создание Антанты, помимо всего прочего, кладет предел этим охватившим широкие слои стремлениям и надеждам и как бы переводит Германию от нападения к необходимости обороны. Именно в это время начинают учащаться и в консервативной, и в либеральной немецкой

прессе нарекания на неспособность и необдуманность руководителей германской внешней политики; повторяются все чаще жалобы на то, что вербуемые исключительно из высшего дворянства дипломаты никуда не годятся, что, тратя на армию и флот колоссальные деньги, имея первостепенные вооруженные силы, германское правительство ничего не сделало, чтобы помешать развитию и блистательному успеху губительной для Германии и ее будущего политики Эдуарда VII. Правда, были и оптимисты вроде бойкого публициста (очень тогда читавшегося) Рудольфа Мартина, который уверял своих читателей[2], что политика английского короля «имеет большое сходство с политикой Наполеона I и Наполеона III» и будет тоже иметь неудачный конец, но эти успокоения успеха не имели. От имперского правительства влиятельные слои населения требовали через посредство большой политической прессы ответа на «политику окружения».

На этой-то почве в 1908—1909 гг. произошли два события, которые можно назвать двумя новыми попытками разрушить Антанту (сначала лишь средствами дипломатическими). Первая попытка, как мы видели, была сделана Вильгельмом II в 1905 г. на почве борьбы за Марокко. Мы видели также, что ему удалось — до поры до времени — оградить Марокко от полного подчинения страны французам, но не удалось оторвать Францию от Англии. Теперь, в 1908 г., после того как Россия примкнула к Антанте, решено было нанести новый удар, на этот раз с целью оторвать от Антанты только что примкнувшую к ней Россию.

Произошла эта вторая попытка в октябре 1908 г. Нужно сказать, что 10 июля (н. с.) 1908 г. в Ревель на свидание с Николаем II прибыл английский король, и в речах, которыми они обменялись, подчеркивалось полное сближение обеих держав. Это посещение необычайно раздражило германское правительство, и Вильгельм II напомнил вскоре после этого, что если «они» хотят «нас окружить», то Германия этого не боится и будет обороняться. Он это сказал в чисто военной компании (в Деберице), и речь не была официально оглашена, но все о ней знали. Настойчивее всего в Европе говорили о том, что на тайных совещаниях в Ревеле между Извольским и Эдуардом VII было решено вмешаться в турецкие события: как раз тогда (в июле 1908 г.) началась младотурецкая революция, которая привлекала к себе всеобщее внимание. На этой-то почве — на почве балканских дел — и суждено было Антанте подвергнуться новой пробе и испытанию ее крепости.

Младотурецкая революция, начавшаяся 3 июля 1908 г., в три недели одержала полную победу. Старый Абдул-Гамид был лишен всякой власти (ему оставлен был лишь титул, которого

он лишился в следующем году), управление делами перешло в руки младотурецкого комитета «Единение и прогресс», приступлено было к выработке новой конституции и к выборам в Национальное собрание. Все это было запоздалой попыткой перестроить Турцию на основе европеизации. Мелкобуржуазные централисты, младотурки, захватившие власть в 1908 г., управляли фактически диктаторским образом вплоть до разгрома Турции и сдачи ее на капитуляцию в конце октября 1918 г. Главная их цель — сохранение еще уцелевших остатков Турции, превращение ее в строго централизованную державу — не только не была достигнута до конца всего десятилетия их диктатуры, но уже на первых порах стало ясно, что она и не может даже начать осуществляться. Эта революция запоздала по крайней мере на сто лет. Произойдя накануне мирового пожара, она только ускорила дальнейшую ликвидацию некогда великого государства.

Дело началось с аннексии Австрией Боснии и Герцоговины. Обе эти провинции прежней Турецкой империи были заняты Австрией еще в 1877 году, в эпоху русско-турецкой войны. С тех пор эта территория находилась во «временной оккупации» Австрии, и было ясно, что австро-венгерское правительство отдаст ее кому бы то ни было, исключительно подчиняясь силе, но не иначе. Босния и Герцоговина, где преобладающее население — сербского происхождения, давно составляли предмет открыто высказываемых мечтаний Сербии. Эта земледельческая и скотоводческая страна, не имевшая выхода к морю, надеялась на то, что в более или менее отдаленном будущем при благоприятных обстоятельствах Босния и Герцоговина с ней соединятся, и сербы не только получат выход к морю, но и значительно увеличат свою земельную площадь; выход же к морю им был нужен, по их словам, прежде всего, чтобы избавиться от такого положения, когда их соседи, австрийцы, являлись фактическими монополистами по закупке всего, что только мог дать сербский рынок. Тотчас после подписания англо-русского соглашения в Сербии опять стали высказываться мысли о том, что Россия, наконец, «вернется» теперь на Ближний Восток, что теперь Сербии опять есть на кого опереться в борьбе против австрийцев и «швабов» (т. е. немцев). Что Извольский тоже думает о перенесении центра тяжести русской политики на Балканы, это было хорошо известно.

Таковы были обстоятельства, когда австрийский министр иностранных дел, барон Лекса фон Эренталь, затеял объявить аннексию Боснии и Герцоговины Австро-Венгрией, т. е. превращение «временной оккупации» в вечное владение.

Эренталь затеял это еще до младотурецкой революции и даже совещался с Извольским и с итальянским министром ино-

странных дел Титтони относительно условий, на которых Россия и Италия согласились бы признать аннексию Боснии и Герцоговины. Но из этих переговоров ничего не вышло, и австро-венгерское правительство решило действовать самостоятельно и идти напролом. 29 сентября (н. с.) 1908 г. Франц-Иосиф личным письмом уведомил Николая II о готовящейся аннексии, а спустя несколько дней (7 октября н. с.) аннексия была формально провозглашена. Русские протесты и неудовольствие были выражены в нескольких официальных документах, особенно в длинном письме, которое Николай II (или, точнее, Извольский) написал Францу-Иосифу 17 декабря 1908 г., где русский император, между прочим, говорит: «По сведениям, которые до меня доходят, твое правительство принимает военные меры в таком масштабе, из коего можно предположить, что оно готовится к возможному в ближайшее время конфликту с твоими южными балканскими соседями. Если подобное столкновение произойдет, то оно вызовет в ответ большое возмущение не только на Балканском полуострове, но также и в России, и ты поймешь то особо трудное положение, в котором я окажусь. Избави нас, боже, от подобной перспективы, которая положит конец всякой возможности сохранить хорошие отношения между Россией и Австро-Венгрией и может привести Европу к общей войне». Но Франц-Иосиф твердо знал, что Россия воевать тогда была не в состоянии, и поэтому нисколько не испугался. В ответном письме от 28 января 1909 г. австрийский император пишет Николаю II: «Мое поведение в отношении сербских стран продиктовано мне моим долгом и предусмотрительностью, вызванными той страстной и полной ненависти враждебностью, которой проникнуты в этих странах все классы, включая и ответственных представителей власти... Я твердо решил со всей энергией противиться возможности агрессивных действий, на которые их может натолкнуть все возрастающая дерзость в погоне за химерическими мечтами, которые, увы, были им внушаемы не одной лишь стороной. Еще не было примера, чтобы какая-нибудь великая держава, заботящаяся о своем достоинстве и о своих интересах, проявила бы такое долготерпение, какое проявляем мы в отношении наглой провокации маленьких соседей».

Другими словами, он тоже грозил войной.

Тянуть дело неопределенно долго было нельзя. Параллельно со сношениями, затеявшимися между Россией и Австрией, шли более опасные и острые сношения между Россией и Германией. Через несколько дней после провозглашения аннексии германский посол Пурталес с непосредственностью и поспешной откровенностью, которые характеризовали всегда манеру Вильгельма в тех случаях, когда сила была на его стороне, передал Изволь-

скому следующее: «Россия, несмотря на все заслуги Германии перед ней, все более и более сближается с враждебной немцам группой держав. Кульминационными пунктами такой политики была Алжезирасская конференция и ревельское свидание с королем Эдуардом. Подобная перегруппировка держав заставляет Германию, более чем когда-либо, тесно сблизиться с Австрией и принять за основание своей политики полнейшую солидарность во всех вопросах с Габсбургской монархией». Аннексия Боснии и Герцоговины как месть за англо-русское соглашение — такова мысль этих слов. 23 марта 1909 г. Вильгельм категорически потребовал от России немедленного признания аннексии, и русское правительство принуждено было подчиниться [3].

Так закончилось это дело. Каков был его исторический смысл? Была ли аннексия Боснии и Герцоговины для Германии *только* средством нанести удар Антанте, доказать России жестоким уроком, что союзники ее не поддержат, что нужно идти не с ними, а с центральными державами? Конечно, нет. *Эта* цель была, но были и другие мотивы.

Ведь мы уже видели, что с 1898 г. мысль об экономическом утверждении на землях Турецкой империи сделалась, можно сказать, одной из главенствующих в германской политике. Начавшаяся с 1909 г. постройка Багдадской дороги успешно двигалась дальше и дальше, и этот факт повелительно требовал соответственных шагов на Балканах. В самом деле. Путь от Берлина до Багдада должен был всецело находиться либо в руках Германии, Австрии и Турции, либо дружественных им держав. Болгария *могла* быть другом, но вообще ее позиция в 1907—1909 гг. вовсе еще не была такой ясной, как начиная с 1913 г. Сербия была определенным врагом Австрии и поэтому другом России. Аннексия Боснии и Герцоговины обрекала Сербию на экономическую зависимость от Австрии и на будущее время, а также на политическое бессилие. Тот участок великого пути «Берлин — Багдад», который проходил по Балканскому полуострову, должен был быть обеспечен и с тыла и с флангов, а для этого Австрия вызывалась на активную балканскую политику, и Германия смотрела на свою союзницу как на прямое и естественное свое продолжение.

Разбитая пруссаками в 1866 г., преобразованная в 1867 г. на началах «дуализма», т. е. полной внутренней автономии двух основных частей — Австрии и Венгрии, эта «двуединая» австро-венгерская монархия долгое время обнаруживала неожиданную живучесть. Мечты Бакунина о полном разрушении Австрийской империи, мечты, с которыми он вошел в свою долгую тюрьму и с которыми из нее вышел, не исполнились на его веку. Еще в 1869—1870 гг. (до начала франко-прусской войны)

Франц-Иосиф носился иногда с мыслью о союзе Австрии с Францией и о новой борьбе с Пруссией. Но 1871 год решил дело. С тех пор Австрия думает о союзе с Германией как о единственном спасении от славянских восстаний внутри страны и от славянских нападений извне. Ее поддерживала тесная экономическая связанность отдельных частей, но и тут экономически развитые части, вроде Чехии, были в лучшем положении, чем многие другие, и могли считать себя экономически самостоятельными. Австрия, еще с 1879 г. вступившая в союз с Германией, за этот союз держалась очень крепко. Венгрия, управляемая землевладельческой аристократией, в интересах крупного землевладения круто теснила подчиненные ей славянские племена, и вследствие географического ее положения именно чрез нее Германия больше всего рассчитывала давить на Балканы. В Венгрии, не меньше, чем в Австрии, был развит страх пред русской опасностью, и политика австро-венгерской дипломатии (министр иностранных дел бы один, общий для обеих частей империи), поскольку она тяготела к Германии, всегда получала в Венгрии одобрение.

Был, правда, момент передышки в истории австро-русской вражды. Смуты в Македонии, где шло упорное революционное движение против Турции, длились долгие годы. Положение было крайне запутано не только потому, что македонцы хотели избавиться от турецкого владычества, но и потому, что одни из них тяготели к Сербии, а другие — к Болгарии. И вот тогда-то, в 1903 г., мелькнула как будто (на очень короткий срок) программа австро-русского замирения. Дело было в 1903 г., и момент был подходящий: русская дипломатия была стеснена обострением отношений с Японией, а в Австрии начали несколько тяготиться слишком уж назойливой опекой со стороны Вильгельма II и склонны были поэтому несколько смягчить отношения с Россией.

Граф Голуховский, бывший министром иностранных дел Австро-Венгрии в течение 11 лет (1895—1906 гг.), желал мира с Россией и некоторого освобождения Австро-Венгрии от влияния Германии. Но политика эта не увенчалась успехом. Правда, ему удалось заключить в октябре 1903 г. в Мюрцштегге соглашение с Россией о сохранении без перемен положения на Балканах (в Македонии), но последующие события разрушили это хрупкое здание русско-австрийской «дружбы». «Мюрцштеггская программа» предусматривала ряд реформ и мероприятий, которые Турция должна была проводить в Македонии под контролем иностранных держав. Мюрцштеггское соглашение ни к чему реально не привело, и македонский вопрос продолжал оставаться нерешенным. А с 1907 г. отношения великих держав, поделенных на Тройственный союз и Антанту, приняли такой

характер, что уже и речи не могло быть о совместном давлении на турецкое правительство.

Отныне Турция была для Австрии и Германии главным, самым верным другом на Балканском полуострове.

После аннексии Боснии и Герцоговины, конечно, также речи не могло быть и о независимой от Германии политике Австро-Венгрии. Но, со своей стороны, и в Германии понимали отчетливо, что союз с Австрией абсолютно необходим, и Вильгельм, очень много тогда говоривший, что он «секундант в блестящем вооружении» при Австрии, что у него «нибелунгова верность» (eine Nibelungentreue) относительно Франца-Иосифа и т. д., подобными заявлениями хотел лишь окончательно укрепить существующий факт. Уже в изгнании, в 1924 г., Вильгельм, вспоминая довоенные годы, говорил Альфреду Ниману, что Австрия была *единственным* союзником и что без нее Германии грозила полная изоляция. Но он же признал, что, раздираемая национальными противоречиями и враждой, Австрия никак не могла быть «полновесным союзником». Мало того. Именно после аннексии Боснии и Герцоговины Австрия привыкла (но об этом Вильгельм молчит, хотя этот факт вполне выяснен), даже не очень справляясь с германским правительством, брать на себя инициативу во всем, что касалось увеличения ее преобладания на Балканском полуострове. И Франц-Иосиф, и наследник престола эрцгерцог Франц-Фердинанд, и граф Берхтольд, бывший в последнее время министром иностранных дел, тоже хорошо понимали, до какой степени Австрия нужна Германии, и делали свои выводы. При этом, преувеличивая мощь своего «секунданта в блестящем вооружении», они проявляли такую смелость, о которой до аннексии Боснии и Герцоговины даже и речи не было. Опаснее всего было то, что Вильгельм не только не сдерживал австрийской инициативы в таких случаях, но всегда ее приветствовал: это было как раз то, что ему казалось нужным — ответственность не на нем, а на Австрии, он же поставлен пред совершившимся фактом, и тут уж ничего не поделаешь — нибелунгова верность вступает в свои права. А результат — дальнейшее внедрение Германии и Австрии на Балканском полуострове. Вильгельм оправдывается теперь тем, что иначе Австрия попала бы под влияние короля Эдуарда VII, который уже делал тайные шаги, чтобы привлечь ее к Антанте [4]. Во всяком случае создавшееся положение грозило большими опасностями. Но пока ликование в империалистических кругах Германии и Австрии было полное: аннексия Боснии и Герцоговины казалась счастливым прологом к овладению (сначала экономическому) всем Балканским полуостровом, далее — всей азиатской Турцией.

Была ли достигнута другая цель? Ослабело ли сцепление

отдельных частей в Антанте? Конечно, нет. Тут и сомнений быть не может. Правда, ни Англия, ни Франция не только не желали воевать из-за Боснии и Герцоговины, но даже и дипломатически почти вовсе не поддерживали Россию, но именно после унижения и поражения, испытанного в 1908 г., и особенно в марте 1909 г., когда нужно было подчиниться ультимативному требованию Вильгельма и признать аннексию, русская дипломатия окончательно и бесповоротно перешла в лагерь Антанты. Образ действий Вильгельма II ставил пред Россией альтернативу: или безусловно подчиниться воле Германии, и притом без надежды на какое-либо вознаграждение, так как именно на Балканском полуострове и в Малой Азии упрочение влияния Германии и Австрии было одной из главных целей всей германской политики, и это подчинение непременно вызвало бы вражду с Англией, расторжение франко-русского союза, закрытие Парижской биржи для русских займов, полную изоляцию России, или же, напротив, окончательно слить свою политику с политикой Англии и Франции, окончательно сделаться звеном во враждебной цепи, окружившей Германию. Русская дипломатия выбрала второе. Этот выбор тоже таил в себе страшные опасности, но при существовавших условиях и тенденциях он был почти неизбежен. А помимо всего с каждым годом мысль о захвате Константинополя все больше выдвигалась на первый план в русской политике.

Барон Грейндль (бельгийский посланник в Берлине) выразил мнение дипломатов Тройственного союза, когда писал по поводу этого дипломатического поражения России, что «машина, выстроенная королем Эдуардом для обуздания Германии, потерпела неудачу при первой же попытке пустить ее в ход». Аннексия Боснии и Герцоговины важна со всемирно-исторической точки зрения именно как вторая по времени попытка расколоть Антанту. Барон Грейндль хоронил Антанту преждевременно. Если Антанте не удалось отстоять Боснию и Герцоговину, то и Германии не удалось расколоть Антанту. Напротив, отношения между Англией, Францией и Россией стали еще более близкими. И самое тревожное было то, что враждебность во всех трех странах против Германии стала сказываться гораздо более откровенно и часто.

Итак, после попытки 1905 г. разбить Антанту в Марокко, после попытки 1908—1909 гг. разбить Антанту в Боснии и Герцоговине германское правительство всякий раз видело, что и его дипломатическая полупобеда (на Алжезирасской конференции 1906 г.) и дипломатическая полная победа (подчинение России ультиматуму Вильгельма II 23 марта 1909 г.) одинаково не могли разрушить Антанту. Напротив, после 1905—1906 гг. Франция еще теснее сблизилась с Англией, после

1908—1909 гг. Россия еще теснее сошлась с Англией и Францией. Нужно было предпринять третью пробу. На пути, который выбран был германской дипломатией, остановки пока быть не могло. Ведь Антанта была вечной угрозой. За первыми двумя попытками должны были последовать новые и новые.

Ближайшая (третья) произошла в том же (1908) году, через несколько времени после того, как была опубликована декларация об аннексии Боснии и Герцоговины. Самый инцидент, послуживший непосредственно поводом, случился даже несколько раньше — в конце сентября 1908 г., но развитие его падает на октябрь и начало ноября. Это — так называемое «дело о дезертирах», тесно связанное с общим вопросом о французской политике в колониях.

2

Следует сказать, что Франция переживала в эти годы при первом министерстве Клемансо (1906—1909 гг.) время боевого выступления социальной реакции. Жорес назвал кабинет Клемансо «министерством социального консерватизма». В последующем изложении мы еще вернемся к этой эпохе, а пока отметим одну сторону дела, непосредственно сюда относящуюся. Если в чем-нибудь совершенно сходились как революционно и активно настроенные синдикалисты, так и парламентская фракция социалистической партии, руководимая Жоресом, то прежде всего в резко отрицательном отношении к колониальной политике правительства и особенно к тому слабо замаскированному завоеванию Марокко, какое велось с 1906 г. под флагом корректного выполнения постановлений Алжезирасской конференции. Не следует удивляться тому, что за все время существования Третьей республики, когда колониальная политика Франции отличалась такой необычайной активностью, когда захваты колоссальных территорий следовали за захватами, впервые со стороны социалистов возник определенный, резкий протест только по поводу Марокко. И завоевание Туниса в 1881 г., и завоевание Индокитая в 1884—1885 гг., и постепенное завоевание Конго и центральноафриканских владений (1880—1893 гг.), и завоевание Мадагаскара (1894 г.), и другие более мелкие экспедиции и завоевания проходили, правда, с жертвами (и иногда немалыми), но — за вычетом столкновения с англичанами в Фашоде в ноябре 1898 г.— ни разу все эти колониальные предприятия не грозили вовлечь страну в войну с какой-либо первостепенной европейской державой (да и конфликт в Фашоде уладился сравнительно очень быстро). Конечно, социалисты разных оттенков — они тогда еще не слились в объединенную социалистическую партию (Parti Soçialiste Unifié) —

при случае указывали, что народная кровь и деньги тратятся без нужды и пользы, что предпринимаются трудные экспедиции и избиваются туземцы, захватываются земли и эксплуатируются целые племена во имя обогащения кучки хищников, «акул» (les requins du capitalisme), во имя интересов биржи, экспортеров, в интересах более выгодного помещения капиталов и т. д. Было время, когда не только социалисты, но и буржуазные радикалы восставали против далеких колониальных походов. Так, тот же Клемансо яростно боролся в средине 80-х годов против Жюля Ферри, протестуя против экспедиции в Индокитай, затеянной Ферри; но тут одним из главных аргументов было еще и указание на опасность отвлекать внимание страны от германской границы, от «дыры в Вогезских горах», откуда всегда могло последовать новое немецкое нашествие. Но во всяком случае пока колониальная политика не грозила прямо европейской войной, протесты против колониальных предприятий не были никогда сколько-нибудь сильными, длительными и заметными во Франции.

Теперь, в 900-х годах, с марокккским вопросом все шло совсем по-иному. Впервые Франция столкнулась на почве колониального соперничества не с Англией, а с Германией, с которой у нее было столько счетов в самой Европе. Германские промышленные и торговые круги, германские биржевые деятели, стоявшая за ними всеми германская дипломатия ни за что не хотели отступить от марокккского дела. По идее Гольштейна, разделяемой и канцлером Бюловым, Марокко должно было стать той постоянной французской раной, притрагиваясь к которой, Германия могла влиять на Францию. У Германии были свои экономические интересы в Марокко. И братья Маннесманы и другие торговцы и промышленники из Германии всячески побуждали свое правительство энергичнее действовать против постепенно проводимого французского захвата. В 1905 г., как мы видели, дело дошло до угрозы войной; в 1906 г. прошла Алжезирасская конференция; в 1907—1908 гг. в Германии опять поднялись жалобы, что французы очень мало считаются с ограничениями, наложенными на них в Алжезирасе, и постепенно все же внедряются в Марокко. Тогда Жорес повел систематическую и энергичную кампанию против правительства. Его главный аргумент был тот, что рисковать из-за Марокко неисчислимыми жертвами новой войны с Германией — бессмысленное преступление. Синдикалисты со своей стороны повели антимилитаристскую пропаганду, мотивируя это тем, что единственная сила, которая может сдержать колониальных хищников и идущее за ними правительство Клемансо,— это страх всеобщей забастовки в момент мобилизации и страх революционного движения в войсках.

За этим движением в Германии внимательно следили. Решено было опять «притронуться к марокккской ране» и опять здесь испытать прочность Антанты.

Предлогом послужило следующее происшествие. Во французской Северной Африке существует с 1832 г. большой постоянный отряд (около 6 тысяч человек в мирное время), называемый «иностранным легионом». Формируется он из кадровых офицеров и добровольцев, принимаемых лишь по признаку пригодности к военной службе. Никаких при этом бумаг, рекомендаций не требуется, никаких справок не наводится, и человека только спрашивают, под какой фамилией он желает числиться. Жизнь в легионе довольно тяжелая, условия службы трудные, опасности постоянные, дисциплина самая жестокая, с обильным применением смертной казни. Влечет людей туда надежда после нескольких лет выслуги получить новые, незапятнанные бумаги, паспорт, начать новую жизнь; влечет также небольшое, но аккуратно выплачиваемое жалованье. С давних пор среди массы пришлого люда и иностранцев, заполняющих этот легион, значительный процент составляли именно немцы, и в Германии давно велась пропаганда против иностранного легиона.

В сентябре 1908 г. из иностранного легиона бежало несколько рядовых (дезертирство вследствие тяжелой службы и жестокой дисциплины там дело обычное). Дезертиры укрылись в доме немецкого консула в г. Касабланке (в Марокко). Спустя некоторое время консул решился переправить их тайком на немецкий пароход, но французские власти остановили их в порту, отбили от сопровождавших их чинов германского консульства и отвели в тюрьму. Возгорелось крупное дело. Сначала Вильгельм II потребовал безусловных извинений за оскорбление консульства, освобождения арестованных дезертиров немецкого происхождения (там были и другие) и т. д. Клемансо (глава кабинета) предписал министру иностранных дел Пишону не только отклонить всякие извинения, но еще требовать наказания германского консула за укрывательство дезертиров. После очень напряженных и ведшихся в весьма неприязненном тоне переговоров обе стороны согласились передать дело на разбирательство в Гаагский трибунал. Но Вильгельм II неожиданно уже после этого приказал германскому послу Шену явиться к Клемансо и требовать еще до решения гаагского суда освобождения дезертиров и следствия по поводу столкновения в порту, на предмет предания суду французских чинов, задержавших дезертиров. Клемансо отказал наотрез. Тогда посол Шен явился к Клемансо с сообщением, что ему велено либо немедленно требовать удовлетворения, либо вечером выехать из Парижа. Клемансо отказал вторично и столь же категорически.

Посол не уехал, и через некоторое время французское правительство было уведомлено, что Вильгельм согласился окончательно передать дело на гаагское разбирательство (которое впоследствии кончилось в общем в пользу французов). Несколько недель во Франции и Германии царило сильное беспокойство, которое рассеялось лишь в ноябре 1908 г., когда опасность войны исчезла. В начале февраля 1909 г. Франция и Германия подписали частичное между собой соглашение, или, вернее, декларацию, относительно Марокко: Германия снова признавала за Францией особые политические интересы в Марокко, а Франция объявляла, что она не будет противодействовать экономическим интересам Германии в этой стране. Туча опять временно рассеялась. Инцидент с дезертирами тоже не разрушил, а скрепил Антанту: как раз после того как Клемансо отказал германскому правительству в извинениях, к нему явились английский и русский представители и от имени своих правительств выразили сочувствие и полное одобрение его образу действий.

Именно с этого времени в германской прессе впервые заговорили о том, что не следует преувеличивать силы французского антимилитаристского течения. Неуступчивость Франции произвела впечатление. Опять речь пошла о неспособности и ошибках германской дипломатии. Беспокойство возрастало.

И как раз тогда разразился памятный политический скандал, который внезапно заставил Германию громко заговорить о том, о чем до тех пор многие там не хотели думать.

Глава IX

ГЕРМАНИЯ И АНТАНТА ОТ АННЕКСИИ БОСНИИ И ГЕРЦОГОВИНЫ ДО АГАДИРСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 1908—1911 гг.

1. Движение в Германии против Вильгельма II в ноябре 1908 г. 2. Вопрос об ограничении морских вооружений. Неудача переговоров. Последствия неудачи переговоров. 3. Захватническая политика французов в Марокко. Агадир. Последняя попытка разрушить Антанту

1

В ноябре 1908 г. произошло событие, которое публицист Максимилиан Гарден полушутя, полусерьезно назвал «ноябрьской революцией», не подозревая, что ровно через десять лет произойдет настоящая ноябрьская революция, которая в один день опрокинет трон Вильгельма и уничтожит монархию в Германии. Но если в 1908 г. ноябрьский взрыв негодования, прямо направленный против Вильгельма II, и не был революцией, то он представлял собой нечто совсем необычайное по силе и внезапности, а также по некоторому несоответствию внешнего повода прямым и отдаленным последствиям. Сразу почувствовалось, что дело идет не только об очередной бестактности (как бы в самом деле нелепа и вредна она ни была), совершенной Вильгельмом, а о том, что с ним желают рассчитаться по очень длинному накопившемуся за ним счету. В ноябре 1908 г., правда, *до полного* расчета еще не дошло (к величайшему несчастию для Германии), но Вильгельму припомнили многое. Припомнили и отставку Бисмарка, и провокационные речи против социал-демократии, и неудачу во всех попытках разрушить Антанту, и безрезультатность его внешней политики вообще, и личные непрерывные вмешатель-

ства в дипломатию, и непозволительную в государственном человеке болтливость. Характерно, что в этом общенародном (*ни один класс,* ни одна партия не стали на защиту Вильгельма) хоре осуждений, язвительных насмешек, негодования громче всех звучали голоса органов крупных промышленников, представителей торгового и банкового капитала, голоса людей, больше всего стоящих за «активную» внешнюю политику.

Дело в том, что в английской газете «Daily Telegraph» 28 октября 1908 г. появилась беседа Вильгельма II с корреспондентом этой газеты. До сих пор тайна, как ее пропустила цензура канцлера и министерства иностранных дел, куда она была своевременно представлена. По-видимому, они ее просто не прочли; это явствует из их довольно путаных объяснений впоследствии. В этой беседе Вильгельм жаловался на враждебность Англии к Германии (причем называл англичан взбесившимися мартовскими зайцами); хвалился своей дружбой к Англии; рассказывал, как он в эпоху бурской войны отклонил секретное предложение Франции и России о совместном выступлении против Англии, как он послал для лорда Робертса выработанный план скорейшей победы над бурами; намекал, что германский флот предназначен для действий в Тихом океане (т. е., значит, против японцев) и т. п. Не говоря уже о том, что многих возмутили эти признания относительно времен бурской войны, так как при свете этих признаний известная поздравительная телеграмма Крюгеру в 1896 г. являлась настоящей, обдуманной провокацией, но можно было опасаться сильного ухудшения в отношениях с Японией. Наконец, разоблачение тайных переговоров с Россией и Францией в прошлом, естественно, должно было затруднить впредь всякий доверительный подход к Германии со стороны любой державы. Словом, вся эта беседа была крайне вредна для престижа и интересов Германии.

В первые дни ждали опровержения по существу, указания на то, что беседа выдумана корреспондентом. Но когда убедились, что беседа подлинная, тогда и разразилась, как сказано, буря и в прессе, и в парламенте. «Возбуждение, возникшее теперь, длительно и велико,— заявил в рейхстаге представитель консервативной партии,— несправедливо было бы связывать его исключительно с последними сообщениями. Здесь дело идет о неудовольствии, которое накапливалось годами даже в тех кругах, у которых никогда не было недостатка в верности к императору и империи». Точь-в-точь то же самое говорили социал-демократы и все промежуточные партии. Единодушие было полное и в самом деле изумительное. А главное все-таки — при всей нелепости этой беседы с корреспондентом английской газеты, слишком уж велика (и необъяснима одним этим фактом)

была обрушившаяся на Вильгельма гроза. Никто решительно не стал на его сторону. Только тон варьировался: у социал-демократов преобладали язвительность, ирония, сарказм; у буржуазных радикалов и либералов — тоже насмешка, но более смягченная, и указания на недопустимость дальнейшего «личного режима» и безответственных действий императора; у консерваторов — гнев и чувство горького разочарования, долго сдерживаемого и скрываемого. Они говорили об ударах, которые наносятся монархическому принципу самим же носителем короны.

Осуждение было всеобщим и в Германии, и за ее пределами. Впрочем, я нашел *одно* исключение: русского посла в Берлине графа Остен-Сакена. Вот что мне привелось вычитать в его *доверительном донесении Сазонову*, писанном не в 1908, а в 1910 г., по поводу одного социал-демократического запроса: «Сознание совершенной два года тому назад умеренными партиями непростительной ошибки, когда под влиянием слепо увлеченного общественного мнения даже бывший канцлер не нашел перед парламентом слов защиты для ограждения своего монарха,— подготовило ныне иную почву для обсуждения интерпелляции социал-демократической партии» [1]. Но, кроме этого запоздалого на два года и очень уж конфиденциально высказанного сочувствия русского посла, никаких иных симпатий германский император не возбудил. Остен-Сакен оказался тут несравненно более крепким германским монархистом, чем все германские монархисты с канцлером Бюловым во главе.

Вильгельм сильно и сразу оробел. Он до того испугался, что, как рассказывает в своих записках гофмаршал Цедлиц-Трютцшлер, приказал своему камердинеру телефонировать канцлеру Бюлову, что он отказывается от престола. До этого дело не дошло (камердинера адъютанты не допустили до телефона), но Вильгельм беспрекословно согласился подвергнуться очень большому унижению: 17 ноября (1908 г.) канцлер князь Бюлов заявил в весьма определенных выражениях в заседании рейхстага, что «глубокое возбуждение и болезненное сожаление, вызванные опубликованием этой беседы» (с сотрудником английской газеты) побудят его величество «впредь даже в своих частных разговорах придерживаться той сдержанности, которая необходима для единообразной политики и для авторитета короны». Не довольствуясь этим, Вильгельм поспешил еще на другой день после этого обещания опубликовать, что он считает «своим важнейшим императорским долгом обеспечить устойчивость политики империи при соблюдении конституционной ответственности» и что он «поэтому одобряет объяснения имперского канцлера в рейхстаге и уверяет его в своем продолжающемся доверии к нему».

Буря в печати и в рейхстаге после этих униженных извинений и обещаний улеглась. Но впечатление и воспоминание уже никогда не могло изгладиться. Император после ноября 1908 г. стал выступать с речами гораздо реже, чем прежде, говорил меньше, избегал сенсационных тем и очень уж громких слов, стал больше помалкивать о божественном происхождении своей власти, ни слова уже не говорил о верховенстве своей воли, обо всем том, о чем он всю жизнь так любил говорить. Вся эта история лишний раз показывает, до какой степени нелепо говорить, что рейхстаг был «бессилен» добиться парламентаризации государственного строя или иных способов дальнейшего ограничения императорской власти. Рейхстаг всего мог бы добиться, *если бы* захотел. Но он не хотел, т. е. собственно, кроме социал-демократов и, быть может, еще нескольких человек из левых буржуазных партий, никто в рейхстаге не хотел настоящего уменьшения монархической власти, так как считалось, что она может пригодиться для борьбы против социал-демократии. Там, где рейхстаг в самом деле чего-нибудь *хотел*, он добивался всегда и всего. Вильгельм II в ноябре 1908 г. доказал своим поведением, что он не в состоянии оказать даже и тени сопротивления, когда видит против себя настоящий гнев, настоящую волю, и что нет предела его готовности пойти на любое унижение, если этим можно отвести от себя грозу. С удивлением прочли в Европе, что император всецело и торжественно путем особого сообщения одобрил *все*, что сказал канцлер в рейхстаге, а ведь в этой речи Бюлова были, между прочим, и такие слова: «Я ручаюсь, что это (т. е. словоохотливость императора — *Е. Т.*) больше не повторится и что будут для этого приняты все требуемые меры, без несправедливости, *но и не считаясь ни с какими лицами*». И на такое публичное унижение шел монарх, двадцать лет перед этим твердивший, что он ответственен только перед богом и что его воля должна быть выше всего, и что он — «единственный господин» в стране.

Но была одна сторона во всем этом происшествии, которая особенно важна для понимания дальнейшего. При всех дефектах интеллектуальной организации германского императора у него нельзя отнять одной способности, тесно связанной с могуче развитым в нем чувством самосохранения: он необыкновенно быстро угадывал, чего именно требует в данный момент та сила, к которой выгоднее всего приспособиться ему лично. А в данном случае все было довольно ясно. Уже по тому, *кто* именно больше всего на него негодовал, он мог сообразить, *чем* именно он не угодил; тем более, что вся империалистически настроенная пресса, т. е. большинство всей буржуазной печати, не делала из этого особой тайны. От него требовалось больше энергии во внешней политике, от него требовалось «не похоронить буду-

щее германского народа», т. е. от него ждали шагов, которые обеспечили бы будущее германского капитализма, колонии за морем, политику экономического захвата Турции, ждали подготовки борьбы с Антантой, которая, в самом деле, стояла угрозой пред Германией, новых и новых попыток разрушить Антанту, которая «застилает солнце» германскому народу. Это писали те, кто его только что беспощадно прижал к стене и унизил и кто мог с ним это сделать снова и снова. А некоторые социал-демократы писали, что развитие германского капитализма полезно и для германского рабочего класса и что нужно противодействовать захватам Франции и Англии. Что есть еще и *другие* социал-демократы, которые пишут и говорят о старой революционной программе, это он тоже знал, по с ними можно было пока не считаться, они были в меньшинстве, и их голос не был так слышен. Вывод был сделан. Он был сделан очень услужливо пангерманской прессой, которая в 1909—1911 и следующих годах усвоила себе тон резкой оппозиции правительству и императору за его трусость пред Антантой, за его «миролюбие» и уступчивость. Этот тон после ноябрьской истории 1908 г. стал принимать все чаще оттенок личных выпадов против Вильгельма. Довольно прозрачно намекали изредка, что нападают на личность монарха, а не на принцип монархизма. и что если кто не может быть вождем своего народа в борьбе за «место под солнцем», тот должен уступить престол достойнейшему (т. е. кронпринцу).

Такова была политическая атмосфера в Германии, когда вдруг с английской стороны последовало приглашение по обоюдному соглашению сократить постройку военного флота в Германии и в Англии. Трудно представить себе менее благоприятный момент для того, чтобы делать подобные предложения Германии, чем именно эти 1908—1910 гг. Провал этих попыток был предрешен. Рассмотрим, чем они были вызваны и при каких именно условиях потерпели неизбежный крах.

2

Англия именно в эти годы переживала, как мы уже говорили выше, в своем месте, период сложного и очень дорого стоящего нового социального законодательства; вырабатывались обширные мероприятия по страхованию от болезней, на случай необеспеченной старости, от несчастных случаев, безработицы; подготовлялось и проводилось законодательство, имевшее в виду выкуп части владельческих земель; продолжалось и углублялось проведение аграрной реформы в Ирландии.

Даже непосредственные, ближайшие расходы были огромны. Приведем только один пример. Одним из наиболее важных,

в принципиальном отношении, из этих социальных законов был закон о страховании стариков. Согласно этому закону в его первоначальной фазе, каждый английский подданный, достигший 70 лет и не имеющий средств к существованию, имеет право на получение из казны 5 шиллингов в неделю ($2^1/_2$ рубля приблизительно). Другой закон — страхование на случай болезни и на случай безработицы — прошел с очень большими трудностями, так как, кроме жертв со стороны казны, он требовал еще жертв и со стороны работодателей, а также известной доли взносов со стороны рабочего класса. Эти законы, однако, стали вообще возможны, и их финансирование могло быть обеспечено только вследствие введения Ллойд-Джорджем указанных выше новых доходных статей в его «революционном бюджете». Но и этих статей не вполне хватало, так как, чтобы прочно поставить только дело с осуществлением закона о стариках, Ллойд-Джорджу пришлось ассигновать с самого начала 9 миллионов фунтов; закон о страховании на случай болезни неимущих потребовал 4 миллиона, страхование от безработицы — 3 миллиона, расходы на постройку приютов (ночлежных и др.) — 2 миллиона.

А ведь другие расходы, предстоявшие непосредственно вслед за этими, были еще значительнее.

Громадные новые расходы должны были лечь на английский бюджет. При этих условиях произошло событие, которое грозило пасть на тот же бюджет очень тяжким добавочным бременем.

Уже с 1900 г., после принятия германским рейхстагом второй судостроительной программы, британское адмиралтейство потребовало увеличения кредитов и расширило свое судостроение. Конечно, английский флот был пока несравненно могущественнее немецкого. В 1902 г. британское адмиралтейство ввиду огромного развития деятельности немецких верфей стало подтягивать в территориальные воды суда из отдаленных своих флотов. Но, во-первых, при колоссальных и разбросанных по всему земному шару владениях Великобритания не может уж очень усиливать это сосредоточение, а во-вторых, Германия все более и более ускоряла темп постройки судов. В 1900 г. у Германии было 14 броненосцев высшего по тогдашнему времени типа, а у Англии — 47; в 1907 г. у Германии было 22 броненосца, а у Англии — 53. Но в ближайшем будущем предвиделись новые колоссальные постройки в Германии. Уже в мае 1908 г. у Германии было 24 броненосца, а у Англии — 51, на 2 *меньше,* чем в 1907 г., так как несколько судов были удалены за слишком старым возрастом. Конечно, Англия намерена была наверстать это уменьшение и продолжать дальше эту «гонку вооружений», но тут прибавилось одно новое условие, всецело

шедшее на пользу Германии: в сентябре 1906 г. в Англии был спущен первый дредноут; это событие имело колоссальное значение. Отныне сила флота должна была измеряться главным образом именно количеством дредноутов; весь прежний состав броненосных эскадр отходил на задний план. Выходило как будто так, что состязание начинается с *одного* пункта, а прежние преимущества английского флота над германским в расчет не идут. Это было не совсем так, но важно, что в морских кругах Германии появление дредноутов было учтено именно так и вызвало большое ликование. Предвиделись с обеих сторон колоссальные расходы при соревновании в деле постройки дредноутов.

Тогда-то британский кабинет и решил предложить Германии по взаимному соглашению и в целях экономии ограничить морские вооружения. Конечно, Англия при этом только выигрывала, потому что при подобном соглашении абсолютное владычество на море оставалось в ее руках. Германия же отказывалась тем самым от всякой мысли когда-либо увеличить свое значение на море.

Нужно сказать, что эта мысль могла возникнуть вследствие демонстративно любезного визита Вильгельма II в Англию, происшедшего после русско-английского соглашения.

Две вообще характерные для императора Вильгельма черты сказались очень скоро после подписания русско-английского соглашения: во-первых, стремление обнаружить любезность по отношению к врагу, если тот почему-либо внезапно усилился, и, во-вторых, нетерпеливое желание возможно скорее разъединить «хитрой» уступкой сговаривающихся неприятелей. И при этом «хитрость» часто поражала своей очевидностью, наивностью, даже детскостью. Что Эдуард VII выиграл крупнейшую ставку в своей длительной и обдуманно развертывающейся игре, что присоединение России к английской политике в самом деле ставит Германию, если не сейчас, то в недалеком будущем, в очень серьезное положение угрожаемой с трех флангов державы, это после августовского русско-английского соглашения 1907 г. было ясно. И вот Вильгельм 11 ноября 1907 г., спустя два с половиной месяца, высаживается в Портсмуте, говорит преувеличенно любезные речи (лорд-мэру Виндзора: «Мне всегда кажется тут, что я приехал домой!»; епископу Бойду-Карпентеру: «Я так, так рад, что я снова здесь!»), внезапно заговаривает с лордом Холдэном о Багдадской дороге и на заявление Холдэна, что англичанам нужно владеть южным участком дороги, что им нужен контроль над «воротами в Индию», отвечает: «Я дам вам ворота». А с другой стороны, когда, после доклада Холдэна, министр иностранных дел Грей доводит до сведения Вильгельма, что неудобно сговариваться о Багдад-

ской дороге вдвоем, без России и Франции, Вильгельм отвечает, что привлечение этих двух стран создаст затруднения. Мысль поссорить таким путем Англию с ее обеими союзницами была так прозрачна, что, конечно, ничего из этого дела выйти не могло, и все эти переговоры были вскоре оставлены.

Но разговор о приостановке военного судостроения не был оставлен. Английский бюджет должен был усиливать расходные статьи на флот, пока в Германии соглашались на подобные жертвы.

Еще в 1900—1905 гг. морской бюджет Германии был равен приблизительно 185 миллионам марок; в 1906 г. правительство потребовало 310 миллионов. На очереди дня стояла, во-первых, усиленная постройка дредноутов, во-вторых, расширение Кильского канала настолько, чтобы облегчить проход наиболее глубоко сидящих судов. В 1907—1909 гг. грандиозное судостроение продолжалось. Английский кабинет предпринял тогда первую попытку ограничить по соглашению с Германией морские вооружения обеих стран. Это ограничение оставляло Англию в выгодной позиции; состязание прекращалось, и Германия лишалась надежды изменить в свою пользу существующее пока, всецело выгодное Англии, соотношение сил. Но роковым заблуждением со стороны фон Тирпица, Бюлова и самого Вильгельма было думать, что достаточно разоблачить это лицемерие англичан. Этого было недостаточно. Разумеется, при обусловленном ограничении дальнейших вооружений, Англия оставалась на первом, а Германия — на втором месте и уже без надежды на видоизменение этого порядка. Но разве была хоть тень надежды, что Англия когда-нибудь позволит Германии занять первое место? И разве была для Германии возможность рассчитывать, что, содержа огромную армию, она в состоянии будет тратить столько же на флот, сколько тратит Англия, для которой флот — почти все, армия же почти ничего? Разумеется, в корректном с внешней стороны предложении Англии скрывалась угроза. Но вопрос был лишь в том, выгоднее ли считаться с этой угрозой, или ею пренебречь. Решено было пренебречь. Министр Холдэн съездил в Берлин и вернулся ни с чем: германское правительство отклонило переговоры об ограничении морских вооружений. Глава британского кабинета снова (в марте 1907 г., в «Nation») открыто высказался за подобное соглашение с Германией, но на это князь Бюлов заявил в рейхстаге (в апреле того же года), что подобные соглашения не могут иметь практического результата.

В 1908 г. фон Тирпиц провел в рейхстаге новый закон: он требовал уже не 310, а 445 миллионов марок на морское ведомство. В ответ на это новые, колоссальные кредиты были затребованы и получены британским адмиралтейством. Английское

правительство решило говорить очень внятным языком: было решено выстроить в первую очередь четыре дредноута в 1909—1910 гг., а «если правительство найдет нужным», то в 1911 г. начать строить еще четыре дредноута. Английский кабинет этим самым ставил Германию перед необходимостью либо, наконец, *согласиться на ограничение вооружений, либо считаться с перспективой* действительно крайне разорительной конкуренции. Одновременно решено было, не считаясь с колоссальными затратами, основать новую морскую базу в Розите, уже прямо, непосредственно и исключительно направленную против германских берегов. И тогда же состоялось соглашение с Францией, по которому французский флот должен был защищать британские интересы на Средиземном море, а главная масса броненосного английского флота была переведена из Средиземного моря в Немецкое.

В 1911 г. произошли события, о которых речь будет дальше: посылка «Пантеры» в Агадир, угрожающая речь Ллойд-Джорджа против германского вмешательства в марокккские дела, отступление Германии,— и в начале 1912 г. Англия решает снова возобновить разговор об ограничении морских вооружений. Лорд Холдэн снова отправляется в Берлин. Германское правительство поторопилось (за два дня до возвещенного заранее прибытия Холдэна!) потребовать у рейхстага ассигновки на три броненосца и несколько подводных лодок. Но лорд Холдэн решил говорить хоть о будущем, если уж он опоздал относительно настоящего (т. е. относительно программы 1912 г.). Однако ему было дано понять, что Германия склонна вступить в эти переговоры, если Англия заключит с ней общего характера соглашение, которое бы сводилось к обязательству Англии сохранять нейтралитет в случае войны Германии с Россией и Францией. Это уже вторично Германия делала попытку отвлечь Англию от России и Франции (в первый раз — в 1910 г.). Англия соглашалась на нейтралитет в случае, если Германия подвергнется нападению, но германское правительство требовало такой осторожной формулировки: «если Германия будет вовлечена в войну». На это англичане не пошли. Тогда лорду Холдэну было дано понять, что и разговоры об ограничении вооружений бесполезны.

Холдэн вернулся в Лондон ни с чем. Но ведь британский кабинет ничего не терял, продолжая свои попытки. С одной стороны, все-таки оставался шанс заставить Германию согласиться приостановить вооружения, с другой стороны, самые отказы Германии всякий раз раздражали в Англии широкие слои как буржуазии, так отчасти и рабочего класса, выявляли воинственные намерения германского правительства и (тоже всякий раз) облегчали британскому кабинету получение новых и новых кредитов. А кроме того, и в том же (1912) году первый лорд адми-

ралтейства Уинстон Черчилль заявил, что он хотел бы согласиться с Германией относительно установления так называемых «морских каникул»; Англия и Германия обязываются на один год, например, прервать постройку судов, можно и на полгода. Германия отказалась и от этого. Тогда Уинстон Черчилль то же самое предложение повторил в 1913 г. и снова натолкнулся на отказ.

Таков был финал этих переговоров.

Нужно сказать, что в общем тон переговоров был очень сдержанный и корректный, хотя и прорывались иногда зловещие ноты.

В августе 1908 г. происходил, например, серьезный разговор между Вильгельмом II и сэром Чарльзом Гардинжем (Hardinge). «Вы должны остановиться (в постройке новых судов — *Е. Т.*) или строить медленнее», — категорически заявил Гардинж. Вильгельм на это ответил: «Тогда будем сражаться, потому что это вопрос национальной чести и достоинства». Вильгельму крайне понравились его собственные слова. «С англичанами нужно всегда так обходиться», — с удовольствием поучает он Бюлова, передавая этот разговор [2].

Но разговор этот по своему тону был исключением. В общем до конца обе стороны старались сохранить любезный и миролюбивый тон.

Впрочем, с июля 1911 г. в успех переговоров уже никто, по-видимому, не верил, и продолжались они больше по инерции.

В середине 1911 г. произошло событие, которое, как молнией, осветило бездну, на пороге которой стояла Европа: была произведена четвертая и последняя попытка разрушить Антанту.

3

Эта попытка готовилась еще с 1909 г., когда начало выясняться, что французы не только никогда не уйдут из тех частей Марокко, которые так или иначе, под тем или иным предлогом им удалось занять, но что они будут неуклонно внедряться дальше и дальше, пока не захватят всю страну. И при Клемансо, бывшем у власти до 12 июля 1909 г., и при Бриане, кабинет которого правил Францией от июля 1909 г. до 27 февраля 1911 г., и при кратковременном министерстве Мониса, просуществовавшем всего 4 месяца, и при министерстве Кайо, которое составилось в конце июня того же (1911) года, продвижение французов в Марокко продолжалось, правда, с перерывами, но никаких не было признаков и даже намеков, что французы остановятся, не утвердившись во всей стране. Они это и понимали под специальным термином «мирное проникновение» (pénétration pacifique). С формальной стороны они мотивировали свое продвиже-

ние необходимостью защищать жизнь французских граждан, находящуюся в опасности вследствие каких-то беспорядков (о которых, впрочем, сведения поступали исключительно из французских источников). Султан марокккский Мулай-Гафид фактически покорился французам еще в августе 1908 г., получил от них заем в 101 миллион франков и отдал за это им все таможни, некоторые пошлины внутренние (на табак) и фактически — все прибрежные города. Но и с сухопутной границы (алжирской) французы неуклонно внедрялись в страну. Генерал Лиотэ (впоследствии долговременный наместник в Марокко, покинувший свой пост только в августе 1925 г.) изобрел по-своему любопытный метод действий: вторгаясь иногда ни с того, ни с сего. без всякого вызова, в Марокко со стороны алжирской границы, генерал Лиотэ, покоряя одно племя за другим, формулировал и одновременно оправдывал свой образ действий словами: «Нужно защищаться движением» (On se garde par le mouvement). А когда до него доходили нападки Жореса в палате, говорившего об опаснейшей новой колониальной авантюре, которую затеяли в своих интересах финансовые дельцы, а выполняют покорные им правительство и военные власти, то генерал Лиотэ оправдывался в своих непрерывных нападениях на марокккские племена другой формулой, также казавшейся ему очень удачной (судя по тому, что он ее часто пускал в ход): «Нужно показывать силу, чтобы не быть вынужденным ею пользоваться» (Il faut montrer la force pour n'avoir pas à s'en servir).

При этих условиях ничто не могло спасти Марокко от завоевания. Зависимость, в которую попал султан Мулай-Гафид, давала французам громадные выгоды: отныне их продвижения были вовсе не завоеванием Марокко, а только будто бы помощью законному государю Мулай-Гафиду против мятежных племен, причем самая помощь эта оказывалась Французской республикой по прямой просьбе султана. А по теории генерала Лиотэ, даже если племена и не взбунтовались еще против султана, то могут все же когда-нибудь взбунтоваться, и, как сказано, лучше наперед показать силу, «чем быть вынужденным ею пользоваться». Так дело обстояло уже в 1910 г. Весной 1911 г. из крупных центров Марокко оставались незанятыми французскими войсками только столица Марокко — Фес и города Мекнес и Рабат. И вот как раз оказалось весьма кстати, что около этих трех городов кто-то отчасти уже возмутился против Мулай-Гафида, отчасти же как будто кто-то подумывает возмутиться. 27 апреля 1911 г. Мулай-Гафид обратился к французскому правительству с просьбой об усмирении предполагаемых мятежников. Эта просьба встретила, как во всех без исключения прежде бывших аналогичных случаях, живейший отклик, так что уже 21 мая французская армия вошла в Фес, 8 июня — в Мекнес,

а спустя несколько недель был занят и Рабат. От самостоятельности Марокко оставалось одно воспоминание. Но тогда-то и разразился долго назревавший удар.

В Германии внимательно следили долгие годы за всем, что происходило в Марокко, и раздражение как промышленных кругов, непосредственно заинтересованных в этой стране, так и всей прессы, связанной с колониальными предприятиями, росло непрерывно. Теперь уже в Германии поняли роковую ошибку, совершенную в 1905 г., после отставки Делькассе, когда премьер Рувье предлагал Вильгельму часть Марокко (в виде «отступного»), а Вильгельм отказался и предпочел Алжезирасскую конференцию. Теперь германское правительство сообразило, что, будучи действительными господами в стране, французы без всякого труда обошли все дипломатические трудности и, возя с собой Мулай-Гафида, действуя якобы во имя охраны его прав и от его имени, они формально неуязвимы, тем более, что всякий раз, снаряжая экспедицию, строжайше предписывают ей блюсти «независимость и престиж султана» (инструкция такая была дана также и генералу Муанье, отряженному завоевывать Фес, Мекнес и Рабат). Выходило, что французы все-таки добились своего и притом без всяких пожертвований в пользу Германии хотя бы частью Марокко (на что они, как сказано, соглашались прежде, в 1905 г.).

Не только братья Маннесманы, самые крупные из всех германских концессионеров в Марокко, но и целый ряд других фирм и промышленных концернов неустанно жаловались на вялость и бездействие имперского германского правительства, которое позволяет французам издеваться над собой и над всем германским народом и т. д. Указывали на неспособность и нежелание лиц, управляющих империей, выступить с решительным заявлением, что Германия не потерпит, чтобы последняя еще незанятая (формально) никакой европейской державой часть земного шара перешла полностью в руки Франции. Канцлером империи был уже не князь Бюлов, ушедший 14 июля 1909 г., а Бетман-Гольвег, исполнительный бюрократ, лишенный каких бы то ни было дипломатических талантов, лишенный даже бойкого и быстро схватывающего ума князя Бюлова, одна из тех посредственностей, которыми окружал себя Вильгельм. Но статс-секретарем по иностранным делам был при нем Кидерлен-Вехтер, умный, беспокойный и деятельный человек, ни в грош не ставивший ни своего прямого начальника канцлера Бетман-Гольвега, ни, по-видимому (судя по вышедшей в свет в 1924 г. его переписке), самого Вильгельма. Кидерлен-Вехтер, узнав весной 1911 г. о предполагаемом походе на Фес, дал понять французскому правительству, что он плохо верит в тамошние беспорядки, которые нужно усмирять во имя законного госуда-

ря, Мулай-Гафида, и что вообще настала пора объясниться начистоту: если французы желают забрать Марокко, пусть забирают, но пусть дадут Германии хоть одну гавань на Атлантическом побережье Марокко, например, Агадир и прилегающий к нему гинтерланд. Французское правительство не нашло возможным пойти на эту компенсацию, предлагало сговориться о других компенсациях. И вообще оно медлило и тянуло. Тогда Кидерлен-Вехтер повлиял на канцлера и на императора в том смысле, чтобы решительным действием показать свое твердое желание на этот раз добиться компенсаций во что бы то ни стало.

1 июля 1911 г. германская канонерская лодка «Пантера» внезапно появилась в гавани Агадир (на западном берегу Марокко) и стала там на якоре. Каков был смысл этого поступка, как громом поразившего всю Европу? Впоследствии Кидерлен-Вехтер категорически заявил, что в его намерения вовсе не входило захватить Агадир, а просто он желал демонстрировать полную необходимость договориться с французами о компенсациях. Но ликование в пангерманской прессе было таково и толкование этого события было настолько недвусмысленным, что, конечно, в Европе с каждым днем все более укреплялось убеждение о непосредственном захвате части западного побережья Марокко немцами.

Впечатление во Франции было очень сильное. В социалистических кругах указывали на то, что игра с огнем принесла неизбежные результаты и что колониальные хищники втянули всетаки Францию в опасность войны с Германией. В прессе, зависимой от крупного капитала, советовали «соблюдать спокойствие» и выжидать дальнейшего развития событий, но об уступке Агадира Германии хранили глубокое молчание, а те, которые касались этого щекотливого пункта, объявляли, что на *эту* компенсацию соглашаться нельзя, ибо иметь немцев непосредственными соседями в Марокко было бы в высшей степени беспокойно и опасно. «Пантера» продолжала стоять в Агадире. Разрешения кризиса не предвиделось, общее напряженное ожидание возрастало с каждым днем. И вдруг выступила с прямой угрозой Англия.

В Англии все это происшествие с самого начала, когда только пришли первые известия о появлении «Пантеры» в Агадире, истолковывалось как новый удар по Антанте. Вильгельм II, доказавший французам в 1905 г., что Англия их не защитит в минуту опасности, и вынудивший отставку Делькассе, доказавший в 1908—1909 гг. России, что Англия ее тоже не защитит, и вынудивший признать аннексию Боснии и Герцоговины, пожелавший в октябре и ноябре 1908 г. на деле с дезертирами снова показать Франции, что Англия ей не поможет, но на этот раз

отступившийся от своих угроз и не решившийся на войну и во всех трех случаях все-таки не достигший коренной цели — распада Антанты,— теперь выступает в четвертый раз, смело бросая перчатку не только Франции, но и Англии. На этот раз Англия решила даже и не ждать, как поступит Франция, и приняла вызов. Выступление Англии в 1911 г. чуть-чуть не привело к тому, к чему привело выступление Австрии в 1914 г.

Дело в том, что неудача переговоров об ограничении морских вооружений в последние годы и оскорбила, и раздражила, и обеспокоила британское правительство. Уже на четвертый день после прихода «Пантеры» в Агадир английский кабинет министров был созван (5 июля) на совещание по этому поводу, и тотчас после заседания германскому послу было заявлено, что британское правительство заинтересовано в марокканском деле и что, пока оно не извещено о точных германских намерениях, до той поры оно будет держаться выжидательной позиции. Уинстон Черчилль, тогда бывший членом кабинета Асквита, говорит в своих мемуарах, что английское правительство продолжало после заседания 5 июля находиться в полной неизвестности: чего хочет Германия? Только ли компенсаций или войны с Францией [3]? На те или иные компенсации Англия дала бы свое согласие (хотя несколько ранее тот же Уинстон Черчилль указывает, что отдать Германии Агадир значило бы скомпрометировать важные для англичан морские пути). Но неделя шла за неделей, германское правительство не высказывалось, и в Англии окончательно складывалось убеждение, что дело идет именно о пробе сил, о намеренном вызове и запугивании. В недрах самого кабинета боролись два течения: одни стояли за миролюбивое отношение к делу, другие — за решительные действия. Канцлер казначейства Ллойд-Джордж колебался. Именно он считался и в Англии, и на континенте Европы приверженцем мира во что бы то ни стало; именно он стоял в центре того «социального законодательства», которое революционизировало бюджет; именно его оппозиции могли бояться премьер Асквит и министр иностранных дел Грей при слишком резком с их стороны образе действий против Германии. И вот, когда прошло три недели после прихода «Пантеры» в Агадир, а объяснений этого поступка со стороны Германии все еще не последовало, Ллойд-Джордж заявил своим товарищам по кабинету, что дело идет явственно к войне, что Германия умышленно игнорирует Англию, что Германия подвергает Францию испытанию и что нужно объявить публично, что «если Германия желает воевать, то она найдет Великобританию на противной стороне». Асквит и Грей всецело одобрили. В тот же день (21 июля 1911 г.) на обеде у лорда-мэра в Мэншьон-Гаузе Ллойд-Джордж произнес следующие слова: «Я бы принес большие жертвы, чтобы сохра-

нить мир... Но если бы нам навязали такое положение, при котором мир мог бы быть сохранен только сдачей той великой и благодетельной позиции, которую Британия завоевала столетиями героизма и успехов, если бы мир мог быть сохранен только при таких условиях, чтобы позволено было обращаться с Британией там, где затронуты ее жизненные интересы, так, как если бы она не принималась в расчет в совете народов, тогда я резко говорю, что мир, купленный такой ценой, был бы унижением, которое было бы невыносимо для такой великой страны, как наша». Эта речь была громом с ясного неба. Впечатление от этой речи было в Германии такое, что пред банками и сберегательными кассами огромными очередями стояли несколько дней толпы вкладчиков, поспешно берущих обратно свои вклады. Волнение и паника на бирже были неописуемы. В первый момент Вильгельм II и канцлер Бетман-Гольвег (который именно и был виноват в том, что три недели подряд не желал объяснить точно поступка с «Пантерой») решили, по-видимому, испытать, насколько весь британский кабинет стоит за Ллойд-Джорджем. Германский посол князь Меттерних явился в большом возбуждении через три дня к министру иностранных дел Грею и заявил такой резкий протест, что Грей сейчас же послал за первым лордом адмиралтейства, чтобы предупредить его, что «каждую минуту флот может подвергнуться нападению». Князь Меттерних жаловался на речь Ллойд-Джорджа, но Грей заявил, что «не считает совместимым с достоинством британского правительства» пускаться вообще в объяснения по поводу речи Ллойд-Джорджа после того, как само германское правительство позволило себе разговаривать с ним, Греем, в таком тоне. На этом аудиенция у Грея окончилась. Британский флот в тот же день получил соответствующие приказы быть в готовности.

Теперь Германия была поставлена лицом к лицу с необходимостью либо воевать (и воевать немедленно), либо уступить. Речь Ллойд-Джорджа была прямой угрозой и вызовом, а свидание Меттерниха с Греем еще усилило оскорбительность и преднамеренность этой угрозы. На германский вызов Франции Англия ответила Германии не менее резким и решительным вызовом.

Прошло еще несколько дней, и появились первые признаки отступления Германии. На этот раз катастрофа была избегнута. Имперское правительство на войну не решилось и вступило в переговоры с французами. Переговоры происходили в Берлине и велись Кидерлен-Вехтером с немецкой стороны и послом Камбоном — с французской. 4 ноября 1911 г. соглашение было подписано. Агадир был оставлен. Германия признала формально протекторат Франции над Марокко, а компенсацию получила в

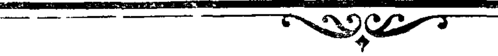
виде полосы французского Конго, примыкающей к германской колонии Камерун, в Центральной Африке. Французская колониальная партия была довольна результатом дела, но в Германии мнения резко разделились. Часть прессы (левобуржуазная и социал-демократическая) высказывала удовлетворение по поводу благополучного окончания грозного кризиса, внезапно грянувшего летом 1911 г., и склонна была утверждать, что полученная компенсация не так уж плоха, как о том говорят пангерманцы и приверженцы воинственной политики (а во главе их пресса, выражавшая взгляды крупной промышленности). Но пангерманцы и в той или иной степени сочувствующие им партии были возмущены соглашением 4 ноября 1911 г. Они утверждали, что полученная от Франции часть Конго представляет собой почти сплошные болота, что там свирепствует сонная болезнь, что это — нищая пустыня и т. д. Они говорили, что Германия давно не переживала такого унижения, как весь этот жалкий конец так решительно начатого «агадирского предприятия», что не следовало так пугаться угроз Ллойд-Джорджа и т. д. Заслуженный сановник и глава колониального ведомства Германской империи Линдеквист подал в отставку в знак демонстративного протеста против этого постыдного, по его мнению, окончания переговоров с Францией. Отдача Марокко французам, уж на этот раз отдача окончательная, формальная, и без надежды впредь получить там хоть одну пядь земли, больше всего возмущала и раздражала эти крупнокапиталистические круги и немалую часть средней и мелкой буржуазии. Да и в части социал-демократической прессы проглядывала иной раз ирония по поводу провала «агадирского» дела [4]. Правительство защищалось и старалось доказать, что оно сделало все возможное, чтобы оградить интересы Германии. Но была и другая сторона дела, относительно которой даже и споров быть не могло: попытка разрушить Антанту потерпела на этот раз такую полную, резко выраженную неудачу, как никогда еще до той поры. Сближение Англии и Франции после Агадира стало прогрессировать еще гораздо быстрее, чем до тех пор. Пресса Антанты усвоила себе после Агадира дразнящий, провоцирующий тон, страшно раздражавший Германию. Агадирское дело нанесло вообще европейскому миру новый и очень тяжелый удар.

Тот же германский посол в Лондоне князь Меттерних, которому пришлось, как сказано, выслушать такой враждебный ответ от Эдуарда Грея, спустя некоторое время, когда уже острота агадирского кризиса прошла, сказал Уинстону Черчиллю, в частной беседе: «Германию пытаются окружить со всех сторон и захватить ее в сеть, но она слишком сильное животное, чтобы ее можно было удержать в сети». Только тут, в интимной беседе, официальный представитель германского правительства откро-

венно высказал, тотчас после Агадира, что дело шло именно больше всего о том, чтобы резким движением разорвать накинутую сеть. Уинстон Черчилль на это возразил, что «как же можно поймать Германию в сеть, если у Германии есть союз с двумя первоклассными державами: Австро-Венгрией и Италией?» Конечно, эти слова уже тогда звучали иронией.

Прошло после этих слов всего несколько месяцев, и Италия заняла позицию, явно враждебную интересам как Германии, так и Австрии. Но нападение Италии на Турцию, как, впрочем, и вся дальнейшая история Европы после агадирского инцидента, непонятна, пока не выяснена истинная природа и характерные особенности ближневосточного вопроса в последние годы пред мировой войной.

Мы увидим, что если в марокканском деле Антанта и Германия своими действиями, как бы наперерыв и соревнуясь друг с другом, обостряли и приближали военную опасность,— то, пожалуй, еще в гораздо большей степени это их поведение сказалось в ближневосточных делах. Но тут на первом плане мы видим не столько Францию, Англию и Германию, сколько Италию, Австрию, Россию, Сербию.



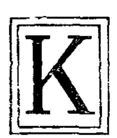
Глава X

БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЙ ВОПРОС ПОСЛЕ МЛАДОТУРЕЦКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

1908—1913 гг.

1. Историческое значение младотурецкой революции. 2. Война Италии с Турцией. 3. Война балканских государств с Турцией и война Сербии, Греции, Румынии и Черногории против Болгарии. 4. Последствия балканских событий для: 1) Германии и Австрии, 2) Италии, 3) держав Антанты

1



огда летом 1908 г. в Турции произошел переворот и вся полнота власти перешла из рук старого Абдул-Гамида в руки младотурецкого комитета, в Европе это событие было истолковано прежде всего как реакция национального чувства самосохранения против явных и близких опасностей, возникших для существования Турции вследствие англо-русского соглашения. Конечно, Англия еще не перешла тогда на платформу раздела Турции, и в этом отношении планы и фантазии некоторых публицистов, вроде Ноэля Бакстона, вовсе не являлись планами английского правительства. Но было ясно, что отныне Англия уже не хочет и не сможет так противодействовать попыткам захватов со стороны России, как прежде, в 1854—1855 гг. или в 1878 г., и именно потому, что Англии важно будет направить Россию против Германии и против ее новых интересов, связанных с Багдадской железной дорогой. Участь Персии, только поделенной на русскую и английскую «сферы влияния», стояла пред глазами турок, примкнувших к революционному движению против Абдул-Гамида.

Но в Европе многие круги безмерно на первых порах преувеличивали «моральную» высоту и политическую глубину

мышления младотурецких заговорщиков, так быстро и, казалось, легко низвергнувших старого деспота. Во французской прессе их сравнивали с вождями Великой французской революции, с итальянскими героями, вроде Мацци́ни и Гарибальди и т. д. У нас либеральная печать была полна приветствий и похвал, и одна большая и серьезная политическая газета («Речь»), рассказывая о революционном духе в школах, где учились будущие деятели младотурецкого переворота, писала: «Молодежь, воспитанная в этих школах, первая прониклась чувством стыда за ту роль, которую играла Турция в Европе. Особенно сильно проявляется это чувство после армянских убийств». Все это — одно сплошное, вопиющее недоразумение и незнание истинных фактов. Младотурки не только в 1915 г. истребили большинство армянского народа и *хвалились* этим, но они и в 1908 г. уже пришли к власти с этим твердым методом: разрешать национальные вопросы физическим истреблением *всех* национальностей, кроме турок и тех, кто согласится немедленно стать турком. Когда один из главарей младотурок, Энвер-паша, сейчас же после революции восклицал, что отныне «нет» болгар, «нет» греков, «нет» македонцев, «нет» арабов, а все «равны» и все «оттоманы», то он, в прямую противоположность сентиментальным домыслам европейских либералов, именно так и понимал дело: или все эти племена, живущие в Турции, станут турками и *поэтому* станут все «равны», или их *«нет»*, т. е. мы их вырежем, потому их «не будет». Прямым продолжением и реальным комментарием к этой речи Энвера в 1908 г. были слова его ближайшего друга и соратника Талаат-паши, истребившего вместе с Энвером $^2/_3$ армянского народа в 1915 г.: «Армянского вопроса уже больше нет, потому что армян нет».

Если брать (с некоторой натяжкой) европейские термины, то скорее всего младотурок по их программе и стремлениям можно было бы назвать представителями городской и особенно сельской мелкособственнической буржуазии: ремесленник, мелкий и средний торговец, крестьянин-собственник, крестьянин-скотовод — таковы элементы, на которые старалась, особенно вначале, опереться младотурецкая власть. Второй их опорой оказались представители иностранного капитала и лица, занятые в предприятиях торгово-промышленных, строительных и т. д., принадлежавших европейцам или в той или иной степени связанных с европейским капиталом. Вся эта экономическая сила надеялась на то, что с водворением младотурецкого режима европеизация Турции пойдет быстро вперед и будут созданы внешние правовые и бытовые условия, при которых иностранный капитал будет чувствовать себя свободнее и безопаснее в стране. Таковы были опоры, на которых хотел основываться младотурецкий режим. Немногочисленный богатый слой мусуль-

ман, после некоторых колебаний и выжиданий, убедившись в безнадежном провале Абдул-Гамида, тоже перешел на сторону победителей.

Если младотурки, творцы буржуазно-централистской революции, так неистово и беспощадно тиранизировали и истребляли греков и армян, среди которых именно и была сильна денежная буржуазия, то делали они это единственно потому, что и греков и армян (и болгар и сербов в Македонии) подозревали — и в этом подозрении нисколько не ошибались — в желании просто разрушить Турцию или оторвать от нее отдельные части территории, чтобы присоединиться вместе с соответствующими частями территории к Греции, к Болгарии, к Сербии, к будущей «Великой Армении». В беспощадной борьбе с инородцами младотурки видели единственное средство спасти Турцию от раздела.

Планы младотурок были по существу невыполнимы. Сохранить в своих руках все еще громадную империю без сколько-нибудь развитого денежного хозяйства они никак не могли; а угнетая и искореняя те народности, в исключительном распоряжении которых находились капиталы в стране, они подрывали денежное хозяйство Турции и уж становились в прямую и безусловную зависимость от иностранного капитала. В частности, возрастало и без того огромное значение промышленного ввоза из-за границы, со всеми последствиями для торгового баланса и для задолженности государства.

Таким образом, получался заколдованный круг: мероприятия, имевшие целью спасти Турцию от распада, способствовали окончательному и бесповоротному экономическому закабалению страны. Упрощенный метод разрешения трудных задач практиковался младотурками не только в области национального вопроса. «Социального вопроса в Турции не существует»,— заявили (и писали) они с первых же дней своего владычества. В Турции, конечно, был и рабочий класс, хотя и немногочисленный, и наблюдались полная нищета и правовая беспомощность рабочего класса в борьбе против эксплуатации, и жестокое ростовщичество, разорявшее деревню, и много других явлений того же порядка; но... «социального вопроса в Турции не существует», и на этом дело и кончилось в смысле каких бы то ни было социальных реформ. И так они распоряжались со всеми вопросами, которые им казались трудными. Собственно, они умели хорошо делать только одно дело — воевать, что и доказали если не в 1912 г., то в 1914—1918 гг. Больше они *ничего* не умели делать в области функций государства, и в этом смысле они, собственно, только продолжали турецкую национальную традицию. Они сумели низвергнуть сначала (в июле 1908 г.) военным переворотом власть султана, а потом, когда приверженцы султана

вздумали (13 апреля 1909 г.) устроить переворот, то младотурки мастерски подготовили контратаку, собрали в одну неделю армию больше чем в 20 тысяч человек и быстрым походом овладели Константинополем, где и водворились окончательно. Для них и управление сводилось прежде всего к удержанию за собой власти, а все остальное им удавалось плохо. Значение нового султана, посаженного ими взамен окончательно низложенного и заточенного Абдул-Гамида, сводилось к представительству, значение «парламента» — тоже только к представительству, а реальное всемогущество было в руках их центральной партийной организации «Единение и прогресс». Выдвинутые этим комитетом Энвер-паша, Талаат-паша, Мудхат-Шукри и другие отличались большой энергией, полной бестрепетностью и решимостью в самых неистовых массовых и индивидуальных избиениях, но интеллектуально не поднимались выше довольно ординарной восточной хитрости и узкого до наивности политического мировоззрения и кругозора. А между тем обстоятельства, с которыми им суждено было бороться, были в самом деле так страшно трудны, что с ними едва ли справился бы даже Наполеон, с которым очень любил сравнивать себя Энвер-паша, и Бисмарк, с которым льстецы сравнивали Талаат-пашу, попавшего из почтовых чиновников в великие визири. Свое политическое недомыслие и объясняемую этим безмятежную уверенность младотурки пронесли в неприкосновенности чрез все десятилетие, от своего триумфального воцарения в 1908 г. вплоть до того октябрьского дня 1918 г., когда поспешно бежали из Константинополя, оставляя за собой раздавленную английской пятой, истекающую кровью родину. Это полное, ничем и никогда не смущаемое самодовольство младотурецкой организации — по-своему очень любопытное явление.

Началось дело с Македонии, которая десятилетиями бунтовала против турецкого владычества, о которой тоже десятилетиями совещались великие державы, сочиняли проекты реформ и т. д. Младотурки разрешили проблему с полной отчетливостью и без малейших задержек. «Македонии *нет,* и никаких македонцев нет»,— повторили они то, о чем писали еще, когда сами были гонимыми эмигрантами. Есть турецкие граждане, живущие на том месте, где две тысячи лет тому назад была Македония. Вот и все.

Ответом могла быть только революция в Македонии и война Турции одновременно с Сербией и Болгарией (которые обе претендовали на части Македонии). Эта война и наступила, но дипломатическая ее подготовка заняла довольно много времени. Первый удар пал на младотурок не с этой стороны. Сигнал к нападению подала Италия.

2

С того времени, как 20 сентября 1870 г. войска, итальянского короля Виктора-Эммануила II вошли в Рим, бывший до того дня столицей папского владения — Церковной области, и объединение Италии закончилось, итальянское королевство довольно туго и медленно (особенно на первых порах) обзаводилось промышленностью. Италия не располагала ни собственным углем, ни собственной железной рудой, ни промышленными навыками и традициями, ни богатым внутренним рынком сбыта, ни фактическими возможностями вести последовательно запретительную таможенную политику, которая бы обеспечила ее промышленности монополию хотя бы на этом внутреннем рынке. Ссориться с Францией, Австрией, Англией и Германией на почве таможенных запретов она и не хотела и не могла решиться. После мимолетных покушений в этом смысле Италия всегда уступала. Несмотря на все это, промышленность в Италии все же, хоть сравнительно медленно, увеличивалась: низкая заработная плата удешевляла некоторые отрасли производства и обеспечивала сбыт. Во всяком случае промышленность в Италии возрастала не настолько, чтобы дать заработок и возможность существования тем десяткам, а иногда и сотням тысяч людей, которые ежегодно выбрасывались из сельского хозяйства неумолимым ходом экономической эволюции. В Италии разнообразные условия ее полуторатысячелетнего развития привели к двум диаметрально противоположным экономическим явлениям, которые одинаково способствовали кризису безработицы в сельском хозяйстве: на юге и отчасти в центре Италии распространены обширные латифундии, крупнейшие поместья, где либо развито скотоводство, либо работают арендаторы, либо батраки. А на севере, в Ломбардии, в Венецианской области, в Пьемонте, в Тоскане, Парме, Модене, отчасти в Романье, напротив, наблюдается неслыханная раздробленность земельных владений, доходящая до того, что «собственники» этих карликовых участков, работая со всей семьей, при всем усердии, живут очень скудно и иногда даже почти впроголодь. Если к этому прибавить, что в Италии жило до войны (берем последние годы) около 35 миллионов человек[1] на пространстве всего в 286 743 квадратных километра (вдвое меньше Франции, при почти равном количестве жителей) и что из этих 286 743 квадратных километров громадные пространства заняты болотами, которые лишь сравнительно недавно стали осушаться, а также горами, то для нас станет понятным, почему Италия ежегодно должна была лишаться сотен тысяч своих граждан, уезжавших в Америку и в другие страны искать себе пропитания. Вопрос об эмиграции деревенского пролетариата в тесной связи с вопросом о

недостатке земельной площади — вот социальная проблема, стоявшая в центре правительственных забот и общественного внимания уже с первых лет существования объединенного королевства. Итальянская эмиграция одним из потоков своих направлялась в Северную Африку, в Тунис и Триполитанию. Но Тунис в 1881 г. был захвачен французами, что вызвало в Италии серьезное раздражение против Франции и было толчком, побудившим Италию в 1882 г. примкнуть к Германии и Австрии (и составить с ними так называемый Тройственный союз). Триполитания же находилась под верховной властью турок, на войну с которыми Италия тогда не решалась. С другой стороны, мечты оторвать от Австрии две провинции, где сильно итальянское население (Триестскую область и Трентино), были немыслимы без опаснейшей войны с Австрией. А с тех пор как Италия оказалась «союзницей» Австрии (т. е. с 1882 г.), всякие мечты об этом приходилось до времени бросить.

В поисках мест для колонизации, а также и в поисках новых рынков сбыта для возрастающей все же промышленности, итальянское правительство, сильно поддерживаемое в этом направлении крупной, а отчасти средней буржуазией, затеяло было колониальную авантюру у берегов Красного моря и начало с захвата части побережья близ большого селения Массова. На первых порах, несмотря на несколько неудачных для Италии столкновений с Абиссинией, дело как будто пошло на лад, и основалась итальянская колония (Эритрея). Министерства то с более консервативным оттенком (например, Криспи — 1887—1891 гг.), то с более либеральным (Рудини — 1891—1892 гг., Джолитти — май 1892 г. — ноябрь 1893 г.), то опять с более консервативным (Криспи — 1893—1896 гг.) продолжали эту затею, пока не нарвались, наконец, на жесточайший отпор со стороны абиссинцев, земли которых они стали занимать самым неприкрытым способом, даже не трудясь мотивировать свой образ действий. Абиссинский правитель Менелик соединился с самостоятельным князьком Рас-Мангашей, и, после четырех второстепенных по значению и сплошь неудачных для итальянцев битв в 1895—1896 гг., 1 марта 1896 г. генерал Баратьери натолкнулся при г. Адуа на сосредоточенные силы Менелика, и итальянцы потерпели страшный разгром. Только паническое бегство врассыпную спасло остатки армии Баратьери. Не только итальянцы очистили все территории, которые они захватили, кроме сравнительно небольшого первоначального ядра, но еще уплатили контрибуцию Менелику. В Италии, где и без того было очень неспокойно как среди промышленных рабочих на севере, так и среди масс полуголодного фермерства и батрачества на юге и в центре, вспыхнуло сильнейшее брожение, и Криспи должен был уйти от власти. С тех пор о новых коло-

ниальных предприятиях итальянские министерства, сменявшие одно другое, уже не думали. Приходилось считаться с серьезными рабочими волнениями (в 1898 г.), борясь с ними то при помощи осадного положения и военных судов, то (со времени убийства короля Гумберта анархистом в 1900 г. и вступления на престол Виктора-Эммануила III) уступками — признанием права стачек, легализацией профессионального движения, некоторыми социальными реформами. Руководящим деятелем в правительстве (при разных кабинетах, а иногда и становясь во главе кабинета) делается с 1901 г. вплоть до мировой войны Джолитти, очень ловкий и талантливый либеральный оппортунист, искусно лавировавший между консервативным крупным землевладением и отчасти крупной буржуазией, либеральной средней (и частью крупной) и мелкой буржуазией и социалистической партией и старавшийся смягчить внешние проявления классовой борьбы как в городе, так и в деревне.

Он-то и решился после младотурецкого переворота отнять у Турции Триполитанию и Киренаику. Он был уверен, что, не говоря уже о буржуазии, и в рабочем классе, и в фермерстве, и в батрачестве его поддержат: речь шла о земле, сильно колонизованной итальянцами. Так и случилось. Напрасно социалистическая партия резко протестовала против новой затеи, вспоминала прежние неудачи, вроде Адуи. Рабочие массы не поддержали ее сколько-нибудь активно; мало того, на целом ряде митингов многие рабочие (считавшиеся и считавшие себя социалистами) высказывались в пользу этого затевавшегося завоевания. Дипломатически дело было подготовлено (втайне) уже давно: решившись на захват Марокко, Франция обещала не мешать утверждению Италии в Триполитании. Англия, со своей стороны, тоже дала понять, что согласна: ведь одна из целей короля Эдуарда VII заключалась именно в том, чтобы оторвать Италию от Тройственного союза и привлечь ее к Антанте, да и после его смерти (последовавшей в мае 1910 г.) эта политика со стороны Англии по отношению к Италии продолжалась неуклонно.

В сентябре 1911 г. Италия предприняла обширные военные приготовления для посылки экспедиционного корпуса в Триполитанию. 28 сентября великий визирь получил от итальянского поверенного в делах ультиматум с требованием в 24 часа дать согласие на занятие Триполи итальянскими войсками. Младотурецкое правительство было в безнадежном положении: Англия и Франция если не содействовали Италии, то наперед согласились не противодействовать. Германия и Австрия молчали, зная, что если они выступят против Италии с какими-либо протестами, Тройственному союзу придет конец, так как Италия немедленно из него выступит и, конечно, примкнет в той или

иной форме к Антанте. Значит, помочь не мог никто. Сопротивляться же итальянским войскам в Триполитании и Киренаике, куда турки даже не могли подвезти войска и припасы вследствие отсутствия у них военного флота (для охраны транспортов), было совершенно немыслимо. Итальянское правительство играло игру без всякого риска. 30 сентября Италия объявила Турции войну. Настоящей войны, конечно, не было; были незначительные стычки с слабыми партизанскими отрядами турок и арабов, но, конечно, о настоящем сопротивлении не могло быть и речи. 5 ноября 1911 г., итальянское правительство официально провозгласило аннексию Триполитании и Киренаики и уведомило об этом державы. Протеста, разумеется, ни с чьей стороны не последовало. Антанта желала приблизить к себе возможную новую союзницу. Германия и Австрия боялись потерять старую союзницу. Но младотурецкое правительство все-таки медлило заключить мир, полагая без особых дальнейших опасностей продолжать оставаться в состоянии войны с Италией и этим поддержать хоть немного свой престиж в глазах населения. Тогда итальянцы произвели (23 февраля 1912 г.) бомбардировку Бейрута (в Малой Азии). 18 апреля итальянская эскадра бомбардировала дарданелльские укрепления. Было еще одно обстоятельство, которое показывало младотуркам с каждой неделей все отчетливее, что нужно поскорее признать дело проигранным и мириться: петербургские вести все отчетливее и подробнее говорили о желании России либо стать на сторону Италии и устроить морскую демонстрацию перед Босфором, либо предложить общую конференцию для решения вопроса о проливах. 4 мая итальянцы высадились на Родосе и заняли его. Еще до того был занят остров Стампалия (между Аморгосом и Косом). Вскоре затем были заняты все двенадцать турецких островов на Эгейском море, так называемый Додеканез. Все эти меры (и новая бомбардировка дарданелльских фортов) все-таки не оказали решающего действия, и только, когда окончательно стало ясно, что Турции со дня на день грозит гораздо более опасная война со стороны балканских держав, младотурки решились заключить мир с Италией. 15 октября 1912 г. в Уши (в Швейцарии) были подписаны прелиминарные условия мира. Триполитания и Киренаика остались за Италией. Занятые острова должны были быть возвращены туркам.

В Германии, где с возрастающим беспокойством следили за нарастанием событий, клонящихся к разделу Турции, считали роковой ошибкой младотурок, что они целый год тянули дело, пока не заключили мир с Италией, так как именно за это время и успел сорганизоваться союз балканских держав, а кроме того, нападение этого союза на Турцию было сильно ускорено тем же обстоятельством: состоянием войны с Италией, в котором

продолжала находиться Турция. В этом была известная истина. Но, впрочем, едва ли что-нибудь уже могло спасти Турцию от нападения со стороны балканских держав. Ошибки младотурецких правителей только ускоряли и облегчали начавшийся процесс расчленения Турецкой империи.

3

Создание союза балканских государств стало совершенно неизбежно с того момента, когда Италия так легко захватила Триполитанию. Самый же план такого союза занимал на Балканах умы с того времени, когда обнаружилось, что младотурки ровно никакой перемены в положение инородческих элементов внести не только не могут, но и не хотят, и что если вычесть фразеологию и дешевый внешний «европеизм», то их метод управления — чисто диктаторский произвол, а их программа разрешения национальных вопросов — в реальности — угнетение, в идеале — поголовное физическое истребление всех, не желающих стать турками. По крайней мере, как только это окончательно выяснилось, Болгария, Сербия, Греция сейчас же повели переговоры о Македонии.

На Македонию претендовали сербы, болгары и греки; все эти народности в течение многих лет никак не могли договориться относительно ее раздела. Еще сравнительно легче было согласиться относительно греческих стремлений, да греки и не притязали на большие территории. Но сербы и болгары, этнографически перемешанные в обширных областях Македонии, долго не могли ни на чем покончить. Впрочем, и дело представлялось терпящим отлагательство вплоть до той поры, когда Италия подала сигнал к разделу Турции.

Обе страны, и Сербия и Болгария, живут прежде всего земледелием и скотоводством, и для них экономически вопрос о Македонии был прежде всего вопросом о новой пахотной земле и новых пастбищах. Но были еще и другие экономические побуждения, делавшие борьбу за Македонию и турецкие земли очень острой: для Сербии приобретение Салоник было равносильно выходу к морю, в чем так нуждались экспортеры сербского скота и сырья, а на Салоники претендовали как раз греки. Для болгар и сербов было, кроме того, важно овладение Македонией как страной, соединяющей турецкий восток с Центральной Европой. Во всяком случае все эти будущие трудности раздела отступили на задний план, когда в 1912 г., при близком участии русской дипломатии (русского посланника в Сербии—Гартвига) [2] стали вестись, или, точнее, оживились, тайные переговоры о создании общего союза балканских держав против Турции с целью прежде всего отнять у турок Македонию.

За сербами стояла Россия, за Россией — вся Антанта, *хотя* ни Франция, ни Англия тогда, в 1912 г., воевать из-за балканского вопроса не собирались. Сербия, непосредственно граничащая с Австро-Венгрией, долгие десятилетия находилась под ее экономическим и политическим влиянием. И когда в 1903 г. офицерский заговор покончил с королем из династии Обреновичей Александром и его женой Драгой, и на престол, освободившийся после этого двойного убийства, вступил претендент из старой династии — Петр Карагеоргиевич, то вовсе не сразу изменилась ориентация Сербии. Только после создания Антанты и сближения Антанты с Россией Россия в глазах сербов сделалась способной составить противовес Австрии на Балканах. Следует заметить, что еще до официального присоединения России к Антанте Антанта успела экономически укрепиться в Сербии. Дело началось с сербского займа на Парижской бирже в 1906 г., за которым последовал в 1909 г. и второй. С 1908 г. французские капиталы хлынули в разные горные предприятия, в разведение шелка-сырца, в организацию экспорта скота. Основался в Белграде франко-сербский банк (со сплошь французскими капиталами; сербских не было и в помине), с каждым годом французский капитал все более и более занимал командные высоты в сербской экономической жизни. С Австро-Венгрией Сербия начала вести таможенную войну, которая кончилась почти полным изгнанием с сербского рынка целого ряда категорий австро-венгерских фабрикатов. Сбыт скота в Австрию также уменьшился; турки находили выгодным позволять сербам пользоваться Салониками для морского вывоза в Англию, Францию, Италию. Аннексия Боснии и Герцоговины Австрией окончательно бросила Сербию в объятия Антанты и сделала ее смертельным врагом Австрии: как было уже указано выше, сербы считали эти две провинции своим бесспорным историческим наследством. В 1910—1912 гг. русское влияние в Сербии все увеличивалось. Добыть себе, с одной стороны, часть Македонии, с другой стороны, когда-нибудь заполучить Боснию и Герцоговину Сербия могла надеяться только при помощи Антанты и прежде всего — при помощи России. В свою очередь, для Антанты Сербия была плотиной, затрудняющей экономическое поглощение Турецкой империи германским капиталом и политическое утверждение Австрии и Германии на Балканах. Именно поэтому Болгария склонна была смотреть на Антанту как на враждебную себе силу. Разделить Македонию к обоюдному удовольствию ни Сербия, ни Болгария не надеялись. Значит, уж поэтому Болгарии приходилось искать себе других покровителей. Таковыми явились Австрия и Германия. Болгария была издавна очень тесными финансовыми узами связана с Австрией и Германией; экономические связи (в широком

смысле слова) тоже были у болгар более всего развиты именно с Австрией и Германией. От усиления Германии на Востоке, от Багдадской дороги, например, Болгария прямо и непосредственно выигрывала, так как она оказывалась одним из участков этого великого пути Берлин—Багдад. А главное — в полную противоположность сербам — у болгар не было никаких счетов и претензий к Австро-Венгрии, и вражда с ней была бы для них ни на чем не обоснованной, абсурдной фантазией, от которой они могли все потерять и ничего не выиграть. России они очень боялись и не только потому, что она покровительствовала сербам: постоянные замыслы России относительно Константинополя серьезно их беспокоили. Оказаться соседом России значило бы для Болгарии утратить всякую независимость. Были, конечно, в Болгарии и другие, более доверчиво относившиеся к России течения политической мысли, но начиная с середины 80-х годов XIX в. большинство было настроено относительно русских военных видов в высшей степени настороженно и недоверчиво. Тем не менее в России до последнего момента не теряли еще надежды привлечь Болгарию на свою сторону.

В 1912 г. в русской политике наблюдалась некоторая нерешительность. Одни — очень немногие — стояли за сохранение мира на Балканах, другие — за «разрешение» балканским государствам напасть на Турцию, третьи — за всяческое содействие этому нападению.

9 октября Черногория, а 17 октября (1912 г.) Сербия, Болгария и Греция объявили Турции войну. Оба враждебных лагеря европейских великих держав не скрывали, что они на эту войну смотрят как на событие, которое никак не должно изменить их стремлений на Балканах. В России круги, националистически настроенные и близкие к придворным сферам, снова вооружились старыми славянофильскими лозунгами, говорили о кресте на храме св. Софии в Константинополе и только боялись, как бы этот крест не водрузили болгары, войдя в столицу Турции. А в Австрии официозный орган австро-венгерского министерства иностранных дел, венская газета «Neue Freie Presse», тогда же, в октябре 1912 г., писала: «Австро-Венгрия должна завоевать Балканы с экономической точки зрения». Нечего и говорить, что тут разве лишь «для краткости» были пропущены слова: «и Германия». При такой категорической непримиримости воззрений нет ничего удивительного, что, не будучи пророками, очень многие публицисты и государственные деятели предсказывали тогда же, осенью 1912 г., что начинающееся кровопролитие является лишь как бы предисловием к катастрофе, несравненно более страшной, и это — независимо от результатов данного столкновения.

Уже с первых недель войны выяснилась полная невозможность для Турции отстоять Македонию. Победоносное продвижение сербской и болгарской армий, поддержанное греческой угрозой (и вторжением) с юга, подвело союзников к Чаталдже, где сопротивление турок оказалось более значительным, чем того ждали. Но это сопротивление могло только спасти Константинополь, Македония же была потеряна безвозвратно. Вожди младотурок (особенно члены комитета «Единения и прогресса» — Гуссейн-Джахит-бей, редактор газеты «Танин», Измаил-хаки, Талаат-бей — будущий Талаат-паша) частью бежали из Константинополя, частью скрылись в самом городе. В ноябре наступила развязка. Греки вошли в Салоники, сербы взяли Монастырь, болгары не прекращали упорных боев у Чаталджи и осадили Адрианополь. Великие европейские державы (обоих лагерей — и Тройственный союз, и Антанта) предложили обеим сторонам — Балканскому союзу и туркам — свое посредничество: великим державам казалось по разным причинам еще невыгодным вступить в дело и начать теперь же главную «пробу сил». Нужно сказать также, что их всех застал врасплох неожиданно быстрый успех балканских государств. Теперь уже давно выяснено, что Австрия и Германия, с одной стороны, Россия — с другой, ждали продолжительной войны и истощения обеих сторон. Быстрые и решительные успехи союзников обеспокоили как Австрию, видевшую усиление Сербии, так и Россию, встревожившуюся, как бы Болгария не сделалась первенствующей державой на Балканах. В конце концов истощенные турки пошли на все почти, чего от них требовали победители. Правда, Энвер-бей, человек большой воли, решимости, храбрости и инициативы (и абсолютно не стеснявшийся в средствах честолюбец), несколько задержал ход переговоров: он насильственным переворотом низверг правительство Киамиль-паши. Ему помогли в этом и те члены комитета «Единение и прогресс», которые вскоре приободрились: когда было (3 декабря 1912 г.) заключено перемирие, они перестали скрываться и снова стали играть роль. Переворот этот (23—24 января 1913 г.) ознаменован был, между прочим, тем, что военный министр Назим-паша и несколько его адъютантов были перебиты Энвером и другими заговорщиками. Но это было последней отчаянной попыткой отсрочить неизбежное. Перемирие кончилось, снова пошли бои около Чаталджи, в конце марта пал Адрианополь, и, наконец, мир был подписан 30 мая 1913 г. в Лондоне съехавшимися там представителями воюющих сторон. Болгария получила северную часть центральной Македонии, Фракию с побережьем Эгейского моря, Греция — Салоники и прилегающую к Салоникам Южную Македонию, Сербия — Юго-западную, Западную и часть Центральной Македонии. Черно-

гория получила сравнительно небольшой прирезок: г. Скутари, который, попав после осады (при помощи разных финансовых и дипломатических махинаций) в руки черногорского короля Николая, был у него отнят по решительному требованию Австрии и передан наскоро созданной великими державами «независимой» Албании.

В виде компенсации за огромные увеличения Болгарии граничащая с ней Румыния потребовала (и получила) г. Силистрию и часть болгарской территории, граничащей с Румынией. Болгария должна была на это согласиться, так как иначе Румыния грозила выступить против нее и испортить весь план кампании против турок.

Протест Австрии против присоединения Скутари к Черногории был так резок и решителен, что было ясно, что венский кабинет решится на все, лишь бы помешать этому завоеванию. Точно так же Австрия в течение всей весны 1913 г. вела дипломатическую кампанию против получения Сербией выхода к морю и тоже достигла цели. Чтобы загородить прочно Сербии выход к морю, была путем дипломатических соглашений между великими державами из приадриатической полосы, отнятой у турок, создана «независимая» Албания, которая расположена по берегу Адриатического моря и этим самым и в будущем должна была послужить барьером против Сербии. На албанский престол, будто бы по выбору и желанию населения, был посажен захудалый германский князь Генрих Вид, являвшийся, конечно, простым орудием Австрии и стоящей за ней Германии.

Так окончилась эта балканская война. Ей суждено было получить в истории название «первой балканской войны», потому что едва успели высохнуть чернила на перьях дипломатов, подписавших мир, как вспыхнула вторая балканская война: союзники не могли никак мирным путем разделить добычу.

4

Для Австрии и Германии слишком могущественные интересы как экономические, так и политико-стратегические связывались с балканским кризисом, чтобы они могли отказаться от мысли поправить свое положение, скомпрометированное войной балканских государств против Турции. Две центральные задачи были перед Австрией и Германией: 1) не позволить слишком усилиться Сербии и прежде всего не дать ей выхода к морю и не дать усилиться Черногории, тесно связанной с Сербией. Эта задача была для Австрии и Германии частично разрешена созданием независимой Албании и отказом отдать Черногории г. Скутари. 2) Вторая задача, логически связанная с

первой, заключалась в том, чтобы по возможности усилить за счет Сербии Болгарию, главный форпост австро-германского экономического и политического внедрения в Турецкую империю и одно из главных звеньев великого пути Берлин — Багдад. Создание сильной Болгарии не только ослабляло главного врага Австрии — Сербию, но и прикрывало Константинополь с суши от всяких покушений с русской стороны, так как делало невозможным повторение русского похода 1877—1878 гг. Наконец, уже в настоящем Болгария являлась страной, теснейше связанной с Германией и Австрией и в чисто экономическом отношении. Поэтому, когда уже в мае и в июне 1913 г., тотчас после мира с турками, стали обнаруживаться жесточайшие разногласия между Сербией и Болгарией относительно дележа Македонии, отвоеванной у турок, в Австрии и Германии следили с живейшим интересом за развитием конфликта, и вся поддержка оказывалась именно Болгарии. Что же касается Антанты, то здесь, строго говоря, единства воззрений не было. Уже весной 1913 г. между Францией и Россией не было полного согласия относительно Турции, хотя это несогласие наружно пока выражалось больше в прессе, чем в правительственных актах. Французы боялись разрушения Турции; из всех иностранных капиталов, вложенных в Турцию, больше 63% принадлежало французам. Выиграть от раздела Турции французы тоже никак не могли, по причинам и географическим и политическим. Поэтому во Франции были очень недовольны губительными ошибками младотурецкого правительства, приблизившими войну. Теперь, когда началась ссора из-за дележа добычи, французы решительно не желали вмешиваться в дело. Уже весной 1913 г., когда решался вопрос о Скутари, они определенно повели кампанию против черногорских притязаний. Что касается Англии, то она была заинтересована в балканских делах на этот раз больше всего с точки зрения усиления или ослабления германского влияния, но выступать вооруженно не собиралась и тоже заняла выжидательную позицию. В России Коковцов определенно был против военного выступления России; парижский посол Извольский (наиболее опасная пружина русской дипломатии в то время) видел, что Франция и Англия поддержки оказать не желают, и тоже примолк. Министр иностранных дел Сазонов теперь особенно, когда ему удавалось избавиться от давления со стороны Извольского, был еще пока за сохранение европейского мира. Поэтому, когда Австрия весной 1913 г. произнесла свое решительное вето относительно Скутари, то Антанта отступилась без спора и даже как бы с некоторой готовностью. По той же причине и теперь не было и не могло быть сделано шагов, чтобы удержать Болгарию от нападения на Сербию, хотя Антанта и очень не хотела дальнейшего усиления

14*

Болгарии, и без того необычайно расширившейся после победы над Турцией.

Но дела приняли такой оборот, которого положительно никто не ожидал: ни Болгария, ни Австрия и Германия, ни Антанта. Выступил новый фактор, решивший дело: как только Болгария 30 июня 1913 г. внезапно напала на Сербию, Румыния выступила против Болгарии, и (в этом-то и была главная неожиданность) очутившаяся между двух огней Болгария потерпела быстро и окончательно полное поражение. Румыния занимала в это время двойственное положение. Долгие годы она была хоть и не официально, но довольно тесно связана с Австро-Венгрией и Германией. Связь была не только экономическая (как и у Болгарии с теми же империями), но и политическая: поддержка Австрии и Германии была нужна как некоторая охрана от России, с которой граничит Румыния. Но, с другой стороны, расшириться Румыния могла только либо за счет той же Австро-Венгрии (где — в Трансильвании — был сильно представлен румынский элемент), либо за счет граничащей с ней на юге Болгарии. О Бессарабии, некогда присоединенной к России, в Румынии уже мало кто мечтал в те времена. Но и о Трансильвании мечтать не очень было возможно; оставалась Болгария. Огромное усиление Болгарии после войны с турками 1912—1913 гг. беспокоило, раздражало и смущало Румынию; компенсация, которую отдали болгары Румынии — г. Силистрия и территориальная полоса вдоль границы,— считалась очень уж недостаточной. Вот почему, когда Болгария напала на Сербию, чтобы еще на добрую четверть увеличить свои приобретения, то румынское правительство, не колеблясь, объявило всеобщую мобилизацию и пошло войной на Болгарию, не обращая внимания на все увещания Австро-Венгрии и Германии. С другой стороны, греки примкнули к сербам; выступила против болгар и только что побитая Турция. Уже спустя каких-нибудь восемь дней после своего внезапного нападения на Сербию кабинет Данева, управлявший Болгарией, и царь Фердинанд, принимавший деятельнейшее участие во внешней политике, поняли свою ошибку и обратились к России с просьбой взять на себя мирное посредничество. Но об этом нельзя было пока и думать. В половине июля турки перешли через новую границу Энос—Мидия и вторглись в болгарские пределы; сербы отбросили болгар, напавших на них, и перешли в наступление; румынская армия перешла Дунай и пошла на Софию; греки вторглись также в болгарские новые земли и заняли Каваллу. Вскоре после этого турки заняли потерянный было ими Адрианополь. Фердинанд, царь болгарский, поспешил обратиться к Румынии с просьбой о мире. Но Румыния согласилась только на общую мирную конференцию Болгарии со всеми ее победителями.

Ровно через один месяц после внезапного болгарского нападения на Сербию открылась конференция в Бухаресте (30 июля), а 10 августа 1913 г. был подписан воевавшими державами Бухарестский мир. Адрианополь перешел снова к Турции, как и почти вся Фракия. Кавалла перешла к грекам, сербы получили все спорные македонские территории и часть бесспорных, принадлежавших Болгарии, получили Нови-Базарский санджак, преграждавший центральным империям путь к Салоникам и к морю; Румыния получала новую и очень значительную прирезку территории за счет Болгарии, и новая граница должна была идти от Ольтеница до Черного моря. Особенно болезненно болгарами ощущались потери городов Кочана, Цетина и Радовича (в пользу Сербии), Адрианополя, Кирк-Килесе, Демотики (в пользу Турции) и (в пользу Греции) Кавалл. Кроме обширных новых территориальных приобретений, сербы получали превосходные со стратегической точки зрения исходные пункты на случай новой войны для вторжения в Болгарию. Пришлось также согласиться на тяжкие финансовые жертвы в пользу победителей. Правда, эти денежные жертвы фактически не успели реализоваться, когда вспыхнула мировая война.

Так кончились эти две балканские войны, только одним годом отделенные от начала великого общего побоища, если считать от 10 августа 1913 г., когда был заключен Бухарестский мир.

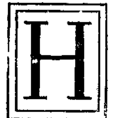
Постараемся теперь воскресить наиболее характерные и важные для объяснения будущих событий исторические черты этих последних лет европейского мира и начнем с анализа тех видоизменений, которые внесли балканские войны в положение обоих подстерегавших друг друга враждебных лагерей, на которые была в то время разделена Европа.

Глава XI

ТРОЙСТВЕННЫЙ СОЮЗ И АНТАНТА 1912—1913 гг.

1. Германия и Австрия от агадирского инцидента до конца балканских войн. Позиция Италии. 2. Франция и Россия в начале эры Пуанкаре. Франко-русские отношения в свете новейшей документации. Министерство Пуанкаре. Избрание Пуанкаре президентом Французской республики. 3. Англия. Неудача переговоров с Германией об ограничении морских вооружений. Внутреннее положение в Англии. Рабочее движение в 1910—1913 гг. Ирландские дела

1



Несмотря на частичные успехи, достигнутые, как мы видели, австрийской и действовавшей с ней заодно германской дипломатией в течение первой балканской войны, уже тогда, т. е. весной 1913 г., империалистические круги как Австрии, так и Германии обнаруживали глубокое недовольство и раздражение. Все-таки от европейской Турции остался почти один Константинополь, а Турция ведь рассматривалась как оплот для будущего экономического внедрения германской промышленности на всем Ближнем Востоке; все-таки Сербия выходила из войны очень увеличенной и окрепшей, а Сербия вела открыто враждебную политику против Австрии. Но вторая балканская война окончательно наносила тяжелый удар главным расчетам австро-германской политики. Правда, Турция отвоевала Адрианополь и почти всю Фракию, но зато Сербия усилилась в такой значительной степени, как она и не мечтала сама, а Болгария была урезана, потеряла значительную часть своих новых приобретений, и, кроме того, выступление Румынии и территориальные приобретения Румынии за счет Болгарии делали Болгарию непримиримым врагом Румынии, а Румынию это обстоятельство отрывало от Австрии и Германии и бросало в объятия Антанты.

Общий результат был (и, главное, казался) германским правящим классам так же, как и австрийским, серьезнейшей политической неудачей.

И вот, началось (или, точнее, оживилось, ибо оно и раньше — уже с 1906 г.— сильно практиковалось) подведение старых и новых итогов в германской прессе. Внешним поводом для этого был исполнившийся в 1913 г. двадцатипятилетний юбилей правления Вильгельма II. Конечно, не внутренняя, а внешняя политика интересовала в 1913 г.— да и раньше — германскую буржуазию в ее разнообразных слоях, и внешняя, а не внутренняя политика озабочивала также социал-демократию. В социал-демократических руководящих кругах прекрасно понимали, что дело близится к вооруженному столкновению Германии с Антантой, и было ясно только одно: главная масса рабочих, если не весь рабочий класс целиком, пойдет на войну безусловно, и социал-демократия не только его не удержит, но будет еще, пожалуй, поощрять. Итоги же пока пройденному пути, поскольку дело касалось внешней политики, подводились, хотя и с подчеркиванием содеянных ошибок, но и с упоминанием — в общем сочувственным — некоторых колониальных приобретений. Левая оппозиция в партии судила иначе, но ее принято было тогда считать еще много слабее, чем она на самом деле была.

Что же касается прессы буржуазной, то здесь картина получалась вполне отчетливая. И именно в прессе, связанной с крупной промышленностью, с земледельческими интересами, с крупным биржевым и банковым капиталом, в прессе разнообразных консервативных, патриотических, национал-либеральных оттенков наряду с горделивым указанием на блестящее процветание страны оценка внешней политики варьировалась в тонах, но была единой по существу: неспособность дипломатии, отсутствие ясных целей, нерешительность и как результат — почти сплошная неудача. На все лады говорилось о провале всей марокканской политики, начиная с путешествия Вильгельма в Танжер в 1905 г. и кончая Агадиром и соглашением с Францией насчет Марокко в 1911 г.; указывалось, что марокканское дело есть лишь пример того, до какой степени нельзя уж теперь, при существовании Антанты, ждать приобретения каких-либо заморских колоний. С другой стороны, подчеркивалось, что и в другом своем устремлении — на Ближний Восток, в Багдад — германская экономическая и общая политика натолкнулась на серьезные препятствия, созданные двумя балканскими войнами. Касались, наконец, того двусмысленного положения, которое занимает в Тройственном союзе Италия, готовая перейти на сторону Антанты, допускающая в своей прессе яростную кампанию против Австрии, да еще по такому

жгучему вопросу, как Триестская и Триентская области Австрии, населенные итальянцами («Italia irredenta» — неискупленная, т. е. еще *пока* не освобожденная Италия,— так назывались в итальянской прессе эти провинции). Шаткости Тройственного союза противопоставлялась крепость Антанты, которую ничто не могло не только разрушить, но даже поколебать.

Из всей этой критики делались опаснейшие выводы: «Мы сильны, но император боязлив и нерешителен; мы приносим ежегодно огромные жертвы на армию и флот, у нас процветающая промышленность, совершенная государственная и экономическая организация, способная во мгновение ока милитаризовать всю страну, и все эти силы и возможности остаются без употребления, и мы уступаем всем: и «вырождающейся», раздираемой партиями Франции, и не сегодня — завтра готовой загореться революционным пламенем России, и Англии, которая не знает, как справиться с Ирландией». Таковы были основные мысли критиков. Но если император не на месте, то пусть уступит свое место достойнейшему. Этот вывод был сделан. Не говоря уже о демонстративных восторгах по поводу каждой воинственной выходки кронпринца, не говоря о статьях в ежедневной прессе (весьма показательных), представители империалистской мысли как раз в 1913 г. и в самом начале 1914 г. решили как бы окончательно уточнить и популяризовать это противопоставление: «миролюбивого», способного только на воинственное пустословие, но на деле нерешительного и уступчивого императора молодому, сильному, «свежему», храброму кронпринцу. Одна за другой вышли две книги Пауля Лимана: «Der Kaiser» в 1913 г. и «Der Kronprinz» весной 1914 г. В первой книге 435 страниц, во второй — 295, и, однако, обе были широко распространены, имели громадный успех, цитировались, реферировались, стали очень ярким и заметным явлением на книжном рынке в Германии перед войной.

Трудно себе представить более уничтожающую критику Вильгельма и более восторженную хвалу кронпринцу, чем эти две книги. А точка зрения в обеих книгах одна: выступить на бой! (losschlagen!). Не терять попусту времени! Только война может дать Германии все нужное ей. Вот мораль этих книг и им подобных. Это ничего не значит, что одновременно по случаю юбилея вышло и несколько других книг, полных самой византийской, царедворческой лести по адресу Вильгельма. Обмануться ни он, ни кто другой не мог: императором были недовольны. Хвастливых и угрожающих речей и жестов оказывалось мало,— от него требовали соответственных поступков. Иначе могло повториться нечто худшее, чем то, что было в 1908 г. по поводу неудачной беседы с представителем «Daily Telegraph».

А тут как раз произошел особый, очень громкий инцидент, зловещим светом озаривший истинный смысл всей этой империалистской оппозиции и ее вероятные последствия. Инцидент произошел в «имперской области», т. е. в Эльзас-Лотарингии, которая вообще являлась именно с точки зрения внешней политики открытой раной. С самого Франкфуртского мира 1871 г., когда отнятые у Франции провинции были включены в состав Германской империи, германское правительство не знало, как их устроить. Включить их в Пруссию было невозможно из-за неудовольствия Баварии и других южногерманских, близких к Эльзас-Лотарингии государств. Поделить между Пруссией и Баварией (такой план тоже был и долго держался) также оказалось практически сопряженным с большими трудностями. Сделать их особым государством Германии (вроде Баварии, Бадена, Вюртемберга, Саксонии и т. д.) ни за что не хотели германские националисты, боявшиеся, что если дать Эльзас-Лотарингии такую степень самостоятельности, то это разовьет опасный сепаратизм. На *это* решение все-таки Германская империя пошла, но с опозданием на 47 лет, именно — в октябре 1918 г., когда уже военный разгром Германии явно обозначился и когда оставалось несколько недель до ее капитуляции и до входа французской армии в Мец и в Страсбург. Таким образом, Эльзас-Лотарингия и прожила почти все время существования Германской империи на положении завоеванной страны, управляемой волей имперского наместника. И только в 1911 г. была сделана попытка снабдить Эльзас-Лотарингию некоторой степенью самоуправления. По этой «конституции» было дано право выборов в созданный тогда же местный ландтаг, которому были предоставлены дела внутреннего благоустройства. Конечно, фактическая власть и реальная сила оставались всецело в руках назначаемого императором наместника, а еще точнее — в руках военных властей тех корпусов, которые были расположены в этой пограничной области. Собственно, в Эльзас-Лотарингии не было тех пламенных чувств по отношению к Франции, о которых так настойчиво всегда писали во французской прессе; это была больше иллюзия или французская патриотическая «ложь во спасение», хотя существования известных симпатий к Франции отрицать было нельзя, и эти симпатии больше всего подогревались нелепой немецкой имперской политикой относительно Эльзас-Лотарингии. Эта политика состояла то в грубейших притеснениях, то в попытках задабривания. Собственно, не было ни одного класса населения в Эльзас-Лотарингии, который определенно стремился бы к присоединению к Франции. Рабочий класс ни малейших сепаратистских наклонностей не проявлял; крупная торговая буржуазия и финансовый мир тесными узами связались

с германским внутренним рынком и с германскими биржами; только в части промышленной буржуазии заметно проявлялось сожаление об утраченном богатом французском рынке и о громадных возможностях, связанных с колоссальной колониальной империей Франции. Не забудем, что в могущественно индустриализованной Германии Эльзас-Лотарингия была лишь одной из промышленных провинций, а если бы она была частью Франции, то там, среди немногочисленных французских промышленных округов, она стояла бы во многих отношениях на первом месте. Наконец, среди интеллигенции, среди мелкого и среднего чиновничества (не пришлого, а туземного), среди мелкой и средней торговой буржуазии, среди землевладельцев сохранились дружелюбные чувства и теплые воспоминания о Франции. Но... и только. Полушутя, полусерьезно в Эльзас-Лотарингии говорили, что само имперское правительство заботится больше всех о подогревании франкофильских чувств своими придирками и притеснениями. Конечно, эта политика со всеми ее неровностями диктовалась Германии тем обстоятельством, что во Франции ни разу ни один из управляющих страной кабинетов, начиная с 1871 г. и вплоть до войны 1914 г., не согласился признать окончательное и бесповоротное отделение Эльзас-Лотарингии от Франции, и германскому правительству (и народу) было хорошо известно, что Эльзас-Лотарингия является одной из главных причин, которые во всякий момент могут зажечь мировой пожар. Вот почему в зависимости от большей или меньшей степени враждебности, проявляемой французами в каждый данный период к Германии, Вильгельм II то соглашался на смягчение режима, то говорил угрожающие речи. В 1911 г. «конституция» была дана затем, чтобы привлечь этим население к империи и создать для французов моральную невозможность говорить и дальше об освобождении страдающих братьев и т. д. Но и на этот раз тон не мог быть долго выдержан. Уже в средине мая 1912 г. Вильгельм II заявил мэру г. Страсбурга, что он недоволен населением Эльзас-Лотарингии и что он уничтожит конституцию и присоединит Эльзас-Лотарингию к Пруссии. Правда, это было заявлено не в публичной речи, но все равно огласка получилась очень широкая. Спустя полтора года разразился инцидент, имевший больше последствий. Случилось это в декабре 1913 г. Началось дело с ничтожного происшествия: лейтенант фон-Форстнер имел в г. Цаберне (в Эльзасе) столкновение с местными обывателями, которых он грубо оскорбил. На его сторону стал полковник Рейтер, который произвольно арестовал некоторых граждан и засадил их в холодную. Против Форстнера и Рейтера было возбуждено судебное преследование, которое в конце концов не привело ни к чему: оба остались безнаказанными.

Был сделан запрос в рейхстаге, но как военный министр, так и канцлер Бетман-Гольвег всецело стали на сторону офицеров. Во Франции этот эпизод принес огромную пользу той шовинистической агитации, которая там велась против Германии с особой силой со времени выборов Пуанкаре в президенты республики.

Инцидент имел также и внутреннеполитические последствия. Наследник престола кронпринц Фридрих-Вильгельм почел долгом своим деятельно вмешаться в эту историю. Нужно сказать, что вообще на кронпринца, как уже было замечено, в эти годы германские империалисты (наиболее ярые и решительные) возлагали большие упования. Старший сын Вильгельма успел уже произнести несколько пылких воинственных речей, в которых, между прочим, восхвалял и с восторгом характеризовал войну, ратное поле, гусарские атаки и пр. К слову замечу, что впоследствии, за все время мировой войны, он никогда даже и на пушечный выстрел не приближался к полю битвы и обнаруживал всегда доведенную до самой последней крайности предусмотрительность в деле ограждения своей личности от каких бы то ни было опасностей, в чем усилия его и увенчались самым полным успехом. Конечно, эти свойства нисколько не мешали ему по мере сил разжигать шовинистические страсти перед войной и всеми способами вести дело к кровавой катастрофе. Теперь в Голландии (куда он убежал тогда же, как и его отец, и столь же поспешно, в ноябре 1918 г.) он издает книги [1], беседует с корреспондентами газет и все не перестает доказывать, как он всегда был миролюбив. Любопытная по своим размерам способность к лицемерию и сознательной лжи с целью отклонения от себя ответственности роднит его с отцом, хоть он и состоял в некоторой якобы «оппозиции» к императору. В эти решающие годы (1912—1914) он снискал восторженную преданность со стороны пангерманской партии именно тем, что не упускал случая заявить о своей готовности обнажить меч для защиты интересов родины и т. п. Шаблонная фразеология патриотических учебников для средней школы — вот, собственно, все, чем он располагал в случаях своих публичных выступлений, но, исходя от наследника престола и в такой напряженный момент, эти звонкие и пустые фразы приобретали зловещий смысл. После речи Ллойд-Джорджа (по марокккскому вопросу в 1911 г.) кронпринц явился в рейхстаг и тут, когда консервативный оратор воскликнул: «Теперь мы знаем, где находится наш враг!»,— кронпринц демонстративно изъявил полное свое согласие и удовольствие по поводу этих слов. По поводу цабернского инцидента кронпринц тоже почел своим долгом горячо поздравить полковника Рейтера (засадившего противозаконно мирных граждан в погреб на ночь за предполагаемое оскорбление офицерского мундира)

с его молодецким поступком. «Напролом!» (Immer feste drauf!) — гласила телеграмма. Консервативная и национал-либеральная пресса страстно защищала поведение военных в Цаберне и с восторгом отнеслась к словам кронпринца. «Хотя пессимизм и проник теперь глубоко в сердца и сделался господствующим настроением этих лет» (по словам восторженного поклонника кронпринца Пауля Лимана [2]), но кронпринц сильно ободрял упавший дух крайних империалистов. Вместе с тем перед императором ставился очень щекотливый и тревожный вопрос. Сомнений быть не могло относительно того, куда клонятся эти демонстративные овации кронпринцу при каждом его публичном появлении (например, после парадов на Темпельгофе), сопровождаемые столь же демонстративным молчанием при появлении императора; куда клонятся также эти восхваления храброго кронпринца в статьях и книгах, при настойчивом подчеркивании общего будто бы уныния и общего разочарования нерешительной и слишком миролюбивой политикой императора.

Оппозиция справа была налицо; оппозиция слева — социал-демократическая — была обезврежена победой ревизионизма, общим гигантским ростом и процветанием промышленности и всеми последствиями этого роста. Не учуять опасности, подымающейся на него именно *справа,* Вильгельм не мог. И как всегда, он поспешил уступить, тем более что и по существу эта уступка ему недорого стоила. Ведь разница между ним и шовинистической пангерманской «оппозицией» только в том и заключалась, что он несколько медлил с осуществлением лозунгов завоевательной политики и агрессивных выступлений. Наступали времена, когда крупные капиталисты и все, что от них зависело (а от них почти все зависело), грозили поискать себе — и найти в кронпринце — более энергичного реализатора их желаний. Судя по показаниям бельгийского короля Альберта, о которых будет речь в другой связи, к концу 1913 г. Вильгельм уже окончательно свыкся с мыслью о необходимости и неизбежности войны; судя же по некоторым актам правительственной политики, эта мысль уже с начала 1913 г. все более и более укреплялась в правящих кругах.

Что касается Австро-Венгрии, то положение Габсбургской монархии после обеих балканских войн необычайно осложнилось, а вместе с тем в некоторых отношениях австрийская дипломатия стала действовать гораздо свободнее, чем прежде. Поясним это кажущееся противоречивым двойное утверждение. О трудностях много говорить не приходится: враг — Сербия — необыкновенно усилился, и в Сербии поднялась обширная и явно поддерживаемая королем Петром и правительством агитация против Австрии. Не то надеялись разжечь восстание

в Боснии и Герцоговине, не то привлечь Россию к общему выступлению. На болгарский противовес рассчитывать не приходилось в той степени, как австрийская дипломатия к этому привыкла: против Болгарии, крайне ослабленной, стояли в полном вооружении не только Сербия, но и Румыния. В недрах самой Австро-Венгрии все усиливался чешский сепаратизм. Чехия — единственная составная часть Габсбургской монархии, соединявшая все преимущества высокоразвитой промышленности с великолепно оборудованным и продуктивнейшим сельским хозяйством, была *экономически* вполне «автономна», вполне могла обойтись без остальной империи, а потому с особой силой и раздражением требовала и автономии политической. В Венгрии протест подавленных там славян становился все слышнее, и землевладельческая аристократия, управлявшая Венгрией, все с большим трудом удерживала власть в своих руках. Кроме того, прибавился еще один фактор, сильно ухудшивший положение Австрии (а поэтому и Германии): Италия, уже с 1911 г. нападением на Турцию показавшая нежелание считаться с интересами двух своих «союзниц», в 1913 г. еще более усиливала этот характер своей политики. В сущности еще с первых времен заключения Тройственного союза было известно, что Италия не выступит с вооруженной помощью в случае войны Австрии и Германии против такой коалиции, в которой будет принимать участие Англия. Другими словами: если Австрия и Германия будут воевать только против России и Франции (и любой еще державы, кроме Англии), Италия принимает участие в войне на стороне своих союзниц, но если на стороне Франции и России станет Англия, то Италия сохранит нейтралитет. Таким образом, чем более крепла Антанта, тем более фактически ослабевали узы, связывающие Тройственный союз. Мало того. Итальянское правительство решительно хотело утвердить свое влияние на Балканском полуострове и в Малой Азии и во время балканских войн 1912—1913 гг. сплошь и рядом действовало против Австрии. А кроме того, чем больше росла смелость антиавстрийской пропаганды в Сербии, тем больше усиливалась антиавстрийская агитация также в Италии в тех кругах («ирредентистских»), которые стремились оторвать от Австрии Триентскую и Триестскую области.

Однако параллельно с ростом всех этих затруднений в среде австрийских правителей все более и более укреплялось воззрение, представленное больше всего наследником престола эрцгерцогом Францем-Фердинандом, венгерским министром графом Тисса и министром иностранных дел Берхтольдом. По этому воззрению, спасти Габсбургскую державу от раздела и гибели возможно, лишь решительным ударом покончив с великодержавными замыслами Сербии, а поэтому нужно торопиться,

пока это еще возможно сделать, так как время работает против Австрии. Франц-Фердинанд, угрюмый, замыкающийся в себя, подозрительно настроенный человек, не любил Вильгельма II и не доверял ему, но он знал, что Вильгельм II *непременно* поддержит Австрию, если Австрия затеет войну, потому что не может Германия дать разбить свою единственную союзницу и этим самым загородить себе выход на Ближний Восток, с которым германская промышленность и экспортная торговля прочно связали свою будущую судьбу, еще когда только была заложена Багдадская железная дорога. Эта-то уверенность и давала Францу-Фердинанду и Берхтольду полную свободу движений. Произошло именно то, чего боялся Бисмарк (не раз выражавший эту боязнь) [3]: Германия оказалась в положении державы, которая фактически часто не только не диктует первые шаги своей несравненно менее сильной и зависимой союзнице, а принуждена следовать за ней. И чем больше росло недовольство в императорских кругах Германии против императора Вильгельма II за его нерешительность, тем в большую зависимость попадал Вильгельм II от Франца-Фердинанда и его советников, потому что ему бы не простили неоказания достаточно сильной поддержки «единственному другу Германии». Таковы были условия, касавшиеся вопроса о внутренней спайке частей в Тройственном союзе. Эти условия внушали живейшую тревогу тем наблюдателям, которые не желали войны и видели ясно, до какой степени балканские события 1912—1913 гг. ее приблизили.

Посмотрим теперь, как те же балканские события отразились на соотношениях отдельных частей в Антанте. Мы увидим, что и Антанта тоже мелкими и крупными дипломатическими провокациями сгущала в эти последние предвоенные годы политическую атмосферу в Европе.

2

Уже с самого начала нападений, которым подвергалась Турция, т. е. с 1911 г., когда итальянцы начали завоевание Триполитании и Киренаики, движущей силой Антанты постепенно делалась не Англия, как было до сих пор, но Россия. Дело было не в том, что еще в 1910 г. скончался английский король Эдуард VII, главный вдохновитель и руководитель Антанты, и не в том, что в 1911—1912 гг. английский либеральный кабинет был поглощен острыми вопросами внутренней политики, о которых уже раньше шла речь (осуществлением уже прошедших социальных реформ, бюджетными делами), а в 1912—1913 гг.— резко обострившимися ирландскими осложнениями.

Все это имело свое значение, но главное было в другом. В самом построении и внутренней природе Антанты заключено было некоторое противоречие. Эдуард VII создавал ее, а сэр Эдуард Грей (после смерти короля) поддерживал ее сначала как силу, так сказать, охранительную, стремящуюся по своим заданиям держать Германию в твердо очерченных рамках и не давать ей возможности нарушить установившееся положение ни в Европе, ни на остальном земном шаре. Это не значит, что Антанта раз навсегда отказалась от мысли при удобном случае и в свое время первой броситься на Германию, чтобы сломить ее экономическую и политическую силу. Но именно при том случае, который будет удобен, и в то время, которое должно было наступить далеко не сейчас. А пока — ждать и подстерегать Германию на ошибках и опасных шагах. Это обстоятельство ставило Германию, конечно, в крайне деликатное и трудное положение: ведь соединенные силы Антанты были так колоссальны, ее материальные возможности так безграничны, у нее вследствие ее могущества и огромности оказывалась такая притягательная сила, что самым фактом своего длительного существования Антанта отнимала у Германии возможных союзников в предстоящей борьбе — Италию и Румынию, а главное — время работало в пользу Антанты, а не в пользу Германии. Время даст возможность Англии преодолеть все трудности внутренней политики, умиротворить Ирландию, создать сухопутную армию; время позволит России закончить реорганизацию и перевооружение к 1917 г. (как намечалось в 1911—1912 гг.), время облегчит Франции полное проведение реформы артиллерии, осуществление всеобщей воинской повинности в ее колоссальных колониях. И *тогда* Антанта раздавит Германию без всяких сомнений. Единственный настоящий союзник Германии — Австрия — тоже *со временем* лишится Чехии; может быть, отпадут от нее и еще кой-какие части. Короче говоря, противоречие, присущее Антанте, заключалось в том, что она была слишком сильна и что выжидание было для нее слишком выгодно, чтобы ее политика могла быть только «оборонительной». Мысль о необходимости «предупредительной войны», впервые занимавшая германские военные круги еще в самом начале 90-х годов, когда был заключен франко-русский союз, опять всплыла в германской прессе и на этот раз с гораздо большей силой, чем прежде. Но противоречие в Антанте стало проявляться и в другом — в политике ее составных частей. Англии казалось выгодным ждать и готовиться, а некоторым руководителям русской и отчасти — в гораздо меньшей степени — французской политики, поскольку она подчинялась русскому давлению, иногда начинало казаться более целесообразным пожать непосредственно плоды и воспользо-

ваться без особых отлагательств преимуществами могущества Антанты.

Наиболее деятельным и беспокойным дипломатом Антанты был в эту пору Извольский, бывший в 1906—1910 гг. министром иностранных дел Российской империи, а с 1911 г. русским послом в Париже. Настойчивый, энергичный, очень преданный своей идее, он совсем подавлял собой министра иностранных дел Сазонова; влияние же его было тем губительнее, что идея была основана на неправильных расчетах. Идея заключалась в том, будто Россия может и должна воспользоваться неповторяемой комбинацией, когда Англия — ее друг, чтобы, наконец, прорваться на Балканский полуостров, опрокинув сопротивление Австрии, а если понадобится, то и Германии. Расчет был неправилен прежде всего потому, что вогнанную внутрь революцию 1905 г. Извольский (и вся его школа) приняли за конец потрясений, III Думу — за начало нормально развивающегося конституционного строя, аграрную реформу 9 ноября 1906 г. — за разрешение аграрного вопроса, эру Сухомлинова — за преобразование армии, проглядев за этими фантомами все страшные реальности и решив, что Россия способна выдержать и победить в столкновении с обеими центральными империями. Неудача, постигшая Извольского в 1908—1909 гг., в годину аннексии Боснии и Герцоговины, показала ему, что на пути активной русской политики на Ближнем Востоке находятся огромные трудности, но нисколько не изменила основной линии его поведения. Когда в 1911 г. он попал в качестве русского посла в Париж, он стал немедленно стремиться к руководящей роли в Антанте. Случаю угодно было устроить так, что первые шаги Извольского в Париже делались тогда, когда весь мир находился еще под впечатлением агадирского инцидента и его финала. Германия выступила с угрозой против Франции, но достаточно было окрика Ллойд-Джорджа,— и она сейчас же испугалась и отступила. Извольский слишком поверил воплям германской империалистской прессы, сравнивавшей это унижение Германии с разгромом Пруссии при Иене Наполеоном I. «Нет слов для этой Иены германской политики! Закрой свое лицо, Германия, перед этой страницей твоей истории! (Verhülle dein Antlitz, Germania, vor diesem Blatt deiner Geschichte!)»,— писали немецкие «патриоты» после франко-германского соглашения, и многие (в том числе Извольский) приняли это за чистую монету, т. е. за признание бессилия, а не за искусственное раздразнивание и подстрекательство к борьбе (как было на самом деле). И вот, мысль о дерзаниях, о смелой энергичной политике на Балканах и в Малой Азии окончательно овладевает Извольским. Задержек в Петербурге не было почти никаких. Правда, Коковцов, первый министр

в 1911—1913 гг., министр финансов в предыдущие годы, был противником всякой политики авантюр, Сазонов (поскольку он противился изредка Извольскому) тоже старался иной раз не забывать об осторожности, но в общем Извольский не наталкивался на серьезные затруднения. Загладить стыд маньчжурских поражений, вознаградить себя на Ближнем Востоке, дать русской промышленности и торговле новые рынки и просто захватить новые земли — все это казалось заманчивым. А кроме того, действовало тут то же самое роковое заблуждение, основанное на глубочайшем непонимании свойств дипломатической борьбы, как и в декабре 1903 и январе 1904 г.: «Я возьму Корею, но войны не будет, потому что я не хочу войны» (это отмечено Витте в его мемуарах). Точь-в-точь эта же аберрация повторилась в русской политике 1912—1914 гг.: «Я буду делать то, что мне представляется нужным на Балканах и в Малой Азии, но войны не будет, потому что я ее не хочу». Правда, на этот раз осторожности нужно было проявлять больше, но и на этот раз успокоительное соображение, что «войны не будет, пока *я* не захочу», действовало в полной мере. Но дело в том, что в 1903 г. Япония в *самом деле* не хотела войны, а в 1913 г. в Германии могущественнейшие классы не боялись войны, часть гражданских сановников и некоторые военные *хотели* войны, кронпринц не боялся войны, Мольтке *хотел* войны, а Вильгельм II переставал колебаться. А все действия Антанты, особенно завоевание Марокко, раздражали и оскорбляли Германию. При *этих* условиях беспокойная энергия Извольского, полагавшего, что после Агадира нечего особенно стесняться с Германией, и безмятежная уверенность Николая II, убежденного, что до войны дело все равно не дойдет, так как он, в самом деле, войны не желает, должны были привести к ряду опаснейших осложнений.

Казалось, была сила, которая могла бы остановить Извольского. Он находился в Париже, без Франции и ее поддержки он действовать не мог; даже на Петербург, на свое начальство и на императора Николая II он влиял, выдвигая французов. Между тем французские правители долгое время обнаруживали большую сдержанность и осторожность. Что же происходило в Париже в 1912—1913 гг.?

У нас есть теперь некоторые материалы, позволяющие составить себе общее представление о том, что происходило за кулисами французской и русской политики в последние годы перед войной. На первом месте тут нужно поставить «Материалы по истории франко-русских отношений за 1910—1914 гг.», сборник секретных дипломатических документов российского министерства иностранных дел, опубликованный в Москве в 1922 г., огромный том в 720 страниц, без которого

отныне ни один историк, сколько нибудь достойный этого наименования, не вправе говорить о Европе перед войной 1914 г. (хотя издана эта книга довольно небрежно): это — вся переписка Извольского с Петербургом по всем коренным вопросам политики Антанты. Кое-что дают и цитируемые ниже четыре тома мемуаров Пуанкаре, которыми нужно пользоваться с осторожностью. Затем нужно назвать изданные в 1925 г. в Париже бумаги французского посла в Петербурге (с 14 июня 1912 г. по 20 февраля 1913 г.) Жоржа Луи [4]. Эти бумаги опубликованы журналистом Эрнестом Жюдэ, которому бумаги были отданы для издания вдовой Луи (Judet E. Georges Louis, Paris, 1925 [5]). Основываясь на этих источниках и привлекая некоторые другие (которые, однако, *все* являются несравненно менее ценными), постараемся определить сущность того, что происходило в Париже в 1911—1914 гг. в области внешней политики и, в частности, в кругу вопросов, связанных с франко-русским союзом.

Напомним прежде всего о внутреннеполитическом положении Франции в этот момент. Выборы 1910 г. дали большинство левобуржуазным течениям (радикалов и радикалов-социалистов было избрано в палату 252, примыкающих к ним «независимых социалистов» — 30, левых республиканцев — 93); правые партии и правый центр получили: консерваторы — 71 место, националисты — 17, прогрессисты — 60; наконец, объединенная социалистическая партия — 74 места. Правительственная власть в эти годы (1910—1914) находилась поэтому в руках министерств, которые в общем очень мало отличались друг от друга в области всех вопросов внутренней политики: собственно, главная разница в оттенках между ними заключалась тут в том, что одни (бывшие левее) говорили о радикальном подоходном налоге и других соответственных финансовых реформах, а другие об этом не говорили (или меньше говорили); ни те, ни другие никаких этих реформ не осуществляли. Да и не внутренняя политика стояла на первом плане. *Внешняя* же политика этих последних предвоенных министерств была неодинаковой. Некоторые из них больше отражали в этом смысле стремления колониальной партии, крупных финансистов (игравших во Франции ту же огромную роль в делах внешней политики, как в Германии крупные промышленники); другие были в большей степени выразителями мнений средней и мелкой буржуазии, настроенной осторожно и более миролюбиво. Но первое течение было сильнее, организованнее и с каждым годом брало верх; средств влияния и нужных ходов у него оказывалось в распоряжении гораздо больше. Среднюю и мелкую буржуазию можно было, кроме того, всегда встревожить угрозой распадения Антанты, концом дружбы с Россией; да и раз-

бирались во внешней политике эти классы довольно смутно. Пресса, которую они читали и которая изо дня в день внушала им внешнеполитические воззрения, издавалась крупным финансовым капиталом и для нужд и целей крупного капитала. Вот почему, когда мы говорим о неодинаковости внешней политики французских кабинетов, управлявших страной в 1910—1914 гг., то имеем в виду больше *оттенки,* чем коренные отличия.

С 1909 г. во главе правительства стоял Бриан; после выборов он произвел некоторые видоизменения в своем кабинете (3 ноября 1910 г.) и продолжал править до 27 февраля 1911 г. После него управлял левее стоявший кабинет Мониса, и — тоже левее Бриана стоявший — кабинет Кайо (с 23 июня 1911 г.). 10 января 1912 г. Кайо ушел от власти. Против него поднялась уже тогда сильная оппозиция со стороны крупного капитала, боявшегося слишком радикальных мер в области подоходного обложения; но замечательно было то, что ему ставили на вид слишком дружественный и примирительный тон по отношению к Германии.

14 января 1912 г. сенатор Пуанкаре был призван к власти президентом республики Фальером. Ему было тогда пятьдесят два года, он давно уже был в парламенте, но до сих пор никогда не играл выдающейся роли. Он осторожно и лукаво лавировал между партиями в эпоху дела Дрейфуса и стал на сторону Дрейфуса только тогда, когда стало вполне ясно, что дрейфусары победят. Так же он вел себя и во время борьбы за отделение церкви от государства в 1903—1905 гг., и во всех вообще острых случаях. Одаренный большим и гибким умом, крайней настойчивостью и последовательностью в стремлениях к своим целям, осторожностью и предусмотрительностью и вместе с тем решительностью в критические моменты, большим хладнокровием и выдержкой, бесспорным даром слова, уменьем, где нужно, устрашением, где нужно, лаской и лестью действовать на окружающих, Пуанкаре никогда не колебался устранить своего противника, если тот обнаруживал упорство или вообще оказывался неудобен. (В этом смысле интересны появившиеся в 1925 г. воспоминания Шарля Эмбера «Chacun son tour», дающие понятие о том, каким недосягаемым «мастером» политической борьбы в случае надобности мог быть Пуанкаре.) Он был страшный боец и выступил на арену в самый для себя благоприятный момент. Двенадцать лет подряд ему суждено было с тех пор влиять на Францию и Европу и после перерыва 1924—1925 гг. снова добиться полновластия в июле 1926 г. Что руководило этим человеком? Этот вопрос для нас, конечно, менее существенен, чем другой,— какие именно группы французского общества, какие классы нашли в нем своего представителя и выразителя своих стремлений? Во всяком случае нужно сказать, что строй

15*

его убеждений никогда не менялся сколько-нибудь заметно. Он долго ждал своего часа (не очень гонялся за портфелями) [6] и вышел на сцену только тогда, когда соотношение реальных сил в стране и парламенте сложилось в пользу представляемых им взглядов. Когда я только что отметил его осторожное лавирование между партиями и его нежелание очень связывать себя в каком бы то ни было из острых вопросов, волновавших страну (вроде дела Дрейфуса или отделения церкви от государства), то я имел в виду не обыденный, столь часто встречающийся политический карьеризм, но нечто более сложное, в чем даже и враги не отказывали Пуанкаре. Он всегда подчеркивал свое равнодушие к внутренней политике, ко всем вопросам внутренней политической борьбы, намеренно не хотел связывать себя вплотную ни с каким вопросом, разделявшим французское общество, поскольку этот вопрос не касался внешней политики. Конечно, он был «республиканцем», конечно, он стоял на точке зрения защиты буржуазной парламентарной республики от нападений как со стороны монархистов, так, в особенности, слева — со стороны социалистов, но как-то так выходило, что ни монархисты не питали к нему острой вражды, ни социалисты долго не видели в нем такого яростного врага, как, например, в Клемансо или в Мильеране. Они пошли на него решительным походом, когда выяснилось, куда клонится его *внешняя* политика, но никогда он не был ни в глазах Жореса, ни в глазах Рен630деля или Леона Блюма, преемников Жореса по лидерству в социалистической партии, таким олицетворением социальной реакции или политики преследований, каким был, например, в 1906—1909 гг. или в 1917—1920 гг. Клемансо. *Все* партии знали, что Пуанкаре, если понадобится, пойдет навстречу любой из них так далеко, как не пойдет другой по всем вопросам внутренней политики, лишь бы ему не мешали бесконтрольно вести политику внешнюю. Вот почему, когда всесильные во Франции собственнические классы в самом широком смысле слова почувствовали себя под угрозой революционного взрыва после русской революции 1905 г. и усиления революционного синдикализма в Париже и других крупных центрах, то они выдвинули в качестве своего защитника Клемансо, а не Пуанкаре, который ни за что и не пошел бы в тот момент в первые министры, и не взял бы на себя роли «главного жандарма», «главного полицейского» (le premier flic de France), как называл с гордостью *сам* себя Клемансо. *Этого* дела, которому по существу он сочувствовал, делать своими собственными руками Пуанкаре не желал, хотя, конечно, социальный консерватизм был ему по душе. Он приберегал себя для другого момента [7].

И вот, этот момент настал, когда в январе 1912 г. его позвали в Елисейский дворец и он вышел оттуда, облеченный званием

первого министра. В 1912 г. собственнические классы уже не боялись социальной революции, да и вообще осложняющаяся общеевропейская обстановка повелительно приковывала к себе взоры и заслоняла собой все. Часть собственнических классов — мелкая буржуазия, пожалуй, почти вся средняя, т. е. большинство всей нации, потому что в мелкую буржуазию входило все собственническое крестьянство,— не желала войны; рабочий класс не желал войны (во Франции не было таких слоев в рабочем классе, которые склонялись бы к «энергичной» внешней политике, как то наблюдалось в Германии среди «рабочей аристократии»). Во Франции за энергичную внешнюю политику стояли руководители бирж и гигантских банков (правда, не все), колониальная партия (вся), крупные экспортеры, судовладельцы и масса профессий, материально связанных с колониями; стояли еще больше на стороне этой «энергичной политики» также крупные промышленники и больше всего, конечно, те, которые в своих непосредственных материальных интересах были связаны с милитаризмом: владельцы и акционеры оружейных и сталелитейных заводов, верфей и т. п. Весь этот крупный капитал, державший в своих руках почти всю читаемую прессу и могущественный в парламенте, и возложил на Пуанкаре все свои упования. Помогало ему и раздражение французского мелкого ремесла против всепобеждающей германской конкуренции; помогала и заинтересованность всех слоев буржуазии и части крестьянства в русских займах, приводившая к тенденции поддерживать русский строй и дальнейшими займами к поощрению опасных внешних авантюр русской дипломатии,— хотя относительно последнего пункта мнения порой сильно расходились. Идея Пуанкаре именно и была представлена во Франции в таком обличии, чтобы не испугать сразу мелкую и среднюю буржуазию: «Мы — миролюбивы, но что же делать, если война неизбежна? Нужно, во-первых, вооружиться, во-вторых, запасаться союзниками и укреплять всеми мерами дружбу с ними». Правда, с некоторым беспокойством передавали, будто новый глава правительства в глубине души не видит возможности избежать войны; повторяли слова, вырвавшиеся будто бы у двоюродного брата Пуанкаре, великого математика Анри Пуанкаре, в первый момент, когда ему сообщили, что Раймон Пуанкаре стал первым министром: «Мой двоюродный брат — это война» (Mon cousin — c'est la guerre). Но с присущей ему осторожностью и ловкостью сам Пуанкаре избегал сколько-нибудь компрометирующих слов. Он предпочитал действовать; действия же его фатально не создавали и даже устраняли препятствия, какие могли бы помешать войне, хотя он не переставал усиленно подчеркивать свою преданность интересам мира. Нужно заметить, что знаменитая кличка «Poincaré-la-Guerre» привязалась к нему

еще до мировой войны. Инстинктивно чувствовалось, что новый правитель — ни в коем случае не есть новое препятствие к войне. Если бы в Елисейском дворце в 1914 г. был Фальнер, то войны не было бы,— так высказывался впоследствии Стефан Пишон.

Прежде всего Пуанкаре развязал руки Извольскому[8]. Уже на другой день после своего вступления во власть, 15 января 1912 г., Пуанкаре посетил Извольского и «заверил в своем твердом намерении поддерживать с Россией самые тесные отношения и направлять внешнюю политику Франции». Тотчас после этого Извольский начал работать над трудным делом устранения французского посла Жоржа Луи из Петербурга: Жорж Луи был представителем мирной политики и довольно упорно сопротивлялся активным шагам русской дипломатии на Балканском полуострове. Он старался смягчить трения с Австрией и Германией и считался Извольским в числе ненадежных друзей франко-русского союза и Антанты. Действуя на Пуанкаре, Извольский успел подорвать служебное положение Жоржа Луи. Впрочем, и до последовавшей в конце февраля 1913 г. своей отставки Жорж Луи был бессилен бороться с Извольским, на стороне которого, казалось, находился сам председатель французского совета министров. Манифестации следовали за манифестациями. Открывая в апреле 1912 г. в г. Канн памятник королю Эдуарду VII, Пуанкаре (в присутствии великого князя Михаила) заявил: «Франция глубоко ценит блага мира и не помышляет о вызывающей политике, но она ясно сознает, что для того, чтобы самой не подвергнуться нападению или вызову, ей необходимо непременно поддерживать на высоте свое военно-морское могущество. Мы, конечно, должны прежде всего рассчитывать на свои собственные силы, но эти силы получают значительный прирост вследствие поддержки, оказываемой нам нашими союзниками и друзьями». Сообщая об этих словах в Петербург, Извольский прибавляет, что сам Пуанкаре еще пояснил ему, что «эти празднества носили ясно выраженный характер проявления взаимной солидарности между всеми тремя державами — участницами Тройственного согласия». В июле 1912 г. в Париже состоялись совещания между начальниками штабов русской и французской армии, а также морских штабов, и «начальник французского морского штаба вполне уразумел необходимость в интересах обоих союзников облегчить России задачу господства над Черным морем путем соответственного давления на флоты возможных наших противников, т. е. главным образом Австрии и, может быть, Германии и Италии». Таким образом, политика пока еще не всей Антанты, но Франции и России, начинает как будто ориентироваться на Константинополь и проливы, хотя и тогда, как и после войны,

Франция вовсе не хотела разрушения Турции. Тут была налицо игра интересов: Пуанкаре нуждался в России, и такие события, не имевшие (как *потом* оказалось) серьезного политического значения, как визит Николая II в Потсдам (в 1910 г.) или ответный визит Вильгельма II в Балтийский порт 4 июля 1912 г., волновали и раздражали французских политиков и заставляли их делать шаги, которые были угодны русскому правительству. А русская дипломатия пользовалась этим, чтобы направить острие Антанты против растущего влияния Германии в Турецкой империи. В эпоху первой балканской войны Пуанкаре в ответ на зондирование почвы с русской стороны сказал Извольскому (4/17 ноября 1912 г.), что «если Россия будет воевать, Франция также вступит в войну, потому что мы знаем, что в этом вопросе за Австрией будет стоять Германия». Это заявление последовало после путешествия Пуанкаре в Кронштадт (в августе того же 1912 г.), когда французский председатель совета министров был принят в Петербурге с исключительной любезностью. Беспокойство Германии в связи с этими демонстрациями все росло. Вильгельм II (в это время уже подпавший под влияние министра иностранных дел Кидерлен-Вехтера, не желавшего в тот момент войны) сделал некоторые шаги в сторону Франции: три германских броненосца были высланы в Балтийское море навстречу Пуанкаре, ехавшему в Россию, и приветствовали его пушечными салютами. Тотчас же вслед за этим Кидерлен-Вехтер имел беседу с сотрудником французской газеты «Figaro», где высказал дружелюбные мысли о возможном мирном сотрудничестве Франции и Германии. Но эти пробные шары не имели последствий. Сазонов, лично познакомившись с Пуанкаре в Петербурге, доложил Николаю II о следующих своих «личных впечатлениях»: «...в его лице Россия имеет верного и надежного друга, обладающего недюжинным государственным умом и непреклонной волей. В случае наступления критического момента в международных отношениях было бы весьма желательно, чтобы во главе правительства нашей союзницы стоял если не сам господин Пуанкаре, то лицо, обладающее столь же решительным характером и чуждое боязни ответственности, как нынешний французский первый министр».

Приближался знаменательный день президентских выборов. Левая часть палаты и сената хотела провести в президенты Памса, правая — председателя совета министров Пуанкаре. Кандидатура Памса означала смягчение напряженной политической атмосферы, кандидатура Пуанкаре объединяла сторонников продолжения «энергичной политики». «Завтра президентские выборы,— писал 16 января 1913 г. Извольский Сазонову,— если, не дай бог, Пуанкаре потерпит поражение, это для нас будет катастрофой».

На другой день, 17 января 1913 г., Пуанкаре был избран президентом Французской республики. Через несколько дней после этого события он заявил Извольскому, что «в качестве президента республики он будет иметь полную возможность непосредственно влиять на внешнюю политику Франции». И тут же прибавил, что «для французского правительства весьма важно иметь возможность заранее подготовить французское общественное мнение к участию Франции в войне, могущей возникнуть на почве балканских дел». Извольский ликовал (см. его письмо Сазонову от 30 января 1913 г.). Он был убежден — и в этом нисколько не ошибся,— что, став президентом республики, именно Пуанкаре, а не кто иной, будет продолжать управлять внешней политикой Франции и что, не говоря уже о личных особенностях властного Пуанкаре, французская конституция, вопреки общепринятому мнению, дает президенту и его личным вмешательствам большой простор.

Первым многозначительным актом нового президента было отозвание из Петербурга посла Жоржа Луи (24 февраля 1913 г.) и назначение на его место бывшего министра иностранных дел Теофиля Делькассе, того самого, который, как рассказано в своем месте, должен был в июне 1905 г. уйти под давлением германских угроз по поводу Марокко. Он считался главным врагом Германии и деятельным помощником Эдуарда VII в создании Антанты. Его отставка в 1905 г. породила такое ликование в Германии, что Вильгельм II в награду за удачную (по его мнению) политику канцлера Бюлова, вызвавшую столь блестящий результат, немедленно дал Бюлову княжеский титул. С тех пор всякий слух о возвращении Делькассе к делам внешней политики порождал в Германии тревогу и раздражение и вызывал воспоминания о том, как Делькассе (перед своей отставкой) советовал премьеру Рувье не отступать даже перед риском вооруженного конфликта.

И вот теперь, после восьмилетнего пребывания вдали от иностранной политики, Делькассе был назначен французским послом в Петербург, притом, как всей Европе тотчас же стало известно, по личному желанию президента республики Пуанкаре.

В Германии это приняли как обиду, угрозу и враждебную демонстрацию. Дело оборачивалось так, что создательница Антанты Англия как будто начинала играть пассивную роль в общем направлении политики этого Тройственного согласия, а Франция и Россия — активную и направляющую. Темные тучи сгущались над Европой. В декабре 1912 г. скончался германский министр (статс-секретарь) иностранных дел Кидерлен-Вехтер, один из немногих талантливых германских дипломатов. В Германии явственно брали верх сторонники быстрых решений, сильных движений, разрубанья гордиевых узлов мечом.

Кронпринц в Германии, министры Берхтольд и Тисса и эрцгерцог Франц-Фердинанд в Австрии, Извольский в Париже выдвигались все больше и больше на первый план. И обе стороны, раньше чем предпринять первые решительные подготовительные действия, напряженно всматривались в Англию: казалось, что там назревают какие-то видоизменения. Обе стороны в течение 1913 и в начале 1914 г. вычитывали в глазах этого сфинкса то, чего *хотели*, т. е. *прямо противоположные, исключающие* одно другое намерения.

Рассмотрим главные элементы английской политической жизни в последние месяцы перед войной; мы убедимся, что разобраться в точных целях и наперед предугадать вероятные поступки британского кабинета в решительный момент было, действительно, очень нелегко.

3

В разгаре агадирского инцидента, но когда уже самый острый момент прошел и Германия уступила, английский кабинет устроил тайное совещание с представителями армии и флота, чтобы в точности уяснить себе картину если не всей будущей войны, то хоть первых столкновений с германской армией на западном германском фронте. Военные эксперты давали не очень утешительные показания: на Россию генерал Вильсон надеялся мало и говорил о ее слабости и о медленности мобилизации. Выходило, что против 110 немецких дивизий, когда они вторгнутся в Бельгию, французы выставят только 85. Англичане же, предполагалось, смогут выставить на первых порах лишь 6 дивизий. Что касается флота, то, конечно, британский флот оказывался настолько сильнее германского, что мог немедленно после начала военных действий начать общую блокаду германских берегов.

Но адмирал фон Тирпиц продолжал дело увеличения и усиления германского флота. В тот момент Англия не хотела воевать. И Ллойд-Джордж, канцлер казначейства, и Уинстон Черчилль, морской министр, были согласны с тем, что желательно не воевать с Германией и даже дать ей «некоторую» возможность расширить свои колонии, даже «*помочь*» ей в этом, лишь бы добиться устойчивого мира на ближайшее время [9]. Но прежде всего нужно было добиться, наконец, того, чего не удавалось достигнуть до сих пор — остановки германских морских вооружений. Английский кабинет снарядил к Вильгельму II в качестве негласного своего эмиссара по этому вопросу сэра Эрнеста Кэсселя. Предложение сводилось к следующему: Германия признает раз навсегда превосходство Англии на море, отказывается от увеличения морской программы, даже уменьшает эту программу. Англия же в ответ соглашается не препятствовать

увеличению германских колоний; вместе с тем Германия и Англия обязуются не принимать участия в войне в случае, если на которую-нибудь из них нападет какая-либо третья держава или коалиция держав. Кэссель был принят Вильгельмом II и канцлером Бетман-Гольвегом очень хорошо, и английское правительство решило отрядить в Берлин уже официально одного из министров — именно военного министра Холдэна, уже ездившего туда неоднократно. Казалось, на этот раз дело пошло на лад. Холдэн (в феврале 1912 г.) съездил в Берлин и вернулся с копией новой программы фон Тирпица. Программа была грандиозна. По исчислениям британского адмиралтейства, Германия при осуществлении этой программы должна была иметь «25 или даже 29» боевых судов высшего типа против 22, которыми могла бы располагать Англия, считая флоты, предназначенные для защиты ее берегов, а также весь Атлантический флот. Это был не только решительный отказ Германии идти на английское предложение, но прямой вызов. Да в германских морских кругах и не скрывали, что это вызов и что у Англии может хватить судов, но не хватит людей для неограниченного дальнейшего увеличения флота, а у Германии — хватит. Вместе с тем Германия не соглашалась и на формулу насчет нейтралитета Англии в случае, если на Германию *нападут*. Вильгельм II и Бетман-Гольвег требовали, чтобы формула была такая: Англия сохраняет нейтралитет, если Германию *вынудят* к войне (it a war is forced upon Germany). Карты раскрывались вполне откровенно: ведь Германия могла в каждый момент напасть на Францию и заявить при этом, что французы своей общей политикой *вынудили* Германию к войне. Таким образом, если бы Англия на эту формулу согласилась, Антанта перестала бы в тот же миг существовать. И за это Англия *ровно ничего* не получала, так как новая огромная судостроительная программа фон Тирпица все равно вынуждала английское адмиралтейство немедленно начать, усиленно и не щадя колоссальных расходов, строить новые боевые суда.

Рассуждать дальше англичане не желали. Уинстон Черчилль заявил в марте 1912 г. в парламенте, что отныне Англия будет строить новых дредноутов на 60% больше, чем Германия,— это на все время исполнения новой германской судостроительной программы. Если же Германия начнет строить суда сверх программы, то Англия будет строить по два дредноута на один германский. При этих условиях бесцельность дальнейшего состязания должна была стать очевидной для Вильгельма и фон Тирпица. Но на фон Тирпица заявление Черчилля не произвело этого действия, и его морская программа начала самым деятельным образом приводиться в исполнение.

Трудное двухлетие наступило после этого для Англии. От

лета 1912 г. до лета 1914 г. британскому кабинету приходилось: 1) тратить на новые морские вооружения те суммы, которые должно было бы употребить на осуществление только что проведенных реформ; 2) считаться в течение двух балканских войн с активной и самостоятельной политикой России и Франции (т. е. Извольского и Пуанкаре), которая в данный момент могла зажечь европейский пожар, причем, конечно, Англия ни в коем случае не могла бы остаться нейтральной, как бы ни хотелось ей отсрочить это в высшей степени неудобное для нее в данное время столкновение; 3) считаться с очень неприятными трениями, все чаще и чаще происходившими в Персии между русскими и английскими властями, причем нужно было уступать, чтобы не компрометировать Антанту; 4) зорко следить за Германией, так как ее ответ по поводу предложения английского нейтралитета в связи с отказом прекратить морское вооружение не оставлял сомнений, что германское правительство очень подумывает о войне, на которую его *«вынудят»*. Еще 5—6 лет — и обстановка для Англии могла бы измениться к лучшему,— тогда обрушиться на Германию и вывести ее из строя было бы задачей, из-за которой, с точки зрения империалистской, стоило бы начать мировую войну, но сейчас, в 1912—1914 гг., это было еще не вовремя, по мнению британского кабинета. Внутреннее положение Британской империи было не таково, чтобы торопиться с войной.

Во-первых, беспокоило рабочее движение. После временного подъема промышленного производства и сбыта, начинавшегося уже в 1904 г., продолжавшегося в 1905 и 1906 гг. и кончившегося весной 1907 г., наступил период постепенно усиливающегося упадка в 1907 г. (во вторую половину), в 1908 и 1909 гг. В 1910—1911 гг. было опять некоторое улучшение, которое продолжалось и в следующие два года. Образовалось положение, при котором, с одной стороны, не было острого безработного кризиса, с другой — предприниматели отказывались повышать заработную плату, ссылаясь на малые барыши. Были налицо, таким образом, и побудительные *причины* к стачечному движению, и *шансы* к успешному проведению стачек. Уже в 1907 г. в Англии бастовало 147 498 рабочих, а пропущенных вследствие стачек рабочих дней было в общей сложности 1 878 679 (этот измеритель — пропущенные рабочие дни — считается в данном случае одним из самых показательных и всегда фигурирует в соответствующих изданиях, вроде «Reports on strikes and lockouts» 1894—1912); уже в 1908 г. бастовало 295 507 человек, а рабочих дней было пропущено 10 632 638. В 1909 г. бастовало 300 819 (пропущенных дней — 2 560 425), в 1910 г.— 515 165 (пропущенных дней — 9 545 531), в 1911 г.— 931 050 (пропущенных дней — 7 552 110). Стачки эти серьезно

беспокоили правительство. Они носили особый характер: начинались сплошь и рядом не старыми, богатыми тред-юнионами, а *небольшими, наскоро сорганизованными комитетами*, которые, однако, быстро расширяли стачечное движение и *заставляли* тред-юнионы следовать за собой.

Летом 1911 г. вспыхнула забастовка в таких грандиозных размерах и притом в таких промыслах, что в деловом мире был момент, очень близкий к панике. Внезапно забастовали транспортные рабочие в целом ряде пунктов побережья, а отчасти внутри страны. Началось с забастовки матросов и кочегаров торгового флота, и самое начало было очень характерно. «Профессиональный союз матросов и кочегаров» был очень бедной и незначительной организацией, и когда еще весной 1911 г. председатель союза Гэвлок Вильсон обратился к хозяевам с требованием о повышении рабочей платы, то с ним даже и разговаривать долго не захотели: последовал категорический отказ, и было притом высказано мнение, что просто эта выходка объясняется желанием создать рекламу ничтожной организации, в которую входит лишь самый незначительный процент матросов и кочегаров. Но союз объявил забастовку, и к ней примкнуло громадное число матросов и кочегаров, которые вовсе и не входили в организацию. Забастовка разрасталась так быстро и шла так дружно, что уже спустя три дня ряд пароходных компаний согласился на требования стачечников. Этот неожиданный и грандиозный успех (за первыми уступившими последовали и прочие предприниматели) породил соответствующее движение среди близких к матросам и кочегарам рабочих верфей и доков. Но вождь рабочих доков Бен Тилетт, очень энергичный человек, поседевший в стачечной борьбе (он завоевал себе известность организацией стачки в доках уже в 1889 г.), решил поставить борьбу шире. Он всецело примыкал к той агитации, которую еще с 1910 г. вел в своем органе «Промышленный синдикалист» («The Industrial Syndicalist») Том Манн, теоретик синдикалистского движения в Англии, утверждавший, что транспортники, если они будут действовать единодушно, будут всесильны, так как одновременной остановки пароходного, железнодорожного, трамвайного, автомобильного движения Англия не выдержит и трех дней. Успех матросов и кочегаров вдохнул в Бена Тилетта решимость, и в июле 1911 г. разразилась стачка транспортников. Эта стачка не была такой всеобщей, как мечтал Том Манн, но все-таки размеры ее были грандиозны. Подвоз съестных припасов с моря (и прежде всего из Франции и Дании) совершенно прекратился, привезенные продукты не разгружались, цены в Лондоне росли с невероятной быстротой. К бастующим присоединились рабочие электрических станций, гидравлических предприятий, газовых заводов,

канализации. Правительство стянуло войска в Олдершот (у Лондона), так как опасалось революционных действий со стороны бастующих. Но одновременно кабинет Асквита решил взять на себя посредничество между рабочими и предпринимателями. Слишком уж тревожный вид принимали события, особенно в столице. 11 августа 1911 г. газета, наиболее читаемая в столице («Daily Mail»), писала: «Стачечники — хозяева положения. Столица находится в положении осажденного города, в котором гражданская война — к счастью, сопровождающаяся лишь незначительными насилиями,— в разгаре». Впечатление было колоссальное — большее, чем во время некоторых волнений, вызванных зимой 1908/09 г. ростом безработицы, больше также, чем при железнодорожных стачках 1910 г., чем при громадном стачечном движении в Уэльских угольных копях в том же 1910 г. Впрочем, углекопы не замедлили присоединиться и в 1911 г. к бастующим. Вождь федерации шахтеров Роберт Смайли провозгласил 22 июля 1911 г., что: 1) должно добиваться установления минимума заработной платы, ниже которой хозяин не мог бы предлагать никому, и 2) стремиться к национализации копей.

В начале октября 1911 г. это требование было принято на съезде федерации шахтеров в Саутпорте. Хозяева не согласились, и 18 января 1912 г. шахтеры начали стачку. К этому времени стачка транспортников уже закончилась с значительнейшими уступками со стороны хозяев. Рабочий класс понял конец стачки транспортников как их победу, и теперь, в 1912 г., шахтеры держались не 6 дней, как думали сначала хозяева, а ровно в семь раз больше — 6 недель. Убытки были колоссальны. Статистик Джон Холт Скулинг (Schooling) высчитал, что эта шестинедельная стачка шахтеров обошлась рабочим в 16 миллионов фунтов стерлингов, а хозяевам — в 20 миллионов, и эти цифры считаются скорее преуменьшенными. Кончилось частичной победой шахтеров: 29 марта 1912 г. прошел акт, дающий право правительству устанавливать минимальную плату для рабочих-углекопов, если этот минимум не будет установлен смешанной комиссией из рабочих и хозяев.

Не успела улечься стачка шахтеров, как летом 1912 г. разразилась новая стачка транспортников, недовольных нарушением со стороны хозяев некоторых пунктов соглашения (кончившего первую стачку). Но на этот раз правительство не было так серьезно заинтересовано в скорейшем окончании конфликта, как в 1911 г. (в эпоху агадирского дела), и не произвело нужного давления на хозяев. Кроме того, хозяева успели заблаговременно запастись большим количеством штрейкбрехеров. После трехмесячной стачки рабочие потерпели неудачу и стали на работу, ничего не добившись. Но именно это обстоятельство

грозило новыми и новыми осложнениями. И действительно, в 1913 г. новые и новые стачки не переставали возникать во всех промышленных центрах Англии и прежде всего опять-таки среди транспортников. В 1913 г. еще более резко выступила та черта, которая уже с 1909—1910 гг. стала бросаться в глаза: бессилие старых тред-юнионов остановить стачечное движение, даже если они желали это сделать; могущество решительно настроенных самочинных комитетов и организаций, берущих в свои руки боевые задачи. Особенно в этом смысле показательна была частичная, но все же громадная стачка на многих бумагопрядильнях в Ланкашире (в 1913 г.), длившаяся девять недель вопреки резко выраженной воле всех заинтересованных тред-юнионов, причем эта стачка руководилась представителями меньшинства рабочих, но меньшинства, очень решительно настроенного.

Все это производило большое впечатление на капиталистов-предпринимателей и правительство. Быстрое распространение революционного духа среди рабочего класса не подлежало никакому сомнению. И дело было не столько в пропаганде и работе тех или иных организаций, сколько в общем сдвиге в мысли и настроении, том сдвиге, который порожден был изменившимся общим положением английской промышленности на мировом рынке.

Отметим тут в главных чертах, какова была линия развития социалистических организаций в Англии в последние десятилетия. Социал-демократическая федерация, основанная Генри Гайндмэном в начале 80-х годов [10], была первой в сущности группой, пропагандировавшей в Англии марксистский социализм (Гайндмэн лично знал Маркса и находился под его живым влиянием). Собственно, эта группа всегда оставалась больше штабом квалифицированных агитаторов, сравнительно не очень многочисленным, чем политической большой партией в точном смысле.

Почти одновременно, в январе 1884 г., в Лондоне возникло Общество фабианцев, социал-реформистского типа и настроения. Они стояли за «постепенность» в достижении социальных улучшений и даже название свое приняли в память знаменитого римского вождя Фабия Кунктатора (*Медлителя*), который долго спасал своей осторожностью римскую армию, избегая опасного сражения с Ганнибалом. Фабианцы полагали, что рабочему классу тоже нужно избегать решительного боя с капиталом, который крайне силен и останется победителем в случае немедленного начала решительной борьбы. Фабианцы сильно способствовали распространению социалистически окрашенных теорий как среди рабочего класса, так и в интеллигенции. А в 1889 г. в Шотландии Кейр-Гарди основал (предска-

занную как нечто неизбежное Энгельсом) первую шотландскую рабочую партию, которая по идее должна была быть классовой организацией рабочих для политической и экономической борьбы. Прежде всего эта партия должна была ввести в парламент своих собственных кандидатов, независимых ни от либералов, ни от консерваторов. В январе 1893 г. на конференции рабочих организаций в Брадфорде была основана и общебританская Независимая рабочая партия. Эта партия обратила особое внимание на тред-юнионы, старые профессиональные союзы, стремясь оставаться с ними в наилучших отношениях, не отпугивать их слишком радикальными лозунгами и использовать их для предвыборной борьбы против обеих буржуазных партий — как либералов, так и консерваторов. В 1900 г. на конференции в Лондоне произошло организационное объединение как тред-юнионов, так и Независимой рабочей партии, и Социал-демократической федерации, и Общества фабианцев. Они избрали сообща особый Комитет представительства труда (Labour Representation Committee), специально для планомерной и согласованной работы в связи с парламентскими выборами. Главным деятелем комитета стал Рамсэй Макдональд. В просторечии Комитет уже с момента своего издания стал называться Рабочей партией (Labour Party), и чем больше профессиональных союзов и организаций к нему присоединялось, тем более упрочивалось это название за всей совокупностью представленных этим Комитетом организационных единиц. На январских общих парламентских выборах 1906 г. Рабочая партия имела ряд успехов и провела в парламент 29 человек. Тогда же это название (Labour Party) сделалось уже официальным. В 1911 г. число членов Labour Party превысило уже $1^1/_2$ миллиона человек, а число депутатов, которыми партия располагала в парламенте, было равно (после выборов конца 1910 г.) 42.

Таково было положение вещей в последние годы перед войной. Более левые элементы партии образовали (на съезде в Манчестере 27 мая 1912 г.) Британскую социалистическую партию.

Но, повторяю, в 1910—1914 гг. кабинет Асквита должен был самым серьезным образом считаться не столько с существующими организациями, сколько с быстрой, стихийной революционизацией многочисленных пластов рабочего класса. «Молодые рабочие, по крайней мере те, которые составляют отборную часть своих современников, глубочайше раздражены против тех условий жизни, которые являются их участью. Они не хотят жить в той среде, которой удовлетворялись их отцы... В глубине их души коренится дух возмущения против той жизни, которая им открыта»,— так писала «Westminster Gazette» в октябре 1910 г., после волны стачек. Близкий к рабочей массе

публицист Роберт Блэтчфорд писал (25 августа 1911 г., тоже после еще более грандиозного стачечного движения): «Я начинаю чувствовать неясно и смутно, что я уже не понимаю английского народа: он не тот, который был мне известен. Он — новый и странный. Масса меняется» [11]. Уже с 1913 г. было несомненно, что вся Рабочая партия, эта пестрая, неуклюжая в движениях, сложная по социальному составу масса, чтобы сохранить свое влияние на рабочий класс, *должна* будет сильно передвинуться влево; еще более несомненно было и то, что если правящему классу (или классам) угодно, чтобы социальная борьба в дальнейшем не покинула стен парламента и окончательно не вышла на улицу, следуя страстным призывам антипарламентской революционной агитации [12], то предстоит настоятельная необходимость усилить и расширить социальное законодательство, не останавливаясь ни пред какими расходами; предстоит, может быть, в самом деле национализировать копи, выкупить железные дороги, и тут уже один «бюджет Ллойд-Джорджа» не поможет. Понадобится напрячь все финансовые силы государства.

А как это сделать, когда Германия не желает прекратить разорительные состязания в судостроении? Когда в Европе каждые три-четыре месяца грозит вспыхнуть пожар новой войны? А рабочее движение было лишь одной из трудностей в положении английского правительства.

Была и другая, снова открывшаяся, очень старая и болезненная рана — Ирландия. И раскрывалась эта рана все болезненнее как раз в 1912—1914 гг. Что Ирландию нужно удовлетворить и умиротворить хотя бы настолько, чтобы можно было не опасаться революционного взрыва во время предстоящей, весьма вероятной борьбы с Германией, с этим были согласны и консерваторы, до конца 1905 г. управлявшие Англией, и либералы, с конца 1905 года сменившие их у власти. Вот почему та самая консервативная партия, так долго и упорно проваливавшая все попытки Гладстона дать Ирландии какие-либо льготы и права как политические, так и экономические, с полной готовностью пошла за своим консервативным правительством, когда в 1903 г. правительство внесло и провело через парламент закон (выработанный Уиндгемом) о выкупе у лендлордов земли в Ирландии и о раздаче ее арендаторам за известные, длительно рассроченные выкупные платежи. Требовался расход огромный — больше 112 миллионов фунтов стерлингов, и на эту жертву кабинет Бальфура пошел. С первого же года своего правления, с 1906 г., либеральный кабинет Кемпбель-Баннермана пошел по тому же, совсем новому пути, опять-таки не стесняясь расходами. Джемс Брайс выработал и провел два закона: первый — о постройке и отдаче на льготных осно-

ваниях ирландским крестьянам 25 тысяч домов для жилья и второй — о кредитах на выкуп городских и пригородных усадеб и о предоставлении их живущим там на тех же льготных основаниях, с рассрочкой выкупных платежей, как это было сделано в 1903 г. с землей. Далее. В 1909 г. произведены дополнения к реформе 1903 г., делавшие выкуп земли у лендлордов фактически *принудительным*.

Все эти мероприятия были направлены к тому, чтобы превратить безземельного, зависимого ирландского аграрного пролетария в крестьянина-собственника и вырвать почву из-под вечно тлеющей в Ирландии и постоянно вспыхивающей пламенем аграрной революции. *Городской* революции в Ирландии английское правительство не боялось, хотя знало, что одной аграрной реформой многовековое революционное движение прекратить нельзя и что мелкая и средняя буржуазия в городах требует политического полного самоуправления, а некоторые ее элементы — даже совершенного суверенитета Ирландии и полного отделения от Британской империи. Но правительство твердо знало также, что если ирландское крестьянство отойдет от революции, то революция в этой земледельческой стране потеряет главную свою силу и экономическую почву.

Но и тут подтвердилась мысль, высказанная некогда историком Токвилем: самый опасный момент для дурного правительства есть тот, когда оно начинает поправляться; а для Ирландии английское правительство слишком долго, целые сотни лет было именно очень дурным правительством. Могущественные экономические последствия аграрной реформы 1903 г. и позднейших дополнений стали явственно сказываться лишь позже — во время войны [13] и после войны. А в 1908—1914 гг. крестьянство лишь медленно и понемногу отходило от старой, привычной своей психологии; да и реформа лишь постепенно могла реально проводиться в жизнь. Между тем ирландская буржуазия и немногочисленный, но все же имеющийся там городской пролетариат настаивали на дальнейших уступках и прежде всего — на даровании широкого самоуправления. Нужно было продолжать начатое. И кабинет Асквита быстро выработал и внес в парламент в 1912 г. билль о самоуправлении Ирландии — Home Rule bill (Home Rule — самоуправление). По этому закону, Ирландия управляется особым «ирландским парламентом», состоящим из двух палат — *нижней палаты и* сената. Нижняя палата состоит из 164 депутатов, выбираемых на пять лет (по одному депутату от каждых 27 тысяч жителей). Сенат состоит из 40 человек, назначаемых английским королем (впоследствии предусматривалась особая выборная система для пополнения сената). Представителем королевской власти в Ирландии является лорд-наместник, назначаемый королем на 6 лет.

При нем состоит особая исполнительная комиссия, т. е. министерство, ответственное пред ирландским парламентом. Но лорд-наместник все же сохраняет право обжаловать все решения ирландского парламента в английский тайный совет при короле. Таковы были главные основания этой реформы. Хотя армия, флот, дипломатия, чеканка монеты, таможенная политика всецело оставались в руках британского правительства и парламента, но все чисто ирландские внутренние дела отходили к новосозданному ирландскому парламенту и министерству.

Уже в парламенте — как в палате общин, так и в палате лордов — этот билль натолкнулся на жестокое сопротивление. Лорды, задержав его, сколько могли, отвергли 30 января 1913 г. Борьба длилась весь 1913 год, и когда, наконец, билль стал проходить через все законодательные инстанции, борьба вдруг приняла особенно яростную форму.

Эта борьба исходила сначала не с ирландской, а с английской стороны. На этот раз в Ирландии большинство населения приняло это самоуправление либо равнодушно, либо в общем с удовлетворением. При всех недостатках, намеренных неясностях и недоговоренностях своих, этот закон все-таки открывал новую эру, давал возможность на уже отвоеванной почве продолжать более успешную дальнейшую борьбу. Правда, крайнее радикальное течение ирландских националистов, так называемые синнфейнеры, были недовольны и требовали полного отделения Ирландии в качестве совершенно самостоятельной республики. Но не они первые встали на революционный путь с целью всеми мерами противодействовать новому закону: это сделали так называемые ольстерцы. Ольстер (Ulster) — северная часть Ирландии, четвертая часть по ее территории и более чем третья часть по населению: в Ирландии в 1911 г. числилось 4382 тысячи человек, из них в Ольстере жило 1578 тысяч человек. И экономически, и в расовом, и в религиозном отношении Ольстер совсем не походил на остальные три (католические) провинции Ирландии и в течение двух с половиной последних столетий упорно враждовал с остальной Ирландией. Населен он был шотландцами и англичанами, оттеснившими прежних ирландских туземцев, и притом здесь, в Ольстере, не только высший лендлордовский слой был английским и шотландским, но и среди фермеров, мелких землевладельцев и городского населения были очень сильны шотландский и английский элементы. В Ольстере не были никогда так глубоки и резко выражены классовые противоречия, как в остальной Ирландии. В Ольстере между крупным землевладением и арендаторами были еще посредствующие слои — средние и мелкие землевладельцы, хуторяне-собственники и т. д. В религиозном отношении Ольстер тоже отличался от трех остальных сплошь

католических провинций Ирландии: в Ольстере из 1578 тысяч жителей всего 690 тысяч было католиков, остальные же были протестанты, отчасти селившиеся здесь еще с конца XVI в., отчасти же потомки тех английских и шотландских служилых людей, которым еще в XVII столетии, после двух страшных усмирений, сначала Кромвель, а спустя сорок лет король Вильгельм III (Вильгельм Оранский) роздали землю и поселили массами в Ольстере. Эти поселенцы чувствовали себя на ирландском острове оплотом и авангардом господствующей британской расы и считали себя несравненно выше побежденных и раздавленных нищих ирландцев-католиков. Каждый год в годовщину битвы при Бойне (1 июля 1690 г.) громадное «Оранжистское общество», организация, названная в честь победителя и усмирителя ирландцев Вильгельма Оранского и охватывающая тысячи людей, устраивает в Ольстере демонстративные торжества, шествия, митинги. Именно ольстерцы из всех англичан всегда проявляли к ирландцам больше всего вражды и ненависти. Именно они твердо решили ни за что не допускать самоуправления Ирландии: они боялись, что в будущем ирландском парламенте они будут всегда в меньшинстве (против остальных трех провинций) и что ирландский элемент получит на всем острове, а значит и в Ольстере, полное преобладание, как экономическое, так и политическое. Уже в 80-х годах XIX в., когда Гладстон впервые стал думать о введении самоуправления в Ирландии, ольстерцы возмущались этим и заявляли, что не допустят, чтобы ими управляли ирландцы-католики. Но тогда дело провалилось еще в парламенте. Теперь же, когда либеральный кабинет Асквита, желая умиротворить окончательно Ирландию, серьезно повел дело и внес билль о самоуправлении, в Ольстере «Оранжистское общество» стало во главе сопротивления. Составлен был комитет из ольстерцев и англичан. Консервативная партия в Англии была против проекта Асквита и решила всячески помогать ольстерцам. Решено было в случае необходимости бороться против ирландского самоуправления с оружием в руках. Лорд Биркенхед, лорд Керзон [14], Уолтер Лонг демонстративно примкнули к ольстерскому движению. А движение разрасталось. Открыто собирались пожертвования на борьбу, закупалось в массовом масштабе огнестрельное оружие и свозилось в Ольстер. Со своей стороны, ирландцы (не только синнфейнеры, но и более умеренные элементы) заявляли, что они с оружием будут отстаивать дарованное им самоуправление против «ольстерских бунтовщиков». Каково было положение кабинета Асквита перед лицом этих неожиданных событий? Так как ирландские дела, как увидим, сыграли крупную роль в роковое лето 1914 г., нам нужно точно усвоить себе один факт, который совсем ускользнул в свое вре-

мя от наблюдавшего за Ирландией Вильгельма II и даже от специально им посланного в Ольстер наблюдателя — Кюльмана. Дело в том, что за границей (и больше всего в Германии) безмерно преувеличивали «революционность» выступления ольстерцев: правительство вовсе и не думало с ольстерцами бороться по-настоящему. Напротив, ольстерцы выводили его из некоторого затруднения. Можно было умыть руки и, сославшись на опасность гражданской войны, не вводить самоуправления, и вместе с тем Ирландия (т. е. три католических провинции) должна была роптать не на правительство, а на четвертую провинцию — Ольстер. Революция же аграрная, самая опасная, была предотвращена не этим биллем о самоуправлении, но аграрным законом 1903 г., законом о принудительном отчуждении 1909 г. и быстрым фактическим переходом лендлордских земель в руки крестьян.

Так что, по существу, правительство ничего не теряло от сопротивления ольстерцев. Оружие ольстерцам готовилось не против англичан, а против ирландцев; вот почему правительство и прикидывалось «бессильным» помешать его закупке и ввозу в Ольстер. Заходя вперед, скажу еще, что когда английские офицеры весной 1914 г. выражали «нежелание» биться с ольстерцами (с которыми, кстати, никто и не думал заставлять их биться) и в Германии писали с ликованием о «бунте английских войск», в эти дни один из «бунтовщиков», поручик Асквит, ежедневно обедал в доме своего дяди, первого министра сэра Генри Асквита.

Подводя итог сказанному в этом параграфе, прибавлю еще раз, что все-таки даже ввиду ольстерского «бунта» положение английского правительства в 1912—1914 гг. было нелегким. Ведь вооружались не только ольстерцы, но и ирландцы, и чем больше дело приближалось к столкновению, тем более становилось ясным, что если между ольстерцами и ирландцами дойдет дело до побоища, то в ирландском лагере возьмут верх и начнут играть руководящую роль именно непримиримые сепаратисты-республиканцы синнфейнеры. Новые грандиозные стачечные движения в Англии и сложная ирландская смута, если не сейчас, то в близком будущем,— вот с чем необходимо было считаться. Редко какой бы то ни было британский кабинет был когда-либо так стеснен в своих внешних делах осложнениями во внутренней политике, как министерство Асквита в 1912—1914 гг., и редко, когда ему до такой степени требовалась полностью вся свобода действий, как именно в эти годы. Катастрофа приближалась гигантскими шагами, и по все ускоряющемуся темпу событий уже как будто чувствовалась близость водоворота. Английские внутренние дела имели громадное реальное значение для британского правительства. Но, как это ни пара-

доксально, еще более колоссальное историческое значение имело то; как эти английские внутренние дела *представлялись*, как преувеличивались английские затруднения германским правительством, какими они *казались* со стороны, на континенте. Среди роковых ошибок, ложных расчетов, иллюзий последнего года европейского мира английские фантомы сыграли наиболее решающую роль в *ускорении* уже неотвратимого кровопролития. Мировой империализм, порожденный могущественным капиталистическим развитием, неминуемо должен был кончить гигантской «пробой сил», или, точнее, произвести *первую* (в подобных размерах) пробу сил. Но чтобы понять, почему эта проба сил началась несколько раньше, чем думали многие наблюдатели, и началась именно в такой обстановке и при такой комбинации, нужно вглядеться в историю последних мирных месяцев. Мы увидим, что и реальные факты, и недоразумения, и фантомы — все как будто соединилось, чтобы ускорить наступление и без того неизбежной катастрофы.

Глава XII

ЕВРОПА НАКАНУНЕ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 1913—1914 гг.

1. Лихорадочное вооружение Европы. Экстренный миллиардный кредит на военные нужды в Германии. Восстановление трехлетней военной службы во Франции. 2. Миссия генерала Лимана фон Сандерса. 3. Настроения в русских дипломатических кругах. Вопрос о Константинополе и проливах. 4. Напряженное состояние в Европе в первые месяцы 1914 г.

1

После всего сказанного в предшествующих главах, история последнего года европейского мира может быть изложена без особенно подробных объяснений, до такой степени каждый крупный факт последних месяцев перед началом войны логически вытекает из всей совокупности предшествующих обстоятельств. Единственным способом, который яснее всего может развернуть перед читателем цепь событий 1913 и первой половины 1914 г., является хронологически последовательный рассказ о том, как одна держава за другой окончательно вовлекались в это общее, все ускорявшееся течение, направлявшееся к водовороту. Паника и угрозы не приурочивались к определенному лагерю: оба лагеря в эти последние месяцы перед катастрофой почти одновременно и боялись и угрожали друг другу, угрожали из боязни быть опереженными. «Принципиальных» противников войны не было ни среди правительств Тройственного союза, ни среди правительств Антанты. Провал второй Гаагской конференции (1907 г.) на этот раз не привлек ничьего внимания: просто отбыли формальность, без которой как-то неудобно было обойтись. К 1912—1913 гг. о Гаагском трибунале говорили только с улыбкой. Сигнал к новым поспешным, панически быстрым вооружениям почти одновременно подали Германия и Франция. Уже в феврале 1913 г. усилились выступления немецких газет

против Франции. Пуанкаре и стоявшее за ним правительство республики германская пресса обвиняла в том, что они собираются отменить изданный в 1905 г. закон о двухлетней воинской повинности и заменить его законом о трех годах обязательной военной службы. Действительно, Пуанкаре этого желал. Но в палате и в стране еще не была надлежащим образом подготовлена почва для восстановления этой тяжелой для всего населения меры. Эту почву и создало германское имперское правительство. Дело в том, что дружное выступление германской империалистской прессы знаменовало новое грандиозное мероприятие Германской империи по усилению своей сухопутной армии.

Германская армия на мирном положении, по утверждению экспертов Антанты, состояла в 1913 г. из 724 тысяч человек (официальные немецкие данные уменьшали эту цифру до 530 тысяч). Теперь было предположено увеличить армию минимально на 60 тысяч человек, максимально — на 140 тысяч человек, и германское правительство заявило рейхстагу о необходимости получить для немедленного осуществления этой реформы сверхсметную чрезвычайную расходную сумму в 1 миллиард марок. Чтобы получить эту сумму, требовался единовременный *прибавочный* подоходный налог в 10—15% *сверх* обыкновенного, уже функционировавшего обычного подоходного налога (довольно высокого). Этот прибавочный, неожиданный налог для некоторых категорий плательщиков был равносилен конфискации части их достояния, так как уплатить новый налог из «доходов» они фактически не могли. Когда в начале марта (1913 г.) официозная газета «Norddeutsche Allgemeine Zeitung» возвестила об этом налоге для нужд новых чрезвычайных вооружений, то она прибавила, что Вильгельм II принял это решение «еще в январе». Французы сейчас же подхватили это сообщение и сочли его доказательством, что инициатива новых вооружений исходит от Германии, так как о переходе к трехлетней службе вместо двухлетней во Франции заговорили только в феврале. Но это уж было неважно. События развивались безостановочно и все в одном направлении.

7 апреля 1913 г. канцлер Бетман-Гольвег произнес в рейхстаге большую речь, вызвавшую тревогу в Европе. Было ясно, что Вильгельм II и канцлер знают о недовольстве в империалистских германских кругах ничтожными результатами официальной политики и что император желает отнять инициативу в руководстве наступательной внешней политикой у кронпринца и у стоящих за ним пангерманистов из среды крупных промышленников и финансистов. Видно было также, что Вильгельм и канцлер не хотят, чтобы время работало на Антанту, и начинают лелеять мысль о «предупредительной войне».

Бетман-Гольвег учел изменения на Балканском полуострове как обстоятельство, ухудшающее положение Германии; он коснулся опасной темы о вражде германцев и славян, о русском панславизме, о росте антигерманских настроений во Франции. Он прибавил: «Наша верность Австро-Венгрии идет *дальше* дипломатической поддержки». Германская патриотическая печать со своей стороны усиленно готовила почву для благополучного вотирования новых кредитов на вооружения и изо всех сил раздувала пограничный инцидент в Нанси, где немцы были избиты *французами и полиция их не защитила*. Инцидент уладился быстро, но несколько дней подряд пангерманская пресса требовала ультимативных нот Франции. Как раз в это же время (в середине апреля 1913 г.) Карл Либкнехт разоблачил прямые финансовые и политические связи, существовавшие между пангерманской печатью и фирмой Круппа, выделывавшей военное снаряжение (прежде всего артиллерию). Между прочим Либкнехт указал, что немецкие фирмы влияют даже на французскую шовинистическую прессу, чтобы иметь предлог ссылаться на французские угрозы.

То же самое явление неоднократно констатировали во Франции Жорес и другие лидеры социалистической партии, указывавшие на связь знаменитых оружейных заводов Шнейдер (в Крезо) с главными парижскими редакциями. Эти разоблачения не мешали газетам по-прежнему патравливать оба народа друг на друга.

В ответ на речь Бетман-Гольвега президент Французской республики Пуанкаре отправился (23 июня 1913 г.) в Лондон с торжественным визитом к английскому королю Георгу V. Этот визит и речи, которыми обменялись король и президент, должны были явиться демонстрацией неразрушимой прочности Антанты. В Германии была подхвачена загадочная статья газеты «Times», которая уже после визита Пуанкаре отзывалась о значении этого посещения как о самом *важном* по своим последствиям из всех официальных визитов, бывших в последнее время. Спустя несколько дней после визита Пуанкаре в Лондон германский рейхстаг принял в третьем чтении новый военный закон об увеличении армии и отпустил полностью все требовавшиеся правительством кредиты.

Правда, Шейдеман выступил от имени социал-демократической партии с протестом, пустил в ход несколько резких фраз и т. п., но все требования правительства прошли весьма гладко. В общем этот исключительный налог распространялся на средние и крупные доходы, а мелкие (до 5 тысяч марок в год) оставались от него свободны. Но представители крупного капитала на этот раз роптали мало (часть консерваторов с Гейдебрандтом во главе была исключением). Они, как и все, знали, что

речь идет об усилении военной подготовки к тому предстоящему столкновению, которое они призывали всей душой. Мало того. Империалистская оппозиция, оппозиция справа, представителем которой был, между прочим, и упомянутый уже выше Пауль Лиман, подчеркивала, что это внезапное требование от народа прибавочного миллиарда, и как раз в год двадцатипятилетнего юбилея правления Вильгельма II, указывает на полную неудачу всей внешней политики царствования.

«Год юбилея — год жертв!» — восклицали они и указывали, что подобные жертвы требуются от народа только под влиянием крайней нужды и принуждения (die härteste Not und der aüsserste Zwang). Вывод был один: немецкий народ принесет с готовностью эту жертву, если правительство пустит, наконец, в ход могучую армию, второй в мире флот, богатства страны, «патриотизм» всего населения, не исключая значительной части рабочего класса, чтобы разбить удушающую цепь, которой Антанта окружила Германию в Европе и вне Европы. Но эта громадная, беспрекословно принесенная жертва, этот миллиард сверх сметы (и сверх всяких предположений) на новые корпуса и новые орудия, эти настойчивые приглашения начать, «наконец», энергичную политику — все это ставило имперское правительство в трудное положение. Приходилось решать. А тут еще вторая балканская война, разразившаяся летом 1913 г., круто изменила к худшему положение Австрии (так как усилила Сербию, ослабила Болгарию, отбросила Румынию от Австрии и Германии к Антанте). Колебаниям Германии приходил конец.

Вопрос в правящих кругах Германии стоял так: кто главный враг в Антанте и против кого выгоднее выступить? Бетман-Гольвег, канцлер империи, определенно полагал, что главный враг — Россия и что война с Россией, даже если ей поможет Франция, несравненно легче и, главное, сулит больше положительных результатов, чем война с Англией. Морской министр, адмирал фон Тирпиц, напротив, считал необходимым по возможности щадить Россию и идти ей навстречу, а готовиться к войне, имея в виду прежде всего возможное столкновение с Англией. Остальные руководящие деятели примыкали большей частью (в 1913 г.) к воззрению Бетман-Гольвега. *Победить* Англию, т. е. разгромить английский флот, высадиться на английском берегу, идти на Лондон и тут потребовать выдачи английских колоний — это было больше патриотическим бредом, чем сколько-нибудь реальным планом, и фон Тирпиц, конечно, не это имел в виду. Он имел в виду создать такой флот, при существовании которого возможно было бы успешно выдерживать оборонительную войну в случае английского нападения. Так он заявлял. Но именно это делало его точку зрения неприемлемой. Крупный капитал и все, что с ним было связано,

требовали приобретений, нового «места под солнцем», «больше земли» («mehr Land»), как несколько позже назвал свой боевой памфлет воинствующий империалист Франц Гохштеттер. А получить это было возможно только от России и Франции. Собственно, от французской территории в Европе предполагалось (и в первый же год войны стало формальным требованием *всех* организаций промышленников) отторгнуть два округа французской Лотарингии — Брие и Лонгви, богатые рудой, сверх того потребовать выдачи колоний в Северной и Центральной Африке. От России можно было получить Курляндию и русскую часть Польши, а при более счастливом повороте еще Лифляндию и Эстляндию; кроме того, можно было потребовать у нее заключения нового, еще более благоприятного, торгового договора. Победа над Францией казалась нелегкой, но вполне возможной; победа над Россией — и легкой и несомненной. Канцлер Бетман-Гольвег не находил слов для выражения своей вражды и презрения к России и к ее силам. В подавляющем большинстве представители германской армии поддерживали его в этом. Германский главный штаб держал на русской границе весьма незначительную часть вооруженных сил Германии. Главные силы и средства сосредоточивались на западной границе империи. В Германии мало верили в возрождение русской армии после японской войны.

Впоследствии в Германии с раздражением спрашивали Бетман-Гольвега и других ответственных лиц: как им вообще пришло в голову так странно решать вопрос? Почему им показалось, что придется иметь дело не со *всей* Антантой, которую, несмотря ни на какие попытки, не удалось в течение десяти лет разъединить, а только с Россией и с Францией? На этот вопрос ни разу не было дано сколько-нибудь основательного ответа. И в самом деле, если дать ответ на этот вопрос было очень трудно даже в 1919 г. или в 1922 г., то понятно, что в 1913—1914 гг. ошибался в этом отношении не только Бетман-Гольвег, но и лица, располагавшие более сильными интеллектуальными средствами, чем этот исполнительный и по-своему добросовестный бюрократ.

Ни для кого не было тайной, что персидская революция и последовавшее по англо-русскому соглашению 31 августа 1907 г. разделение Персии на русскую, английскую и нейтральную полосы не внесли успокоения в персидские дела. В Германии с напряженным вниманием следили за постоянными перекорами и недоразумениями, происходившими в Персии между русскими и английскими чиновниками, а также между русскими чиновниками и английскими коммерсантами и промышленниками. Дело доходило уже до неприятной полемики между английскими и близкими к правительству русскими газетами.

Положение России в Персии вследствие географических условий было настолько выгоднее, чем положение Англии, что русское продвижение в Персии неминуемо должно было идти быстрее. Все это порождало некоторое раздражение в Англии. Правда, до настоящего охлаждения, до разрыва Антанты было еще очень далеко, но торопившимся публицистам империалистской прессы в Германии и, как потом оказалось, самому германскому правительству стала приходить в голову мысль, что Англия не пожелает помогать России в случае ее столкновения с Германией и Австрией, что времена Эдуарда VII миновали и что традиционная англо-русская вражда возобновится в скором времени. Усиленная и резкая брань русских крайних правых органов против Англии и Франции и их нескрываемое сочувствие Германии также производили свое впечатление.

Канцлер Бетман-Гольвег полагал, что настала пора энергично повести миролюбивую политику относительно Англии, в то же время деятельно готовить фронт против России и Франции. Эта «миролюбивая» политика должна была, по соображениям германской дипломатии, произвести тем больше впечатления, что Англия (тоже по соображениям германской дипломатии) находилась в 1913—1914 гг. накануне огромного рабочего движения с ясно выраженным революционным оттенком и одновременно накануне гражданской войны в Ирландии и, может быть, отпадения Ирландии от Британской империи. Неужели при этих тягостнейших обстоятельствах Англия выступит, когда ее никто не трогает и когда с ней хотят жить в мире, выступит, чтобы этим помочь России, явно желающей забрать, вопреки условию, всю Персию в свои руки? Может быть, этот момент, когда Англия и не захочет и не сможет выступить против Германии, больше и не повторится? Но если так, то преступно со стороны германского правительства терять этот момент, не использовать обстановку. Этот последний вывод делал уже не Бетман-Гольвег; его делали другие лица и в прессе и в ближайшем окружении императора.

Но долго ли Англия будет стоять в стороне от борьбы? Успеет ли Германия разгромить Францию, Германия и Австрия — Россию, пока Англия вмешается? Безусловно успеют, отвечал Мольтке-младший, племянник покойного фельдмаршала (победителя Франции в 1870—1871 гг.), тогда, в 1913—1914 гг., занимавший должность начальника главного штаба. За *быструю* победу над Россией и Францией ручался план Шлиффена, евангелие германской армии, благоговейным хранителем и исполнителем заветов которого желал быть Мольтке-младший.

План Шлиффена оказал такое могущественное, ни с чем несравнимое влияние на умы в Германии, начиная с ближайшего окружения императора и кончая Зюдекумом, Давидом,

Франком и другими вождями правого крыла социал-демократии, что о нем даже в этом кратком изложении событий непременно следует сказать несколько слов. Еще тогда, когда подготовлялся франко-русский союз, т. е. за 23 года до описываемого времени, в германском главном штабе усиленно работали над планом войны на два фронта и уже тогда остановились на некоторых твердых положениях: 1) война должна быть непременно непродолжительной; 2) молниеносным ударом должно вывести из строя одного противника, направив на него все силы и предоставив пока другому противнику делать, что ему угодно; 3) выведя из строя одного противника, перебросить всю армию полностью против другого и также принудить его к миру. В начале 1891 г. начальником штаба прусской армии был назначен граф Альфред фон Шлиффен. Вплоть до своей отставки, последовавшей 1 января 1906 г., генерал Шлиффен занимался составлением, уточнением и усовершенствованием плана войны Германии против союзных Франции и России. Приверженец наполеоновской стратегии так называемой борьбы на уничтожение противника, сторонник молниеносных и сокрушительных ударов, Шлиффен построил свой план с таким расчетом, что война должна окончиться в срок от 8 до 10 недель; в крайнем случае в этот срок должна определиться победа Германии. Мобилизационный план был разработан Шлиффеном и его помощниками с такой необычайной тщательностью, что передвижения отдельных частей и первоначальные действия предусматривались и определялись с точностью в некоторых случаях до часа. Все силы германской армии бросались на Францию, но не через эльзасскую и лотарингскую границы, а через Бельгию, так как в первом случае пришлось бы пробиваться сквозь ряд первоклассных французских крепостей, а идя через Бельгию, можно было проникнуть до Парижа через северную Францию, не встретив иных препятствий, кроме французской армии. Опрокинув французскую армию и войдя в Париж, немцы должны были заключить с французами мир или перемирие, первым условием которого являлся выход Франции из войны, и затем по внутренней германской высокоразвитой железнодорожной сети вся германская армия с возможной быстротой перебрасывалась к русской границе и вторгалась в Россию. Мир с Россией можно было бы заключить, заняв часть русской Польши и часть Остзейского края. Углубляться в Россию не было бы надобности, так как предполагалось, что Россия, оставшись без французской помощи, не в состоянии будет продолжать войну.

Таков был в общих чертах план Шлиффена. Этот план составлялся в 1891—1900 гг., следовательно, без учета существования Антанты. Об Англии не было и речи. И хотя граф Шлиф-

фен был еще начальником главного штаба 1¾ года после англо-французского соглашения и был еще жив, когда Россия вошла в Антанту (он умер лишь в январе 1913 г.), но он не внес соответствующих перемен в свой план. Его преемники тоже продолжали считаться только с Францией и Россией. Это странное на первый взгляд обстоятельство объясняется прежде всего тем, что война, согласно указанному плану, должна была закончиться в несколько недель, причем учитывалось то обстоятельство, что, так как у Англии настоящей большой сухопутной армии нет, то она и не успеет принять серьезное участие в борьбе; Франция и Россия заключат мир, а британская армия все еще будет только организовываться. Быстрота действий была безусловной предпосылкой у Шлиффена и его школы во всех их расчетах. Затяжка войны равнялась, по их убеждению, проигрышу всего дела.

Но тут нас пока интересует не действительная стратегическая ценность плана Шлиффена, а психическое действие, им оказанное. О деталях, конечно, никто, кроме секретного отделения главного штаба, ничего не знал, но основные черты плана были известны всем и в Германии и за ее пределами. И в Германии в этот план верили почти все, начиная от консерваторов и кончая социал-демократами. Критики и скептики, вроде Ганса Дельбрюка, были исключением. Дельбрюк впоследствии противополагал наполеоновской «Vernichtungs-Strategie» — «стратегии уничтожения» противника и молниеносных побед — другую стратегию, более подходящую для страны, окруженной врагами, которые могут и не заключить так быстро мир, как желательно,— «Ermattungs-Strategie» — «стратегию утомления», т. е. борьбу на истощение и утомление противника. Теоретики главного штаба возражали, что эта стратегия (Фридриха Великого в эпоху Семилетней войны) уже совершенно неприменима для Германии в настоящее время и что при затяжной войне погибнет прежде всего германская промышленность, а это предрешит фатальный исход всей борьбы. Указывалось, что не фридриховская, а именно наполеоновская стратегия, усвоенная фельдмаршалом Мольтке, дала в 1870—1871 гг. блестящую победу германской армии.

Больше всего из плана Шлиффена было известно и крепко запомнилось (даже в широчайших народных массах) одно: в несколько недель война будет окончена.

Эта мысль как бы загипнотизировала целые поколения. Несколько недель потрудиться — и победа одержана, громадные колонии отходят к Германии, обширные пахотные и богатые рудой земли переходят в самой Европе в ее обладание, одним ударом исправляется вековая несправедливость истории, и опоздавшая к разделу земного шара Германия получает лучшие части колониальной империи Франции. Россия становится

прочно обеспеченным за Германией рынком сырья и сбыта, Балканский полуостров и Турция экономически подчиняются Германии, весь континент объединяется вокруг Германии в борьбе против англо-саксонского преобладания, против английского и американского капитала, германская промышленность возносится на небывалую высоту, германский рабочий класс занимает место английского и в свою очередь целиком почти превращается в «рабочую аристократию».

И все это достигается путем *восьми недель*, правда, напряженных усилий! Даже и денег тратить не придется: за все вознаградит французская контрибуция. Эти шлиффеновские *восемь недель* и придавали прежде всего столько силы, азарта и уверенности империалистам в их пропаганде; они же и увеличивали с каждым годом в рядах *всех* партий, в том числе и в рядах социал-демократии, число людей, которые привыкали с сочувствием прислушиваться к толкам об энергичной политике и к мечтам об отвоевании для Германской империи «места под солнцем».

Старый лидер социал-демократической фракции рейхстага, центральная фигура всех социал-демократических партейтагов чуть не с основания империи, Бебель, скончавшийся в августе 1913 г., говорил неоднократно, что в случае войны Германии с Россией он сам возьмет ружье на плечо и пойдет воевать, чтобы защитить родину от русского деспотизма. Эти слова с удовольствием цитировались в некрологах, посвященных ему во всей германской печати. Да и вообще самая идея войны с Россией всегда была популярна в социал-демократии; это было традицией, шедшей от далеких времен, от 1849 г., от похода Ридигера и Паскевича в Венгрию на усмирение венгерской революции. Это обстоятельство сильно облегчало позицию германского правительства в 1913—1914 гг.: ведь, как сказано, курс был взят именно на войну с Россией и с Францией, если она станет на сторону России, а об Англии как бы и речи не было. Франция же сама будет виновата в своей судьбе, раз она связала свою участь с русским царизмом и раз она сама замышляет нападение на Германию. Было некоторое несоответствие, какая-то несвязанность между этой агитацией, направленной будто главным образом против России, и планом Шлиффена, основа которого заключается именно в молниеносном и первоначальном нападении на Францию, а еще точнее — на Бельгию и Францию, но вовсе не на Россию, до которой черед должен был дойти лишь на второй месяц войны. Было тоже неясно, почему надеются, что Англия не выступит, как бы миролюбиво с ней ни обращались, если будет нарушен нейтралитет Бельгии, что безусловно требовалось планом Шлиффена. Затем, было вовсе не доказано, что Франция, имея за собой Бри-

танскую империю, заключит так быстро мир, даже если Париж будет взят немцами, а не предпочтет драться дальше, уже после потери столицы. Но обо всем этом как-то мало думалось в 1913 г. и в первые месяцы 1914 г.: слишком уже быстро летело время и громоздились события. И в Германии и в других странах размышление начинало явственно уступать место воображению, увлечению, надеждам.

Ответ со стороны Франции на новые вооружения Германии последовал очень скоро. Президент Пуанкаре, получив точные сведения о готовящемся шаге германского правительства, сейчас же (4 марта 1913 г.) созвал в Елисейском дворце высший военный совет, который единогласно постановил вернуться к трехлетней воинской повинности, без всяких льгот для кого бы то ни было. Тотчас же после этого военный министр внес в парламент законопроект о трехлетней службе. Спустя несколько дней Пуанкаре написал Николаю II письмо (20 марта 1913 г.), в котором, между прочим, напоминал о необходимости «построить некоторые железные дороги на западной границе империи» и прибавлял: «Большое военное усилие, которое предполагает сделать французское правительство, чтобы сохранить равновесие европейских сил, делает особенно неотложным соответственные меры, относительно которых уговорились штабы обеих союзных стран». 21 марта 1913 г. министерство Бриана вышло в отставку (по вопросу внутренней политики), и образовалось министерство Барту — несколько правее Бриана [1]. После долгого обсуждения в палате, продолжавшегося около $1^1/_2$ месяцев, 19 июля 1913 г. большинством 339 голосов против 155 всеобщая трехлетняя воинская повинность была восстановлена.

Жорес и социалисты, лидером которых он был, долго, но безуспешно боролись против этого решения. Положение социалистов было трудное. На нескольких последних международных социалистических конгрессах германские делегаты весьма определенно дали понять, что они не выступят против своего правительства революционным образом, да и вообще никак не выступят в случае начала войны, хотя и не отказывались платонически протестовать против империализма и милитаризма. Жоресу это ставили на вид во французской палате и подрывали этим значение его борьбы против трехлетней службы в глазах радикальной партии, которая тоже с большой неохотой и далеко не дружно шла на восстановление трехлетней службы. С другой стороны, антимилитаристская пропаганда, довольно сильная во Франции еще в 1905—1910 гг., уже с 1911 г. (после агадирского инцидента) стала слабеть и в 1912—1913 гг. все шла на убыль. Ей также сильно вредила позиция социал-демократического большинства в Германии

в вопросах войны и вообще международных отношений. Последовательная и энергичнейшая пропаганда в прессе, наиболее читаемой средней и мелкой французской буржуазией, но поддерживаемой крупными капиталистическими предприятиями, продолжала сеять панику в этих кругах и внушать им, что новое нападение Германии не за горами и что единственное спасение — держаться за Россию.

Колебания в средней и мелкой буржуазии, даже сравнительно «радикально» настроенной, получили свое яркое выражение на общем конгрессе партий радикалов и так называемых радикалов-социалистов в г. По, в середине октября 1913 г. Зная, что сам президент республики Пуанкаре ведет фактически всю внешнюю политику, что его демонстративные путешествия в Петербург и в Лондон и вообще все его выступления сильно способствовали сгущению атмосферы в Европе, конгресс радикалов и радикалов-социалистов вынес резолюцию, в которой осудил «попытки вести личную политику, опасные для престижа парламентских установлений». Но уже на следующий день конгресс перерешил и вотировал новую резолюцию, в которой говорилось, что конгресс вполне лоялен к верховному главе государства и ставит его особу выше партийных раздоров. А ведь конгресс выражал волю партий, составлявших большинство в палате.

При этих условиях Пуанкаре получил полную возможность и впредь неуклонно вести свою линию. Обе стороны как бы наперерыв помогали друг другу в деле военной агитации и национальной травли. Уже с осени 1913 г. стали поступать от французского посла в Берлине Жюля Камбона очень тревожные известия о решительной перемене в Вильгельме II. Французское правительство через Извольского довело об этом до сведения Петербурга. Вот что сообщал туда Извольский 4 декабря 1913 г.: «Император Вильгельм, отличавшийся до сих пор лично весьма миролюбивыми чувствами по отношению к Франции и даже всегда мечтавший о сближении с ней, ныне начинает все более склоняться к мнению тех из его приближенных, по преимуществу военных, которые убеждены в неизбежности франко-германской войны и считают поэтому, что чем раньше вспыхнет эта война, тем будет выгоднее для Германии; по тем же сведениям, подобная эволюция в уме императора Вильгельма объясняется, между прочим, впечатлением, произведенным на него положением, занятым наследником германского престола, и опасением утратить свое обаяние среди германской армии и всех германских кругов». А демонстрации самого провокационного свойства со стороны кронпринца следовали в 1913—1914 гг. одна за другой.

Как раз за несколько дней до передачи австрийского ульти-

матума Сербии, уже в июле 1914 г., кронпринц допустил новую выходку с целью еще более обострить и без того напряженное положение. Тогда появилась как раз книга полковника Фробениуса «Роковой час империи», полная самых необузданных «пангерманских преувеличений» (взятые в кавычки слова принадлежат Бетман-Гольвегу) и довольно прозрачных угроз, направленных против держав Антанты. Кронпринц не замедлил обратиться к Фробениусу с горячими приветствиями и опубликовал эти приветствия.

Впечатление получилось очень сильное: в Англии, во Франции, в России демонстрация кронпринца истолкована была как прямая угроза немедленной войной. Канцлер Бетман-Гольвег был так раздражен этой выходкой (смешивавшей все карты германской политики и слишком явно открывавшей наступательные намерения), что не только имел серьезное объяснение с кронпринцем, но и формально пожаловался императору, указывая на впечатление, произведенное за границей [2]. Вильгельм обратился немедленно к кронпринцу со строгим внушением и приказом воздерживаться «раз навсегда» от подобных выступлений, причем упомянул о данных раньше и нарушенных кронпринцем обещаниях [3]. Но, конечно, все это должно было сильно влиять на Вильгельма, и именно в смысле усиления его воинственности.

Для обеих враждебных коалиций вопрос с конца 1913 г. собственно шел уже о том, что для кого выгодно: отложить выступление еще на некоторое время или ударить немедленно. Вопрос этот ставился, конечно, исключительно в плоскости военно-технических и финансовых выкладок: в смысле «принципиального» своего отношения к организации всемирного побоища как к подходящему способу разрешения назревших несогласий обе стороны *вполне* были похожи друг на друга. Но, как замечено выше, вся обстановка сложилась так, что соблазн поскорее «*начать»* (losschlagen) должен был неминуемо охватить в 1913 г. (в конце его) или в 1914 г. именно Германию и Австрию, а не Антанту. Так сложилась дипломатическая обстановка. Если бы мир продержался, например, до 1916 или 1917 г., то есть все данные думать, что не Германия, а Антанта сочла бы для себя более целесообразным выступить первой. Мораль и человеколюбие дипломатов и правителей обеих враждебных политических комбинаций стояли на одинаковом уровне. Но то обстоятельство, что так *случилось,* что выступила именно Германия, повлекло за собой для Антанты, наряду с некоторыми (особенно вначале) большими невыгодами, один бесспорный выигрыш: Антанта поспешила занять позицию защищающегося. Мы увидим в дальнейшем, что этот выигрыш был во многих отношениях весьма реален [4].

Когда мы говорим об этом предмете уже здесь, в этой главе, еще не выходя пока из хронологических рамок 1913 г., мы этим *не* забегаем вперед. В самом конце этого года произошло событие, которое можно назвать первым ударом набатного колокола, первым сигналом: в декабре 1913 г. в Константинополь прибыл снабженный чрезвычайными полномочиями германский генерал Лиман фон Сандерс. Он явился для реорганизации турецких военных сил. Русскому правительству этим самым предоставлялось в гораздо более близком будущем, чем ему могло до тех пор казаться, решать вопрос: может ли и хочет ли оно вступить в войну с Германией, Австрией и Турцией.

2

Нападение Италии в 1911—1912 гг., первая балканская война 1912—1913 гг. жестоко потрясли и расстроили все турецкое государственное здание и особенно жестоко отразились на армии. Правда, вторая балканская война (июль—август 1913 г.) была удачна для турок, и они успели отобрать у болгар Адрианополь и вернуть часть территории, но это, конечно, не доказывало боеспособности турецкой армии: ведь Болгарии приходилось сражаться одновременно против Сербии, Румынии, Греции, Турции, и турки почти не встретили сопротивления. Несмотря на эту «удачу» во второй балканской войне, Турция казалась после всех этих потрясений как бы снятой со счетов в качестве самостоятельной военной величины. В России так это и было учтено.

И вот, в октябре 1913 г., в Европе пронесся первый слух о том, что Германия берет в свои руки полную реорганизацию турецкой армии. Германский штаб создаст новую турецкую армию, совершенно ничем не отличающуюся от любой европейской, а германские оружейные заводы (с Круппом во главе) перевооружат эту армию. Финансировать дело будут германские же банки под залог новых концессий. Таковы были первые слухи. Ясно было, что: 1) германское правительство в спешном порядке создает себе нового союзника для предстоящей войны, вернее, создает себе дееспособного вассала, который будет крайне полезен отвлечением части русских сил в Закавказье; 2) Германия утверждается в самом Константинополе, где забирает в руки распоряжение военными силами столицы; 3) самая реформа эта для своего осуществления потребует целого ряда финансовых мер, которые еще более упрочат положение и расширят перспективы германского промышленного, торгового и банкового капитала в Малой Азии. Общий вывод не подлежал никаким сомнениям: Турция превращается окончательно в экономическом отношении в прямое продолжение Германии и Ав-

стрии, а в политическом отношении — в авангард австро-германских сил на Востоке.

23 октября (ст. ст.) 1913 г. получены были уже первые официальные сведения с германской стороны. Германский посол Вангенгейм (в Константинополе) сообщил русскому послу Гирсу, что уже подписано ирадэ, дающее турецкому военному министру право заключить контракт с германской особой военной миссией, что во главе миссии станет германский дивизионный генерал Лиман фон Сандерс, который пригласит на турецкую службу 41 германского офицера, что они станут советниками турецкого штаба, начальниками всех военных школ, что будет образована особая дивизия (в столице), где все командные посты будут заняты немцами, что, вероятно, и во главе всего корпуса в столице будет стоять немец.

Из Петербурга тотчас же (25 октября) полетели первые протесты в Берлин, и уже 28 октября (ст. ст.) Сазонов дал знать в Берлин, что «немецкая военная миссия... не может не вызвать в русском общественном мнении сильного раздражения, и будет, конечно, истолкована как акт, явно недружелюбный к нам. В особенности же подчинение турецких войск в Константинополе германскому генералу должно возбудить в нас серьезные опасения и подозрения». Протесты не помогали. 14 ноября 1913 г. прибывший в Берлин Коковцов, председатель совета министров, имел аудиенцию у Вильгельма и тоже заявил протест как ему, так и канцлеру империи, Бетман-Гольвегу. Император отделался незначащими словами, хотя Коковцов многозначительно упомянул, что не только Россия, но Англия и Франция тоже встревожены. На это Вильгельм заявил, что Англия тоже прислала в Турцию своих морских инструкторов для флота, отказать же Турции в ее просьбе о сухопутных инструкторах он, Вильгельм, не мог, так как иначе Турция обратилась бы к другой державе. «Может быть,— прибавил Вильгельм,— для России и было бы выгодно, чтобы обучение турецких войск приняла на себя Франция, но для Германии такой поворот дела был бы слишком тяжелым нравственным поражением». Извольский тотчас же добился, чтобы французская дипломатия получила из Парижа инструкции и в Берлине, и в Константинополе, и в Петербурге всецело поддерживать русскую политику в вопросе о миссии Лимана фон Сандерса. Русские протесты после этого приняли еще более решительный характер, и Гирс указал Вангенгейму на «трудность для русских мириться с положением, при коем русское посольство находилось бы в столице, в которой было бы нечто вроде германского гарнизона».

Но на все протесты следовал с германской стороны отказ за отказом. Сазонов 15 ноября 1913 г. поставил вопрос ребром и потребовал, чтобы русский посол в Берлине Свербеев спросил

канцлера, отдает ли он себе отчет, что дело идет о «характере наших дальнейших отношений как с Германией, так и с Турцией. Возможен ли будет дружественный обмен мнениями, поддерживавшийся свиданиями монархов, беседами государственных людей?» Сазонов тут взял уж такой тон, который прямо и в очень ускоренном темпе вел к войне. Англия в этот момент, как объяснено выше, воевать еще не хотела, а Пуанкаре вообще не хотел воевать из-за вопроса, в котором по существу Франция не была очень заинтересована: ведь даже часть тех крупнокапиталистических кругов французского общества, которые, вообще говоря, поддерживали антигерманскую политику Пуанкаре, была заинтересована в территориальном *сохранении* Турции, а вовсе не в разделе ее. Между тем протесты русского правительства оттого и были так резки и гневливы, что немецкий шаг сильно мешал всем проектам раздела Турции. Поэтому из Лондона было дано знать в Петербург, что статс-секретарь Грей и французский посол в Лондоне Поль Камбон считают «трудным» найти подходящие компенсации и что вообще «неприязненный тон русской печати, например «Нового времени», может привести к обратным результатам благодаря впечатлительности германского императора». В Петербурге поняли намек. Тон несколько изменился, война несколько отсрочилась. 26 ноября 1913 г. миссия Лимана фон Сандерса была принята в прощальной аудиенции у Вильгельма, и спустя несколько дней прибыла в Константинополь. Коллективная резкая нота Антанты с протестом против немецкой миссии, затевавшаяся Сазоновым, не прошла, и Сазонов должен был 29 ноября дать знать Гирсу: «Ввиду перемены, происшедшей во взглядах сэра Эдуарда Грея на характер обращения трех держав к Порте, и необходимости для нас сообразовать наши выступления с той степенью поддержки, на которую мы можем рассчитывать со стороны наших друзей и союзников, мы вынуждены согласиться с предлагаемой Греем постановкой вопроса».

Грей и не хотел и не мог поступить иначе. Это был как раз момент жестокого обострения ирландского кризиса. Ольстерцы, с одной стороны, ирландцы — с другой, закупали и свозили оружие, составляли добровольческие дружины, производили их военное обучение. Правительство не хотело разоружить ольстерцев, которым оно само явно сочувствовало, и вместе с тем слишком несправедливо было разоружить при этом ирландцев, которые ведь на этот раз поднимались, чтобы *защищать* даруемую им самим английским правительством автономию от посягательств «бунтовщиков» ольстерцев. Положение запутывалось в неразрешимый клубок. В Англии не могло быть и речи о войне с Германией в этот момент из-за миссии Лимана фон Сандерса. «Прибывши в Лондон,— доносил русский посол Бенкен-

дорф Сазонову 17/4 декабря 1913 г.,— я нашел общественное внимание настолько поглощенным важными вопросами, поднятыми проектом ирландского гомруля, что всякий интерес к иностранным делам, по-видимому, совсем исчез». Да и во Франции министерство Гастона Думерга (сменившее 8 декабря 1913 г. кабинет Барту) несколько передвинуло руль внутренней политики влево, а во внешней решило держаться более примирительного тона. И хотя фактически президент республики Пуанкаре играл в иностранной политике решающую роль, но с этой переменой все-таки приходилось считаться.

И Сазонов и Извольский должны были, наконец, понять, что на этот раз Германия выиграла дело. До какой степени Вильгельм II был готов в этом деле идти на все, но не уступить ни в каком случае, явствует из слов, сказанных 30 декабря 1913 г. германским послом в Константинополе Вангенгеймом русскому послу в Берлине Свербееву (Вангенгейм прибыл в Берлин с докладом). Вангенгейм упомянул о том, что при сколько-нибудь серьезной уступке с немецкой стороны «германская печать подняла бы слишком большой шум, полный неуступчивости, и на ее стороне оказалась бы вся Германия». Положение, которое создалось бы таким образом, Вангенгейм приравнял даже к кандидатуре Гогенцоллерна в 1870 г. Другими словами, немецкий дипломат прямо грозил *войной* (он имел в виду, что франко-германская война 1870 г. началась по вопросу о кандидатуре принца Гогенцоллерна на испанский престол). Русское правительство, отступая по всей линии, просило лишь (устами Свербеева) «берлинский кабинет сделать, однако же, *что-либо* для успокоения нашего общественного мнения». Это «что-либо» и было сделано в виде чисто бумажного, формального «отчисления» Лимана фон Сандерса от командования I корпусом с переименованием его в маршалы турецкой армии и с назначением его генерал-инспектором всех турецких войск. Конечно, это было принято скорее за издевательство, чем за уступку. Русское министерство иностранных дел стало домогаться другой компенсации — именно, чтобы русский представитель был введен в состав Совета оттоманского долга. Но на это было заявлено, что Германия *никогда* на это не согласится, так как ее интересы почти равны интересам Франции, а введение русского представителя нарушит соотношение сил в Совете к ущербу Германии.

Так кончилось это дело. К войне оно пока не привело, но русско-германские отношения были испорчены вконец. Турция осталась за Германией и в экономическом, и в политическом отношениях. Германская печать громко ликовала, указывая, что, наконец, имперское правительство взялось за ум, заговорило так, как нужно говорить, имея за собой первую армию

в мире, и выиграло дело. Не Россия и Англия, которые веками спорили из-за Константинополя, а Германия получила и его и всю Турцию «для мирной совместной работы вместе с турками и для общей с ними защиты» против русских покушений. Положено начало прочному заслону от России и в Малой Азии и на Балканах; царствуя в Константинополе, Германия будет царить и во всех балканских государствах. Сербия взята в тиски, сдавлена между Австрией и возрождающейся Турцией. На этот раз *дипломатическая* проба сил удалась, враг испугался и отступил пред *военной* пробой сил. Но нужно продолжать, нужно спешить, пока враг не оправился, пока он стеснен и затруднен. В таких настроениях часть влиятельнейших кругов германского общества встретила новый, 1914, год.

3

Не то, чтобы германская дипломатия опьянела от этого в самом деле очень крупного своего успеха, который сразу, казалось бы, поправил австро-германские дела, так серьезно скомпрометированные двумя балканскими войнами,— но теперь все уменьшавшимся численно элементам германских правящих кругов, которые еще пытались сопротивляться кронпринцу и главному штабу, было очень трудно отстаивать свои позиции.

Если Антанта так быстро примирилась с миссией Лимана фон Сандерса и всеми бесчисленными последствиями, которые с ней были сопряжены, то, значит, действительно она воевать в данный момент не в состоянии.

Этот вывод мотивировался так: Россия хочет воевать, но выступить одна не посмеет; Франция и Англия в данный момент и не хотят воевать и не могут; Англия же, вероятно, уже и впредь не захочет воевать на стороне России, даже когда будет в состоянии это сделать, чтобы не усиливать Россию, опять начинающую старое соперничество в Персии.

Наконец, после удачи с миссией Лимана фон Сандерса окончательно как будто заглохла всякая мысль о сколько-нибудь серьезном сопротивлении наступательному империализму со стороны социал-демократии, по крайней мере со стороны как президиума партии, так и большинства парламентской фракции. А только с этими двумя величинами в социал-демократии правительство и считалось.

Социал-демократическая фракция в 1913 г. в рейхстаге, правда, голосовала против экстренных требований имперского правительства насчет усиления армии, но, во-первых, это был чисто платонический жест, так как все равно прочное большинство в пользу проекта было в рейхстаге обеспечено; во-вторых, негласно, в комиссиях, фракция держала себя очень

и очень мягко, когда обсуждался правительственный проект; в-третьих, наконец, на партейтаге в Йене (в том же 1913 г.) 336 голосов одобрило поведение парламентской фракции в этом вопросе, а 140 голосов осудило ее, и из этих 140 голосов многие нападали на поведение фракции, так сказать, не слева, а справа. Во всяком случае речи не было о принципиальном протесте против явно готовящейся войны. Роза Люксембург пробовала в прессе (в «Leipziger Volkszeitung») критиковать поведение фракции, но голос ее прозвучал одиноко и видимого влияния не имел.

А нота вражды не ко всей Антанте, но только к России, нота, звучавшая уже в 1913 г. и ставшая преобладающей в 1914 г., еще более облегчала и упрощала дело. Лозунг «борьба с царизмом» и лозунг «mehr Land» («больше земли») сближали самые разнородные элементы в эти первые месяцы 1914 г.

Ничто этому уже давно не противодействовало. Уже от Потсдамского свидания Вильгельма II с Николаем II и от происходивших там переговоров не очень многого ждали даже в самый момент свидания. Было известно, что Германия получила заверения, что ее экономические интересы в Персии не будут затронуты; было достигнуто принципиальное соглашение по вопросу о соединении Багдадской железной дороги с персидской железнодорожной сетью. Но все это как-то не успокаивало, и в 1911—1913 гг. никто уже о Потсдамском свидании не говорил и не думал.

Настроение вражды и подозрительности к русской политике все возрастало в Берлине. Это настроение могущественно поддерживалось и подкреплялось вестями, шедшими из России. До сих пор не написана систематическая и детальная история последних мирных месяцев, но уже теперь, на основании тех материалов, какие у нас есть, можно утверждать, что такая книга будет полна захватывающего общего социологического интереса, и, может быть, интереснее (и труднее) всего будет точно определить и уразуметь настроения правящих кругов в России в конце 1913 и в первой половине 1914 г. Мы тут не касаемся русской истории вовсе и о России теперь будем говорить, ограничиваясь *исключительно* тем, что́ решительно необходимо для установления логической связи в событиях, касающихся Западной Европы.

Та игра с огнем, которая тогда практиковалась в русской дипломатической деятельности, порождалась сложными и очень разнохарактерными причинами:

1. Русский торгово-промышленный капитал смотрел, со времен англо-русского соглашения 1907 г., на Персию как на доставшийся ему в прочное обладание рынок сбыта и (отчасти) рынок сырья. Русский ввоз в Персию был равен почти 50%

всего иностранного импорта в эту страну. Английская конкуренция была значительна, но с ней приходилось до поры, до времени мириться и считаться из-за общих выгод от существования Антанты; все же в 1912—1914 гг. появились, как было уже сказано, некоторые неприятные для обеих сторон перебои в англо-русских отношениях. Но примириться с нашествием германского капитала, который с каждым годом (особенно с 1909 г.), несмотря на все англо-русские «разделы сфер влияния», все решительнее вторгался и в русскую, и в нейтральную, и в английскую зону, и допустить, чтобы восточные ответвления Багдадской железной дороги вполне присоединили Персию к вассальным странам германского финансового капитала,— этого представители русской торговли и промышленности не желали ни в каком случае. Далее. В Турецкой империи русские экономические интересы были далеко не так значительны, как в Персии; русский ввоз здесь был очень невелик, но здесь в агрессивных тенденциях, проявившихся в русских торгово-промышленных кругах, действовал тот же мотив, который встречается в колониальной политике более старых и развитых капиталистических держав: представлялось нужным и возможным в расчете на будущее постараться захватить в свое державное обладание новые рынки, в особенности географически такие близкие к России и связанные с ней, как Малая Азия. «Борьба за берега Черного моря!» — лозунг, появившийся в русской прессе именно в последние годы пред мировой войной. Этот лозунг должен был оживиться и показаться реальным именно после присоединения России к Антанте в 1907 г.: две великие державы, Франция и Англия, двести лет защищавшие Турцию от России, поднявшие в 1854—1855 гг. оружие против России, чтобы защитить Оттоманскую империю, теперь стали друзьями России. Кто же мог воспрепятствовать осуществлению этого лозунга? Германия и Австрия. Против них и направилось нетерпеливое возбуждение прессы, близкой верхам торгово-промышленного класса. Этот класс в 1909, 1910 и следующих годах был в оппозиции правительственной внутренней политике по очень многим вопросам. П. П. Рябушинский писал о «схватке купца Калашникова с опричником Кирибеевичем, которая начинается», но в смысле *внешней* политики купец Калашников все время только раззадоривал и подстрекал опричника Кирибеевича против Германии, Австрии и Турции, но нисколько его не удерживал. И чем больше приближался срок окончания действия русско-германского договора (заключенного в 1904 г.), тем резче и непримиримее делался тон этих кругов. От расторжения русско-германского договора, от «таможенной войны» обеих держав теряло русское сельское хозяйство, русское землевладение (лишаясь экспорта в Гер-

манию), но выигрывали промышленники, так как устранялся импорт в Россию германских фабрикатов. Что «таможенная война» очень приближает наступление также и другой войны, той самой, где дерутся не покровительственными тарифами, но пушками, это как-то перестало пугать воображение со времени присоединения России к Антанте.

2. В тех слоях высшего и среднего дворянства, которые окружали трон и из которых вербовали состав для замещения командующих постов в гражданском управлении и в армии, боролись два течения. Одно — воинствующе-националистическое, тоже имевшее в виду берега Черного моря, но при этом охотно принимавшее славянофильскую форму, идеологию и фразеологию. Разрушение Австрии, освобождение «подъяремной Галиции» (и присоединение ее к России), освобождение в том же приблизительно смысле прочих австрийских славян, борьба славянства с германизмом, православный восьмиконечный крест на храме св. Софии в Константинополе, верховенство России на Балканском полуострове — вот идеи и мечты представителей этого течения. Шумные демонстративные славянские трапезы в Петербурге, горячая (и часто очень хорошо поставленная) пропаганда в распространенных газетах, поездки графа Бобринского по славянским владениям Австро-Венгрии с нескрываемыми агитационными целями — вот наиболее бросавшиеся в глаза проявления деятельности этой группы. В составе русских правящих сфер многие сочувствовали этому движению. Поддержать шатавшееся с 1905 г. здание монархии, загладить память о маньчжурских поражениях, добиться удачной войной нового, громадного на этот раз расширения русской территории — это значило бы на неопределенный срок (так надеялись) отложить накопившиеся счеты с загнанной внутрь, примолкшей, но не умершей революцией. То, что не удалось в Маньчжурии, может удаться на Балканах, в Галиции, в Армении, потому что Англия и Франция будут рядом с Россией. Вражда к Германии и Австрии сближала представителей этого течения, сидевших часто в центре и на правой, но не на крайней правой стороне Государственной думы, с представителями либеральных настроений, отражавших отчасти вышеотмеченные стремления торгово-промышленных кругов. В правительстве это течение было представлено Извольским (сначала, в 1906—1910 гг., министром иностранных дел, потом — послом в Париже), Сазоновым, министром иностранных дел в 1910—1916 гг., великим князем Николаем Николаевичем, начальником главного штаба генералом Янушкевичем и целым рядом лиц, которые шумно действовали в прессе, на славянских банкетах в России и за границей. Агитационные поездки графа Бобринского в «подъяремную Галицию» истолковывались в Австрии как

прямой вызов, но пользовались во влиятельных кругах в Петербурге и в Москве большим успехом. На почве этих интересов и этих настроений вопрос о Константинополе и проливах опять (уже не впервые в истории русской дипломатии) выдвинулся понемногу на первый план. Еще в министерство Извольского нельзя было ставить его с очень большой четкостью и резкостью: слишком свежи были маньчжурские раны, слишком еще было мало уверенности в прочной победе над революцией, и Столыпин определенно не желал войны, высказывая убеждение, что война повлечет непременно новую (и, быть может, на этот раз победоносную) революцию. Но при Сазонове положение изменилось. Столыпина не стало, Коковцов, тоже решительный враг военных авантюр и воинственной политики, не имел никогда такого веса, да и такой энергии, как Столыпин; армия реорганизовывалась, и об этом очень много говорили, так что создавалось впечатление гораздо более яркое, чем могли ожидать сами деятели этого «возрождения русской армии», знавшие, до какой степени все же русская армия еще не готова к большой европейской войне; революционное движение не возобновлялось, и с каждым годом память о пронесшейся в 1905 г. буре тускнела; несколько последовательных урожаев отразились благоприятно на русских финансах. Все это облегчило Сазонову в Петербурге, Извольскому в Париже, Гартвигу в Белграде их дело. Уже в 1912—1913 гг. во время обеих балканских войн были позывы активно вмешаться в дело. Только нежелание Пуанкаре в Париже и Грея в Лондоне поддержать русскую политику на Балканах подействовало сдерживающим образом. В 1913 г. и в первые месяцы 1914 г. неоднократно в Петербурге ставился этот вопрос — о целях русской политики,— и на трех совещаниях Сазонов развивал идею, что близится срок, когда Россия должна заявить свои державные права на Константинополь и проливы[5].

Таким образом, это течение в правящих сферах Петербурга решительно торжествовало в 1912—1914 гг.

Второе течение в правительственных сферах было решительно враждебно этой воинственной политике. Во главе представителей этого второго течения стоял П. Н. Дурново, бывший министр внутренних дел в кабинете графа Витте в 1905—1906 гг., а после отставки — член Государственного совета. Во всех вопросах внутренней политики он был крайним реакционером и, например, в борьбе против революции считал возможными и допустимыми все без исключения средства. Приверженцами его взглядов на внешнюю политику среди правительственных лиц были — если вычесть Коковцова, Витте[6] и немногих других — в подавляющем большинстве случаев тоже самые крайние консерваторы, вроде Шванебаха. И это не было случайностью:

для Дурново центром всех интересов было сохранение монархии в России по возможности в том виде, в каком она удержалась после подавления революционного движения 1905—1907 гг., и вообще внешняя политика его интересовала *исключительно* постольку, поскольку она могла либо поддержать, либо уничтожить русскую монархию. Тот же самый внутреннеполитический мотив являлся решающим и для его сторонников. Взгляды свои П. Н. Дурново изложил в особой записке, переданной им императору Николаю II в феврале 1914 г.[7]. Отметим лишь самое главное из этого любопытного документа. Скептик и циник по природе, хорошо знавший и друзей и врагов, Дурново проявляет здесь большую проницательность. «Центральным фактором переживаемого нами периода,— пишет Дурново,— является соперничество Англии и Германии. Это соперничество неминуемо должно привести к вооруженной борьбе между ними, исход которой, по всей вероятности, будет смертелен для побежденной стороны. Слишком уж несовместимы интересы этих двух государств, и одновременное великодержавное их существование рано или поздно окажется невозможным». Но, по мнению Дурново, России не следует ни в коем случае принимать активного участия в этом столкновении: «Германия не отступит пред войной и, конечно, постарается даже ее вызвать, выбрав наиболее выгодный для себя момент. Главная тяжесть войны, несомненно, выпадет на нашу долю». Он предвидит, что, может быть, Италия, Румыния, Америка, Япония выступят также на стороне Антанты против Германии, но мы-то очень уж неподготовлены: недостаточность запасов, слабость промышленности, плохое оборудование железных дорог, мало артиллерии, мало пулеметов. Польшу Россия не удержит во время войны, и Польша вообще окажется очень неблагоприятным фактором в войне. Но допустив даже победу над Германией, Дурново не видит от нее особого прока. Познань и Восточная Пруссия населены враждебным России элементом, и нет смысла и выгоды отбирать их у Германии. Присоединение Галиции оживит украинский сепаратизм, который «может достичь совершенно неожиданных размеров». Открытие проливов! — Но его можно достичь легко и без войны. От разгрома Германии Россия экономически не выиграет, а проиграет, по мнению Дурново. Как бы удачно ни окончилась война, Россия окажется в колоссальной задолженности у союзников и нейтральных стран, а разоренная Германия, конечно, не в состоянии будет возместить расходов. Но весь центр тяжести рассуждений Дурново лежит в последних страницах его записки, где он говорит о возможном поражении России. Подобно своему политическому антиподу Фридриху Энгельсу, Дурново тоже думает, что в нынешний исторический

период страну, потерпевшую разгром, может постигнуть социальная революция. Мало того: Дурново думает, что даже в случае победы России — *все равно* в России возможна революция путем перенесения в Россию пожара из Германии (где тоже в случае поражения он предвидит неминуемую революцию). «Особенно благоприятную почву для социальных потрясений представляет, конечно, Россия, где народные массы, несомненно, исповедовают принцип бессознательного социализма. Несмотря на оппозиционность русского общества, столь же бессознательную, как и социализм широких слоев населения, политическая революция в России невозможна, и всякое революционное движение неизбежно выродится в социалистическое»... «За нашей оппозицией нет никого; у нее нет поддержки в народе, не видящем никакой разницы между правительственным чиновником и интеллигентом. Русский простолюдин, крестьянин и рабочий одинаково не ищет политических прав, ему ненужных и непонятных. Крестьянин мечтает о даровом наделении его чужой землей, рабочий — о передаче ему всего капитала и прибылей фабриканта, а дальше этого его вожделения не идут. И стоит только широко кинуть эти лозунги в население, стоит только правительственной власти безвозбранно допустить агитацию в этом направлении, Россия неизбежно будет ввергнута в анархию»... И затем Дурново снова настаивает, что *даже если война для России будет победоносна,* все-таки ей не миновать социалистического движения. Разница лишь в том, что в случае победоносного окончания войны движение будет подавлено, да и то «по крайней мере пока до нас не докатится волна германской социальной революции». «Но в случае неудачи, возможность которой при борьбе с таким противником, как Германия, нельзя не предвидеть, социальная революция в самых крайних ее проявлениях у нас неизбежна. Как уже было указано, начнется с того, что все неудачи будут приписаны правительству. В законодательных учреждениях начнется яростная против него кампания, как результат которой в стране начнутся революционные выступления. Эти последние сразу же выдвинут социалистические лозунги, единственные, которые могут поднять и сгруппировать широкие слои населения: сначала черный передел, а за сим и общий раздел всех ценностей и имуществ. Побежденная армия, лишившись к тому же за время войны наиболее надежного кадрового своего состава, охваченная в большей ее части стихийно общим крестьянским стремлением к земле, окажется слишком деморализованной, чтобы послужить оплотом законности и порядка. Законодательные учреждения и лишенные действительного авторитета в глазах народа оппозиционно-интеллигентские партии будут не в силах сдержать расходившиеся народные волны, ими же подня-

тые, и Россия будет ввергнута в беспросветную анархию, исход которой не поддается даже предвидению». Вывод Дурново: необходимо поскорей расторгнуть союз с Англией и привлечь к франко-русскому союзу Германию.

Но Дурново оказался в меньшинстве. В русской прессе, не только правительственной, но и в некоторых органах либеральной печати, в Государственной думе, в главном штабе первое — воинственное — течение проявлялось с каждым месяцем все ярче. Конечно, целый ряд компетентных лиц знал о неготовности русской армии, о полном несоответствии своему назначению военного министра Сухомлинова и всего министерства, о безобразном хозяйничаньи безответственных элементов, о подозрительном окружении Сухомлинова, о невозможности даже предположительно назвать сколько-нибудь талантливого будущего главнокомандующего. Но обо всем этом и не все тогда знали в полной мере и просто не желали это продумать до конца. Существование Антанты гипнотизировало очень многих. Кто одолеет такую силу?

Совсем уже близкие и доверенные люди на верхах знали о 9-й конференции между начальниками штабов союзных армий Жилинским и Жоффром, происходившей в августе 1913 г., и в общих чертах знали также, что, ввиду увеличения германских военных сил по закону 1913 г., на Россию возлагается обязательство сконцентрировать свои силы так, чтобы уже на 16-й день после начала мобилизации вторгнуться в Восточную Пруссию «или идти на Берлин, взявши операционную линию к югу от этой провинции» (статья 3 протокола 9-й конференции). Кое-кому на верхах армии и в правительстве было известно также со времени этой секретной конференции, т. е. с августа 1913 г., а в Думе и в более широких кругах стало известно с первых месяцев 1914 г., что французы потребовали, во имя ускорения концентрации русских войск, проложения целого ряда новых железных дорог (удвоение линии Барановичи — Пенза — Ряжск — Смоленск, удвоение линии Ровно — Сарны — Барановичи, удвоение линии Лозовая — Полтава — Киев — Ковель, постройка двухколейного пути Рязань — Тула — Варшава. Еще до 9-й конференции, тоже по требованию французского штаба, был учетверен участок Жабинка — Брест-Литовск и построен двухколейный путь Брянск — Гомель — Лунинец — Жабинка). Наконец, Жилинский обязался пред Жоффром, что в Варшаве уже в мирное время будут значительно усилены войска для создания большей угрозы и привлечения к русской границе большего числа германских войск. Все это было, конечно, известно и в Германии: дело наблюдения за Петербургом было организовано в Берлине очень хорошо, да и положение вещей и обычаи и нравы в русском военном мини-

стерстве были таковы, что едва ли потребны были очень уж напряженные усилия, чтобы находиться в курсе русских военных секретов. По заданиям, вытекавшим из решений 9-й военной конференции, выходило, что Россия и Франция выступят не так уже скоро; во всяком случае в 1914 г. они еще не могли быть готовы. И это обстоятельство тоже могло быть аргументом в пользу того мнения, что Германия сильно рискует, откладывая дело, так как время работает против нее. Если в самом деле русская концентрация и мобилизация ускорятся,— придется считаться с угрозой на восточной границе, настолько сильной и непосредственной, что нужно будет отказаться от сосредоточения всей своей армии в первые недели войны против одной Франции. А если так,— весь план Шлиффена рассеивался, как дым. Надо было решать и решать немедленно. «В это лето свершится судьба» (in diesem Sommer wird Schicksal),— недвусмысленно писал публицист Максимилиан Гарден весной 1914 г. Он был одним из тех, которые *тогда* больше всего подстрекали германское правительство к роковым решениям, дразнили Вильгельма его миролюбием, торопили события. После разгрома Германии и после революции это не помешало тому же Максимилиану Гардену выступить, как ни в чем не бывало, в позе карающего пророка, против низвергнутого Вильгельма и его генералов и против германского милитаризма. Никогда так не были обострены отношения между Германией и Россией, как после утверждения в Константинополе миссии Лимана фон Сандерса; никогда такого раздражающего и воинственного тона не наблюдалось во влиятельной русской и германской печати.

Никогда за все свое царствование Вильгельм не был так близок к окончательному решению, как именно с конца 1913 и с первых месяцев 1914 г. И никогда в Петербурге так не шутили с огнем, как именно в эти месяцы.

4

Уже с весны 1913 г. французский посол в Берлине Жюль Камбон (брат лондонского посла Франции Поля Камбона) писал своему правительству весьма тревожные донесения. Празднование столетнего юбилея освобождения Германии от Наполеона (1813—1913) превращалось в непрерывную антифранцузскую демонстрацию, причем населению внушалось, что, может быть, опять скоро придется воевать с тем же наследственным врагом. Военный французский агент полковник Серрэ доносил, что германское правительство возмущено возвращением Франции к трехлетней воинской повинности и что в Германии считают это провокацией и грозят возмездием. Он настаивал, что «общественное мнение» в Германии не простило императору

его испуга и отступления в агадирском деле и что вторично так поступить императору уже не позволят.

6 мая 1913 г. Жюль Камбон уже определенно настаивает на неизбежности и близости нападения со стороны Германии и передает слова начальника штаба фон Мольтке: «Германия не может и не должна дать России времени для мобилизации... Нужно начать войну, не выжидая, чтобы круто раздавить всякое сопротивление». Наконец, в ноябре 1913 г. последовал многозначительный разговор в присутствии начальника германского штаба Мольтке между Вильгельмом и королем бельгийским Альбертом I. Альберт был очень взволнован тем, что услышал. Германский император заявил, что война с Францией неизбежна, что успех Германии в этой войне безусловно обеспечен. Мольтке, с своей стороны, сказал, что война не только неизбежна, но и необходима. Эта откровенность с бельгийским королем объяснялась, конечно, желанием позондировать почву: будет ли Бельгия сопротивляться, если немцы войдут в нее, направляясь, согласно плану Шлиффена, к северной незащищенной французской границе. Альберт немедленно дал знать об этом разговоре французскому правительству. Среди всех причин, которые все больше и больше гнали Вильгельма II к войне, была и еще одна, указанная выше; Жюль Камбон даже склонен в своих донесениях преувеличивать ее роль: Вильгельм II боялся все растущего влияния кронпринца, в котором пангерманисты и военные верхи видели истинного своего представителя. Это обстоятельство, личное, третьестепенное, совсем побочное, все же могло влиять в том смысле, что император нашел для себя целесообразным выступить открыто в роли воинственного политика.

По отзывам не только немецких, но и нейтральных и даже вражеских военных авторитетов,— сколько существует человечество, никогда еще на свете не было ни у кого такой могучей, с таким совершенством организованной, идеально снабженной, обученной и дееспособной армии, как немецкая весной 1914 г.

Выполнение плана Шлиффена, а следовательно, и победа через два месяца над Францией и Россией до концентрации последней своих сил казались несомненными. Все же следовало окончательно разрешить одно только сомнение: как поведет себя Англия? Выше я уже говорил о тех обстоятельствах, которые заставили германское правительство начать верить в эту изумительную фантазию: в английский нейтралитет. Тут прибавим лишь, что обстоятельства как бы умышленно складывались так, чтобы окончательно утвердить Вильгельма и Бетман-Гольвега в их гибельном заблуждении. Весной 1914 г. сэр Эдуард Кэрсон, вождь ольстерцев, открыто стал готовиться к войне против трех католических провинций Ирландии. Вожди ирландцев

(Редмонд, Диллон, Дьюлин) говорили все настойчивее, что они тоже не могут долее удерживать своих соотечественников от ответной мобилизации для предстоящей гражданской войны. Синнфейнеры приобретали в ирландском лагере огромное значение и оттесняли умеренных. И вот, 20 марта 1914 г. в Керро произошла знаменательная демонстрация: офицеры английского отряда, посланного, чтобы удержать ольстерцев, отказались повиноваться своему начальству. Другими словами, английская армия совершенно не сочувствовала будущей автономной Ирландии. За этими первыми офицерами последовали и другие. Правда, как сказано, этот «военный бунт» мало пугал правительство, некоторые члены которого даже прямо сочувствовали ольстерцам и вслух говорили об этом. Но парламентские бури, которые за этим последовали, были необычайно яростны. Не говоря уже о консерваторах, даже некоторая часть правительственной либеральной партии сочувствовала ольстерцам и снисходительно смотрела на ослушание офицеров. Между тем в Ирландии уже начались кровавые столкновения, и правительство не могло и не хотело их остановить, чтобы не нарываться снова на отказ идти против ольстерцев. «Что же удивительного, что германские агенты передавали, а германские государственные люди верили, что Англия парализована партийной распрей и идет к гражданской войне и что ее не следует принимать в расчет как фактор в европейской ситуации? Как могли они различить или измерить глубокие, невысказываемые соглашения[8], которые находились далеко под пеной, кипением и яростью бури»,— пишет, вспоминая о весне и лете 1914 г., об этих ирландских событиях, первый лорд адмиралтейства в то время Уинстон Черчилль. Эти «глубокие невысказываемые соглашения» борющихся партий — консервативной и либеральной — именно и касались вопроса о сопротивлении германской политике. Ольстерцы тоже в этом не расходились с ирландцами умеренной фракции (Редмонда). Синнфейнеры расходились, но они были еще не так сильны в то время.

Так или иначе, значение этой англо-ирландской бури было в Германии очень сильно преувеличено. И любопытно, что германская дипломатия решила, чтобы уже окончательно успокоиться насчет Англии, применить по отношению к ней самый ласковый, самый предупредительный тон. Снова оживились и велись в самом дружеском тоне переговоры о полюбовном размежевании в Африке. Эта усиленная любезность Германии бросалась в глаза и была отмечена впоследствии членами тогдашнего британского правительства. В июне 1914 г. британская эскадра, побывавшая в Кронштадте, на обратном пути сделала визит германскому флоту в Киле и была принята с демонстративным дружелюбием. Шли банкеты, братанья между матро-

сами и офицерами обоих флотов. Кильский канал только что был доведен после долгих работ до того, что мог пропускать сверхдредноуты, и это событие праздновалось флотами обеих величайших морских держав. Вильгельм II самолично явился, чтобы приветствовать английских моряков.

Резко вызывающая политика и тон по отношению к России и Франции в это самое время должны были еще больше оттенить внезапное и усиленное дружелюбие относительно Англии.

Правда, лорд Холдэн за несколько времени до войны сказал как-то германскому послу, князю Лихновскому, что Англия ни в коем случае не потерпит разгрома Франции и окончательного установления гегемонии Германии на континенте. Об этом знал Вильгельм [9], знал, конечно, и канцлер Бетман-Гольвег. Но и тут план Шлиффена уничтожал всякие сомнения и колебания: чтобы вмешаться в войну и спасти Париж, Англия прежде всего должна создать боеспособную и громадную сухопутную армию, но это в восемь недель не делается, а через восемь недель все будет кончено, и английское вмешательство неминуемо запоздает и потеряет всякий смысл. А кроме того, и это самое важное, не таковы были обстоятельства в Англии, чтобы вмешаться. И не отвечала бы Англия любезностями на любезности, если бы она собиралась помочь России и Франции. На это довольно откровенно намекалось в Германии во время кильских торжеств.

В самый разгар этих празднеств Вильгельм II внезапно вернулся из Киля в Берлин: он получил телеграмму, извещавшую его о том, что сербские заговорщики убили в г. Сараево наследника австрийского престола Франца-Фердинанда и его жену.

Глава XIII

НАЧАЛО МИРОВОЙ ВОЙНЫ

1. Убийство эрцгерцога Франца-Фердинанда и австрийский ультиматум Сербии. 2. Русская политика и активное выступление Германии. Позиция Англии и Франции. Начало военных действий Австрии против Сербии. 3. Русская политика от начала австро-сербской войны до объявления общей мобилизации в России. 4. Последствия русской мобилизации. Мнения Тирпица и Каутского. 5. Объявление Германией войны Франции. Ультиматум Бельгии. Угрожающая позиция Грея. Вторжение германских войск в Бельгию. Заседание рейхстага 4 августа 1914 г. Предъявление английского ультиматума германскому правительству. 6. Непосредственные последствия вступления Англии в войну. Выступление Японии. Позиция Италии

1

Война была подготовлена сложнейшей игрой противоречивых экономических интересов, порожденных капитализмом в Европе. Я говорил об этом в предшествующем изложении и повторять все это тут было бы излишне. Чем больше вдумываешься в сцепление событий, чем больше выходит в свет новых материалов, тем более кажется совсем неотвратимым то, что случилось, тем яснее представляется не только возможность, но и неизбежность гигантского столкновения. Конечно, для капиталистических классов *всех* стран, особенно всех великих держав, был элемент риска, математически непререкаемой надежды на победу не было ни у кого, но налицо было одно обстоятельство, которое всюду, и в Англии, и во Франции, и в Германии, и в России, усиливало воинственный элемент среди правящих классов: война во всяком случае (так полагали) означает отдаление социальных катаклизмов в неопределенное будущее. При этом забыли вторую часть пророчества Энгельса, который говорил, что при современных условиях война сначала, в самом деле, ослабит социальное движение, но потом — может именно *ускорить* социальную революцию.

Неизбежное произошло. Если в истории этой величайшей катастрофы есть что-либо сравнительно крайне мало интересное, то это пресловутый вопрос о том, кто «виновен» в войне. Психологически весьма понятно, что, по чувству естественного протеста и возмущения, те, которые пережили эпопею неистовой и беззаветной лжи всех воевавших правительств, склонны решительно бороться против версии, которую выдвигало именно *их* правительство. Кто страдал от германской военной цензуры в 1914—1918 гг., тот склонен винить в войне одну Германию, кто жил во Франции или России, или Англии, склонен винить одну Антанту и т. д. Словом, является часто односторонность и обвинительная страстность даже в тех, кто резко и решительно хочет отмежеваться от каких-либо национальных пристрастий. Что же говорить еще о «патриотах», продолжающих стоять на старых позициях? Все это создает такую пеструю мешанину настроений и даже страстей, что иной раз может показаться, что мы живем не через десять лет после конца войны, а еще обретаемся в ее разгаре. Даже и теперь у многих не хватает беспристрастия повторить то, что сказал во враждебном стане, в Версале, 7 мая 1919 г. граф Брокдорф-Ранцау, прибывший заключать мир: он резко отверг утверждение, будто Германия единственная виновница войны, но признал, что виновны и Германия, и ее враги.

Провоцировали ли Сербия и Россия Австрию целый ряд лет? Да. Была ли в Германии и Австрии сильная и агрессивная военная партия, опиравшаяся на могущественные капиталистические силы? Да. Стремилось ли русское правительство завладеть Константинополем, не останавливаясь, если понадобится, пред войной? Да. Были ли в Англии и во Франции широчайше распространенные, по целому ряду экономических причин, антигерманские настроения, и существовали ли, по мнению влиятельных кругов, у них серьезные интересы, связывавшие их с Россией, что в свою очередь подбодряло русскую дипломатию к более вызывающей и активной политике? Да. Были ли в Италии классы, жаждавшие территориального расширения и колоний и считавшие, что только в союзе с Антантой они все это получат? Да. Считал ли германский главный штаб, что время работает для Антанты и что война с каждым годом будет для Германии становиться все труднее? Да. Полагали ли, с своей стороны, очень влиятельные круги британского адмиралтейства, что следует во что бы то ни стало покончить с германским флотом, который иначе будет становиться все опаснее для Англии? Да. Воздерживалась ли от крупных и мелких провокаций хоть одна из великих держав в последние годы пред войной? Нет. Довольно задать себе хотя бы эти несколько вопросов и ответить на них, чтобы самое обсуждение

проблемы о «виновности» потеряло всякую остроту. К лету 1914 г. вопрос ставился, по существу, уже чисто технически: кому и когда удобнее выступить? Кто кого перегонит в приготовлениях? Как бы более ловко и правдоподобно свалить вину на противника?

История 34 дней, протекших от убийства Франца-Фердинанда (28 июня 1914 г.) до объявления Германией войны России (1 августа), породила уже огромную литературу и, конечно, долго еще будет возбуждать самые страстные споры. Спорят притом не только о каких-либо темных, способных возбудить сомнения фактах и моментах, но даже и о том, что́ при самом минимальном беспристрастии и хладнокровии представляется совершенно ясным и несомненным. Недаром было давно замечено, что если бы, например, таблица умножения затрагивала чьи-либо интересы, то она давно уже подвергалась бы самым страстным нападкам. А в данном случае были затронуты серьезнейшие не только «моральные», но, что несравненно существеннее в подобных обстоятельствах, и материальные интересы: ведь вопрос о признании «вины» за побежденной страной был «разрешен» утвердительно 231-й статьей Версальского мира, и на этой статье, по крайней мере по всему плану Версальского договора, основаны серьезнейшие материальные требования победителей. Конечно, не подлежит ни малейшему сомнению, что и без этой (231-й) статьи от Германии потребовали бы не меньших платежей, чем теперь, но широчайшие слои германского общества убеждены, будто что-то можно будет поправить, если с Германии либо вовсе будет снято это обвинение (в намеренном разжигании мирового пожара), либо «вина» ее будет разделена с другими, и что от этого облегчится ее нынешнее положение. Резкая брань против социал-демократической прессы и особенно против коммунистической («Rote Fahne») в 1918—1923 гг., когда там печатались статьи, обвиняющие Вильгельма II и германское и австрийское правительства в провоцировании войны, мотивировалась именно тем, что эта пресса своими разоблачениями играет в руку врагам. Точно так же полемические выпады Ганса Дельбрюка, против Каутского, часто изумительные по своей наивности, основаны на этом патриотическом усердии, потому что никогда такой осторожный и ученый исследователь, как Дельбрюк, не позволил бы себе, конечно, подобных аргументов, как те, которые он пускал в ход против Каутского, если бы не патриотический долг (как он его понимает). Вообще же, конечно, и со стороны публицистов Антанты требовался огромный запас казенного лицемерия, чтобы, забывая всю политику Антанты с 1904 г., так страшно обострявшую положение, сваливать всю вину *исключительно* на Германию.

Разумеется, нужны некоторые предварительные оговорки. После всего сказанного в предшествующем изложении, нам нечего много распространяться тут о том, как внешняя политика капитализма в *обоих* лагерях борющихся великих держав приняла окончательно наступательное обличие и как после этого на очередь дня стала роковая «проба сил»; почему эти враждебные лагери расположились в такой именно, а не в другой комбинации и т. д. С точки зрения научного исследования самый спор о «моральной вине» не нужен, *научно не интересен.* Это почти то же самое, что после происшедшего снежного обвала в горах спорить о том, кто «морально» «виноват»: порывы ли ветра, или слабая прикрепленность снежной массы к горному склону, или пастух, слишком громко крикнувший. *Обе* комбинации враждебных держав, как уже сказано в другой связи, были способны провоцировать вооруженное столкновение, *обе* стремились к завоеваниям; *обе* способны были в тот момент, который показался бы выгодным, зажечь пожар, придравшись к любому предлогу, который показался бы наиболее подходящим. В *этом* смысле, конечно, вожди Антанты нисколько не превосходили в «моральном» отношении вождей Австрии и Германии, и если бы немецкие публицисты и ученые вели полемику на этой почве, то с ними справиться в споре было бы мудрено. Но фактически случилось так, что Англии и Франции невыгодно, неудобно, рискованно было начинать войну именно уже летом 1914 г.; даже России, где говорилось и писалось много воинственного и легкомысленного в последние месяцы, тоже невыгодно было *немедленно* выступить уже летом 1914 г., хотя, заметим, поведение русских дипломатов и военных очень сильно содействовало катастрофе даже и в тот момент. А в Германии и в Австрии, Вильгельму и Бетман-Гольвегу, Берхтольду и графу Тисса, генералу Мольтке и Гетцендорфу[1] показалось совсем верным и выгодным делом раздавить Сербию, которая годами систематически раздражала и провоцировала Австрию; если же Россия и Франция вмешаются в дело, то и для войны с ними лучшего времени может не найтись; не следует к этому открыто стремиться, но нечего этого и бояться: Англия, самый могучий из противников, не захочет и не сможет в данный момент воевать. Таков был констатируемый всеми документами ход рассуждений руководителей германской и австрийской политики, если даже толковать все их действия в самом *лучшем* для них смысле, т. е. если даже отвергнуть мнение Карла Либкнехта, Курта Эйснера, князя Лихновского, Греллинга об умышленном, с первого момента, германском провоцировании войны с Францией и Россией, если даже признать, что фон Мольтке, открыто жаждавший войны и хвалившийся этим, был исключением. Защитники же германского правительства

стали на совсем безнадежную точку зрения: они решили доказать, что на Германию *напали* в июле — августе 1914 г.; не то, что враги ее *способны* были напасть на нее впоследствии (это было бы совершенно верно), но что они *уже напали* на нее в 1914 г. (wir waren angegriffen!). Конечно, такая постановка вопроса была Антанте в высшей степени выгодна: публицисты и дипломаты Антанты, доказывая, что Антанта и не хотела и не думала нападать на Германию уже именно в *июле — августе* 1914 г., незаметно и ловко сделали отсюда вывод, что и вообще Антанта думала будто бы только о всеобщем мире и спокойствии, что она существовала якобы лишь для обороны от германского властолюбия, что она — прирожденная и общеизвестная носительница начал высшей морали в политике, святой идеи защиты слабых наций, истинного пацифизма, братства народов, гуманности, демократии, цивилизации и т. д., и т. д. Конечно, спор не мог не возгореться с новой силой. Он еще долго, вероятно, не окончится. Обе стороны все еще увлекаются в одинаковой степени нелепой и детской мыслью обвинить в войне исключительно противников; обе стороны одинаково усердно замалчивают невыгодные для них факты и извращают сплошь и рядом истину.

Постараемся в самом сжатом виде напомнить ход событий в эти 34 дня, предшествовавшие наступлению величайшего по размерам кровопролития во всемирной истории.

В воскресенье 28 июня 1914 г. прибывший на маневры войск в г. Сараево (в Боснии) наследник австрийского престола эрцгерцог Франц-Фердинанд подвергся двойному покушению: когда он проезжал по главной улице, в карету была брошена бомба, но безрезультатно. Спустя несколько часов, когда Франц-Фердинанд и его жена после одного визита проезжали в автомобиле по одной узкой улице, подошедший к ним студент-серб Гаврило Принцип двумя выстрелами из револьвера убил как эрцгерцога, так и его жену.

Это покушение связывалось с тем возбуждением против Австрии, которое особенно живо чувствовалось среди сербов с момента аннексии Боснии и Герцоговины в 1908 г. Особенно ненавидели Франца-Фердинанда, будущего императора, и приписывали ему воинственные планы против Сербии. В Сербии, в особенности в офицерских кругах, шла в 1909—1914 гг. кипучая национальная пропаганда с чисто завоевательными целями против Австрии. Упорное сопротивление Австрии в 1912—1913 гг. всяким попыткам Сербии найти выход к морю еще более разжигало эту вражду. В листках и газетах, издававшихся в Белграде, Австрию обвиняли в желании экономически задушить Сербию, обессилить и присоединить ее к владениям Габсбургской династии. Когда 11—13 июня 1914 г. к Францу-Фер-

динанду в его замок Конопишт (в Чехии) прибыл в гости император Вильгельм II и начались совещания между ними, то в Сербии это было истолковано как последние приготовления к нападению на Сербию. Сербов беспокоила миссия Лимана фон Сандерса в Константинополе: им казалось, что, утвердившись в Константинополе и реорганизовав турецкую армию, немцы так или иначе покончат с Сербией, мешающей им. Наиболее горячие головы из этих националистических агитаторов, не стесняясь, заявляли, что только отторжение от Австрии Боснии, Герцоговины, Хорватии, Славонии и присоединение их к Сербии может обеспечить будущность Сербии. Эта деятельная и опасная пропаганда активно поддерживалась и королем Петром, и всеми властями, и особенно военными кругами. Весьма откровенно мечтали о разрушении Австрии и о будущей поживе. Громадную поддержку всем своим авторитетом оказывала сербским националистам Россия через русского посланника в Белграде Гартвига (занимавшего эту должность с 1909 г.). Он пользовался в Белграде огромным влиянием. Сербский первый министр Пашич и сам король Петр не предпринимали без его согласия ни одного важного решения. Русская дипломатия под влиянием Гартвига, с одной стороны, и под общим влиянием Сазонова и царя брала на себя некоторые серьезные обязательства перед Сербией в 1912—1914 гг. В виде примера укажу на телеграмму сербского посланника Ристича из Бухареста в Белград от 13 ноября 1912 г., где передается мнение России и Франции: пусть Сербия *пока* довольствуется своими приобретениями и пусть будет «по возможности подготовлена, чтобы выждать важных событий, которые должны наступить между великими державами». Не довольствуясь этим окольным путем, Сазонов 27 декабря 1912 г. прямо высказал сербскому послу в Петербурге свою веру, что сербы в будущем победят Австрию и что «будущее принадлежит сербам». В апреле 1913 г. Сазонов снова сказал сербскому представителю: «Вы, сербы, должны работать для будущего времени, так как вы получите от Австрии много земель». «*Для* Сербии мы все сделаем»,— внушительно подтвердил Пашичу сам Николай II в феврале 1914 г. У сербов создавалось при этих условиях впечатление, что в борьбе против Австрии они одинокими не останутся. Когда 13 июня (31 мая ст. ст.) 1914 г. в «Биржевых ведомостях» появилась уже вторая по счету статья, инспирированная военным министром Сухомлиновым, под боевым названием: «Россия готова, должна быть готова и Франция», то нигде она не вызвала столько ликований, как именно в Белграде [2]. При такой политической атмосфере тайные совещания Франца-Фердинанда с Вильгельмом II в Конопиште 11—13 июня 1914 г. были приняты в Белграде как непосредственная угроза. За этими свиданиями Вильгельма с

Францем-Фердинандом всегда следили с большой тревогой... «Германия побуждает Австрию к более решительным действиям. Надо думать, что Германия питает надежду одержать в союзе с Австрией победу над Россией, Сербией и Францией. Германский император во время посещения австрийским престолонаследником Берлина тронул Франца-Фердинанда своей благосклонностью и клятвой идти всюду вместе»,— читаем мы в одном перехваченном русскими агентами письме из Вены, датированном еще 2 декабря 1912 г.[3] Конечно, июньское свидание 1914 г. встревожило врагов Австрии еще больше. Заговор против Франца-Фердинанда затевался уже с весны. Решено было в кругах крайних сербских националистов ускорить дело, и 28 июня эрцгерцог пал жертвой покушения.

Никогда и никем не было доказано (хоть об этом и говорилось), что в заговоре принимали прямое участие сербские власти, но в Австрии решили тем не менее воспользоваться очень благодарным случаем, чтобы надолго покончить с Сербией. Это издание уже печаталось, когда вышел сборник статей М. Н. Покровского «Империалистская война», в предисловии к которому автор нападает на меня за слова о том, что никогда и никем не было доказано прямое участие сербских властей в заговоре. Я и теперь это утверждаю. Прибавлю, что в вышедшей на русском языке в 1927 г. (изд. Госиздата) книге Пауля Фрелиха «К истории германской революции» мы читаем по поводу убийства Франца-Фердинанда: «Венские вояки вцепились в инцидент... Речи и статьи великосербских шовинистов, которые были не умнее и не глупее, чем все прочие шовинисты, подхватывались и прикрашивались прессой. Раскрывались великосербские заговоры против Габсбургов. Все средства искажения и подделки были пущены в ход. Весь военный аппарат лихорадочно работал. В Вене быстро решили объявить войну. Шаг этот был подсказан совершенно упадочным состоянием габсбургской монархии. Чтобы не дать распасться этой пестрой империи, сшитой из различных национальностей, нужно было поработить новые народы. Позорное положение австрийской монархии привело к мировому преступлению». Я привожу это место только затем, чтобы показать, что теперь никто не склонен верить в «ангельскую невинность» *никакого* правительства, не только сербского, но и австрийского, и что совершенно непонятно, почему М. Н. Покровский вообще приписывает такое значение вопросу о «виновности» или «невиновности» именно в этом убийстве сербских властей. Конечно, сербское правительство, как и все прочие, как и австрийское, как и русское, как и германское, как и французское, как и английское, непрерывно готовили мировой пожар целые годы, если не десятилетия, и особенно интенсивно они все

соревновались друг с другом в этом деле в последние годы перед войной. Если и не было прямого участия сербского правительства в убийстве эрцгерцога, то это вовсе не значит, что не было долгих и прямых сербских провокаций к войне, и сравнительно *с этим* совершенно неважна степень участия в сараевском деле [4]. Я лично нахожу, что Пауль Фрелих уж слишком увлекается обвинением Австрии, как Покровский слишком увлекается обвинением Сербии. Обе эти державы, как и все прочие, как я несколько раз уже говорил, стоили друг друга, и курьезно было бы историкам ломать в 1928 г. копья, отстаивая не то что «голубиную чистоту», а даже относительную «невинность» хоть какой-нибудь из стран, участвовавших в конфликте. И напрасно Покровский, кстати, так уверен, что «конечно, приказа за подписью Пашича — убить Франца-Фердинанда — ни в каких архивах найти нельзя». Отчего? Может быть, когда-нибудь найдутся документы об этом, почти столь же уличающие и доказательные,— ведь иногда в архивах и не то еще находилось. Но тогда и будем говорить категорически. Во всяком случае поведение сербского правительства, особенно с 1912 г., было настолько вызывающим, что в Австрии решили на этот раз выступить. Случай был подходящий, потому что все покушение 28 июня было явственно связано с бурной антиавстрийской пропагандой, открыто ведшейся в Сербии. И сразу же Австрия получила полную свободу действий. Прежде всего Вильгельм II заявил, что желает отправиться в Вену для визита соболезнования, но так как ему дали знать, что в Вене тоже могут оказаться сербские националисты, то он воздержался от визита. Но и без этого визита Вильгельм не скрывал своих намерений. Находился в это время проездом в Берлине германский посол в Лондоне князь Лихновский; он узнал, что Тширшки, германский посол в Вене, получил от германского правительства *выговор* (einen Verweis) за то, что советовал в Вене быть умеренными относительно Сербии; заметил также Лихновский в Берлине раздражение против России. «Мне, конечно, не было сказано, что генерал фон Мольтке настаивает на войне с Россией»,— прибавляет Лихновский в своих позднейших мемуарах. В самом деле. Военная партия ухватилась за убийство Франца-Фердинанда, чтобы рассчитаться разом с Сербией и, если понадобится, то и с Россией. Но все это стало обнаруживаться лишь постепенно.

5 июля Вильгельм пригласил в Потсдам к завтраку австрийского посла Сэдени и тут дал последнему уверение в полной поддержке Австрии со стороны Германии в случае, если предстоящая австрийская нота Сербии вызовет вмешательство России. Австрии была дана полнейшая свобода действий. И она тотчас же ею воспользовалась. Это заверение Вильгельма имело

гибельнейшие последствия, так как с этого момента граф Берхтольд, австрийский министр иностранных дел, чувствовал себя как за каменной стеной и в его глазах уже ничто не могло спасти Сербию от австрийского нападения.

«Может быть, никогда еще ни одна война не была решена с такой необдуманностью и с таким легкомыслием, как 5 июля 1914 г. война против Сербии. Неудивительно, что спустя несколько недель люди совсем потеряли голову, когда обнаружились последствия, которых всякий сколько-нибудь ясно мыслящий человек мог наперед ожидать, раз он вступил на эту дорогу»,— так отзывается Каутский об этом потсдамском завтраке Вильгельма с австрийским послом 5 июля 1914 г. [5]

Князь Лихновский, германский посол в Лондоне, возвращаясь к своему посту из отпуска в средине июля 1914 г., знал уже и о разговоре в Потсдаме 5 июля, когда Вильгельм уверил австрийского посла, что Германия всецело и до конца и против Сербии, и против России поддержит Австрию. Узнал он от руководителей германской политики и о том, что «ничуть не повредит, если из этого выйдет война с Россией» (es wird auch nichts schaden wenn daraus ein Krieg mit Russland entstehen soll) [6].

Лихновский несколько позже узнал также, что в Берлине вообще уверены были на основании донесений посла в Петербурге графа Пурталеса, что ни в коем случае ждать выступления России нельзя, так как она к войне не готова. Когда уже появился австрийский ультиматум, Лихновский делал все, что мог, чтобы предупредить катастрофу, но ничего из его усилий не вышло. «Конечно, достаточно было одного знака из Берлина, чтобы заставить графа Берхтольда удовлетвориться дипломатическим успехом и успокоиться на сербском ответе,— пишет Лихновский,— но этот знак не последовал. Напротив, толкали к войне... Все больше укреплялось впечатление, что мы хотим войны при всяких обстоятельствах. Иначе вовсе нельзя было понять нашего поведения в вопросе, который ведь совсем нас не касался прямо. Настойчивые просьбы и определенные заявления г. Сазонова, позже даже униженные телеграммы царя, повторные предложения сэра Эдуарда Грея, предостережения маркиза Сан-Джулиано и г. Болати, мои настойчивые советы,— ничто не помогало».

При свете этих признаний германского дипломата многое становится ясно. Следует, для точности, снова напомнить, что раздражение в Германии поддерживалось и усиливалось непрерывно всей политикой Сазонова, принявшей окончательно, с дела Лимана фон Сандерса, резко вызывающий характер. Слухи о заключении англо-русской морской конвенции, окончательно скреплявшей Антанту в военно-морской союз, путешествие Пуанкаре в Петербург — были последними по времени события-

ми, принятыми в Берлине как вызов. В своей статье «Три совещания», перепечатанной в упомянутом выше сборнике, М. Н. Покровский говорит об этих последних месяцах пред войной следующее (по поводу замыслов России на Константинополь): «Итак, для начала единоборства за Константинополь не дали этой отсрочки. Есть все основания думать, что нужна была отсрочка, может быть, года на три... Мясоедов уже в то время состоял при Сухомлинове, и чрезвычайно секретный протокол оказался, по всей вероятности, в руках германского генерального штаба... В этой связи становится понятен тот адский шум, который подняла германская печать как раз в марте 1914 г. по поводу агрессивных стремлений России. Теперь совершенно ясно, что этот шум должен был подготовить германские народные массы к тому, что их поведут на бойню за Константинополь. *Почему Германия должна была отложить фактическое начало войны до середины лета,* дождавшись тем временем «второго предостережения в образе переговоров об англо-русской морской конвенции, этого из наших документов не видно». Подчеркнутые мной слова показывают, что активную роль германского правительства *во внешнем развитии событий* летом 1914 г. мой критик признает точно так, как и я, как и целый ряд других историков, вполне отчетливо, вместе с тем, понимающих всю нелепость обвинений Германии в том, будто исключительно она одна вообще вызвала войну, напав на невинную Антанту. Виновен в войне не тот, кто ее объявляет, а тот, кто ее делает неизбежной. Войну 1914 г. сделали неизбежной *все* великие державы, и те, которые объявили войну, и те, которым ее объявили.

Мало того, что Вильгельм разрешил Австрии отнюдь не стесняться риском войны с Россией: он торопил Австрию в подготовляемых ею действиях против Сербии. Вот что доносил своему правительству австрийский посол в Берлине граф Сэдени о разговоре своем с Вильгельмом 5 июля: «По мнению императора Вильгельма, с действиями против Сербии не следует слишком долго ждать. Поведение России будет во всяком случае враждебным, но к этому он (Вильгельм) уже несколько лет готов, и если дело дойдет даже до войны между Австро-Венгрией и Россией, то мы можем быть убеждены в том, что Германия с обычной верностью союзнику будет стоять на нашей стороне. Впрочем, Россия еще нисколько не готова к войне и наверно еще очень много будет размышлять, раньше чем обратиться к оружию». Не довольствуясь всем этим, Вильгельм еще прибавил, что он «будет сожалеть, если мы (австрийцы) не используем этот столь благоприятный момент».

На другой же день после этого завтрака в Потсдаме, 6 июля, Вильгельм II созвал экстренное совещание из предста-

вителей морского и военного министерства и главного штаба армии. «Было постановлено принять нужные подготовительные меры на случай войны. После этого были отданы соответствующие приказы»,— так гласит позднейшее секретное сообщение об этом факте, составленное помощником статс-секретаря фон Буше для статс-секретаря Циммермана.

Как только в Вену пришли эти известия из Берлина о настроениях Вильгельма, сейчас же (7 июля 1914 г.) был созван в Вене совет министров, и граф Берхтольд, министр иностранных дел, заявил, что пришла пора *навсегда* (auf immer) обезвредить Сербию. Тут же было решено, всеми голосами кроме одного, отправить Сербии такой ультиматум, «который был бы отклонен, чтобы можно было приступить к радикальному решению путем военного выступления». Так и говорится буквально в официальном протоколе, опубликованном, конечно, уже после разгрома Австрии и после революции, в 1919 г. Итак, начали составлять заведомо такой ультиматум, который бы Сербия никак не могла принять. Что касается до конкретных целей этой безусловно решенной уже наперед войны против Сербии, то было условлено так уменьшить (verkleinern) Сербию, чтобы она стала безвредной для Австрии, а для этого «исправить границу» между Австрией и Сербией и, кроме того, предложить части сербской территории Румынии, Болгарии и Греции. Вильгельм так страшно торопил дело, что Берхтольд должен был его из Вены *успокаивать* и уверять, что ультиматум будет передан Сербии, как только президент Французской республики Пуанкаре покинет Кронштадт (Пуанкаре, как сказано, был в это время у Николая II). Берхтольд полагал, что лучше застать представителей Антанты врасплох, чтобы в течение нескольких дней они не могли сговориться. 23 июля Пуанкаре выехал из Кронштадта, и тотчас же австрийский ультиматум был вручен сербскому правительству.

Этот ультиматум требовал от сербского правительства формального осуждения всякой пропаганды против Австрии, ведущейся в Сербии, осуждения всех сербских чиновников и офицеров, участвовавших в этой пропаганде, заявления, что оно, сербское правительство, не одобряет и отвергает всякую мысль о каком-либо вмешательстве в судьбы обитателей какой-либо части австро-венгерской территории. Все это король сербский обязывается сообщить в приказе по сербской армии и напечатать в официальном органе сербской армии, а также в органе сербского правительства «на первой странице». Кроме того, сербское правительство обязывается запретить все публикации, враждебные Австро-Венгрии или «общее направление которых — против территориальной целости Австрии»; немедленно закрыть общество «Народная оборона»; конфисковать его сред-

ства пропаганды и то же самое сделать со всеми другими враждебными Австро-Венгрии обществами; удалить немедленно всех тех преподавателей, которые агитируют против Австрии; искоренить, кроме того, в области обучения все то, что «может служить» пропаганде против Австрии; удалить с военной службы и из администрации всех офицеров и чиновников, имена которых австро-венгерское правительство укажет сербскому; начать судебное расследование всех обстоятельств, касающихся участников в заговоре, жертвой которого пал Франц-Фердинанд, причем *«делегаты от австро-венгерского правительства примут участие в следствии»;* арестовать майора Танковича и Цыгановича; наказать таможенных чиновников, которые помогали убийцам эрцгерцога перейти границу; представить объяснения по поводу «недопустимых» слов высших сербских чинов касательно сараевского убийства. Все это выполнить немедленно и в течение сорока восьми часов дать ответ на все эти требования.

Срок ультиматума истекал 25 июля в 6 часов вечера.

Когда берлинский посланник в Белграде Гризингер донес 24 июля в Берлине о смятении, вызванном в Сербии австрийским ультиматумом, то Вильгельм II написал на полях донесения: «Браво! От венцев этого уже и не ждали! Каким пустым оказывается все так называемое великосербское государство; так обстоит дело и со всеми славянскими государствами! Только бы покрепче наступить на ноги этой сволочи!» (Nur fester auf die Füsse des Gesindels getreten!).

2

Весть об ультиматуме распространилась в Европе и Америке в ночь с 23 на 24 и утром 24 июля 1914 г.

Всюду, и у друзей, и у врагов Австро-Венгрии, она возбудила одну мысль: Австрия хочет войны и, конечно, Германия обещала ей помочь. В России среди охарактеризованных выше общественных элементов, настроенных в пользу «энергичной политики», наблюдалась некоторая растерянность. Воевать немедленно, летом 1914 г., очень мало кто хотел даже в этих кругах, и очень мало кто верил молодецкому сухомлиновскому заявлению: «Мы готовы». Но, с другой стороны, дело шло о гораздо большем, чем, например, тогда, когда происходил конфликт относительно военной миссии Лимана фон Сандерса.

Принятие ультиматума Сербией означало решительное подчинение Сербии австро-германскому союзу и полное устранение впредь русского влияния на Балканах; непринятие ультиматума означало войну Сербии с Австрией, причем, конечно, Сербия была бы раздавлена без особого труда. Выступить на

стороне Сербии означало необходимость воевать *немедленно*, причем если во французской помощи уверенность была, то в английской помощи такой уверенности вовсе не было. Словом, в России именно потому же хотели летом 1914 г. повременить еще с войной, почему в Германии многие влиятельные лица, вроде Мольтке, определенно желали начать ее без дальнейших отлагательств. Еще за пять дней до передачи австрийского ультиматума статс-секретарь Германской империи по иностранным делам фон Ягов писал в Лондон князю Лихновскому: «Через несколько лет Россия по всем компетентным отзывам будет способна к бою. Тогда она подавит нас численностью своих солдат, так как тогда она выстроит свой Балтийский флот и свои стратегические железные дороги. Наша группа (держав) в это время будет становиться все слабее. В России, конечно, это знают, и поэтому безусловно хотят еще несколько лет оставаться в покое... Я не хочу никакой предупредительной войны, но, если борьба предлагается, мы не должны уклоняться». Тотчас после передачи австрийского ультиматума германское правительство заявило, что это дело есть «внутреннее» дело Австро-Венгрии и что австро-сербский конфликт должен быть «локализован». Сам Вильгельм еще до ультиматума выехал на продолжительную морскую прогулку к берегам Норвегии, и, как оказалось из одного документа, опубликованного Куртом Эйснером уже после революции (из донесения баварского представителя в Берлине своему начальнику в Мюнхене), это было сделано далеко неспроста. Вот что пишет этот представитель Баварии 18 июля 1914 г. о грядущих событиях, о которых его информирует имперское правительство. «Оно (имперское правительство — *Е. Т.*) будет отговариваться (wird vorgeben) тем, что оно австрийским действием (т. е. ультиматумом — *Е. Т.*) точно так же захвачено врасплох, как и другие державы, причем сошлется на северную поездку императора и на то, что начальник главного штаба, как и прусский военный министр, находятся в отпуску». Таким образом, вполне сознательно и задолго инсценировалась непричастность будто бы Вильгельма к австрийскому выступлению, которое он сам так провоцировал и торопил с первого же дня. Что же касается «локализации конфликта», то главный редактор четырехтомного официального издания документов и особого исследования о начале войны Карл Каутский говорит, что «локализировать» австро-сербскую войну значило просто воспретить кому бы то ни было из держав заступиться за Сербию и, еще точнее, отдать отныне Балканы в полную власть Австро-Венгрии (и стоящей за ней Германии); это значило, в частности, потребовать немедленно от России, «чтобы она признала себя уже разбитой, даже не сделав еще ни одного выстрела».

В России и во Франции об австрийском ультиматуме узнали через несколько часов после отъезда Пуанкаре из Кронштадта. Нужно сказать, что еще в начале июля министерство Думерга (радикал-социалистическое) подало в отставку, и власть перешла к Рене Вивиани, направление которого было очень близко к направлению его предшественника. Весенние общие выборы в палату (1914 г.) дали определенное левое большинство, причем из 576 мест палаты около 100 принадлежало объединенной социалистической партии. Вся первая половина 1914 г. была отмечена резкой борьбой всех правых партий против министра финансов Жозефа Кайо, в котором видели автора проекта подоходного обложения, чувствительно поражавшего крупный капитал. Банки, большие торговые и промышленные предприятия, вообще представители крупного капитала дружно, умело и беспощадно травили Кайо. В разгаре этой яростной парламентской и газетной кампании, не щадившей даже личную жизнь и честь Кайо, его жена убила редактора газеты «Figaro» Гастона Кальметта. Последовала сначала отставка Кайо, потом отставка всего кабинета Думерга, и новый кабинет Вивиани находился в очень затруднительном положении. Партийная борьба разгоралась, а тут еще сенатор Эмбер произнес сенсационную речь, в которой доказывал, что французские крепости очень плохо снабжены военными запасами. Все это вместе окрыляло германскую империалистическую печать самыми радужными надеждами. «Kreuzzeitung» советовала французам признать, наконец, что Франция — держава второстепенная, и незачем вовсе ей заниматься европейскими осложнениями. Когда в июне 1914 г. Вивиани брал власть, «Leipziger Tageblatt» писал, что французам нужен не министр, а председатель конкурса по банкротству Франции. При этих условиях Пуанкаре и поехал в Петербург (16 июля). Дело было уже после убийства австрийского эрцгерцога, и, конечно, визит имел целью подкрепить франко-русский союз и заверить в неизменности французской политики. Разговор должен был коснуться также военных приготовлений обеих держав. Самый факт этой поездки в такой острый момент тоже явился вызовом, обострившим всю атмосферу в Европе. Как сказано, австрийский ультиматум и был передан Сербии, как только Пуанкаре уехал из Кронштадта. Узнав уже на море о том, что случилось, Пуанкаре велел немедленно возвращаться во Францию, без заезда в скандинавские страны, как следовало по программе. 29 июля президент прибыл в Париж.

Линия поведения французского правительства была установлена. Франция вмешается в дело, только если возникнет война между Германией и Россией. Но за шесть дней — между передачей Сербии ультиматума и возвращением Пуанкаре

в Париж — уже очень много воды успело утечь. Сазонов, застигнутый врасплох, дал понять в Белграде, что нужно идти на уступки, лишь бы избежать войны с Австрией. Сербский премьер Пашич явился перед моментом истечения срока ультиматума в австрийское посольство и передал барону Гизлю ответ Сербии. Сербия уступала по всем пунктам, кроме одного (насчет участия австрийских чиновников в ведущихся в Сербии расследованиях). Но даже и тут Сербия соглашалась, если Австрия не удовлетворится, перенести этот пункт на обсуждение Гаагского трибунала или великих держав и обещала вполне подчиниться их решению. Победа Австро-Венгрии была полнейшая. Но все равно ничто не могло спасти Сербию: Гизль объявил, что он считает ответ все же не вполне удовлетворительным, и спустя полчаса выехал из Белграда. Когда Вильгельм II узнал об этой полной капитуляции Сербии перед Австрией, он написал статс-секретарю Ягову, что «уже нет оснований к войне», но тут же изъявил желание, чтобы все-таки Австрия *оккупировала своими войсками Белград и часть Сербии* в виде «гарантии». На всякий случай газетам в Германии не дали напечатать полностью сербский ответ, а только глухо упомянули, что сербы «отказываются» дать Австрии удовлетворение.

«Блестящий результат! — писал, однако, в эти же дни Вильгельм.— Это больше, чем можно было ожидать! Большой моральный успех для Вены!» И все-таки он советовал принять меры, которые жестоко обостряли конфликт. В германской историографии теперь уже нет споров, что в этот момент центральными державами была одержана блестящая дипломатическая победа и что гибельная ошибка Германии заключалась в том, что она не решилась круто остановить тут Австрию от дальнейших действий. 27 июля Сазонов имел длинную беседу с австрийским послом графом Сапари. Сазонов предложил сообща искать удовлетворительного для Австрии и России исхода конфликта. Но граф Берхтольд объявил в ответ на это сообщение Сапари, что престиж австро-венгерской монархии затронут и «ничто не может предупредить конфликт». В это время произошло новое, очень тревожное событие: в Париже германский посол фон Шен явился в министерство иностранных дел и попросил ответить, согласна ли Франция объявить свою «мирную солидарность» с Германией, т. е. согласна ли она тоже «локализировать» конфликт между Австрией и Сербией, не давая никому в него вмешаться. Французы ответили, что они хотят сохранения мира и желали бы посредничества между Австрией и Россией для избежания конфликта. План Германии наметился к этому моменту настолько ясно, что в дело вмешалось и британское правительство. Сербия интересовала Англию мало, возможная война Австрии и Германии с Россией — больше, но как

только дело стало ближе подходить к Франции, английский кабинет сейчас же подал свой голос, хотя Германия делала все зависящее, чтобы удержать Англию подальше от разыгравшихся на континенте событий.

Еще 21 июля 1914 г., т. е. за два дня до передачи ультиматума Сербии, но уже когда тревожные слухи шли по Европе, германский посол в Петербурге Пурталес доносил о словах Сазонова, что и в Англии не одобряют воинственных намерений Австрии. Вильгельм написал на полях доклада: «Он ошибается!» Мысль об английском нейтралитете твердо засела в его голове и держалась там вплоть до последней, роковой минуты. Германским послом в Лондоне был в это время князь Лихновский, умный, сдержанный, проницательный дипломат, с изумлением, и, судя по позднейшим свидетельствам, с чувством, близким к отчаянию, видевший, что Вильгельм, умышленно или по непостижимому легкомыслию, прямо ведет Германию к войне с Антантой. Напрасно Лихновский доносил ежедневно об увеличивающихся симптомах тревоги и раздражения среди английского правительства. В Берлине все это как-то пропускалось без внимания. 22 июля, еще за день до ультиматума, Лихновский говорил с Греем и после этого разговора настойчиво просил германское правительство удержать австрийцев от предъявления слишком невыполнимых требований сербам и сообщал, что Грей считает невозможным основываться на легкомысленных утверждениях (о связи сербского правительства с покушением). А Вильгельм пишет на докладе: «Грей совершает ошибку, ставя Сербию на одну ступень с Австрией и другими великими державами! Это неслыханно! Сербия — банда разбойников, которую за ее преступление нужно схватить!» 24 июля, узнав об ультиматуме, Грей тотчас же пригласил к себе Лихновского. «Министр был, видимо, под сильным впечатлением австрийской ноты, которая, по его мнению, превосходит все, что до сих пор было когда-либо в этом роде видано»,— доносит князь Лихновский в Берлин. Грей сомневался, может ли Россия посоветовать сербам безусловно подчиниться: «Государство, которое нечто подобное примет, собственно, перестает быть самостоятельным государством». Вильгельм, прочтя эти слова Грея, тотчас же отмечает на полях: «Это было бы очень желательно. Это и не государство в европейском смысле, а банда разбойников». Дальше Грей прямо перешел к коренному вопросу: если Австрия нападет на Сербию, то в войну будут вовлечены Россия, Франция, Германия, а это повлечет за собой неизмеримые последствия. Грей предложил, чтобы Англия, Германия, Франция и Италия выступили в качестве посредников, чтобы предупредить конфликт между Австрией, с одной стороны, и Россией и Сербией — с другой.

Конечно, предложение Грея было выгодно Антанте и невыгодно для Австрии: ведь всем было известно, что Италия станет на сторону Антанты. Конечно, Грей и сам едва ли верил в успех подобного «миротворчества». Вильгельм тотчас же отметил, что это «бесполезно», и еще сделал характерную пометку: «Бессмыслица! (война) может принести Англии Персию». Другими словами, он уже делает попытку, наивную, как и все, что он делал, внезапным «подкупом» (Персия!) склонить Англию к моментальному переходу на сторону Германии и Австрии, как будто это было возможно при тех глубоких противоречиях, которые отделяли интересы Англии от интересов Германии и Австрии.

Тут, кстати, нужно сказать несколько слов об этих знаменитых замечаниях Вильгельма на полях (Randbemerkungen), за опубликование которых уже после революции (в официальном издании документов о начале войны) Каутскому грозили смертью германские монархисты. Эти императорские замечания, всегда грубые, часто с площадными ругательствами, конечно, имели свое (очень большое) влияние на обострение конфликта летом 1914 г. Они обличают в Вильгельме полнейшее непонимание своих противников.

Есть, между прочим, одна брошюра, написанная ярым монархистом и реакционером Фридрихом Фрекса в защиту Вильгельма II против разоблачений Каутского [7]. Эта брошюра так же мало заслуживала бы внимания, как и десятки ей подобных, если бы в ней не было одного очень правильного и тонкого замечания. Фрекса утверждает, что Вильгельм II, когда писал свои «замечания на полях», всегда кого-то разыгрывал: то Фридриха-Вильгельма I, то Фридриха II, то бранденбургского солдата, то бранденбургского дворянина. Но только напрасно Фрекса думает, что все это было так невинно: ведь замечания на полях тотчас же читались, передавались дальше по инстанциям, если не дословно, то в своем главном содержании, и становились существенным политическим фактором. Когда, например, на донесении об усилиях германского дипломата в Вене остановить, образумить, смягчить Австрию Вильгельм писал: «Esel», то ясно, как впредь должен был действовать этот дипломат, чтобы не казаться «ослом» в глазах своего государя. Ослом Вильгельм обозвал фон Тширшки, германского представителя в Вене. Пытается смягчить смысл и значение этих вильгельмовских «замечаний на полях» также и Дельбрюк, который, впрочем, и вообще находит для Вильгельма самые неожиданные оправдания.

В своей уже упомянутой полемике против Каутского Ганс Дельбрюк, оправдывая в сущности все, что делали Австрия и Германия в июле 1914 г., уверяет, что если бы Австрия упустила в 1914 г. случай и война вспыхнула бы, например, в 1916 г.,

то «общественное мнение» и историческая наука обвиняли бы Австрию в преступной «глупости» за то, что она упустила в 1914 г. благоприятный момент [8].

Полемическое увлечение не позволило Дельбрюку обратить внимание хотя бы на то, что уж хуже для Австрии не могла окончиться никакая война, чем окончилась на самом деле война, начавшаяся в этот «благоприятный» момент (einzig günstige Gelegenheit), т. е. в 1914 г. Мы уже не говорим об основной и глубочайшей политической ошибочности самой идеи о «предупредительной войне», которую Бисмарк остроумно сравнил с самоубийством, учиняемым затем лишь, чтобы «предупредить» смерть. Каутский, в полнейшем согласии с очевидностью, опираясь на собственноручные заметки Вильгельма на полях докладов, утверждает, что Вильгельм, даже если не хотел этого, обострял положение, способствовал углублению конфликта. А Дельбрюк, признавая снисходительно, что в натуре Вильгельма была грубоватость, «буршикозность», пускается в биографические подробности и укоряет воспитателя Вильгельма Гипцпетера и других покойников, которые никакого касательства к делу не имеют. С точки зрения подобных аргументов, Вильгельм, оказывается, поступал вовсе не так уж безрассудно, когда обзывал «ослами» тех, кто силился предотвратить войну [9].

Итак, Грей формально обратился к германскому правительству с предложением посредничества четырех держав для предупреждения конфликта.

Сэдени (австрийский посол в Берлине) получил от статс-секретаря Ягова для передачи Берхтольду английское предложение, и *тут же* Ягов «конфиденциально» просил его сообщить в Вену, что германское правительство вовсе не присоединяется к этому предложению и даже *решительно против* него, но что считает нужным передать предложение только из желания удовлетворить просьбу Англии (о передаче).

Было ясно, что глава австрийской военной партии, министр иностранных дел Берхтольд, получив такие конфиденциальные пояснения, должен был не обратить на английское предложение ни малейшего внимания. Так и случилось. И Бетман-Гольвег и Ягов впоследствии пытались некоторое время очень сбивчиво и до курьеза неправдоподобно отрицать этот факт, но никакого успеха в своих отрицаниях не имели, и показание Сэдени считается ныне неподлежащим никакому оспариванию.

Не обратив, после этих указаний из Берлина, естественно, никакого внимания на английское предложение, 28 июля 1914 г. в 11 часов утра Австрия начала войну против Сербии и открыла бомбардировку Белграда. Началось кровопролитие, которому суждено было постепенно охватить бо́льшую часть человечества.

3

После начала войны Австрии против Сербии в России произошла мобилизация 13 армейских корпусов в военных округах: Одесском, Московском, Киевском и Казанском. 29 июля Николай II и Вильгельм II обменялись телеграммами. Николай просил Вильгельма «во имя старой дружбы» повлиять на Австрию и этим предупредить «бедствие» «европейской войны». Вильгельм указывал Николаю на необходимость для монархов сообща бороться против сербских цареубийц. России Вильгельм II нисколько не боялся, война с ней и с Францией могла принести только выгоды и лавры. Важно, конечно, *и единственно важно,* было разузнать, как поведет себя Англия. А с этой стороны вдруг пришло, как показалось Вильгельму, радостное известие: 29 июля утром было доставлено письмо от брата Вильгельма, принца Генриха Прусского, который только что побывал в Англии (он туда попал еще до австрийского ультиматума Сербии) и сообщал теперь Вильгельму о своем разговоре с английским королем Георгом V. Разговор, правда, был еще 26 июля. Король был «очень серьезно настроен», тоже говорил о посредничестве, но прибавил: «Мы попробуем сделать все, что можем, чтобы не быть вовлеченными в это (точнее: чтобы остаться вне этого — *Е. Т.*), и останемся нейтральными» [10]. На Вильгельма это письмо произвело громадное впечатление. Необходимо было, правда, получить нечто более ясное и убедительное и, кстати, уже договориться на всякий случай с Англией насчет ее вознаграждения в случае нейтралитета. Вильгельм, как мы видели, намекнул уже в своих «замечаниях на полях», что Англия могла бы получить Персию: это, по соображениям германского императора, очевидно, должно было ее настроить сразу против России и в пользу Германии и Австрии. Теперь канцлер Бетман-Гольвег привез из Потсдама еще кое-что, чтобы — тоже сразу — настроить Англию против Франции. 29 июля он имел беседу с английским послом в Берлине Гошеном. Любопытный исторический документ эта беседа. Англичанин больше слушал, говорил один канцлер. Его слова окончательно раскрыли всю тайну этого непонятного поведения германского правительства, которое так изумляло, смущало, пугало целую неделю даже германского посла в Лондоне, князя Лихновского. Сразу были сброшены все покровы, и перед глазами английского дипломата впервые открылось явственно, что речь идет в сущности вовсе уже не о Сербии и не об Австрии. Конечно, разговор с Гошеном последовал *тотчас же* после приезда Бетман-Гольвега из Потсдама: все «хитрости» явственно носят печать личного творчества Вильгельма II.

Канцлер начал говорить прямо и открыто о затеваемой войне с Россией и Францией. Англия, сказал канцлер, не желает, по-

видимому, допустить разгрома Франции в предстоящей войне. Но это и не есть цель германской политики, и Германия может дать ручательство Англии, что она не стремится в случае победы к территориальным приобретениям за счет Франции. «Спрошенный насчет французских колоний,— доносит Гошен,— канцлер сказал, что он не в состоянии дать подобного ручательства также и в отношении колоний». Кстати, канцлер коснулся уж заодно и Бельгии (через которую, по плану Шлиффена, непременно нужно было пройти, направляясь к Парижу). Он тоже ручался, что после войны Бельгия будет освобождена и ее территория останется в целости, «если она не выступит против Германии». Если Англия согласится сохранить нейтралитет (при этих ручательствах Германии), то Германия заключит с Англией общее соглашение, «хотя, конечно, теперь еще рано обсуждать все его детали». Намек был ясен: предлагался дележ части будущей добычи.

Но еще раньше, чем пришел ответ из Лондона на это предложение, в тот же день, 29 июля, поступила в высшей степени тревожная телеграмма канцлеру от посла князя Лихновского из Лондона; одновременно Гошен получил телеграмму от министра иностранных дел сэра Эдуарда Грея. Обе телеграммы дают (весьма согласно между собой) следующее описание беседы английского министра с германским послом. Грей пригласил к себе Лихновского и заявил ему, что положение очень опасно и что он, Грей, не хочет вводить Лихновского в заблуждение дружеским тоном их бесед, не хочет, чтобы Лихновский подумал, что Англия останется в стороне от происходящего конфликта. На вопрос Лихновского, вмешается ли Англия в войну, Грей ответил: «Не может быть речи о вмешательстве, пока Германия не вовлечена в войну или даже пока Франция не вовлечена в войну», но «если британское правительство усмотрит, что британские интересы заставляют вмешаться, то правительство сейчас же вмешается, и *его решение будет таким же быстрым,* как решение других держав». И Грей снова повторил, что «он не желает заслужить потом упрек, будто он ввел дружеским тоном разговора в заблуждение Лихновского или германское правительство и будто если бы они не были введены в заблуждение, то ход событий мог бы быть другой». Грей не скрыл, что на него произвело неприятное впечатление полученное известие, что австрийский министр Берхтольд отверг предложение Сазонова об обсуждении сообща Сазоновым и австрийским послом графом Сапари конфликта. Лихновский доносил еще, что Грей ему сказал, что он не хочет пускать в ход угрозы, но не хочет и обманывать иллюзиями. «Если начнется война, то это будет величайшая катастрофа, какую когда-либо видел свет».

Вильгельм уже по этому сообщению должен был увидеть,

что с английским нейтралитетом дело обстоит далеко не так просто и прочно, как он полагал после письма Генриха Прусского. В самом ли деле он вошел при этом открытии в ярость, или только прикинулся, но он испещрил донесение Лихновского неистовой площадной бранью по адресу Эдуарда Грея. («Неслыханнейший образец английского фарисейства, какой я когда-либо видел! С такими *мошенниками* (Halunken) я никогда не заключу морской конвенции!.. Ага, подлый обманщик!.. Подлая торгашеская сволочь пыталась нас обмануть речами и обедами!... Gemeiner Hundsfott!» и т. д., и т. д., все в таком же духе.) А на другой день пришел и ответ Эдуарда Грея насчет сделки и предлагаемого награждения Англии за ее нейтралитет. Грей писал, что британское правительство и минуты не желает обсуждать предложение канцлера. Во-первых, немцы желают, значит, отнять у Франции колонии, и даже, не беря у нее территории в Европе, Германия, разбив Францию, лишит ее положения великой державы и подчинит ее германской политике, а во-вторых, независимо от этого, «подобная торговля с Германией за счет Франции навлекла бы на Англию позор, от которого доброе имя этой страны уже никогда не могло бы оправиться». Грей далее отказывался «торговать» также «обязательствами или интересами, которые Англия имеет в деле бельгийского нейтралитета». Предприятие выяснилось: план Вильгельма и Бетман-Гольвега заключался в том, что если дело дойдет до войны, разделаться с Францией и Россией при бездействии в это время Англии, а усилившись и отдохнув (и оставив Англию уже без дееспособных союзников), броситься на Англию. И это-то была главная «хитрость», при помощи которой хотели обмануть лукавейшую, тончайшую, наиболее недоверчивую дипломатию на всем свете — английскую...

Все это время Сазонов в Петербурге, Извольский в Париже силились повлиять на английское правительство, чтобы оно объявило определенно, что в случае войны станет на сторону Франции и России; французское правительство помогало русскому в этих усилиях. Сазонов, как это засвидетельствовано документально, уже 29 июля думал гораздо больше о войне, чем о мире. Он уже телеграфировал Извольскому о том, что «нам остается только ускорить наше вооружение и считаться с вероятной неизбежностью войны», а также внушительно просил передать французскому правительству искреннюю благодарность за союзническую поддержку. Самое зловещее место этой телеграммы в конце ее: Сазонов выражает желание, чтобы и Англия поскорее присоединилась, так как только так удастся предотвратить «опасное нарушение европейского равновесия»: не мира, а «равновесия», которое можно «охранить» также войной. С 29 июля все действия русского правительства неуклонно обостряли по-

ложение и ежечасно уменьшали шансы на сохранение мира. Ждали решительного слова от Грея. Но Грей не желал сказать больше того, что он сказал уже Лихновскому. Однако и этого оказалось достаточным, чтобы канцлер Бетман-Гольвег сделал попытку отойти на шаг от пропасти, над которой стоял. В три часа ночи 30 июля он посылает в Вену копию донесения Лихновского (с угрозами сэра Эдуарда Грея) и подчеркивает, что теперь должно принять вновь повторенное предложение Грея о посредничестве держав, теперь, когда Белград уже под ударами австрийских войск. Бетман-Гольвег советовал также начать обмен мнений с Петербургом. Но на этот раз Австрия не пожелала. В той стадии, в какой находилось дело, все равно уже Германия слишком далеко зашла и оставить Австрию не могла: граф Берхтольд это понимал. Военные действия против Сербии продолжались, а на вторичное предложение Грея последовал вторичный отказ. Впрочем, уже вечером 30 июля прекратились и эти «миролюбивые» усилия Берлина, продолжавшиеся всего один день: пришли известия о готовящейся русской общей мобилизации.

Так же, как это обстояло уже со времени посылки военной миссии Лимана фон Сандерса, у русской дипломатии в первые дни конфликта не было твердо выработанной линии поведения, т. е. плана *немедленных* действий относительно Германии.

Тогда, в деле Лимана фон Сандерса, не имея возможности *немедленно* воевать, Сазонов в Петербурге, Извольский в Париже ничуть не воздерживались все-таки от бумажных и газетных угроз, от «булавочных уколов» и враждебных манифестаций против Германии и Австрии; не оказалось твердо выработанной линии поведения у русского правительства и в эти дни вдруг налетевшего шквала. Пойти сразу на все уступки, т. е. объявить, что Сербия предоставляется Австрии для военной экзекуции и расчленения, полностью предоставить Балканы отныне германо-австрийскому влиянию, торжественно признать полное свое бессилие русская дипломатия не желала. После всех воинственных выступлений, после всего, что было сказано и сделано в 1912—1914 гг., при существующих настроениях в части влиятельных классов общества (о чем речь была выше) подобная внезапная капитуляция представлялась немыслимой, точка зрения Дурново никак не могла внезапно возобладать. Значит, нужно было бороться, протестовать. Но как?

Мы тут не пишем историю России, а потому, в дополнение к сказанному раньше о двух течениях в русской внешней политике, только в нескольких словах укажем на одну черту русской дипломатической деятельности в последние двадцать лет перед войной. Эту черту можно было бы характеризовать как спокойное чувство полнейшей безответственности. Черта эта

совершенно отсутствовала, например, в течение всего царствования Александра III, который боялся войны и не верил, что самодержавная власть может рискнуть на это, не губя себя. Напротив, впоследствии, особенно начиная с 1895 г., даже видавшие виды сановники приходили в изумление от легкости, с которой затевались самые опасные приключения, и беззаботности, с которой принимались все их последствия. Иронически Витте называл эту политику «политикой молодого человека» (La politique du jeune homme). Особенно это было в 1895—1904 гг. Сегодня резкое ультимативное вмешательство в японо-китайские дела, завтра захват Порт-Артура, потом — или одновременно — подготовка в 1896 г. к захвату Босфора и его укреплений; затем — почему бы не вмешаться дипломатически в англо-бурскую войну? А там захват Маньчжурии. 1 января 1903 г. Витте, видящий, куда все это клонится, говорит, что нужно поскорее убраться из Маньчжурии, пока на нас не «обрушились беды». А в ответ протягивается рука еще и к Корее. Идет тяжкая и без единого просвета несчастная война с раздразненной, наконец, Японией, и все эти страшные вести о Ляояне, Мукдене, Цусиме принимаются с таким легким сердцем, что ближайшие наблюдатели не могут прийти в себя от изумления.

Правда, после японской войны абсолютная невозможность снова воевать стала ясна даже самым слепым людям. Но это продолжалось недолго, и с 1912 г., как сказано, «активная политика» снова возобладала. Тем не менее до окончания реорганизации и пополнения армии, т. е. до 1917 г., воевать было невыгодно, и Сазонов, правда, стремившийся к войне за Константинополь, но очутившись в 1913—1914 гг. лицом к лицу с германскими вызовами, уступил в деле Лимана фон Сандерса в 1913 г. и уступил бы, может быть, и теперь, в июле 1914 г., с мыслью отыграться чуть-чуть позже, если бы Германия и Австрия не сделали со своей стороны все от них зависящее, чтобы уступка с русской стороны была равносильна дипломатической капитуляции, полному отказу от всей балканской политики. Александр III или Дурново, Витте или Коковцов, конечно, не поколебались бы так сделать, зная или предчувствуя, что в подобной войне именно ими на карту ставится решительно все. Но великий князь Николай Николаевич, генерал Янушкевич и все организаторы и ораторы славянских трапез, руководители влиятельных газет как близких к правительству, так и органов оппозиционных в вопросах внутренней политики, но агрессивных во внешних вопросах, не понимали истинного положения ни России вообще, ни своего в частности и не желали ни в каком случае «капитулировать». Сазонов соглашался, чтобы Сербия взяла на себя унижение и уступила бы Австрии и чтобы на этом *пока,* до скорого будущего, кончилось дело. *Пока*— ибо Кон-

стантинополь продолжал для него оставаться магнитом и целью. Но когда Сербия уступила, а Австрия все-таки пошла на нее войной при полной поддержке со стороны Германии, русские общественные круги, не желавшие «капитуляции», стали брать верх. Именно по их настоянию Николай II распорядился производством (29 июля) мобилизации четырех военных округов.

Россия вступила на путь, который именно вел к войне. Эта мобилизация, однако, рассматривалась ее авторами якобы только как внушительная демонстрация против Австрии, по их утверждению. Но в том-то и дело, что и в Германии были налицо деятели и целые классы (и притом экономически могущественные), которые только искали удобной обстановки, чтобы объявить Германию в угрожаемом положении и начать войну с Россией и Францией. 29 июля русский посол Свербеев посетил Ягова, статс-секретаря по иностранным делам германской империи. «Узнав от меня,— читаем мы в шифрованной телеграмме Свербеева, посланной Сазонову в тот же день,— что мы действительно принуждены мобилизовать четыре военных округа, причем я подчеркнул, что мера эта никоим образом не направлена против Германии, Ягов в сильном волнении ответил мне, что неожиданное известие это вполне меняет положение и что теперь лично он не видит уже возможности избежать европейской войны».

Главный штаб германской армии во главе с фон Мольтке, все военное министерство, все морское министерство (как это удостоверено германскими же источниками, опубликованными в Германии уже во время войны и исходящими от друзей и соратников Мольтке) так торопились, что настаивали уже 30 июля на объявлении общей мобилизации в Германии (в ответ на мобилизацию 4 русских округов). Фон Мольтке, совершенно бездарный генерал, впоследствии погубивший все германское дело при Марне, проигравший, можно сказать, в этом бою всю войну, попавший на свой высокий пост исключительно в порядке фаворитизма и за свою историческую фамилию, больше всех хлопотал в эти дни о немедленном начале войны. Ему удалось заставить Вильгельма дать согласие на производство мобилизации 30 июля, и известие об этом поспешили напечатать в «Lokal Anzeiger», одной из самых читаемых в Берлине газет; но Бетман-Гольвег убедил Вильгельма сейчас же взять свое согласие назад. «Lokal Anzeiger» был конфискован немедленно, а другим газетам запрещено было перепечатать известие о мобилизации. Очень уж прозрачно было бы желание поскорей начать войну, если бы на мобилизацию четырех военных русских округов ответить мобилизацией всей германской армии.

Бетман-Гольвег, канцлер империи, вообще в эти дни являл вид полной растерянности, давал противоречивые указания и

то толкал к войне, то хватался за последнюю надежду сохранить мир. Он как будто начинал понимать (уже с вечера 29 июля), что дело с Англией обстоит очень нехорошо, и Ягов даже сказал Гошену — после получения угрожающих вестей о словах Грея, сказанных Лихновскому,— что если бы канцлер предвидел эти слова Грея, то он не сделал бы своих предложений Гошену (насчет английского нейтралитета). Но Мольтке и генералы явно начинали одолевать канцлера и просто отстраняли его. «Направление утеряно, и камень покатился»,— растерянно сказал канцлер в заседании прусского совета министров 30 июля (Die Direktion ist verloren, und der Stein ist in Rollen geraten).

Силы, гнавшие Европу к войне, с каждым часом брали перевес в обоих лагерях, взаимно подкрепляя друг друга своими действиями. В Петербурге тоже дипломатия с каждым днем развития кризиса все решительнее оттеснялась на задний план военными и такими притом военными, которые не очень заботились об истинном положении вещей в армии, но больше других кричали об исконной борьбе славянства с германизмом, о кресте на св. Софии и об аналогичных злободневных, по их суждению, предметах. Но и дипломатия (в лице Сазонова) не сделала в эти дни ни одной попытки сколько-нибудь бороться с военными кругами, напротив, сама обостряла положение. Французский посол в Петербурге Палеолог, написавший впоследствии мемуары, которые по внутренней неправдоподобности могут быть сопоставлены даже с такими произведениями, как записки Вильгельма II и кронпринца, силится уверить своих читателей, будто он удерживал, по мере сил, Россию от воинственных решений в эти июльские дни 1914 г. На самом же деле он убеждал русское министерство иностранных дел, что «никогда мы (Россия и Франция) не были в лучшем положении, чем теперь», и что это доказывается «четырьмя документами». Но предоставим слово официальной записи:

«Барон Шиллинг (начальник канцелярии Сазонова) не без удивления спросил посла, каковы же эти четыре, по-видимому, ему неизвестных документа столь крупной важности, что пред ними должна остановиться и Германия. ...Оказалось, что таковыми документами г. Палеолог считает речи, которыми только что обменялись государь император и президент Французской республики на броненосце «France».

Об этом и аналогичных своих выступлениях Палеолог, конечно, забыл упомянуть в своих мемуарах. 29 июля Сазонов совещался с Сухомлиновым и начальником штаба Янушкевичем, и «по всестороннем обсуждении положения оба министра и начальник генерального штаба пришли к заключению, что ввиду малого вероятия избежать войны с Германией, необходимо своевременно всячески подготовиться к таковой, а потому нель-

зя путем выполнения ныне мобилизации частичной рисковать задержать общую мобилизацию, которая может оказаться необходимой впоследствии. В заключение совещания было тут же доложено по телефону государю императору, который изъявил согласие на отдачу соответствующих распоряжений. Известие об этом было встречено с восторгом тесным кругом лиц, которые были посвящены в дело»[11].

Но в десятом часу вечера пришла телеграмма от Вильгельма. Вильгельм говорил о возможности непосредственного соглашения России с Австрией, о том, что он выступил бы посредником, но что военные приготовления России могли бы вызвать катастрофу. Эта телеграмма была последним шансом к сохранению мира.

Николай II отменил решение об общей мобилизации (в 11 часов вечера). А в 1 час ночи и затем днем 30 июля германский посол Пурталес после бесед с Сазоновым телеграфировал в Берлин формулу, выработанную Сазоновым: если Австрия согласится изъять из ультиматума пункт, нарушающий сербский суверенитет, то Россия обязуется прекратить свои военные приготовления. Но еще раньше, чем пришел ответ, в Петербурге произошли новые события. Утром 30 июля Сазонов высказал свою «тревогу» по поводу отмены общей мобилизации. Он встретился снова с Сухомлиновым и Янушкевичем, и все трое выразили убеждение в неизбежности войны и настоятельности общей мобилизации. Сухомлинов и Янушкевич немедленно телефонировали Николаю II, убеждая его «вернуться к вчерашнему решению». «Его величество решительно отверг эту просьбу и, наконец, коротко объявил, что прекращает разговор...» Тогда выступил Сазонов, попросив аудиенцию у императора. «Начальник штаба горячо умолял Сазонова непременно убедить государя согласиться на общую мобилизацию ввиду крайней опасности для нас оказаться неготовыми к войне с Германией, если б обстоятельства потребовали от нас принятия решительных мер...» Янушкевич, очень ответственный вместе с другими за неподготовленность России к войне, играл в эти часы в Петербурге такую же губительную роль, как фон Мольтке в Берлине, а Сазонов уже вполне и без малейшего труда ему подчинился и уверовал, что война абсолютно неизбежна, так что будто бы уже нет никакого дипломатического риска в объявлении общей мобилизации. Тот же Сазонов ровно год спустя, в заседании совета министров 6 августа 1915 г., публично заявил, что от генерала Янушкевича можно ждать *всего* и что страшно подумать, что великий князь — как бы пленник подобных людей. Но еще до Николая Николаевича пленником Янушкевича в самый критический момент русской истории, в последние дни июля 1914 г., оказался сам Сазонов. Впрочем, едва ли в этот момент Сазонов желал войны меньше, чем сам Янушкевич.

«Генерал Янушкевич просил министра (Сазонова), чтобы, если ему удастся склонить государя, он тотчас же передал бы об этом ему, Янушкевичу, по телефону из Петергофа»... «После этого,— сказал Янушкевич,— я уйду, сломаю мой телефон и вообще приму все меры, чтобы меня никоим образом нельзя было разыскать для преподания противоположных приказаний в смысле новой отмены общей мобилизации». Затем Сазонов выехал в Петергоф вместе с генералом Татищевым и был тотчас принят царем. «В течение почти целого часа министр доказывал, что война стала неизбежна, так как по всему видно, что Германия решила довести дело до столкновения, иначе она бы не отклоняла всех делаемых примирительных предложений и легко могла бы образумить свою союзницу... Поэтому лучше, не опасаясь вызвать войну нашими к ней приготовлениями, тщательно озаботиться последними, нежели из страха дать повод к войне быть застигнутыми ею врасплох»[12]. Николай II противился и был крайне взволнован, по наблюдениям своих собеседников. Но в конце долгого спора согласился.

Сазонов поспешил в нижний этаж к телефону и тотчас же передал высочайшее повеление Янушкевичу, «ожидавшему с нетерпением». Передав решение об общей мобилизации, Сазонов прибавил: «Теперь вы можете сломать телефон».

4

В Берлине известие об общей русской мобилизации дало, наконец, долгожданный предлог к началу дела. 31 июля общая мобилизация была объявлена также в Вене, и, конечно, тотчас же отпала намечавшаяся в последние два дня возможность непосредственных переговоров между Австрией и Россией. Но австрийская общая мобилизация совершенно отступила на задний план перед грандиозным событием, которым закончился этот роковой в истории человечества день.

Вильгельм не получил телеграмму Николая, отправленную из Петербурга в 2 часа 15 минут 31 июля, в которой царь писал: «Мы далеки от того, чтобы желать войны. Пока будут длиться переговоры с Австрией по сербскому вопросу, мои войска не предпримут никаких вызывающих действий». Не дождавшись этой телеграммы, Вильгельм отправил Николаю II свою: он требовал приостановки военных приготовлений России. В 3 часа дня 31 июля Вильгельм, приветствуемый толпами на улицах, въехал в Берлин (из Потсдама) и прокричал с балкона дворца собравшемуся народу, что его вынуждают к войне. Потрясая каким-то белым листком, он восклицал: «Русский император обманул меня!». В 11 часов вечера Берлин, а ночью Германия и вся Европа узнали, что Вильгельм предъявил России ультима-

тум: или в течение 12 часов отменить мобилизацию, или война. На другой день общая мобилизация была объявлена в самой Германии.

В полночь германский посол Пурталес передал русскому правительству ультимативную ноту с двенадцатичасовым сроком. На другой день, 1 августа, Пурталес в седьмом часу вечера прибыл за ответом. Три раза подряд он спрашивал Сазонова, согласна ли Россия отменить мобилизацию, и трижды Сазонов отвечал отказом. «Все больше волнуясь,— читаем мы в «Поденной записи» министерства,— посол поставил в третий раз тот же вопрос, и министр еще раз сказал ему, что у него нет другого ответа»... «Посол, глубоко взволнованный, задыхаясь», передал «дрожащими руками» ноту с объявлением войны... После вручения ноты граф Пурталес, потерявший всякое самообладание, отошел к окну и, взявшись за голову, заплакал. По-видимому, до последнего момента Пурталес (как, впрочем, и некоторые другие германские дипломаты) не верил, что дело дойдет до катастрофы.

Это поспешное объявление войны России имело свои настолько невыгодные для Германии стороны, что даже Тирпиц (сходясь в этом с Каутским) высказал убеждение, что не было *ни малейшей военной необходимости* объявлять войну только из-за русской мобилизации. Между тем это объявление войны явно усиливало в необычайной степени ответственность Вильгельма и перед своим народом и вне Германии. Роль *нападающего* окончательно осталась за Германией, и это крайне облегчило успешность антигерманской пропаганды в нейтральных странах. Полемизируя с Каутским, Дельбрюк сделал убийственный промах, которым тотчас же, конечно, воспользовался его противник. Желая оправдать Вильгельма в этом внезапном объявлении войны, Дельбрюк пишет: «Главный штаб был убежден, что только единственный путь через Бельгию может привести нас к победе. А мы не могли ускорить и начать вторжение в Бельгию, пока у нас не было войны с Россией. Русские, конечно, нам не объявили бы войны, пока они как следует не подвинули бы своей мобилизации; поэтому-то мы и должны были со всей поспешностью объявить России войну».

Каутский возражает по этому поводу: «Значит, не русская мобилизация, а вера главного германского штаба в неизбежность войны сделала войну неизбежной и прекратила 1 августа всякие переговоры объявлением войны», потому, что если бы Германия наперед не решила твердо начать войну, то зачем же ей было думать о вторжении в Бельгию? [13] Эдуард Бернштейн, говоря о 1914 г., дает осторожную формулу, когда он говорит: «одно должно быть неоспоримо установлено: если бы со стороны правителей Германии была налицо решительная воля

не доводить дело до войны, то война в действительности была бы избегнута. Но этой воли не было. Сознание могущества сделалось бредом могущества. Вильгельм II Гогенцоллерн вообразил себе, что он безнаказанно может давать разрешения на войну, подобно тому, как даются разрешения на охоту: эта война — Австрии против Сербии — допускается, и горе тому, кто в нее вмешается!» [14].

Но все эти соображения стали возможны лишь впоследствии. Пока оставалось лишь нажать нужные кнопки в главном штабе и начать осуществление плана Шлиффена, т. е. двинуться через Бельгию на Париж.

В самый последний момент, однако, вышла одна очень встревожившая Мольтке задержка. 1 августа 1914 г. Вильгельм подписал указ об общей мобилизации германской армии. Начальник главного штаба Мольтке вышел после этого из дворца и направился в главный штаб, как вдруг его догнали и вернули во дворец: получена депеша от князя Лихновского из Лондона, в которой говорилось, что Франция не вмешается в войну Германии с Россией, если Германия первая не нападет на Францию. «Царило радостное настроение»,— повествует Мольтке. Император заявил: «Итак, просто мы со всей армией двигаемся на восток!» Но Мольтке не верил в реальность этой комбинации, боялся отступить от плана Шлиффена и, по его настоянию, решено было «в виде гарантии» французского нейтралитета потребовать у французов отдачи немцам на все время войны двух крепостей: Туля и Вердена. Даже и это (по существу фантастическое) требование не устраивало Мольтке, ибо весь план мобилизации, задолго выработанный еще при Шлиффене и окончательно усовершенствованный при Мольтке, сводился к немедленному началу военных действий именно на западе, против Франции, а вовсе не на востоке. Характерно, что в своих воспоминаниях Мольтке (все время в Берлине так же толкавший к войне, как это делал Янушкевич в Петербурге) явно пытается снискать сочувствие читателя горестным своим душевным состоянием (по поводу этой перемены в мобилизации): «Невозможно изобразить состояние, в котором я вернулся домой. Я был как будто сломлен и проливал слезы отчаяния» [15]. Проливал он их до 11 часов вечера, когда его снова позвали во дворец. Вильгельм принял его в спальне, встав с постели: пришла новая телеграмма из Лондона от английского короля. Король заявлял, что, очевидно, Лихновский ошибся: ничего о французском нейтралитете ему, королю, не известно. «Можете теперь делать, что хотите»,— с возбуждением сказал Вильгельм. Немедленно Мольтке, согласно плану Шлиффена, двинул германские армии на запад.

Уже с 23 июля, а особенно с 30 июля страшное возбуждение

стало охватывать Германию. Многие потом вспоминали вообще об этом времени, как о каком-то бреде, длившемся около двух недель. Империалисты торжествовали победу; никогда не казались они так популярны в народных массах, как в эти дни. Социал-демократия умыла руки. Левые ее представители с отчаянием увидели свое бессилие.

Много воды утекло с тех пор, как Вильгельм Либкнехт 17 октября 1867 г. произнес в северогерманском рейхстаге речь, в которой советовал уничтожить постоянное войско и заменить его «народным ополчением по образцу швейцарского». Социал-демократы привыкли и к милитаризму, и к империалистским стремлениям, и к колониальной политике многих своих лидеров, и к мысли, что старый Либкнехт был хорош в свое время, но сейчас его взгляды неприменимы, а сын его, молодой Либкнехт, Карл,— горячая голова, которая «не считается с действительностью», и т. д. Партийные верхи были совершенно инертны в эти страшные, решающие дни. А между тем только социал-демократия могла бы еще удержать Вильгельма, Мольтке и всех приверженцев Мольтке, если бы было мыслимо ее выступление.

Но верхи партии если не хотели войны, то, с другой стороны, мало ее и боялись, особенно в первые четыре дня августа, когда им тоже казалось, что придется воевать только с Россией и Францией. Да, война нехороша, но ведь все кончится в восемь недель согласно плану Шлиффена, и какое лучезарное будущее потом откроется перед германским рабочим классом! Именно с этим оптимизмом пошел добровольцем и погиб от французской пули один из социал-демократических лидеров, член рейхстага Франк. Другие воевать, правда, сами не пошли, но к мысли о войне относились с самого начала конфликта довольно хладнокровно.

Так же точно, впрочем, вели себя в эти дни социалистические партии и в странах Антанты.

Президиум германской социал-демократической партии, правда, выпустил 25 июля протест против «австрийского империализма», провоцирующего войну, и затем устроил даже мало удавшуюся демонстрацию против войны. Президиум требовал от германского правительства, чтобы оно «пустило в ход свое влияние на австрийское правительство для сохранения мира».

Каутский по поводу этого документа замечает, что если бы германский пролетариат знал, что вся эта затея с ультиматумом Сербии есть уже наперед условленная между Берлином и Веной игра, то он не был бы так наивен и не требовал бы от германского правительства мирного вмешательства, а сам обратился бы разом и против германского и против австрийского правительства. Может быть. Большой вопрос только в том, все ли

слои рабочего класса решились бы в июле 1914 г. на революционное выступление, единственное, которое могло остановить Вильгельма и окружавших его Мольтке и др.

Во всяком случае после войны даже и Шейдеман и его друзья признали, что *если бы они знали истинные факты* в те июльские и августовские дни, они не остановились бы перед немедленным призывом рабочего класса к революции. Может быть, правильнее было бы сказать: *если бы они предвидели поражение Германии.*

«Кто были те люди,— вопрошал в печати впоследствии (в 1919 г.) Вальтер Ратенау,— которые ликовали 1 августа 1914 г.? Это были *все*. Кто были те, которые по два раза на каждой неделе вывешивали флаги, пили по поводу гибели «Лузитании», одобряли подводную войну, шутили по поводу каждого (*нового*) *объявления* войны? Многие добрые социалисты были между ними» [16].

4 августа 1914 г. на торжественном заседании рейхстага, при патриотических восторгах присутствующих, социал-демократы пожали руку Вильгельму II, как это сделали и все прочие партии.

Правительство торжествовало полную моральную победу. Стоило ли думать об единичных исключениях, о Карле Либкнехте или Розе Люксембург, *тогда* совершенно одиноких и бессильных?

Убеждение Карла Либкнехта, конечно, признававшего в существовании капиталистической системы в Европе общую причину войны, вскоре сформировалось окончательно так: *главные, непосредственные* виновники — германские и австрийские империалисты; они виновники именно *этой* в августе 1914 г. возгоревшейся войны [17].

Уже будучи арестован, 3 мая 1916 г., Либкнехт в официальном письме к военному суду писал: «Германское правительство затеяло эту войну сообща с австрийским правительством и взяло на себя бремя ответственности за непосредственный взрыв войны. Оно инсценировало (in Szene gesetzt) войну, прибегнув к введению в заблуждение народных масс и даже рейхстага: умолчание об ультиматуме к Бельгии, составление немецкой Белой книги, изъятие телеграммы царя от 29 июля 1914 г. и т. д.,— и оно (германское правительство) стремится преступными средствами поддерживать в народе воинственное настроение» [18].

Либкнехт уж очень скоро после начала войны разобрался в истинной ценности официальной версии о «внезапном нападении» на Австрию и Германию. Роза Люксембург не верила этой версии *ни одного дня. Они оба даже были* склонны уменьшать при этом роль Антанты. Правда, они еще многого тогда не могли знать.

Впоследствии Роза Люксембург говорила Луизе Каутской, близкому своему другу, что она хотела 4 августа 1914 г. покончить с собой от отчаяния, что социал-демократы с такой готовностью поддержали Вильгельма («Am 4 August habe ich mir das Leben nehmen wollen»). Ее убили в 1919 г. (и освободили от наказания ее убийц) те люди, которые ликовали 4 августа 1914 г., торжествуя будущую победу над всеми супостатами. Ее смерть в 1919 г. очень мало огорчила тех ее товарищей, которых в июле и в августе 1914 г. только раздражали и смущали ее бессильные и отчаянные укоры.

Я нарочно упомянул именно здесь о поведении и настроении социал-демократии. Часть (и часть значительная) рабочего класса и представлявшей его партии оказалась в эти дни — от 31 июля, когда была объявлена война России, вплоть до 4 августа — политически пассивной и нисколько не способной и не желающей остановить развертывающиеся события; она не желала даже *попытаться* это сделать.

Мнение, широко распространенное *теперь* в коммунистической партии Германии, формулировал в последнее время Пауль Фрелих: «Цель, во имя которой шла на бойню одна держава, была совершенно столь же «законна», как и цель других держав. Другими словами, она была столь же преступна. Все державы желали войны и вступали в нее, как грабители. За мировую войну каждое правительство ответственно в той же мере, как и остальные. Но за то, что война разразилась именно в августе 1914 г. и что она была объявлена именно при таких обстоятельствах и в этой именно форме, за это несут ответственность обе центральные державы, причем главная доля ответственности падает на германское правительство. Германия и Австрия совершили поступки, делавшие войну возможной, а Тройственное согласие своими выступлениями сделало ее неизбежной». К этой формулировке следует прибавить, что из всех держав Тройственного согласия, конечно, наиболее вызывающим образом вела себя в эти страшные дни Россия [19]. В последних телеграммах, которыми обменялись Вильгельм II и Николай II, мелькает порой явный страх пред тем, что должно совершиться, явная растерянность и как бы желание отступить от пропасти, и не только со стороны Николая II (как, например, подчеркивают Лихновский и Каутский), но и со стороны Вильгельма II. Но было уже слишком поздно, и неизбежное свершилось.

Мнение, что в войне всецело и исключительно виноваты враги, было 1 августа широко распространено в Германии. А между тем именно в эти дни на Германию надвигалась уж настоящая катастрофа, которая грянула не 1, а 4 августа и которая превратила «восемь недель» *предполагаемой* войны в четыре года и три месяца войны *действительной* и предполагаемую

победу — в предрешенный, неотвратимый и полный разгром. День 4 августа начался грандиозной манифестацией «всенародного единства» в рейхстаге, радостным предвкушением быстрой, близкой, молниеносной победы над Францией и Россией, восторгом правительства и рейхстага вследствие отлегшего от души беспокойства: Англия не выступила, путь свободен! «Спешите в церкви!» (Eilt in die Kirchen!),— приглашал император своих подданных, и настроение было такое, что имелось в виду не столько просить небесной помощи в предстоящей борьбе, сколько уже благодарить за совершенно несомненную победу, за уже дарованные самим небом наилучшие условия, в которых должна была произойти долгожданная проба сил. Несметные толпы народа до вечера манифестировали перед императорским дворцом, перед рейхстагом, перед памятником Бисмарку, перед вокзалами, через которые один за другими проходили, с музыкой и песнями, расцвеченные знаменами воинские поезда, направляясь на запад.

Но вечером того же 4 августа вдруг, почти одновременно, из разных источников, ссылавшихся то на Ягова, то на канцлера, пронеслись по столице первые зловещие слухи; при всех разноречиях слухи сходились на одном: британское правительство внезапно предъявило Германии ультиматум.

5

События с 31 июля по 4 августа развертывались с такой неизбежной логикой, что уже ни у кого, казалось бы, не могло быть сомнений в ближайших последствиях, а между тем приходится констатировать, что конечная катастрофа — внезапное вступление Англии в войну — в самом деле поразила в Германии очень многих, даже в ближайшем окружении Вильгельма. И это несмотря на зловещие слова Грея Лихновскому, сказанные уже 29 июля,— что он просит не обольщаться дружелюбным тоном его бесед с германским послом, и несмотря на резкое отклонение со стороны Грея всяких сделок с целью оплаты английского нейтралитета. Отметим лишь главные этапы в развитии этой исторической трагедии.

Объявление войны России само по себе нисколько не устраивало дел германского главного штаба: ведь по плану Шлиффена нужно было непременно *сначала* броситься на Францию, а уже разгромив ее — приняться за Россию. Значит, нужно было во что бы то ни стало *немедленно* вынудить Францию к войне. В течение последних пяти дней июля германский посол в Париже Шен неоднократно пытался вызвать со стороны Франции заявление, что она будет нейтральна в случае войны Германии с Россией. Но само германское правительство не надеялось, что оно может этого достигнуть.

Фон Мольтке, начальник германского штаба, предназначенный в главнокомандующие на западном фронте, решил к тому же, как сказано, потребовать от Франции выдачи крепостей Туля и Вердена *на все время войны с Россией*, *даже* если Франция объявит нейтралитет (в виде «гарантии»).

1 августа приказом президента республики Пуанкаре все французские сухопутные и морские силы были мобилизованы. Но французское правительство войны не объявляло. А Мольтке требовал от Бетман-Гольвега, чтобы поскорее эта формальность была выполнена, т. е. чтобы можно было, не теряя ни часа, начать поход, в котором весь успех зависел от быстроты. Тогда-то и были наскоро выдуманы в германском министерстве иностранных дел какие-то французские авиаторы, которые будто бы бросили бомбы в Карлсруэ и Нюрнберге, а также близ Везеля. Все это было чистейшей выдумкой и вполне сознательной ложью, и само германское правительство впоследствии отказалось формально от этой лжи. Другой предлог — переход французами *первыми* границы — был также ложен, ибо еще 30 июля Вивиани отдал (и опубликовал) приказ всем французским войскам держаться в десяти километрах от границы, чтобы избежать конфликтов и инцидентов. Но главный штаб торопил, и у Бетман-Гольвега не было ни времени, ни возможности выдумать что-нибудь более правдоподобное.

3 августа 1914 г. Германия объявила Французской республике войну.

Все это вышло еще более неловко и неудачно, чем с объявлением войны России. И Тирпиц, а с ним все государственные люди Германии, не потерявшие в эти дни голову, тогда же это поняли и почувствовали. Именно эта слишком уже явная, ничем не прикрытая инициатива Германии в деле объявления войны сильно помогла французскому правительству в его политике относительно рабочего класса: *война для Франции оказывалась с первого момента «оборонительной»*, несмотря на то, что, как мы уже отметили выше, французская дипломатия не раз и не два усиливала агрессивный дух в Антанте и годами вела завоевание Марокко, упорно борясь с противодействием Германии. Еще 31 июля вечером был убит Жорес. Это убийство было совершено неким Виленом, по явному наущению со стороны боевых правых организаций и под предлогом необходимости устранения вреднего германофила и изменника. Это злодеяние при других обстоятельствах могло бы вызвать резкую демонстрацию со стороны рабочего класса. Но именно при тех непрерывных дипломатических штурмах, которым как раз в первые три дня августа подвергалась Франция со стороны германского правительства, настроение рабочего класса стало как бы раздваиваться и меняться, и грандиозные похороны Жореса, в ко-

торых приняли демонстративное участие власти, начиная с президента республики и всех министров, а также весь парламент, без различия партий, превратились в своеобразную манифестацию единства всех направлений политической мысли и всех классов перед общей опасностью. Так по крайней мере казалось в те дни. Другим отрицательным, с точки зрения германских правительственных интересов, последствием этой неловкости, торопливости, явной искусственности и выдуманности предлогов к объявлению войны Франции было то, что левые элементы германской социал-демократии получали в дальнейшем очень уж благодарный материал для агитации против войны и против германского правительства, начавшего войну. Все же факт, что германское правительство *первое* объявило войну и России и Франции, остался несколько смущающим впечатлением в сознании германского рабочего класса. Это сказалось впоследствии.

А пока германскому правительству оставалось перешагнуть еще через одно препятствие. Пока об этом препятствии говорилось долгие годы за стратегическими картами в секретном отделении главного штаба, до тех пор оно казалось ничтожным. Но теперь, когда вдруг и безотлагательно приходилось с ним совладать, оно сразу приобрело грозный смысл. *Нужно* было пройти через Бельгию. Когда Шлиффен создавал свой план и когда его преемники с Мольтке-младшим во главе этот план уточняли и совершенствовали, то они вовсе не рассматривали нарушение бельгийского нейтралитета с точки зрения возможных дипломатических последствий. «Дайте нам войти в Бельгию, и через месяц мы возьмем Париж, а через два месяца заключим победоносный мир с Францией и Россией»,— такова была популярная военная формула. Но вот, 31 июля, по приказу короля Альберта была мобилизована бельгийская армия. Значит, Бельгия не намерена добровольно и мирно пропустить через свою территорию германские войска. Следовательно, неожиданно нужно объявить войну еще и Бельгии. Правда, и эта очень неприятная возможность принималась в расчет, хотя, конечно, она крайне портила, замедляла и путала все предприятие. Но еще хуже было другое: Грей обратился к Франции и к Германии с вопросом, намерены ли они соблюдать в предстоящей войне бельгийский нейтралитет. Вопрос этот фактически обращался, конечно, только к Германии: план Шлиффена в его основных чертах уже давно ни для кого не был тайной. Германия на этот вопрос не ответила.

В Англии, конечно, уже за несколько лет знали, что Германия нарушит нейтралитет Бельгии. Но теперь был сделан вид, что это совершенная неожиданность, и сейчас же началась агитация. Популярный предлог для войны был сразу найден. Захват Бельгии Германией, мирный или военный, с давних пор

считался в Англии страшным экономическим и политическим злом. Уже Наполеон I говорил, что Антверпен — это пистолет, направленный в грудь Англии. Отдать Бельгию Германии значило предоставить Германии превосходный плацдарм, великолепно снабженный в хозяйственном отношении, для будущего нашествия на Англию. Впоследствии Ллойд-Джорджд сказал, что, пока речь шла о Сербии, $^{99}/_{100}$ английского народа было против войны, когда речь зашла о Бельгии — $^{99}/_{100}$ английского народа пожелали воевать.

Отмолчаться по *такому* вопросу было немыслимо. 1 августа Эдуард Грей пригласил князя Лихновского и заявил ему, что не потерпит нарушения нейтралитета Бельгии, что вопрос уже обсуждался в совете министров, и они предлагают Германии принять это к сведению. Лихновский ответил вопросом: останется ли Англия нейтральной, *если* Германия обещает не нарушить бельгийский нейтралитет. Грей сейчас же и наотрез отказался дать это ручательство. Тогда Лихновский (умнейший и осторожнейший из тогдашних германских дипломатов), ясно видевший, какая страшная опасность вдруг выросла перед Германией, спросил Грея, не укажет ли он сам условий, при которых Англия обещала бы сохранить нейтралитет, и даже подсказал: например, если бы Германия обязалась ничего не забрать (по мирному договору) ни из французской территории в Европе, *ни из французских колоний.* На этот раз Лихновский в обещаниях своих шел дальше, чем 29 июля канцлер Бетман-Гольвег в разговоре с Гошеном. Но Грей и на это предложение ответил категорическим отказом и угрожающе прибавил, что желает «сохранить свободу рук». В Берлине, по приказу Грея, британский посол Гошен явился к министру Ягову снова с настоятельным вопросом о нейтралитете Бельгии. Ягов растерянно заявил, что должен посоветоваться с канцлером и императором, и тут же наивно прибавил на всякий случай, что, кажется, бельгийцы уже совершили первые враждебные нападения на Германию. Германское правительство 1 августа узнало не только о новом разговоре Лихновского с Греем, но и о том, что еще 31 июля Грей телеграфировал в Брюссель, выражая желание, чтобы Бельгия защищала свой нейтралитет. Канцлер Бетман-Гольвег еще не очень хорошо соображал, что все это значит, однако был в сильной тревоге, но... «камень уже покатился», как выразился канцлер, и этот камень уже ничто не могло остановить. Фон Мольтке рвал и метал, указывая, что все эти колебания губят дело, что ни часу терять нельзя — весь успех зависит от скорости, что германские войска немедленно должны пройти через Бельгию. 2 августа в Брюссель был послан ультиматум: если Бельгия мирно и без сопротивления разрешит войскам Германии пройти через свою территорию,

Германия гарантирует полную неприкосновенность Бельгии после войны; если Бельгия откажет, Германия объявляет ей войну. Наскоро сочиненным предлогом было мнимое (сознательно выдуманное, как было доказано впоследствии) нарушение бельгийского нейтралитета французами. «Ложью и вероломством устроено было в начале июля введение к войне, ложью и вероломством в первые августовские дни началась война,— замечает именно по поводу этих сознательно ложных предлогов и придирок Карл Каутский.— Германское правительство и верховное командование уже не могли более избавиться от лжи, которой они отдались, и должны были все выше громоздить здание лжи, пока оно с грохотом не обрушилось 9 ноября 1918 г.» Но хуже всего для германского правительства было, конечно, не то, что оно лгало: вся тысячелетняя история дипломатии доказывает, что этот порок сам по себе нисколько не наказывается, а скорее вознаграждается успехом в международной политике. И Антанта даже в эти самые дни нисколько не отставала от германской дипломатии в этом отношении. Беда для германского правительства была в том, что оно лгало как-то неумело и тотчас же было уличено. Опасность заключалась в непонимании, во-первых, того, что Англия *непременно* выступит и что английскому правительству именно по поводу нарушения нейтралитета Бельгии выступить удобнее и легче, и, во-вторых, не было понято, что, раз выступив, Англия дойдет до последних пределов, чтобы с Германией как с великой морской и колониальной державой покончить.

2 августа вожди консервативной оппозиции в парламенте — Бонар-Лоу и Лэнсдоун — обратились к премьеру Асквиту с официальным письмом, требуя, чтобы Англия поддержала Россию и Францию в предстоящей войне, и обещали полную свою поддержку кабинету.

3 августа Грей в заседании палаты общин объявил, что Англия во всяком случае гарантирует всем своим флотом французское побережье от нападений Германии. Что же касается бельгийского нейтралитета, то Англия будет его защищать «не отступая от использования всех наших (английских) средств». Грей уже знал в это время о том, что накануне Бельгия получила ультиматум от Германии, а 3 августа, пока шло заседание английского парламента, пришла телеграмма от бельгийского короля и правительства с просьбой о защите (уже и 2 августа Бельгия держала Грея в курсе событий). Ежечасно со всех сторон, из разных источников, в министерство прибывали новые и новые известия о том, что германская армия вечером 3 августа перешла бельгийскую границу близ Геммериха и с раннего утра 4 августа непрерывным потоком вливается в страну, направляясь к югу. Решение Греем было принято.

Статс-секретарь фон Ягов поторопился, правда, 3 августа. послать князю Лихновскому для немедленного сообщения Грею успокоительные заверения: даже в случае войны с Бельгией Германия не аннексирует бельгийской территории; для Германии нарушение бельгийского нейтралитета крайне необходимо, вопрос «жизни или смерти» и т. д. Но Грей телеграфировал в ночь на 4 августа британскому послу в Берлине Гошену приказ немедленно заявить фон Ягову, что Англия не может потерпеть этого нарушения нейтралитета Бельгии, и настойчиво требовал соответствующего обещания со стороны германского правительства. Он тогда еще не имел или сказал, что не имеет, вполне точных сведений об уже начавшемся вторжении. Ягов ответил новыми уверениями, что Германия рискует всем, если не будет действовать быстро, и т. д. Хлопотливый это был день — 4 августа 1914 г.!

В торжественном заседании рейхстага Вильгельм заявил, что он больше не знает никаких партий, что необходимо полное единство, и обменялся тут же рукопожатиями с представителями всех партий, не исключая и социал-демократов (именно после этого Роза Люксембург и хотела покончить с собой, как сказала об этом Луизе Каутской). Воодушевление, оптимистические чаяния овладели массами народа. Англия, казалось, молчала, а с Францией и Россией покончить можно было (тоже казалось) очень быстро, по плану Шлиффена. «Еще до осеннего листопада вы вернетесь с победой»,— эти слова императора (или приписываемые императору) повторялись с восторгом и вдыхали бодрость духа; передавалось, что он сказал эти слова, делая смотр части гвардии. Канцлер Бетман-Гольвег, взойдя среди оваций на трибуну, признал, что бельгийский нейтралитет *уже* нарушен, что по отношению к Бельгии сделана, правда, *несправедливость,* но... нужда не знает закона (Noth kennt kein Gebot), и что когда минет военная необходимость («когда будут достигнуты наши военные цели»), эта несправедливость будет заглажена. Эти слова, которые впоследствии наделали Германии столько вреда и так помогли антинемецкой пропаганде, объясняются общим страшно возбужденным и радостно-приподнятым настроением, царившим в Берлине (в правительственных кругах) весь этот день: ведь первый визит Гошена с ночной телеграммой Грея к Ягову в этот день как бы показывал, что хотя Грей и сердится, но все-таки воевать из-за Бельгии не будет. Убеждение, что «победителей не судят», охватывало правящие круги все более и более. Вот почему можно было даже великодушно признать публично свою «несправедливость»; вот почему и в прессе писалось в те дни многое такое, чего потом ни за что не написали бы. Но за первым визитом посла Гошена последовал и второй визит...

Еще пока шло возбужденное ликование в рейхстаге, Гошен получил новую телеграмму от Грея. Грей уже совершенно точно узнал, что германские войска перешли границу и подходят к Льежу. Он в своей телеграмме приказывал Гошену немедленно предъявить категорический *ультиматум* германскому правительству: вывести все свои войска обратно, немедленно очистить Бельгию; положительный ответ требовался до 12 часов ночи. «Если нет (if not),— вам предписывается потребовать ваши паспорта и заявить, что правительство его величества чувствует себя обязанным принять все меры, какие в его власти, чтобы поддержать нейтралитет Бельгии и выполнить договор, в котором Германия такая же участница, как мы сами». В 7 часов вечера Гошен с этой телеграммой побывал у Ягова, который выразил свое крайнее огорчение по поводу такого оборота дела, а затем посол посетил канцлера Бетман-Гольвега. Оказалось, что для канцлера этот английский ультиматум с двенадцатичасовым сроком явился, действительно, внезапным ударом грома с ясного неба. «Я нашел канцлера очень взволнованным,— доносит об этой исторической сцене английский посол,— он сказал, что шаг, сделанный правительством его величества (т. е. британским — *Е. Т.*), в высшей степени страшен; только из-за слова «нейтралитет», слова, которым так часто пренебрегали во время войны, только из-за клочка бумаги (just for a scrap of paper) Великобритания намерена воевать против родственного народа, который ничего лучшего не желал бы, как жить с ней в дружбе». После обмена несколькими полемическими фразами посол расстался с канцлером и на другой день выехал из Берлина. Еще за несколько часов до его отъезда, ровно в 12 часов ночи с 4 на 5 августа 1914 г., истек ультимативный срок, поставленный Греем, и Британская империя формально и фактически вступила в войну с Германией.

6

Последствия этого факта были колоссальны, он имел поистине решающее значение. Еще задолго до войны германский посол князь Лихновский говорил англичанам, что не считают же они императора Вильгельма II сумасшедшим человеком, который решился бы разом воевать с Англией, Францией и Россией. Участие Англии в корне меняло соотношение сил борющихся сторон. Отметим лишь самые главные последствия.

1. Появлялся новый фактор в борьбе, и притом фактор, всецело враждебный Германии: *длительность*. Не вполне готовая Франция, очень неготовая Россия получили возможность не заключать мира после первых поражений, а затянуть войну, оправиться и опять вступить в бой. План Шлиффена терял смысл, так как даже в случае взятия Парижа французское правитель-

ство, удалившись на юго-запад, продолжало бы борьбу, имея на своей стороне все силы и материальные возможности необъятной и богатейшей в мире Британской империи.

2. Длительность войны сама по себе страшно подрывала шансы Германии на заключение выгодного мира; союзникам стоило только отказываться заключить мир, чтобы германская промышленность и торговля хирели и погибали.

3. Британский флот сразу отрезывал Германию от всех морей, от всех ее колоний и рынков, от заморского привозного сырья, от подвоза припасов, подвергал ее население «голодной блокаде». Это круто меняло к худшему всю хозяйственную жизнь Германии, душило и разоряло ее.

Прибавлю, что в настоящее время существует мнение, согласно которому, если бы целый ряд английских торговых фирм и предприятий в течение всей войны, невзирая на все изъявления беспредельного своего патриотизма, не поддерживал Германию ввозом товаров через Скандинавские страны (конечно, из-за неслыханно высоких барышей), то Германия, может быть, не продержалась бы столько времени, сколько она продержалась в действительности. Этот характерный факт разоблачен во всех деталях в вышедшей в 1927 г. книге английского адмирала Консетта «The triumph of civil forces». Книга Консетта, после тщетных попыток крупнокапиталистической прессы замолчать ее, все же наделала очень много шума. В английской рабочей печати книга адмирала Консетта была принята как доказательство, что война, каждый лишний день которой стоил потоков крови, искусственно и сознательно затягивалась во имя интересов того же капитала, который и привел к самой войне. Иллюстрация морального «загнивания» получилась яркая.

Но, конечно, все эти обстоятельства могли только оттянуть развязку, но не предотвратить ее. Контрабанда была для Германии в 1914—1918 гг. очень важным, конечно, подспорьем, но, разумеется, не могла побороть гибельных последствий систематической блокады, длившейся еще дольше, чем длилась война,— около пяти лет (с августа 1914 г. до заключения Версальского мира 28 июня 1919 г. Да и тогда она была снята далеко не на другой день).

4. Весь колоссальный тоннаж британского торгового флота, дававший полную возможность Англии использовать материальные богатства всего земного шара, поступал в распоряжение Антанты; германский же торговый тоннаж оказывался бесполезным собранием сбившихся в кучу пароходов, на все время войны запертых в своих портах.

Вот положение мирового торгового тоннажа накануне войны, к 30 июня 1914 г.[20]

	В тоннах	В процентах
Британская империя	20 335 289	47,8
Германия	5 099 120	12
Соединенные Штаты (без речного и озерного флота)	1 912 000	4,5
Норвегия	1 957 353	4,6
Франция	1 922 286	4,5
Япония	1 708 386	4
Нидерланды	1 471 710	3
Италия	1 430 475	3,4
Все другие страны мира, вместе взятые	6 686 400	15,7
Итого	42 523 119	100

5. Обладая империей величиной почти в $^1/_4$ часть суши земного шара, с 419 миллионами подданных, англичане могли при длительной войне успеть обзавестись огромной армией, которая при неограниченных возможностях в деле снабжения и вооружения могла оказаться страшным противником. А о том, что война будет длительной, англичане, начиная с лорда Китченера, повторяли с первых же дней борьбы. Китченер считал, что она будет длиться семь лет.

6. Громадные финансовые средства Британской империи и ее огромный кредит становились тоже отныне средствами борьбы, которые поступали в распоряжение Антанты. Наряду с английским торговым тоннажем английский кредит уже с первых дней войны являлся могучим орудием, пользуясь которым страны Антанты получали к своим услугам всю североамериканскую промышленность.

7. Участие Англии с ее колоссальными и разбросанными по всему земному шару владениями, с ее абсолютно владычествующим на всех океанах военным и торговым флотом неодолимо привлекало, как магнитом, все новых и новых союзников в лагерь Антанты. Когда Англия вступила в войну, Германия воевала уже с тремя державами — Россией, Францией и Бельгией; когда война окончилась, Версальский мирный трактат был подписан двадцатью семью державами, воевавшими против Германии. И *все* 23 державы, присоединившиеся после Англии уже во время войны к Антанте, только потому и присоединились, что в ее составе была Англия. Германия была еще четыре года могуча на европейском континенте, но в прочих местах земного шара она была бессильна, изгнана, сдавлена, поставлена как бы вне закона уже с первых дней войны. Воюя против Германии, можно было кое-что выиграть; воюя на ее стороне, нельзя было даже рассчитывать на ее помощь, так как

она сама оказалась в положении большой осажденной крепости. Заморские державы присоединялись к Антанте одна за другой не потому, что они были враждебны Германии, не потому, что у них были с Германией какие-либо старые счеты, но потому, что поражение Германии за морем было как бы предрешено, чем ни окончится война на европейском континенте,— следовательно, нужно было присоединяться к Англии заблаговременно для дележа будущей добычи, для овладения частью того огромного места, которое должно было остаться после изгнания германского торгового и промышленного капитала, германского торгового флота, германского экономического и политического влияния во всем внеевропейском мире.

В южноамериканской прессе уже с самого начала войны вспоминали, что даже Наполеон I, всемогущий в Европе, ничего не мог за все свое царствование поделать против Англии *вне* Европы, не мог даже сноситься с немногими уцелевшими колониальными владениями Французской империи,— не мог только потому, что война с Англией продолжалась почти столько же времени (кроме коротенького Амьенского мира), сколько продолжалось его владычество.

А что Вильгельму не удастся ни в малейшей степени повторить Наполеона, это стало вполне очевидно уже через $1^1/_2$ месяца после начала войны: в дни первой Марны и первого отступления германских армий.

8. Наконец, вступление Англии в войну повлекло за собой два последствия (одно — немедленно, другое — через некоторый промежуток времени), которые вследствие их значительности и впечатления, ими произведенного, нужно выделить и сказать о них несколько слов отдельно, хотя речь идет о явлениях того порядка, какие характеризованы только что, в пункте седьмом.

Первым по времени последствием вступления Англии в войну был внезапный ультиматум, предъявленный Германии японским правительством 15 августа 1914 г. В рассчитанно-обидной форме Япония требовала ухода германских военных сил и очищения Циндао и всей территории германской концессии в Китае. Этот удар не только лишал Германию ее единственной азиатской колонии, очень ценной в экономическом отношении, но и уничтожал надежды (о которых громко говорилось в первые дни войны), что Япония рано или поздно выступит против России. Кроме того, немецкие торговые суда в азиатских водах оказывались погибшими после этого выступления Японии. Удар был очень жестоким именно в силу внезапности и вследствие того впечатления, которое он должен был произвести на нейтральные державы. Вступление Японии в войну быстро сделало ее одной из главных поставщиц Антанты; во всех странах,

импортирующих фабрикаты, она стала в 1914—1918 гг. заменять Англию, Германию, Америку. Ввоз из Англии сильно сократился, ввоз из Соединенных Штатов (направившийся в Европу) — тоже, из других стран прекратился совершенно. К этому обстоятельству прибавились еще быстро возраставшие потребности воюющих стран, где для производства не хватало рабочих рук (тогда как в Японии война не чувствовалась, так как все военные действия ограничились легким подвигом — занятием Циндао). С 1915 г. начался, а с 1916—1917 гг. неслыханно ускорился процесс превращения Японии в промышленную страну первой величины. Правительство и парламент употребили с своей стороны все, чтобы облегчить этот процесс. Все предприятия, вырабатывающие ежегодно по крайней мере 5250 тонн товаров, освобождены в Японии на 15 лет от *всех* налогов и могут *беспошлинно* ввозить все машины и орудия производства, которые им нужны; а те предприятия, которые вырабатывают не меньше 35 тысяч тонн товаров в год, имеют право *экспроприировать* (с уплатой по справедливой оценке) все те соседние земли и недвижимости, какие будут признаны необходимыми для расширения производства. Есть еще целый ряд не менее характерных законов, всячески облегчающих промышленное производство в стране.

Вот цифры ценности японского ввоза в разные части света (в миллионах иен):

	1914 г.	1917 г.
В Азию	277	704
» Европу	91,7	335,1
» Америку	202	503
» Австралию	18	54

Этот ввоз оказал Антанте громадную помощь во время войны.

Другим последствием английского выступления была позиция, которую решила занять Италия. Правда, уже в последних числах июля стало известно, что Италия ни в каком случае не выступит на стороне Австрии и Германии; мало того,— в случае каких-либо приобретений Австрии на Балканском полуострове Италия потребует себе компенсаций. Но после вступления Англии в войну дело стало принимать еще худший для Австрии и Германии оборот. В Италии начали поднимать голову приверженцы так называемой ирредентистской политики, направленной к отторжению от Австрии населенных итальянцами провинций. Обширная территория, очень хлебородная, с прекрасным побережьем и портом (Триестом), с большими природными богатствами — вот что манило итальянскую дип-

ломатию. Участие Англии в войне как бы гарантировало победу. В Италии началось движение в пользу Антанты и за участие Италии в войне против центральных империй (Германии и Австрии). Около девяти месяцев продолжались колебания и приготовления. Весной 1915 г. Италия вступила в войну. Более далеким, но тоже несомненным последствием выступления Англии было, конечно, как увидим дальше, и выступление Америки.

Таковы были главные *последствия выступления* Англии.

И все-таки вся тяжесть, вся непоправимость катастрофы, вся безвыходность положения, созданная вступлением Англии в войну, далеко не всем в Германии были ясны в эту осень 1914 г. Конечно, Бетман-Гольвег, может быть, под влиянием князя Лихновского, прибывшего после разрыва сношений в Берлин, стал довольно уже скоро понимать, как слагаются дела, но все-таки, пока план Шлиффена осуществлялся механически, нужно было выждать; канцлер был в сущности не менее самого Вильгельма склонен к оптимизму, но только у него все действия и заявления носили доктринерский и сдержанно бюрократический характер, а у Вильгельма — более импульсивный и истерический оттенок. Оптимизм Бетман-Гольвега стал рассеиваться после первой Марны, и, собственно, уже с конца того же 1914 г. канцлер не переставал искать способов и мер, чтобы выпутаться как-нибудь из затеянной опаснейшей игры и нащупать тропинку, ведущую к миру с Антантой. Вступая в войну, Англия, Франция и Россия заключили в Лондоне 4 сентября 1914 г. (и тотчас обнародовали) специальную конвенцию, за подписью представителей трех держав — Поля Камбона, Бенкендорфа и Эдуарда Грея: они обязывались не заключать с Германией сепаратного мира.

Борьбе с этой конвенцией и посвятил с тех пор Бетман-Гольвег главные свои усилия. Как раз в тот день, когда была подписана Лондонская конвенция, начал намечаться роковой для Германии перелом в битве на Марне, и план Шлиффена рушился. Приходилось думать уже не только о военных, но также и о дипломатических путях к выходу из кольца враждебных держав, окруживших империю с суши и с моря. Что, помимо всех перечисленных следствий, выступление Англии со временем так или иначе вовлечет в войну и Соединенные Штаты, этого еще никто не мог и предвидеть. Но даже и без этого перспективы Германии с вечера 4 августа были уже совсем не так лучезарны, как еще утром того же дня. Была совершена первая и самая роковая, непоправимая ошибка в расчете. Она не оказалась последней.

Глава XIV

МИРОВАЯ ВОЙНА ДО ГЕРМАНСКОГО МИРНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 12 ДЕКАБРЯ 1916 г.

1. Победоносное наступление германских армий. Первая Марна. 2. Война на восточном фронте Германии и Австрии. Русские успехи в Галиции. Поражение и отступление русской армии из Восточной Пруссии. 3. Выступление Турции. 4. Отступление русской армии из Галиции, прикарпатских округов и Польши. 5. Выступление Италии. Германские успехи летом 1915 г. Выступление Болгарии. 6. «Голодная блокада». Продовольственная нужда в Германии. Начало недовольства и раздражения в рабочем классе. Отделение независимых социал-демократов от шейдемановцев. Циммервальд-Кинталь. 7. Верденские и соммские бои. Наступление Брусилова. Присоединение Румынии к Антанте. Разгром Румынии

1

Мировая война началась при весьма неблагоприятных дипломатических условиях для Германии, и уже через полгода эта печальная истина получила распространение и в рабочих кругах и в буржуазных партиях (среди правительственных лиц об этом догадались очень многие уже в первый день вступления Англии в войну). И все-таки в течение первых $1^1/_2$ месяцев, вплоть до конца битвы на Марне, патриотическая горячка преобладала над всеми другими впечатлениями, соображениями, опасениями. «Чем больше врагов, тем больше чести!» (в победе над ними): «mehr Feind, mehr Ehr!» — повторяли не только бульварные газеты. Вера в план Шлиффена нисколько не была поколеблена в широких массах, тем более что ведь главный штаб с первой же минуты войны быстро и энергично взялся за осуществление этого плана, как если бы ничего непредвиденного вовсе и не случилось, как если бы никакой Англии и на свете не существо-

вало. И это продолжалось целых $1^1/_2$ месяца. В течение этих $1^1/_2$ месяцев не только увлекавшиеся патриоты, но и старые боевые генералы, вроде фон Безелера, держали пари, назначая точно тот сентябрьский день, когда они войдут в Париж. Эта уверенность была очень заразительна, и она-то больше всего способствовала полному успеху шейдемановской политики в первые месяцы войны в рабочих кругах. Сам Шейдеман с тем наивным и не очень сознательным цинизмом и полнейшим самодовольством, которые вообще характерны для его мемуаров, говорит: «Само собой понятно, что в первые недели и месяцы войны мы налагали на себя известную сдержанность; ведь никто не знал, не кончится ли война в короткий срок и не станет ли вместе с тем излишней военная политика» (партии) [1]. Другими словами: веря в план Шлиффена, Шейдеман решил подождать несколько месяцев, не очень высказываясь, предоставляя свободу действий генералу Мольтке, Вильгельму II и Бетман-Гольвегу. Когда же все враги будут быстро разгромлены и вынуждены к миру, тогда левые социал-демократы будут уж окончательно бессильны поднять рабочий класс против шейдемановцев за их поведение 4 августа 1914 г. Но так как, с другой стороны, полной, математической уверенности в успехе плана Шлиффена все-таки у Шейдемана не было, то и с правительством очень уж связываться и солидаризироваться *пока* не стоило, чтобы в случае военных неудач можно было незаметно перейти на позицию защитника народных масс и неподкупного борца против милитаризма. Итак, решено было пока помолчать. Однако помолчать вполне как-то не удалось. Нарушение нейтралитета Бельгии и слухи о жестокостях в ней немецких властей, очень сильно преувеличенные антантовской пропагандой, создали среди социалистических партий нейтральных держав крайне враждебное настроение против Германии вообще и германской социал-демократии в частности. Пришлось отправить Вильгельма Янсона в Стокгольм, Зюдекума — в Италию, самому же Шейдеману отправиться в Голландию. Успеха они в своей агитации не имели, ибо на них в тот момент смотрели как на казенных защитников германского императора и его слуг. Да и сами эти агитаторы остерегались тогда (осенью 1914 г.) вымолвить хоть слово против ожидавшихся аннексий и приобретений победоносной Германии.

А германская армия пока шла от побед к победам. Правда, Бельгия оказала неожиданно упорное сопротивление, и это несколько повредило Германии с самого начала, так как французы выиграли несколько лишних дней для концентрации своих сил, но общему впечатлению от блистательных германских успехов это нисколько не повредило. С утра 4 августа шесть германских бригад, перешедших бельгийскую границу,

направились к Льежу (Люттиху); через три дня генералу Людендорфу, тогда начальнику штаба II армии, удалось войти в город и в крепость. С другой стороны, начавшееся (с очень слабыми силами) наступление французов на Эльзас заставило Мольтке бросить туда дивизию, чтобы остановить наступление. Но все это не изменило первых результатов войны: в десять дней Бельгия была занята немцами, и германская армия двинулась во Францию. С 20 августа начались непрерывные бои с французской армией, и, продвигаясь с боем все дальше и дальше к югу, тесня перед собой французов, немцы в первом громадном сражении этой войны, в битве при Шарлеруа, одержали полную победу над французами, а также над сравнительно еще небольшой английской армией, которую пока успели прислать из Англии. 24 августа французский генералиссимус Жоффр отдал приказ об отступлении. Наседая на отступающего неприятеля, немцы, сломив все без исключения попытки остановить их, безостановочно двигались на Париж. План Шлиффена развертывался во всю свою грандиозную ширь. Как и полагалось по этому плану, главная сила была сосредоточена на правом фланге, в том «правом кулаке», которым командовал генерал фон Клук. Фон Клук заворачивал правым плечом по линии несколько западнее Парижа, устремляясь к обходу левого французского фланга.

Грозная опасность висела над столицей. Президент республики и совет министров 3 сентября покинули Париж и переехали в Бордо. Решено было, даже в случае вполне возможного взятия Парижа немцами, продолжать борьбу.

Часть французских войск отступила к Марне и заняла (вместе с английской армией) оба берега реки. В ночь на 3 сентября фон Клук перешел через Марну у Шато-Тьерри и двинулся дальше. Страшное волнение охватило Францию, а еще более Германию: во Франции военная цензура лишь очень скупо пропускала известия в печать, а в Германии в эти дни, напротив, сообщения о неслыханных успехах (в самом деле громадных) еще даже преувеличивались. Толпы народа в неописуемом возбуждении до поздней ночи стояли перед редакциями газет и правительственными зданиями.

Желанная весть о падении Парижа ожидалась с часу на час. Но 4 сентября решено было контрнаступление всех французских сил, а 5-го Жоффр издал приказ, в котором говорилось, что отступления не будет, хотя бы пришлось быть перебитыми на месте. Возгоревшаяся с новой яростью битва продолжалась безостановочно с 5 по 9 сентября, и 9-го германская армия впервые дрогнула. Тогда еще никто, кроме германского главного штаба, не знал, что вследствие неожиданного русского наступления на Восточную Пруссию сочли нужным — в прямое

нарушение плана Шлиффена — внезапно, в разгаре похода на Париж, снять с фронта несколько дивизий и перебросить их на восток. Париж был в значительной степени спасен этим действием [2]. В 3 часа дня 9 сентября фон Клук получил одновременно приказ отступать и известие, что вся II германская армия уже начала отступление. 9, 10 и 11 сентября все германские силы с боем, а потом форсированно, отходили от Марны к северу; французы следовали за ними. 10, 11, 12, 13 сентября III, IV и V германские армии очистили все позиции и отступили к северу. Последней ушла V армия (кронпринца) — 13 сентября, и кронпринц из совершенно бесполезной бойни, которой он лишний день подверг своих солдат, впоследствии пытался создать себе репутацию храброго и искусного вождя (нечего и говорить, что во все дни этой страшной битвы он лично находился в полнейшей безопасности). Отход немецких армий продолжался до 17-го. Немцы окопались между Уазой и Мезой, шедшие за ними французские части окопались перед немецкой линией, и началась долгая окопная война. План Шлиффена потерпел полную неудачу.

Последствия битвы на Марне были необъятны. Когда уже все кончилось, многие германские военные авторитеты стали утверждать, что они считали войну проигранной в тот момент, когда германская армия отхлынула от Марны к северу. С этого момента Париж был спасен, а следовательно, была потеряна всякая надежда заставить Францию заключить мир, надежда на быстрый разгром русских сил, на то, что Англия не успеет развернуть своих средств во всю ширь. С военными авторитетами в оценке значения этой битвы вполне соглашаются по существу, но тем раздраженнее укоряют их в сознательной лжи люди, находящиеся на другом полюсе, вроде Пауля Фрелиха: «Военное командование понимало ужасное значение марнской битвы. Но оно не решилось признаться в этом даже самому себе. Теперь оно просто играло азартную игру, и, после того, как ему не удалось опутать ложью французскую армию, оно начало опутывать ею собственный народ. В германских военных отчетах, ежедневно сообщавших о победах,— о страшном поражении при Марне не говорилось ничего... Была решена судьба не какого-либо одного боя и не только марнской битвы, а всей *завоевательной войны*. Была пора прекратить игру... Почему этого не сделали? Почему народ так вероломно и преступно обманывали? Потому, что боялись народного суда. Потому, что не желали признаться сами себе в собственном безумии. Потому, что теперь верили только в чудо. Итак, все они продолжали лгать: генералы, правительство, воинствующие патриоты, германская социал-демократия; и они лгали целые годы, пока ложь не погибла, а вместе с ней все великолепие

вильгельмовской империи. Все снова и снова народ, эти миллионные массы рабочих, гнали плетками в убийственный огонь — *во имя потерянной войны»*[3]. Собственно, с средины сентября началась та война на истощение, в которой Германия неминуемо должна была оказаться слабее Антанты. И все усилия германского командования направляются отныне к той цели, чтобы вызвать противника на решительные действия или чтобы решительными действиями склонить его к скорейшему заключению мира. Но если у французов после Марны замечалось истощение снарядов, то и немцы должны были оправиться и пополнить запасы после неслыханно щедрой траты снарядов. Неделя шла за неделей, месяц за месяцем, а кроме стычек и сражений второстепенного характера, на западном фронте ничего не происходило. Драгоценнейшее время уходило, а во французских портах высаживались новые и новые формирования из Англии. Еще в октябре и в начале ноября шли битвы более или менее крупные, и все без решительных результатов; но с средины ноября, после окончания боев на Ипре, произошла прочная стабилизация западного фронта. Весь интерес войны сосредоточился на востоке.

2

Вопреки планам германского штаба, приходилось углубляться в русскую территорию, не добившись развязки на западе. Теперь уже ни для кого не тайна, что страшные потери, понесенные русской армией в первые 2½ года мировой войны и далеко превосходившие потери союзников, объясняются тремя главными обстоятельствами: 1) скудостью и дефективностью снабжения как в момент начала войны, так и в течение всех 2½ первых лет войны; только весной 1917 г., ко времени Февральской революции, снабжение стояло на более сносном уровне; 2) почти полным отсутствием способных и достойных своего положения военных тактиков и стратегов на верхах армии, особенно в течение первого периода войны, когда генерал Янушкевич, начальник штаба при верховном главнокомандующем Николае Николаевиче, фактически руководил военными действиями. Когда затем фактическое руководство перешло к генералу Алексееву, в большей степени обладавшему чувством ответственности и не бросавшему людей зря на гибель, многое было уже безнадежно испорчено; вообще, за немногими яркими исключениями, командный состав был не силен[4]; 3) подчинением всей русской стратегии планам и требованиям французского главного штаба: русской армии отводилась страшно тяжелая, невыгодная, неблагодарная во всех отношениях роль оттяжки возможно большего количества германских сил с

западного фронта, причем никого не интересовал вопрос, *как* эти оттянутые германские силы могут быть (и вообще могут ли быть) отброшены русской армией и чего это ей будет стоить.

Так, истребление двух русских корпусов в Восточной Пруссии и вытеснение русских из Пруссии в самом конце августа и в начале сентября (н. с.) 1914 г. было платой за спасение Парижа, так как — мы уже упоминали об этом — нужные для разгрома русских корпусов немецкие войска были спешно сняты с французского фронта как раз перед битвой на Марне. Или, например, выступление Румынии ранней осенью 1916 г., очень невыгодное *в тот момент* для русских войск, очень оспариваемое сначала русскими генералами, было уступкой требованиям союзников, которым важно было, чтобы немцы поскорее и поглубже снова увязли на востоке (чего бы это ни стоило «востоку»). Таковы три непосредственные причины огромных русских потерь. Были и другие, и их было очень много, но мы тут не пишем истории России, да и самой войны касаемся лишь постольку, поскольку без этого дальнейшее — послевоенное — развитие событий было бы непонятно. Храбрость и упорство русских войск, удивлявшие врага, выносливость и самоотвержение, равнодушие их к смерти могли при этих условиях дать временные и частичные успехи, но не больше. Это — с точки зрения интересов России. Но с точки зрения интересов союзников русская армия, принявшая на себя главную тяжесть войны в первые годы, предоставила Франции, Англии, Италии время, необходимое для развертывания всех их сил, могущественно способствовала ослаблению и истощению Германии, Австрии и Турции и сильно этим облегчила конечный разгром центральных империй. Безобразная дезорганизация в тылу, бесхозяйственность, гибельное пребывание во главе военного министерства в течение первого года войны Сухомлинова, широчайше развитый и превосходно поставленный немецкий шпионаж и легкомыслие русских властей, благодаря которому, между прочим, по позднейшему признанию немецкого генерала Гофмана, немецкое верховное командование сплошь и рядом узнавало русские военные распоряжения,— все это дополняло картину той обстановки, в которой упорно боролась и погибала русская армия [5]. Достаточно почитать внимательно переписку Сухомлинова с Янушкевичем в 1914—1915 гг., напечатанную в первых трех томах «Красного архива» (за 1922—1923 гг.), чтобы ясно понять, в каких руках находились миллионы человеческих жизней и участь России в тот момент. Они оба вовсе не сознают всей безмерной, чудовищной по своим последствиям личной своей виновности. Это два благодушных обывателя, делящихся впечатлениями. В *первые* же недели войны не было достаточно снарядов и патронов, поэтому уже в начале сентяб-

ря 1914 г. генерал Кузьмин-Караваев твердит только одно: «Надо заключать мир», полубезоружные люди, без артиллерийской поддержки и защиты, гонятся под германские орудия и пулеметы и гибнут десятками тысяч зря, а Янушкевич иронизирует насчет «истерических телеграмм» генералов Брусилова и Иванова, требующих снарядов, и великий князь Николай Николаевич посылает Иванову «грозную телеграмму», что надо «по одежке протягивать ножки» [6]. Глава правительства Горемыкин в то же время усвоил окончательно (и при каждом удобном случае высказывал) стройную теорию о том, что война вовсе и не касается ни его, ни совета министров в целом, а касается лишь государя императора, военного министерства и верховного командования. После этих необходимейших вводных замечаний можно ограничиться лишь самым общим, в хронологической последовательности, изложением событий на русском фронте, чтобы обратиться затем к западным державам, истории которых посвящена эта книга.

Война была объявлена 1 августа (н. с.) 1914 г., а уже через 5 дней русские разъезды показались около Сольдау, и немцы, обнажившие восточную границу, отступили к Кенигсбергу и Алленштейну. Продолжать наступление русские отряды не могли и остановились. 26—30 августа произошла битва при Танненберге, в которой командующий восточным германским фронтом Гинденбург и его начальник штаба Людендорф нанесли тяжелое поражение русским войскам, и русские, преследуемые в течение 1—15 сентября, ушли из Восточной Пруссии. Немцы преследовали русских до Оссовца. Одновременно бои с австрийцами привели к русской победе и занятию Львова, а после боев в октябре и ноябре австрийцы отошли к Кракову. В течение всего октября, ноября, отчасти декабря 1914 г. в районе левого берега Вислы велись тяжкие бои с германцами, без решительной развязки; новые и новые немецкие части перевозились с застывшего западного фронта на русский. Зима нисколько не прерывала военных действий на русском фронте. В последней четверти января 1915 г. усилился подвоз новых больших формирований к немецким силам на северо-восточном немецком фронте, и немцы начали большое наступление в направлении к Прасnышу. Русские войска потерпели поражение (в феврале) в битве при Мазурских озерах. Непрерывные тяжкие бои кончились отходом русских к северу от Нарева и Вислы и временной их остановкой на этой линии. Одновременно в январе и феврале русские войска, наступая в Карпатах, натолкнулись на серьезнейший отпор со стороны подвезенных сюда свежих германских сил. Бои в Карпатах продолжались в январе, феврале, марте и стоили обеим сторонам огромных потерь. Русское наступление было остановлено (когда австро-венгерская армия получила

немецкие подкрепления), и вскоре русские войска откатились назад. 12 марта (н. с.) русские взяли Перемышль в Галиции. Но это был последний крупный русский успех в 1915 г.

С конца октября 1914 г., а особенно с начала 1915 г., ко всем неблагоприятным условиям, в которых приходилось действовать русской армии, прибавилось еще одно: выступила Турция, и часть русских сил необходимо было отправить в Закавказье. Выдерживая полностью натиск Австрии и в значительной степени натиск Германии, русские войска отныне должны были принять на себя полностью также удары со стороны Турции.

3

Выступление Турции и роль, которую суждено было сыграть вопросу о дележе турецкой добычи в дипломатии союзников, освещены теперь весьма ярко не столько мемуарной литературой, сколько тремя сборниками секретных документов, выпущенными в последнее время в России [7]. Отсылая к этим сборникам документов всех желающих ознакомиться с деталями вопроса о Турции во время войны, я тут и в дальнейших главах отмечу лишь основные пункты, которые читатель не должен забывать ни на минуту при изучении этой важной стороны мировой войны.

Младотурецкое правительство в момент начала мирового конфликта было под живым впечатлением второй балканской войны, когда ему посчастливилось вернуть только что потерянный Адрианополь. Теперь туркам казалось совершенно необходимым воспользоваться новой, несравненно более грандиозной войной, чтобы, выгодно продав свое участие в военных действиях или свой нейтралитет, в еще большей степени поправить свои дела и вернуть возможно больше из своих утраченных владений. Но кому продать? Германии или Антанте? Вопрос этот, как оказывается теперь из упомянутых документов, вовсе не был настолько уж предрешен в пользу Германии, как до сих пор можно было думать. Энвер-паша, военный министр и фактический глава правительства, официально заявил 9 августа 1914 г. (т. е. спустя 6 дней после подписания тайного договора с Германией) русскому военному агенту, генералу Леонтьеву, что он, Энвер, стоит за союз с Россией, и «поставил вопрос ясно и коротко»: турки *немедленно* убирают свои войска с кавказской границы, собирают сильную армию во Фракии и «ставят ее в наше (России) распоряжение, с готовностью двинуть ее против любого из балканских государств, в том числе против Болгарии или совместно с ними против Австрии. В день, когда будет установлено соглашение, он обязуется удалить с турецкой службы всех немецких офицеров. В заключение Энвер-паша ставит

условие: возвращение Турции западной Фракии и Эгейских островов и заключение с Россией оборонительного союза на срок от 5 до 10 лет, дабы Турция могла быть обеспечена от мести своих соседей на Балканском полуострове».

Энвер развивал эти мысли подробно, и генерал Леонтьев «вынес убеждение, что дело может быть сделано, если только решение будет принято немедленно» [8]. Но напрасно посол (Гирс) изо всех сил торопил Сазонова с ответом на это предложение, понимая страшную его важность для России. Сазонов *ничего в этом не хотел понимать, утверждая, что «с военной* точки зрения Турция не составляет в настоящее время особой угрозы» (телеграмма 9 августа). Новые и новые телеграммы Гирса подтверждали, что уже и великий визирь повторяет предложение Энвера (11 августа). Сазонов на все это либо ничего не отвечал, либо отказывался согласиться на требуемые территориальные приобретения Турции за счет Болгарии. Повторялась история 1902 г. с маркизом Ито, приехавшим в Петербург предлагать японский союз России. В Петербурге тогда мечтали о Корее, союз с Японией мог бы воспрепятствовать осуществлению этой мечты, поэтому решено было медлить, не говоря Ито ни да, ни нет; при этом упустили из виду, что он ждать не будет, и если ему откажут в Петербурге, то он поедет за союзом в Лондон (что и случилось). В августе 1914 г. Сазонов и те, кто стоял за ним, тоже вообразили, будто теперь можно, ничем не обязываясь пред Турцией (ее предполагалось со временем разделить и водрузить крест на св. Софии), неопределенное время кормить Энвера и великого визиря неопределенными заявлениями. «Имейте в виду необходимость в переговорах с Энвером выигрыша времени»,— советует Сазонов Гирсу 10 августа в ответ на все тревожные, взволнованные, торопящие призывы русского посла. Не получая ответа на повторные свои предложения, великий визирь и Энвер-паша, конечно, круто повернули в другую сторону: соглашение с Германией, уже давно намеченное и даже подписанное, стало фактом [9]. Оставаться нейтральными турки никак не могли и не хотели: ведь нежелание России взять их протянутую руку могло знаменовать только одно — расчленение Турции после войны, все равно будет ли Турция нейтральна, или нет (в этом отношении всем уверениям Антанты насчет будущей неприкосновенности Турции Энвер нисколько не верил). И прежде всего отныне только от союза с Германией они могли ждать желаемого приращения их владений. Таким-то образом завоевательное фантазерство и полнейшее непонимание положения со стороны руководителей русской дипломатии ускорили создание нового против России далекого фронта на кавказской границе и окончательно закрепили за Германией драгоценного союзника. Франция и Англия

изо всех сил старались удержать Турцию от выступления. Франция боялась за свои капиталы, вложенные в Турцию, да и традиционно она была против раздела Турции, потому что значительно меньше Англии и России могла получить от этого раздела. (А что Турции после победы Антанты непременно грозил раздел, в этом — в случае выступления Турции — не было никаких сомнений ни у кого уже в 1914 г.) Что касается Англии, то для нее тоже все выгоды будущего раздела Турции не уравновешивали многообразных опасностей и затруднений, вытекавших из немедленного выступления Турции на стороне Германии. Эдуард Грей инструктировал и в августе, и в сентябре, и даже в октябре, уже накануне выступления турок, британского представителя в Константинополе, чтобы он шел на все уступки, *делал все зависящее, лишь бы избежать разрыва с Турцией*[10]. Но после отказа России вступить в союз с Турцией Энвер-паше и остальным членам турецкого правительства уже казалось бесполезным дальше вести переговоры с Антантой. В течение всей второй половины августа, всего сентября, начала октября непрерывно подвозились в Турцию из Германии и Австрии предметы военного снаряжения. Еще 10 августа германские военные суда «Гебен» и «Бреслау» *прибыли в Дарданеллы. Это* круто меняло соотношение морских сил на Черном море в пользу Турции и Германии и еще более ускоряло выступление Турции. «Гебен» и «Бреслау» были выпущены со Средиземного моря благодаря непростительной (признанной французами) небрежности французского адмирала Буэ де Лапейрера; присутствие этих судов (на которых осталась немецкая команда) сильно стесняло действия русского флота на Черном море в течение всей войны. 29 октября 1914 г. Турция сочла свои приготовления законченными: два турецких миноносца проникли в одесскую бухту и потопили русскую канонерку. На другой день державы Антанты прервали дипломатические сношения с Турцией, и 31 октября Гирс покинул Константинополь; 1 ноября то же самое сделали французский посол Бомпар и английский Маллет. Жребий Турции был брошен.

С этого времени тайные и оживленные переговоры о Турции не прекращаются между союзниками. Выступление турок, правда, создавало новые и громадные трудности для России во время войны, открывало новый фронт, раздробляло русские силы, но и будущая добыча обещала быть очень значительной. Особенно широкие перспективы открывались отныне перед Англией и Россией. Раздел азиатской Турции и изгнание турок с Балканского полуострова — таковы должны были быть, по мысли дипломатов Антанты, новые задачи и цели, которые отныне ставила война. Когда в начале третьего месяца войны с Турцией русские войска нанесли туркам (в первых числах января

1915 г.) серьезное поражение при Сарыкамыше, эти проекты о дележе стали приобретать особенно оживленный характер. В эти первые месяцы 1915 г., при почти полной неподвижности западного фронта, русская армия одна воевала, со страшными потерями в боях, при самых тяжелых условиях и с Германией, и с Австрией, и с Турцией. Попытка союзников (в феврале и марте) овладеть с моря Константинополем потерпела неудачу. Союзники и не могли еще и не хотели перейти сами в сколько-нибудь энергичное наступление, и немецкое командование поэтому могло подготовить большую операцию, которая должна была, как надеялось германское правительство, вывести Россию из войны и освободить германский восточный фронт. Это уже было нечто обратное плану Шлиффена, провалившемуся в 1914 г. Теперь нужно было все свободные силы направить против России, вынудить ее к миру и тогда обрушиться на Францию. Те, кто не мечтал о сепаратном мире с Россией, надеялись все же на решительное ее ослабление на весь оставшийся период войны. К средине апреля 1915 г. громадный кулак армий, с избытком снабженный артиллерией, был собран у Горлицы под начальством генерала Макензена. В первую очередь решено было изгнать русские войска из завоеванной ими Восточной Галиции и Буковины.

4

Битва, начавшаяся 2 мая (н. с.) 1915 г. при Горлице и с перерывами продолжавшаяся пять месяцев, открылась ураганным артиллерийским огнем, направленным против обширнейших участков русского фронта в Западной Галиции. В первые же дни русский фронт был прорван в нескольких местах, и началось общее отступление русских армий из Галиции, Буковины, от Карпатских отрогов. Именно в это время недостаток снарядов стал приобретать в русской армии истинно катастрофический характер. Уже в марте Иванов и Рузский приезжали к Янушкевичу для переговоров об отходе, так как не было ни снарядов, ни ружейных патронов, ни винтовок в сколько-нибудь достаточном количестве. Даже Янушкевич счел необходимым заявить: «...на сердце прямо тяжко. Мне так и чудится по ночам чей-то голос: продал, прозевал, проспал» [11]. Эта рисовка покаянным настроением и деликатной щепетильностью нисколько не мешала ему оставаться у власти, да и делился он своим настроением с еще более виновным Сухомлиновым, которому, по собственному признанию, он сам был *всем* обязан [12]. Русская армия отступала наполовину безоружная, часто совсем беспомощная, под убийственным огнем неприятеля. «Вчера на участке одного из полков немцы выпустили 3 тысячи тяжелых снарядов! Снесли

все. А у нас было выпущено едва 100»,— пишет Янушкевич 27 мая 1915 г. В мае и июне была очищена Галиция, в июне и июле Привислинский край был занят немцами, которые вошли в Варшаву и двинулись дальше следом за отступающими. В августе пали крепости Ковно, Новогеоргиевск, Оссовец, Брест-Литовск, затем были заняты Вильно и Гродно. 23 августа (ст. ст.) 1915 г. Николай Николаевич вместе с Янушкевичем были смещены, и место первого занял Николай II, место второго — генерал Алексеев. Еще раньше был уволен (12 июня) Сухомлинов. Страшные размеры русских поражений были этим признаны официально.

Все эти события привели к первому негласному обращению Вильгельма II через посредство одного из его придворных чинов к графу Фредериксу, министру двора в России, с предложением начать переговоры о сепаратном мире России с Германией. Письмо осталось без ответа. Самое обращение было первым, но не последним. С середины 1915 г. германское правительство не перестает всеми мерами искать ходов к сепаратному миру с какой-либо из воюющих против нее стран. Это парадоксальное положение (победитель упорно домогается мира, а побеждаемые отказываются) продолжалось в течение всей войны, вплоть до осени 1918 г., когда Германия снова запросила мира, но уже в качестве страны безнадежно разбитой, сдающейся на капитуляцию.

Дело в том, что и в 1915, и в 1916, и в 1917 гг. одновременно с часто блестящими военными успехами Германия и Австрия испытывали тяжкие дипломатические поражения. Новые и новые враги поднимались против них и все суживали окружавшее их кольцо осады. Как раз почти одновременно с началом разгрома и изгнания русских войск из Галиции Италия объявила войну Австрии.

Без малейших колебаний отказавшись в июле — августе 1914 г. воевать на стороне своих союзниц — Австрии и Германии, Италия, конечно, ставила себя в случае победы Австрии и Германии в крайне затруднительное, даже опасное положение. Уже это делало невозможным длительное сохранение итальянского нейтралитета. Правда, с Австрией велись переговоры насчет уступок и компенсаций (уже за *необъявление* войны), но дело это было для центральных империй совершенно безнадежное: уступить Италии Трентино и Триестскую область, власть над Адриатикой, разделить с Италией (даже в случае победы) влияние на западе Балкан Австрия не хотела, а Италия на меньшее не шла (хотя и избегала полностью формулировать свои требования). Тот стихийный, широко распространенный в сельскохозяйственной мелкой буржуазии Италии «империализм безземельных» и малоземельных, который гнался за непо-

средственным расширением территории страны и составлял социальную основу «ирредентизма», соединился на севере Италии, в промышленной Ломбардии, с характерным для прочих капиталистических держав стремлением к новым рынкам сырья и сбыта, к новым колониям, которые можно было бы выкроить из Турецкой империи. Война на стороне Антанты сулила громадные выгоды, нейтралитет был чреват опасностями, какая бы сторона ни победила. Вот почему переговоры с Австрией (в которых деятельную роль играл прибывший в Рим бывший германский канцлер Бюлов) велись Италией больше для выигрыша времени, а настоящие переговоры происходили (с первых же дней войны) между Италией и Антантой.

Уже на третий день после объявления Германией войны России итальянский посол дважды заговаривал с Сазоновым об условиях, на которых Италия могла бы примкнуть к союзникам. Одновременно итальянское правительство обратилось и в Париж, к Пуанкаре. Антанта тогда сразу же пошла на все итальянские требования: Трентино, Триестино и Валлона с преобладающим положением в Адриатическом море. Но Антанта зато так настойчиво требовала немедленного выступления Италии, что маркиз Карлотти, итальянский посол в Петербурге, принужден был 6 августа 1914 г. секретно телеграфировать в Рим, министру иностранных дел Сан-Джулиано: «В тоне г. Палеолога (французского посла в Петербурге) я уловил легкий оттенок угрозы, которую, впрочем, я также замечал и во время разговоров моих по этому поводу с г. Сазоновым». Тем не менее колебания и переговоры длились до весны. Правда, «партия нейтралитета», на которую в эти месяцы любили ссылаться итальянские дипломаты при переговорах с Антантой (чтобы побольше выторговать), никогда не была очень сильна, хотя популярнейший политик Джолитти стоял во главе ее. Италия ждала развития событий и все повышала требования; да и вступление Турции в войну внезапно поставило на очередь вопрос о дележе турецких владений, и к первоначальным требованиям Италии прибавились новые, весьма неумеренные притязания на часть Малой Азии. В Европе же Италия уже требовала не только всю Албанию, но и почти все Адриатическое побережье, что затрагивало интересы Сербии.

Наконец, 26 апреля 1915 г. в Лондоне итальянский посол маркиз Империали подписал соглашение с державами Антанты. Италия получала, по будущему мирному договору, Трентино, Цизальпинский Тироль до Бреннера, Триест, Горицу и Градиску, всю Истрию до Кварнеро, истрийские острова (ст. 4 соглашения), Далмацию с прилегающими островами (ст. 5), Валлону с прилегающей территорией (ст. 6), острова Додеканеза (ст. 8); что же касается участия в разделе Турции, то пока было решено

отдать Италии Адалию и прилегающие к Средиземному морю местности, смежные с Адалией (ст. 9). Англия обязывалась немедленно дать Италии заем в 50 миллионов фунтов стерлингов (ст. 14). Италия же обязывалась выступить не позже как через месяц после этого соглашения и примкнуть к сентябрьской декларации держав Антанты о незаключении сепаратного мира (ст. 16).

24 мая 1915 г. Италия объявила Австрии войну.

Это было большим ударом для центральных империй. Правда, военная опасность в точном смысле слова была для Австрии не так уже велика, и в течение $3^1/_2$ лет войны итальянская армия могла похвалиться относительно весьма скромными успехами, как, впрочем, и австрийская. Бывали моменты, когда только решительное и срочное вмешательство англичан и французов выравнивало положение. Только осенью 1918 г., когда Австрия уже совсем погибала, итальянские успехи сделались более решительными. Но зато велики были другие опасности, и в Германии они только потому не сразу были замечены и учтены, что как раз весна, лето и ранняя осень 1915 г. были полны блестящих германских побед над русской армией. Обратное завоевание Галиции и занятие русской Польши (в мае, июне, июле, августе и сентябре 1915 г.) как раз после вступления Италии в войну, казалось, служили доказательством, что это событие нисколько не может поправить дел союзников. Но с течением времени все больше и тягостнее обнаруживалось, до какой степени вступление Италии в войну замкнуло то железное кольцо, в котором уже начинала хиреть вся экономическая жизнь Германии и Австрии. Германия была теперь совершенно отрезана и от средиземного бассейна. Правда, и здесь блестящие военные успехи весны, лета и осени 1915 г. как будто сулили некоторое облегчение. Если не удалось, как мы упомянули, заключить сепаратный мир с Россией, зато удалось осенью 1915 г. одержать крупную дипломатическую победу на Балканах: 5 октября (н. с.) 1915 г. Болгария вступила в войну на стороне Германии, Австрии и Турции.

В Болгарии дело стало выясняться с самого начала, хотя колебаний по существу все же было больше, чем, например, при переговорах с Италией. Итальянское правительство никогда не колебалось, на чьей стороне выступать: речь шла *только* о выборе между нейтралитетом и выступлением на стороне Антанты. А в болгарских правящих кругах колебания безусловно *были*, хотя с самого начала германофильская тенденция брала верх. Болгария в лице партий чуть ли не всех направлений считала себя жестоко ограбленной Бухарестским миром 1913 г., особенно со стороны Сербии, которая захватила почти всю Македонию[13]. Нападение Австрии на Сербию в июле 1914 г.

преисполнило болгар самыми пылкими надеждами на расчленение ненавистной соседней страны и на завоевание болгарами Македонии. Но когда началась всеевропейская война, то болгарский царь Фердинанд I и Радославов (глава министерства) усомнились в близкой и верной победе Австрии и Германии и завели длительные переговоры с Антантой. Они требовали обещания компенсаций со стороны Сербии и Греции, а Антанта тщетно пыталась сломить упорное нежелание Сербии и Греции дать подобное обещание. Сербские правители еще в средине ноября 1914 г. заявляли, что они «предпочитают оставить всю Сербию австрийцам, чем уступить клочок Македонии болгарам» [14]. При таких условиях державы Антанты мало могли обещать Болгарии за счет Сербии, и болгары плохо верили в реальность этих обещаний. И все-таки при каждом успехе русских войск в Галиции обозначались новые и новые колебания Фердинанда и его правительства. После взятия Перемышля русскими войсками Фердинанд даже «упрекнул» (русофила) Малинова, что он и его политические друзья могли сомневаться в нем и думать, что он поведет корабль не по тому пути, по которому нужно, т. е. против Тройственного согласия. В Софии определенно заговорили о присоединении к Антанте. Но это продолжалось очень недолго. Сербы «решительно отказывались» даже от данных уже скромных обещаний в пользу Болгарии (заявление Спалайковича Сазонову 14/27 апреля 1915 г.). Немудрено, что подоспевшие тяжкие неудачи России в Галиции и Польше окончательно решили дело. В сентябре колебания окончились. Германия и Австрия гарантировали Болгарии не только все, что она хотела отнять у Сербии, но также согласие Турции добровольно вернуть болгарам часть отнятой у них турками в 1913 г. территории.

4 октября (н. с.) болгарскому правительству, уже открыто ставшему на сторону Германии, Австрии и Турции, был вручен русский ультиматум, а на другой день, 5 октября 1915 г., Болгария формально стала в ряд держав, борющихся против Антанты.

5

Так окончательно конституировался блок четырех держав, на которых легла тяжесть борьбы с Антантой. Это число уже больше не увеличивалось до конца войны.

Когда кончался 1915 год, все эти четыре державы не только держались еще твердо, но повсюду они шли, казалось, от успеха к успеху. Германия держала в своих руках всю Бельгию и наиболее промышленные северные департаменты Франции. Колоссальные угольные богатства Бельгии, большая часть промышленности Франции были в ее руках [15]. На востоке в их

руках были вся русская Польша и часть Литвы и Белоруссии. На юге Австрия успешно отбивалась от итальянских очень нерешительных наступлений и сама переходила в наступление. Сербия поздней осенью 1915 г. и в начале зимы 1915—1916 гг. была вся занята австрийскими, германскими и болгарскими войсками, и ее армия (т. е. то, что уцелело от полного разгрома) была перевезена либо на о. Корфу, либо — позднее — на салоникский фронт, где удержались англо-французские войска (после неудачных попыток весной 1915 г. взять Константинополь с моря). Словом, казалось, германские успехи превзошли ожидания. И, однако, к началу 1916 г. даже и поверхностные наблюдатели германской жизни замечали недвусмысленную тревогу, постоянно отгоняемую и постоянно возвращающуюся тяжелую заботу в разнообразнейших слоях германского народа. Во-первых (это нужно отметить с самого начала), уже на второй год войны в Германии ясно сообразили, что *все* союзники Германии держатся только немецкими силами, а самостоятельно не продержались бы и нескольких недель. Их необходимо было поддерживать финансовыми средствами, займами, бессрочными и беспроцентными кредитами при отпуске военного снабжения и т. д. Их приходилось подкреплять в решительные минуты собственными германскими войсками, чтобы предохранить от полного разгрома. При этом было известно (и союзникам Германии), что Антанта готова в каждый данный момент заключить мир, если не с Турцией, которую твердо решила разделить, то с Австрией и Болгарией, если только они пожелают отступиться от Германии. Это был опасный соблазн, и Германия *должна* была идти на все жертвы, чтобы ее союзники не поддались этому соблазну и не покинули ее. Во-вторых, не только провалился план Шлиффена, но и безнадежно провалились все попытки оторвать Россию, Сербию или Бельгию от Антанты. Значит, предстояла неопределенно долгая война — война на истощение, т. е. такая, при которой к услугам Антанты был весь земной шар со всеми ресурсами, а в распоряжении Германии были только ее *истощавшиеся* запасы, а также еще более скудные запасы Австрийской империи (точнее, Венгрии и Чехии). Что касается Турции и Болгарии, то еще их приходилось поддерживать; речи не могло быть о материальной помощи с их стороны. В-третьих, с конца 1915 г. стали очень болезненно давать себя чувствовать последствия морской блокады центральных империй. Британский флот почти всей своей массой занял южную часть Немецкого моря, преградил дорогу немецкому флоту, укрывшемуся в своих портах, и прекратил подвоз в Германию не только военной контрабанды, но и вообще чего бы то ни было. Это и было началом так называемой «голодной блокады», против которой Германия не переставала протестовать в течение всей

войны. Правда, как сказано было выше, некоторые английские же фирмы благополучно сбывали товары в Германию через скандинавские страны, но очень существенно помочь всему германскому населению это, конечно, не могло. Германское правительство указывало, что эта блокада направлена против мирного населения, против женщин и детей и т. д. Протесты успеха не имели. Германия в первые месяцы еще продолжала за огромные суммы скупать все, что только было возможно, из съестных припасов в Швеции, Норвегии, Дании, но англичане установили рационы (больше которых не пропускалось даже и в эти нейтральные страны) с таким расчетом, чтобы для перепродажи в Германию ничего не оставалось. И все-таки, судя по вышеотмеченным разоблачениям генерала Консетта, ввоз в Германию из скандинавских стран продолжался. В 1914 г. и в первой половине 1915 г. «голодная блокада» не давала себя так жестоко чувствовать, как впоследствии. Только с конца 1915 г., а особенно в 1916, 1917, 1918 гг. германское население начало страдать от недоедания. Правда, с обычной своей способностью к организации, с обычной дисциплинированностью и выдержкой немцы тотчас же взяли на учет все свои средства, ввели карточную систему для продажи хлеба и съестных припасов, ввели ряд строгих ограничительных мер, но все это только отсрочило катастрофу, а не уничтожило ее причину. «Организованный голод»,— так впоследствии определяли германские экономисты это время. В 1916—1917 гг. недоедание было в тылу; в 1917—1918 гг. оно начало кое-где ощущаться также на фронте. Конечно, была кучка спекулянтов, нажившихся во время общего бедствия и ни в чем не нуждавшихся; была рядом с нищетой вызывающая и раздражающая роскошь дельцов, финансистов, предпринимателей, успешно ловивших рыбу в мутной воде. Но громадное большинство страдало и терпело. Бедствие достигло грандиозных размеров лишь в 1917—1918 гг. Но уже с конца 1915 г. можно было предчувствовать, куда клонится дело.

6

Таковы были главные условия, которые смущали радость, не позволяли предаваться розовым надеждам, несмотря на все видимые военные успехи, внушали глухую тревогу широчайшим мелкобуржуазным слоям, да и средней буржуазии также. Что же касается рабочего класса, то в его среде изменение первоначального настроения было еще заметнее. Уже в 1915 г. левая часть социал-демократии начала поднимать голову; уже в 1915 г. позиция Шейдемана и его товарищей, все еще до поры, до времени крепкая, стала тем не менее подвергаться упорному,

хотя пока отчасти и скрытому, систематическому подкопу и обходу. Кроме провала плана Шлиффена, кроме перспективы длительной и страшной бойни, начинающегося недоедания, тут действовало еще и то, что, несмотря на военную цензуру, в течение первого года войны в Германию просачивались постепенно сведения неофициального характера об обстоятельствах, непосредственно приведших к войне. Не только Карл Либкнехт, но и Гаазе и даже Бернштейн склонны были теперь совершенно отбросить официальную версию о нападении на Германию в августе 1914 г., о «состоянии законной самообороны» и т. д. Нужно сказать, что во Франции, в Англии, даже в Италии социалисты гораздо позже стали проявлять, в свою очередь, сомнения в абсолютной «невинности» их правительств.

Раздражение против шовинистской позиции громадного большинства социал-демократической партии сближало в эти годы людей, стоявших во всех других отношениях чуть не на диаметрально противоположных флангах. В конце мая 1915 г., например, Карл Либкнехт явился к Эдуарду Бернштейну с просьбой написать разъясняющую брошюру по вопросам внешней политики, чтобы бороться с дурманом, распространяемым цензурой, с одной стороны, и прессой (всей без исключения, в том числе социал-демократической), с другой стороны. Брошюра должна была быть напечатана нелегально. И осторожный, умеренный, законопослушный Бернштейн, отец ревизионизма, согласился [16]. Но, конечно, борьба была неравная; это было время, когда партийное издательство («Vorwärts») печатало брошюры вроде книжки Ленша, социал-демократа, обвинявшего только Англию в *алчности*, в *завоевательских целях* и т. д., но ни единым звуком не поминавшего при этом о каких бы то ни было грехах германского императорского правительства.

Уже 2 декабря 1914 г. Либкнехт с 19 товарищами по убеждению открыто разошелся с парламентской фракцией социал-демократии при голосовании новых военных кредитов [17]. 10 марта 1915 г. за ним последовал уже 31 человек, из 111 социал-демократов, которые числились в парламентской фракции. Правда, из них только 2 открыто голосовали против кредитов, остальные воздержались от голосования. В том же 1915 г., особенно к концу его, Либкнехт занялся вместе с Розой Люксембург агитацией против войны в нелегальных листовках, в которых он разоблачал руководителей большинства («социал-шовинистов») и всю игру руководителей финансового капитала, приведших Европу к войне. Но все-таки в 1915 г. еще сравнительно очень медленно нарастало движение против войны в Германии. В странах Антанты оно росло еще гораздо медленнее.

Первой попыткой организации в международном масштабе левых элементов социалистических партий на почве борьбы

против войны следует считать международную социалистическую конференцию, созванную по инициативе итальянских социалистов и при участии Р. Гримма (редактора «Berner Tagwaht») в Циммервальде, близ Берна, в Швейцарии. По первоначальной мысли устроителей имелось в виду пригласить все партии и фракции, которые отвергали голосование за военные кредиты. Потом обнаружилась тенденция пригласить также не только левых, но и «центр» (Каутского, Гаазе и т. п.). Но фактически центр не принял участия в Циммервальдской конференции. Конференция происходила 5—12 сентября 1915 г. Крайняя левая съезда была представлена Лениным, Хеглундом, Нерманом, Винтером и еще 4—5 делегатами, по некоторым вопросам примыкавшими к ним. Это крыло желало решительной борьбы с большинством социалистических партий всех стран, поддерживавшим военные кредиты и отказывавшимся от протестов против войны. Среднюю позицию, восторжествовавшую на Циммервальдском съезде, заняли главным образом румынский делегат Раковский, голландская делегатка Роланд-Гольст, швейцарский — Гримм, русские делегаты — Аксельрод и Мартов, два французских делегата — Мерейм (Merrheim) и Бурдерон, итальянские делегаты — Моргари, Модильяни, Лаццари, Серрати и 8 германских делегатов во главе с Ледебуром (остальные 2 германских делегата голосовали с левым крылом; германская делегация состояла в общем из 10 человек и была самой многочисленной). Большинство это отказалось порвать со II Интернационалом и вообще обнаруживало стремление направить усилия на сближение с центром, с «каутскианцами», в том смысле, чтобы заставить центр занять более резкую и определенную позицию против войны. Циммервальдцы перед разъездом избрали «Международную социалистическую комиссию». Конференция приняла «Манифест», в котором упрекала социалистическое большинство в том, что оно (во всех воюющих странах) нарушило свой долг и обязательства, вытекавшие из решений предвоенных конгрессов партии; самая война определялась как империалистское предприятие, направленное к разделу земного шара и порабощению слабых сильными, т. е. капиталистами великих держав. Манифест протестовал также против идеи «гражданского мира» (Burgfrieden) во время войны и решительно высказывался против голосования военных кредитов.

Спустя полгода после Циммервальдского съезда, в феврале 1916 г. в Берне было собрано международное социалистическое совещание (циммервальдцев), и на нем германские делегаты сообщили, что они за истекшие полгода выпустили сотни тысяч нелегальных экземпляров циммервальдского манифеста и что кое-где им удалось организовать демонстрации против войны.

Совещание постановило созвать новую (вторую) конференцию в апреле 1916 г.

Сильное впечатление, по всем отзывам, производила, помимо манифеста, особая франко-германская декларация против войны, составленная французскими и германскими делегатами сообща. Эта декларация в период после Циммервальдской конференции сыграла большую агитационную роль, преимущественно в Германии.

Новая конференция собралась в Кинтале (в Швейцарии), как и предполагалось, 24—30 апреля 1916 г. От Германии явились делегаты, заявившие на этот раз, что в Германии возможно ожидать серьезного протеста рабочих масс против войны (в Циммервальде еще и речи об этом не было). Но французские и итальянские делегаты принадлежали почти сплошь к умеренному течению. В общем левое течение (во главе которого, как и в Циммервальде, стоял Ленин) осталось несколько более довольно результатами конференции в Кинтале, чем результатами Циммервальда, хотя главное требование левых (полный разрыв и решительная борьба против «социал-шовинистов», т. е. против II Интернационала) и не было принято. Важным успехом левого крыла было постановление о голосовании в парламентах против военных кредитов, прошедшее после двух выступлений: германского делегата Гофмана и французского — Бризона.

Вторая конференция возбудила в широких рабочих кругах Германии гораздо больше волнения и привлекла к себе несравненно больше внимания, чем Циммервальдская. Утомление от войны в 1916 г. было несказанно больше, чем в 1915 г. Не только уже не верили в Германии в «восемь недель» войны, но и во Франции перестали верить, что после Марны немцы долго не продержатся. Страшные верденские и соммские бои, поглотившие немногим меньше жертв, чем их пало на западном фронте за все предшествующее время военных действий, тяжко сказались на психике народов. Даже в тех слоях рабочего класса, где склонны были учитывать выгоды от будущей победы, все шире и глубже распространялось убеждение, что эти надежды пелены, что целые поколения еще будут работать, страдать и урезывать себя во всем, чтобы только залечить страшные раны и покрыть убытки, причиненные этой войной. То, что в эпоху Циммервальда возбуждало часто раздражение, в эпоху Кинталя и особенно после Кинталя выслушивалось либо с сочувствием, либо с неопределенным двойственным чувством. Мысль, что только революция может положить конец неслыханным ежедневным гекатомбам, переставала казаться бредовой фантазией Либкнехта, и ее начинали обсуждать как особую политическую формулу, которая завтра же может стать злободневной. «*Если бы мы знали*, мы бы в 1914 г. устроили революцию,— говорил

впоследствии умеренный из умеренных Шейдеман.— Мы знаем, что эту войну нельзя выиграть, что рабочие все равно ее проиграют, в каком бы лагере они ни сражались». Эта идея в 1916 г. предвосхитила позднее и лицемерное сожаление Шейдемана. По настроениям рабочего класса во всей Европе 1916 год, год Кинталя, был более похож на 1918 год, год революции, чем на 1914 год, год рукопожатия и взаимных приветствий Вильгельма II и того же Шейдемана. Но вожди «левели» медленнее, чем большие рабочие массы.

Уже с 1915 г. группа Карла Либкнехта, Розы Люксембург, Клары Цеткин, Франца Меринга, Пауля Ланге, Тальгеймера и др. не переставала, при страшно трудных условиях, вести пропаганду против войны и против политики социал-демократической партии. Нелегальные листовки, распространяемые этой «Группой Интернационала», проводили в 1915 г. идеи Циммервальда. В январе 1916 г. сложилась особая организация «Союз Спартака», деятельно продолжавшая под этим названием дело «Группы Интернационала», которую она заменила. Организация «Спартак» призвала рабочих 1 мая 1916 г. к демонстрации. Во главе манифестантов шел Карл Либкнехт, провозглашавший: «долой войну»— и бросавший в толпу листовки. Арестованный немедленно, он был приговорен военным судом к $2^1/_2$ годам каторги (вторая инстанция удлинила этот срок до 4 лет и 1 месяца каторги). В июле были арестованы Роза Люксембург (лишь незадолго до того выпущенная) и Меринг. Но брожение в рабочих кругах продолжалось и продолжалось в течение всего 1916 г. Демонстрации и стачки возникали то там, то сям.

7

Так обстояло дело в Германии. Германские власти (и военные, и гражданские) не могли не учесть, что Циммервальд и Кинталь больше всего имели успеха именно в Германии; что английских делегатов ни тут, ни там не было, и хотя объясняли это чисто внешними препятствиями, но все-таки факт отсутствия англичан бросался в глаза, и (что важнее всего) никаких признаков революционного протеста против войны и даже протеста, хотя бы только чисто демонстративного, в Англии не было пока, и то же самое замечалось во Франции [18]. В том, что наступит революция в России, были твердо уверены и ждали ее с месяца на месяц. Но революция эта, с точки зрения Бетман-Гольвега, слишком запаздывала, а, между тем, обстоятельства слагались в 1916 г. далеко не так благоприятно, как в предшествующем. И это — вопреки ожиданиям, потому что еще в самые последние дни декабря 1915 г. Фалькенгайн, германский главнокомандующий (заменивший Мольтке, которого отставили после

Марны), представил Вильгельму II доклад, в котором заявлял, что Россия и Сербия выведены из боя и что теперь большая победа над Францией, именно взятие крепости Верден, будет иметь такие военные и моральные последствия, что и Франция может пойти на мир. Помощник статс-секретаря по иностранным делам Циммерман высказывался в этом же смысле, и в обществе повторяли его слова. Но именно с нападения на Верден и начались новые серьезные разочарования и неудачи. Бомбардировка Вердена началась 21 февраля 1916 г. ураганным, неслыханной силы, артиллерийским огнем, за которым, после 12 часов непрерывной канонады, последовал общий штурм крепости. Но штурм был отбит. Следующие дни, отмеченные многочасовой непрерывной канонадой, перемежающейся штурмами, принесли немцам некоторые серьезные успехи, но крепость держалась. Страшные бои с колоссальными потерями для обеих сторон длились до конца марта; решения все не было. В апреле и мае новые и новые штурмы стоили германской армии десятков тысяч жертв; в июне побоище продолжалось; форты, вынесенные за Верден, переходили из рук в руки. В разгаре этой отчаянной борьбы за Верден французы и англичане начали (22 июня) на громадном фронте битву на Сомме. Это был, собственно, ряд параллельных боев, длившихся весь конец июня, июль, август и половину сентября. 15 сентября, перед самым окончанием боев, союзники впервые двинули в дело танки, абсолютно до той поры неизвестные бронированные боевые машины, которым суждено было сыграть огромную роль в окончательном разгроме германских армий осенью 1918 г. Пока, в сентябре 1916 г., танки позволили союзникам одержать в самые последние дни соммских боев лишь несколько довольно важных частичных успехов. К 19 сентября битва окончилась вследствие большого истощения обеих сторон. Соммские бои спасли окончательно Верден. 11 июля немцы сделали отчаянную попытку взять крепость и опять были отбиты. Две последние попытки (1 августа и 3 сентября) были гораздо слабее предыдущих: лучшие войска бились на Сомме. В конце сентября французы отбросили осаждающих от последних еще занятых ими фортов. Германское верховное командование решило тогда отказаться от мысли взять эту крепость. Фалькенгайн был отставлен, а его место было занято (29 августа 1916 г.) генералом Гинденбургом. Генерал-квартирмейстером при нем был назначен Людендорф, который фактически и руководил операциями.

Болезненно-сильное впечатление произвело в Германии это страшное побоище при Вердене, не давшее никаких результатов, кончившееся в сущности поражением после нескольких месяцев неслыханных усилий и неисчислимых жертв. И рабочие и

22*

даже часть буржуазии были уже настроены не так доверчиво и благодушно, как в 1914—1915 гг. Спрашивали о том, почему была затеяна вся эта гибельная верденская операция, когда ведь именно для того был нарушен бельгийский нейтралитет в августе 1914 г. и этим навязана германскому народу на шею война с Англией, чтобы не идти на Париж через линию французских крепостей? Зачем же теперь нужно было в течение месяцев губить целые дивизии, чтобы в конце концов потерпеть полную неудачу при попытке взять одну из этих твердынь? Гинденбург, которого Вильгельм лично не любил, был прямо навязан императору громким голосом «общественного мнения», ждавшего от старого генерала чудес на западном фронте, после того как на восточном ему удалось одержать победу над русскими войсками. Тревога по поводу Вердена и печального конца операции была тем сильнее, что к августу 1916 г. еще не вполне изгладилось впечатление, которое было произведено тем же летом на юго-восточном фронте внезапным наступлением Брусилова. Это наступление очень поразило тогда и врагов и союзников. Гинденбург пишет в своих мемуарах, что он не разделял мнения тех, которые после страшных русских поражений 1915 г. полагали, что Россия надолго выведена из игры [19]. Уже в марте 1916 г. начались упорные бои на северо-западном участке русского фронта (в местности у Нароча). Но тут русское наступление вскоре стало ослабевать и остановилось. События на итальянском фронте ускорили новое русское наступление. Еще 15 мая 1916 г. австрийцы начали движение между озером Гарда и рекой Брентой и после двух недель успешного наступления стали уже грозить Падуе и Венеции. Союзники (маршал Жоффр и итальянский главнокомандующий Кадорна) настоятельно просили Алексеева о помощи. Итальянский король телеграммой от 26 мая лично просил Николая II о том же. Вследствие этого, не дожидаясь условленного раньше общего наступления союзников, русские войска на юго-западном фронте начали 4 июня наступление под начальством генерала Брусилова. Наступление шло широким фронтом, австрийские позиции были прорваны в первый же день наступления на огромной пятидесятиверстной полосе. Некоторые австрийские части сразу были либо перебиты, либо взяты в плен. Австрийцы ударились в паническое бегство, так что генерал Фалькенгайн, тогдашний германский главнокомандующий, писал, что «первое время нельзя было и предвидеть, когда и где удастся австрийскую армию остановить». Фалькенгайн признает, что он и не воображал, что русская армия в силах до такой степени разгромить весь австрийский фронт. Наступление Брусилова шло, все развертываясь, фронт его — от Пинских болот до Черновиц — был громаден; Брусилов почти по всему этому фронту продвинулся вглубь на 60 километров.

Только усиленный подвоз на помощь Австрии германских подкреплений спас австрийцев (т. е. спас их от полной капитуляции и выхода из войны). Наступление Брусилова стало ослабевать лишь в июле — августе 1916 г. За время наступления он взял в плен 7757 офицеров и 350 845 солдат (а по позднейшим подсчетам Louis Rivière, принимаемым генералом Базаревским, 420 тысяч пленных и около 600 орудий). Германские подсчеты дают меньшие цифры, но и они признают колоссальные размеры разгрома австрийцев. Дельбрюк, например, признает, что в *одну только первую ночь* наступления — 4 июня 1916 г.— русские взяли в плен 89 тысяч человек. Он категорически утверждает о брусиловских операциях, что «от этого удара центральные державы уже никогда не оправились» [20].

Наступление Брусилова было толчком, заставившим выступить также Румынию. Переговоры с Румынией Антанта вела еще с самых первых дней войны, но еще в мае 1916 г. союзники точно не знали не только, когда выступит Румыния, но даже и на чьей стороне она выступает [21], так как если Антанта сулила ей в награду венгерскую Трансильванию, то немцы сулили ей Бессарабию.

Нужно сказать, что обстоятельства на театре военных действий к осени 1916 г. сложились так, что временное дальнейшее сохранение Румынией нейтралитета было бы для русской армии выгоднее, чем вступление Румынии в войну, обусловленное деятельнейшей обильной русской помощью людьми и снаряжением. «Никогда не стремился я привлечь румын к нашему союзу»,— писал, между прочим, еще 6 августа генерал Алексеев. Но французы и англичане настаивали, желая еще более разгрузить западный фронт за счет восточного, так как было ясно, что немцы непременно должны будут обратиться против нового врага. Чего будет стоить русской армии поддержать слабую Румынию, это никого особенно не интересовало [22]. 28 августа (н. с.) 1916 г. Румыния выступила против Австро-Венгрии, и тотчас же новые хозяева германской армии Гинденбург и Людендорф начали усиленную переброску войск с западного фронта на восточный. Атаки Вердена были прекращены, битва на Сомме стала замирать. Все внимание обратилось на восток. После первых румынских успехов две германские армии, одна под начальством Макензена, другая под начальством Фалькенгайна, быстро покончили с Румынией. Макензен вторгся в Добруджу и взял Тутракан (с 25-тысячным гарнизоном), а затем Силистрию (6—9 сентября 1916 г.). Фалькенгайн изгнал румын из занятой было ими части венгерской Трансильвании. 21 октября Макензен вошел в единственный большой румынский порт на Черном море Констанцу, где в его руки попали огромные запасы. После ряда новых успехов немцы 6 декабря 1916 г.

вошли в Бухарест. Остатки румынской армии были отброшены к русской границе, король румынский Фердинанд укрылся в Яссах. Почти одновременно Людендорф сделал попытку объявить «самостоятельность» русской Польши. Но как раньше воззвание к полякам великого князя Николая Николаевича (14 августа н. с. 1914 г.), так теперь эдикт германо-австрийских властей (5 ноября 1916 г.) не возбудили в Польше особого энтузиазма. Ни польская буржуазия, ни польская аристократия, ни польские рабочие, в массе своей, не поверили ни русским, ни германо-австрийским обещаниям. Чисто агитационная, военная цель этих актов была вполне ясна. Что Людендорф, например, рассчитывает устроить военный набор в Польше, надеясь именно на благодарность поляков за эдикт 5 ноября,— это в Польше было всем известно и возбуждало чувство, близкое к панике. В конце концов не только набор не состоялся, но германское командование впоследствии даже интернировало уже сражавшегося в германо-австрийских рядах Иосифа Пилсудского, начальника так называемого «польского легиона» (он был интернирован в Магдебурге, в июле 1917 г.).

Итак, 1916 год кончился новым триумфом для Германии. В ее руки попали обширные запасы хлеба, нефтяной бассейн, хотя и испорченный англичанами при отходе румынской армии, но все же частично впоследствии приведенный в пригодное состояние. Почти все румынское королевство было завоевано. И все-таки душа германского верховного командования — Людендорф, находился, по собственному своему позднейшему признанию, в очень и очень озабоченном состоянии. «С тяжелой тревогой» думал Людендорф в конце 1916 г. о том, что техническое превосходство армий Антанты будет все возрастать, что Россия будет получать новые и новые запасы из Японии, наконец, что вся немецкая хозяйственная жизнь «не соответствовала требованиям войны на истощение». Крайне тревожило его замечаемое в тылу «разложение» монархических чувств, утомление, раздражение. 21 октября 1916 г. Фридрих Адлер застрелил австрийского первого министра Штюргка, и этот поступок вызвал нескрываемое ликование среди рабочих. Выстрел Фридриха Адлера был протестом и против бесконечной бойни, и против чистейшего абсолютизма и деспотизма, представителем которого был граф Штюргк, и против позорного, по мнению Фридриха Адлера, поведения австрийской социал-демократии, и, даже, против тактики отца Фридриха Адлера старого Виктора Адлера. Мало есть на свете документов, полных такого внутреннего трагизма, как стенографический отчет о процессе Фридриха Адлера, вышедший в свет полностью лишь спустя семь лет после события [23].

Этот выстрел прозвучал, как грозное предостережение.

Постоянные победы, не приводящие, однако, к результату, *бесконечная война*, зловещие и упорные, всегда неизменные угрозы, доносящиеся из враждебного стана, недоедание и недохватка во всех предметах первой необходимости — все это действовало на тыл, особенно на рабочий класс. Лозунги Циммервальда и Кинталя были в конце 1916 г. гораздо популярнее, чем раньше, хотя, конечно, им еще далеко было до торжества.

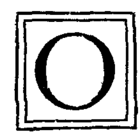
А главный враг, гегемон неприятельских полчищ, Англия продолжала голодную блокаду, продолжала непрерывную высадку новых и новых сил во Франции, искала и поднимала новых и новых борцов против Германии в обоих полушариях. Немедленно мириться, пока еще Германия находится в положении победителя, или сокрушить Англию подводной войной — только в одном из этих двух исходов Людендорф и Гинденбург усматривали спасение.

Глава XV

БЕСПОЩАДНАЯ ПОДВОДНАЯ ВОЙНА И РАЗРЫВ СНОШЕНИЙ МЕЖДУ СОЕДИНЕННЫМИ ШТАТАМИ И ГЕРМАНИЕЙ

1. Англия и ее значение в войне. 2. Восстание в Ирландии. 3. Настроение в Германии в 1916 г. Мирное предложение 12 декабря 1916 г. 4. Объявление беспощадной подводной войны. Предшествующая история подводной войны и противодействие Соединенных Штатов. Решение германского правительства. Выступление Вильсона. Разрыв дипломатических сношений между Соединенными Штатами и Германией

1



дним из более поздних, но наиболее роковым из всех гибельных для Германии последствий выступления против нее Англии в 1914 г. было, конечно, выступление Соединенных Штатов в 1917 г. Оба события связаны между собой теснейшей причинной связью.

Вот почему, раньше чем говорить о событии 1917 г., необходимо объяснить, как постепенно пришли Вильгельм, Гинденбург, Людендорф и даже умный и сравнительно осторожный Гельферих к отчаянному шагу, окончательно погубившему Германию, т. е. к объявлению неограниченной подводной войны. Этого мы никогда не поймем, если не уясним себе роли Англии с момента ее выступления вплоть до начала 1917 г. Что именно Англия будет самым страшным, самым непреклонным и упорным врагом, это стало ясно уже довольно скоро. Сомневаться в этом было невозможно при самом даже поверхностном наблюдении за тем, что делалось в Англии и ее владениях. Переход ко всеобщей воинской повинности (которой никогда в Англии не было), деятельное и решительное вмешательство правительственной власти во всю экономическую жизнь страны, в производство и в торговлю (чего тоже в Англии никогда не

было), ряд разнообразнейших и деятельнейших мероприятий по военному снаряжению привели уже в начале 1916 г. к тому, что больше миллиона англичан сражалось во Франции, вместо тех 100 тысяч человек, которыми англичане располагали перед войной. Эта колоссальная армия была богато экипирована и снабжена и не переставала увеличиваться. В сражениях она принимала самое деятельное участие и отличалась хладнокровием и храбростью. Французы летом 1916 г. располагали 95 дивизиями, англичане — 57. Ничего подобного ни во Франции, ни в Германии никто еще в 1914 г. от англичан не ожидал; а по грандиознейшим приготовлениям в колониях было очевидно, что Англия еще только развертывает свои силы на суше. Одновременно английский флот продолжал годами стоять на тех же самых позициях, которые он занял вдоль германского и бельгийского побережья в августе 1914 г., и продолжал тесной блокадой, становившейся все суровее, душить Германию. Страшное усиление смертности (особенно детской) в 1916—1917 гг. было лишь бросавшимся в глаза, но вовсе не единственным показателем реальности этой блокады. Вместе с тем английское правительство деятельнейшим образом оказывало финансовую поддержку Франции, России, Сербии, Бельгии, Италии, ручалось за эти страны перед американскими кредиторами, доставляло уголь и военное снабжение. С самого начала войны лорд Китченер и другие английские деятели утверждали, что война будет долгая, трудная, что нужно запасаться терпением. И в то же время открыто заявляли, что вложат меч в ножны, только когда Германия будет «принуждена стать на колени» (bended to her knees). Именно Англия была главным препятствием, о которое разбивались все попытки германского правительства нащупать дорогу к миру, и именно она твердо решила покончить с великодержавием Германской империи. Попытка сделать большую вылазку, совершенная германским флотом в 1916 г. и приведшая 31 мая 1916 г. к морской битве при Скагерраке, повлекла, правда, за собой потери в английском флоте и прославлялась в Германии как морская победа, но впоследствии стало известно, что и германские потери были тяжки, а главное — конечные результаты вылазки были равны нулю: английский флот продолжал плотно блокировать Германию, и было очевидно, что никакие новые вылазки не могут изменить этого убийственного для германского населения факта.

С другой стороны, не было надежды на революционный взрыв в самой Англии. Рабочая партия заняла в главной массе своей оборонческую позицию, другие организации, левее стоящие, были невлиятельны, да они и не проявляли почти ничем своей активности во время войны и не участвовали ни в циммервальдских, ни в кинтальских совещаниях. «Сверхприбыль»

английского капитализма в эпоху войны была огромна, и из нее выделялась заработная плата, достигавшая во многих случаях очень высокого уровня. Продовольствия и всех предметов первой необходимости было вдоволь. Рабочий класс частью был на фронте, частью был милитаризован и работал за высокую плату на предприятиях, производивших предметы вооружения и снаряжения. Капиталистический класс, может быть, и не весь, но влиятельнейший его слой, смотрел на сокрушение Германии как на важнейшую свою экономическую и политическую задачу, как на величайшее достижение, которое не только избавит Англию от опасного конкурента, но и даст ей новые и громадные владения в Африке (от Германии) и в Азии (от Турции).

В недрах правительства все больше и больше силы забирал министр снабжения Ллойд-Джордж, круто повернувший во время войны к крайнему империализму и все более отодвигавший на задний план премьера Асквита, который (в декабре 1916 г.) и ушел в отставку. Место его занял Ллойд-Джордж, составивший коалиционный кабинет, куда вошли и либералы, и консерваторы, и представители рабочей партии.

С конца 1916 г. вплоть до заключения мира фактическая полнота власти находилась в руках Ллойд-Джорджа. Непосредственным же орудием этой власти явилось новое учреждение, сразу отодвинувшее на второй план как парламент, так и кабинет, взятый в целом. Это новое учреждение называлось «военным кабинетом» («War Cabinet») и состояло из пяти человек: Ллойд-Джорджа и четырех лиц, им приглашенных. Этот военный кабинет решал в окончательной инстанции все вопросы — военные, дипломатические, хозяйственные, финансовые, вопросы снабжения и продовольствия,— словом, все проблемы, связанные с ведением войны; все же министерства являлись лишь орудиями, выполнявшими его приказы. Военный кабинет заседал дважды в день, ежедневно в течение всех лет своего существования, и заседания его были негласными. Даже министры, призываемые для дачи справок или показаний, сделав свое дело, немедленно покидали заседание, и пятеро членов военного кабинета оставались одни. Передаточным, а отчасти исполнительным органом военного кабинета являлся громадный, созданный одновременно с кабинетом секретариат (сначала 36, потом 98 и наконец 136 человек), не только передававший министерствам, армиям и флотам приказы военного кабинета, но деятельно следивший за их точным и быстрым выполнением. В недрах самого военного кабинета наблюдалось полное и беспрекословное подчинение воле Ллойд-Джорджа. Когда один из пяти членов военного кабинета, Артур Гендерсон, съездил весной 1917 г. в Россию, а возвращаясь через Стокгольм, принял

участие в одной пацифистской конференции, то по возвращении в Лондон он был приглашен в заседание военного кабинета, членом которого являлся, но не был допущен дальше передней, должен был там ждать более часа решения своей участи, и ему выслали в конце концов записку с извещением, что он уволен от должности. Он жаловался публично (13 мая 1917 г.) в палате общин на такое обхождение, но из этого ничего не вышло, и он должен был примириться со своей участью.

Парламент вполне примирился с диктатурой Ллойд-Джорджа. Премьер появлялся в палате очень редко (не более чем по одному разу в месяц, за все годы войны, а иногда по разу в три месяца) и никаких отчетов в деятельности кабинета не давал. Все министры были, как сказано, сведены к роли исполнителей приказов военного кабинета. Со времени Кромвеля в Англии не существовало такой беспредельной полноты власти, сосредоточенной в одних руках. Но и до этой «диктатуры» Ллойд-Джорджа правительство с начала войны фактически пользовалось беспредельной и бесконтрольной властью, и все его действия, направленные к усилению военных средств, принимались большинством парламента не только безропотно, но с полной готовностью.

Тем не менее, если не оказывалось благоприятной почвы и обстановки для революции в самой Англии, то в Германии не теряли надежды на восстание в каком-либо особенно чувствительном пункте английских владений за морем. Вильгельм II даже высказался еще в самые последние дни перед началом войны в том смысле, что раз уж Германии суждено изойти кровью (verbluten), то пусть же германские консулы всюду на Востоке объявят «священную войну» против Англии. Он представлял себе, по-видимому, дело так, что «священная война» всегда имеется наготове и что она в каждый момент к услугам германских консулов. «Священной войны» не произошло. Дело ограничилось быстро подавленными вспышками в Индии. Была попытка восстания и в бывших бурских республиках. Но восстало незначительное меньшинство, которое не имело успеха.

Зато несравненно более серьезный оборот приняло восстание в Ирландии, разразившееся в 1916 г.

2

Не в первый раз восставала Ирландия, пользуясь большими европейскими войнами, в которые была вовлечена Англия. Было это и при Людовике XIV, и во времена борьбы с революционной Францией, в 1798 г.; мечтал об ирландском восстании и Наполеон. Правда, аграрная реформа 1903 г. (с позднейшими добавлениями), о которой была речь в своем месте, сильно по-

дорвала былую экономическую основу ирландского революционного движения, уменьшив традиционный крестьянский революционизм, но все же синнфейнерская партия, стремившаяся к полному отделению Ирландии от Англии, была полна надежд, когда началась мировая война. Около того же времени в Германию тайно прибыл сэр Роджер Кэзмент с планом составить из ирландских военнопленных, находившихся в германских лагерях, особую бригаду, чтобы потом высадиться с ней на берегах Ирландии и начать восстание. Это был уже не молодой деятель, выслуживший пенсию в дипломатическом английском ведомстве, прославившийся в свое время обличением бельгийских жестокостей в Конго. Душой и телом отдавшись ирландскому освободительному движению, он прибыл в Германию с целью при ее помощи освободить свою страну от англичан. Германский главный штаб с радостью ухватился за это предложение. Но дело оказалось очень нелегким. Агитация в лагерях для военнопленных шла туго и неуспешно, добровольцев он нашел немного. Ему было дано военное германское транспортное судно, и в апреле 1916 г. он отправился, везя с собой запас оружия для Ирландии. Восстание было назначено на конец апреля. Оно было организовано синнфейнерами.

Раньше чем говорить о ходе восстания, напомним о классовой структуре ирландского народа в этот момент.

По воззрениям одного из главных вождей восстания 1916 г. (расстрелянного через несколько дней после победы англичан) Джемса Конолли [1], вот как можно приурочить ирландские партии к отдельным социальным классам: 1) унионисты, приверженцы английского владычества, «ольстерцы вне Ольстера»; это — лендлорды и вообще люди, не расставшиеся с мыслью о непосредственной эксплуатации населения Ирландии; 2) гомрулеры, приверженцы самоуправления под эгидой Англии; это — так называемые «мидлмэны» — посредники, маклеры, дельцы всякого рода, кормящиеся около лендлордской земли, отдаваемой в аренду ирландским фермерам, а также торговцы всех видов; 3) наконец, синнфейнеры, которые хотели быть выразителями взглядов широчайших масс крестьянства и являлись решительными сторонниками производственной и потребительской кооперации; в лице некоторых выдающихся своих лидеров, например того же Конолли, они причисляли себя к социалистам и опирались фактически на радикально-националистически настроенную часть ирландской интеллигенции. Кооперативное движение (очень распространившееся в Ирландии после аграрной реформы 1903 — 1909 гг.) было для синнфейнеров не только экономической, но и политической движущей силой. Кооперация была в их глазах экономическим осуществлением их лозунга: «Ирландия — своими силами». Что касается интелли-

генции, то этот слой сравнительно с общим числом жителей в Ирландии очень велик, и Конолли даже предсказывал, что это обстоятельство «послужит на благо делу труда в Ирландии» [2]. Рабочие были тем классом ирландского народа, который, по мнению синнфейнерской интеллигенции, должен был быть привлечен к ирландской национальной революции именно через посредство кооперативного движения. Кооперация должна была быть школой и организовать массы для будущего выступления. Слабой стороной восстания было довольно безучастное на этот раз отношение к нему со стороны крестьянства: уже сказалось влияние аграрных законов 1903—1909 гг.

Таковы были общие условия. Началось с большого несчастья: английский сторожевой крейсер заметил германское судно «Ayd» (высадившее Кэзмента на берегу), погнался за ним, и судно было потоплено своей командой: оружие выгрузить не успели. Сам Кэзмент, высаженный не вполне точно в том месте, как было условлено, был случайно арестован береговыми стражниками. Англичане впоследствии признали [3], что из всех восстаний, бывших в ирландской истории, восстание 1916 г. было обдумано лучше всех. Но ему недоставало, во-первых, активной поддержки со стороны большинства населения — крестьянства, во-вторых, настоящей, энергичной помощи со стороны Германии, в-третьих, одновременного нападения в больших размерах на восточный берег Англии со стороны германского флота. К этому нужно прибавить гибель «Ayd», везшего оружие, арест Кэзмента спустя несколько часов после его высадки и еще целый ряд и крупных и мелких неудач.

Восстание вспыхнуло в Дублине в понедельник на пасхальной неделе, 24 апреля 1916 г. Вооруженных и вышедших на улицу повстанцев было около трех тысяч человек. Они захватили огромное здание почтамта, где и было провозглашено временное правительство ирландской республики. Прокламация, извещавшая об освобождении Ирландии, была подписана Кларком, Пленкетом, Конолли, Мак-Донa, Сиптом, Пирсом и Мак-Дирмэдэ. Начиналась эта прокламация словами: «Во имя бога и умерших поколений, от которых Ирландия получила старую национальную традицию...».

В первые дни власть над отдельными городскими кварталами была фактически разделена между восставшими и войсками английского правительства. Англичане были застигнуты восстанием врасплох. Они знали, что выступление готовится, но никак не подозревали, что оно так близко. Но с первого момента в кабинете не было никаких колебаний, и решено было прежде всего подавить восстание открытой силой. Лорд-наместник объявил Ирландию на военном положении. Уже с конца второго дня к Дублину со всех сторон стали подходить правительствен-

ные войска. Собственно, к первоначальному ядру в три тысячи человек за неделю восстания не присоединились никакие новые группы. Рабочие были нейтральны, т. е. не помогали англичанам, но не примыкали и к восстанию, особенно, когда в отрезанном от всего внешнего мира городе обострилась дороговизна и окончательно прекратилась работа на фабриках и заводах. Битва между ирландцами и англичанами началась на третий день восстания, когда английское командование подтянуло артиллерию. Главнокомандующий, генерал Максуэлл, начал систематический обстрел всех занятых восставшими зданий в городе. Пожары следовали за пожарами, и в наиболее обстреливаемых кварталах население пряталось в погребах. Максуэлл выселил жителей изо всех прилегающих к зданию почты домов, затем разрушил эти дома артиллерией и начал обстрел почты, где находилось революционное временное правительство. Положение восставших сделалось критическим: отвечать на артиллерийский обстрел они были не в состоянии, а подмога ниоткуда не приходила; город и отдельные его кварталы были оцеплены кордонами, стрелявшими без предупреждения во всякого, кто в непоказанные часы к ним приближался. Восставшие обнаружили необычайную храбрость, самоотвержение, подъем духа. Неприятель теснил их с каждыми сутками все более и более. У ирландцев была вначале надежда, что англичане не решатся разрушить полгорода, чтобы обстрелять занятые восставшими здания, но англичане решились на это без малейших колебаний. Вожди революционеров Пирс, Конолли были ранены. Графиня Маркевич (ирландка, бывшая замужем за поляком), Пленкет и другие предводители инсургентов обнаружили удивительную выдержку, и героизм их был признан даже их беспощадным врагом. Но все было напрасно. Развязка быстро приближалась. Вылазки отрядов под предводительством де Валера и графини Маркевич были отброшены англичанами, пустившими в ход непрерывный усиленный пулеметный огонь. В субботу, 29 апреля, английская полевая батарея, поставленная прямо перед почтой, открыла огонь, и через несколько часов горели не только обломки разрушенных по соседству зданий, но изнутри загорелась и почта, где находилось все эти дни временное революционное ирландское правительство. Гарнизон хотел бежать через противоположный выход, но был там принят в штыки англичанами и отчасти перебит, отчасти взят в плен.

После полудня 29 апреля сестра милосердия, под флагом Красного Креста, вышла из горевшего здания почты с поручением от Пирса узнать у англичан, каковы их условия. Ответом было требование полной сдачи на капитуляцию. В два часа дня 29 апреля последовала сдача революционного правительства. Все было кончено.

На другой день сдались все отряды восставших, еще укрывавшиеся кое-где поблизости.

Потери англичан за все время этого восстания были таковы: убито 17 офицеров, ранено 46, убито 89 солдат и ранено 288. Число убитых и раненых инсургентов не было в точности определено. Назывались цифры — 180 убитых и 614 раненых, но цифры эти были предметом больших споров и противоречий.

Репрессии начались немедленно. 3 мая, спустя четыре дня после сдачи, Пирс, Мак-Дона и Кларк были расстреляны по приговору военно-полевого суда (Fieldcourt-Martial). 4 мая были расстреляны Пленкет и еще несколько вождей. Графиня Маркевич была приговорена к смерти, но приговор был смягчен (пожизненные каторжные работы). Затем краткие извещения о расстрелах следовали ежедневно, и только из этих сообщений узнавали фамилии казненных. Коннолли был расстрелян позже других, так как он был ранен, и казнь была отсрочена до выздоровления. Массовые аресты происходили в течение первых двух недель после восстания. Арестовываемые предавались немедленному военному суду. Но наибольшую тревогу поселяли поступки английских войск: как офицеры, так и солдаты принялись расстреливать без суда каждую ночь, часто без всяких поводов, тех или иных граждан Дублина, на которых им указывали («к несчастью, есть некоторая доля солидного основания в этих слухах»,— признают очевидцы и мемуаристы, даже всецело настроенные в пользу англичан). Так, например, три журналиста, ни в малейшей степени не прикосновенные к восстанию, были расстреляны без суда, по приказу капитана Боэна-Колтгэрста. Капитан был потом, правда, судим, но оправдан, так как признано, что в момент отдачи приказа о расстреле был в невменяемом состоянии. Таких случаев было немало, но на этот раз дело дошло до суда только потому, что пострадавшие были очень известными людьми.

Уже 12 мая 1916 г. глава правительства Асквит посетил Ирландию, беседовал с представителями разных течений в стране и объявил, что необходимо на новых основаниях организовать управление страной. Но это было отложено до окончания войны.

26 июня 1916 г. сэр Роджер Кэзмент предстал в Лондоне перед судом по обвинению в государственной измене. Спасения не было, да подсудимый нисколько себя в этом отношении и не обманывал. Когда присяжные заседатели вынесли по всем пунктам обвинительный вердикт, осужденному было предоставлено последнее слово (перед тем, как суд должен был на основании вердикта произнести смертный приговор). Кэзмент отрицал законность суда, осудившего его, апеллировал к будущему сво-

бодному ирландскому народу и настаивал на полной правоте своих действий. В 9 часов утра 3 августа 1916 г. Роджер Кэзмент был повешен в стенах Пентонвильской тюрьмы. «Я умираю за свою страну. В твои руки, господи, предаю свою душу»,— таковы были его последние слова. Все время он оставался совершенно спокоен.

Так окончилось ирландское восстание 1916 г.

Синнфейнерское движение отнюдь не было убито репрессиями. Оно только временно было придавлено. В феврале 1917 г. произошли частичные выборы в парламент (освободилась случайно вакансия в Нью-Роскоммоне, в Ирландии), и старый граф Пленкет, отец одного из казненных вождей восстания, выставленный синнфейнерами в качестве их партийного кандидата, был избран значительным большинством голосов. Эта удача внесла страшное возбуждение в ряды синнфейнеров и вдохнула в них решимость. К тому же весной 1917 г., в феврале и марте, Англия и вся Европа с волнением следили за последними колебаниями президента Вильсона, ждали со дня на день, что он объявит войну Германии, но еще не были в этом уверены. А ирландские эмигранты в Америке осаждали Вильсона петициями, в которых указывали, что принцип (провозглашенный им) самоопределения малых наций должен быть применен и к Ирландии. Все это побудило кабинет Ллойд-Джорджа дать публичное обещание сделать все зависящее для разрешения ирландского вопроса. Граф Пленкет собрал в Дублине (почти в годовщину восстания 1916 г.) вскоре после пасхи 1917 г. так называемый синнфейнерский совет, иначе говоря, партийную конференцию. Но правительство, со своей стороны, решило созвать ирландский «конвент», с которым можно было бы договориться о предстоящем разрешении ирландского вопроса. Почти одновременно Ллойд-Джордж выпустил из тюрьмы де Валера, графиню Маркевич и других видных синнфейнеров. С этого момента де Валера, школьный учитель по профессии, фанатик ирландской самостоятельности, стал во главе синнфейнеров.

Но дальнейшее развитие ирландского вопроса уже никак не могло повлиять на военные действия. Надежда на ослабление Англии с этой стороны совершенно исчезла в германском главном штабе. А это обстоятельство еще больше заставляло германские военные власти обращаться мыслью к тому единственному средству, еще полностью ни разу не испробованному, которое оставалось в их руках.

То, чего не сделала морская битва при Скагерраке, то, чего не могли сделать неслыханные сухопутные побоища, то, наконец, чего не могла сделать геройская революционная борьба в Ирландии, должны были сделать подводные лодки. Это сред-

ство было действительно опасно для Англии; но оно таило в себе смертельную опасность и для Германии. Раньше чем к нему обратиться, решено было снова попытаться заключить мир с Антантой.

3

Еще не написана полная, документальная и систематическая история всех попыток германского правительства выйти из войны, которая с момента крушения плана Шлиффена, т. е. с средины сентября 1914 г. (по окончании битвы на Марне), стала представляться совсем в другом виде, чем прежде. Быстрая, «веселая война» («frischer, frommer, fröhlicher, freier Krieg»), о которой говорили так бодро и охотно в первые дни похода во Францию, уже давно отошла в область мифов. Когда после одного из страшных побоищ в 1916 г. Вильгельм II написал матери убитого офицера письмо, в котором говорил: «Видит бог, что я не желал этой войны», то Ллойд-Джордж в одной из своих речей так отозвался на эти слова: «Совершенно правильно. *Этой* войны император Вильгельм не желал. Он желал другой войны, такой, когда он в два месяца покончил бы с Францией и Россией. А *эту* войну, которая в самом деле ведется, уж мы пожелали, и будем ее вести вплоть до победы». (Та же мысль почти теми же словами была повторена органом Ллойд-Джорджа — «Westminster Gazette» — много времени спустя.)

В одном нелегальном революционном листке, выпущенном в Германии около этого времени, иронически говорится: «Конечно, *теперь* все хотят мира; даже кронпринц, который спешил к устройству массовой бойни, как на представление оперетки, теперь пошел в пацифисты и *оплакивает жертвы*» (курсив в подлиннике) [4].

Итак, выйти из этой непредвиденной по своему характеру и опасной затяжной войны стало для канцлера Бетман-Гольвега главной задачей всей его дальнейшей дипломатической деятельности. Но тут сразу представились препятствия, с которыми справиться канцлер оказался не в состоянии.

Препятствия исходили не только от врагов, которые (во главе с Англией) повели после Марны войну на истощение и, справедливо с своей точки зрения учитывая, что в подобной войне они непременно одолеют Германию, не желали и слышать о мире. Препятствия были и внутренние. *Весь* германский капитализм — банковский, промышленный, торговый, сельскохозяйственный — объединился вокруг программы завоеваний, вокруг таких условий будущего мира, на которые никто из врагов никогда не пошел бы. Весной 1915 г. шесть экономических

величайших союзов, объединявших в сущности всю предпринимательскую и, шире говоря, собственническую Германию[5], выработали общую программу будущих мирных условий. Они требовали, во-первых, обширнейших аннексий на западе и востоке Европы, полного экономического овладения Бельгией и завоевания французских богатых рудой округов Брие и Лонгви, аннексий в Остзейском крае и в Польше, приобретения большой колониальной империи, контрибуций для покрытия германских расходов на войну, насильственно навязанных побежденным врагам торговых договоров и т. д., и т. д. К этим могущественным шести союзам присоединились консерваторы и национал-либералы (а также часть партии центра) в рейхстаге. Сам Бетман-Гольвег в 1915 г. хотя и не усвоил целиком этой программы, но находился под решительным ее влиянием. Он только смягчал выражения и склонен был возможно меньше урезать права и суверенитет Бельгии (понимая, что англичане не пойдут на мир, если прежде всего не будет восстановлена Бельгия). Что касается завоеванной русской Польши, то 5 ноября 1916 г. германское и австрийское правительства сообща провозгласили «независимость» этой завоеванной ими Польши. Не отказывался Бетман-Гольвег при этом и от мысли о тесном «экономическом единении» этого вновь создаваемого государства с Германией, а также о присоединении к Германии Курляндии и на западе — Брие и Лонгви. Нужно сказать, что в течение всего 1916 г. хотя и выставлялись сравнительно более умеренные программы аннексий, но решительной борьбы против аннексионистов не велось, по крайней мере в легальной печати. Социал-демократия (большинство) в рейхстаге и в своей печати очень вяло и неохотно боролась *тогда* (в 1915—1916 гг.) с аннексионистами. Революционное выступление Карла Либкнехта пред народом в Берлине 1 мая 1916 г. не было поддержано, так же как не была партией поддержана агитация Либкнехта против войны в нелегальных прокламациях. 3 мая 1916 г. Либкнехт был арестован и предан военному суду. Освобожден он был только в октябре 1918 г. за несколько недель до революции. Аннексионисты разных толков, направлений и оттенков в сущности только в 1917 г. стали наталкиваться на организованное противодействие. В 1916 г. они еще торжествовали. Таковы были препятствия к миру: обе стороны — и Антанта и Германия — и не думали отказываться от мысли об аннексиях и контрибуциях: первая имела в виду неисчерпаемые, хотя еще и не развернутые полностью силы, а вторая — уже одержанные военные победы и завоеванные чужие территории. Но в интересах Германии было мириться возможно скорее: у нее все успехи были в настоящем, а у Антанты — в будущем. И притом последствия систематического недоедания,

еще не такие страшные, правда, как в 1917—1918 гг., все же давали себя очень сильно чувствовать. Вот почему, когда осенью 1916 г. президент Соединенных Штатов Вильсон дал знать германскому послу в Вашингтоне графу Бернсторфу, что он собирается выступить с мирным посредничеством, то Бетман-Гольвег принял это сообщение с удовольствием. Но месяц шел за месяцем, а Вильсон не выступал. Возможно, что он ждал предстоящих 7 ноября 1916 г. новых выборов. 7 ноября он был переизбран на новое четырехлетие незначительным большинством (8 563 750 голосов против 8 162 754, полученных его соперником, республиканцем Юзом). О позиции Вильсона (и капитала Соединенных Штатов) в вопросе мировой войны речь будет дальше. Здесь пока замечу, что Юз считался врагом Германии, и поэтому избрание Вильсона было встречено в Берлине с ликованием. Теперь мы уже знаем из ряда показаний приближенных Вильсона, что президент считал чуть не с начала 1916 г. почти неизбежным вступление Соединенных Штатов в войну на стороне Антанты. Во всяком случае мир «без победителей и побежденных» тоже был не плохим с американской точки зрения выходом из создавшегося положения. Конец 1916 г. казался подходящим моментом для такого мира... Но совершенно неожиданно с мирным предложением решил выступить сам Вильгельм.

Узнав об этом, Лансинг, статс-секретарь по иностранным делам Соединенных Штатов, решительно советовал Бернсторфу телеграфировать, чтобы Вильгельм воздержался. Но Вильгельм упорно стоял на своем, хотя Лансинг и приводил тот аргумент, что враги увидят в этом предложении, раз оно будет исходить непосредственно от императора, признак слабости Германии.

12 декабря 1916 г. появилось это германское мирное предложение (подписанное также всеми союзниками Германии). Конкретных условий не было обозначено, но говорилось о готовности приступить к мирным переговорам. Можно с уверенностью сказать, что из этих переговоров в тот момент ничего бы не вышло. Обе стороны мечтали о завоеваниях и аннексиях. Если говорить только о «великих державах», то Россия требовала Константинополь, проливы, Армению, часть Малой Азии, Галицию, прусскую Польшу; Франция — Эльзас-Лотарингию, Сирию; Англия — Месопотамию, Палестину, часть Аравии, немецкие колонии в Африке; Италия — Трентино и Триестину, Валлону, Смирну, часть побережья Малой Азии и т. д.

С своей стороны, Германия, предлагая мир в декабре 1916 г., имела в виду [6]: присоединение Литвы и Курляндии, признание «независимой» (фактически вассальной) Польши, «исправление» всей границы с Россией за счет России, обязательный для России и вполне выгодный для Германии торговый договор,

особые права над Бельгией (вследствие чего Бельгия должна была в виде залога отдать Льеж в руки Германии), отторжение от Франции Лонгви и Брие, а также колонии Конго и уплату контрибуции в пользу Германии. Австрия имела в виду раздел Сербии между Австрией, Болгарией и Албанией. Турция тоже имела в виду аннексии.

Это — только некоторые из требований обеих сторон. Ясно, что дело было совершенно в тот момент безнадежно. А кроме того, хотя мирное предложение было сделано как раз после полной победы над Румынией, в разгар германских военных успехов, но Вильгельм все боялся, что армия и народ примут это предложение мира за признак страха. И поэтому самый текст обращения был составлен в таком победоносном тоне, что уже это одно компрометировало бы его успех, если бы Антанта даже помышляла в самом деле о мире. А она вовсе мира не хотела, она хотела полной победы над Германией, полного раздела Австрии, полного раздела Турции и готова была воевать, сколько понадобится.

Вильсон был раздражен нелепой поспешностью Вильгельма, который уже наперед испортил весь возможный эффект американского выступления своим собственным предложением. Но этого мало. Вильгельм одновременно обратился к армии с приказом, в котором говорил: «Солдаты! В согласии с союзными государями и *в сознании победы,* я предложил мир неприятелям». Все это необычайно облегчало Антанте тот шаг, который она, впрочем, все равно сделала бы, если бы даже все это предприятие было поведено германской дипломатией гораздо умнее; провал мирных начинаний был отныне неизбежен. Раздражение президента сказалось в зловещих словах его статс-секретаря Лансинга, который в одном интервью (в декабре 1916 г.) сказал, что Америка *близка к войне.*

Ответ Антанты не заставил себя ждать. Антанта 30 декабря 1916 г. объявляла, что на мирное предложение Германии она смотрит как на военную хитрость, что нынешние успехи Германии лишь временное явление, что война должна продолжаться, пока не будут наказаны начавшие ее виновники. Спустя несколько дней после Вильгельма выступил все-таки и Вильсон (18 декабря) с вопросом ко всем участникам войны о том, на каких условиях они бы согласились помириться. Антанта отвечала ему (10 января 1917 г.), что она потребует «освобождения итальянцев, славян, румын, чехословаков от чужого господства», освобождения всех наций из-под тирании турок, изгнания турок из Европы, вознаграждения со стороны Германии за все убытки и т. д. В заключение Антанта объявляла Вильсону о своей твердой решимости вести войну вплоть до полной победы.

Всякие разговоры о мире становились абсолютно безнадежным и бесполезным занятием.

Тогда-то германское правительство и решилось на тот шаг, пред которым останавливалось в смущении и растерянности уже более двух лет. Теперь в этом шаге оно видело единственное спасение.

4

В настоящее время, когда все уже кончилось, на объявление *неограниченной подводной войны 1 февраля 1917 г.* лица самых разнообразных политических взглядов в Германии смотрят как на прыжок в пропасть, как на самоубийство Германской империи. Но тогда, с начала войны, на подводные лодки смотрели как на единственное еще оставшееся реальное средство борьбы с Англией. Следует заметить, что Тирпиц, который был морским министром перед войной, не очень верил вначале в подводные лодки и строил их сравнительно немного, что ему потом и ставили в упрек. Когда началась война, Тирпиц настаивал на необходимости пустить сразу в дело весь броненосный германский флот. Но на это не решились, и флот остался в портах, где и стоял в полном бездействии. Тирпиц с той поры очень мрачно смотрел на весь ход войны, а в особенности на возможные последствия морской блокады Германии. Тогда-то (примерно с декабря 1914 г.) он сделался решительным сторонником подводных лодок и настаивал на том, чтобы пока Англия не прекратит полной блокады германских берегов, германские подводные лодки топили все суда, торгующие с Англией, какой бы нации они ни принадлежали. К этому времени уже были либо потоплены, либо взяты в плен все немецкие крейсера, которых война застала далеко от родины; весь остальной флот укрылся в портах, и одни только подводные лодки могли быть пущены в ход. 4 февраля 1915 г. была провозглашена впервые неограниченная подводная война. Однако президент Соединенных Штатов Вильсон немедленно объявил протест, и Вильгельм тотчас же уступил. Германское правительство обязалось не топить нейтральных судов, с кем бы они ни торговали и в чьих бы водах ни появлялись. 7 мая 1915 г. немецкая подводная лодка потопила гигантский пассажирский пароход «Лузитанию». Пароход был английский, но из 1196 погибших пассажиров оказалось 139 американских граждан. Вильсон снова заявил протест, и притом в определенно угрожающих тонах. Опасность этих пререкоров с Вильсоном была очевидна. Пришлось сделать дальнейшую уступку и объявить, что отныне подводные лодки не будут топить также и враждебные суда, если эти суда — пассажирские; 15 марта 1916 г. Тирпиц ушел в отставку, и политика уступок Вильсону восторжествовала вполне. Однако

Вильсон продолжал подозрительно и раздраженно следить за действиями подводных лодок, возбуждая резкие протесты всякий раз, когда страдали интересы или безопасность американских граждан. После одного из таких протестов (по поводу потопления «Суссекса») Германия согласилась (4 мая 1916 г.) не топить даже и вражеских судов без предварительного предупреждения и притом обеспечивать им возможность спасти людей, находящихся на борту. С тех пор подводная война, конечно, по существу дела могла давать лишь очень незначительные результаты. Нужно кстати сказать, что от зверств в морской войне отнюдь не была свободна и Англия: достаточно вспомнить отказ капитана «Баралонг» спасти экипаж опрокинутой им германской подводной лодки.

Следует также сказать, что, даже уступая Вильсону, германское правительство не переставало отстаивать в нотах свою позицию и все стремилось поставить Вильсону на вид, что все эти уступки ему оно делает только в надежде, что он с своей стороны вынудит Англию к прекращению «голодной блокады», поражающей женщин, детей и стариков в осажденной Германии. Эти оговорки и требования сильно раздражали президента, и он их категорически и резко отвергал. Так длилось до конца 1916 г. Уже с осени, после занятия Гинденбургом и Людендорфом верховных постов в командовании армией, вопрос о подводной войне стал снова на очередь. Гинденбург и Людендорф потребовали объявления беспощадной (неограниченной) подводной войны, т. е. заявления, что *все* как пассажирские, так и коммерческие суда *всех* наций, как враждебных, так и нейтральных, будут отныне топиться без предупреждения. Все обещания, данные Вильсону в 1915—1916 гг., должны были быть взяты обратно.

Лидеры рейхстага еще с октября 1916 г. в секретных заседаниях обсуждали вопрос о неограниченной подводной войне. Людендорф сулил им золотые горы, сулил быструю капитуляцию Англии, победоносный конец войны. И *ни разу* им не сказал истинной точной цифры: т. е. сколько же вообще есть у Германии подводных лодок? А цифры были неутешительны. К моменту начала войны у Германии было всего 26 подводных лодок; с начала войны до конца 1916 г. прибавилось еще 84, но за это же время уже погибло 38 лодок. Значит, в общем оставалось 72. Из этих 72 треть была в починке. И при этих средствах верховное командование рассчитывало «в шесть месяцев поставить Англию на колени». Правда, эти цифры *тогда* составляли тайну, и кроме 5—6 человек во всем правительстве и в верховном командовании никто их не знал, так что разговаривать с лидерами партий рейхстага было очень легко.

Собственно, опасность в случае объявления неограниченной

подводной войны была одна, но очень уж грозная: выступление Соединенных Штатов. О причинах, которые с каждым годом мировой войны делали это выступление Штатов против Германии все более и более вероятным и сделали его, наконец, неизбежным, речь у нас будет дальше. Тут *пока* заметим лишь, что в Германии решительно не понимали ни этих причин, ни человека, который имел во внешней политике Соединенных Штатов юридически огромную, а фактически решающую власть. Вудро Вильсон рассматривался одними как туманный идеалист и пацифист, другими — как человек, который лишь против воли повинуется враждебным Германии настроениям, но ни за что в войну не вступит, третьими — как человек, который и рад бы был вступить в войну, но не отважится, боясь могучего противодействия со стороны миллионов американских граждан немецкого происхождения. И все видели в нем профессора Принстонского университета, который и в Белом доме сохраняет старую закваску теоретика и ученого мечтателя. И до сих пор иной раз ему ошибочно приписывается (например, Паулем Фрелихом) «детская наивность». Он был деятельным орудием финансового капитала, и наивности в нем не было и следа.

Только постепенно (и когда уже было поздно) разглядели в нем натуру повелителя, способного на очень сложные и зрело продуманные интриги, подозрительного, медленно раздражающегося, но еще медленнее остывающего, властолюбивого, упорного, очень неробкого, нисколько не боящегося самой страшной ответственности. К мысли о возможности и выгодности войны для экономического и политического будущего Соединенных Штатов он привыкал все более уже с 1915 г., а особенно с начала 1916 г., и его приближенные это знали [7]. А с того времени как Германия пустила в ход подводные лодки, Вильсон, как мы видели, рядом угрожающих нот повел решительную борьбу против этого рода оружия, и всякий раз было ясно для каждого неослепленного человека, что он готов в случае сопротивления на ультиматум и на войну. Но в Германии именно и царило какое-то роковое ослепление в этом отношении.

«Не дразните Вильсона, он опасен!» — это непрестанно слышал Бетман-Гольвег не только от Бернсторфа, германского посла в Вашингтоне. Это ему говорили и американцы. «Вы не думаете, что наша страна может сражаться, и для вас президент Вильсон — идеалист и пацифист, который ни за что не захочет взяться за оружие... Когда он решит что-нибудь, ничто уже не может заставить его отказаться, и если уж он решится на войну, он ее будет вести от всей души до конца. Не провоцируйте его больше. Вы ошибаетесь также, полагаясь на то, что некоторые важные члены конгресса и, может быть, один член кабинета высказались в пользу мира, ведь *один* человек только

будет решать вопрос, и этот человек — президент. Он сделает то, что найдет справедливым и хорошим, не беспокоясь о том, что могут сказать или сделать другие». Так убеждал американский дипломат Морджентау министра иностранных дел фон Ягова еще в начале 1916 г.[8] Но Вильгельм, Людендорф, Гинденбург и — против воли своей, очень чуя опасность,— канцлер Бетман-Гольвег продолжали дразнить и провоцировать президента.

Самым гибельным для Германии днем ее военной истории Фридрих Пайер (бывший впоследствии, в октябре 1918 г., заместителем канцлера) считает день 7 октября 1916 г., когда Гинденбургу и Людендорфу было предоставлено потребовать начала неограниченной подводной войны, если они найдут это нужным [9]. Это значило — именно начать в ближайшем будущем неограниченную подводную войну, т. е., другими словами, это значило вовлечь в войну Соединенные Штаты и толкнуть Германию в пропасть. Но военные власти еще согласились на отсрочку: нужно было сначала попытаться заключить мир с Антантой. После упомянутого выше провала этой попытки, с первых же дней января 1917 г. настояния Гинденбурга и Людендорфа стали очень решительны. Людендорф противоречий не допускал. «Это был одновременно и военный тиран и инструмент в руках нескольких коммерсантов, которые заставляли его служить своим выгодам»,— говорит о нем в своих воспоминаниях княгиня Блюхер. Хуже всего для Германии было то, что Людендорф всецело захватил в свои руки всю внешнюю политику во время войны. Когда Людендорфу чего-нибудь очень хотелось, то он не стеснялся аргументацией. Когда военное командование спрашивали с беспокойством о размерах реальной опасности в случае вступления Вильсона в войну, то ответ гласил, что Соединенные Штаты больше ста тысяч человек в общей сложности не смогут перевезти и содержать на европейском театре войны. А спустя два года тот же Людендорф должен был сам заявить, что *ежемесячно* американцы привозят в Европу по 330 тысяч человек [10].

Канцлер Бетман-Гольвег чуял опасность, плохо верил генералам, но боялся их и покорялся им. К тому же все руководящие деятели морского ведомства всецело поддерживали генералов и вполне ручались за успех. Громадное влияние в этой агитации имел находившийся тогда уже в отставке, но все еще авторитетный и популярный адмирал Тирпиц, к мнениям которого очень прислушивались все правые и часть умеренных партий.

Тирпиц вел борьбу против канцлера Бетман-Гольвега с самого начала войны. Он, в противоположность канцлеру, считал главным врагом не Россию, но Англию, и стоял за энергичные

действия на море, за скорейшее объявление беспощадной подводной войны и т. д. В первой своей стадии эта борьба против канцлера кончилась поражением Тирпица, который 15 марта 1916 г. ушел в отставку и был заменен адмиралом фон Капелле. Но Тирпиц не сложил оружия. Он был и энергичнее, и умнее, и талантливее, и несравненно опытнее в политических интригах, и гораздо богаче связями как в финансовом, так и в политическом мире, чем канцлер. Национал-либералы и консерваторы всецело и центр отчасти стали на сторону Тирпица в этой упорной борьбе.

При этих условиях мало приносили пользы ежедневные тревожные телеграммы умного и дельного германского посла в Вашингтоне, графа Бернсторфа, который твердил упорно, что объявление беспощадной подводной войны «автоматически» повлечет за собой вступление Америки в войну. Тщетны были и предупреждения другого недюжинного дипломата, американского посла в Берлине Джемса Джерарда.

А Джерард много видел и много понимал. Так, например, этот посторонний, но очень проницательный наблюдатель еще задолго до революции предвидел, что в социал-демократии произойдет раскол и что лидерство Шейдемана будет опорочено, его поведение будет признано слишком подобострастным, а он сам — слишком легко подчинившимся правительству. Джерард уже после свидания и разговора своего с Карлом Либкнехтом (в августе 1914 г.) предугадывал будущую роль Либкнехта, о мужестве которого он вообще отзывается с восхищением [11]. Джерард в качестве только посла не имел своей «собственной» политики (как имел ее, например, Извольский в Париже), он был исправным, дельным, умным и покорным исполнителем воли Вильсона. Он утверждает, что лично он разрыва с Германией не хотел. Нечего и говорить, что личные симпатии Джерарда никакой роли не могли бы играть с того момента, как высказался бы Вильсон. Но Вильсон еще не высказался, и Джерард решился на одно публичное выступление, которое, против его воли (как он утверждает), несколько ускорило катастрофу.

6 января 1917 г. Американская ассоциация торговли и промышленности в Берлине дала обед послу Соединенных Штатов Джерарду. На банкете присутствовали: статс-секретарь иностранных дел Циммерман, Гельферих (министр внутренних дел), Зольф (министр колоний) и другие представители германского правительства. На банкете говорились речи о традиционной дружбе Америки и Германии и т. п. Джерард будто бы думал (так он пишет) своими любезными речами предотвратить объявление беспощадной войны, немцы же решили, что если, зная об их намерениях, Джерард говорит такие ласковые слова,

то, значит, этим он наперед разрешает от имени Вильсона объявление подводной войны. И с тем роковым, слепым оптимизмом, который все время их губил в годину великой войны, Вильгельм и военные круги отныне совсем перестали считаться с тревожными телеграммами, которые одну за другой слал в Берлин германский посол в Вашингтоне Бернсторф. Напрасно и сам Джерард поспешил через несколько дней заявить, что есть пределы миролюбию Вильсона и что серьезную опасность для мира между двумя державами может представить именно беспощадная подводная борьба. Все эти оговорки и поправки уже впечатления не производили. Приверженцы беспощадной подводной войны с ликованием говорили о «банкете Джерарда». Еще колебавшийся до тех пор Вильгельм, наконец, решился окончательно. 9 января 1917 г. в замке Плесс император утвердил постановление о начале подводной войны. Но это оставалось еще некоторое время в тайне.

31 января 1917 г. Джерард был приглашен в министерство иностранных дел, и Циммерман передал ему ноту, объявлявшую о беспощадной подводной войне с 1 февраля (т. е. с 12 часов ночи того же 31 января). Джерард молчал. Тогда Циммерман стал говорить, что для Германии эта мера — единственный выход, и прибавил: «Дайте нам только *два* месяца вести этого рода войну, и *в три* месяца мы заключим мир».

Тотчас же нота была по телеграфу переслана Вильсону. Но одновременно нота уже летела по всем проволокам и кабелям телеграфных агентств: приверженцы объявления подводной войны боялись, что Бетман-Гольвег еще может в последний момент опомниться. Но они напрасно боялись: Бетман-Гольвег теперь уже был уверен, что «Вильсон был выбран в президенты на мирной платформе и что поэтому ничего теперь не случится» [12]. Последние слабые голоса, предостерегавшие от зиявшей пропасти, смолкли. Вечером 31 января телеграмма уже была в Вашингтоне.

Когда телеграмма агентства «Associated Press» о том, что Германия начнет с 1 февраля беспощадную подводную войну, была получена в Белом доме и секретарь президента Джозеф Тэмэлти, войдя без зова в кабинет, молча положил телеграфный бюллетень перед Вильсоном, тот сначала остолбенел от изумления, потом побледнел и, возвращая телеграмму Тэмэлти, спокойным тоном сказал: «Это означает войну. Разрыв, который мы пытались с таким трудом предотвратить, теперь неизбежен» [13].

3 февраля конгресс Соединенных Штатов стоя выслушал и приветствовал бурными аплодисментами послание президента Вильсона:

«Я поручил статс-секретарю известить его превосходительст-

во германского посла, что все дипломатические сношения между Соединенными Штатами и Германской империей прерваны и что американский посол в Берлине немедленно будет отозван, и согласно с этим решением его превосходительству германскому послу должны быть вручены его паспорта».

Громадная толпа, с раннего утра долгими часами стоявшая вокруг дворца конгресса, приняла известие с необычайным волнением, и манифестации не прекращались весь день в главных городах союза, куда срочные телеграммы тотчас же передали весть о решении Вильсона.

Но хотя, таким образом, еще утром 3 февраля Вильсон объявил конгрессу Соединенных Штатов, что он прервал дипломатические сношения с Германскою империей, официальное уведомление об этом задержалось на сутки. Вечером 3 февраля Циммерман встретился в одном частном доме с Джерардом и сказал ему: «Вы увидите, что все будет хорошо. Америка ничего не сделает, потому что президент Вильсон стоит за мир. Все пойдет так, как прежде. Я устроил для вас поездку в главную ставку, вы увидите императора, и все будет вполне улажено».

. На другой день пришло в Берлин известие, что еще накануне Вильсон прервал дипломатические сношения с Германией. Джерард, констатируя, что этот поступок президента явился полнейшей неожиданностью для Германии, в то же время сам больше всего изумлялся, как могли в Германии думать, что «Соединенные Штаты упали так низко, что безропотно снесут этот внезапный удар по лицу». Штреземан, тогда вождь национал-либералов, впоследствии (1923—1928 гг.) министр иностранных дел Германской республики, как раз говорил 4 февраля речь об отношении Америки к Германии и закончил ее утверждением, что никогда Америка не порвет сношений с Германией. Едва он кончил и уселся на место, как принесли газету, извещавшую о решении Вильсона. (Заметим к слову, что Штреземан даже и теперь считается в Германии одним из наиболее проницательных политиков.)

Растерянность от громового удара 3 февраля была велика; но вскоре уже было придумано утешение: разрыв еще не есть война. Однако этой надежде суждено было очень скоро погаснуть. Слишком могущественные экономические стихии, интересы и влияния неудержимо влекли Америку к войне. Твердое решение Вильсона было им окончательно принято уже в тот день, как он разорвал сношения с Германской империей.

Глава XVI

ВСТУПЛЕНИЕ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ В ВОЙНУ

1. Американский капитализм после окончания междоусобной войны 1860—1865 гг. Индустриализация страны. Протекционизм. Тресты. Новейшие явления в жизни американского финансового капитала. 2. Начало погони за внешними рынками. Ориентация внешней политики Соединенных Штатов от Мак-Кинлея до Вильсона. Доктрина Монро, дополненная доктриной Джона Гея. «Открытые двери» в Китае. 3. Позиция Соединенных Штатов с начала мировой войны. Статистика американского сбыта воюющим странам в 1914—1918 гг. Задолженность европейских держав Соединенным Штатам. Значение разрыва с Германией. 4. Перехваченное письмо Циммермана. Влияние опубликования этого документа. Объявление Вильсоном войны Германии

1

Чтобы понять роль Соединенных Штатов в мировой войне и после мировой войны, необходимо хотя бы в нескольких словах вспомнить основные черты экономической эволюции этой страны в период, предшествующий катастрофе 1914 г.

Великий спор между землевладельческим капиталом и капиталом торгово-промышленным, начиная с XVIII столетия всюду решавшийся всегда в пользу торгово-промышленного капитала, в одних странах — в обстановке кровопролитных революций, в других — сравнительно менее насильственным путем (но непременно после длительной и упорной борьбы), в Соединенных Штатах привел к колоссальной по своим размерам междоусобной войне 1860—1865 гг. между плантаторским, рабовладельческим Югом и торгово-промышленным Севером. Борьба велась не на жизнь, а на смерть (убитыми, тяжелоранеными и умершими от болезней Соединенные Штаты потеряли в этой войне до 600 тысяч человек).

Победа Севера имела колоссальные экономические и политические последствия. Плантаторам не удалась их попытка отделиться от союза и образовать самостоятельное рабовладельческое государство, которое жило бы сбытом хлопка, сахара, табачных изделий промышленным странам Европы (и прежде всего Англии, которая именно поэтому очень сочувствовала в этой войне плантаторскому Югу). Север Соединенных Штатов прочно обеспечил за собой державное обладание этим неисчерпываемым рынком сырья. Далее. Существование рабовладения во многих отношениях задерживало окончательное создание и укрепление тех правовых норм, которые решительно необходимы для беспрепятственного развития современного капиталистического строя. И рост американского капитализма именно с тех пор (точнее, когда раны, нанесенные страшной междоусобной войной стали заживать, т. е. с конца 70-х годов) начал принимать такие гигантские размеры, что в мировой конкуренции он уже в конце XIX в. занял положение грозного соперника, совершенно притом неуязвимого: экономически — потому, что он имел все нужное для дальнейшего своего развития и ни в ком и ни в чем не нуждался; политически — потому, что колоссальная держава, где он развивался, была защищена не только огромной собственной силой, но и счастливейшими географическими условиями. Побежденный и покорившийся Юг поправлялся экономически после междоусобной войны, правда, довольно медленно. Война окончилась в 1865 г., земледелие достигло уровня, на котором оно стояло до войны (т. е. в 1860 г.), лишь к середине 70-х годов; производство хлопка достигло прежнего уровня (т. е. уровня 1860 г.) только к 1880 г., производство сахара достигло довоенного уровня лишь в самые последние 90-е годы XIX в. Но одновременно с этими относительно скромными достижениями на Юге развивалась (особенно в последние двадцать лет XIX в.) громадная, прежде невиданная там, обрабатывающая промышленность. Эта эволюция сближала Юг с Севером или, точнее, с Северо-Востоком республики, тем самым Северо-Востоком, который вел (и выиграл) войну 1860—1865 гг. против всех попыток южных штатов к отделению. С каждым десятилетием исчезали все основания, всякая почва политического сепаратизма, потому что сглаживалось экономическое своеобразие Юга. Одновременно шло хозяйственное срастание с Северо-Востоком полудикого, девственного, богатейшего Дальнего Запада, замиссисипских необозримых земельных пространств. Уже к середине 80-х годов функционировали четыре трансконтинентальные железные дороги от Атлантического океана до Тихого, и с этих пор для самого пышного расцвета аграрного капитализма, для самых смелых и в конечном счете всегда удачных применений

машинной техники к сельскому хозяйству не было и не могло быть никаких препятствий.

Экономическое и политическое объединение Юга и Запада с Северо-Востоком дало промышленному Северо-Востоку беспредельные запасы нужного сырья, сделало Северо-Восток абсолютно ни от кого и ни от чего не зависимым. Машины (в том числе и паровые) были известны Северо-Востоку еще в конце XVIII в., но только в 30-х, 40-х, 50-х годах паровые машины стали играть серьезную роль в экономической жизни республики, — позже, чем во Франции, чем в Западной Германии, даже чем в Чехии.

Но с окончанием междоусобной войны, особенно же с конца 70-х и начала 80-х годов XIX столетия, картина резко меняется. Машинное производство приобретает колоссальное развитие. Гигантские машиностроительные заводы открываются ежегодно десятками, снабжают машинами всю страну и начинают работать на вывоз. Технические усовершенствования следуют одно за другим, и уже в 80-х годах XIX в. Соединенные Штаты занимают в этом отношении одно из первых мест на земле. Американская промышленность неслыханно усиливает производство, и свободные капиталы все охотнее бросаются не на землю, как прежде, а на фабрики, хотя и для сельского хозяйства их хватает. Небывалый никогда в истории человечества быстрый рост городов явился одним из внешних выражений этого процесса индустриализации страны. Рынок сырья, огромный, неисчерпаемый, дешевый, был дан самой природой, и только нужно было усиливать сеть железных дорог и подъездных путей, чтобы совершенно им овладеть и его использовать. Но американская промышленность гораздо менее спокойна была за рынки сбыта. Требования протекционной таможенной системы становятся с конца 80-х годов XIX в. все настойчивее и настойчивее.

Жестокие нападки республиканской оппозиции на слишком сдержанную и нерешительную внешнюю политику президента Кливленда во время выборной кампании 1888 г. были прямым последствием опасений и раздражения промышленного капитала. Новая экономическая политика, уже ни разу не менявшаяся с 1888 г. до настоящего времени, состояла в решительной борьбе против экспорта сырья из Соединенных Штатов и против импорта иностранных фабрикатов в Соединенные Штаты.

Уже президентская выборная кампания 1888 г. велась обеими партиями на почве борьбы за протекционизм (республиканцы) против свободной торговли (демократы). Выбран был республиканец Гаррисон, и победители приступили к выработке нового тарифа. Промышленники разнообразнейших специальностей широчайшим образом финансировали избиратель-

ную кампанию 1888 г. и требовали своей мзды: запретительных таможенных ставок,— причем обнаруживали большое нетерпение и бесцеремонность. Уже 7 мая 1890 г. председатель комитета путей сообщения Мак-Кинлей внес в конгресс проект нового тарифа. Защищал он свой тариф такой формулой: при свободной торговле (т. е. при свободе для иностранного ввоза) все дешево, но зато и все люди дешевы, как предприниматели, так и рабочие; при протекционизме — многое дороже, но зато и люди зарабатывают несравненно больше. Билль Мак-Кинлея прошел уже 21 мая того же (1890) года; он несколько задержался в сенате, но уже 1 октября 1890 г. стал законом. С этого времени колоссальный количественно, первостепенный по своей покупательной силе внутренний рынок попал в монопольное владение североамериканской промышленности.

Сравнительно с этим событием огромной исторической важности отходят на задний план много нашумевшие в 70-х, в конце 80-х и в 90-х годах споры биметаллистов, стоявших за расширение чеканки серебряной монеты, с монометаллистами, приверженцами исключительно золотой монеты. Владельцы серебряных рудников были ближайшим образом заинтересованы в биметаллизме, и вообще тихоокеанские штаты поддерживали биметаллизм. После нескольких колебаний и противоречивых решений победил монометаллизм. Жизнь бесспорно вздорожала после введения тарифа Мак-Кинлея, и биметаллистам это обстоятельство также было на руку, так как они имели возможность этот факт вздорожания объяснять также отсутствием свободной чеканки серебряной монеты. Возникшая в конце президентства Гаррисона третья партия, так называемая «популистская», была очень пестрой по своему составу (фермеры Запада, жаждущие серебряной монеты; рабочие, жалующиеся на дороговизну жизни и на условия труда; отчасти интеллигентские, отчасти рабочие приверженцы «социализма» Беллами). Популисты в общем шли с демократами против республиканцев. Они требовали введения подоходного налога в самом широком демократическом духе, огосударствления железных дорог, рабочего законодательства. На выборах 1892 г. популисты получили 1 104 886 голосов, республиканцы — 5 175 582, демократы (Кливленд) — 5 556 543 голоса. Кливленд сделал попытку смягчить несколько тариф Мак-Кинлея, и в феврале 1894 г. правительство провело поправки к закону Мак-Кинлея (тариф Уильяма Вильсона). Но, конечно, это «смягчение» держалось очень недолго. В 1896 г. сам Мак-Кинлей был избран президентом, а уже 24 июля 1897 г. прошел новый тарифный закон, не только отменявший все «смягчения» Кливленда, но еще более запретительный, чем первый тариф Мак-Кинлея. Но и этим дело не кончилось: 5 августа 1909 г. прошел новый та-

риф (Пэна-Олдрича), еще более суровый, чем предшествующий. Это была полная победа промышленных магнатов, распределителей трестов над потребителями, отныне отданными в качестве совершенно беззащитной жертвы на самую вопиющую, истинно грабительскую эксплуатацию предпринимателей. Иностранная конкуренция совсем была изгнана из Соединенных Штатов. Нужно сказать, что эта эксплуатация потребителя в связи с обычными последствиями быстрого распространения машинного производства несколько обострила классовую борьбу в стране. Хозяйничанье гигантских трестов, жестоко злоупотреблявших своим монопольным положением, и эксплуатация рабочего труда — вот две основные причины, вызвавшие сначала успех организации «рыцарей труда» (Knights of Labor), которая уже в 1886 г. имела 730 тысяч членов, а потом Американской федерации труда, к которой примкнули громадные профессиональные союзы, фермерские союзы и отдельные рабочие организации в стране. Последние 35 лет перед войной отмечены были несколькими гигантскими стачками. В 1897—1898 гг. Евгений Дебс создал социал-демократическую партию, и она с тех пор не переставала расти и усиливаться. Развитию революционного социализма, впрочем, мешал ряд условий, связанных: 1) отчасти с «сверхприбылью» капиталистов, которая с каждым десятилетием становилась все значительнее и из которой — квалифицированные по крайней мере — рабочие получили увеличение заработной платы; 2) с непрерывным притоком голодного и идущего на все условия, забитого нуждой эмигрантского пролетариата из Италии, Ирландии, Польши, западной России, неорганизованного, часто очень малосознательного, согласного наперед на все условия нанимателя. Были и еще многие причины, но на них мы не будем тут задерживаться.

2

Могущественно развивающийся, уверенный в себе, избыточно снабженный сырьем и рабочей силой, социально устойчивый сравнительно более, чем в любой другой стране земного шара, американский финансовый капитал уже с конца XIX столетия не мог не принять резко агрессивного облика. Внутренний рынок, взятый в монопольное владение, оказался тесен. Началась погоня за рынками внешними.

Начиная с 1875 г. торговый баланс в Соединенных Штатах всегда почти (за тремя исключениями — 1888, 1889, 1893 гг.) сводился в пользу экспорта, перевес экспорта над ввозом становился с каждым десятилетием все значительнее. За тридцать последних лет XIX в. ввоз (ежегодная сумма) увеличился на 95%, а вывоз — на 225%, причем главную часть суммы вывоза хотя долгое время и составляло сырье, но все же вывоз фабри-

катов не переставал прогрессировать и, наконец, взял окончательно верх над вывозом сырья: еще в 1880 г. сырье составляло 67,76% вывоза, а в 1900 г. уже всего лишь 40,34%. Что касается рынков сбыта, то подавляющая масса экспорта шла в Европу (особенно в Великобританию, Францию и Германию). Вот цифры, характерные для предвоенного времени. Экспорт Соединенных Штатов составлял в процентах:

Рынки сбыта	1900 г.	1913 г.
Европа	74,60	59,9
Сев. Америка (кроме Соед. Штат.)	13,45	25
Южная Америка	2,79	6
Азия	4,60	4,70
Океания	3,11	3,20
Африка	1,79	1,20

Европейский сбыт уменьшался; сбыт в Канаду был под некоторой угрозой ввиду время от времени возникавшей в Британской империи протекционистской агитации. Вопрос о рынках не сходил с очереди дня.

Прежде всего империализм Соединенных Штатов обратился по линии наименьшего сопротивления — к странам Центральной и Южной Америки, где приходилось считаться с конкуренцией Англии и Германии. Особенно гигантскими успехами могла похвалиться германская промышленность на южноамериканских рынках.

Политическая сила Соединенных Штатов пришла на помощь капиталу. Когда в 1889 г. президент Гаррисон собрал в Вашингтоне «панамериканский съезд», он едва ли мечтал, что его стремления начнут сбываться уже через несколько лет. Приобретение Кубы в 1898 г., создание «Панамской республики» (которую Рузвельт просто *отделил* от Колумбии, когда Колумбия в недобрый час воспротивилась Соединенным Штатам в деле о концессии по прорытию канала) — все это было началом процесса, даже и теперь, после войны, не закончившегося. Никарагуа, Гаити, Сан-Доминго — все это в экономическом и финансовом отношении уже захвачено Соединенными Штатами. Конечно, Аргентина, Чили, Боливия, Бразилия еще держатся, но держатся, *только* старательно избегая конфликтов с грозным, всемогущим северным властелином. Капитал Соединенных Штатов не хочет знать (и не знает) никаких препятствий на «своем» континенте. Слово «*нет*» ему неизвестно на той колоссальной части земного шара, которая начинается на севере от канадской границы и на северо-западе от Аляски и кончается Огненной Землей на юге. Затем началось присоединение колоний. 15 февраля 1893 г. были присоединены необычайно

богатые и плодоносные Сандвичевы острова, представляющие превосходный опорный пункт для экономической экспансии в восточной Азии. В 1898 г., после удачной войны с Испанией, были присоединены Филиппинские острова, еще более сблизившие Соединенные Штаты с Азией.

С конца 90-х годов XIX столетия экономическая экспансия в Азии, прежде всего в Китае, становится одной из главных целей американского капитализма. Захват или раздел Китая Японией и европейскими державами с этих пор становится идеей, весьма трудно осуществимой. Можно утверждать, что, собственно, центральными, руководящими идеями внешней политики Соединенных Штатов до великой войны 1914 г. были две: «доктрина Монро»[1] и «доктрина Гея» (Нау). Первая, выдвинутая в послании конгрессу президента Монро (Monroe) в 1823 г., гласит, что Соединенные Штаты во имя своей безопасности не могут позволить, чтобы какая бы то ни было европейская держава впредь утверждала свое владычество где бы то ни было на всем протяжении американского континента. Вторая «доктрина» была развита в циркуляре статс-секретаря Соединенных Штатов Джона Гея 3 июля 1900 г. по поводу «боксерского восстания» в Китае и ввиду явного желания великих держав захватить часть китайской территории. Джон Гей настойчиво указывал на необходимость гарантировать полную неприкосновенность китайской территории и сохранить за *всеми* державами, торгующими с Китаем, совершенно одинаковые права на всем протяжении китайской территории («открытые двери» — «open door» в Китае). Американский капитал вообще не желал дальнейшего раздела земного шара, особенно там, где не надеялся ничего выиграть.

Что Соединенные Штаты заинтересованы живейшим образом в сохранении европейского и внеевропейского «равновесия» и что они смотрят на себя как на резервную силу, которая должна непременно вмешаться в дело, если англичане окажутся недостаточно сильными, чтобы это равновесие сохранить,— эту мысль совершенно категорически выразил Теодор Рузвельт в 1911 г. в одном политическом разговоре, вовсе не предназначенном только для дружеских ушей, ибо собеседником Рузвельта был германский дипломатический сановник барон Эккардштейн[2].

Больше всего американская дипломатия не доверяла Японии, великой морской державе, явно нуждающейся в приращении территории.

Германия и Франция, подобно России в 1894 г., не дали Японии возможности полностью воспользоваться победой над Китаем и заставили ее отказаться от уже уступленного ей Китаем Ляодунского полуострова. Летом 1905 г. внезапное «дру-

жеское посредничество» Рузвельта заставило Японию, во-первых, начать мирные переговоры с Россией и, во-вторых, помириться на гораздо менее выгодных условиях, чем можно было ожидать после непрерывных, казалось бы, удач на суше и на море. Ведь было ясно, что если бы Комура и Витте уехали в августе 1905 г. из Портсмута, ни на чем не договорившись, то с этого момента «наблюдательная роль» Соединенных Штатов начала бы самым серьезным образом стеснять Японию.

3

После всего сказанного мы не должны удивляться позиции, которую заняли Соединенные Штаты с начала мировой войны.

Прежде всего они попали в совершенно исключительное положение: вся воюющая Европа, не торгуясь и не считая денег, требовала у них военного снаряжения и колоссальной массы всевозможных фабрикатов. Правда, сбыт мог фактически идти только Антанте, а не Германии, потому что Германия с первого дня войны была изгнана со всех морей и блокирована английским флотом. Но и одна Антанта брала у Америки все, что только было возможно взять. И только страна, которая обладает гигантской промышленностью и добывает 64% нефти, 39% угля, 36% железной руды, $^2/_3$ меди, $^2/_3$ хлопка, добываемых на всем земном шаре, могла удовлетворить этот спрос. Тут же добавляю, что, выкачав из стран Антанты за время мировой войны ее капиталы, Америка продолжала потом выкачивать остатки в виде процентов по займам, так что Антанта оказалась в неоплатном долгу.

Чтобы понять, до какой степени война обогатила Соединенные Штаты, достаточно сказать, что от начала существования этого государства (с первого года президентства Вашингтона) до начала войны 1914 г., т. е. *за сто двадцать пять лет, в общей сложности,* перевес *вывоза* из Соединенных Штатов над *ввозом* в них из других стран исчисляется в 9 с небольшим миллиардов долларов, а тот же перевес за время с августа 1914 г. до капитуляции Германии в ноябре 1918 г. равняется 10.9 миллиарда долларов. Значит, *эти 4 года и 3 месяца* войны были с точки зрения торгового баланса выгоднее для Соединенных Штатов, чем в общей сложности все *сто двадцать пять лет* (1788—1914 гг.) всей их предшествующей истории, хотя уже задолго до войны торговый баланс сводился почти всегда в пользу Соединенных Штатов. Уже в 1919 г. золотой запас Соединенных Штатов превышал 3 миллиарда долларов; но с тех пор он не переставал расти. И даже не это характерно, ибо ведь мы знаем, что еще до августа 1914 г. в распоряжении Соединенных Штатов было 1887 миллионов долларов золотом. Европа, прав-

да, отдала (и продолжает отдавать) почти все свое золото, но у нее и до войны было его меньше, чем у Соединенных Штатов. Существеннее в данном случае то, что, кроме золота, Европа отдала Соединенным Штатам массу ценных облигаций. Одних только облигаций американских предприятий, прежде помещенных на европейских рынках, за время войны перешло в Соединенные Штаты почти на 10 миллиардов золотом. И этого мало. Европейские государства непосредственно задолжали Соединенным Штатам колоссальные суммы.

Вот некоторые, наиболее крупные, должники этого всемирного кредитора.

Должны были Соединенным Штатам (на 1 января 1919 г.)

Англия и Канада	4 429 000 000 долларов 462 000 000 »	4 891 000 000
Франция	2 705 000 000 »	
Италия	1 051 000 000 »	
Бельгия	171 000 000 »	

Что касается Румынии, Греции, Югославии и т. д., то о них, как выразился один американский финансовый обозреватель, при учете должников Соединенных Штатов, «можно упоминать, а можно и не упоминать»: дело от этого нисколько не меняется.

Теперь понятны жизненнейшие интересы, неразрывно связавшие американский капитализм с Антантой. Поражение Антанты грозило банкротством, от которого прежде всего пострадал бы главный ее кредитор — Америка. Затем, Америке делить мировые рынки с одной Англией выгоднее, чем делить их с Англией и Германией. А что из этих двух партнеров от одного (Англии) отделаться ни при каких условиях невозможно, от другого же (Германии) весьма возможно, если активно помочь Антанте,— это было аксиомой, не подлежащей оспариванию. Тут даже нет нужды вспоминать о «голосе крови», об общих симпатиях и общей культуре двух великих англо-саксонских держав и о других столь же возвышенных и поэтических мотивах, о которых так любили распространяться английские публицисты, чтобы понять, что Соединенные Штаты никак не могли занять антианглийской позиции.

«Если бы Германия победила, американская промышленная цивилизация неизбежно должна была бы бороться с ней за верховенство над всем миром. Ни один человек, который обладал не совсем элементарными историческими познаниями, не мог бы в этом сомневаться в декабре 1916 г. А Вильсон, конечно, обладал не только началами исторического знания»,— так пишет историк и защитник покойного президента, Вильям Додд [3].

Переводя звучную формулу: «американская промышленная цивилизация» на более удобопонятный язык, мы получим

вполне реальную мысль: Вильсон усматривал в победе германского финансового капитала жестокую угрозу в ближайшем будущем для капитала североамериканского.

Вот почему, когда подводная война непосредственно затронула интересы и престиж Соединенных Штатов, Вильсон, как мы видели, разорвал с Германией дипломатические сношения и стал готовиться к войне.

4

И все-таки даже после разрыва дипломатических сношений в Соединенных Штатах (в руководящих крупнокапиталистических кругах) рядом с усилившимся течением в пользу войны еще держалось кое-где мнение о том, что дальнейшее сохранение нейтралитета имеет тоже свои выгодные стороны, но дело было уже безнадежно: Вильсон бесповоротно решил воевать с Германией. К тому же еще одна роковая для Германии ошибка ее дипломатии как раз в эти критические дни нанесла окончательный удар всем приверженцам нейтралитета и сильно облегчила сторонникам войны их игру.

28 февраля 1917 г. президент Вильсон приказал опубликовать перехваченное письмо германского статс-секретаря иностранных дел Циммермана германскому посланнику в Мексике Экгардту. В этом письме Циммерман предлагал Экгардту обратиться к мексиканскому президенту Карранца с такого рода советом: не пожелает ли Карранца напасть на Соединенные Штаты в случае, если они объявят войну Германии? Германия бы финансировала этот поход, а Мексика могла бы в случае победы отнять у Соединенных Штатов Техас, Аризону и Нью-Мексико (которые раньше — до 1845—1848 гг.— принадлежали Мексике). А кроме того, не пожелает ли Карранца обратиться от своего имени и от имени Германии к Японии и попросить Японию, чтобы она, во-первых, расторгла свой союз с Антантой, а во-вторых, тоже напала бы на Соединенные Штаты?

Письмо было помечено 19 января 1917 г., т. е. еще почти за две недели до объявления беспощадной подводной войны и до разрыва сношений между Америкой и Германией. Первые два дня после опубликования этого изумительного документа в американской прессе, правда, был взрыв негодования, но все же замечалась некоторая осторожность. Во-первых, Вильсон не говорил, как в его руки попал этот документ,— значит, можно было предполагать, что, быть может, президент стал жертвой какой-нибудь мистификации. А во-вторых,— и это самое главное,— представлялось слишком абсурдным, невероятным, слишком карикатурным самое содержание документа. Предлагать Мексике, население которой почти в восемь раз меньше населения Соединенных Штатов и которая в сотни раз вообще

слабее и беднее их, напасть на могучего соседа, который может уничтожить ее одним взмахом руки, да еще напасть на этого могучего соседа с чисто завоевательными целями и отнять у этого соседа территорию, равную почти всей Мексике,— уже это одно казалось карикатурной нелепостью. Надеяться же при этом на то, что «совет» мексиканского авантюриста и самозванного «президента» заставит Японскую империю вдруг изменить Антанте и начать войну с Соединенными Штатами, без малейшей, конечно, надежды на чью бы то ни было помощь в Тихом океане,— это уже выходило за пределы всякого вероятия. Но это не было мистификацией. Уже 3 марта, через два дня после поднявшейся в Америке газетной бури, Циммерман счел необходимым начать оправдываться. Это оправдание и заставило впоследствии (уже после войны) одну германскую социалистическую газету заметить, что вот «все говорили у нас, что дипломатия заполняется неспособными аристократами и что пора дать дорогу талантам из буржуазии», а назначили в виде первого опыта Циммермана «из буржуазии», и он наделал таких дел, которые не пришли бы в голову и десятку самых дегенеративных аристократов.

Вот как оправдывался Циммерман, согласно сообщению, переданному 3 марта через Амстердам в Америку. Он, Циммерман, предлагал Экгардту начать переговоры с Мексикой *только в том случае, если* Вильсон объявит Германии войну, а ведь «самая важная черта в этом документе — его условная форма». Не виноват же он, Циммерман, что вследствие какого-то невыясненного предательства этот секретнейший документ попал действительно так страшно некстати в руки президента Вильсона. Вообще ему, Циммерману, все это очень неприятно.

После этих оправданий самого Циммермана и соответствующих статей немецкой прессы («Lokal Anzeiger» утверждал, что Циммерман даже *обязан* был придумать, как бы удержать Соединенные Штаты от войны с Германией) Вильсон уже не колебался относительно того, что войну следует начать *возможно скорее* (по существу вопрос был им решен еще в начале февраля). Да и широкие слои американского населения, раньше равнодушно относившиеся к войне, теперь, после опубликования циммермановского письма, уже смотрели на войну с Германией как на дело совершенно неизбежное. В самом деле, даже искуснейшая и сложнейшая провокация со стороны Антанты не могла бы так страшно повредить Германии, как внезапное опубликование этого перехваченного письма. (Кто именно похитил и доставил письмо Вильсону,— до сих пор остается невыясненным.)

После опубликования этого документа приверженцы нейтралитета умолкли окончательно [4].

2 апреля 1917 г. Вильсон явился вечером в заседание конгресса и прочел лично свое послание, в котором он объявлял о необходимости вступить в войну с Германией. 6 апреля конгресс всецело одобрил это решение и объявил «состояние войны» между Соединенными Штатами и Германией. Жребий был брошен. Теперь в сущности вопрос сводился только к тому, когда именно Германия признает свое поражение и сколько именно она потеряет.

Но обстоятельства как будто сговорились, чтобы германский народ не весь и не сразу это понял. В России разразилась революционная буря, которая с каждым месяцем становилась все шире и глубже. Что при этих условиях Россию нужно в ближайшем будущем снять со счетов и не рассчитывать на активное ее участие в военных действиях, это Антанта понимала, и она стремилась только к тому, чтобы Россия попозже вышла из войны (чего бы это самой России ни стоило). Понимала это и Германия, и, как наивно выразился тогда же умеренно-консервативный профессор Ганс Дельбрюк, редактор «Preussische Jahrbücher», только объявление Вильсоном войны помешало Германии «наслаждаться» (geniessen) русскими событиями. Но и среднему обывателю из соотечественников Дельбрюка эта неприятность со стороны Вильсона отчасти мешала «наслаждаться». Газетные утешения не очень помогали. «Соединенные Штаты — это Румыния», так остроумно определяли германские патриотические публицисты силу заатлантической республики. «Американская армия не может ни плавать, ни летать,— она не придет» (sie kann weder schwimmen, noch fliegen, sie wird nicht kommen),— так при дружном смехе и аплодисментах своей аудитории выразился один из вождей ярых патриотов и аннексионистов, член рейхстага Гергт. Усыпляли ли этим тревогу? В самом ли деле это остроумие казалось очень убедительным? Во всяком случае вступление Америки в войну как-то вдруг внесло очень существенное изменение в психологию не только социал-демократов большинства, но и партий мелкой и средней буржуазии: *выиграть* эту войну Германия никак уже не может; *в лучшем* случае — война должна окончиться вничью или с очень небольшими отступлениями от довоенного положения.

Мириться! Во что бы то ни стало и немедленно! И без фанфаронства и победоносного хвастовства, как при мирном предложении 12 декабря 1916 г., а на основах равенства: без победителей и побежденных. Эта идея овладела многими умами в Германии весной 1917 года.

Но образ действий Антанты показывал, что до мира еще далеко: летом 1917 г. комиссар Антанты Жоннар вывез насильственно из Афин короля греческого Константина, а власть над

Грецией вручил Венизелосу, который и выступил вслед за тем против Германии, Турции и Болгарии. «Кто не с нами, тот против нас»,— этого принципа держались обе борющиеся стороны.

Неизменные зловещие угрозы неслись из Парижа и из Лондона, угрозы, вполне одинаковые по смыслу и по тону и после всех редких еще тогда удач Антанты, и после всех самых тяжелых ее поражений. Полная капитуляция Германии и всех ее союзников — другого предложения Антанта не сделала ни разу. Агитация прессы всеми способами неслыханно разжигала страсти и заглушала редкие и слабые голоса, пытавшиеся остановить побоище.

Глава XVII

МИРНАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ РЕЙХСТАГА И БРЕСТ-ЛИТОВСКИЙ МИР

1. Влияние русской революции. Утомление в Германии и Австрии. Секретный доклад графа Чернина. Апрельская забастовка на берлинских заводах (1917 г.). 2. Подготовка и проведение мирной резолюции в рейхстаге. Отставка Бетман-Гольвега. Неудача Стокгольмской конференции. Неудача предложения папы Бенедикта XV. 3. Брест-Литовский мир и его значение в истории мировой войны

1

Германское правительство, с своей стороны, теперь уже не желало уступок и компромиссов. Не только военные, но и гражданские власти укрепились в убеждении, что при выходе из войны России Антанта пойдет, наконец, на мир, не дожидаясь далекой и нескорой помощи со стороны Америки.

В заседании рейхстага 15 мая 1917 г. канцлер Бетман-Гольвег заявил, что положение на театрах войны так хорошо (для Германии), как еще никогда не было. Россия казалась сокрушенной, относительно Соединенных Штатов утешались словом «блеф», обозначавшим, что Америка больше пугает словесными угрозами, чем думает серьезно развернуть свои гигантские силы и возможности. Теперь уже известно, что Гинденбург и Людендорф весной 1917 г. были уверены, что в августе того же года Германия заключит победоносный мир со всеми врагами. Что касается морского штаба, то он продолжал уверять, что в конце июля или в начале августа Англия, изнуренная подводной войной, будет просить Германию о даровании ей мира.

Но все эти слова уже не оказывали прежнего действия ни на рабочую массу, где популярность оппозиционной социал-демократической группы меньшинства все возрастала, ни на широкие слои тяжко страдавшей от материальных лишений мелкой

и отчасти средней буржуазии, служилого люда, лиц интеллигентных профессий и т. д. Мир, мир во что бы то ни стало, или, точнее, мир на основании status quo ante, на основании возвращения к довоенному положению — вот какая программа стала выявляться все более и более. Но эта программа была уже абсолютной невозможностью: во-первых, консервативные слои, аграрии и крупные промышленники (и стоявшие всецело на их стороне военные власти), ни за что не хотели лишаться плодов «победы», якобы уже близкой, и Бетман-Гольвег не смел даже заявить открыто, что Германия безоговорочно очистит Бельгию (в случае общего мира); а во-вторых, Антанта после вступления Соединенных Штатов в войну обрела такую уверенность в конечном разгроме Германии, что если бы даже Германия торжественно отказалась от всякой мысли о завоеваниях и в самом деле предложила вернуться к довоенному положению, то, конечно, со стороны Антанты последовал бы категорический отказ. Не забудем, что Антанта уже овладела секретным докладом Чернина императору Карлу — об истощении Австрии, что и без всяких секретных докладов истинное экономическое положение центральных держав было в Англии и Франции в достаточной степени известно, что, наконец, уже в августе 1917 г. в дипломатических и военных кругах Антанты окончательный разгром и капитуляцию Германии приурочивали к осени 1918 г. (и определенно об этом уведомляли, например, министра русского временного правительства Терещенко).

Таким образом, весной 1917 г. в германском народе был налицо глубокий раскол, непримиримое расхождение по вопросу о новом мирном предложении.

Русская революция, выдвинувшая лозунг «мира без аннексий и контрибуций», могущественно способствовала росту мирных настроений в тяжко утомленных войной германских рабочих слоях, и все замаскированные аннексионисты из числа лидеров социал-демократического большинства, вроде Давида, Зюдекума и несравненно более ловкого и осторожного, чем все они, Шейдемана, должны были тоже, скрепя сердце, перейти на платформу «мира без аннексий и контрибуций». Умеренный консерватор и патриот Дельбрюк, которого, как мы это видели, его патриотизм иногда заводит в логические дебри, определенно утверждает, что даже некоторые социал-демократы примкнули во время войны к гибельной формуле Людендорфа: добиваться установления таких границ, чтобы враги не могли *осмелиться* напасть на Германию. Дельбрюк совершенно правильно говорит, что подобная формула прикрывает собой требование всемирного господства и предъявление такого требования, конечно, уже само по себе способно было затянуть войну и этим погубить Германию. Ибо ясно, что государство, на которое никто

не может осмелиться даже напасть, может всегда и всем навязать свою волю [1]. Теперь, в 1917 г., Шейдеман уже торопился расстаться с этой горделиво-патриотической формулой. Мелкая, средняя, даже некоторая часть крупной буржуазии (во главе с директором-распорядителем Гамбургско-Американского пароходства Баллином) тоже далеко уже не так была настроена, как хотя бы до выступления Америки, и часть этих классов тоже не прочь была поскорее окончить затянувшуюся опасную войну «вничью». Их представителем стал вождь партии центра Маттиас Эрцбергер, живой, беспокойный, очень способный человек, некогда (в 1914—1915 гг.) стоявший за аннексии, а в 1916 г. пришедший к мысли о страшно опасном положении Германии. Он был честолюбцем и карьеристом, но умным и широко ведущим свою игру карьеристом, и поэтому уже в 1916 г. стал заметно отдаляться от правительства. Весной 1917 г. он находился под сильным впечатлением попавшей в его руки секретной докладной записки австрийского министра графа Чернина молодому императору Карлу I (преемнику Франца-Иосифа, умершего 21 ноября 1916 г.). Чернин подал 12 апреля 1917 г. императору Карлу и одновременно Вильгельму секретный доклад («Immediatbericht»), в котором указывал на полную невозможность для Австрии вести войну дольше осени и на то, что у самой Германии тоже не надолго хватит для этого сил; что обеим странам угрожает революция, вроде русской; что мир должно заключить немедленно. Из документа явствовало, что Австрия уже погибает и, конечно, мечтает заключить вскоре сепаратный мир. Документ стал известен Эрцбергеру. Эрцбергер тогда еще не знал того, что было спустя год разоблачено французским первым министром Клемансо: именно, что австрийский император уже отправил через своего шурина, офицера бельгийской армии, принца Сикста Бурбонского предложение президенту Пуанкаре о мире, причем брался повлиять на Германию, чтобы она уступила Эльзас-Лотарингию Франции. Из этого предложения ничего не вышло, но самый этот факт, а еще более — копия доклада Чернина, какими-то до сих пор не выясненными путями попавшая в руки Антанты, убедили Антанту окончательно, что полный разгром центральных империй обеспечен,— следует только еще некоторое время не заключать мира.

Эрцбергер и Шейдеман весной 1917 г. многого еще не знали. Но они твердо знали одно: нужно немедленно заключить мир. В апреле 1917 г. в Берлине на заводах, работавших на снабжение армии, разразилась грандиозная стачка; бастовало 125 тысяч рабочих и работниц. Одновременно серьезное брожение охватило рабочих в некоторых других промышленных центрах. Из Лейпцига правительство получило резолюцию 18 тысяч рабочих, в которой *требовались,* кроме достаточного снабжения

населения углем и хлебом, еще демократические реформы и немедленное заявление о готовности Германии заключить мир без всяких аннексий. Это было очень грозным революционным симптомом. Русская революция начинала оказывать свое воздействие на умы рабочего класса. Вильгельм, правда, поторопился пообещать реформу безобразного закона о выборах в прусский ландтаг, но всего этого было мало, да и обещание пока было только на бумаге. Да и всемогущие в ландтаге землевладельцы открыто заявляли, что ни за что не согласятся с «демократизацией» ландтага. Граф Ольденбург фон Янишау произнес в Данциге 12 декабря 1917 г., когда монархии оставалось жить еще 11 месяцев, следующие слова: «Если в Пруссии будет введено всеобщее избирательное право, то, значит, войну проиграли *мы*». Но, конечно, в центре всех трудностей находился вопрос о мире. Стачки в Берлине и в Лейпциге кончились, но впечатление не проходило. Уже состоявшееся в апреле формальное и фактическое вступление Соединенных Штатов в войну черной тучей заволакивало германский горизонт. Продовольственная нужда все обострялась.

2

При этих условиях Эрцбергер, с одной стороны, Шейдеман, Давид, Эберт, с другой, решили провести через рейхстаг торжественную резолюцию в том смысле, что Германия готова мириться с Антантой на основе возвращения к довоенному положению. Мир без аннексий и контрибуций! Эта формула, принятая в Петербурге Советом солдатских и рабочих депутатов, должна была также лечь в основу мирной резолюции рейхстага [2]. Одновременно лидеры социал-демократии и Эрцбергер домогались также отставки Бетман-Гольвега. Канцлера губили в этот момент две между собой различные, но одинаково враждебные ему силы. Почему, например, его не желал более Шейдеман? Потому, что с именем Бетман-Гольвега связывались воспоминания о начале войны, его ненавидела Антанта, он сказал 4 августа 1914 г. знаменитые, облетевшие весь мир слова, что нейтралитет Бельгии — клочок бумаги и т. д.; одним словом, как откровенно заявил Шейдеман 30 июля 1917 г.: «Если канцлер завтра уйдет, это облегчит мир». А с другой стороны, почему под положение канцлера *в это же самое время* подкапывались Гинденбург и Людендорф, почему против него деятельно интриговал кронпринц, специально с этой целью явившийся из армии в столицу? Потому, что *для них* он был слишком нерешителен, сдержан, миролюбиво настроен, слишком мало склонен дожидаться победоносного мира. Мы хотим могучего мира, гинденбургского мира

(einen Kraftfrieden, einen Hindenburgfrieden) — таков был лозунг аннексионистов, приободрившихся под влиянием предстоящего выхода России из войны. Непримиримые противоречия раздирали в этот момент политическую жизнь Германии, но все главные течения устремлялись одинаково против канцлера. 14 июля 1917 г. Бетман-Гольвег подал в отставку, а спустя пять дней, 19 июля, большинством 212 против 126 голосов в рейхстаге прошла «мирная резолюция». Большинство составилось из социал-демократии (шейдемановского толка), прогрессистов, центра и нескольких национал-либералов. Меньшинство — из почти всех национал-либералов, консерваторов и независимых социал-демократов (которые были недовольны редакцией резолюции и требовали более радикального тона). Резолюция высказывалась против аннексий, против насильственного мира, за мир по соглашению враждующих сторон (Verständigungsfrieden).

Эта резолюция не произвела в странах Антанты никакого другого действия, кроме усиления впечатления, что Германии приходится очень трудно. Ни Эрцбергеру, который еще в начале 1915 г. был сторонником аннексий, ни другим авторам резолюции во вражеском стане не верили. Да если бы и верили, ничего реального отсюда выйти не могло, потому что ведь сама Антанта решительно желала аннексий (в свою пользу) и ни за что не согласилась бы принять принцип, положенный в основу резолюции. Но Антанте не пришлось даже измышлять дипломатических хитростей, чтобы можно было свалить вину за продолжение войны на Германию. Дело в том, что едва только общими усилиями удалось удалить Бетман-Гольвега, как Гинденбург и Людендорф, кронпринц и Вильгельм поспешили резко отмежеваться от парламентского большинства и от его мирной резолюции, и консервативное меньшинство, вотировавшее против мирной резолюции (и представлявшее интересы крупного капитала и землевладения по преимуществу), оказалось вполне солидарным с военными властями, с династией и с новым канцлером. Любопытная по-своему фигура был этот новый канцлер, Отто Михаэлис, бывший прусский комиссар по продовольствию. Указан он был Вильгельму теми, кто хотел достигнуть полного подчинения гражданских властей военным. Это была серая бездарность, дюжинный, бесталанный чиновник, из провинциальных дворян, усидчивостью и повиновением начальству сделавший себе карьеру, не имевший даже отдаленного представления о неслыханных трудностях, в борьбе с которыми уже начинали изнемогать центральные империи. Он сам откровенно заявил, что политикой никогда не занимался и вообще был только «современником» (Zeitgenosse) исторических событий — не больше. Его так и прозвали издевавшиеся над

ним социал-демократы — «современник Михаэлис». Признавался он еще (тоже публично и печатно), что, собственно, хотел было отказаться от канцлерства, чувствуя полную свою непригодность, но раскрыл наудачу библию, вычитал утешивший его текст и согласился. Подобный человек и получил на первых же порах от военных властей задание: как-нибудь поскорее свести к нулю «мирную резолюцию» рейхстага. Михаэлис тотчас же это и исполнил, заявив в рейхстаге, что он надеется осуществить «цели Германии», не выходя из пределов мирной резолюции,— *«так, как я ее понимаю»* (so wie ich sie auffasse),— добавил он. А так как было известно, что Михаэлис больше всего по своим взглядам примыкает к крайним аннексионистам, объединившимся вскоре после этого (2 сентября 1917 г.) в новую «отечественную партию» (Vaterlandspartei), то дело было сделано. И в Германии и вне ее на «мирную резолюцию» посмотрели после этого как на нечто совершенно лишенное реального смысла и значения для будущего. Состав рейхстага (выбранного еще в 1912 г. и просуществовавшего вплоть до ноябрьской революции 1918 г.) был дробный, прочного большинства по многим вопросам составить было нельзя. Вот каков был численный состав партий рейхстага в 1917 г.: *правые партии* — 44 консерватора, 27 членов «германской фракции» (консерваторов более умеренного оттенка), 49 национал-либералов; *«центр»* — католики, иногда шедшие с правыми, иногда с левыми — 90 человек; *левые партии* — 45 прогрессистов, 89 социал-демократов большинства и 21 независимый, 18 поляков (голосовавших в те годы всегда с левыми); наконец, 14 «диких», не принадлежавших ни к какой партии или принадлежавших к национальным меньшинствам (датчане, эльзасцы). Мирная резолюция 19 июля прошла *только* потому, что Эрцбергер, вождь партии центра, а за ним и вся партия (представлявшая в значительной степени мелкую и среднюю католическую буржуазию южных государств Германии, а отчасти Рейнланда) почувствовали необходимость как можно скорее заключить мир, так как социальные слои, ими представленные, начинали тоже беспокоиться и роптать.

Слова Михаэлиса, похоронившие эту мирную резолюцию, настроение военных властей с Людендорфом во главе — все показывало, что аннексионисты очень уж уповают на близкую победу вследствие *развала* русского фронта и что так же легкомысленно, как они вовлекли Америку в войну, они теперь убедили себя, что успеют справиться с Антантой раньше, чем Америка развернет свои силы. Речи Эрцбергера в негласном заседании лидеров парламентских партий 4 и 6 июля 1917 г., предшествовавшие мирной резолюции, не произвели на Вильгельма, кронпринца, Людендорфа и Гинденбурга никакого впечатления.

Эрцбергер указал на провал надежд, связывавшихся с подводными лодками, подчеркнул, что о военном одолении врагов нечего и думать, что нужно искать дипломатических путей к миру, что через год положение будет еще хуже, а между тем лишний год войны потребует новых 50 миллиардов марок золотом и новых колоссальных человеческих гекатомб. Но Людендорф на все подобные указания тогда говорил только: «Дайте нам победить» (lassen Sie uns siegen). А сам император, беседуя на приеме с лидерами рейхстага, именно с лидерами левых партий, и заговорив *о разгроме русских войск* у *Тарнополя* (*в том же июле* 1917 г., после так называемого почему-то «наступления Керенского»), с восхищением и смехом заявлял: «Где появляется гвардия, там нет места демократии» (Wo die Garde auftritt, da ist kein Platz für die Democratie). Прием у Вильгельма в эти июльские дни 1917 г. вообще очень встревожил народных представителей: они, говоря словами участника приема Пайера, как будто поняли, что опасно оставлять *такую* власть в руках подобного человека. Перед ними, представителями измученного народа, неистово истребляемого неприятелем и голодом, жаждущего мира и только мира как можно скорее, Вильгельм вдруг принялся весело вышучивать «мир по соглашению», мир дипломатический (а не «военными средствами»), словом, тот мир, к которому именно стремилось большинство рейхстага. Вот как он, Вильгельм, понимает мир по соглашению: «Мир, при котором берут у врагов деньги и сырье и кладут в собственный карман». Перед народными представителями, за которыми стояли глухо раздраженные, угнетенные войной и недоеданием рабочие массы, он стал рисовать такие заманчивые перспективы: как только окончится эта война, нужно будет соединиться с Францией, взять под свое начало весь европейский континент, и тогда начать уж новую, «настоящую» войну против Англии [3]... Об этом перед лицом народных представителей восхищенно мечтал человек, относительно которого нелегальные листовки, распространявшиеся тогда по всей Германии, ядовито спрашивали: почему он и его сыновья *никогда*, даже издали, не приближаются к полю битвы?

При подобных настроениях правящих кругов как Германии, так и Антанты речи быть не могло о мире, пока одна из сторон не будет раздавлена. Коснемся в двух словах попыток приблизить мир, сделанных летом и ранней осенью 1917 г.

Первая связана с социалистической конференцией по вопросу о мире, бывшей в Стокгольме 4—18 июня 1917 г. Собственно, это был съезд социал-демократических лидеров некоторых нейтральных стран, а также немцев и австрийцев. Ни Англия, ни Соединенные Штаты, ни Франция не дали паспор-

тов своим социалистам, желавшим отправиться в Стокгольм. Правда, был бельгийский делегат Гюисманс, а кроме того, Шейдеману удалось частным образом встретиться и побеседовать с возвращавшимся из Петербурга французом Лафоном; с другим французом — Альбером Тома — говорила датская делегатка Нина Банг. Результаты конференции были неутешительны. Все разбилось об эльзас-лотарингский вопрос. Немцы категорически отказывались признать справедливой передачу Эльзас-Лотарингии французам, французы и некоторые представители нейтральных стран — голландец ван Коль, швед Яльмар Брантинг — заявляли, что без этого условия не может быть и речи о мире. Не менее неутешительно было, конечно, и полное отсутствие англичан и американцев на съезде (да и французов в сущности не было, Лафон и Тома ни разу не появились на заседаниях, а Тома не захотел и встретиться ни с одним немцем или австрийцем даже частным образом). Вести из России доставил побывавший в Петербурге в 1917 г. датчанин Боргбьерг. Совет рабочих и солдатских депутатов стоял за мир без аннексий и контрибуций и за самоопределение народностей. Совет сам желал созвать конференцию для содействия миру, а поэтому Стокгольмская конференция его не интересовала, тем более, что на прибытие англичан, американцев, французов, итальянцев в Стокгольм нельзя было рассчитывать; без них же сколько-нибудь серьезных результатов добиться было нельзя, и даже демонстративного смысла конференция без них не имела.

«Мы, вернувшиеся из Стокгольма, не могли отрешиться от убеждения, что конференция как таковая потерпела неудачу»,— говорит Шейдеман в своих мемуарах [4]. Но гораздо любопытнее то, что он говорит о настроениях в Берлине. Эти настроения подействовали на них, возвратившихся из Стокгольма, прямо подавляющим образом: «В прессу и в буржуазную общественность не проникало ничего о нашем отчаянном положении, и среди буржуазных партий вовсе не было даже понимания приближающейся катастрофы. Впрочем, были также социал-демократические депутаты рейхстага, которые не могли дать себе отчета о положении и все еще легковерно поддавались настроениям, создаваемым высшим военным командованием и его бюро прессы».

Никогда за время войны официальная ложь не лилась такими потоками, как именно тогда, с весны 1917 г. и вплоть до разгрома осенью 1918 г. Дело в том, что нужно было во что бы то ни стало заглушить беспокойство, вызванное вступлением Соединенных Штатов в войну, поддержать дух — для последней общей ставки на карту всего, что еще можно было поставить. «Рейхстаг жил в сказочном мире» [5], а не в мире реальностей.

Каждый день печатались известия о новых и новых торговых судах, потопленных германскими подводными лодками; и действительно, успехи подводных лодок были очень значительны. Но прошло шесть месяцев и год, и больше после 1 февраля 1917 г., а Англия все еще не начинала голодать, все еще продолжала борьбу не на жизнь, а на смерть. Прежде всего Англии пришли на помощь Соединенные Штаты, грандиозно усилив свое судостроение. На американских верфях еще в марте 1917 г. (перед самым объявлением Вильсоном войны) работало в общем около 25 тысяч рабочих; во второй половине 1917 г.— 170 тысяч; в 1918 г.— уже 300 тысяч человек. Были у Англии и другие ресурсы.

Теперь мы уже знаем, что еще в 1914—1916 гг. все потери торгового флота Великобритания успевала почти полностью покрывать постройкой новых судов, но что с открытием 1 февраля 1917 г. беспощадной подводной войны со стороны Германии положение круто изменилось. Потери так неслыханно увеличились, что Англии нечего было и думать угнаться за ними и бороться со злом только одним усилением судостроения. На это и рассчитывали, об этом и мечтали фон Тирпиц, Гинденбург, Людендорф, Вильгельм и все агитировавшие за беспощадную подводную войну. Но они и тут сделали ошибку. Элементарное знание английской истории могло бы их убедить, что Англия в критический момент пускает в ход все без исключения силы и средства, абсолютно ничем не стесняясь, хотя никогда и не произносит при этом вслух никаких изречений о «нужде, не знающей закона», а с другой стороны — умеет взвешивать размеры опасности от тех или иных своих актов. Ллойд-Джордж обратился к Голландии, Норвегии, Дании, Швеции с настойчивой *просьбой* выдать Англии их торговый флот «для временного пользования» (for temporary use). «Просьба» подобного рода, когда просительницей является Британская империя, всегда заслуживает самого внимательного и участливого отношения, так как английский военный флот может в крайнем случае обойтись и без согласия заинтересованных держав, а просто увести из соответствующих гаваней все торговые суда нейтральных держав. Английская дипломатия и не скрывала, что отказ ее, правда, огорчит, но нисколько не обескуражит... При этом давались выгоднейшие гарантии и материальные компенсации. Обдумать ответ разрешалось, но тут же рекомендовалось не очень много времени посвящать на размышления относительно исполнения этой «просьбы».

В переводе на общепонятный язык всем четырем нейтральным державам предлагалось: либо выдать свои флоты англичанам и получить за это богатое материальное вознаграждение, сохранив за собой вместе с тем все милости Антанты в настоя-

щем и будущем; либо, отказав Ллойд-Джорджу, все же лишиться своего торгового флота, но уже без всякого вознаграждения, и вступить вместе с тем в открытую войну или, в лучшем случае, во враждебные отношения с Антантой. (А что Антанта непременно победит рано или поздно, в этом нейтральные правительства — кроме разве Швеции — уже не сомневались после вступления Соединенных Штатов в войну.) При этих условиях выбирать долго не приходилось. «Просьба» показалась более чем убедительной. Нейтральные державы фактически предоставили Англии весной 1918 г. почти полностью свои торговые флоты. На этом-то и провалились окончательно все расчеты германского главного командования, которые, впрочем, и без этой чрезвычайной меры долго еще не могли бы осуществиться. А во времени и была главная сила. Борьба англичан против подводных лодок в 1917—1918 гг. так усилилась при помощи совсем новых технических приемов, столько подводных лодок погибло при экспедициях, что и с этой стороны германскому командованию приходилось пересматривать все свои первоначальные расчеты. Но это знали и, главное, оценивали по достоинству в Германии немногие. Большинство ликовало, читая ежедневно о десятках тысяч тонн потопленных судов и высчитывая, насколько еще у Англии хватит запасов и сил для сопротивления.

Другая попытка положить конец войне произошла в августе-сентябре 1917 г. и была столь же безуспешна, как и усилия Стокгольмской социалистической конференции. Папа Бенедикт XV через посредство своего нунция в Баварии монсиньора Пачелли спросил германское правительство об условиях, на которых оно заключило бы мир, и, в частности, отказывается ли оно от Бельгии. Одновременно папа повел переговоры с лордом Сэлисом, посланником Англии при Ватикане. Германия ответила насчет Бельгии уклончиво, но выразила готовность начать переговоры. Англия отклонила предложение вести переговоры, и лорду Сэлису запрещено было продолжать разговор об этом с папской курией. Любопытно, что в разгар этих тайных переговоров с папой Бенедиктом XV, на заседании германского «коронного совета» в Бэльвю 11 сентября 1917 г. решено было, хоть и с оговорками, сильно подрывавшими значение этого шага, отказаться от Бельгии, если путем этой «жертвы» можно будет заключить мир. Но уже через три месяца, 11 декабря 1917 г., когда шли переговоры в Брест-Литовске, Гинденбург и Людендорф заявили канцлеру, что общее положение для Германии настолько улучшилось, что незачем уже отказываться от завоеванной Бельгии. Трагедия была еще и в том, что Людендорф, фактически в тот момент распорядитель политики Германии, абсолютно не понимал умонастроения врагов: он в самом

деле посмотрел на Брест-Литовск как на начало общей победы Германии. В январе 1918 г. в Вене (14 января) и в Берлине (28 января) вспыхнули гигантские стачки среди рабочих, работающих на оборону. Были выставлены политические требования — и прежде всего заключение мира. Движение было подавлено: это было время мнимых триумфов в Брест-Литовске.

3

Нас тут Брест-Литовский мир интересует не как событие русской истории, которой мы в этой книге не касаемся, но как событие в истории Запада, и *только* с этой точки зрения мы постараемся определить его значение. Уже 28 ноября 1917 г. начались предварительные переговоры, а 17 декабря в Брест-Литовске начались заседания представителей обеих сторон. С немецкой стороны руководящую роль играли не дипломаты, вроде фон Кюльмана, и подавно не австрийский делегат граф Чернин, но генерал Гофман, точнее, посылавший ему свои приказы Людендорф. Им представлялось, что все без исключения требования их непременно будут приняты, так как Россия воевать дальше не в состоянии. Прежде всего они стремились к полному присоединению к Германии всего Остзейского края (именно так толкуя принцип «самоопределения народностей») и к отделению Украины. 9 февраля 1918 г., после долгих споров, длившихся больше $1^1/_2$ месяца, Германия и ее союзники заключили мир с внезапно самозародившейся мирной делегацией Украины, которую они решили рассматривать как отдельное государство. На другой день после этого Троцкий прервал переговоры, заявив, что война считается оконченной, но мир не подписан *.

Тотчас же Людендорф приказал начать оккупацию всего Остзейского края, а заодно уж и Украины (под предлогом ее защиты от Советской власти). При этих обстоятельствах Советское правительство приняло все условия, и 3 марта 1918 г. в Брест-Литовске мир был подписан. Советское правительство протестовало против насилия в своем обращении к трудящимся массам всего мира.

В Брест-Литовском мире и сказалось роковое, безнадежное непонимание как гражданскими, так и военными властями Германии (и не только ими, но почти всем рейхстагом) истинного положения вещей.

---

* Это заявление, нанесшее огромный ущерб Советской стране, было сделано Троцким в нарушение указания В. И. Ленина, настаивавшего на подписании мира, который обеспечил бы Советской России совершенно необходимую ей передышку.— *Ред.*

На первый взгляд все обстояло блестяще: немцы в Пскове, немцы в Одессе и в Таганроге, немцы на Кавказе, плодоносная Украина в их руках, Польша давно в их руках; Курляндия, Эстляндия, Лифляндия «поручили» своему дворянству самоопределиться, и оказалось, что эти страны единодушно желают присоединиться к монархии Гогенцоллернов, Литва тоже не прочь сделать это; в Финляндии высадился немецкий отряд, и Финляндия вскоре пожелала, чтобы на ее троне сидел Филипп, герцог Гессенский. Словом, казалось бы, самые необузданные мечты исполнялись, налицо новая наполеоновская всемирная империя, но не с Парижем, а с Берлином во главе. Уже писались в Германии (весной 1918 г.) деловитые брошюры о том, как возможно будет организовать и использовать Сибирскую железную дорогу, как отныне целесообразнее в германских интересах организовать Хиву, Бухару, Туркестан, Мерв.

Все обстоит на востоке превосходно. Нужно только довершить дело на западе, перевезти туда все войска, какие только можно убрать с востока, и раздавить сопротивление Антанты.

Тут еще подоспели мирные переговоры с Румынией, которые уже в марте выяснили всю колоссальность германской победы, а 7 мая 1918 г. Германия, Австро-Венгрия, Болгария и Турция заключили в Бухаресте мир с Румынией, которая после выхода России из войны, конечно, не могла продолжать борьбу. Обширная территория была уступлена румынами в пользу Австро-Венгрии, вся Добруджа отошла к Болгарии. Все железные дороги и все ресурсы Румынии во время войны поступали в распоряжение ее победителей. В частности, германский капитал поспешил захватить в свои руки все нефтяные богатства Румынии. Сверх того, на Румынию была наложена тяжкая контрибуция (под видом возмещения германским, австрийским и болгарским гражданам и предприятиям всех убытков). Людендорф боялся теперь только одного: не продешевить на западе, не мириться теперь ни на чем, кроме очень больших аннексий. И прежде всего,— ни в коем случае не отдавать Бельгию. Еще до подписания Брест-Литовского мира Людендорф окончательно захватил в свои руки вопрос о конечных целях войны, и его оптимизм не имел пределов.

Вот образчик. Он, или его устами Гинденбург, обиженным тоном говорит Вильгельму (имея в виду уже готовящееся общее наступление весной,— слова его относятся к 7 января 1918 г.): «Ваше величество не будете же требовать, чтобы я представил вашему величеству проекты операций, принадлежащих к числу труднейших в истории, если они не необходимы для достижения военно-политических целей». Вдумаемся в эти слова. Это значит, что Людендорф обижен: как это Вильгельм мог помыслить отдать Бельгию? И если в самом деле император хочет

отдать Бельгию, то не стоит им, Людендорфу и Гинденбургу, даже рук пачкать чернилами, вырабатывая трудные планы для весеннего наступления: что мир, отдавая Бельгию, можно заключить хоть завтра, что враги с радостью за это ухватятся, в этом они нисколько не сомневаются. А Антанта, на деле, в это время уже ни за что не помирилась бы ни на чем, кроме отказа Германии от завоеваний на востоке, от Эльзас-Лотарингии и части колоний, при условии полного расчленения Турции и Австрии. И это еще в *лучшем* для Германии случае. Такой безнадежный туман обволакивал в этот роковой, последний год германскую главную квартиру и мешал ей видеть страшную действительность. Представители германского генерального штаба считали, что Брест-Литовский мир есть, в самом деле, прочная победа. И как измученный путник видит мираж, так и им всю зиму, всю весну, все лето 1918 г. мерещились поезда с украинским хлебом, вассальный царек в Финляндии, вассальный гетман в Киеве, вассальный Антверпен на одном конце, покорные Одесса и Таганрог на другом конце... Это были мечты. А *реальностью* Брест-Литовского мира было получение из Украины 9132 вагонов хлеба (по 200 центнеров на вагон) из коих $^{7}/_{17}$ частей — на Германию, или, по подсчетам Дельбрюка (в его показаниях перед следственной комиссией рейхстага), 75 миллионов фунтов хлеба на 67 миллионов немцев, т. е. около *фунта* на человека. Один *фунт* с небольшим на человека — вот *все*, что получила Германия от своих побед на востоке, «завоеваний» и достославного мира в Брест-Литовске (не ежемесячно по фунту, а один фунт *за все время* войны!) [6]. Этот фунт был оплачен бесполезным пребыванием в России целой немецкой армии как раз в те месяцы, когда на французских полях окончательно решалась участь Германии. Правда, кроме того Германия получила из Украины 56 тысяч лошадей и 5 тысяч голов скота. И этим исчерпано было все, что она оттуда успела добыть. Главное же — хлеб прибыл в количестве фунта с небольшим на человека!

Но этот украинский «фунт хлеба» был оплачен еще более дорогой ценой. Дело в том, что насколько выгодное (для Германии) впечатление произвела в измученных войной народных массах Антанты самая весть о начале мирных переговоров Брест-Литовске, настолько все было испорчено и повернулось во вред Германии, когда были узнаны хищнические условия, поставленные германскими генералами, и когда произошла оккупация обширных русских территорий. Сначала, в первый момент, в рабочих кругах Франции, Англии, Италии говорили о том, что нужно сделать то же самое и принудить свои правительства окончить бойню и начать переговоры; потом — после обнародования условий трактата, после оккупации Украины и других земель, после протеста Советского правительства — это

настроение изменилось. И тогда-то империалистски настроенные правители Антанты получили возможность снова, с усиленной энергией пропагандировать свой старый мотив: «война до полной победы». Конечно, лицемерные сожаления о русских потерях и т. д. были в данном случае лишь благодарным агитационным материалом. Антанта решила во имя исключительно своих собственных интересов не дать Германии воспользоваться добычей.

1) Если бы Брест-Литовский мир был реализован прочно и надолго, то это означало бы такое колоссальное усиление Германии, при котором Франции оставалось бы лишь признать себя вассальной страной, а Англии пришлось бы думать о защите Индии от непосредственного немецкого нападения. Именно безмерность, чудовищность немецких захватов на востоке и сделала окончательно невозможным мир с Антантой до полного разгрома Германии. Дать Германии передышку хоть в пять-шесть лет — значило дать ей возможность организовать все эти свои вассальные и полувассальные царства — Украину, Кавказ, Польшу, Литву, Курляндию, Эстляндию, Лифляндию, Финляндию, дать возможность экономически и стратегически их использовать, после чего ждать новых германских нападений: на Париж — по старой бельгийской дороге, на Индию — по новой персидской дороге (потому что, владея Кавказом и распоряжаясь вассальной Турцией, конечно, Германия без малейшего труда овладела бы Персией и Персидским заливом).

Следовательно, с точки зрения Антанты, единственный шанс спасения заключался именно в том, чтобы не дать Германии нужной ей передышки, а непременно продолжать войну, пользуясь тем, что Германия не может успеть во время войны организовать и использовать новые свои колоссальные приобретения, и притом не просто «победить» Германию, не примириться, скажем, на том, чтобы Германия отказалась от завоеваний на западе, но сохранила бы свои завоевания на востоке (ибо тогда все равно оставалась бы, как сказано, серьезнейшая опасность для Антанты в будущем), а непременно *разгромить* Германию совсем покончить с ней как с самостоятельной военной державой, нанести ей такой сокрушительный удар на западе, чтобы она *принуждена* была немедленно выпустить *все* из рук на востоке. Брест-литовские мирные условия позволили крайним империалистам в странах Антанты развить самую ярую агитацию против тех, кто все громче и громче начинал требовать прекращения побоища. Группа Асквита, которая стояла за мир с Германией на сравнительно более умеренных условиях, после Брест-Литовского мира смолкла, а между тем еще осенью 1917 г., когда переговоры начинались, в Англии о лозунге «полный разгром» говорили *несравненно* меньше, чем в 1914—1916 гг., и да-

же среди средней и крупной буржуазии жажда скорейшего мира все возрастала. Это отметила тогда же и германская пресса всех направлений. *И все* это изменилось, когда аннексионистская программа восторжествовала в Брест-Литовске. С этой точки зрения Брест-Литовский мир в том виде, как его пожелало германское главное командование, не только отдалил возможность мира Германии с Антантой, но окончательно предрешил, что если Германия будет побеждена, то *ни на чем,* кроме полнейшей капитуляции, кроме безусловной и беспрекословной покорности с ее стороны, кроме решительного превращения ее в объект, которым можно распоряжаться по произволу, враги не примирятся.

2) Брест-Литовский мир имел могущественнейшее агитационное значение *прежде всего* для рабочих масс Антанты, а затем для рабочих Германии и Австрии. «Воздержание» германской социал-демократии при голосовании в рейхстаге по вопросу о принятии Брест-Литовского мира было истолковано как лицемерие самого низменного свойства. Все понимали, что социал-демократы большинства, во главе с Давидом, такие же радующиеся в душе брест-литовским успехам аннексионисты и патриоты, как и сидящие правее их партии; точно так же все поняли потом, что если Шейдеман в своих записках мягко прощает это «воздержание» и подчеркивает, что лично он был за отклонение условий мира (при предварительных партийных совещаниях), то он только потому был тогда столь радикален, чтобы именно написать об этом впоследствии в своих записках, а главное — потому, что все равно колоссальное большинство в пользу принятия Брест-Литовского договора было в рейхстаге обеспечено. Все это произвело громадное впечатление во всей Европе, и правительства Антанты поспешили, конечно, это впечатление в своих целях использовать. «Вот германский мир! Вот что Вильгельм и его генералы делают с народами, которые хотят с ними мириться. Вот та поддержка, которую германские социал-демократы оказывают социалистическому русскому правительству!»

Вариации на эти темы составили чуть ли не главное содержание антигерманской пропаганды в Англии и Америке (заведовали этой пропагандой лорд Бивербрук и лорд Норсклифф). Во Франции протест Советского правительства против Брест-Литовского мира произвел впечатление, которое, по утверждению наблюдателей, ни с чем нельзя сравнить, притом произвел это впечатление именно в наиболее радикальных слоях рабочего класса, где говорили, что войну можно и должно закончить революционным путем: против «грабительского мира» протестовало ведь коммунистическое правительство, принужденное его подписать, правительство, во главе которого стоял Ленин, лидер

левого крыла в Циммервальде и Кинтале. В нейтральных странах (особенно в Швейцарии, Дании, Голландии, Швеции) возмущение Брест-Литовским миром и особенно поведением германской социал-демократии в этом вопросе было в рабочих кругах весьма определенное. *Ничто* в ее прошлом так не повредило ей, как поведение в эпоху Брест-Литовска.

Все это, конечно, создавало благоприятную атмосферу для держав Антанты, твердо решивших продолжать борьбу вплоть до капитуляции Германии и до осуществления намеченных Антантой завоеваний. Конечно, Антанта и до Брест-Литовского мира и *без* Брест-Литовского мира была полна завоевательных стремлений и хотела разгромить Германию, но рядом с этим и в Англии, и во Франции, и в Италии уже проявлялась страшная усталость, раздражение в массах, жажда мира. Все это были факторы, которые, казалось, в 1917 г. могли бы отчасти помешать правителям Антанты провести полностью всю их завоевательную программу. А Брест-Литовский мир, *в том виде, как он был заключен,* именно вследствие совсем неумеренных захватов *на востоке,— облегчил* правительствам Антанты дальнейшую агитацию против Германии. Грабительские условия Брест-Литовского мира были роковой ошибкой германской военной партии и явились одним из обстоятельств, потом облегчивших проведение подобных же условий в Версале, в 1919 г. Об этом теперь не спорят и в германской историографии. Не заключение мира с Россией, а *грабительские условия* этого мира — вот что повредило Германии. Английское и французское правительства с самого начала войны высказывали желание разгромить Германию, но только после конца брест-литовских переговоров могли окончательно зажать рот всем, кто уже в 1917 г. громко и настойчиво начинал требовать мира.

3) Наконец, Брест-Литовский мир со всеми его последствиями имел еще одно чрезвычайно существенное значение. Правда, в первое время рабочие Германии и Австрии, страшно утомленные войной, измученные недоеданием, были довольны тем, что (как им внушалось) «голодная блокада», наконец, прорвана, что богатая Украина их накормит, наконец, что воевать отныне придется лишь на одном фронте и, следовательно, война (что тоже им внушалось) скоро окончится. Лишь постепенно, когда обнаружилась вся ничтожность реальной продовольственной помощи со стороны Украины и когда — с конца лета 1918 г.— оказалось, что воевать стало на западном фронте еще труднее, чем прежде, это настроение стало снова (и уже окончательно) резко меняться, и *тогда* о Брест-Литовском мире стали говорить как о новом обмане рабочего класса и т. п. Но более существенным и непосредственным результатом Брест-Литовского мира было то явление, которое германские генералы начали тогда же

называть «большевизацией» (die Bolschewisierung) солдатских масс германской оккупационной армии на востоке. Вильгельм впоследствии, с отличающей его иногда непосредственностью, признавался, что германское верховное командование «значительно недооценило заразительность» большевизма для Германии и прежде всего для ее войск [7]. Фактически дело получило такой оборот, что германские войска, летом и осенью 1918 г. перебрасываемые с востока на западный фронт, были часто настроены очень раздраженно, а некоторые солдаты даже вполне революционно, и их настроение все ширилось и распространялось по мере того, как все страшнее свирепела война на западном фронте. Теперь нет уже ни малейших сомнений, что пребывание в оккупированных частях революционной России сильнейшим образом повлияло сначала на отдельные части германской армии, а потом и на всю германскую армию. Но это стало резко сказываться только тогда, когда начались систематические неудачи.

Таковы были последствия Брест-Литовского мира, в конечном счете гибельные для Германской империи. Но все это сказалось лишь впоследствии, правда, очень скоро, в том же навеки памятном в истории 1918 г. А пока, сейчас после Брест-Литовского мира, все казалось для германского правительства опять, после долгого перерыва, таким лучезарным, удачным, обнадеживающим. Оставалось только сделать последнее, великое усилие. Обе стороны готовились к решающему столкновению. Неслыханная в летописях человечества трагедия приближалась к концу.

Глава XVIII

ПОСЛЕДНЕЕ ГЕРМАНСКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ И ПЕРЕЛОМ В МИРОВОЙ ВОЙНЕ

1. Французский фронт в 1917 г. Поражения французской армии. Военные бунты во Франции. 2. Англичане на турецком театре войны и во Франции. Французские внутренние дела. Кабинет Клемансо. 3. Турция и армяне. 4. Германские наступления весной и летом 1918 г. Вторая Марна. 5. Поражение германской армии между Анкром и Авром 8 августа и перелом в мировой войне

1

Трудное время пережила Франция за шестнадцать месяцев, протекших между началом русской революции и «второй Марной», т. е. битвой на Марне 15—17 июля 1918 г. Дело было не только в ослаблении, а потом исчезновении восточного фронта, но и в том, что новый союзник — Соединенные Штаты — сравнительно медленно развертывал свои силы, а старый союзник — Англия — все более и более заинтересовывался войной против Турции, посылал туда непрерывные подкрепления, не щадил на этом далеком театре войны никаких средств. После страшных соммских и верденских боев 1916 г., 16 апреля 1917 г. французы начали наступление, которое длилось с перерывами до 25 апреля и не привело ни к каким результатам; вторая линия немцев нигде не была затронута, и даже на первой успехи французов были ничтожны. Генерал Нивелль был смещен, но эта мера не удовлетворила солдат, раздраженных явно бесцельными жертвами. Армии было известно, что генерал Петен и другие военные авторитеты были против этого наступления.

В тылу были на этот раз очень удручены неудачей. Утомление и раздражение сказывались. В 1917 г. движение в рабочем классе (стачечное по преимуществу) было заметнее, чем в 1915—1916 гг. Но, как и в Англии, где тоже были налицо стач-

ки, а кое-где и коллективные выражения неудовольствия в течение всей войны, эти явления сами по себе не очень тревожили правящие классы и сравнительно мало влияли на французское, как и на английское правительство. Ни разу ни во Франции, ни в Англии рабочее движение не принимало такого угрожающего характера, как, например, в Германии в 1917 и в начале 1918 г. Из всех стран Антанты только в Италии рабочее движение в 1917 г. и в первой половине 1918 г. начало приобретать (местами и моментами) грозный для правительства тон и смысл.

Стачечное движение во Франции во время войны, особенно в последние два года войны, не только происходило, но иногда, местами, принимало обширные размеры. Но ни одна стачка, кроме стачки в Бурже 1918 г., не усвоила чисто революционных политических лозунгов. Только немногие отдельные манифестации, вроде, например, той, которая произошла 1 мая 1918 г. в том же г. Бурже, и отдельные листовки, распространявшиеся в 1917—1918 гг., с целью популяризации лозунгов Циммервальда и Кинталя, были проявлениями активной борьбы рабочего класса против войны в точном смысле слова [1].

Но если французские правители и военные власти, внимательно следя за проявлениями неудовольствия в рабочем классе, все же не обнаруживали особой тревоги по этому поводу, то другое движение — в армии — крайне взволновало и напугало их.

Уже с 1916 г. во французской армии было не вполне спокойно. Тайно распространялись брошюры и листовки, агитировавшие против войны. Русская революция затем произвела чрезвычайно сильное впечатление, и глухой протест против войны стал усиливаться. При этих условиях апрельская неудача 1917 г. вызвала впервые серьезные волнения в некоторых частях. В Эперне и в Шато-Тьерри вспыхнули в некоторых полках волнения. «Нас повели на убой!» — таков был общий клич в госпиталях, переполненных ранеными. Это неудачное апрельское наступление 1917 г. обошлось французам в 32 тысячи убитых, 60 тысяч тяжелораненых, 20 тысяч легкораненых и 5 тысяч пленных. Возмущение не утихало. В средине и особенно в конце мая 1917 г. дело дошло до открытого отказа некоторых частей исполнять военные распоряжения начальства. Были случаи, когда солдаты останавливали поезда, входили в вагоны и приказывали машинисту поворачивать в Париж, где необходимо начать революцию. Официально было удостоверено, что в некоторых частях образовывались солдатские Советы (которые так и назывались по-русски: les soviets) и произносились речи о необходимости революционным путем кончить войну. Военные власти на первых порах боялись прибегнуть к очень

крутым репрессиям, и до сих пор утверждают, будто «всего» было расстреляно «около» двадцати человек в разных частях, причем были расстреляны «предводители». Постепенно движение прекратилось. Уже в середине июня военные власти более или менее успокоились.

Одним из последствий солдатских волнений была усилившаяся подозрительность военных властей Франции к солдатам русской дивизии, сражавшейся на французском фронте. Эта дивизия, кстати будет упомянуть, потеряла громадный процент людей (в некоторых ее частях до 70%) в боях с немцами. После начала русской революции солдаты стали просить о возвращении на родину. Раздражение в солдатской массе крайне обострилось, и солдаты, покорные в некоторых частях, были уведены из лагеря Ла-Куртин (куда была еще в июне стянута дивизия). Оставшиеся (около 11 тысяч человек) оказались вскоре в осаде, и после сопротивления, продолжавшегося пять дней (3—8 сентября 1917 г.) и стоившего осажденным многих жертв, сдались и были сосланы в Алжир (где оставались еще долго по окончании войны). Пятидневный обстрел Ла-Куртинского лагеря и ликвидация русской дивизии очень смутили левый фланг радикальной партии и долго волновали рабочие круги,— поскольку вообще, при существовании суровой военной цензуры, им привелось узнать о деталях этой трагедии. Социалистической партии не удалось что-либо сделать для облегчения участи сосланных в Алжир, а после 15 ноября, когда власть перешла к Клемансо, об этом нечего было и думать.

Сражения, происходившие после лета, в течение остального 1917 г. на французском фронте, не были уже предпринимаемы французским командованием в слишком больших масштабах. Не везло и англичанам. В боях при Ипре и Камбре за один только 1917 г. англичане потеряли убитыми, ранеными и пленными 26 459 офицеров и 428 004 солдата, а всего за этот год англичане на французском фронте и во Фландрии потеряли 36 116 офицеров и 614 457 солдат (убитыми, ранеными и пленными).

Наконец, Италия стала терпеть с момента выхода России из войны страшные поражения. В октябре начались атаки австрийцев против итальянских позиций у Капоретто, и австрийцы одержали полную победу. За этот (1917) год итальянцы потеряли до 250 тысяч человек убитыми и ранеными, до 300 тысяч пленными. После заключения Брест-Литовского мира последовало (5 марта 1918 г.) подписание перемирия Австрии, Германии, Болгарии и Турции с Румынией, и вся австрийская армия могла отныне полностью направиться против Италии. Французское главное командование видело ясно, что если не поддержать Италию войсками, то итальянский фронт может рухнуть. Приходилось не только не ждать оттуда помощи, но

еще посылать французские и английские дивизии на выручку итальянцам. Тяжела была война для Италии. Армия была худо организована, генералы на редкость бездарны. Даже австрийцы, мало избалованные военным счастьем, били итальянцев в сущности в течение всей войны, кроме последних месяцев, когда уже Австрия погибала. Война была непопулярна до такой степени, что пришлось образовать внутри страны *концентрационные лагери*, специально для тех *итальянцев*, которые агитируют против войны. Военные прибыли промышленников и торговцев раздражали пролетариат и крестьянство, которое в ряде местностей Италии находится на положении не собственников, но арендаторов. Русская революция очень сильно подействовала на умы в Италии. Всякий раз, когда итальянцы терпели поражения (а это случалось крайне часто), Англия и Франция спешили посылать помощь, чтобы предупредить опасный для Антанты поворот событий и брожение умов в Италии. Вообще французы не очень много надежд возлагали на итальянскую помощь.

Накопец, и британское правительство посвящало далеко не все свое внимание французскому фронту. Месопотамия и Палестина, две намеченные английские добычи, главные территориальные приобретения в Азии, на которые могла рассчитывать Англия,— вот что в значительной степени поглощало и отвлекало британские силы.

После неудачной попытки в 1915 г. форсировать Дарданеллы и взять Константинополь союзники остались в Салониках, где создался укрепленный лагерь. После нескольких, оставшихся бесплодными, усилий заставить греческого короля Константина принять участие в войне против Турции и Болгарии, французы решили арестовать Константина с его семьей и выслать вон из Греции, что и было приведено в исполнение французским комиссаром Жоннаром 13 июня 1917 г. Власть была передана Венизелосу, и Греция перешла на сторону Антанты. Но британское правительство уже мало интересовалось балканскими делами: оно отправляло отряд за отрядом в Палестину. Оно твердо решило захватить в свои руки будущую добычу еще во время войны, чтобы к моменту мирных переговоров уже владеть всем, что ему больше всего казалось желательным.

2

Нужно заметить, что турецкое правительство именно в эти годы, одновременно с внешней войной, затеяло в грандиозном масштабе дело истребления армянского народа, чтобы окончательно и навеки оградить себя от опасности со стороны Кавказа и от русских притязаний. То, что произошло в Турции

в этом отношении, является чем-то совершенно исключительным (по размерам) во всемирной истории со времен Чингисхана.

Беспощадно и придирчиво проведенная во всех армянских вилайетах мобилизация в сентябре 1914 г. обессилила армянское население: остались женщины, дети и очень пожилые люди. После саракамышского поражения турок в первые дни января 1915 г. русские, отбросив турецкую армию, заняли Тевриз. Предвиделась война в турецких границах. И тогда-то великий визирь Талаат-паша и военный министр Энвер-паша решили привести в исполнение обширный план физического истребления армянского народа. Предприятие было теоретически смелое, но практически во время войны — весьма осуществимое. По крайней мере так казалось младотурецкому правительству. «Армянского вопроса более не существует, так как армян более не существует»,— юмористически заявил Талаат-паша в 1916 г. Талаат-паша почел своевременным, таким образом, пошутить после того, что произошло в Армении в 1915—1916 гг. Европа лишь из доклада лорда Брайса сэру Эдуарду Грею узнала (отчасти) о том, что случилось. Правда, тогда *Европе было не до армян* [2]. *Но все-таки пахну́ло таким леденящим* ужасом, что Талаат-паша больше не шутил, а перешел поскорее к очередным вопросам, уже избегая касаться армянского дела. Вот как, в немногих словах, рисуется ход всего предприятия.

Армян признано было желательным вырезать по возможности до последнего человека. Как сказано, после мобилизации (и угона мобилизованных в самые опасные места фронта) оставалось слабое население, от которого ни малейшего отпора ждать было нельзя. В одну зимнюю ночь в феврале 1915 г. офицеры и унтер-офицеры рассеялись по армянским кварталам, будили громким стуком в окна спавших и требовали выдачи всего имеющегося оружия. Но, за исключением деревень в Ванском округе,— где уже в *этой* первоначальной фазе людей, выдававших оружие, все-таки тут же убивали с женщинами и детьми,— в других местах пока еще убийства не происходили. Даже в самом *городе* Ване тоже еще убийств пока не было. Но 20 апреля 1915 г. решительно без всякого вызова (план истребления — этого не отрицали и турки — был в деталях выработан в Константинополе) губернатор Джевет-паша дал сигнал к избиению в г. Ване и Зейтуне. Частичное русское наступление в Ванском округе и Ване успело кое-кого спасти. Но оно приостановилось, и избиения вступили в острый фазис. Делалось так. Являлся глашатай с барабанщиком в данном городе или деревне и провозглашал приказ: всему мужскому населению явиться к такому-то месту, под страхом немедленной смер-

ти. Армяне спешили, ни минуты не медля, исполнить приказ Собравшихся тотчас же арестовывали и через 2—3 дня, скрутив их всех вместе веревками, угоняли из города. Пригнав в более подходящее пустынное место (лесок, каменоломни, овраги), их избивали до последнего. Особенно беспощадны были турки в 1915 г.; уже в 1916 г. хоть и редко, но бывали случаи, когда почему-либо по нескольку человек из каждой такой партии спасалось. Любопытно, как узнали на фронте о происходящем в Армении офицеры и солдаты, а от них и военные атташе союзных с Турцией держав: вдруг (весной и летом 1915 г.) армян, мобилизованных и работавших в передовых линиях над укреплением окопов, стали целыми партиями отводить в тыл — и там же расстреливать — без предупреждения и объяснения. Избиением армян руководил, в окончательной инстанции, Талаат-паша; но в округах, подчиненных военной власти,— Энвер-паша. Наиболее полным образом были вырезаны округи и города Битлис, Муш и Сассун, подчиненные военной власти. Армяне этих городов и округов были предоставлены курдским батальонам. В других местах женщины и дети не избивались так систематически, как мужчины. После увода и убийства мужчин женщинам и детям армян приказывалось готовиться в путь (тоже через особых глашатаев). Для подготовки давалось несколько дней. Женщинам официально было предложено спастись от высылки немедленным переходом в магометанство и вступлением в брак с магометанином. Если этот немедленный брак был невозможен, то переход в магометанство, сам по себе, не спасал женщину от высылки. Мебель, в большинстве округов, запрещено было продавать, так как в опустевшие квартиры поселяли турок. Место ссылки никогда не объявлялось наперед. Их гнали пешком,— сопровождал же их, обыкновенно, конный конвой. Иногда для тех высылаемых, у кого были деньги, оказывались повозки (арбы, запряженные волами); но тут повторялось почти без исключений одно и то же: владелец арбы, взяв с армянки неслыханную сумму, через два-три перехода сбрасывал ее с пожитками и уезжал обратно в город. Военные власти эти поступки вполне одобряли.

Этот путь — читаем в «Документах, представленных виконту Грею лордом Брайсом» — был бы очень труден даже для солдат, а для женщин, из которых многие выросли в достатке и даже в комфорте, идти пешком по каменистым или песчаным тропинкам, часто круто поднимающимся в гору, под палящим зноем,— было совсем непереносимо. Солдаты били их нещадно, если они, уставая, ложились на землю, чтобы отдохнуть. Были и беременные: «*ни одна* из них не выжила»,— пишет лорд Брайс. Но и из небеременных погибла громадная масса ссылаемых женщин в этом мучительном пути: «Они умирали от

голода, жажды, солнечного удара, апоплексии, от полного истощения». Да это и была конечная цель, хорошо втолкованная конвою: так или иначе покончить с ними в пути. «Правительство знало, что означает такое путешествие, и правительственные прислужники, которые их вели, сделали все, что могли, чтобы отягчить их неизбежные физические мучения». Но и это было не все: крестьяне мусульманских деревень по пути нападали на них и били их нещадно палками: конвой нисколько не препятствовал. «Когда они прибывали в какую-нибудь деревню, их выставляли на площади, как рабынь, и предлагали кому угодно забирать их в свой гарем». Хуже всего пошло, когда вступили в курдские горы. Тут старики и дети были просто перебиты курдами (на глазах конвоя, который, впрочем, принял участие в избиениях), а женщины были поделены по рукам. «Но и женщины избивались. Только минутный каприз курда решал, уведет ли курд женщину в горы, или тут же, не откладывая, убьет ее». Партии все уменьшались в числе, и тут уже конвой стал обнаруживать нетерпение — желательно было поскорее избавиться от тяжелого пути и всего этого хлопотливого поручения. Конвой тогда принялся непосредственно убивать уцелевших. Спачала убили отстававших стариков и больных, а потом и вообще всех, пользуясь удобным случаем. «Переход через реки, особенно через Евфрат, всегда был случаем для массовых убийств. Женщин и детей сбрасывали в реку и стреляли в них, когда они пытались спастись». Очень немногие каким-то чудом доходили до места назначения и сдавались под расписку властям.

По единодушным отзывам (которым ничуть не противоречили и турецкие власти, пока им казалось, что военные дела идут хорошо и что победителей не судят), результатом всех этих усилий было, действительно, небывалое в новые времена всемирной истории планомерно и успешно выполненное, сознательное истребление двух третей народа. В Эрзеруме из 20 тысяч армян осталось меньше ста человек; в Эрзерумском, Битлисском и Ванском округах, где жило 580 тысяч армян, уцелело 12 тысяч человек (по данным American Relief Committee, бюллетень от 5 апреля 1916 г.). По подсчетам комитета, работавшего под председательством лорда Брайса, наиболее достоверными являются следующие цифры, характеризующие общий результат усилий Талаат-паши и Энвер-паши.

Всего армян в Турции числилось до начала избиений 1915 года 2,1 миллиона человек (цифра, установленная армянским патриархатом). Лорд Брайс *нарочно* берет минимальную цифру 1,6 миллиона человек, чтобы тем неотразимее оттенить смысл происшедшего, и настойчиво прибавляет, что считает верной *не* эту свою цифру, а ту, которая приближается к 2 мил-

лионам. Итак, примем даже 1,6 миллиона. Из них успело бежать на русский Кавказ 182 тысячи человек, в английский Египет — 4200 человек; сравнительно меньше пострадало армянское население в Константинополе и Смирне; наконец, спаслись перешедшие в ислам и попавшие в турецкие гаремы некоторые армянские женщины. В общей сложности, по подсчетам комитета Брайса, в Константинополе, Смирне и из бежавших, как сказано, на Кавказ и в Египет в общей сложности уцелело 350 тысяч человек.

Уцелело, кроме того, кое-где около 250 тысяч армян протестантов, католиков, обращенных в ислам (до избиения 1915 г.). Итого армян уцелело не больше 600 тысяч человек, погибло же (беря самую малую первоначальную цифру, нарочно принятую лордом Брайсом, т. е. 1600 тысяч) около 1 миллиона человек, но Брайс снова прибавляет, что он считает эту цифру слишком малой и что перебито и было сослано, вероятно, даже больше 1,2 миллиона человек. Брайс силился установить, сколько спаслось женщин и детей из высылаемых. Но тут ничего ни разыскать в точности, ни добиться общих цифр нельзя. «В некоторых вилайетах, как, например, в Ване и Битлисе, не было *никаких* высылок, но были непосредственные избиения; в других, как в Эрзерумском и Трапезундском, высылки и избиения были равнозначащи, так же, как в Ангоре». В Киликии их не убивали непосредственно, а они гибли или избивались лишь в пути.

Впрочем, все, о чем писал лорд Брайс, бледнеет перед официальными актами, показаниями, сообщениями, изданными в 1919 г. немцем Иоганнесом Лепсиусом, на основании данных берлинского архива иностранных дел [3]. Он столь же категорически, как и Брайс, говорит о планомерном, *принципиально* решенном истреблении армянской нации Талаат-пашой и Энвер-пашой. Выдуманный предлог, мнимый «бунт» армян в Ване (20 апреля 1915 г.) был лишь случайным поводом к началу избиений и высылок (равносильных истреблению). Длилось это до декабря 1915 г. А с декабря 1915 г. началась насильственная исламизация уцелевших, тоже сопровождавшаяся неистовыми избиениями,— и продолжалась до разгрома и капитуляции Турции, т. е. до конца октября 1918 г. Нехотя, сдержанно (ведь Турция была важной союзницей) германские консулы, миссионеры, военные и штатские доносили своему правительству о неслыханных и бесчисленных, планомерно совершаемых массовых убийствах,— но ни Вильгельм, ни Бетман-Гольвег не считали нужным вступиться. Достаточно было одного *слова* германских властей, чтобы остановить обоих руководителей избиений — и Талаат-пашу и Энвер-пашу. Но сановники из посольства этого слова не сказали. Напротив, они вели

себя так, что младотурки могли быть вполне уверены в сочувствии их образу действий со стороны германского правительства [4].

А все остальные державы, в том числе даже еще нейтральные в 1915—1916 гг. Соединенные Штаты, были совершенно бессильны как-нибудь подействовать на великого визиря и военного министра.

Американский посол Морджентау, слыша от самых правдивых, трезвых, беспристрастных свидетелей рассказы о неслыханных ужасах, творящихся в Армении, решился, наконец, отправиться к Талаат-паше. Тот категорически отказался говорить об армянах: «Разве они американцы?» — спросил он Морджентау. Отвечал он послу точь-в-точь так, как ответил репортеру «Berliner Tageblatt»: «Нас упрекают, что мы не делали различия между невинными и виновными армянами; это было абсолютно невозможно, ибо сегодняшние невинные, может быть, завтра будут виновными». Что армянский народ будет *весь* истреблен, Талаат-паша был вполне уверен, и не его вина, если все-таки несколько сот тысяч человек армян случайно на свете уцелело. «Не стоит так спорить,— сказал как-то Талаат-паша американскому послу,— мы уже ликвидировали три четверти армян. Их уже нет ни в Битлисе, ни в Ване, ни в Эрзеруме». Талаат-паша так был в этом уверен, что цинично осмелился (самым серьезным и настойчивым образом) просить посла, чтобы тот повлиял на американские страховые общества, где многие армяне страховали свою жизнь: «Так как армяне *почти все* теперь уже *умерли*, не оставив наследников, то, следовательно, их деньги приходится получить турецкому правительству, оно должно ими воспользоваться. Можете вы мне оказать эту услугу?» [5]

Германский посол в Константинополе Вангенгейм, к которому Морджентау обратился с просьбой удержать Талаата и Энвера и вступиться за истребляемых армян, в ответ стал осыпать армян грубейшей руганью и отказался наотрез что бы то ни было для них сделать. В германском посольстве советник Нейрат, возмущенный неистовыми злодеяниями Талаата и Энвера, пытался что-нибудь сделать, чтобы повлиять на них, но, конечно, при явном сочувствии самого посла Вангенгейма делу истребления армянского народа все эти поползновения второстепенного посольского чиновника были тщетны. Морской атташе германского посольства Гумман, любимец Вильгельма II, открыто заявлял, что турки *совершенно правильно* поступают с армянами (Гумман был личным протеже императора Вильгельма и состоял с ним в переписке). А Лиман фон Сандерс решительно высказал американскому послу (через его сына) свое неудовольствие по тому поводу, что он сообщает о турец-

ких зверствах в Европу и Америку. Только Карл Либкнехт с негодованием клеймил убийц. Но он был бессилен.

К концу войны непоправимое злодеяние было в сущности завершено. Не вина младотурецкого правительства, если армян было уничтожено не 100%, а только 65%. Но плодов от этого предприятия турки не увидели. С армянами, а потом с переселением греков, исчезла даже и слабая надежда освободиться в сколько-нибудь близком будущем от тисков европейского финансового капитала и построить *свое*, турецкое денежное хозяйство; и с исчезновением армян не турецкий, а французский и отчасти английский капитал занял те позиции, которые остались после истребленных турецких граждан армяно-григорианского исповедания. Когда армянский студент Тейлирьян, посвятивший свою жизнь неустанным поискам бежавшего из Константинополя уже после разгрома Турции в 1918 г. Талаат-паши, нашел его, наконец, в Берлине спустя пять лет и убил на улице и когда затем на берлинском суде развернулись все эти ужасы Апокалипсиса (по выражению одного свидетеля), то не только Тейлирьян был оправдан, но в германской прессе поднялись голоса, требовавшие выяснения степени моральной виновности Вангенгейма в истреблении армянского народа.

Но это уже выходит из рамок нашего рассказа. Стратегически истребление армян касалось в 1915—1917 гг. не столько Англии, сколько России, которая теряла в будущем некоторую точку опоры на севере Турции. Все интересы Англии были в Месопотамии и Палестине.

3

А между тем, именно там, в Месопотамии и Палестине, англичане долго ничего не могли поделать против турок, поддерживаемых Германией, присылавшей туркам военное снаряжение и командный состав. В 1915 г. англичане терпели там сплошные неудачи. Разбитый 24 ноября 1915 г. у Ктезифона генерал Таунсэнд отступил к Кут-Эль-Амаре, где он был осажден со своей армией. Так провалилась его попытка взять Багдад. Три упорные английские попытки (генерала Эйльмера) освободить Таунсэнда окончились тяжелыми неудачами. Турками командовал старый талантливый фельдмаршал фон дер Гольц, лишь одну неделю не доживший до полной своей победы: он скончался 21 апреля 1916 г., а 28 апреля Таунсэнд сдался туркам со всем своим отрядом вследствие полного истощения запасов в Кут-Эль-Амаре. Но англичане ничуть не были обескуражены этим тяжким поражением, которое могло потрясти их престиж на всем Востоке, начиная от Египта и кончая Индией. Начаты были грандиозные новые приготовления к походу на

Багдад. В Басре, где была военная база англичан, были выстроены громадные верфи, набережные, платформы для выгрузки людей и военного снаряжения. Из Англии прислали 116 выдающихся заслуженных инженеров и при них более семисот квалифицированных техников-исполнителей. Отборный (около 3 тысяч человек) штат квалифицированных рабочих был прислан в их распоряжение. Были проложены специально для целей похода две железные дороги, были предприняты обширнейшие работы по запружению Тигра и Евфрата и по прорытию каналов против наводнений. Командующий английскими силами генерал Мауд получал без отказа и задержки решительно все, чего требовал, из Индии и из Англии. В начале 1917 г. началось, наконец, новое наступление англичан против турок, и уже 11 марта англичане вошли в Багдад. Разбитые наголову турки бежали к северу. Англичане твердой ногой стали в Месопотамии, но должны были еще бороться за распространение своего владычества в огромной стране. Одновременно шло завоевание Палестины. Трудности походов по бесконечной выжженной солнцем безводной пустыне были огромны. Пришлось уже на походе строить большую железную дорогу от Суэцкого канала к Эль-Аришу и от Эль-Ариша до Газы; нужно было провести при неслыханно трудных условиях водопроводную сеть на громадных пространствах. Первые кровавые битвы при Газе, где наступающие англичане встретились с турками и немцами, кончились (в марте и апреле 1917 г.) тяжкими поражениями англичан. Но, не обращая никакого внимания ни на неимоверные трудности, ни на колоссальные денежные затраты, ни на человеческие жертвы, англичане в Палестине, как в Месопотамии, продолжали войну, твердо решив ни перед чем не останавливаться. Осенью 1917 г. генералу Алленби удалось взять Газу (7 ноября) и Яффу (18 ноября), после чего он двинулся к Иерусалиму, куда и вошел 8 декабря 1917 г. В конце февраля 1918 г. Иерихон был также занят англичанами, и все опорные пункты Палестины оказались в их руках. Но турецкая армия далеко еще не была уничтожена, и, несмотря на недовольство французов, английское правительство продолжало в 1918 г. дробить силы между главным театром войны (французским и бельгийским) и палестино-месопотамским фронтом.

Все эти обстоятельства складывались так, что впредь до появления американцев в больших массах на театре войны французам нужно было больше всего рассчитывать на себя, чтобы выдержать главный натиск германской армии весной 1918 г. Близкая и грозная опасность породила в это время фактическую диктатуру первого министра Жоржа Клемансо.

Кабинет Клемансо был уже пятым министерством из сменившихся во Франции за время войны. Но с тех пор как мини

стерство Вивиани (при котором началась война) было пополнено представителями всех политических течений и превратилось в правительство «национальной обороны», эти дальнейшие смены не имели большого политического значения, потому что все дальнейшие министерские комбинации сохраняли свой коалиционный, «общенациональный» характер. 30 октября 1915 г. во главе правительства стал Бриан, 17 марта 1917 г. его сменил Рибо. Но кабинет Рибо продержался всего до 7 сентября того же года. Он пал вследствие яростных нападений со стороны Клемансо на министра внутренних дел Мальви за его предполагаемое попустительство относительно «пораженческого» движения. Под «пораженцами» (les défaitistes) понимались тогда во Франции лица, считавшие невозможным продолжать войну и искавшие пути к скорейшему «миру по соглашению»; к числу их причислялись тогда Кайо и Мальви. Клемансо нападал на Мальви за то, что тот будто бы не арестует «изменников», а выпускает уже арестованных и т. д. Мальви подал в отставку, а спустя неделю за ним последовал и весь кабинет. Во главе правительства стал радикал Пенлеве, но и его кабинет пал 13 ноября 1917 г., после двухмесячного существования. На другой день президент республики Пуанкаре назначил первым министром Жоржа Клемансо. Что министерство Клемансо будет скорее похоже на единоличную диктатуру, чем на парламентский кабинет, это знала в точности не только вся палата, но и вся Франция. Неукротимый (тогда семидесятишестилетний) старик, своенравный, крутой, способный на большую жестокость, искренно презирающий людей (и нисколько этого не скрывающий), одаренный железной волей, быстрым и острым умом, громадным авторитетом, связанным с очень долгой, сложной, часто изменчивой парламентской карьерой, Клемансо любил всегда называть себя «сыном великой революции». Некоторые черты мелкобуржуазного якобинизма в нем действительно были — и в его психике, и в его темпераменте, и в его манере подхода к политическим явлениям. Не всегда он был представителем жестокой социальной реакции и орудием правящих во Франции капиталистических кругов. Во всяком случае в 70-х и 80-х годах XIX в., когда он боролся за амнистию коммунаров, когда он с сочувствием и уважением относился к Петру Лаврову, трудно было предугадать в нем ту слепую и яростную ненависть к социализму и социалистам, ненависть, смешанную с насмешкой и презрением, которая так ярко сказалась в нем уже в эпоху первого его министерства — в 1906—1909 гг. Теперь, с начала мировой войны, лозунг: «отечество в опасности» и другой лозунг: «война до полной победы» — неразрывно соединились в психике Клемансо воедино. Со свойственной ему неистовой энергией, подо-

зрительностью, раздражительностью, Клемансо и в своих речах в сенате, и в своих статьях в газете «L'Homme libre» не переставал обличать власти в нерадении, в недостаточной бдительности, в слабости, не переставал выискивать «пораженцев» и «изменников», требовать самых крайних мер против всех, кто осмеливается помышлять о «преждевременном» мире с Германией.

Этот-то человек и стал 15 ноября 1917 г. во главе правительства Французской республики. В Германии это назначение было сочтено за ответ на Октябрьский переворот в России: Франция этим как бы заявляла, что, несмотря на отпадение союзника, она намерена продолжать войну.

Во Франции начались репрессии и аресты всех подозреваемых в «пораженчестве». «Война до победы» — таков был официальный лозунг, за расхождение с которым в лучшем случае грозила тюрьма. «Ни измены, ни полуизмены я не потерплю» (ni trahison, ni demi-trahison),— заявил Клемансо. А так как под это неопределенное понятие — «полуизмена» — может подойти все, что заблагорассудится подвести, то под прямым ударом почувствовали себя очень многие. Немедленно был предан верховному суду по обвинению в преступном бездействии власти бывший министр Мальви, был затем отдан под суд и арестован бывший до войны первым министром и министром финансов Жозеф Кайо (которого продержали в тюрьме ни за что, ни про что больше двух лет), был расстрелян Боло, аресты и расстрелы людей попроще и поскромнее следовали одни за другими. «Какова моя внутренняя политика? Я веду войну. Какова моя внешняя политика? Я веду войну»,— так отвечал на эти вопросы диктатор.

При таких-то условиях готовилась Антанта встретить немецкое наступление.

4

«Где *у нас* был Клемансо?» — с горечью спрашивал впоследствии Людендорф. Гинденбург и Людендорф, отделавшись от Бетман-Гольвега в июле 1917 г., не были довольны по-настоящему и Михаэлисом, несмотря на всю его покорность их воле. Слишком уж он был неспособен и слаб. А между тем, с точки зрения военного командования, тревожные симптомы были налицо.

В 1917 г. были рабочие забастовки с политическими требованиями, были (правда, быстро подавленные) волнения во флоте; шла, все усиливаясь, нелегальная пропаганда; утомление и недоедание приносили свои результаты, усиливалась смертность. Вот неподлежащее никаким оспариваниям показание пережившего это время одного из спартаковских вождей, Пауля

Фрелиха: «Уже весной (1918 г.) продовольственное положение стало безнадежным. Голодные пайки понижались с каждым месяцем. Свирепствовали эпидемии. Люди падали замертво на улицах. Прилагались все усилия, чтобы справиться с затруднениями. Немцы и австрийцы воровали друг у друга поезда с украинской и румынской добычей. Ничто не помогало». (См. уже цитированное русское издание его книги «К истории германской революции».)

Конечно, военные власти хотели бы диктатуры и репрессий, и оттого именно они завидовали Франции, у которой оказался Клемансо. Но когда 1 ноября 1917 г. Михаэлис ушел и был заменен почти таким же безличным графом Гертлингом (на посту канцлера), то дело в тылу от этого не изменилось. Зато в армии с начала 1918 г. стало замечаться опять давно уже исчезнувшее одушевление. Армия, стоявшая на западном фронте, ежедневно получала новые и новые подкрепления с востока, и непрерывно подходившие товарные поезда выгружали военные запасы. Пережившие это время непосредственные наблюдатели утверждали, что в германской армии с августовских дней 1914 г. не было заметно такой бодрой уверенности, как в феврале—марте 1918 г. «Наступление для достижения мира» (Friedensoffensive) — так называли солдаты предстоящее наступление. Их уверили, что враг, устоявший, пока германская армия была разделена на два фронта, непременно дрогнет и побежит теперь, когда германские войска впервые за всю войну собраны в один кулак. Весной — наступление, летом — победа и мир. Так представлялось ближайшее будущее не одним солдатам, но и очень многим политическим деятелям. Гинденбург тоже был полон надежд. Для него капитальнейшим вопросом было успеть прорвать вражеский фронт, пока не подойдут миллионные войска Соединенных Штатов [6]. Что касается Вильгельма, то он, конечно, поддавался самым пылким упованиям и был озабочен только распределением вассальных корон. Когда в эти дни помощник статс-секретаря фон Пайер попробовал заикнуться, что хорошо бы посократить оккупацию Остзейского края, то Вильгельм, имея в виду, разумеется, «личную унию» этих земель с Пруссией после войны, сказал Пайеру: «Что вы хотите, ваше превосходительство, я — династ» [7]. Войска полностью остались в Остзейском крае. Точно так же оставались пока на Украине *двадцать* дивизий (17 пехотных и 3 кавалерийских). Но численное превосходство над врагом было на один момент достигнуто. А главное, настроение войск впервые после очень долгого времени опять было боевое.

«Страшные физические страдания, тяжелое моральное давление, безграничное переутомление (eine grenzenlose Uebermüdung) сделались с течением времени невыносимыми. Во

всей армии слышался один вопль: «Лучше пойти на самое трудное наступление, лишь бы, наконец, выйти из окопов и воронок!» — вот как рисует (перед следственной комиссией Национального собрания) генерал фон Куль настроение войск *перед* весенним немецким наступлением 1918 г.[8]

На рассвете 21 марта немцы открыли ураганный огонь против неприятельских позиций от Камбре до Сен-Кантена и спустя семь часов после непрерывной бомбардировки пошли в атаку. Первые успехи были огромны. Битва длилась несколько дней (окончилась 4 апреля). Немцы продвинулись на 60 километров, и английская армия, больше всего пострадавшая, потеряла 8840 офицеров и 164 880 солдат. Пленных немцы забрали около 120 тысяч человек. В разгаре этой битвы немцы начали обстрел Парижа из дальнобойного, стреляющего за 100 километров, орудия. 26 марта, после первых, самых тяжких для Антанты неудач, на экстренной конференции, где приняли участие президент республики Пуанкаре, Клемансо, Ллойд-Джордж, лорд Мильнер, было постановлено вручить верховное командование всеми армиями Антанты генералу Фошу. Сражение затихло 4 апреля. Успехи немцев были очень велики, но прорваться к морю и даже отрезать англичан от французов им не удалось.

9 апреля началось новое наступление германских армий, уже не на Сомме, а во Фландрии, при Лисе (Lys). Бои длились до 19 апреля и — после передышки в 5 дней — с 24 до 29 апреля. По-прежнему у немцев были успехи, были взяты пленные и орудия, было достигнуто некоторое продвижение. Но и тут решающих стратегических успехов не было. Тем не менее было ясно, что за первыми двумя ударами последует третий.

На майском военном совете союзников, собравшемся в Версале, была выработана телеграмма Вильсону, подписанная тремя союзными премьерами: Клемансо, Ллойд-Джорджем и Орландо. В телеграмме говорилось о крайней серьезности положения, о том, что на фронте 162 союзные дивизии должны сдерживать напор 200 германских и что без американских подкреплений, *минимум* по 300 тысяч ежемесячно, нельзя надеяться на победу; мало того, есть непосредственная опасность.

Немедленно Вильсон пустил в ход всю свою фактически в тот момент неограниченную власть. Ежемесячно по 300 тысяч человек высаживалось на берегу Франции и отправлялось на фронт. С ранней осени их прибывало уже по 330 тысяч в месяц.

27 мая началось третье наступление германских армий — между Реймсом и Воксайоном. В первые дни победа немцев казалась еще более серьезной, чем в предшествующих наступлениях. И англичане и французы потерпели страшный урон.

Были французские дивизии, от которых уже на второй день боя оставалось по 500, по 700 человек. По показанию врагов, немцы сражались с поразительным пылом и одушевлением.

Немецкие войска сражались с таким же, если не бо́льшим, героизмом, как и в марте и в апреле. Можно было подумать, что от Людендорфа до рядового все понимают, что это уж последний возможный порыв, последняя надежда на победу, что если и на этот раз не удастся прорваться к Парижу, то возможно будет продолжать сражаться, продолжать умирать, но о победе уже нечего будет и думать и все жертвы, принесенные за четыре года войны, окажутся совершенно напрасными. Шмен-де-Дам, Фим, Суассон, Мон-Тьерри были заняты немцами в первые же дни. Кавалерия подошла к Марне, двадцать километров по северному берегу Марны оказались в руках германской армии. «Толчок был громаден,— заявил Клемансо в палате,— мы боремся, мы сопротивляемся, мы победим. Дело не кончено, есть хорошие признаки. Выше сердца!»

Людендорф признается, что в эти дни блистательных побед каждый вечер он бросался к газетам: нет ли признаков упадка духа среди правителей Антанты? Нет ли признаков желания начать переговоры? Но ничего этого он не находил. Приходилось усиливать наступление, вливать новые и новые части, даже как следует не отдохнувшие от предшествующих боев. 2 июня был занят немцами Шато-Тьерри. Но тут наступление остановилось: продолжать дальше не было ни физических, ни моральных сил. Необходим был отдых. 9 июня наступление возобновилось и снова остановилось 13 июня. Сопротивление и контратаки французов сделали невозможными новые попытки в ближайшие дни.

Битвы эти, начавшиеся 21 марта, приостанавливавшиеся и вновь возгоравшиеся вплоть до 13 июня на разных участках гигантского фронта, дали немцам за 3 месяца ряд побед, несколько сот тысяч пленных, 2446 вражеских орудий. Но ни в Кале, ни в Париж они не прорвались. Ни одна из этих главных целей достигнута не была, несмотря на несметные жертвы и колоссальные усилия.

Людендорф, со своим знанием немецкой армии, с точными сведениями о ее страшной усталости, недоедании, недосыпании, об отсутствии резервов, учел все значение того, что одно за другим четыре отчаянных наступления после первых блестящих успехов неизменно обрывались и останавливались и что *ни разу* ни одна цель этих наступлений ни в марте, ни в апреле, ни в мае, ни в июне не была достигнута. На что было надеяться? Людендорф именно в это время сказал принцу Рупрехту Баварскому, на что, по его мнению, следует возложить надежды: на революцию в Париже или в Лондоне.

Но и признаков близкого революционного движения ни в Париже, ни в Лондоне он пока не улавливал. Значит, надо было снова идти в наступление.

На этот раз отдых (сравнительный, конечно) длился около месяца. Но для немецких солдат он не был настоящим отдыхом. Гинденбург говорит в своих воспоминаниях, что нельзя было уводить солдат достаточно глубоко в тыл, чтобы они могли предаться долгому и спокойному сну, не слыша грохота орудий. Не было достаточных резервов, нужно было не отдохнувших, не оправившихся от битвы людей гнать в новую битву.

В первом часу ночи на 15 июля 1918 г. начался ураганный огонь с немецких позиций между Реймсом и Шато-Тьерри, длившийся с неслыханной силой четыре часа кряду, а в начале пятого часа утра немецкая армия вышла из окопов и пошла на штурм французских траншей. Первая линия заблаговременно была очищена французами, узнавшими с вечера от пленных и перебежчиков о готовящемся наступлении. На второй линии атакующие натолкнулись на упорное сопротивление. Семь раз, уже не считая своих потерь, они брали вторую линию, и семь раз их отбрасывали от уже взятых позиций. Наконец, левое крыло наступающей немецкой армии с боем перешло через Марну и пошло дальше, к югу, на 15 километров от берега в глубь страны, клином в 5 километров в ширину.

Когда первые телеграммы о переходе через Марну и о движении к Парижу пришли в Германию, страну охватило неописуемое волнение. Наблюдатели говорят, что радость, чувство избавления от опасности, уверенность в близкой победе были так сильны, что заглушили даже привычное в последнее время недоверие. Конец четырехлетних мучений вдруг стал близок, награда за все неимоверные жертвы и долгие страдания была налицо. Может быть, нигде в тылу эти чувства не были так обострены в дни «второй Марны», как они были обострены в армии. Там помнили роковую *первую* Марну, поражение в сентябре 1914 г., опрокинувшее весь план Шлиффена, и на *вторую* Марну теперь, 15—17 июля 1918 г., смотрели как на «поднятую нить, оброненную в сентябре 1914 г.».

5

Но этот болезненно-сильный подъем духа, взрыв надежд продолжался всего два дня. Уже на третий день по Берлину и другим центрам пошли смутные слухи о внезапном и крутом повороте событий, о переходе Фоша в наступление, о засаде, куда будто бы попали части, переправившиеся через Марну. Прошло еще несколько дней, и скрывать то, что уже с вечера 18 июля потрясало весь земной шар, неподчиненный германской воен-

ной цензуре, становилось нелепым; Германия и Австрия, наконец, узнали, что из леса Виллер-Котре и от Компьена внезапно вышли резервы Фоша, что немецкие войска отброшены обратно на северный берег Марны и с тяжкими боями продолжают отступление, теснимые французами...

Это и было началом перелома в истории великой войны. После этого и начался (и все прогрессировал) тот упадок духа в измученном войске и голодающем народе, то постепенно возраставшее настроение безнадежности, которое, может быть, не было бы так жгуче и непреодолимо, если бы не этот непосредственно предшествовавший порыв геройского самоотвержения и радостных надежд. Этот упадок духа и был, с точки зрения военного командования, опаснее и непоправимее всего. Причины его понятны. Наступало время подведения итогов. Бурные натиски германских армий 21 марта в направлении Нуайона, 9 апреля во Фландрии, 27 мая на Шмен-де-Дам, 9 июня на Компьен, 15 июля на юг от Марны — всякий раз начинались блестящим успехом, тысячами пленных, смятением в неприятельских первых линиях, отступлением французов и англичан и всякий раз кончались через несколько дней остановкой, обозначался шаг на месте, и ни разу ни одна основная цель не была достигнута. «Все застопорилось» (Wir sind festgefahren),— сказал кронпринц Вильгельму, посетив его 18 июля в его вагоне (во многих километрах, конечно, позади линии огня,— быть ближе к фронту Вильгельм никогда не отваживался).

Фельдмаршал Гинденбург не с легким сердцем отдал приказ об отступлении от Марны. Старый солдат скуп на слова и таит обыкновенно в себе свои чувства, но, говоря об этом своем приказе, он как будто снова переживает свои тогдашние терзания: «Тяжелое решение... Как будет ликовать враг, когда вторично со словом *Марна* свяжется переворот в военном положении. Как переведет дух Париж, вся Франция! Как подействует это известие на весь свет! Подумать только, как много глаз и сердец следят за нами с завистью, с ненавистью, с надеждой»... [9]

Но на этот раз, в июле, дело приняло несравненно худший оборот. Фош уже 17-го вечером отдал приказ о контрнаступлении в обширных размерах, и 18-го возгорелась новая, неожиданная для германского командования, битва на громадном фронте. Битва, то разгораясь, то утихая, уже в первые $2^1/_2$ недели привела к отступлению немцев, к оставлению ими берегов Марны, а также г. Суассона и Шато-Тьерри. Это наступление было первым за всю войну общим наступлением союзных армий. Начавшись 18 июля, оно иногда приостанавливалось, но уже ни разу не прекращалось, не обрывалось окончательно, оно продолжало развиваться, расширяться, углубляться, иногда медленно, иногда бурно, вплоть до полной капитуляции Германии 11 ноября

того же (1918) года. Обороняясь шаг за шагом, вводя новые и новые дивизии, бросая в огонь новые и новые уже истощающиеся запасы военного материала, немцы, теснимые отовсюду напирающим на них врагом, отходили с боем к своим границам. 8 августа, после крупных и мелких на огромном фронте боев с наступающим неприятелем, немцы подверглись внезапной атаке на сравнительно спокойном участке фронта, между Анкром и Авром, со стороны английской группы войск, состоявшей под начальством генерала Раулинсона. Под прикрытием искусственного густого тумана англичане, двигаясь за отрядами танков, пошли штурмом на немецкие позиции и прорвали несколько первых линий. Некоторые штабы немецких полков целиком попали в плен; немцами овладела паника: 22 тысячи сдались в плен только в *первый* день боя. 400 тяжелых и легких орудий остались в руках союзников; к концу боев это число возросло до 700, а число пленных — до 40 тысяч человек. Хуже всего, с точки зрения германского командования, было то, что солдаты некоторых частей, встречая в своем бегстве новые части, посылаемые в огонь, чтобы удержать натиск англичан, кричали этим встречным частям: «Штрейкбрехеры!» и укоряли их в «затягивании войны» («Streikbrecher! Kriegsverlängerer!»). Людендорф был больше всего потрясен, по его признанию, именно этими грозными симптомами брожения и негодования в измученных немецких войсках. *Этого* до сих пор еще не было. Уже через неделю, 14 августа, собрался коронный совет под председательством императора, и решено было искать через посредство голландской королевы путей к началу мирных переговоров. Но таких путей не существовало. Ни Клемансо, ни Ллойд-Джордж, ни Вильсон уже не желали ни о чем разговаривать, кроме как о безусловной капитуляции Германии. Уступать хоть что-нибудь из добычи они не желали. Ежедневно подвоз американских войск делался все грандиознее. Уже не было тайной ни для кого, что в предстоящую зиму не будет перерыва в военных действиях. А что новую голодную зиму ни за что не выдержит Австрия и, может быть, не выдержит Германия, *даже* если бы наступление и приостановилось, это тоже было ясно вождям Антанты. Значит, голландская королева не могла даже надеяться, что ее захотят выслушать, если бы она попробовала заговорить о мире. И действительно, Антанта поспешила заранее, частным порядком, дать знать в Голландию, что никакой речи о переговорах быть не может: безусловная сдача Германии или дальнейшая война. Третьего решения не допускалось. Если сдача, тогда голландская королева ни при чем: немцам просто нужно послать через траншеи парламентеров с белым флагом к маршалу Фошу.

Выбора для Германии не было, приходилось биться дальше, биться без всякой надежды на успех, отступая ежедневно, без отдыха, днем и ночью, перед лицом быстро растущих полчищ превосходно снабженного врага. Уже нельзя было обороняться от танков: на *один* немецкий танк приходилось в одних участках десятки, в других — сотни неприятельских, а были участки, где у немцев не было ни одного танка. Уже нельзя было повторять эпических подвигов авиатора фон Рихтгофена, убитого в начале 1918 г.: на каждый германский аэроплан вылетало несколько союзных. Давно уже нельзя было отводить бывших в бою солдат подальше в тыл, чтобы дать им прийти в себя, поспать и поесть спокойно хоть 2—3 дня, вдали от непрерывного грохота орудий наступающего неприятеля: не было резервов. Уже нельзя было мечтать о помощи Австрии, Турции, Болгарии: каждый день приходили вести, одна другой грознее, что англичане жестоко бьют в Сирии и Палестине турок, что на салоникском фронте генерал Франше д'Эспре, командующий французами, сербами, греками, итальянцами, англичанами, готовится напасть на болгар и что Австро-Венгрия, Турция и Болгария со страхом ждут гибели.

Убийственно действовал на настроение отступающих германских войск не столько даже непрерывный рост численности неприятельских полчищ, сколько слишком уж явное в 1918 г. количественное и качественное превосходство материальной части. Гигантские авиационные отряды, прибывающие из Америки, беспредельная щедрость в расходовании артиллерийских снарядов — все это поражало и смущало умы. Даже для германских генералов, по их собственному признанию, была полной неожиданностью колоссальная роль броненосных боевых машин — танков. Летом и осенью 1918 г. эти машины выдвинулись решительно на первый план.

Нужно сказать, что впервые танки были пущены в ход англичанами в соммской битве в сентябре 1916 г. Они, впрочем, тогда еще не сыграли большой роли. Но уже в битве под Аррасом 9 апреля 1917 г., во фландрских боях 1917 г. и особенно в битве под Камбре 20 ноября 1917 г. их значение было понято даже теми, кто относился к ним легкомысленно. В битве 20 ноября 1917 г. англичане врезались в немецкий фронт на протяжении 10 километров, притом без всякой артиллерийской подготовки, и их ничем нельзя было остановить. Серьезное беспокойство стало распространяться в командных немецких кругах. И англичане и французы уже в 1917 г. пускали в ход танки не десятками, а сотнями (генерал Нивелль весной 1917 г. во время своих, впрочем, неудачных наступательных операций пустил в ход двести танков).

Но, по признанию германских военных экспертов, решающую роль сыграли французские танки (заводов Шнейдер-Крезо и Сен-Шамонского) в битве под Виллер-Котре 18 июля 1918 г., в тот день, который германские эксперты считают поворотным моментом всей войны, началом германской катастрофы[10]. Опять-таки без малейшей артиллерийской подготовки несколько сотен танков внезапно вышли из леса и прямо пошли на германский фронт. Успех был полный. Еще страшнее подействовали танки в битве 8 августа 1918 г. между Анкром и Авром, и если в этот день был сломлен, наконец, дух некоторых германских частей, то в значительной степени именно этим внезапным нападением литых из стали, герметически закрытых машин, непрерывно и безнаказанно расстреливавших немецкие войска и преодолевавших на своем пути ямы, проволоки, насыпи, грязь и острые камни. Людендорф признает в своих воспоминаниях, что танки подавляющим образом действовали на дух солдат. Германия не могла и думать строить танки в таком количестве, в каком их строили союзники (особенно с 1918 г.— Америка). Не было ни свободных для того заводов, ни инженеров, ни материалов в должных количествах, именно в эти последние $1^1/_2$ года войны. Германия строила танки в очень ограниченном количестве и считала их десятками. А союзники уже говорили не о сотнях, но о *тысячах* — и немалых тысячах — танков, которые отчасти были готовы, отчасти должны были быть готовы к зиме 1918 и к лету 1919 г. Американские транспорты ежедневно выгружали новые и новые партии танков, которые тотчас же отправлялись на фронт.

Уже 8 августа Людендорф, по собственному своему признанию, *понял,* что в его руках не прежнее, полноценное, послушное превосходное орудие войны, не прежнее войско, изумлявшее своим героизмом и терпением даже видавших виды врагов. Но он не хотел сознаться, что основной причиной этой перемены было полное исчезновение доверия солдат как к нему, так и к Гинденбургу, а также и к подчиненным им генералам, тяжкие материальные лишения, недоедание *даже на фронте*, письма от голодающих семей из тыла, крайняя физическая усталость, решительная, очевидная безнадежность дальнейшей борьбы, все более распространяющееся сознание, что самая война, кроме несчастья и гибели, ничего принести уже не может, что вообще много обмана было во всем том, что говорилось войскам об этой войне, ее возникновении, причинах и целях. Именно тогда английское министерство пропаганды переиздало в сотнях тысяч экземпляров воспоминания князя Лихновского, германского посла в Лондоне в момент объявления войны, где Лихновский обвиняет всецело германское правительство в том, что оно довело дело до войны. Эта брошюра в массах распространя-

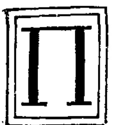
лась (с аэропланов и другими путями) на всем германском фронте. Целыми тучами распространялась и другая литература из английского министерства пропаганды. Но эта литература (за вычетом брошюры Лихновского) не производила особого впечатления на солдат. Ей часто мешала ее слишком наивная лживость. Гораздо большее впечатление производили на товарищей своими словами и всем своим настроением солдаты (и даже унтер-офицеры), переводимые с восточного фронта, побывавшие на Украине, на Кавказе, в Курляндии, в Эстонии, в Литве, в Польше. И чем упорнее наседал неприятель, чем дальше шло отступление, тем раздраженнее делались солдаты. Уже ни одному слову утешения и одобрения, исходившему от военных властей, они не верили. В тылу вера в вождей держалась дольше; она не совсем пропала в тылу даже в те скоро наступившие страшные дни, говоря о которых Гинденбург впоследствии восклицал: «Конец!» (Wir sind am Ende!).

Глава XIX

ПЕРЕХОД АНТАНТЫ В ОБЩЕЕ НАСТУПЛЕНИЕ И КАПИТУЛЯЦИЯ БОЛГАРИИ

1. Последствия поражения германских войск 8 августа. Начало отступления германских войск из Франции и Бельгии. Растерянность на верхах германского правительства. Речь Вильгельма к эссенским рабочим. Нота графа Буриана ко всем воюющим державам. Отказ Антанты от каких бы то ни было переговоров. 2. Переход Франше д'Эспре в наступление на салоникском фронте и капитуляция Болгарии. Паника в германской главной квартире. Назначение Макса Баденского канцлером Германской империи. Нажим со стороны армии Антанты. Решение просить Антанту о перемирии. Телеграмма Макса Баденского президенту Соединенных Штатов

1


еред лицом вдруг приблизившейся катастрофы германские военные вожди обнаружили бессилие не только предотвратить, но даже сколько-нибудь ослабить ее. Правда, все сроки для этого уже были пропущены. Осенью 1918 г. уже не было той силы на свете, которая могла бы спасти Германию.

14 августа 1918 г. собирается спешно коронный совет в главной германской ставке. Председательствует император, присутствуют кронпринц, канцлер Гертлинг, Гинденбург, Людендорф, министр иностранных дел Гинтце. Протокол напечатан [1]. Что же мы читаем в нем? Растерянные рассуждения о необходимости поддержать дисциплину и дух в стране, наказать Лихновского (предложение Людендорфа), заставить выдающихся лиц «произносить пламенные речи» патриотического содержания (предложение Вильгельма) и т. п. Мнение Гинденбурга особенно любопытно: «Нам удастся удержаться на французской земле и в конце концов подчинить неприятеля нашей воле».

Нужно попытаться начать мирные переговоры через голландскую королеву, но выждать «первой победы» на западном фронте,— вот результаты совещания.

Прибывшие в Германию австрийский император Карл и министр граф Буриан заявили, что Австрия *непременно* должна заключить мир в этом (1918) году,— дальше воевать она не может никак. Вместе с тем растерянность и полная несогласованность действий между обоими союзниками были таковы, что в *одни и те же дни* они обращались к врагам с совершенно разными и разным тоном выраженными предложениями. Так, 12 сентября 1918 г., во время непрерывного бедственного отступления германских армий под убийственным огнем гигантски усилившихся (вследствие подвоза из Америки) неприятельских полчищ, вице-канцлер германской империи фон Пайер произносит в рейхстаге речь, в которой величественно заявляет, что, пожалуй, он согласен возвратить Бельгию, но что на востоке Германия сохранит все, что она там заполучила, «все равно, нравится ли это нашим западным соседям, или не нравится». А ровно через два дня (14 сентября) министр иностранных дел Австро-Венгрии граф Буриан обращается с мягкой, почти умоляющей нотой ко всем воюющим державам с просьбой не отказать начать «не обязывающие» беседы о мире. Нужно сказать, что этот граф Стефан Буриан был преемником Чернина на посту министра и что назначивший его молодой австрийский император Карл сам сказал о нем: «Все же *этот* слишком глуп» (der ist doch zu dumm) [2]. Предложение графа Буриана, конечно, было тотчас же отвергнуто Антантой. «Чего мы хотим? Сражаться, сражаться победоносно, до того часа, как враг поймет, что не может быть уже мирных сделок между преступлением и правом»,— заявил в самой яростной речи Клемансо 17 сентября в ответ на предложение Буриана. В таком же роде высказался в Англии Бальфур. Вильсон тоже ответил, что он не примет никакого участия в предлагаемых разговорах.

Словом, Антанта, уже вполне уверенная в тот момент в близкой и полной победе, не желала и слышать о прекращении военных действий — вплоть до безусловной капитуляции всех четырех еще борющихся с ней держав и впредь до возможности упрочить за собой все завоевания и прибавить к ним новые.

Австрийское предложение было сделано против воли Вильгельма. Вильгельм еще с апреля 1918 г., когда Клемансо опубликовал упомянутое выше письмо императора Карла (переданное Сикстом Бурбонским в 1917 г. президенту Пуанкаре), знал, что Карл его обманывает, что Карл признал права Франции на Эльзас-Лотарингию, лишь бы вымолить мир у Антанты, знал,

наконец, что хотя Карл торжественно и публично объявил, будто это письмо (или, точнее, фраза об Эльзас-Лотарингии) есть подлог, но, что, конечно, это заявление есть лишь новая ложь с его стороны [3]. Все это Вильгельм знал (как и все знали это в Германии), но именно поэтому он боялся противиться Карлу, который явно жаждал сепаратного мира для Австрии.

Да и вообще Вильгельм в это время уже не в состоянии был бороться с кем бы то ни было, судя по показаниям наблюдателей.

В Германии имела (и имеет) большой успех книга Карла Росснера «Der König, Weg und Wende» [4]. Второстепенный беллетрист и мобилизованный из запаса поручик, Карл Росснер *по обязанностям службы* мог близко наблюдать Вильгельма в последнее время войны, и в этой книге, не называя его, под прозрачнейшим обозначением «король», он дает описание настроений и поступков Вильгельма в эти месяцы катастрофы. Курьезно, что хотя Росснер изо всех сил старается представить Вильгельма в ореоле некоего страдальца, непонятого Гамлета, праведника, одолеваемого злым роком и т. п., но ничего из этого не выходит: вопреки воле автора, все эти сентиментальные украшения отпадают сами собой, и пред нами — мечущийся во все стороны, панически перепуганный человек, жаждущий прежде всего спасти свое физическое существование, а затем поскорее на кого-нибудь свалить ответственность за все содеянные нелепости и ошибки. Вот два могучих и *постоянных* его мотива, две ноты, доминирующие в его душевном строе с тех пор, как после начала неудач несколько меньше стала сказываться третья нота: безмерное самохвальство, похвальба божественным происхождением своей власти и своим будущим окончательным великолепием. И все усилия Карла Росснера окутать своего героя привлекательным романтически-гамлетовским плащом остаются совершенно безуспешными. Ничего, ни единого мотива, кроме двух указанных, ни один способный к критике читатель не усмотрит в душе героя книги Росснера. И не было до самого конца такого момента, когда этот человек перестал бы вводить других в заблуждение и бахвалиться. 11 сентября 1918 г. он говорит речь эссенским рабочим. Угрюмые лица относящихся к нему с недоверием людей окружают его. Он кроток, либерален, демократичен до крайней степени, он уже не говорит, как говорил всю жизнь: «моя армия», «мой флот»: нет, «*ваша* армия», «*ваш* флот». Но хвастовство и ложь торжествуют и тут. Почему враги ненавидят Германию? Очень просто: потому, что они (враги) побеждены. «Ненависть обнаруживается только у народов, которые чувствуют себя побежденными». Поэтому, если немцы удивляются ненависти врагов, то напрасно: ненависть объясняется тем, что «враги обманулись в расчетах».

Это говорил во всеуслышание германский император *за 23 дня* до формального шага Германии к сдаче на капитуляцию и ровно за два месяца до самой сдачи ее на милость победителей, до полного, неслыханного унижения и падения государства.

2

Спустя 4 дня после речи Вильгельма к эссенским рабочим на Балканах произошло событие, сделавшее положение Германии окончательно безнадежным.

Еще 17 июня 1918 г. царь болгарский Фердинанд дал отставку Радославову, решительному приверженцу союза с Германией и Австрией, и призвал к власти Малинова, которому немцы очень мало доверяли. В Болгарии, воевавшей почти без перерыва с 1912 г., сказывалось страшное утомление. Правительство Малинова делало тайные, но безуспешные попытки завязать переговоры с Антантой. Войска греческие, сербские, итальянские, французские, английские, находившиеся в Салониках и севернее Салоник под верховным начальством французского генерала Франше д'Эспре, были постоянной угрозой для болгарской армии. 15 сентября Франше д'Эспре внезапно перешел в общее наступление и врезался в болгарское расположение на 30 километров в глубину. Болгарские войска обратились в паническое бегство, сдавались тысячами, бросали оружие, бросались врассыпную, даже еще не видя врага. Обнаруживалось решительное нежелание воевать дальше. 25 сентября Истип и Кочана были заняты сербами, несколько позже в Струмицу вошли англичане и французы, затем был занят Ускюб. Уже 26 сентября Болгария обратилась к Франше д'Эспре с просьбой о перемирии. Сопротивляться дальше не было никакой возможности, несмотря на спешную присылку германских и австрийских подкреплений.

Два дня болгарская делегация, приехавшая просить мира и состоявшая из министра Ляпчева и генерала Лукова, ждала позволения предстать перед генералом Франше д'Эспре. Генерал, соединявший в себе, по словам знавших его людей, старофранцузское дворянское высокомерие с казарменной грубостью, приняв 29 сентября уполномоченных, с презрением и раздражительностью объявил, что Болгария всецело теперь зависит от его милости или немилости и что он требует беспрекословного и полного принятия всех условий, которые нужны союзникам для успешного продолжения войны. На размышление он дал ровно два часа. Болгары подписали условия, которые были равносильны полной капитуляции. Четыре дня спустя, 3 октября, Фердинанд отрекся от престола в пользу своего сына Бориса и выехал в Венгрию.

Все эти события уже с 24 сентября были абсолютно неизбежны, учтены и приняты Антантой к сведению, Вся Болгария, с ее железными дорогами и всеми средствами страны, поступила в полное распоряжение генерала Франше д'Эспре. Стало возможно и *не трудно* вторгнуться оттуда в Австрию, принудить ее к миру и идти на Дрезден и на Баварию. Перед Германией появился призрак нового, совсем неожиданного фронта.

Это событие и сломило, наконец, дух германского верховного командования. 26 сентября в Авен, где находились Гинденбург и Людендорф, пришли известия, которые не поддавались уже никакому сколько-нибудь успокоительному истолкованию: генерал Франше д'Эспре прорвал окончательно и непоправимо болгарский фронт, и Болгария усматривает единственное спасение в немедленном заключении перемирия на любых условиях, какие поставит победитель. Капитуляция Болгарии, по мнению военных авторитетов, неминуемо должна была повести к капитуляции также Турции и Австрии. И в те же последние сентябрьские дни маршал Фош усилил в неслыханной степени атаки против всего западного немецкого фронта. В некоторых немецких армиях, в том числе даже в таких избранных, образцовых частях, как первая гвардейская дивизия, определенно не хватало уже снарядов для обороны от яростного, ни днем, ни ночью не прекращавшегося огня наступающих полчищ Антанты [5]. В сентябре американская армия стала играть очень значительную роль в войне, и каждый день, иногда чуть не каждые шесть часов, новые и новые транспорты подходили к Кале и Гавру, выгружая несметный военный материал и свежие подкрепления из Америки. Американцы не только привозили с собой такие чудовищные массы амуниции и продовольствия, что их потом приходилось целыми годами распродавать, но они строили *немедленно* новые подъездные железнодорожные пути, строили мастерские и целые заводы. Слова Вильсона о войне до последнего доллара и до последнего человека приобретали реальный и грозный смысл. «В этой войне победит тот, у кого нервы окажутся крепче» — таково было изречение фельдмаршала Гинденбурга еще в начале войны. Болгарской капитуляции нервы Гинденбурга и Людендорфа не выдержали.

Вечером 28 сентября Людендорф явился в неурочный час к Гинденбургу, и тот (как вспоминает Людендорф) *без слов* понял, зачем к нему пришел его помощник. На другой день, 29 сентября, они оба заявили Вильгельму, что нужно *немедленно*, в ближайшие же дни, если не часы, просить неприятеля о перемирии. Иначе армии грозит полная катастрофа. Вечером после этого заявления [6] Вильгельм казался сломленным и страшно постаревшим. Конечно, он подчинился. Он боялся всех

и всего в эти месяцы, уже начиная с 18 июля, с перехода Фоша в наступление[7]: он боялся социал-демократов, с средины двадцатых чисел сентября громко требовавших парламентарной формы правления, боялся наступающего Фоша, боялся сурового и сухого Людендорфа, презрение которого к своей особе он всегда чувствовал, как это заметил даже наивнейший из наблюдателей, сентиментальный Карл Росснер. Он знал, что требование Людендорфа есть для Германии разгром, позор, капитуляция, потеря решительно всего. Но не смел и думать о сопротивлении. Сейчас же решено было просить «демократически» настроенного наследника престола герцогства Баденского — Макса, популярного среди баденских социал-демократов, сформировать кабинет, куда вошли бы социал-демократы. Это было нужно и для Антанты, и для предотвращения революции внутри (так полагали). С 1 октября принц Макс Баденский вступил в должность. Вильгельм с тех пор сидел в Потсдаме и не подавал признаков жизни.

Особенно неожиданной была та растерянность, которую в эти страшные минуты обнаружили такой бесспорно мужественный, твердый, самолюбивый и умный человек, как генерал Людендорф, и такой храбрый и стойкий воин, как Гинденбург. Зная, что нужно немедленно сформировать «демократическое» правительство, потому что с канцлером Гертлингом Антанта и разговаривать не захочет, и понимая вместе с тем, что на это нужно время, они все-таки торопили, не давая ни отдыха, ни срока.

Всякий, кто хочет получить исчерпывающе полное понятие о душевном состоянии, в котором находились Гинденбург и Людендорф в эти роковые для Германии дни, должен прочесть документ № 17 в сборнике «Waffenstillstand», который опубликовало германское республиканское правительство в 1919 г. (о перемирии). Вот что 30 сентября было протелеграфировано в министерство иностранных дел из ставки верховного командования: «Главная квартира просит, чтобы ее держали в курсе всех сообщений, делаемых публично касательно нашего мирного предложения, чтобы можно было вовремя осведомить армию. Иначе есть опасность деморализации». Вдумаемся в эти немногие, но красноречивые строки: с одной стороны, Людендорф и Гинденбург буквально с ножом у горла требуют от правительства *немедленной* отправки телеграммы Вильсону — сегодня, а если нельзя, то завтра, но уж никак не позже, никак не послезавтра, торгуются даже не из-за дней, но из-за часов. А с другой стороны (*и в то же самое время*), они знают, что это предложение *непременно* деморализует армию и хотели бы успеть ее «подготовить». Но как успеть, когда ясно, что весь мир сейчас же узнает о телеграмме с просьбой о перемирии,

едва только Вильсон ее получит. Да и как «готовить» армию к такому известию? Будто можно дать этой внезапной сдаче на капитуляцию какое-нибудь успокоительное истолкование! И как сказать стране о необходимости немедленно сдаваться на милость победителей, когда *еще в том же сентябре* по всей Германии красовались *правительственные* огромные плакаты со словами: «Конечная *победа за нами обеспечена!*» [8]

Людендорф снова объявил 1 октября 1918 г. утром министерству иностранных дел, что он *настойчиво* требует «немедленной посылки нашего мирного предложения»: «Сегодня еще армия держится, но невозможно предвидеть, что произойдет завтра». Мало того: в главной квартире знали, что если старый кабинет пошлет мирное предложение, то, пожалуй, Вильсон даже и не потрудится ответить, и что даже для первого шага безусловно необходимо сформировать новый кабинет. И, *зная это,* Гинденбург, точно так же растерявшийся, как Людендорф, телеграфирует в 1 ч. 30 м. того же 1 октября вице-канцлеру фон Пайеру (№ 22): «Если есть уверенность, что сегодня вечером, в 7 или 8 часов вечера, принц Макс Баденский сформирует новое правительство, то я одобряю отсрочку (посылки телеграммы Вильсону — *Е. Т.*) до завтрашнего утра. Если же образование правительства сколько-нибудь сомнительно, то я считаю, что уже сегодня ночью нужно послать это заявление». Проходит *полчаса,* и в Берлин летит новая телеграмма (№ 23) от Грюнау, советника министерства, в министерство иностранных дел: «Людендорф объявил мне: „Сегодня войско еще держится, но прорыв может наступить каждую минуту, и тогда наше мирное предложение прибудет в самый неблагоприятный момент; он объявил, что у него такое ощущение, будто он предается азартной игре; что во всякий момент на любом участке одна из дивизий может отказаться исполнить свой долг"». И уже от себя штатский чиновник Грюнау, наблюдавший обоих «диоскуров», как их величали четыре года подряд в патриотической прессе (т. е. Людендорфа и Гинденбурга), добавил: «У меня впечатление, что тут потеряли всякое хладнокровие»... В первом часу ночи — новая телеграмма (№ 27), уже от Лерснера: «Людендорф заявляет: «Армия не может ждать более 48 часов» [9]. Вот атмосфера, в которой Макс Баденский должен был начать переговоры о перемирии, т. е., точнее, обратиться с мольбой о перемирии к разъяренному, алчному и победоносному врагу.

Нужно было все-таки хоть немного подготовить рейхстаг к роковому известию. Ведь, несмотря на все зловещие слухи, на очевидные факты, на разгром Болгарии, все-таки, кроме военных властей, мало кто знал, в каком поистине отчаянном положении находится армия.

2 октября, по поручению главной квартиры, майор Буше дал в секретном заседании лидеров партий рейхстага характеристику положения. Принудить врага к миру *нельзя*. Два фактора губят все: 1) танки, которых у немцев нет в достаточном количестве, и 2) недостаток людей. Еще в апреле 1918 г. в батальонах было по 800 человек, а к концу сентября в них насчитывается уже не более 540 человек в каждом, да и то, чтобы и этой цифры добиться, пришлось вовсе уничтожить (раскассировать) 22 дивизии, т. е. 66 полков. Потери колоссальны; танки, появляясь в тылу, наводят панику. Офицеры падают без счета и без замены. Бывают случаи, когда после трех дней боя *все* офицеры данной дивизии перебиты или ранены, и в их числе все три полковых командира. При таких условиях нужно прекратить бой. Таковы были главные пункты сообщения майора Буше. На успокоительные фразы, которыми он снабдил свой доклад, конечно, никто не обратил ни малейшего внимания.

Впечатление было потрясающее. Ждали бедствия, но все-таки не такого, все-таки не этого внезапного откровенного признания в безнадежном проигрыше великой войны, в необходимости капитулировать, чтобы избежать взятия в плен всей армии.

Медлить было нельзя.

Но все-таки уже в самую последнюю минуту, перед посылкою телеграммы Вильсону, Макс Баденский послал срочную телеграмму Гинденбургу, в которой задал ему вопрос: «Отдает ли себе отчет верховное командование, что факт начала переговоров под давлением критического военного положения может повести к потере германских колоний и территории Германии (в Европе), в частности Эльзас-Лотарингии и чисто польских округов восточных провинций?». На это последовал тотчас же ответ Гинденбурга, что он по-прежнему требует немедленного начала переговоров о перемирии: крушение македонского (болгарского) фронта, истощение немецких резервов, свежие резервы врага, непрерывно бросаемые в битву,— все это делает положение германской армии критическим. «Каждый потерянный день стоит нам тысяч храбрых солдат». Колебания Макса Баденского кончились. Жребий был брошен.

Глава XX

СДАЧА НА КАПИТУЛЯЦИЮ ГЕРМАНИИ, АВСТРИИ, ВЕНГРИИ И ТУРЦИИ. РЕВОЛЮЦИЯ И ГИБЕЛЬ МОНАРХИИ В ГЕРМАНИИ

1. Первая нота Вильсона. Вторая нота Вильсона. Вопрос об императоре Вильгельме II. 2. Третья нота Вильсона. Капитуляция Турции. Капитуляция Австрии и Венгрии. 3. Восстание в германском флоте. Начало германской революции. 4. Бегство императора Вильгельма в Голландию. Бегство кронпринца. 5. Перемирие в Компьенском лесу. Капитуляция Германии

1

В ночь с 4 на 5 октября 1918 г. при посредничестве Швейцарии президенту Соединенных Штатов была отправлена следующая телеграмма: «Германское правительство просит президента Соединенных Штатов предпринять шаги к восстановлению мира, уведомить все воюющие державы об этой просьбе и пригласить их делегировать уполномоченных для начала переговоров. Германское правительство принимает в качестве базиса мирных переговоров программу, изложенную президентом Соединенных Штатов в его послании к конгрессу 8 января 1918 г. и в его последующих заявлениях, особенно в его речи 27 сентября 1918 г. Чтобы избежать дальнейшего кровопролития, германское правительство просит о немедленном заключении перемирия на суше, на воде и в воздухе. Макс, принц Баденский, канцлер империи».

Нужно пояснить обе ссылки, встречаемые в этом документе, чтобы вполне понять убийственный для Германии смысл его. Еще 8 января 1918 г. в послании к конгрессу Соединенных Штатов президент изложил в 14 пунктах программу будущего мира. Кроме пунктов, касающихся будущей Лиги наций, требования уничтожения тайной дипломатии, требования свободы морей, разоружения и тому подобных пунктов, которые явно

не могли никого особенно стеснять вследствие своей туманности и малой осуществимости,— среди этих 14 пунктов были некоторые очень конкретные. VI пункт требовал освобождения от немцев всей русской территории и полнейшей свободы для России устраивать свои дела и свою политику, как ей будет угодно. VII пункт требовал полного освобождения и восстановления Бельгии, «без всякой попытки ограничить ее суверенитет». VIII пункт требовал не только эвакуации французской территории, но и «исправления зла, причиненного Франции Пруссией в 1871 г. в деле Эльзас-Лотарингии». IX пункт предусматривал «исправление границ Италии» в соответствии с национальным *принципом* (т. е. *отторжения* от Австрии Трентино и Триестской области). X пункт требовал для всех народов Австро-Венгрии «ничем не ограниченной возможности автономного развития». XI пункт говорил об эвакуации австрийских и немецких войск из Румынии, Сербии, Черногории; об обеспечении за Сербией свободного выхода к морю. По XII пункту всем нетурецким национальностям в Турции должна была быть обеспечена полная автономия, а Дарданеллы должны быть открыты для всех судов. XIII пункт требовал создания независимого польского государства, к которому должны быть присоединены «территории, бесспорно населенные поляками»; Польше притом должен быть обеспечен доступ к морю. Таковы наиболее существенные из этих пунктов.

Соглашаясь в первом же обращении к Вильсону с этой программой, Германия уже примирялась с отказом от Брест-Литовского и Бухарестского мира и от всех выгод этих мирных трактатов, с потерей Эльзас-Лотарингии, с потерей своих восточных провинций (Познани, Западной Пруссии, части Силезии), с расчленением Австро-Венгрии и Турции. Но этого мало. Германское правительство, почтительно соглашаясь также с положениями речи президента 27 сентября 1918 г., этим самым как бы наперед заявляло, что оно уже не остановится ни перед каким унижением, потому что *именно* в этой речи 27 сентября президент сказал: «Мы все согласны, что никакого рода торгом или компромиссом не может быть достигнут мир с правительствами центральных империй, так как мы уже имели с ними дело и видели, как они поступили с другими правительствами, участвовавшими в этой борьбе, в Брест-Литовске и Бухаресте. Они убедили нас в том, что *они — без чести* [1] и не стремятся к справедливости. Они не соблюдают соглашений, не признают принципов, кроме силы и собственной выгоды. Мы не можем заключать условия с ними. Они сделали это невозможным. *Германский народ должен теперь быть вполне осведомленным о том, что мы не можем принять слово тех, кто навязал нам эту войну»* [2].

Вот с этой-то речью канцлер Германской империи и объявлял себя *особенно* (particularly) согласным. Уже последние слова этой речи, подчеркнутые нами, показывали, что президент Вильсон требует *низвержения* Вильгельма и что это — одно из условий будущего мира. И все усилия германского правительства в течение всей этой драмы — октябрьской переписки с Вильсоном — были направлены, как увидим, к тому, чтобы *не заметить* этого упорно выдвигаемого требования и как-нибудь обойти его. Итак, первая нота к Вильсону была отправлена. Впечатление в Германии было ошеломляющее. Сразу окончательно рассеялась густая пелена официальной лжи, и с высоты надежд Германия была сброшена в пропасть. «Я был совершенно сокрушен, гордость всей моей жизни была растоптана»,— пишет генерал Бернгарди о моменте, когда он узнал о телеграфном обращении Макса Баденского к Вильсону [3].

Все мемуаристы согласны между собой, что на многих в Германии нашел как бы столбняк, когда внезапно в газетах появилось известие о телеграмме Макса Баденского к Вильсону: «Сознательно ли нас все эти годы обманывали, или сами военные начальники ничего не знали?» — такой вопрос был у всех на устах [4]. На этот вопрос трудно и теперь еще ответить. Мы знаем теперь, что Мольтке стал страшиться катастрофы еще в 1914 г., в октябре, и что 12 января 1915 г. он писал в своем дневнике: «Доверие пошло к черту» (das Vertrauen ist zum Teufel). Но ведь нужно вспомнить, что и сам Мольтке писал это только в своем интимном дневнике, говорил же вслух прямо обратное.

Ничто за всю войну даже отдаленно не готовило среднего обывателя к этой внезапной просьбе о пощаде, к этой телеграфной ноте в Вашингтон, хотя давно уже чувствовалось, что дела идут нехорошо.

Чтобы понять всю силу этого внезапного удара, нужно только припомнить, как, несмотря ни на что, до последних дней народ систематически вводился в заблуждение военными властями, боявшимися сознаться в неминуемом проигрыше войны. Приведем два-три примера. Еще в июне 1918 г. статс-секретарь Кюльман был *отставлен* за то, что осмелился *усомниться в возможности окончить войну чисто военными средствами.*

11 июня 1918 г. военный министр Штейн во всеуслышание торжественно возвестил в рейхстаге: «Так называемая резервная армия Фоша теперь вообще уже не существует» [5]. *«Так называемая»,*— ибо Штейн с юмором относился, как к обывательскому суеверию, к мысли, будто у Фоша еще что-то имеется в запасе. После этого произошло поражение немецких войск 18 июля, когда они были отброшены от Марны именно этой

колоссальной резервной армией Фоша. 1 августа Вильгельм заявил, и это было подхвачено и комментировалось с восторгом прессой: «Мы знаем, что самое тяжелое уже находится позади». А 8 августа немецкая армия потерпела между Анкром и Авром самое страшное поражение. 4 сентября Гинденбург объявил: «Мы на востоке вынудили врагов к миру, и мы достаточно сильны, чтобы сделать это и на западе, несмотря на американцев». А именно в эти дни и сейчас после этого заявления германские армии должны были ускорить темп своего отступления под неслыханно усилившимся непрерывным огнем неприятеля. Официальной лжи перестали верить всецело даже наиболее легковерные и наивные люди, ибо события до карикатурности быстро опровергали все речи, заявления, воззвания, приказы, манифесты. Но все-таки о капитуляции *никто* не помышлял. Получилось впечатление громового удара.

Высчитывая часы, ждали ответа Вильсона. Ответ пришел 8 октября. Президент пока ограничивался вопросом о «точном значении ноты имперского канцлера». Означает ли это, что германское правительство принимает все условия, изложенные президентом в его послании к конгрессу 8 января и в его речах, и что, следовательно, переговоры коснутся *только* практических деталей их исполнения? Что касается просьбы о перемирии, то, пока германские войска не очистили занятых ими территорий союзников, президент отказывается предложить своим союзникам прекратить военные действия. Наконец, следовал третий пункт, прямо направленный против Вильгельма. Президент спрашивал: «Говорит ли имперский канцлер только от имени установленных властей империи, которые до сих пор вели войну?» Было ясно, что если канцлер ответит на этот вопрос: *да,* то Вильсон сейчас же прервет переговоры. Мысль президента не подлежала сомнению: он требовал полного устранения Вильгельма. Германское правительство ответило 12 октября, что оно принимает все условия, изложенные в свое время президентом, и что намерено обсуждать лишь детали исполнения их; в связи с вопросом о перемирии оно соглашалось эвакуировать все занятые территории и только просило президента создать смешанную комиссию (из представителей обеих сторон), чтобы привести эвакуацию в исполнение. Наконец, на третий вопрос ответ гласил, что «нынешнее германское правительство» образовано по соглашению со значительным большинством рейхстага и канцлер говорит «от имени германского правительства и германского народа».

Но сбить Вильсона с его позиции было абсолютно невозможно. Через два дня, 14 октября, пришла его вторая нота. По поводу «смешанной комиссии» по эвакуации Франции и Бельгии президент заявлял, что все, касающееся эвакуации,

будет предоставлено исключительно усмотрению военных экспертов Антанты и Соединенных Штатов (без участия немцев). Вместе с тем президент «считал своим долгом сказать, что никакие условия (перемирия) не могут быть приняты правительством Соединенных Штатов и союзными правительствами, кроме таких, которые давали бы абсолютно удовлетворительные обеспечения и гарантии, что будет удержано нынешнее превосходство в положении армий Соединенных Штатов и их союзников». Другими словами, президент категорически заявлял, что условия перемирия будут такие, что Германии *ни в каком случае* не дадут воспользоваться передышкой и продолжать потом борьбу, и, следовательно, самое перемирие равно полной сдаче на все условия победителей: война уже *не* возобновится ни в каком случае. Затем президент писал, что никакое перемирие невозможно, пока германские войска опустошают оставляемые ими территории Франции и Бельгии «в прямое нарушение правил и обычаев цивилизованного ведения войны», а также топят подводными лодками пассажирские пароходы и спасательные боты, на которых люди пытаются спастись. «Нельзя ждать, чтобы нации, соединившиеся против Германии, согласились прекратить военные действия, пока продолжаются акты бесчеловечности, грабежа и опустошения, на которые они справедливо взирают с ужасом и с пылающими сердцами». Наконец, президент снова обращается к тому, от чего твердо решил не отступать, сколько бы с германской стороны ни делали вид, будто не понимают, о чем идет речь: «Необходимо также, во избежание возможного недоразумения, чтобы президент очень торжественно (very solemnly) обратил внимание германского правительства на форму и ясное значение одного из мирных условий, которое германское правительство теперь приняло. Оно содержится в речи президента, произнесенной на Маунт-Верноне 4 июля этого года. Вот оно. Уничтожение всякой произвольной власти где бы то ни было, могущей отдельно, тайно и по собственному единственно усмотрению нарушить мир на свете; если же она теперь не может быть уничтожена,— по крайней мере низведение ее до действительного бессилия. Власть, которая до сих пор управляла германской нацией, и есть такого рода власть, как здесь описано. От желания германского народа зависит изменить ее. Только что приведенные слова президента, естественно, составляют условие, предшествующее миру, если мир должен явиться результатом действий самого германского народа. Президент чувствует себя обязанным сказать, что весь процесс мира, по его суждению, будет зависеть от определенности и удовлетворительного характера гарантий, которые могут быть даны по этому основному вопросу. Необходимо, чтобы правительства, соединившиеся

против Германии, не имели никаких сомнений насчет того, с кем они имеют дело».

На этот раз речь была поведена еще более ясно. Вильсон снова и гораздо настойчивее и резче требовал удаления Вильгельма с императорского престола. Одновременно подчеркивалось, что перемирие будет равно разоружению Германии и безусловной ее покорности воле победителей. У нас есть свидетельство фон Пайера, вице-канцлера в кабинете Макса Баденского. Вот как он описывает впечатление от второй ноты Вильсона в заседании кабинета 17 октября 1918 г.: «Когда получена была вторая нота Вильсона, все окончательно пали духом, видя, что дело идет о нашем существовании».

На этом же заседании Людендорф, вдруг снова приободрившийся, говорил, что еще возможно сопротивление. Вторая нота Вильсона так явно клонилась к полной капитуляции Германии, что отчаяние как бы вдруг придало энергии побежденному вождю. Но его оптимистические надежды уже никого не утешали. Так, в этом же заседании 17 октября 1918 г., т. е. меньше, чем за две недели до того, как Австрия пошла на сепаратный мир (и тут же распалась на свои составные части, а ее армия прекратила свое бытие), Людендорф уверенно заявил: «Дух австрийской армии удивительно хорош». И еще прибавил, чтобы уж совсем успокоить своих слушателей: «Падение Австрии, конечно, имело бы очень неблагоприятные последствия; но очень сомнительно, чтобы оно имело влияние на наши войска, так как поражение Болгарии не произвело на них никакого впечатления».

Едва ли он сам верил своим словам, и кабинет, обсуждавший ответ на вторую ноту Вильсона, никакого внимания, конечно, на эти слова Людендорфа не обратил. «Не можете ли вы поднять дух масс?»,— спросил Людендорф у Шейдемана на заседании. «Это вопрос о картофеле,— ответил Шейдеман; — у нас нет мяса, и нам недостает ежедневно четырех тысяч вагонов картофеля. У нас вовсе нет жиров. Нужда слишком велика».

Чтобы попытаться спасти императора, кабинет принца Макса Баденского решил в ответ на вторую ноту Вильсона в самом спешном порядке изменить германскую конституцию. 20 октября прошла через рейхстаг статья, по которой впредь объявление войны может последовать только с согласия рейхстага, и другая статья, которая устанавливала самым формальным и резким образом парламентарное правление: отныне требовалось законом, чтобы канцлер оставался в должности лишь до тех пор, пока он пользуется доверием рейхстага. Дальнейшие быстро проведенные законоположения лишали императора всякого права назначать, повышать, перемещать или увольнять офицеров и весь командный состав армии и флота без контрассигнования

властей (канцлера или министра), ответственных перед рейхстагом. Всеми этими реформами стремились угодить Вильсону, требовавшему фактического низведения к нулю императорской власти. Но кабинет далеко не был уверен в успехе. В стране уже громко говорили о необходимости отречения императора. Конечно, большинство мечтало о добровольном и немедленном отречении. Но мечты эти были напрасны.

2

Полковник Ниман, проведший неразлучно с Вильгельмом все это время, оставил нам показания о том, что творилось во дворце в эти роковые для династии Гогенцоллернов октябрьские дни. Несмотря на ненужные никому, кроме автора, лирические излияния и назойливо подчеркиваемое верноподданническое благоговение его по адресу Вильгельма, книга Нимана — единственное до сих пор касающееся императора свидетельство об этих днях, и без нее обойтись нельзя [6].

Вот как передается смена настроений императора,— если не самим Ниманом, то очень внятным голосом тех фактов, которые Ниман описывает, не всегда их понимая или не желая понять.

Конечно, Вильгельм в течение всего времени, от первой ноты Вильсона вплоть до своего бегства, не мог не видеть так же ясно, как все вокруг него, что, может быть, *единственное* средство спасти династию заключается в немедленном его отречении от престола; но человек, который в свое время отказывался даже издали взглянуть на своего больного воспалением легких сына, боясь заразиться [7], меньше всего мог думать в минуту *реальной* опасности о ком бы или о чем бы то ни было, кроме себя самого. Напрасно все внушали ему мысль об отречении: и социал-демократы, и Макс Баденский, и газеты центра, и газеты либеральные, и кое-кто из консерваторов — одни открыто, с раздражением, другие робко, с растерянностью, с умолчаниями. Вильгельм не был бы самим собой, если бы он в *состоянии* был решиться даже на ту степень самопожертвования (если только возможно здесь употреблять это громкое слово), на какую оказался способен умный и твердый авантюрист Фердинанд Болгарский, спасший династию Кобургов своим немедленным (после перемирия Болгарии с Антантой) отказом от короны. Отречение императора в сущности было поставлено на очередь дня уже первой нотой Вильсона, где содержался зловещий вопрос: от чьего имени говорит принц Макс Баденский? Но Вильгельм притворился, что не понимает, в чем дело, и правительство Макса Баденского тоже постаралось ответить так, чтобы Вильсон удовлетворился и не настаивал. Но Вильсон не удовлетворился ответом, как мы уже видели.

Во дворце весь день 15 октября ждали второй ноты Вильсона; после обеда она была, наконец, получена и доставлена немедленно Вильгельму. «Я был приглашен в рабочий кабинет императора,— пишет Ниман,— и нашел императорскую чету в страшном возбуждении.— Читайте! Это прямо направлено к низвержению моей династии и вообще к устранению монархии!— Император трясущейся рукой указал на одно место лежавшего перед ним документа». Это было именно то место, выше при разборе второй ноты нами приведенное, где говорилось об уничтожении его власти. Императрица, с своей стороны, негодовала на то, что Вильсон — выскочка («ein Emporkömmling») — *осмеливается так разговаривать со старинным монархическим* родом и подстрекать известный своими верноподданническими чувствами германский народ к «измене»! Император, как всегда, когда лично ему от крайнего решения не угрожало никакой непосредственной опасности, стоял за крайнее решение: сражаться! Тем более, что приехавший во дворец Людендорф снова стал бодриться и не так пессимистично, как прежде, рассматривал положение на фронте. «Слава богу, он опять обрел свою прежнюю свежесть»,— с восторгом говорил Вильгельм после разговора с Людендорфом.

Нужно сказать, что не в социал-демократической, а в буржуазной прессе прежде всего *заговорили* после второй ноты Вильсона об отречении императора как о единственном выходе из положения. Но социал-демократы первые ввели это как *требование* в свою ближайшую программу. Макс Баденский ответил на вторую ноту, опять усиленно подчеркивая коренное, принципиальное значение перемен, происшедших в германском государственном строе, и опять избегая прямого ответа об императоре. Теперь уже мы знаем, что канцлер со дня на день, с часу на час ждал отречения Вильгельма. Конечно, лучше всего было бы отречься после первой ноты, ибо после второй это отречение являлось уж слишком явно вынужденным. Но все же выгоднее было не доводить еще и до дальнейших уточнений вопроса. Монархисты со страхом ждали этих именно уточнений, ждали, что Вильгельм будет, наконец, назван по имени и президент Вильсон скажет ультимативное слово. Проходили последние драгоценные дни; новая нота Вильсона могла прийти каждый час. Но Вильгельм не решался. В своем ответе на вторую ноту, кроме вышеуказанного подчеркивания изменений в имперской конституции, Макс Баденский еще объявлял о прекращении подводной войны и ручался насчет поведения отступающих из Франции и Бельгии германских войск. С большой тревогой ждали третьей ноты.

Третья нота, подписанная в Белом доме 23 октября, пришла в Берлин 24-го. Наихудшие опасения оправдались. Сначала

президент выражал мысль, что так как его предварительные требования выполнены и он получил на свои вопросы удовлетворивший его ответ, то он согласен передать германскую просьбу о перемирии на рассмотрение союзных держав. Но тут же снова и в самых намеренно точных выражениях подчеркивалось, что это перемирие будет полным отказом Германии от *возможности воспротивиться потом любому желанию* победителей, которые ей предпишут мир. «Он (президент) считает своим долгом снова сказать, во всяком случае, что он считает правильным предложить на рассмотрение (союзных держав) только такое перемирие, которое дало бы Соединенным Штатам и союзным державам возможность провести силой (to enforce) всякое условие, какое может быть (ими) выдвинуто и которое сделало бы возобновление враждебных действий со стороны Германии невозможным». Как бы желая особенно подчеркнуть эту мысль, Вильсон дальше еще раз говорит: «...такое перемирие, которое полностью обеспечит интересы вовлеченных (в войну) народов и обеспечит за союзными правительствами *неограниченную власть* (unrestricted power) оградить и провести силой все детали мира, на который согласилось германское правительство». Требовалась, следовательно, полная капитуляция как условие перемирия. Но оказывается дальше, что даже и такое перемирие может быть еще не дано.

Мы переходим к знаменитому концу третьей ноты Вильсона:

«Президент считал бы себя недостаточно чистосердечным, если бы он не указал самым откровенным, насколько это возможно, образом, на причину, почему нужно требовать чрезвычайных гарантий. Как бы значительны и существенны, по-видимому, ни были конституционные перемены, о которых говорит германский статс-секретарь иностранных дел в своей ноте от 20 октября, это не значит, что принцип правительства, ответственного перед германским народом, уже вполне осуществлен, или что существуют или предусмотрены какие-либо гарантии, что принципиальные и практические перемены, ныне частично решенные, будут постоянными. Более того, не видно, чтоб была затронута сущность теперешних затруднений (the heart of the present difficulty). Может быть, вопрос о будущих войнах будет предоставлен решению германского народа, но нынешняя война была решена не им, а мы имеем дело с нынешней войной. Очевидно, что германский народ не имеет средств заставить военные власти империи подчиниться народной воле; что власть прусского короля по руководству политикой империи остается неприкосновенной; что решающая инициатива еще остается в руках тех, которые до сих пор были господами Германии. Чувствуя, что мир всего света зависит теперь от ясной речи и пря-

мых действий, президент считает своим долгом сказать, без всякой попытки смягчить то, что может показаться резким, что народы всего света не верят и не могут верить слову тех, которые до сих пор были вершителями германской политики, и считает своим долгом сказать еще раз, что, при заключении мира и при попытке исправить бесконечные обиды и несправедливости этой войны, правительство Соединенных Штатов может иметь дело только с истинными представителями германского народа, которые были бы обеспечены действительным конституционным положением в качестве действительных правителей Германии. Если оно (правительство Соединенных Штатов) должно иметь дело с военными господами и монархическими автократами Германии теперь или если похоже на то, что оно будет иметь с ними дело касательно международных обязательств германской империи позже, то оно должно требовать не мирных переговоров, но сдачи (not peace negociations, but surrender). Ничто не может быть выиграно от умолчания об этом важном обстоятельстве».

Теперь уже отречение Вильгельма (сделавшееся, конечно, отныне абсолютно неотвратимым) сильно теряло в своем значении с точки зрения спасения династии, потому что Вильсон просто гнал его открыто с престола. И все-таки Вильгельм не уходил.

На короткое время внимание германского народа было отвлечено от вопроса об императоре двумя давно ожидавшимися событиями: Австрия и Турция сдались Антанте на капитуляцию.

Австрия быстро разваливалась уже с начала октября; армия целыми частями бросала оружие и бежала с фронта; Чехословакия объявила себя независимой; император Карл призвал к власти в качестве министра иностранных дел Андраши.

Андраши, осведомленный политик, глава консервативной партии, бывший венгерский министр, охотился у себя в имении (в конце сентября 1918 г.) с графом Карольи. Он *еще* надеялся на победу. Газет они в горах не видели несколько дней. Но вот является лесничий из города и сообщает о болгарской катастрофе. И *тогда* только граф Андраши признается своему гостю, что он потерял всякую веру в «возможность победы» и что нужно, не теряя ни минуты, заключить мир. Карольи рассказывает, что известие о Болгарии сразу его придавило, «подействовало на него, как удар. Целый мир, *его* мир провалился» [8].

Это типично для всех без исключения сановников Австро-Венгерской монархии. 24 октября Андраши стал министром, а уже 27 октября отправил Вильсону телеграмму с просьбой *о сепаратном* мире, не ожидая конца переговоров с Германией. Впрочем, спустя несколько дней Австрия окончательно распа-

лась на составные части; но об этом у нас будет речь в следующем томе *.

Характерно, что, уже погибая, объявляя в манифесте 17 октября 1918 г. о превращении Австрии в федерацию самостоятельных держав, Габсбургская монархия все-таки не посмела даже намекнуть, что в венгерской части монархии отдельным народностям также будет предоставлено полное право на самоопределение.

24 октября в хорватских полках, стоявших в Фиуме, вспыхнуло возмущение, и солдаты захватили порт. У венгерского правительства не было ни малейшей возможности сопротивляться, так как революция в самом Будапеште назревала совершенно явственно.

31 октября был убит граф Тисса, ненавидимый за свою активную роль в подготовке мировой войны. Новое правительство, во главе которого стоял граф Карольи, провозгласило полное отделение Венгрии и самостоятельную Венгерскую республику (16 ноября император Карл отказался от венгерской королевской короны, через четыре дня после отречения своего от австрийской императорской короны).

Граф Карольи, либерал по убеждениям, опирался (или, точнее, рассчитывал опереться) на средние землевладельческие слои, на торговый класс и вообще на элементы, недовольные долгим властвованием и своекорыстным хозяйничанием аристократической олигархии земельных магнатов.

В следующем томе этой работы я расскажу подробно о его правлении и о революционном правительстве, которое его сменило. Пока достаточно будет сказать, что в немедленной капитуляции Венгрии граф Карольи усматривал единственное спасение, так же как видело в этом спасение для Австрии и австрийское правительство. Впрочем, полное отделение Чехословакии, Галиции, Буковины, южнославянских территорий, отделение Трансильвании и всех славянских земель Венгрии, занятие Трентино и Триестино Италией — все это в те же дни вообще прекратило самое существование былой союзницы Германии.

Еще до того, как формально была подписана капитуляция Австрии и Венгрии, пришла очередь Турции. Уже в сентябре 1918 г. турки потерпели страшное поражение от англичан в Палестине. Генерал Алленби, стоявший там с 1917 г., разгромил турецкую армию, подошедшую с Кавказа после выхода России из войны. Около 75 тысяч турок сдались в плен в сентябре и начале октября 1918 г. Англичане вели преследование широким фронтом, очищая от турок не только Палестину, но и

* Том не был написан. — *Ред.*

Сирию. Дамаск, Бейрут, Алеппо последовательно были взяты генералом Алленби. Турция погибала. Энвер-паша и Талаат-паша подали в отставку и бежали. Новое правительство, наскоро сформированное, поспешило обратиться к врагам с просьбой о перемирии.

31 октября 1918 г. (в Мудросе) англичане, с участием представителей других союзных держав, заключили с турками перемирие. Турки очищали Аравию, Месопотамию, Сирию, Армению, часть Киликии (из Палестины они уже были изгнаны англичанами), соглашались на временное занятие Антантой Константинополя и проливов. Остатки разгромленной турецкой армии ушли в Анатолию. Это - - все, что осталось от Турции по перемирию. По одному из условий перемирия турки обязывались прервать сношения с Германией. Впрочем, они были начисто отрезаны от Германии.

3 ноября сдались на капитуляцию Австрия и Венгрия. По условиям перемирия Антанта получала в полное свое распоряжение все пути сообщения Австрии, да и вообще то, что еще осталось от Австрии, становилось в руках Антанты удобным плацдармом для вторжения в Германию с востока. Полная гибель приближалась исполинскими шагами к окруженной со всех сторон Германской империи, безнадежно утратившей всех союзников. Для Антанты речь шла только об альтернативе: оставить ли без ответа последнюю ноту Германии, где была просьба указать, наконец, в каком месте и когда можно приступить к переговорам о перемирии, продолжать войну и вынудить всю германскую армию к немедленной сдаче, или же согласиться на перемирие, но непременно на такое, которое отдавало бы побежденную страну всецело на волю победителя.

И все-таки нужен был толчок изнутри, чтобы Вильгельм, наконец, понял, что корона валится с головы и что спасения нет. Этот толчок не замедлил последовать. Спасти престол Вильгельма после третьей ноты Вильсона было абсолютно невозможно; тем не менее попытка такого рода (правда, не имевшая и тени шансов на успех) произошла.

Гинденбург и Людендорф сочинили и немедленно (в 10 часов вечера 24 октября) выпустили воззвание к германской армии, в котором говорили о неприемлемости требований Вильсона и о необходимости дальнейшего сопротивления до последней крайности. В ответ на это канцлер Макс Баденский объявил Вильгельму, что либо он, канцлер, уйдет немедленно в отставку, либо должен уйти Людендорф. Конечно, Вильгельм всецело был на стороне Людендорфа, и все-таки он немедленно уволил его в отставку (26 октября). Спастись лично какой угодно ценой, возложить ответственность на других — вот линия поведения, от которой император Вильгельм ни единого раза и

ни при каких условиях не отступал. Но на этот раз этот обычный прием и последний разговор с Людендорфом все же потрясли его [9]. Между тем отовсюду из-за границы к Максу Баденскому ежедневно приходили самые достоверные сведения, самые авторитетные указания, что мира «при Вильгельме» Антанта ни за что не заключит. Вильгельм же по-прежнему отмалчивался. Это ускорило взрыв, уже давно готовившийся.

3

После третьей ноты Вильсона и обращения Гинденбурга к армии в приморских городах и прежде всего в центре стоянки германских судов — в Киле — распространился среди матросов слух о плане морского командования дать англичанам последнюю большую морскую битву, чтобы по крайней мере ценой гибели всего немецкого флота причинить максимум вреда неприятелю. Что война безнадежно проиграна — это уже не подлежало в тот момент ни малейшему сомнению, и угроза бесцельной гибели была той искрой, которая произвела давно готовившийся взрыв. 28 октября команда броненосца «Маркграф» первая отказалась повиноваться офицерам и следовать в Куксгафен (через канал). Другие военные суда двинулись было в путь, но на них тоже вспыхнуло возмущение, и команды всех этих судов составили резолюцию: «Если англичанин нападет на нас, то мы будем сопротивляться и будем до последней крайности защищать наши берега, но сами мы не нападем. Далее Гельголанда мы не едем. Иначе огонь будет потушен (в топках)». Начальство не обратило внимания на эту резолюцию, и 30—31 октября во всем флоте вспыхнуло открытое возмущение. Сначала еще местами власти арестовывали вождей, но движение с каждым днем ширилось и пылало все сильнее. 3 ноября в Киле на открытом воздухе состоялся громадный матросский митинг. Толпа направилась освобождать арестованных, но по дороге была встречена выстрелами. На другой день, 4 ноября, был убит командир броненосца «König», восставшие овладели не только всеми судами, но и Кильской гаванью, и солдаты, стоявшие в Киле, примкнули к матросам. Был выбран Совет солдатских и матросских депутатов. 5 и 6 ноября восстание перенеслось в Гамбург и Любек и нигде не встретило сопротивления. 6 ноября революционное движение перешло в Ганновер, Брауншвейг, Кельн, Майнц, Трир и стало приближаться к фронту. Всюду образовывались Советы солдатских, а кое-где солдатских и рабочих депутатов. Повсюду были провозглашены лозунги: немедленное заключение перемирия и прекращение военной диктатуры.

Три течения сразу обнаружились в ходе революции: социал-демократы большинства («шейдемановцы»), независимые социал-демократы (группа, отделившаяся от шейдемановцев весной 1917 г.) и спартаковцы — левая часть независимых, отошедшая от независимых и принявшая коммунистическую программу. В первые дни революции — до 9 ноября — борьба между этими тремя течениями была сравнительно не так заметна.

Хотя шейдемановцы располагали почти всей партийной прессою, но с каждым днем революции их значение все более и более падало. Те же рабочие круги, которые одобряли шейдемановцев первые три года подряд, теперь (т. е. с 1917 г.) не могли им простить поддержку, которую они оказывали правительству, начавшему войну. Голодные, потерявшие веру в победу массы быстрее покинули старую тактику, чем вожди, и шейдемановцы, еще пока могущественные на верхах партии, видели ясно приближающуюся бурю. Их подкашивало еще и то обстоятельство, что, несмотря на все усилия, им никак не удавалось наладить отношения с социалистами стран Антанты: те (забывая часто о собственном поведении) были полны негодования на образ действий шейдемановцев в 1914—1917 гг. и откровенно заявляли, что не верят их словам и что считают их просто эмиссарами перепуганного Вильгельма, который хочет какими угодно средствами добиться мира. Независимые были также в сущности очень раздражены против шейдемановцев. Правда, отражая чаяния голодающей массы, они терпеливо ждали несколько недель (весь октябрь), пока шла телеграфная переписка с Вильсоном. Но когда обнаружилось, что включение в кабинет Макса Баденского двух социал-демократов большинства — самого Филиппа Шейдемана и Густава Бауэра — не произвело за границей ни малейшего благоприятного впечатления, независимые стали с каждым днем все резче и непримиримее высказываться против шейдемановцев. Но на крайнюю позицию в этой борьбе против социал-демократов большинства стал Спартаковский союз, который принял как платформу революционный захват власти и провозглашение диктатуры пролетариата. 21 октября, после двух с лишком лет заключения, из тюрьмы был освобожден Карл Либкнехт; одновременно была освобождена и Роза Люксембург. Спартаковцы, численно не очень сильные, получили разом двух вождей, с которыми по энергии, ораторскому дару, политическому темпераменту, громадному моральному авторитету мало кто мог тогда тягаться не только среди шейдемановцев или независимых, но и среди всех вообще существовавших в то время политических партий Германии. Спартаковский союз вместе с тем пользовался сочувствием и поддержкой Советской России. Все эти обстоятельства сильно помогали спартаковцам. Но главное заклю-

чалось в другом. Октябрь и ноябрь 1918 г. были временем самого болезненного морально-психического кризиса, который когда-либо переживал германский народ за все полторы тысячи лет своего политического существования. Внезапно, без всяких переходов, без всякой подготовки, народная масса была поставлена лицом к лицу с действительностью, о которой большинство даже и не догадывалось. Еще на фронте кое-что знали, а с 8 августа 1918 г. непрерывные поражения, непрерывное отступление были понятны каждому солдату отступающей армии. Но даже и на фронте, где перестали верить словам начальства о победе, были далеки от того, чтобы видеть в происходящем полную гибель, безнадежный проигрыш войны; даже и на фронте среди наиболее раздраженно настроенных солдат было распространено (по их позднейшим свидетельствам) мнение, что война может окончиться «вничью» или с незначительными потерями для Германии. Что касается тыла, то там уже с июля чуяли неладное, но еще в средине сентября в самых широких кругах не верили в конечное и полное поражение. Первая телеграмма Макса Баденского Вильсону явилась, как было сказано, для широких масс неожиданностью. «Нас обманывали!» (Wir sind belogen und betrogen!) — вот самый популярный клич в октябре 1918 г. И по мере того, как телеграммы Вильсона принимали все более резкий, высокомерный и отчасти презрительный оттенок и его вмешательство во внутренние германские вопросы делалось все откровеннее и грубее,— все более униженным, смиренным, почти раболепным делался тон германских ответов, и именно *это* обстоятельство окончательно раскрыло глаза всему народу. Ужас положения обозначился перед взорами самых легковерных. *Этой* степени унижения и растерянности никто почти не ожидал. И тогда-то сразу начался великий пересмотр ценностей. Мелкая и средняя буржуазия, интеллигенция, чиновничество массами обращались к самым радикальным программам. Это было ненадолго, это было вызвано совсем исключительной силой и внезапностью удара, но в октябре и ноябре 1918 г. имена Либкнехта и Розы Люксембург были очень популярны нередко даже в тех кругах общества, которые *еще* в 1916 г. приветствовали их заключение в тюрьму, а *уже* в 1919 г. аплодировали их убийцам. Еще в большей степени рабочая масса в эти осенние месяцы верила только тем из ее вождей, которые не скомпрометировали себя моральной ответственностью в военной политике правительства. Таковы условия, тоже способствовавшие общему успеху спартаковцев в первое время революции.

Социалисты большинства, во главе с Шейдеманом и Эбертом, под этим все возраставшим давлением слева, заняли непримиримую позицию в вопросе об отречении императора. Они

требовали в ультимативной форме от Макса Баденского, чтобы отречение было обнародовано немедленно. Натолкнувшись на упорство Вильгельма, все мечтавшего как-нибудь отклонить от себя эту чашу, они решили вынудить отречение революционным путем, точнее — примкнуть к революции, которая уже со всех сторон, с севера — из ганзейских городов, с юга — из Мюнхена, с запада — из Кельна и Ганновера, приближалась к Берлину.

4

Для Вильгельма наступили дни расчета с судьбой. Бывали в истории люди, которые, как и он, не умели перенести выпавшего на их долю счастья, но зато неожиданно оказывались под грозой совсем иными — стойкими и мужественными. Вильгельм не умел перенести с достоинством ни того долгого счастья и ослепительного блеска, которыми была отмечена вся его жизнь, ни того страшного падения, которое постигло его осенью 1918 г. Война ничуть не закалила да и не могла закалить его: ведь он ни на минуту не расставался с привычной роскошью и ни на минуту, даже отдаленно, даже случайно, не подвергался опасности. Он всегда инстинктивно гнал от себя беспокойство. Например, он отдалил от себя с начала войны своего личного друга Баллина, директора Гамбургско-Американской пароходной компании, только потому, что Баллин мрачно смотрел на затеянную войну. Царедворцы просили графа Бернсторфа передать Баллину, «чтобы он не вел перед монархом таких пессимистических речей... иначе у монарха бывает нервный припадок»[10]. Баллин, заметим к слову, покончил с собой как раз в день бегства Вильгельма; такие друзья были императору не нужны.

Когда началось крушение, Вильгельм сразу и без тени сопротивления пошел туда, куда его вели. Так, на полный фактический отказ от власти, на немедленное введение широчайшего парламентаризма он пошел мгновенно, даже и для формы ни разу не вспомнив о «божественном происхождении» своей власти, о том, что он ответствен лишь перед небом, и т. д., обо всем том, о чем он совсем некстати не переставал во всеуслышание и с вызовом говорить тридцать лет. Генералы давно перестали с ним стесняться. Сын канцлера Гертлинга рассказывает, как перед первой нотой Макса Баденского Вильсону Людендорф ворвался к Вильгельму без доклада с требованием немедленной посылки ноты с просьбой о перемирии. И Вильгельм беспрекословно подчинился и тут. Потом, когда Макс Баденский оказался сильнее Людендорфа, Вильгельм отставил Людендорфа. Он жил в это время в состоянии постоянного страха: он боялся революции и боялся Антанты, и это видели все окружающие[11].

Теперь, в октябре и ноябре 1918 г., впервые личная опасность стала грозить ему непосредственно.

Он чувствовал себя, по отзывам наблюдавших его в Потсдаме, неспокойно из-за близости Берлина и решил уехать в Спа, к Гинденбургу, которому он вполне теперь доверял. Да и нейтральная граница была ближе к Спа, чем к Берлину.

Наиболее преданные династии прусские монархисты ставили вопрос так: «Лучше пусть умрут император и кронпринц, но останется в живых монархия, чем наоборот» [12]. Но при характере Вильгельма II и при характере кронпринца об этом, конечно, не могло быть и речи. Дело шло о героической форме самоубийства, а Вильгельм за всю свою жизнь *никогда* не решался хотя бы отдаленно приблизиться к самой проблематической опасности. Но до последней минуты некоторые монархисты надеялись на этот «героический жест», и когда Зольф старался через Августа Эйленбурга убедить Вильгельма не бежать из Берлина в Спа, то Эйленбург таинственно намекал, что император будет искать смерти на поле битвы...

Среди наиболее преданной интересам и традициям монархии части прусского дворянства, именно в дворянстве Померанской провинции, в эти дни, после третьей ноты Вильсона, в самом деле возникла и *была принята* следующая программа действий: теперь уже спасти династию Гогенцоллернов можно только *одним* способом: померанские дворяне предлагают императору немедленно вместе с ним отправиться на фронт, на передовые линии и там погибнуть [13]. Бывший канцлер империи, а в конце 1918 г. обер-президент Померании, Михаэлис был уполномочен передать это предложение императору; сам Михаэлис был в числе тех, кто обязался отправиться на фронт и погибнуть вместе с императором. Михаэлис прибыл в Потсдам 28 октября 1918 г. Но Вильгельм, по-видимому, или чувствовал, или знал, зачем приехал представитель померанских дворян, и за обедом всячески отклонял разговор и не давал гостю высказаться. Михаэлис решил передать поручение после обеда, но Вильгельм твердо решил не допускать его до этого. Прежде чем Михаэлис успел выговорить слово, император вдруг сорвался с места, наскоро пожал руку собеседника и поспешно вышел вон [14].

Оставаться дальше в Потсдаме после этого Вильгельм не мог: ведь Михаэлис непременно вернулся бы. И кроме того, в Берлине явственно дело шло к революции. 29 октября Вильгельм, не сказав канцлеру Максу Баденскому, решил выехать в главную ставку, поближе к голландской границе и подальше от канцлера, убеждавшего его немедленно отречься от престола. Узнав совершенно случайно о готовящемся отъезде императора, канцлер сейчас же послал во дворец министра Зольфа убе-

дить Вильгельма остаться. Но все было напрасно. Вильгельм уехал.

Внезапный, против воли и почти без ведома канцлера, отъезд императора из Берлина в Спа, был, конечно, бегством, так же как бегством было любое его передвижение с лета 1918 г. То ему казалось безопаснее в Потсдаме — и он мчался в Потсдам, то безопаснее было на «фронте» — и он летел на «фронт». Конечно, на настоящем фронте, на боевых позициях он никогда не появлялся, и под «фронтом» читатель должен понимать снабженную всем комфортом богатую виллу Фрэнез в г. Спа. Жить там и гулять в парке и значило для Вильгельма «делить труды и опасности с вооруженным немецким народом», как об этом всегда объявлялось в газетах, когда император уезжал в ставку.

Но на этот раз положение было хуже. Спереди грохотала *непрерывная, уже месяцами длившаяся и все усиливавшаяся* канонада, слышалась поступь несметных полчищ Антанты, неуклонно надвигающихся на Германию; сзади не прекращался начавшийся в последнюю октябрьскую неделю глухой гул революции. И с каждым днем этот гул становился явственнее. Из Киля, из Гамбурга, из Бремена, из Мюнхена все отчетливее доносились определенные республиканские пароли и социалистические лозунги. В армии становилось очень неспокойно. А неприятель все медлил с перемирием, все не давал окончательного ответа. Ясно было, что придется вскоре беглецу, примчавшемуся из Потсдама в Спа, бежать снова из Спа. Но куда? В Потсдам — опасно. И вот именно тогда, судя по некоторым данным, мысли Вильгельма окончательно обратились к той узенькой тропинке, которую его глаз усмотрел между Сциллой неприятельского наступления и Харибдой народной революции. Уже 8 ноября голландские власти узнали о возможности внезапного появления в пределах их страны германского императора: дело в том, что из Мюнхена пришла весть о провозглашении 8 ноября Баварской республики, и из Берлина ежечасно поступали все более и более грозные известия.

Наконец, гроза стала бушевать совсем уже близко от императора: вечером 8 ноября в императорской вилле узнали, что в Кельне, Кобленце, Майнце вспыхнула революция в войсковых частях, что все рейнские мосты в руках восставших, что в их руки попали огромные склады продовольствия. Собранные в Спа офицеры разных частей, которых созвали для информации о настроении армии, в громадном большинстве заявили, что поручиться за солдат и положиться на них никак невозможно. На другой день, 9 ноября 1918 г., к императору, по собственной инициативе, явились для экстренного совещания Гинденбург, Людендорф, Гренер, Гинтце, Шуленбург, Плессен и Маршаль. На вопрос Вильгельма Гинденбург заявил, что «для

него невозможно сказать своему государю то, что теперь нужно сказать». Слово взял генерал Гренер, который прямо заявил, что не только революция охватывает армию, но что абсолютно невозможно выделить части, которые согласились бы эту революцию подавить силой. Граф Шуленбург не был так пессимистичен, но слова его были бездоказательны, и Гренер тотчас же вполне опроверг их. В это время императора попросили к телефону: Макс Баденский сообщал, что в Берлине с утра вспыхнула революция, что войска примкнули к ней, что необходимо Вильгельму и кронпринцу немедленно, сегодня же, отречься от престола. Император отошел от телефона, ничего не решив. Но берлинский телефон не умолкал, и, перемежаясь с сообщением о ширящейся, победоносной на всех пунктах революции, к Вильгельму непрерывно поступали тревожнейшие известия о гигантском мятеже в воинских частях совсем уже близко от Спа. Тогда, к середине дня, Вильгельм внезапно остановился на таком компромиссе: он отказывается от императорской короны, но остается прусским королем.

Этот компромисс решительно ничего не устраивал. Ведь было уже известно, что вожди социал-демократов — Шейдеман, Эберт и их товарищи — поставили ультиматум: отречение императора и кронпринца и полное их удаление от дел; было известно и то, что громадная масса рабочих, в те дни шедшая за Карлом Либкнехтом и Розой Люксембург, ни в каком случае не примирится ни с каким половинчатым, сомнительным решением вопроса об императоре и кронпринце.

Макс Баденский, все еще надеясь спасти монархию в случае полного и безусловного отказа Вильгельма и его сына и видя, что Вильгельм даже и в эту роковую минуту продолжает не понимать положения, решился действовать самостоятельно и не ждать более согласия императора...

Между тем Вильгельм (уже с 7-го числа знавший, что во всяком случае успеет бежать в Голландию) в последние часы еще продолжал по инерции говорить старые эффектные слова и предаваться привычной жестикуляции. Кронпринц предложил ему уехать из неспокойного уже Спа в другую армию, именно в ту группу войск, которой командовал сам кронпринц. «Нет, зачем,— возразил император,— это могло бы ведь показаться бегством. Я останусь здесь и соберу вокруг себя своих верных» (Ich werde hier bleiben und meine Getreuen um mich scharen). Королевское слово! — умиляется Ниман, присутствующий при этой сцене. Но не успело это королевское слово отзвучать, как в дверях зала показался растерянный, дрожащий генерал Гонтард, с новой телефонограммой из Берлина в руках: «Император и кронпринц низложены с престола». Только что в Берлине вышло извещение от имени канцлера, в котором со-

общается *о состоявшемся* отказе Вильгельма и кронпринца как от германской императорской, так и от прусской королевской короны. «Измена, бесстыдная, возмутительная измена!» — вскричал император, услышав извещение канцлера. Граф Шуленбург, старый вояка и верный монархист, безусловно готовый сам умереть за монархию и убежденный, что только появление императора на поле битвы может еще спасти монархический принцип, хочет воспользоваться этим внезапным гневом Вильгельма на канцлера и выпудить у Вильгельма мрачное, но необходимое решение. «Могу я положиться на то, что ваше величество останетесь при войске?» — «Вы знаете мое решение, граф!» — гордо и героически отвечает Вильгельм. Через несколько минут снова появляются Гинденбург, Гренер, Гинтце, Грюнау, генерал Плессен и Маршаль: за последние часы положение сильно ухудшилось; уже в войсках, охраняющих главную ставку, идет большое брожение. «Я не могу ручаться, что ваше величество не будете отвезены бунтующими войсками в Берлин и не будете там выданы революционному правительству в качестве пленника»,— объявляет Гинденбург. Вызванная для охраны императора вторая гвардейская дивизия охвачена также революционным движением. Граф Шуленбург молчит в ожидании. Он знает, что если нет дороги назад, то есть еще дорога вперед — к смерти под французскими пулями; он только что слышал «королевское слово» (ein Königswort). Он помнил о генерале Альварте, который после третьей ноты Вильсона покончил с собой, чтобы не пережить унижения Германии. Но нет! Самоубийство запрещено законами религии, а смерть в отчаянной, безнадежной схватке с полчищами надвигающегося неприятеля и была бы замаскированным самоубийством. Религиозный и богобоязненный Вильгельм никак не может нарушить (в данном случае) велений церкви. Да и кроме того, это было бы «театральным жестом», а он не любит театральных жестов: «Какую пользу принесла бы такая инсценированная геройская роль?» — вопрошает он Нимана [15].

Все это и многое другое мы читаем в литературе, и расположенной и враждебной к Вильгельму, а также в мемуарах Вильгельма, ненужной, скучной книжке, лживой с первой строки до последней, где он оправдывается в своих деяниях [16]. Он всегда, все тридцать лет своего царствования, игравший разные роли, вдруг почувствовал отвращение к театральным жестам. Посылать под ураганный артиллерийский огонь миллионы людей «für Kaiser und Reich» и требовать от них ежедневного, ежечасного героического презрения к смерти, требовать громогласно и в самых напыщенных словах — это никогда не представилось ему театральным жестом, но пойти в битву в первый раз самому, чтобы попытаться этим риском поддержать доро-

гой ему (и проваленный им) монархический принцип,— это ему показалось вечером 9 ноября «театральным». Правда, неглубокий и незначительный, однако быстрый ум этого человека все-таки в эти самые страшные минуты его существования говорил ему, по-видимому, о непоправимых последствиях бегства, о том, что голландская дорога спасает жизнь, но губит *все*, кроме жизни: личную честь, династическую традицию, монархию — все, что ему было дорого. Уже подан был поезд, уже Вильгельм вошел в вагон, как вдруг граф Платен сообщил ему только что полученное телефонное известие от принца Эйтеля-Фридриха: императрица просит передать, что «все хорошо». По-видимому, императору стало стыдно. «Моя жена поддерживает меня, а меня хотят убедить ехать в Голландию. Я этого не сделаю. Это было бы все равно, как если бы капитан оставил свое тонущее судно». Он и теперь хотел свалить на других ответственность за свое бегство, и теперь, уже *начав* бегство, повторял громкие фразы, не имевшие при данных обстоятельствах и тени смысла. Ночевать Вильгельм решил в поезде. В 10 часов вечера в вагон пришел Грюнау с новым известием: революционные войска идут походом на Спа. Ни часу больше терять нельзя было.

10 ноября, в 8 часов утра, к голландскому пограничному пункту Эйздену подъехал автомобиль. Вильгельм в сопровождении нескольких лиц вышел из автомобиля, подошел к пограничной страже и назвал себя: он был на нейтральной земле. Долгие часы германский император ждал на станции, пока спешно извещенное голландское правительство упрашивало по телефону графа Бентинка, английского лорда из старинной голландской семьи, владельца лежащего недалеко от границы поместья Амеронген, дать хотя бы временный приют бежавшему монарху. Только спустя много часов после начала бегства Вильгельм оказался в Амеронгене. За первым обедом, когда голландские хозяева и немецкие гости чувствовали себя мучительно неловко и не смели одни от стыда, другие от жалости поднять глаз, Вильгельм говорил много и охотно, с одушевлением и живостью. Говорил он один: все остальные молчали. Лэди Норе Бентинк, наблюдавшей его и оставившей описание этого дня, казалось, что он ошеломлен катастрофой и еще не вполне понимает свое положение. Могло быть и то, что наиболее сильное из всех чувств этого человека — восторжествовавшее чувство самосохранения — стихийно и непреодолимо возбуждало и потрясало его после долгих часов сначала смертельного страха, а потом томительного ожидания на пограничном пункте под проливным, непрекращавшимся почти двое суток дождем.

Почти тотчас за бегством Вильгельма последовало и бегство кронпринца, который в своих воспоминаниях обнаруживает полное отсутствие чувства комического, так как хочет уверить чи-

тателя, что бежал он исключительно по одному лишь своему человеколюбию, боясь, как бы, чего доброго, из-за него, кронпринца (т. е. с целью восстановления его на прародительском престоле), не возникло междоусобное кровопролитие. Он укрылся, как и отец, в Голландии, но в другом месте: голландское правительство велело ему отправиться на остров Вирипген.

При таких условиях кончила свое существование династия, долгие столетия правившая в Пруссии и 47 лет занимавшая — в пору величайшего блеска Германии — германский императорский престол. В берлинском дворце на том самом месте, с которого в первый день войны, в 1914 г., Вильгельм кричал народу о коварстве врагов, о справедливой войне и победе, теперь стоял под красным знаменем Карл Либкнехт и говорил о людях, доведших германский народ до самой страшной катастрофы всей его полуторатысячелетней истории.

5

Прежде чем говорить о дальнейшем развитии германской революции, нам необходимо коснуться переговоров о перемирии, начавшихся за день до бегства Вильгельма и кончившихся через полтора дня после бегства.

Уже 5 ноября 1918 г. статс-секретарь Соединенных Штатов Лансинг сообщил германскому правительству, что союзники согласны дать Германии перемирие на тех условиях, которые будут сообщены германским уполномоченным от лица верховного командующего всех союзных армий маршала Фоша. При этом делались две оговорки: одна насчет «свободы морей» (о чем упомянуто в 14 пунктах Вильсона), именно, что «не все толкования» этого понятия могут быть приняты, и другая — что не только занятые немцами территории должны быть освобождены, но что немцы еще обязаны вознаградить население за все убытки. Другими словами, Англия и Франция заявляли, что вообще пункты Вильсона вовсе для них необязательны. А затем слово предоставлялось маршалу Фошу, совместно с которым союзные правительства и выработали условия перемирия.

Уже 6 ноября спешно стала снаряжаться германская мирная делегация. Во главе ее по поручению канцлера Макса Баденского, но, конечно, прежде всего по собственному желанию стал вождь партии центра, статс-секретарь без портфеля в кабинете Макса Баденского, Матиас Эрцбергер. Собственно, это стоило ему жизни, потому что травля, приведшая спустя почти три года к его убийству, в значительной степени связывалась с этой страницей его карьеры, хотя ни с какой точки зрения как раз в этом роковом для Германии перемирии он не был повинен. Это был ум беспокойный и самоуверенный. Он всегда переходил от одной

крайности к другой. В самом начале войны он уверовал в близкую победу Германии и был, как уже сказано в своем месте, некоторое время аннексионистом. В 1917 г., уже предчувствуя гибельный оборот дел, он провел мирную резолюцию в рейхстаге. Теперь он почему-то решил, что не генерал, а он, Эрцбергер, должен отправиться к Фошу. Между тем именно этим он потом облегчил генералам возможность свалить часть вины на него и сочинить легенду (или подкрепить легенду) об «ударе кинжалом в спину» (Dolchstosslegende), о революции и революционерах, к которым причислен был Эрцбергер, выдавших Германию неприятелю.

7 ноября, в 9 часов вечера, автомобиль под белым флагом с германскими уполномоченными, перейдя через линию траншей, подошел к Ордруа (близ Ла-Капелль), тотчас же был окружен французскими солдатами; Эрцбергер с товарищами пересели в вагон с опущенными шторами и отправились по назначению. 8 ноября утром поезд подошел к маленькой станции Ретонд в Компьенском лесу. Тут-то и ждал их вагон маршала Фоша. В 9 часов утра 8 ноября Эрцбергер, генерал Винтерфельдт, Оберндорф, капитан флота фон Ванселов, Гейер и переводчик Гелльдорф были введены к маршалу. Фош словами не оскорбил их, чего они боялись, по собственному позднейшему признанию, но и руки им не подал. Он добился прежде всего, чтобы они заявили что прибыли *просить* перемирия (первая фраза Эрцбергера гласила, что они прибыли получить «предложения» союзников). Затем Фош велел прочесть условия, на которых он согласен объявить перемирие.

Вот главные условия, которые были поставлены победителями [17]:

Немедленное очищение Бельгии, Франции, Люксембурга, Эльзас-Лотарингии; в течение 15 дней выдача Антанте 5 тысяч тяжелых и полевых орудий, 25 тысяч пулеметов, 3 тысяч бомбометателей, 1700 аэропланов, очищение левого берега Рейна и занятие его войсками Антанты; запрет увозить что бы то ни было с левого берега Рейна при его очищении; выдача 5 тысяч локомотивов, 150 тысяч вагонов, 5 тысяч автомобилей в полной исправности; содержание оккупационной армии Антанты за счет Германии; уничтожение трактатов Брест-Литовского и Бухарестского; безусловная сдача войск, еще державшихся в немецкой Восточной Африке; выдача Антанте всего золота, полученного от России и Румынии, а также захваченного в Бельгии; возвращение всех военнопленных, причем немцы-военнопленные не возвращаются Антантой; выдача всех подводных лодок, 8 легких крейсеров, 10 дредноутов, 6 крейсеров, 50 истребителей; все же остальные суда военного флота отводятся в гавани, где и обезоруживаются и остаются под наблюдением союз-

ников впредь до решения их участи при заключении мирного трактата; оккупация союзниками морских военных фортов и батарей Каттегата; блокада Германии продолжается до окончательного заключения мира.

Эти условия были, конечно, равносильны полной капитуляции, и еще в четверг 7 ноября в передовице газеты «Times» выражалось сомнение в том, захотят ли немцы, несмотря на свое поражение, принять такие страшные условия. А газета «Times» успела проведать тогда еще далеко не обо всех условиях перемирия [18].

Но германским уполномоченным выбирать было нельзя. Маршал Фош и не думал обсуждать с ними эти условия: просто он им дал понять, что они или должны подписать полностью все условия, или же отправиться домой, и тогда война продолжается. Для подписания Фош дал им 72 часа, с правом сноситься в эти 72 часа по телеграфу со своим правительством. 10 ноября в своем вагоне (в котором они жили в эти дни, рядом с поездом Фоша, стоявшим в Компьенском лесу) германские уполномоченные узнали о революции в Берлине, о бегстве Вильгельма в Голландию, о передаче власти Совету народных уполномоченных. Эрцбергер снесся с Берлином, снесся с Гинденбургом (оставшимся главнокомандующим). Ответ Гинденбурга гласил по существу: нужно добиваться смягчения условий, но, если нельзя их добиться, нужно подписать. Фошем дано было знать Эрцбергеру, что если к 11 часам утра 11 ноября перемирие не будет подписано, то война немедленно возобновится. Она, собственно, и в эти дни не прерывалась, но смысл угрозы был понятен: все приготовления к грандиозному новому наступлению на Германию были сделаны. Противопоставить этой угрозе Эрцбергер не мог решительно ничего...

Страшное волнение царило в умах в Париже и во всей Франции уже с 6 ноября, когда стало известно, что германские делегаты выезжают к маршалу Фошу. Полной уверенности, что Германия сразу пойдет под такое ярмо, не было. Была некоторая доля боязни, что германский народ, так геройски и успешно боровшийся больше четырех лет со всеми величайшими державами земного шара, доведенный условиями Фоша до последней черты отчаяния, может возобновить, правда, гибельную для себя, но и тяжелую для победителей борьбу.

Уже вечером 10 ноября в Париже было известно, что правительство приказало в случае получения известия о подписании немцами перемирия тотчас же салютовать 101 пушечным выстрелом. И когда на другой день, 11 ноября 1918 г., в самом начале 12 часа грянул первый выстрел, то, по показаниям очевидцев, прохожие останавливались как вкопанные, снимали шапки, и многие плакали. Со второй половины дня начались

манифестации, шествия несметных толп по городу, пение «Марсельезы». В Лондоне, Вашингтоне, Нью-Йорке, Риме — всюду, как только приходила потрясающая весть, громадные толпы собирались на улицах, и до поздней ночи шли бурные манифестации. «Не хотели верить, что это не сон, что в самом деле страшная война кончилась, что грозный враг повержен, наконец, на землю и раздавлен пятой»,— так передавала одна английская газета впечатления 11 ноября 1918 г.

Глава XXI

ВЕРСАЛЬСКИЙ МИР

1. Парижская конференция. Совет четырех. Вожди. Клемансо. Ллойд-Джордж. Вильсон. Причины преобладания Клемансо. 2. Выработка трактата. Разногласия победителей. Приглашение германских делегатов в Версаль. 3. Первые месяцы германской революции. Борьба спартаковцев против социал-демократов большинства. Карл Либкнехт и Роза Люксембург. Созыв Национального собрания. Его партийный состав. Восстание спартаковцев. Второе восстание спартаковцев в Берлине. Убийство Карла Либкнехта и Розы Люксембург. 4. Революция в Баварии. Убийство Курта Эйснера. Начало и конец Советской республики в Мюнхене. Начало заседаний Национального собрания. Избрание Эберта президентом республики. Кабинет Шейдемана. 5. Вручение графу Брокдорф-Ранцау полного текста Версальского трактата. 6. Содержание трактата. Впечатление в Германии. Вопрос о подписании трактата. Отставка Брокдорф-Ранцау и кабинета Шейдемана. Подписание Версальского мира 28 июня 1919 г. 7. Сен-Жерменский мир победителей с Австрией. Трианонский мир с Венгрией. Мир в Нейи с Болгарией. Севрский мир с Турцией

1

«Я сорок семь лет ждал этой минуты», — сказал Клемансо, прочитав телеграмму, в которой маршал Фош доносил ему, что Эрцбергер и его товарищи только что подписали условия перемирия. О намерениях и достижениях правителей Антанты я буду говорить впоследствии, во втором томе, когда обращусь к систематической истории осуществления Версальского трактата. Здесь же в немногих словах напомню о том, в каком умонастроении победа застала Клемансо, Ллойд-Джорджа и Вильсона, трех человек, в руки которых главным образом и перешли в тот момент судьбы Германии и всех ее союзников, вместе с ней подвергшихся неслыханной катастрофе.

Лично для Клемансо победа над Германией знаменовала возможность обессилить если не навеки, то хоть надолго опасного соседа. В Германии живет лишних двадцать миллионов человек, говаривал он. Таким образом, одержанная победа должна была тем или иным способом покончить с этими «лишними» немцами. В прочный мир на иных основаниях он не верил и, переиначивая фразу фон Клаузевица, что война есть продолжение дипломатии, но иными средствами, Клемансо бросил крылатое слово, что мир должен быть продолжением войны, только другими средствами. Поставить Германию в такое положение, когда эмиграция или вымирание обессиливали бы ее,— вот с точки зрения Клемансо идеал, который, быть может, недостижим, но к коему надлежит стремиться. Но круги, стоявшие за Клемансо и старавшиеся влиять на его политику, смотрели на дело под несколько иным углом зрения. Прежде всего промышленники десяти северных разоренных войной департаментов, владельцы заводов и копей желали полного покрытия за счет Германии всех убытков; представители финансового капитала, банков, биржи стремились к широчайшему развитию колоний, к укреплению французского влияния не только в Африке, но и в Азии, к установлению либо кондоминиума вместе с Англией над бывшими турецкими владениями, либо к возможно более полному сохранению Турции, но с непременным в обоих случаях условием — передачей французам Сирии. Средняя и мелкая буржуазия жаждала прежде всего прочной гарантии со стороны Германии; промышленники и представители мелкого ремесла желали ограждения от германской конкуренции. Сверх того давали себя сильно чувствовать особые интересы некоторых могущественных крупнокапиталистических групп: например, металлургические фирмы были заинтересованы в возможно более длительном использовании германских угольных богатств и, следовательно, в возможно более прочной оккупации берегов Рейна. Виноделы, а также фабриканты шелковых материй были заинтересованы в обеспечении за французским ввозом германского внутреннего рынка, т. е. в соответственных торговых договорах с Германией. Наконец,— на этом сходились самые разнохарактерные группы населения,— решено было требовать восстановления изрытых окопами и взрывами земель, постройки новых жилищ, восстановления разрушенных городов и деревень. «Немец заплатит» (l'Allemand payera) — таков был лозунг, авторство коего приписывается Клотцу, министру финансов в кабинете Клемансо. Тяжко потерпевшая от войны Франция явилась наиболее ожесточенным врагом Германии после войны. Клемансо мог быть наперед уверен, что чем более жестокие условия он поставит Германии, тем больше одобрения это вызовет среди парламентского большинства. Крестьянские массы не только на севере,

где они были непосредственно заинтересованы в получении денег на восстановление жилищ и полей, но также и в центре и на юге, стояли за возможно более крутые условия мира; им внушили, что только таким путем можно надеяться на уменьшение налогового бремени. Что касается рабочего класса, всегда весьма мало влиятельного во Франции во всех вопросах международной политики, то здесь голоса о международной солидарности рабочих, о необходимости дать отпор торжествующему империализму и т. д., правда, раздавались время от времени, но никакой реальной силы не имели. Да и воспоминания о Брест-Литовском мире жестоко вредили Германии именно в рабочих кругах Франции. Поэтому пункты перемирия, по которым Германия обязывалась убрать из России все свои войска и отказаться от Брест-Литовского мира, произвели среди части французских рабочих весьма благоприятное впечатление. Вообще никакого единства настроения относительно Германии во французском рабочем классе не было. И германская революция тоже в данном случае мало помогла делу: новые правители Германии — Эберт, Шейдеман, Густав Носке — все это были наиболее непопулярные в международном пролетариате имена, люди, которых в течение всей войны называли «социалистами его величества Вильгельма II». Словом, все обстоятельства сложились так, что Клемансо оказался бесконтрольным владыкой, имевшим полную возможность действовать от имени Франции, не считаясь ни с какими внутренними задержками или препятствиями.

Что касается Ллойд-Джорджа, то его позиция была довольно сложной. Когда утром 11 ноября залпы орудий возвестили Лондону о состоявшейся капитуляции Германии, громадная толпа двинулась к Букингемскому дворцу приветствовать короля, затем — к Вестминстерскому аббатству приветствовать Ллойд-Джорджа. В течение этого и нескольких следующих дней во всей Британской империи это радостное возбуждение не прекращалось. Ллойд-Джордж поторопился учесть это настроение и поспешил произвести, не теряя времени, общие выборы. Расчет его удался. Программа правительства была (перед самыми выборами) сформулирована Ллойд-Джорджем так: 1) суд над Вильгельмом; 2) наказание всех немцев, виновных в зверствах во время войны; 3) полнейшее (fullest) возмещение Германией всех причиненных ею убытков; 4) «Британия — для британцев»; 5) помощь и вознаграждение всем, потерпевшим от войны; 6) обеспечение лучших условий жизни для всех (a happier country for all). Все это было рассчитано на господствующие в массе настроения и вообще было крайне неопределенно (особенно пункты 4 и 6). Но в пылу первых восторгов от одержанной победы эти звонкие и бессодержательные в основе своей формулы доставили Ллойд-Джорджу полный успех. (Нечего и говорить,

что все эти обещания выполнены не были.) Все это он считал нужным и уместным в разгаре выборов, сейчас после победы, когда еще не остыло раздражение по поводу налетов цеппелинов на Лондон, потопления судов подводными лодками, расстрела германскими властями в Бельгии английской сестры милосердия, мисс Кэвель (обвиненной в «помощи неприятелю») и т. д., и т. д. Не забудем, как все это подносилось долгие годы ежедневно «министерством пропаганды». И поскольку дело шло о победе на выборах, Ллойд-Джордж достиг наилучших для себя результатов.

Предстояло выбрать в новый парламент 706 депутатов. Выборы произошли 14 декабря 1918 г. Коалиция, поддерживавшая Ллойд-Джорджа, получила 484 места (консерваторов 338, либералов 136, национально-демократической партии 10), а противники коалиции получили всего 222 места (59 рабочей партии, 48 крайних консерваторов, 26 либералов, не захотевших войти в коалицию, 73 синнфейнера и 16 человек разных мелких течений).

Но, несмотря на эту воинственную и германофобскую предвыборную платформу, Ллойд-Джордж после перемирия стал постепенно переходить на позицию, которая совершенно не совпадала с позицией Клемансо. В сущности Англия уже получила в момент перемирия все то, из-за чего она воевала: 1) Германский военный флот кончил свое существование. 2) Германский торговый флот был в полной власти англичан, и было ясно, что они из этого флота возьмут себе все, что захотят взять. 3) Все африканские колонии Германии, все австралийские островные ее владения были в руках англичан, и тоже было ясно, что за вычетом, может быть, Камеруна и Того, которые придется отдать французам, все остальное останется за Англией. 4) Багдадская железная дорога или значительная ее часть тоже несомненно должна была достаться Англии. 5) Проигранная война со всеми ее последствиями страшно подрывала экономическое процветание Германии, вычеркивала ее *вовсе* как возможного конкурента в деле захвата рынков сырья и сильно сокращала все германские шансы в соперничестве с Англией на внеевропейских рынках сбыта. Вот, собственно, и все, что Англии требовалось *от Германии*: ведь главная территориальная добыча Англии была не в Германии (и даже не в германских колониях), а в Месопотамии, Аравии, Палестине. Мы еще коснемся этой стороны дела, когда перейдем к Севрскому миру с Турцией. Германия же была по отношению к Турции и былым ее владениям несуществующей величиной: без флота, совершенно отрезанная от Малой Азии (и от Балканского полуострова) вновь возникшими государствами — Чехословакией, Югославией,— совершенно обессиленная, чтó могла предпринять она против английских

планов, если бы даже она посмела об этом подумать? Итак, уничтожать и губить Германию еще и дальше многие представители английского империализма (хоть и далеко не все) находили бесцельным, *мало того* — *даже* вредным, поскольку дальнейшее уничтожение Германии могло дать французам гегемонию над континентальной Европой и отчасти воскресить наполеоновские времена полного преобладания Франции на континенте. Все это вовсе не входило в английские расчеты.

С другой стороны, Германия и Англия еще до войны были связаны многочисленными торговыми и финансовыми операциями, и Германия была крупнейшим рынком сбыта для английских товаров (*вторым* по своему значению для Англии). *Полное* разрушение Германии и с этой точки зрения было для Англии нежелательно. Таковы были разнообразные мотивы, по которым Ллойд-Джордж готовился к открытию мирной конференции 18 января 1919 г. как к началу трудной и длительной дипломатической борьбы с французским премьером Клемансо, «старым тигром», как его называли не только во Франции, но и в Англии.

Наконец, третий властелин — Вильсон — являлся в момент окончания войны величиной еще не вполне разгаданной и для побежденных врагов и для внимательно (и уже давно) присматривавшихся к нему союзников.

Конечно, в галерее Белого дома, где сохранены портреты всех президентов, глаз посетителя всегда будет искать прежде всего Вашингтона, Линкольна и Вильсона. Но угрюмая фигура последнего несравненно загадочнее двух других, которым тоже привелось сыграть большую историческую роль. Тут мы, конечно, не можем задаваться целью представить сколько-нибудь полную его характеристику и только отметим некоторые черты его политики, без понимания которых трудно разобраться в его действиях.

Прежде всего, конечно, нужно отбросить прочь все бесчисленные слащавые восхваления, в стиле жизнеописаний святых божиих подвижников, т. е. всю литературу о Вильсоне, написанную в духе книги Бэкера «Вудро Вильсон» [1]. Все эти попытки сделать из Вильсона возвышающегося над суетными людскими страстями и интересами апостола гуманности, прогресса и демократии, конечно, не имеют ни малейшей исторической ценности. Несомненно, теоретически он был сторонником демократии и лично был, например, доволен уничтожением во время войны четырех военных монархий (русской, германской, австрийской и турецкой). Но *никогда* эти и вообще теоретические соображения не играли решающей роли в его действиях. Когда, например, он (к изумлению непредупрежденного американского посланника O'Shahanessy) систематически через посредство своих секретно посылаемых доверенных агентов губил мексиканского генерала

Хуэрту и поддерживал в Мексике убийственную для страны анархию, то он это делал не из любви к демократии (противники Хуэрты были гораздо реакционнее его), а только потому, что успокоение и политическое укрепление Мексики были невыгодны нефтепромышленному капиталу Соединенных Штатов [2]. Когда он носился с проектами Лиги наций, учреждения, с которым он *навеки связал свое имя, то он не забыл ясно и определенно* дать понять, что эта будущая Лига наций ни в каком случае не должна иметь права вмешиваться в отношения между Соединенными Штатами и другими государствами американского континента, т. е. слабыми республиками Центральной и Южной Америки, потому что это вмешательство противоречило бы «доктрине Монро» (о невмешательстве европейских держав в дела американского континента). Другими словами, слабые державы Европы (или Азии) имеют возможность искать защиты у Лиги наций, если на них нападет или их обидит сильный сосед, но Чили, Боливия, Никарагуа, Мексика, Парагвай и т. д. *не* должны иметь этой защиты, если президенту Вильсону или его преемникам покажется уместным присоединить какое-либо из этих государств к Соединенным Штатам: такая защита воспрещена предусмотрительно вставленной Вильсоном статьей 21 статута Лиги наций. Государства Южной и Центральной Америки были этой статьей очень обижены и встревожены.

В таком духе он действовал *всегда,* без всякого исключения. *Никогда* не бывало так, чтобы его политические, социальные, религиозные и моральные «идеалы» накладывали бы на его волю хоть самое незначительное ограничение или вызывали бы для Соединенных Штатов хоть какой-нибудь ущерб, расход, стеснение или отказ от какого-либо преимущества. Клемансо, не любивший Вильсона, сказал о нем на приеме делегации радикальной партии через несколько дней после перемирия [3], когда один сенатор восхвалял идеализм Вильсона: «Это — не идеалист. Идеалист, это — тот человек, который строит социальное здание по своему идеалу. Вильсон же — практический человек, который сначала строит для себя хороший дом, очень просторный, на солидном фундаменте, а когда дом готов, он водружает на верхушке свой «идеал», подобно тому как каменщики водружают там свой флажок».

Когда президент Вильсон прибыл 14 декабря 1918 г. в Париж, то он был встречен пушечными салютами и звоном церковных колоколов, как триумфатор, как спаситель, как человек, решивший исход войны. Его популярность была в этот момент огромна. Даже в части рабочего класса Англии, Франции, Германии его не смешивали с остальными победителями. «Вильсоновский мир», «демократический мир», «вильсоновская эра истории» — эти слова были в большом ходу в последние два месяца

1918 г. и в самом начале 1919 г. И в самом деле, Вильсон обо всем этом говорил: и о том, что только что кончившаяся война будет последней, и о пощаде и гуманности к побежденным, и о самоопределении народов, т. е. о праве каждого народа распоряжаться своей судьбой. Но все это были именно *слова*: заинтересованность Вильсона тут не была так велика, чтобы он пытался отстаивать их со всей энергией и со всем авторитетом, какие у него были. Вот почему он был так уступчив в Париже в 1919 г.

По словам ближайшего подчиненного Вильсона, статс-секретаря Лансинга, например, та же постоянно повторявшаяся президентом на мирной конференции фраза о самоопределении (selfdetermination) народов была «начинена динамитом» (the phrase is simply loaded with dynamite). Конечно, если бы применить этот принцип хотя бы самым осторожным, самым скупым, самым консервативным образом, то, например, от Британской империи почти ничего не осталось бы и в помине. Это было вполне очевидно. Но так как столь же очевидно было и то, что никто из договаривающихся держав не посмеет и заикнуться о «самоопределении» Индии, Ирландии, Египта и т. д., то именно поэтому Ллойд-Джордж не только ни в малейшей степени не стеснялся этой фразы, но, напротив, с жаром одобрял Вильсона. Лансинг нашел в этой фразе динамит: этим динамитом можно было взорвать Германию, можно было попытаться лишить Россию выхода к Балтийскому морю (а может быть, и к Черному), наконец, можно было со временем грозить владениям Франции в Сирии, но Англии все это не должно было коснуться. И не коснулось дипломатически. Но коснулось *революционно*. Сначала в Ирландии, потом в Египте, одновременно в некоторых местах Индии, наконец, в Китае. Это, однако, уже выходит из хронологических рамок предлагаемого тома моей работы. На самой конференции принцип «самоопределения» Англии не повредил. Так было со всеми «принципами», которые Вильсон явился проповедовать на конференции. Ведь самая позиция его на конференции была одновременно и очень сильна, и в известных отношениях крайне слаба. Силен он был именно тем, что еще в большей мере, чем Ллойд-Джордж, получил уже *до* конференции все, из-за чего Америка воевала: 1) Антанта победила, значит, не обанкротилась и будет платить Соединенным Штатам долги и проценты. 2) Германия повержена, и отныне ни в Южной Америке, ни в Китае нечего ее опасаться (ни ее экономической силы, ни политических претензий, ни интриг в Японии и Мексике). 3) Освобожденная от всех европейских забот и опасений Великобритания, связанная с Соединенными Штатами теснейшими экономическими узами, получила отныне возможность порвать свой союз с Японией, пере-

нести свою морскую силу на Тихий океан и здесь со временем помочь Соединенным Штатам против Японии. (И в самом деле, Англия уже разорвала свой союзный договор с Японией и ныне строит грандиозную морскую базу в Сингапуре, явно направленную исключительно против Японии.)

Все эти и другие (тоже крупные) блага принес Соединенным Штатам самый факт сокрушения Германии, и этих достижений никакая конференция не могла у Вильсона отнять. В этом была его сила. А слабость его личной позиции заключалась в том, что для проведения своих «идеалов» он не имел в сущности никаких средств. Во-первых, эти идеалы (демократия, Лига наций, самоопределение народностей, снисхождение к Германии и т. д.), никак не затрагивавшие интересов Соединенных Штатов, были и чужды, и ненужны, и поэтому антипатичны вашингтонскому конгрессу (и особенно сенату), и в Европе знали, что Вильсон в этих своих требованиях одинок, да он и сам это знал. Во-вторых, с момента крушения Германии американская помощь была совершенно уже ненужна ни Англии, ни Франции: они уже держали безоружную Германию под пятой, и она не могла пошевелиться и ждала своего приговора с покорностью и безнадежностью. Клемансо и Ллойд-Джордж уже не нуждались в Вильсоне.

При этих обстоятельствах французы (Клемансо и стоявший за ним президент республики Пуанкаре) только тогда должны были считаться с Вильсоном, когда в возникавших спорах на его сторону становился Ллойд-Джордж. Но Ллойд-Джордж не часто и не очень энергично становился на его сторону. При всей разнице в конечных устремлениях Ллойд-Джордж сплошь и рядом должен был уступать Клемансо и вообще не очень хотел с ним ссориться. Он знал, что есть в Англии слои (и очень влиятельные — металлурги, хлопчатобумажники, судовладельцы), которые вовсе не желают очень скорого «восстановления» Германии и поэтому склонны не мешать Клемансо делать его дело. А сверх того Ллойд-Джордж знал, что за мирным договором с Германией последует конференция по вопросу о мире с Турцией (т. е., точнее, об окончательном разделе Турции) и что там поддержка Франции может по некоторым важным вопросам весьма пригодиться. Таковы были главные течения на конференции, торжественно открывшейся в Париже, в зале министерства иностранных дел, 18 января 1919 г. (18 января — годовщина провозглашения в 1871 г. Германской империи.)

2

Конференцию открыл президент Французской республики Пуанкаре, произнесший при этом речь, полную гнева и угроз по адресу побежденных. Это был как бы замаскированный ответ на

ту речь, которую сказал Вильсон в Англии 30 декабря 1918 г. Вильсон там говорил, что «до сих пор» миром управляли «интересы», теперь же этого не будет и воцарится право, «равновесие интересов» и т. д. Из слов Пуанкаре (тоже, конечно, говорившего о «праве») можно было понять, что «равновесия», пожалуй, может и не быть.

Вслед за тем председателем мирной конференции был избран французский премьер-министр Жорж Клемансо. Это еще более ослабило позицию Вильсона. Когда президент Вильсон прибыл в Париж 14 декабря 1918 г., вовсе еще не было решено, что именно он будет делегатом от Соединенных Штатов, но самому Вильсону этого хотелось, а Клемансо убедил его окончательно. Дело в том, что расчет Клемансо, по словам статс-секретаря Лансинга, был совершенно правилен: в качестве не участвующего на конференции, в качестве главы государства, конечно, Вильсон скорее мог бы обратиться в суперарбитра конференции, чем участвуя в заседаниях в качестве рядового члена [4].

Клемансо председательствовал. «Старый французский самодержец», как его называет Роберт Лансинг, вел заседания быстро и нервно, не очень терпимо выслушивая возражения, и в большинстве вопросов одерживал верх и ставил на своем. Довольно скоро «совет десяти» представителей победивших держав превратился в «совет четырех».

Принципиально было решено, во-первых, что все союзники заключат мир с каждой воевавшей против них страной порознь, т. е. отдельно с Германией, с Австрией, с Турцией, с Болгарией и с отделившейся от Австрии Венгрией. Затем еще до конференции состоялось общее решение *не допускать* ни одну из побежденных держав до участия в переговорах, а выработать для каждой из них полный текст и затем *приказать* подписать его.

По этим двум вопросам разногласий не было. Но маленькие разногласия (быстро, впрочем, поконченные) возникли по вопросу о способе работы. На конференцию съехались делегаты всех держав, бывших с Германией в войне в момент заключения перемирия. Таких держав оказалось 27. Клемансо первый воспротивился участию всех делегатов в ежедневной работе по выработке мирного трактата. В числе этих 27 держав было немало таких, которые примкнули к Антанте в процессе войны, под давлением Англии и Соединенных Штатов, рассчитывая так или иначе поживиться за счет германских торговых судов или предприятий при окончательном разгроме Германии. Некоторые из таких объявлений войны были, однако, для Германии очень чувствительны, ибо наносили ей страшный экономический вред, колоссальные и трудно поправимые убытки (например, Китай, вступивший в число воюющих держав весной 1917 г.). Допускать их теперь к деятельному участию Клемансо не хотел.

Была речь сначала о 10, потом о 5 «великих» державах. Япония уклонилась, так как ее интересы были сравнительно далеки от европейских дел, и она уже в 1914 г. заняла все владения Германии в Китае. В конце концов руководящая работа сосредоточивалась, как сказано, в *совете четырех* (представителей четырех держав: Англии — Ллойд-Джорджа, Соединенных Штатов — Вильсона, Франции — Клемансо и Италии — Орландо).

Орландо роли не играл. Да и все интересы Италии были связаны с договором с *Австрией*, а пока шла речь только о договоре с Германией. Совет четырех превратился, таким образом, фактически в *совет трех*, и после всего сказанного ясно, что среди этих трех воля Клемансо должна была восторжествовать по всем главным пунктам.

Совет четырех заседал в обстановке, гарантировавшей полную и непроницаемую тайну того, что происходило на заседаниях. Да и теперь еще мы полностью этого не знаем, если не считать кое-каких «нескромностей», вырвавшихся из-под пера Лансинга, Кэйнса, Бэкера, Тардье и некоторых других лиц, более или менее близких к кому-либо из членов совета четырех.

Мы знаем, что прения иногда очень обострялись и что 78-летний Клемансо повышал общую напряженность в заседаниях своими резкими заявлениями, неукротимым упорством, грубыми выходками, раздражительной неуступчивостью. «Каждый день мы находили, что старый тигр стал одним годом моложе и что у него вырос новый коготь»,— вспоминал впоследствии об этих трудных заседаниях Ллойд-Джордж, отказывавшийся, однако, давать более конкретные детали о том, что происходило.

Мы знаем только, что Клемансо не удалось провести отторжение от Германии всего левого берега Рейна (как на том настаивал Фош и некоторые другие военные); не удалось настоять на оккупации германских земель вплоть до полной уплаты всех должных сумм (как этого желал президент республики Пуанкаре). Были и еще кое-какие вопросы, по которым оппозиция Вильсона и Ллойд-Джорджа была так настойчива, что Клемансо уступил; но в общем мирный трактат прошел почти полностью в том виде, как он был желателен Клемансо. Президент республики Пуанкаре занял такую позицию: хотя каждая статья трактата, перед тем как поступала на обсуждение совета четырех, представлялась ему в Елисейский дворец, он впоследствии отклонял от себя полную ответственность за этот документ и давал понять, что Клемансо пошел еще на слишком большие уступки в пользу Германии. Эта позиция Пуанкаре выявилась, однако, лишь впоследствии, особенно в 1920—1923 гг. А пока он при всяком удобном случае выражал по адресу Клемансо полное благоволение. О том, как обращался Клемансо со своими коллегами по совету четырех, может дать понятие хотя

бы следующий факт. Уже текст трактата был выработан, уже эта большая рукописная книга поступила в типографию и уже кончалось печатание ее, уже германские делегаты были вызваны в Версаль для передачи им этого (пока никому еще не ведомого) текста, как вдруг, за три дня до передачи отпечатанного экземпляра немцам, Клемансо своей *личной* волей, не уведомив ни Вильсона, ни Ллойд-Джорджа (об Орландо не стоит и говорить), *изменил* текст одной важной статьи и написал, что державы, которые получат мандат на колонии (т. е., другими словами, державы, которые разделят между собой все германские колонии и турецкие владения), имеют право набирать туземные войска не только для «охраны порядка», но и для войны за метрополию. Узнавшие об этом члены совета четырех собрались на экстренное заседание 5 мая, требуя восстановления статьи в прежнем виде. Клемансо отделался словами, что Франции важно применение туземных войск для защиты французской территории. Он нехотя согласился на восстановление прежнего текста, что, конечно, нисколько не мешало милитаризировать французскую Африку после войны. Когда мирный договор был уже совершенно готов, то общему собранию конференции, созванному для исполнения этой пустой формальности, предложили немедленно принять весь текст без поправок, что и было тотчас исполнено. Делегаты второстепенных «держав-победительниц» успели уже с января 1919 г. попривыкнуть к такому обхождению, и если роптали, то больше промеж себя и не очень громко.

Что касается общих собраний представителей всех победивших держав, то Лансинг, участник и наблюдатель этих собраний, называет их категорически «фарсом». Их созывали вовсе не затем, чтобы они высказывались, а затем, чтобы они без разговоров и неуместной критики принимали все, что им наскоро прочтет Клемансо (из постановлений «совета четырех»). Все это отзывалось «средневековьем» и «деспотизмом», как говорит тот же Лансинг, и ни у Вильсона, ни у Ллойд-Джорджа не хватило бы духу (по его мнению) так поступать, как поступал Клемансо. Но французский премьер «не страдал муками нерешительности»[5]. Презрение, гнев, ядовитая насмешка, непоколебимейшая самоуверенность, принципиальное отрицание за оппонентом права на критику по существу, огромный темперамент, быстрый, зоркий, цинично настроенный (относительно всего и всех) ум — все это устрашало. Клемансо заставлял людей както сжиматься перед собой. Но, конечно, не в этом только было дело, и ни Лансинг, ни другие первоисточники, говорящие о конференции, не дают нам истинного объяснения почти полной удачи самодержавной манеры Клемансо на этой конференции, в руки которой перешли в зимние и весенние месяцы 1919 г.

судьбы почти всей земли, кроме России и некоторых стран Южной Америки.

О главных причинах преобладающей роли Франции на конференции нами уже было сказано. И если Клемансо в четырехмесячной борьбе удалось отстоять главные свои позиции от Вильсона и Ллойд-Джорджа (единственных людей, с которыми он принужден был считаться), то на «общее собрание» 27 «держав-победительниц» он и на этот раз, когда принимался весь текст договора, не обратил никакого внимания.

Когда эта формальность была окончена, Клемансо дал знать германскому правительству, чтобы оно прислало в Версаль делегатов для сообщения им текста договора и подписания его. Заседания конференции (и совета четырех) происходили все время в Париже, но Клемансо решил, что мирный договор будет подписан непременно в Версале, в старом дворце Людовика XIV, в том самом зеркальном зале (Galerie des Glaces), где 18 января 1871 г. победитель Франции, прусский король Вильгельм I, был провозглашен германским императором. По желанию Клемансо, унижение Германии должно было быть приурочено к тому самому месту, где за сорок семь лет до того возникла могучая, ныне павшая Германская империя.

7 мая 1919 г., в годовщину потопления «Лузитании», графу Брокдорф-Ранцау, министру иностранных дел Германской республики, прибывшему в Версаль во главе германской мирной делегации, был вручен текст мирного договора.

Победители и побежденные впервые после заключения перемирия в вагоне маршала Фоша снова встретились лицом к лицу.

3

Очень много воды успело утечь между этими двумя встречами. Когда 8 ноября 1918 г. Эрцбергер вошел в вагон маршала Фоша, он был представителем Германской империи; когда 11 ноября он подписывал в том же вагоне условия перемирия, он совершал этот акт уже от имени Германской республики, потому что 9 ноября произошел переворот. Но в течение всего своего пребывания в Компьенском лесу Эрцбергер знал, что в Германии бушует революция и что даже приблизительно нельзя сказать, во что она выльется. Эта неизвестность, с одной стороны, ослабляла позицию Эрцбергера перед лицом Фоша (если только можно было ее еще ослабить), но, с другой стороны, вносила некоторый элемент, который беспокоил Фоша и лиц, выше его стоявших, беспокоил всех правителей Антанты, хоть они и не хотели тогда в этом сознаться. Что, если в Германии произойдет социальная революция? Что, если эта революция перебросится дальше? Но даже если бы она дальше и не перебросилась, как

заключать мир и взыскивать долги с Германии? Оккупировать ее? Но пример германской оккупации на Украине показывал, во что обращается армия, оккупирующая страну в подобный момент.

Теперь, 7 мая 1919 г., когда Брокдорф-Ранцау занял за столом свое место напротив Клемансо, элемент неизвестности успел значительно уменьшиться.

Напомним, в главных чертах, что́ пережила Германия в эти полгода — между перемирием и сообщением германским делегатам полного текста проекта мирного договора.

Мы видели, что начавшееся в последние три дня октября 1918 г. в Киле и портовых городах революционное движение перебросилось в армию и уже 7—8 ноября охватило Мюнхен, некоторые крупные центры запада (Кельн, Майнц) и стало приближаться к Берлину. 9 ноября в 12 часов дня рабочие покинули фабрики и начались громадные процессии по всем главным улицам столицы. Была провозглашена всеобщая стачка, и образовавшийся в Берлине Совет солдатских и рабочих депутатов стал в эти первые часы во главе движения. Сразу же обнаружилось, что берлинский гарнизон присоединяется к революции. Канцлер Макс Баденский передал свои полномочия члену президиума социал-демократической партии Фритцу Эберту. Одновременно, своею властью, он опубликовал об отречении Вильгельма II и его сына от престола. В послеобеденные часы процессии из разных частей города стали сосредоточиваться близ рейхстага. Бесчисленные красные знамена и плакаты с девизом: «Мир, свобода, хлеб!» высились над толпой. Из окна рейхстага Шейдеман обратился к народу с речью, в которой говорил об отречении императора, провозглашал «Великую германскую республику» и увещевал воздерживаться от насилий. Почти одновременно Карл Либкнехт говорил народу из императорского дворца. Либкнехт, освобожденный из заключения (продолжавшегося с 3 мая 1916 г.) 21 октября 1918 г., стал во главе Спартаковского союза, принявшего программу и платформу Советской республики. Власть перешла в руки шести народных уполномоченных (Volksbeauftragte), где влияние было разделено между шейдемановцами и независимыми социалистами. В Совет народных уполномоченных попали Эберт, Шейдеман, Ландсберг, Гаазе, Дитман и Барт. Независимые (не все, но некоторые) сильно симпатизировали в это время спартаковцам. Шейдемановцы, однако, с первых же дней решили начать борьбу. Лозунгом их был созыв Национального учредительного собрания, и на их сторону стала вся очень сильная, несмотря ни на что, германская буржуазия. На стороне спартаковцев в то время была могучая сила: гнев за страшные страдания народа во время нелепо начатой истребительной войны, полное крушение старой власти,

унижение, падение монархии, раздражение масс по поводу поведения шейдемановцев во время войны. Но на стороне социал-демократов большинства были иные силы, социологически более даже и в тот момент прочные, которые должны были восторжествовать, хотя и не без борьбы, собственно говоря, в тот момент вокруг них сгруппировались все силы буржуазной Германии.

Конечно, колоссальную роль сыграло и то, что перемирие было уже заключено, никто больше не гнал солдат на фронт, и армия не имела непосредственных поводов стоять за дальнейшее углубление революции. Нужно еще прибавить, что явное нежелание Антанты вести переговоры с кем бы то ни было, кроме Национального собрания, также сильно поднимало шансы последнего в борьбе против спартаковцев. Стоит почитать мемуары княгини Блюхер, чтобы навсегда запомнить ее ликование при известии, что Антанта не хочет вести переговоры с крайними революционными элементами. Именно с этого момента княгиня Блюхер и удостоверилась в поражении спартаковцев. Наконец, раз уж речь зашла о сравнениях с Россией, нельзя забывать, что в России вся деревня (т. е. почти вся страна) была давно уже минирована и почва для социального взрыва была налицо, даже независимо от рабочего вопроса, от армии, от всех прочих условий. А в Германии, в деревне, рядом с батрачеством существовало сильное собственническое крестьянство, многочисленная и организованная сельскохозяйственная мелкая буржуазия, крепко спаянная с крупными землевладельцами не только идейно, но и организационно (вспомним Союз сельских хозяев). Крупные аграрии, мелкие землевладельцы, владельцы «рыцарских поместий», крестьяне-собственники, словом, все владельцы и руководители сельскохозяйственной промышленности делали золотые дела в первые годы после войны. До войны в Германию ввозилось очень много продуктов для питания: почти 25% всего иностранного ввоза составляли хлеб, всякого рода овощи, живность. В 1919—1920 гг. этот ввоз еще усилился и дошел до 40% (всего ввоза из-за границы). С 1921 г. ввоз этих продуктов стал уменьшаться, и довольно круто. Катастрофа марки мешала делать большие закупки за границей. И вот тогда-то крупные и мелкие землевладельцы сделались монополистами внутреннего рынка. Деревня стала люто эксплуатировать город. Продолжалось это во все время бумажной инфляции: в 1919, 1920, 1921, 1922, 1923 гг. Землевладельцы продавали свои продукты по неслыханной цене и немедленно же скупали дома, бриллианты, жемчуг, рояли, картины, автомобили, мебель, расширяли свое хозяйство. Вся собственническая деревня деятельно поддерживала контрреволюционное движение в эти первые критические, послевоенные годы. Все эти обстоятельства вместе оказались сильнее того бурного гнева, который на некоторое время

сделал Карла Либкнехта и Розу Люксембург истинными вождями революционного наступления. В этой книге, имеющей целью главным образом лишь отметить основные вехи в развитии событий, было бы неуместно излагать день за днем историю борьбы спартаковцев против социалистов большинства в ноябре, декабре, январе 1918—1919 гг., хотя эта борьба полна самого захватывающего интереса, и не только потому, что яркие, трагические фигуры Либкнехта и Розы Люксембург приковывают к себе внимание. Для социолога, для исследователя массовой психологии, для политика детальное изучение этого периода (в настоящее время еле начавшееся) может представить колоссальный интерес. Поражение революционного меньшинства в 1919 г. было предрешено отмеченными выше особенностями исторической германской обстановки. Но перипетии борьбы полны глубокого значения.

Тут ограничимся лишь напоминанием некоторых моментов. Борьба в течение первого месяца в Берлине, в Киле, в Мюнхене, в Вюртемберге, в Саксонии между спартаковцами и социалистами большинства все обострялась. Независимые колебались между обоими лагерями.

16 декабря 1918 г. собрался конгресс рабочих и солдатских Советов Германии. На конгрессе обозначилось резкое расхождение в недрах партии независимых социал-демократов: одна часть (под предводительством Ледебура) сблизилась со спартаковцами, другая (Гаазе) заняла позицию, более благоприятную для социал-демократов большинства. Левая часть конгресса стояла за лозунг «Вся власть Советам»; правая часть — за Учредительное собрание. Съезд проходил при очень напряженной атмосфере, заседания прерывались нередко грандиозными демонстрациями рабочих. Эберт, Шейдеман энергично вели агитацию в пользу Уредительного собрания. В конце концов за Учредительное собрание и созыв его не позже 19 января 1919 г. высказалось 400 голосов против 75.

Но революционное возбуждение после этого не упало. Напротив, мысль о непосредственном вооруженном восстании все более и более распространялась среди спартаковцев и части независимых. После конгресса Советов революционная борьба в Германии вступила в особенно острый фазис. Народная морская дивизия (Volksmarine-Division), главная вооруженная сила в декабре 1918 и январе 1919 г. в Берлине, склонялась к лозунгу «Вся власть Советам». Правительство («народные уполномоченные») не имело единой тактики и колебалось. Попытка народных уполномоченных свести численность «морской дивизии» с 1600 человек до 600 не удалась. На почве этой борьбы из-за морской дивизии 23 декабря 1918 г. вспыхнуло восстание. Правительство вызвало на помощь себе генерала Лекиса с войсками

из Потсдама. Вооруженная борьба длилась два дня — 23—24 декабря, и с обеих сторон были убитые и раненые. В конце концов матросы морской дивизии оставили занятый ими дворец, причем их выпустили с оружием в руках. Возбуждение ничуть не прекратилось после этого первого столкновения. Центральный Совет солдатских и рабочих депутатов большинством голосов высказался за политику «народных уполномоченных», которые вызвали из Киля Носке и включили его в свой состав (тотчас после 23—24 декабря). Все это предвещало неминуемый новый взрыв. В столице происходили непрерывные демонстрации. В день похорон убитых матросов на одних плакатах значилось: «За Эберта и Шейдемана»; на других: «Долой кровавых собак — Эберта и Шейдемана».

Резко революционно была настроена, в частности, масса безработных.

В первое время после войны целый ряд обстоятельств способствовал болезненно-сильному кризису безработицы в Германии. Во-первых, уничтожение армии (не демобилизация, как в других странах, а уничтожение — по Версальскому договору — *воинской повинности*) выбросило на рынок предложения труда 940 тысяч человек, которые прежде были в мирном составе германской армии или обслуживали армию и ее учреждения,— и это уже принимая в соображение 100 тысяч человек, которые получили заработок в разрешенной Версальским договором новой армии. Во-вторых, уничтожение (в первые годы) торгового пароходства лишило заработка 77 тысяч человек, прежде кормившихся при этом деле. В-третьих, высылки или добровольные переселения немцев из всех потерянных Германией частей ее территории (Эльзас-Лотарингии, Познани, Западной Пруссии, Силезии, Эйпена и Мальмеди, северного Шлезвига), а также из всех колоний, полностью потерянных Германией. В общем этих новых пришельцев, неимущих и безработных, считают около 800 тысяч человек.

В-четвертых, в первый год после войны социально-политические потрясения сильно сократили производство, и много рабочих было выброшено на улицу. Если статистика показывает, что официально зарегистрированных безработных оказалось, при этих условиях, 1 миллион человек, а не больше, то это объясняется тем, что среди 2 миллионов убитых и искалеченных на войне был *громадный* процент рабочих, «освободивших» таким образом свое место...[6] Из безработных около 1/4 было сосредоточено в Берлине. Но уже со второй половины 1919 г. положение стало улучшаться. Вследствие падения германской валюты спрос на немецкие товары быстро возрастал, и к концу 1919 г. безработных в Германии было всего 400 тысяч человек, а к 1 июня 1920 г.— 270 тысяч. Правда, были еще перебои, но в об-

щем безработица продолжала уменьшаться. Это не значит, что рабочий класс стал переживать сколько-нибудь нормальные времена.

Не забудем, что именно в эти первые месяцы после перемирия народ, особенно рабочий, узнавал то, что так долго скрывала военная цензура, и вся чудовищность и нелепость политики, приведшей к войне и действовавшей во время войны, выяснялась все более и более. Разоблачения следовали за разоблачениями, и многие из тех (не только рабочих, но и из интеллигенции, из мелкой, а отчасти и средней буржуазии), которые не разделяли коммунистической программы Либкнехта и были по своим взглядам гораздо ближе к правым социал-демократам или буржуазным радикалам, в *эти* первые недели после войны ненавидели Эберта, Шейдемана, Носке, Давида и их товарищей за моральное соучастие в политике павшего императорского правительства, за косвенное участие в систематической лжи, которой питали народ четыре с половиной года подряд. А Либкнехт стоял в эти дни перед народом в ореоле героя, не побоявшегося никаких преследований и заплатившего годами тюрьмы за то, что не хотел лгать и пытался открыть Германии глаза на ту пропасть, куда ее толкали. Его моральное влияние в конце 1918 и начале 1919 г. было чрезвычайно сильно, и притом вовсе не только в левых кругах рабочей массы. То же самое нужно сказать о Розе Люксембург.

Что касается рядовых спартаковцев, то резко революционное настроение их лучше всего характеризуется вотумом на общегерманской спартаковской конференции (собравшейся 30 декабря 1918 г.), где предложение Либкнехта и Розы Люксембург принять участие в выборах в Учредительное собрание было *провалено* левым большинством (62 голоса против 23). В Руре и других промышленных областях спартаковские выступления против социал-демократов большинства все учащались и учащались. Независимые социалисты ушли из Совета народных уполномоченных, а также из прусского министерства. Но Эйхгорн, начальник берлинской полиции, заявил, что он не желает покидать своего поста, хотя правительство, зная, что он примыкает вполне к идее нового восстания, желало его удалить. 5 января 1919 г. вспыхнуло новое восстание под лозунгами: «Долой Эберта и Шейдемана» и «Вся власть Советам». Восставшие к вечеру заняли редакцию «Vorwärts» и некоторых других газет.

Во главе правительственных сил встал Густав Носке, член социал-демократической партии большинства. Он обратил на себя внимание еще в первые дни ноября, когда по предложению Шейдемана был отправлен в Киль, где впервые вспыхнула революция. Он был тогда назначен командующим войсками в Киле. Носке принадлежал к крайнему правому крылу социал-де-

мократической партии. Будущий биограф Носке, вероятно, потратит немало усилий, чтобы уяснить себе, почему Носке вообще оказался в социал-демократической партии. По всему своему настроению и складу он был и до войны и во время войны добрым бравым германским патриотом общепринятого казенного образца, националистом, сначала радостно уверенным в военной победе, потом тоскующим, что она ускользает. Если он и любил что-либо всей душой, то именно эту будущую германскую военную победу над всеми врагами и супостатами; если что ненавидел безмерно, со всей страстью, то именно идею революции. Но тут у нас нет места останавливаться на психологическом анализе. Нужно лишь отметить, что у этого человека были очень крутая воля и решительность и очень большой и ярый азарт борьбы, и он эти свойства тотчас же пустил в ход в деле подавления революционного движения. 6 января 1919 г. он принял командование всеми вооруженными силами в столице. После уличных боев, то возобновлявшихся, то прекращавшихся в течение нескольких дней, 12 января победа правительства обозначилась вполне ясно. Уже 6 января против восставших двинуты были оставшиеся на стороне правительства войска, а также добровольцы, которым было роздано оружие. День прошел без решительных актов со стороны восставших. К вечеру обнаружилось, что спартаковцы не могут рассчитывать на помощь некоторых воинских частей, о настроении которых еще до восстания были получены благоприятные для спартаковцев сведения.

10 января правительственные войска пытались овладеть зданиями захваченных спартаковцами газет, но были отброшены. Носке устроил свою главную квартиру в Далеме, в предместье Берлина. 11 января Носке решил, что у него достаточно сил (все эти дни к нему подходили войска из провинции), и перешел в наступление. Занятые здания были отняты у спартаковцев, и в разных частях города начались частичные бои, очень упорные и кровопролитные. Многие спартаковцы были в эти дни 11—14 января расстреляны без суда и следствия во дворе драгунских казарм. Ледебур был арестован; Эйхгорн, Либкнехт, Роза Люксембург избежали немедленного ареста, но вскоре Либкнехт и Роза Люксембург были арестованы в Вильмерсдорфе (в Берлине). Они были задержаны 15 января в половине десятого вечера. Арестованные были привезены для предварительного допроса в отель «Эден», где помещался штаб кавалерийской стрелковой дивизии. Из отеля их должны были доставить в Моабитскую тюрьму. Но когда Либкнехта вывели из отеля, гусар Рунге изо всех сил ударил его несколько раз рукояткой револьвера по голове, а спустя несколько минут, когда автомобиль с арестованным уже был в Тиргартене, Либкнехт был убит начальником конвоя капитаном Пфлугк-Гартунгом (который утверждал, что

стрелял в Либкнехта потому, что тот будто бы пытался бежать: вся обстановка убийства решительно противоречила этому утверждению). Когда из отеля «Эден» вывели Розу Люксембург, сначала ее ударил по голове тот же гусар Рунге, а затем, когда ее уже посадили в автомобиль, лейтенант Фогель, вскочив на подножку автомобиля, выстрелил в нее из револьвера. Труп убитой был брошен в канал. После нескольких сознательно лживых показаний о мнимой попытке бегства Либкнехта и Розы Люксембург, обстоятельства преступления были все же выяснены, и тем не менее виновные (Рунге и Фогель) понесли совсем ничтожное наказание, а Пфлугк-Гартунг был оправдан.

Первый, самый сильный шквал германской революции, начавшийся в последних числах октября 1918 г., этим январским восстанием закончился.

4

Дольше держалось (в этом первом фазисе германской революции) революционное движение в Баварии, где монархия была низвергнута еще за день до берлинской революции, уже 8 ноября 1918 г. Первым министром революционного правительства Баварии стал социалист (независимый) Курт Эйснер. Он мечтал о широчайших социальных реформах, но все внимание его поглощено было внешней политикой.

Идея Курта Эйснера с самого начала его деятельности в качестве баварского министра-президента (т. е. с момента баварской революции) заключалась также в целой системе защиты интересов побежденного германского народа от непомерных требований Антанты. Эта защита основывалась на том, что германская революция, устранившая «виновников» мировой войны, тем самым позволяет отныне германскому народу надеяться на справедливое отношение со стороны победителей. Но для этого требовалось, по его мнению, решительное отмежевание новых, революционных властей от какой бы то ни было солидарности с павшими германскими монархами и прежде всего с империей Гогенцоллернов. У Курта Эйснера было вообще глубокое нерасположение к верховенству Пруссии над другими частями Германии, и он с недоверием относился также к Эберту и Шейдеману, к социал-демократам большинства, в эти дни, после ноябрьского переворота, возобладавшим в Берлине. Из всех этих настроений Курта Эйснера (а его поддерживали в первое время все независимые социал-демократы и даже некоторая часть мелкобуржуазных радикалов) сложилась тактика резко самостоятельной внешней политики Баварии, причем эта политика должна была направляться к примирению и сближению с Антантой. Внешняя политика Курта Эйснера в это первое время после но-

ябрьской революции пользовалась также некоторой поддержкой могущественной в Баварии католической партии центра: была слабая надежда как-то добиться этим путем пощады от победителей, может быть, для всей Германии, а особенно для Баварии. Это был слишком оптимистический и ошибочный взгляд. Курта Эйснера в его оптимизме поддерживал очень деятельно назначенный им на пост баварского посланника в Швейцарии профессор Ферстер, убежденный пацифист. Ферстер в Берне, где он жил, вступил в сношения с доверенным человеком самого Клемансо и долгое время думал, что французский первый министр пойдет на некоторое снисхождение к побежденным, если поверит в искренность отказа новой Германии от прежней политики и прежних настроений. Слабость этой позиции заключалась в том, что Антанта, с одной стороны, стремясь к отделению Баварии от Германии, с другой стороны, ни одного момента не помышляла хоть сколько-нибудь смягчить для той же Баварии общие условия подготовляемого мирного трактата. Поэтому Клемансо стороной и негласно изъявлял в общих выражениях свое благоволение к Баварии, но ровно ничего не только не делал для нее, но даже и не обещал. Кроме того, правительство Курта Эйснера, резко отрицательно относясь к Шейдеману и шейдемановцам, не усматривало союзника и в Карле Либкнехте, напротив, полагало, что если спартаковцы возьмут верх, то Антанта окончательно раздавит Германию. Так, прежде всего, казалось баварскому послу Мукле, назначенному в Берлин Куртом Эйснером [7]. Таким образом, правительство Курта Эйснера разделяло в этот момент общую участь «независимых» социал-демократов в Германии: оно не опиралось ни на правый, ни на левый фланг и обречено было на слабость и одиночество. Оно держалось, повторяю, теми надеждами, которые на него некоторое время возлагались в области внешней политики. Во всяком случае Давид, Шейдеман, Эберт были так ненавистны Курту Эйснеру, он до такой степени считал их в прошлом помощниками, а в настоящем — продолжателями Вильгельма II, что решил круто взять иной, вполне самостоятельный от Берлина курс баварской внешней политики. Тогда-то, 24 ноября 1918 г., он и сообщил прессе тот знаменитый документ, о котором я упомянул, говоря о начале мировой войны. Это был доклад, посланный 18 июля 1914 г. советником баварского посольства в Берлине Гансом фон Шеном тогдашнему баварскому министру-президенту графу Гертлингу. Впечатление как в Германии, так и за ее пределами было потрясающее. Выходило, что германское правительство не только знало о характере австрийского ультиматума Сербии, но и знало о том, что последствием непременно будет война и что *именно* для устройства себе лазейки и для отвода глаз Вильгельм выехал на морскую прогулку, так как именно эта цель и

была указана заблаговременно фон Шену имперским германским правительством. Все оправдания Бетман-Гольвега (еще жившего в 1918 г.), будто речь шла «только» о войне Австрии против Сербии, а не об общей европейской войне, плохо помогали делу: опубликованный документ продолжал производить подавляющее впечатление. Одновременно Эйснер опубликовал еще два документа (того же времени — июль 1914 г.) для доказательства, что Германия не желала, чтобы Австрия приняла предложение Грея о посредничестве; но эти документы не произвели такого впечатления, да и в самом деле они не очень доказательны сами по себе.

К слову замечу, что Эйснер и в первом документе допустил некоторые сокращения, но они по существу нисколько дела не меняли (хотя его враги потом обвиняли его в «подлоге» и т. д.).

Убийственное впечатление от публикации Курта Эйснера не только в спартаковских, но и в социал-демократических кругах и в широких буржуазных кругах было таково, что сановники павшего строя сразу оказались в положении обвиняемых. Сам Эйснер так характеризовал смысл своего поступка: «Каждому, кто умеет читать, каждому, кто честен, я показал, как преступная шайка (eine verbrecherische Horde) людей инсценировала эту мировую войну, подобно тому, как ставят на сцене театральную пьесу. Потому что эта война не *возникла*, а ее *сделали*» (denn dieser Krieg ist nicht entstanden, er ist gemacht worden). Особенно сильное впечатление произвела эта сознательная подготовка лазейки (отъезд Вильгельма на морскую прогулку, чтобы усыпить внимание и доказать свою непричастность к австрийскому ультиматуму). Спартаковцы требовали «суда над преступниками». В Англии, повторяя старые слова Ллойд-Джорджа, что Вильгельм в самом деле хотел не *этой* войны, а *другой*, более для него успешной, «Westminster Gazette» писала: «Никогда в истории ни одно преступление не было подготовлено с большим хладнокровием и большей обдуманностью». Во Франции разоблачения Курта Эйснера были приняты как решающее доказательство инициативной роли Германии в войне. Этот акт опубликования документов ускорил, несомненно, трагическую развязку: в монархических и националистических кругах твердо решили отделаться от Эйснера, на которого там смотрели и как на классового врага, и как на государственного изменника. Подавление спартаковского январского восстания в Берлине сильно приободрило всюду, в том числе в Баварии, назревавшую уже социальную реакцию. За свое короткое правление Курт Эйснер успел обнаружить также стремление поставить на очередь ряд широких социальных реформ, и собственнические круги убеждены были в том, что правление Курта Эйснера

является как бы подготовкой торжества спартаковцев. Вражда вокруг него все нарастала.

Избранный 12 января 1919 г. баварский ландтаг дал большинство буржуазным партиям. Крестьянская, собственническая, мелкобуржуазная, капиталистическая Бавария избрала ландтаг, большинство которого было очень враждебно настроено против Эйснера.

21 февраля ландтаг собрался в Мюнхене. В самый день открытия ландтага, 21 февраля 1919 г., Курт Эйснер был убит монархистом, лейтенантом графом Арко. Страшное возбуждение овладело как спартаковцами, так и независимыми социалистами в Баварии. Уже в марте состоялся съезд Советов в Мюнхене, и президентом Баварской республики был избран независимый социалист Зегетц. Попытка компромисса (предлагалось со стороны социал-демократов одновременное существование как ландтага, так и Советов) не удалась, ландтаг избрал премьером социал-демократа (большинства) Гофмана. 4 апреля войска, бывшие на стороне Советов, овладели зданием баварского сейма и провозгласили Советскую республику.

Низвергнутое баварское правительство с Гофманом во главе переехало в Бамберг, а Мюнхен и (временно) города Аугсбург и Вюрцбург остались во власти Советского правительства. Деревенские районы примкнули в большинстве к правительству Гофмана. Имперское правительство послало войска на помощь Гофману, и в первых числах мая Мюнхен был занят антисоветскими имперскими и баварскими силами. Начались жестокие репрессии, очень нескоро окончившиеся [8].

В Саксонии революционное движение в последние два месяца 1918 г. и в первые месяцы 1919 г. протекало параллельно с движением в Берлине и стало идти на убыль с середины января 1919 г. А 4 февраля в Дрездене собрался уже ландтаг Саксонской республики (42 социал-демократа — шейдемановца, 15 независимых, 13 немецко-национальной партии и 4 народно-немецкой партии). Как и в других отдельных германских государствах (кроме, как мы видели, Баварии), первый наиболее острый фазис революционного движения, поскольку дело касается 1919 г., закончился во второй половине января и в феврале. (О позднейших взрывах германской революции речь будет идти в другом месте.) Но спартаковские отдельные выступления еще продолжались и продолжались (17—21 февраля в Руре, 3—16 марта в Берлине, в начале февраля в Бремене, в апреле и начале мая в Лейпциге и т. д.).

С напряженным интересом в Германии ждали открытия Национального учредительного собрания. Еще 30 ноября 1918 г. был опубликован избирательный закон (установленный «народными уполномоченными», о которых речь шла выше). По этому

закону и позднейшим к нему прибавлениям избирательными правами пользуется каждый германский гражданин, достигший 20 лет, без различия пола. По этому закону около 35 миллионов человек получали право участия в выборах. Фактическое участие приняло около 30½ миллионов; выборы произошли тотчас после подавления восстания в Берлине, 19 января 1919 г. Вот их главные результаты:

Социалистов большинства (шейдемановцев)	163
Социалистов независимых	22
Христианской народной партии (бывший центр)	88
Демократической партии (буржуазные радикалы)	75
Германской народной партии (бывшие национал-либералы) .	21
Германско-национальной партии (консерваторы)	42
Мелких групп местного значения	10
Весь состав собрания . . .	421

В общем за обе социалистические партии было подано 13 827 тысяч голосов [9], за буржуазные партии, поддерживающие республику (центр и демократическая партия),— 11 622 тысячи голосов, *за монархистов (германско-национальная и германско-народная* партия) — 4467 тысяч голосов. Спартаковцы отвергли участие в выборах.

Национальное собрание открыло свои заседания 6 февраля 1919 г. в Веймаре. Спустя пять дней (11-го) оно избрало президентом Германской республики Фрица Эберта (члена социал-демократической партии большинства, бывшего рабочего-седельника), а 13 февраля был образован кабинет министров, куда вошли представители социал-демократов большинства, демократов и центра. Первым министром стал Шейдеман, военным — Носке, иностранных дел — граф Брокдорф-Ранцау. Председателем Национального собрания был избран Ференбах, бывший президентом рейхстага во время войны (член партии центра). Это было очень характерное избрание: Национальное собрание как бы демонстративно связывало Германию послереволюционную с Германией монархической. Ференбах ничем себя до той поры не проявил, кроме патриотических речей и верноподданнических приветствий Вильгельму во время войны. Министром без портфеля в кабинет Шейдемана вошел также Эрцбергер.

Два дела огромной важности должно было сделать это собрание: во-первых, заключить мир, во-вторых, дать Германии конституцию. Для выработки конституции была избрана комиссия под председательством Гуго Прейса. Что же касается мира, то здесь Национальное собрание оказалось в необычайно тяжелом положении.

5

Уж очень зловещие признаки умножались с каждым днем, уж очень тревожные вести неслись из Парижа. В отдаленном кабинете дворца французского министерства иностранных дел шли ежедневные секретные заседания совета четырех, и молва упорно повторяла, что Клемансо одолевает Вильсона, что о 14 пунктах Вильсона будто никто уже на заседаниях и не говорит, что готовятся самые убийственные условия для Германии. Правда, во всем мире говорили в эти же месяцы, что одновременно совет четырех вырабатывает статуты Лиги наций, «органа международной справедливости». Тогда еще не знали, что этот дорогой Вильсону проект Лиги наций повернулся не в пользу Германии, а против Германии. Дело в том, что Вильсон упорно желал сделать статут Лиги наций неразрывной частью будущего мира с Германией. Клемансо и Ллойд-Джордж на это пошли (учитывая, конечно, полнейшую реальную безвредность для них этого будущего учреждения) и именно поэтому могли без труда справляться отныне с оппозицией со стороны Вильсона: если что и не так рационально будет сделано, беды большой нет, ведь Лига наций все как-нибудь в будущем исправит. Именно это искусное использование против Вильсона его же собственного порождения — Лиги наций — и заставило впоследствии одного американского публициста сравнить Вильсона в совете четырех с «пуританским проповедником, заблудившимся в игорном притоне». Как мы видели выше, это сравнение опять-таки слишком идеализирует Вильсона, подменяет реального, исторического Вильсона каким-то воображаемым лицом. Если бы речь в Париже шла не об интересах Германии, а о реальных интересах Соединенных Штатов, то, конечно, с президентом никакие «игроки» не совладали бы. Вильсон всей своей жизнью показал, что, когда он *действительно* чего-нибудь хочет, то не останавливается перед самыми решительными действиями.

К числу признаков, очень тревоживших веймарское Национальное собрание, относилось неприглашение германских делегатов на переговоры. Это было и тяжким, небывалым унижением национального самолюбия, и вместе с тем указанием на необычайно жестокий характер подготовляемых условий. Мир продиктованный, который враги прикажут подписать (ein Diktatfrieden),— так уже наперед называли будущий мир. Зловещим симптомом были также новые и новые тяготы, возлагаемые на Германию маршалом Фошем при каждом новом продлении перемирия (в декабре 1918 г., в январе 1919 г., в феврале 1919 г.). Между прочим, при одном из таких продлений перемирия (16 января) Германия принуждена была выдать почти весь свой торговый флот.

Статьи, печатавшиеся во французской и английской прессе, не оставляли сомнений, что Германии предстоит приготовиться к самым тяжким потерям.

Наконец, все в Париже было готово. Еще 18 апреля 1919 г. было получено в Веймаре приглашение от Клемансо прислать к концу месяца делегацию в Версаль. 29 апреля в Версаль прибыла германская делегация под председательством Брокдорф-Ранцау, министра иностранных дел (делегация состояла из пяти человек). 7 мая, как уже упомянуто, состоялось в Версале заседание конференции с участием немецкой делегации. Собственно, это первое заседание должно было заключаться в передаче графу Брокдорф-Ранцау текста мирного договора, а второе заседание должно было быть вместе с тем и последним и состоять в церемонии подписания договора. Никаких других общих заседаний не должно было быть, так как германскому правительству было наперед заявлено, что никакие устные разговоры об условиях не допускаются: германские делегаты, если им угодно, могут делать свои замечания в письменной форме и направлять их председателю конференции Клемансо. Ответы на свои замечания они будут получать также в письменной форме. Жить в Версале они должны были в отеле, оцепленном (вместе с особым местом для прогулок) французской стражей и колючей проволокой.

Заседание открыл Клемансо несколькими словами о порядке ведения дела. «Час сурового расчета пришел»,— сказал он между прочим. Отвечал ему глава немецкой делегации граф Брокдорф-Ранцау. «Мы не обманываемся насчет размеров нашего поражения, насчет степени нашего бессилия. Мы знаем, что сила немецкого оружия сломлена, мы знаем ярость ненависти, которая нам тут противостоит, и мы слышали страстное требование, чтобы победители нас одновременно считали побежденными и наказали как виновных. От нас требуют, чтобы мы признали себя единственными виновниками войны: подобное признание было бы в моих устах ложью»,— так начал граф Брокдорф-Ранцау [10]. Он признавал дальше, что Германия (бывшая германская власть) виновна *тоже* в войне, но и другие в ней виновны; что во время войны немцы делали преступления против международного права, но и их победители делали подобные преступления. Он с укором говорил о «сотнях тысяч невоюющих, которые уже *после* 11 *ноября* (перемирия) погибли от блокады, были убиты с холодной обдуманностью, после того как победа была уже достигнута и обеспечена за противниками». В конце своей речи Брокдорф-Ранцау возлагал свои надежды на Лигу наций.

На этом заседание и окончилось. Вернувшись к себе после заседания, германские делегаты начали читать полученную ими

свежеотпечатанную большую книгу, которой суждено было начать новую эпоху мировой истории.

6

Версальский договор имеет одну черту, которая придает ему особый, резко индивидуальный характер. Не то, чтобы эта черта встречалась в первый раз в истории; в Тильзитском договоре Наполеон точно так же распорядился с той же Пруссией. Но с того времени, с 1807 г., эта черта уже не встречается в мирных трактатах между европейскими государствами. Именно с этой черты и нужно начать характеристику всего документа.

Договор обращает Германию из субъекта, могущего заявить и поддержать силой свою волю, в объект, в пассивное политическое существо. Германия теряет право: 1) иметь армию, кроме 96 тысяч солдат и 4 тысяч офицеров, причем солдаты *нанимаются* на 12 лет, и если кто из них умирает до истечения этого срока, то его *нельзя* заменить другим (до конца срока, на который был нанят умерший). Таким образом, воинская повинность уничтожена, и нельзя ее никаким замаскированным путем восстановить. Уничтожается главный штаб. Уничтожается артиллерия (кроме малого числа — 288 — легких орудий), и впредь отнимается право заводить ее. Уничтожается все военное воздухоплавание, и отнимается право заводить его. Уничтожаются все крепостные укрепления и все укрепления военных портов. Воспрещается выделка оружия (даже на продажу в другие страны). Проводится еще целый ряд аналогичных условий. И все это сводится к конечному результату: 1) Германия навсегда лишается армии; ей позволяется иметь лишь вооруженную силу, которая могла бы нести службу внутренней охраны от «беспорядков». Учреждаются контрольные комиссии союзников для наблюдения за точным выполнением и постоянным соблюдением этих постановлений. 2) Германия лишается права иметь военный флот. Ей оставляют лишь 6 крейсеров (по 10 тысяч тонн), 6 легких крейсеров (по 6 тысяч тонн), 12 истребителей-миноносцев и 12 канонерских лодок, т. е. силы, совершенно недостаточные для охраны хотя бы малой части береговой полосы. Право держать подводные лодки отнимается. Морские порты Германии, а также реки Дунай, Рейн [11], Эльба, Одер объявляются доступными для судов союзных держав *без разрешения* Германии. 3) Германия не только теряет все без исключения свои колонии (со всеми железными дорогами и вообще всем казенным имуществом, бывшим в колониях), но утрачивает также право впредь заводить колонии и внеевропейские владения. Она вообще лишается права вывозить куда бы то ни было из своих пределов хоть часть своего маленького войска, которое ей оставлено. Возведение каких бы то ни было укреплений на левом берегу Рейна и

на пятидесятикилометровой полосе к востоку от Рейна воспрещается.

Перечисленные в этих трех пунктах меры «навсегда» (т. е. пока существует Версальский трактат) лишали Германию какого бы то ни было военного значения в международной политике, лишали даже возможности надеяться на улучшение своего положения, делали ее совершенно беззащитной не только против любой великой державы, но и перед лицом даже второстепенных держав вроде Польши или Чехословакии. Суверенитет Германии ограничивался в самом важном пункте: Германия отныне в самом существовании своем не обеспечивалась своими силами, а только соглашениями и условиями, зависевшими от воли других держав. Сравнительно с этими пунктами договора, все остальные, как бы ужасны для Германии они ни были, все же могли показаться более переносимыми.

Начнем с потерь территориальных.

1. Германия теряла Эльзас-Лотарингию, которая отходила к Франции. Сверх того, Франция занимала на 15 лет Саарскую область; через 15 лет плебисцитом населения должен быть разрешен вопрос о том, будет ли область принадлежать Франции, или Германии, и если область достанется Германии, то Германия обязуется выплатить Франции золотом за возвращение саарских каменноугольных копей.

2. Польша получила по позднейшему плебисциту часть Верхней Силезии (некоторые округа отходили к Чехословакии), Познань, почти всю провинцию Западную Пруссию (с Торном и Грауденцом), отдельные округа Померании. Данциг объявлялся вольным городом. Польша, таким образом, отрезывала своими владениями Восточную Пруссию от остальной Германии. Мемель отделялся от Восточной Пруссии и (позднее) попал в руки Литвы, так же как литовские округа — Восточной Пруссии.

3. Участь северного Шлезвига должна была решиться позднейшим голосованием (часть его отошла позднее к Дании, от которой Шлезвиг был оторван победоносной Пруссией в 1864 г.).

4. Германия отказалась от всех своих колоний, которые и были разделены между Францией и Британской империей. Франция получила почти весь ($^4/_5$) Камерун и большую часть Того; Британская империя забрала Восточную Африку, Западную Африку, остальные части Того и Камеруна, острова Самоа, Ново-Гвинейские; Япония получила, якобы для возвращения Китаю, завоеванный ею еще в 1914 г. Циндао (Киао-Чау). В связи с этой потерей всех колоний Германия отказывалась от всех своих подводных кабелей (телеграфных).

Таковы были потери территориальные. *Все* (кроме части Силезии), что приобрела Пруссия от средины XVIII в. до 1914 г.,

было у нее отнято, так же как было отнято и все, приобретенное Германской империей в войнах за все время ее существования. Около 17% европейской территории и все внеевропейские владения без единого исключения — таков был общий подсчет территориальных потерь. При этом терялись богатейшие части, вроде Лотарингии, поставлявшей для германской металлургии главные запасы руды, или Верхней Силезии, богатой углем, или саарских угольных копей.

Отметим, далее, в главных чертах другие материальные потери Германии по Версальскому трактату.

1. Германия отдавала *весь* свой торговый флот крупнее 1600 тонн на судно; из судов, вместимостью меньше 1600 тонн, она отдавала половину общего количества их, из рыбачьих судов — 25% общего количества, из речных судов — 20%. Сверх того Германия обязывалась в течение пяти лет из вновь строившихся судов отныне ежегодно отдавать часть (200 тысяч тонн) Антанте, в возмещение потопленных во время войны подводными лодками.

2. Германия обязывалась доставлять ежегодно в течение десяти лет сначала по 41, а потом по 44 миллиона тонн угля союзникам (это условие, как будет указано в следующем томе, впоследствии несколько раз видоизменялось).

3. Германия отдавала Франции и Бельгии 371 тысячу голов скота, из них 140 тысяч дойных коров, что особенно болезненно должно было переживаться страной тотчас после войны, когда даже для госпиталей часто не хватало молока.

4. Наконец, Германия обязывалась уже заранее, еще не зная точной цифры денежных платежей, которые с нее потребуют, выплатить *всякую* сумму, которую ей объявят при окончательном расчете победители. Окончательная цифра должна быть объявлена победителями к 1 мая 1921 г., но тогда никаких протестов Германия делать не может, а должна *беспрекословно* подписать то обязательство, которое ей будет предъявлено. (Цифра, которую ей объявили к 1 мая 1921 г., оказалась равной 132 миллиардам марок золотом; *сверх того* Германия должна была заплатить 6 миллиардов марок золотом особых платежей в пользу Бельгии).

5. Германия обязывалась в области таможенной тарификации предоставить державам-победительницам права наибольшего благоприятствования, но *без взаимности* (т. е. они ей этих прав не предоставляли).

Рядом условий на германское государство возлагались, сверх того, и другие платежи, например вознаграждение германских граждан за конфискацию всего германского частного имущества и уничтожение всех договоров с германскими гражданами в странах, воевавших с Германией. (Здесь, впрочем, общих норм

не было выработано, и каждому отдельному государству предоставлялось конфисковать окончательно германское имущество, временно секвестрованное в период войны, или возвращать его.)

Гарантией выполнения договора должно было служить занятие на 15 лет всей левобережной прирейнской Германии. Но, конечно, главной (и постоянной) гарантией должно было быть, как указано выше, полное разоружение Германии, требовавшееся Версальским трактатом. Оккупационная армия союзников в Германии должна была отныне содержаться полностью за счет Германии.

Мы тут не перечисляем еще целого ряда тягостных, стеснительных и разорительных для Германии условий; к Версальскому договору мы еще вернемся (и не раз). Пока даже при этой самой общей характеристике необходимо отметить еще одно очень важное обстоятельство (сразу бросившееся в глаза германским делегатам, при первом ознакомлении с Версальским трактатом). Этот документ необычайно детален; он старается предусмотреть всякую мелочь и заключить Германию в точнейшие и строжайшие рамки во всех вопросах. С внешней стороны это сказалось даже в том, что, тогда как обыкновенно мирные трактаты занимают несколько страниц, Версальский документ (официальное издание) представляет собой большой том в 208 страниц in 4° с 440 статьями (и это — *не считая* целой сети особых, прямо из него вытекающих и им *предусмотренных* положений, разъяснений и т. п., формулированных впоследствии). Это обстоятельство крайне ухудшало, конечно, для Германии условия, в которых должен был выполняться Версальский трактат: за нарушение любого постановления трактата Германии грозили суровые репрессии и прежде всего оккупация новых частей территории, продолжение срока оккупации уже занятых германских земель и т. д.

Огромную власть над Германией получала отныне так называемая «репарационная комиссия», назначавшаяся союзными правительствами, заведовавшая взиманием взносов и налагавшая кары за нарушение трактата. Кроме этой комиссии, в Германии должна была начать действовать обладавшая громадными полномочиями контрольная комиссия, которая должна была следить за полным разоружением Германии, за срытием крепостных укреплений, за выдачей всего оружия и т. п. Эта комиссия имела право производить обыски и расследования в любом закрытом помещении в Германии, где можно было подозревать нахождение оружия. Были намечены и другие органы власти союзников, которые должны были отныне действовать в побежденной стране. Все эти комиссии должны были полностью содержаться за счет Германии. Отдельно следует упомянуть пункты,

по которым Германия обязывалась выдать Антанте для суда как императора Вильгельма, так и всех вообще преступников против международного права, список коих будет ей предъявлен Антантой впоследствии. Наконец, особым пунктом Германия признавалась единственной виновницей войны. Именно на этом признании (с точки зрения внешнего построения) обосновывались все материальные претензии победителей к Германии.

Хотя германские уполномоченные и ждали тяжких условий, но все-таки первое чтение полученной 7 мая 1919 г. книги их ошеломило. Вот как это первое впечатление выразил в своем дневнике один из свиты Брокдорф-Ранцау: «Требования, которые хочет предъявить к немецкому народу Антанта, — самые жестокие, какие когда-либо предъявлялись любому государству с тех пор, как Рим продиктовал мир Карфагену. Это смертный приговор для Германии» [12]. Впечатление это все более и более укреплялось по мере того, как уполномоченные вчитывались в роковую для Германии книгу. «Мы должны не только быть осужденными на политическое бессилие, но еще и на хозяйственное разорение, и на порабощение».

В Германии был объявлен на неделю национальный траур, как только правительство и веймарское Национальное собрание узнали об условиях, предложенных германским мирным делегатам. Первый министр Шейдеман заявил, что «отсохнет та рука, которая подпишет Версальский трактат». В том же роде высказались и другие официальные лица. Но все это, конечно, были только слова. Ни малейшей возможности немедленно сопротивляться не было в тот момент. В Германии происходили демонстрации против подписания мира, но эти демонстрации не производили впечатления на союзников, твердо уверенных, что Германия воевать не может и не будет.

Напрасно граф Брокдорф-Ранцау силился доказать, что без устных переговоров трудно вести дело [13]. Пришлось ограничиться бесплодной перепиской с Клемансо, в которой главным аргументом было несоответствие Версальского трактата 14 пунктам Вильсона [14]. Конечно, Клемансо и руководимая им конференция ни в чем не уступили, и в своем (тоже письменном) ответе от 16 июня Клемансо еще усилил оскорбительный для Германии смысл обвинения ее в сознательном провоцировании войны. Об «уступках», которые были сделаны, можно было бы вследствие их незначительности и не упоминать: оставлены были за Германией некоторые чисто немецкие местности Померании, кое-какие пограничные местности в Познани и Силезии; постановлено было, что в Верхней Силезии будет допущен плебисцит населения для решения вопроса, кому должна достаться страна — Польше или Германии (напомним, что когда в конце 1921 г. плебисцит был произведен, то, несмотря на большинство

голосов в пользу Германии в целом ряде округов, эти округа были все-таки отданы Польше, на том основании, что плебисцит не решает дела, а лишь дает «материал» для решения; другие же «материалы» будто бы говорят в пользу Польши). Маленькое смягчение было допущено по пункту о конфискации всего немецкого имущества в чужих странах: было постановлено, что в немецких областях, отходящих к Польше, Чехословакии и Дании, немецкое имущество не подлежит конфискации. Остальные уступки были еще ничтожнее (например, союзники отказывались от права заставить Германию построить, помимо ее желания, сооружения, нужные для речного пути Рейн — Дунай. Германия получала право ввести в комиссию по судоходству на реке Одер не одного, а трех представителей и т. п.).

Словом, Версальский трактат оставался в общем тем самым, каким был до этого обмена нотами.

Клемансо дал знать, что больше никаких изменений не будет и что трактат должен быть подписан, иначе возобновится война против Германии.

Брокдорф-Ранцау выехал в Веймар (из Версаля, где он находился). В Веймаре царила величайшая растерянность. Крайние правые и правые были против подписания мира, демократическая партия тоже, на крайнем левом фланге тоже проявлялось определенное течение в этом смысле. Но социал-демократия большинства (не вся, правда) и центр решили подписать. Вождь центра Эрцбергер полагал, что неподписание трактата равносильно новому нашествию союзных армий и расчленению Германии, так как Бавария и другие отдельные государства принуждены будут заключить с Антантой сепаратный мир. Союзники без труда сломят всякую попытку к сопротивлению, если бы даже таковая проявилась, и все равно придется покориться, но еще на худших условиях. Был запрошен Гинденбург о возможностях и шансах сопротивления. Смысл ответа старого фельдмаршала заключался в том, что борьба на востоке — с Польшей — еще возможна, но на западе — против союзников — безнадежна.

Приходилось решаться. Граф Брокдорф-Ранцау 20 июня 1919 г. подал в отставку, так как он слишком часто повторял, что мирный трактат и неисполним и неприемлем (unerfüllbar und unannehmbar). Вышел в отставку на другой день, 21 июня, и первый министр Шейдеман, тоже не имевший возможности, после того, как он $1\frac{1}{2}$ месяца заявлял (считая с 7 мая — дня передачи текста договора) о полной неприемлемости договора, согласиться на его подписание. Во главе нового кабинета стал социал-демократ Бауэр; министром иностранных дел сделался социал-демократ Герман Мюллер (оба — члены шейдемановского большинства). В кабинет вошел и Эрцбергер.

22 июня состоялось в Национальном собрании в Веймаре голосование по вопросу о Версальском мире. На другой день истекал срок ультиматума, который предъявил Клемансо. Большинством 237 голосов против 138 решено было мир подписать, но с двумя оговорками: 1) Германия отказывается признать себя единственной виновницей войны; 2) Германия отказывается выдать своих граждан Антанте (обвиняемых Антантой в преступлениях против международного права). Но Клемансо ответил 23 июня, что он никаких оговорок не признает, и категорически потребовал принятия всех без исключения пунктов Версальского договора. Пришлось подчиниться и в этом больном для самолюбия вопросе. Узнав о решении собрания принять договор, германская команда на морских судах, выданных Англии и стоявших пока в Скапа-Флоу (на Оркнейских островах), воспользовалась последним днем своего пребывания на судах и открыла кингстоны, чтобы не оставлять судов врагу. За это потопление Англия впоследствии потребовала (и получила) от Германии дополнительное вознаграждение, очень высоко исчисленное, именно — все оборудование всех германских морских доков.

В Версаль выехали немедленно два министра: иностранных дел — Герман Мюллер, и колоний — Белль; первый — социал-демократ, второй — член партии центра.

28 июня 1919 г., в 3 часа дня, в той самой великолепной зеркальной галерее Версальского дворца, где 18 января 1871 г. родилась Германская империя, Белль и Герман Мюллер подписали Версальский трактат. Самая кровавая из всех трагедий, когда-либо переживавшихся человечеством, получила свое формальное завершение.

7

Одним из самых тяжких последствий мировой войны для Германии было, конечно, разрушение как Турции, так и Австро-Венгрии, через которую Германия распространяла свое экономическое влияние на всем турецком Востоке. Теперь союзной Австрийской монархии не существовало, и ряд новых, неприязненно к Германии относящихся держав безнадежно отрезал последнюю от Балканского полуострова и подавно от Малой Азии. Окончательно участь побежденной Австрии была решена спустя почти $2^1/_2$ месяца после Версальского мира в Сен-Жермене.

10 сентября 1919 г. в Сен-Жермене (близ Парижа) был подписан мир между победителями и Австрией. В сущности к тому моменту, как в Сен-Жермен были вытребованы австрийские делегаты и им был вручен для подписи мирный трактат,

уже были почти в точности установлены все границы нового государства. Венгрия отпала от Австрии 28 октября 1918 г., и с ней готовились заключить отдельный трактат. Чехословакия отпала тогда же и теперь фигурировала в качестве одной из держав-победительниц, рядом с Антантой. Все южные славянские области отошли еще в октябре 1918 г., при разгроме австрийской армии, к Югославии, или, как она называлась теперь на дипломатическом языке официально, к Сербско-Хорватско-Словенскому государству (l'Etat Serbe-Croate-Slovène). В Югославию вошла также Черногория, хотя дело прошло далеко не так гладко, как сербы о том рассказывают. В январе 1916 г. черногорский король Николай покинул страну, занятую австрийцами. В июле 1917 г. Пашич составил и обнародовал (на о. Корфу) декларацию о присоединении Черногории к Сербии. В октябре 1918 г. сербы, по изгнании австрийцев, заняли Черногорию, а французское правительство не разрешило Николаю (находившемуся во Франции) вернуться в свою страну. В конце ноября 1918 г., впрочем, Николай был объявлен в Цетинье низложенным «волей народа», и Черногория была окончательно присоединена к Сербии. Однако антисербское течение было в первые годы после этого присоединения так сильно в Черногории, что английская дипломатия (в 1919 г.) даже подумывала о вмешательстве, а черногорские эмигранты печатали воззвания к Европе о сербском терроре. Так или иначе Черногория вошла в состав этого нового Югославского государства. Галиция отошла к Польше, Буковина — к Румынии, Триестская и Трентинская области, вплоть до Бреннера, отошли к Италии. От Австро-Венгрии осталась приблизительно $^1/_8$ часть прежней территории и немного больше $^1/_9$ части прежнего населения (6 миллионов человек). Это, собственно, и утвердил Сен-Жерменский трактат, проведя по всем направлениям точные границы Австрийской республики с исключительной щедростью в пользу всех этих новых и старых пограничных государств. Австрийская республика лишалась права содержать армию свыше 30 тысяч человек, которая предназначалась исключительно для охраны внутреннего порядка. Подробные приложения к этой (120-й) и следующей (121-й) статьям лишали Австрию какой бы то ни было возможности обойти это постановление. Так же, как Германия по Версальскому миру, Австрия обязывалась уплатить в возмещение убытков ту сумму, которую ей объявят победители 1 мая 1921 г. Точно так же Австрия обязывалась предоставить без взаимности все права наибольшего благоприятствования в своем таможенном законодательстве для товаров, ввозимых из стран-победительниц (статья 217). Целым рядом законоположений трактата Австрия лишалась всех договорных коммерческих и иных прав, которые она имела за пра-

ницей. Другие законоположения и приложения к ним устанавливали теснейший и реальный всевластный контроль победителей над всем финансовым управлением Австрии.

Австрия оставалась существовать в виде небольшого земельного клочка, в виде маленького и худосочного тела с огромной головой — г. Веной, который создавался и рос столетиями в качестве столицы великой державы, превосходившей своими территориальными размерами Германию или Францию. Теперь эта голова оказывалась до уродливости несоразмерной и тяжелой для ничтожного государства, оставшегося от былой Австро-Венгерской империи. Экономически Австрия не могла нормально существовать без Чехословакии, куда отошли богатейшие пахотные земли и громадная промышленность, без Венгрии, без экономических связей с Румынией: было более легким и естественным примкнуть ей к Германии. Агитация в этом смысле уже велась, и во главе ее стоял авторитетный политик и ученый историк (медиевист) Лудо Гартман, посол Австрийской республики в Берлине. Но победители ни в каком случае не желали допустить этого усиления Германии. Поэтому в трактат была введена знаменитая 88-я статья, которая под внешней формой защиты австрийской «независимости» решительно воспрещает ей присоединяться к Германии без разрешения совета Лиги наций (где Франция и Англия всегда вполне уверены в большинстве голосов). В статье даже не упоминается слово «Германия», но все обставлено так, что обойти эту статью нельзя. Даже «*участие в делах* другой державы» воспрещается. Вопрос об Австрии с первых же лет после войны казался совершенно безнадежным. Столица в $1^3/_4$ миллиона человек в государстве, где всего живет около 6 миллионов ($6^1/_5$ млн.), промышленность, рассчитанная (до войны) на рынок в 50 с лишком миллионов человек и на внешние рынки и внезапно лишенная *всего* (кроме тех же нищих 6 миллионов потребителей), территориальный обрубок, лишенный почти всех сельскохозяйственных богатств и отрезанный от моря,— все эти реальности заставляли всю Европу и Америку смотреть на Австрию как на нелепейший из парадоксов, созданных парижскими мирными трактатами 1919 и следующих годов. Бенеш, министр иностранных дел Чехословакии, выразился однажды (в 1920 г.) так: чтобы облегчить положение Австрии, нужно прежде всего, чтобы из Вены куда-нибудь подальше уехал миллион человек. Кроме подобных рецептов, пока никто ничего умнее придумать не мог.

Представитель Австрии в Сен-Жермене, канцлер Австрийской республики Карл Реннер, попробовал было протестовать против жестокого договора, но его протест был отвергнут победителями, и 10 сентября 1919 г., после категорически под-

твержденного требования со стороны Антанты, договор был подписан.

За Австрией наступил черед Венгрии. Ожидать пощады от победителей она не могла ни в коем случае, и это испытал прежде всех других граф Карольи в ноябре 1918 г., когда он явился к генералу Франше д'Эспре просить о перемирии. Хотя Карольи считался врагом германского влияния в Венгрии (и получил власть только при отделении Венгрии от Австрии), но французский генерал принял его грубейшим образом. Союзники считали венгерских магнатов-землевладельцев в числе главных виновников войны. Всем было известно, что если промышленники австрийской части монархии Габсбургов старались помешать свободному сбыту сербских продуктов, чтобы в качестве фактически монопольных скупщиков получить эти продукты по низкой цене, то землевладельцы Венгрии были заинтересованы в том, чтобы *не допускать* сербское сырье и сербские продукты ни в Австрию, ни в Венгрию, так как для них это была конкуренция. Известно было, что именно венгерские магнаты, во главе с графом Тиссой, давно толкали монархию Габсбургов к войне. Ненависть сербов против Венгрии была очень велика, а защитников, которые были бы заинтересованы в ее существовании, у нее между победителями не находилось. По Трианонскому миру Венгрия потеряла из своей довоенной территории 232 900 кв. километров, а осталось у нее всего 92 500 кв. километров. Из всего населения она потеряла 12 655 тысяч человек, а осталось у нее 8,2 миллиона. Из потерянных Венгрией земель больше всего получили: Чехословакия (62 320 кв. километров с 3572 тысячами жителей), Югославия (67 950 кв. километров с 4198 тысячами жителей), Румыния (98 289 кв. километров с 4,5 миллиона жителей). Маленький прирезок — Бургенланд — отошел к Австрии (4340 кв. километров с 345 тысячами жителей): союзники решили этим путем отчасти помешать новым соглашениям между Австрией и Венгрией. Подобно Германии и Австрии, Венгрия лишилась права содержать армию больше 35 тысяч человек (без тяжелой артиллерии, воздухоплавательных парков и т. д.). Так же, как и другие побежденные вместе с ней державы, Венгрия обязалась уплатить то, что с нее потребуют союзники. Подобно Австрии, она оказалась в полнейшей финансовой зависимости от Антанты, больше всего от французского и английского капитала.

Больше всех выиграла Румыния, захватившая венгерские, русские и болгарские земли. До войны Румыния имела территорию в 140 тысяч кв. километров; теперь она имеет 294 тысячи кв. километров. До войны ее население было равно 7,6 миллиона душ; теперь — 16 миллионам душ.

Австрийская республика и Венгерская республика представляли собой все, что осталось от былой обширной империи,

и притом обе они были разделены и осуждены влачить жалкое существование среди усилившихся за их счет и ненавидящих их соседей, нисколько притом в них с экономической точки зрения не нуждающихся.

Что касается Болгарии, то ее потери оказались сравнительно меньшими, чем потери ее союзниц. После балканских войн Болгария обладала территорией в 114 тысяч кв. километров с 4767 тысячами жителей. По мирному трактату, подписанному в Нейи (близ Парижа), Болгария должна была уступить Сербии 2500 кв. километров с 113 тысячами жителей, а в пользу Греции — 6400 кв. километров с 320 тысячами жителей. Конечно, все приобретения Румынии за счет Болгарии по Бухарестскому миру 1913 г., временно отнятые болгарами у Румынии в 1916 г., теперь, по миру в Нейи, были возвращены Румынии (Добруджа и еще некоторые округа). Полностью была потеряна та часть Фракии, которая принадлежала болгарам. Болгария утратила доступ к Эгейскому морю. Фракия оставалась некоторое время в руках союзников и была впоследствии передана Греции. Кроме взноса и платежей натурой в пользу сербов (50 тысяч тонн угля ежегодно, возвращение угнанного скота или возмещение за него и за перебитый скот), Болгария обязалась уплатить контрибуцию в $2^{1}/_{4}$ миллиарда франков золотом, что оставляло страну в полной финансовой власти победителей. Войско должно быть исключительно наемное и не превышать 20 тысяч человек.

Дольше всего работали победители над мирным трактатом с Турцией. По цитированным выше документам, опубликованным в 1924 и 1925 гг. Наркоминделом («Раздел азиатской Турции» и «Константинополь и проливы»), можно очень легко проследить ту скрытую борьбу хищнических стремлений, которая в течение всей войны, вплоть до русской революции, шла между великими державами по вопросу о разделе Турции. Англия и Франция принуждены были в свое время согласиться на занятие Константинополя с проливами, а также Армении и отдельных частей Анатолии Россией, хотя это сильно не нравилось обеим союзницам России. Выход России из войны очень облегчал с этой точки зрения положение Франции и Англии, но трудный вопрос о Турции все же разрешен этим не был. Претендентов было четверо: Англия, Франция, Италия и Греция, и самый подход к решению турецкого вопроса у них был неодинаков. В интересах Англии было захватить как можно больше турецких земель не только вследствие их значительной экономической ценности, но и затем, чтобы соединить непрерывными британскими владениями находящуюся под английским владычеством Восточную Африку с Индией и вместе с тем надежно укрепиться на случай русской угрозы. Как уже было

в своем месте сказано, Англия не останавливалась ни перед какими трудностями, чтобы уже в течение войны занять турецкую территорию, которую ей желательно было оставить за собой. Таким образом, в 1917—1918 гг. были завоеваны англичанами Месопотамия, Моссул, Палестина, доступные части и оазисы Аравии, была даже завоевана Сирия, которую заведомо приходилось после войны отдать французам. В руки Англии попали, таким образом, лучшие земли бывшей Турецкой империи, богатые нефтью и другим сырьем. Конечно, великобританское правительство нисколько и не скрывало, что оно решительно ничего из завоеванных и прочно занятых английскими войсками земель не намерено туркам возвращать. А чтобы обезопасить все эти владения от возможных в будущем турецких посягательств, англичане ничего не имели против того, чтобы на западе Малой Азии утвердились греки и даже итальянцы, которые, таким образом, как бы играли роль постоянной стены, сдерживающей турок. Что касается французов, то они брали себе Сирию. Но нужно заметить, что их интересы, а потому и основные воззрения резко расходились с английскими. Около 63% всего иностранного капитала, работавшего в Турции, принадлежало французам, и они вовсе не хотели низведения Турции к небольшому бедному клочку земли между Таврийскими горами и Черным морем. Притом слишком уж велики были части турецкой территории, полученные Англией при разделе добычи, сравнительно с Сирией, доставшейся французам. Поэтому французы, не имея никакой возможности (да и не осмеливаясь) противиться английским захватам, старались по крайней мере поменьше отдавать турецкой территории итальянцам и грекам. Что касается самих турок, укрывшихся в Анатолии, то они в тот момент не могли и думать о сопротивлении. Те области, которые еще могли у них остаться, были либо бедны от природы, либо испытали непоправимый удар от варварского, совсем небывалого в новые времена планомерного истребления армянского народа в 1915 и отчасти 1916 г. по приказу Талаат-паши и Энвер-паши, пожелавших таким путем «разрешить» армянский вопрос. По самым скромным подсчетам, как сказано, до 1 миллиона армян (с женщинами и детьми) было вырезано и истреблено в эти годы; оставшиеся (около 600 тысяч) либо разбежались в Россию и в Персию, либо были безнадежно разорены. Теперь в 1919—1920 гг., злодеяние Талаат-паши и Энвер-паши давало свои плоды и оказывалось, конечно, вреднейшим и нелепейшим из всех возможных преступлений, прежде всего с точки зрения интересов турецкого народа. Нищие, обессилевшие турки в это время (в 1919—1920 гг.) должны были беспрекословно подчиниться своей участи. Французам трудно было тогда что-нибудь отстоять в их пользу, хотя они и про-

бовали это сделать. Но и англичане при обсуждении этого (Севрского) трактата вели себя совсем не так, как при обсуждении Версальского договора с немцами: тут, при обсуждении договора с турками, в самом деле затрагивались интересы Великобритании, и Ллойд-Джордж совсем был непохож на того сравнительно уступчивого дипломата, который прежде, когда речь шла о немцах, так охотно почти во всем уступал желаниям Клемансо.

10 августа 1920 г., повинуясь приказу победителей, турки подписали в г. Севре (близ Парижа) мирный трактат.

Аравия, Месопотамия, Палестина остались за англичанами или за их местными ставленниками, что все равно; англичанами же был оккупирован Моссул, нефтеносная территория на северо-восток от Месопотамии. В этих землях англичанами заблаговременно были посажены вассальные арабские царьки, являвшиеся покорными исполнителями воли английских комиссаров и военных властей. Сирия отошла к французам, Смирна с областью, за ней лежащей,— грекам, часть малоазиатского побережья — итальянцам. Что касается Константинополя, то он номинально оставался за турками, но проливы были заняты британским флотом, а в самом городе распоряжался английский гарнизон (точнее, его начальник, генерал Гаррингтон) и начальник английской же полицейской охраны Максуэлл. Особой статьей проливы объявлялись свободными для прохода *всех* как торговых, так и военных судов. Иными словами, Англия получала в полнейшее свое распоряжение не только проливы, но и Черное море [15].

Таковы были главные положения Севрского трактата. Характерной его чертой являлась намеренная неясность и недоговоренность в самых важных пунктах. Неточно обозначались границы, неясно трактовалось о защите национальных меньшинств в землях, еще оставленных за турками, особенно в Курдистане, где англичане проявляли особый интерес к так называемым «ассиро-халдейцам». Было очевидно, что создаются предлоги и предпосылки для будущего вмешательства и окончательного уничтожения самых следов Турецкого государства (особенно в этом отношении была характерна 62-я статья Севрского трактата, где речь шла об автономии Курдистана).

От 7 до 8 миллионов населения и скудная гористая территория в 174 тысячи кв. километров — вот все, что осталось после Севрского мира от Турции. Правда, именно Севрский трактат оказался из всех мирных договоров того времени наименее долговечным. Но трудный (и замечательный) путь, который турки прошли от Севра до Лозанны, уже лежит за хронологическими пределами этой книги. Пока мне хотелось бы, чтобы читатель точно понял, что борьба между Англией и Францией на всем турецком востоке была в 1919—1921 гг. крайне упорной, часто

озлобленной и вовсе не походила на случайную размолвку дипломатических друзей. Происходило нечто совсем неожиданное, если принять во внимание, что речь идет о «союзниках». «Почему Англия ведет против Франции на всем востоке *настоящую войну* оружием и идейную? Войну, которая в точности напоминает борьбу XVIII столетия между этими двумя великими колониальными державами, которые сталкивались во всех сферах влияния?» Так писала французская путешественница в июне 1920 г. [16] На французскую Сирию и в 1919, и в 1920, и в 1921 гг. не переставали делать *набеги* не только турки, но и английские добровольцы; то же происходило и в Киликии, пока там еще были французские войска. Английский ставленник пытался совершить форменное вторжение в Сирию и был, после боя, отброшен французами. Все это происходило в те самые годы, когда Ллойд-Джордж, встречаясь на бесчисленных конференциях с французскими министрами, пытался сговориться с ними относительно Германии и охотно позировал пред фотографами, обучая дружески Бриана игре в гольф.

И скрытая, и открытая борьба между Англией и Францией, Италией и Югославией, Польшей и Литвой, начавшаяся тотчас же после разгрома Германии и Австрии, борьба Турции и Персии против Англии, отчаянные попытки Египта освободиться от англичан, борьба Германии за остатки своей политической независимости, революционные и контрреволюционные события в Германии, Венгрии, Италии, Египте, Китае, Индии, тесно связанные с мировой войной и ее финалом,— все это уже явления нового периода, и все это я попытаюсь подвергнуть анализу во втором томе моей работы *. Читатель не должен удивляться, что общий курс, посвященный истории нескольких лет, протекших после войны, потребует большой книги: работая над громадной массой сырья, при почти полном отсутствии настоящей научной литературы, считаясь с колоссальной массой разнохарактернейших тем и сложнейших вопросов, всякий историк, сколько-нибудь достойный этого наименования, *обязан* сплошь и рядом либо предпринимать самостоятельные частичные исследования, либо отказаться от своей задачи вовсе.

* Том не был написан.— *Ред.*

Глава XXII

БЛИЖАЙШИЕ ИТОГИ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

1. Человеческие жертвы мировой войны и общие военные расходы воевавших держав. 2. Американский и европейский капитализм после войны

1

Мы обратимся еще к Версальскому миру и его многообразным последствиям в начале следующей книги, где будем говорить об истории 1919—1926 гг. Точно так же мы дадим там характеристику экономического положения, в котором оставил Австрию Сен-Жерменский мир, Венгрию — Трианонский, Болгарию — мир в Нейи, Турцию — Севрский, а впоследствии — Лозаннский мир. С анализа последствий этих мирных трактатов и должно будет начаться изложение последней, новейшей истории этих стран, а также истории новых государств, возникших на их развалинах. Эпоха, которую мы рассматривали в этом томе, собственно окончилась военной капитуляцией Германии и ее союзников и *первым* взрывом германской революции.

Постараемся пока в немногих словах определить, вспомнив то, о чем шла речь еще в начале этой книги, каковы были черты, привнесенные мировой войной (и ее финалом) в общую картину исторической эволюции западноевропейского человечества в последнее полустолетие.

Прежде всего сделаем одно необходимое замечание. Как всегда бывает после событий, очень поразивших воображение, ум и чувства современников, после мировой войны 1914—1918 гг. в Западной Европе, преимущественно в Германии, появилась (и известное время держалась) тенденция считать эту войну не только самой серьезной катастрофой из всех, какие до сих пор вызывал мировой империализм, не только грандиозным перело-

мом в очень важных условиях хозяйственной и политической жизни главных капиталистических держав земного шара (чем она и была в действительности), но и некоторым почти мистическим «концом Европы», «гибелью Запада», даже «концом человеческой цивилизации» и т. д. Попытки доказать эти положения не отличались особой научной основательностью и часто сводились либо к некоторым разочарованным излияниям, либо к идеалистическим, а иногда и религиозным парадоксам, к курьезным дилетантским размышлениям над хронологическими таблицами и почти кабалистическим *сближениям* и «наблюдениям», либо к иным фантастическим и вполне безответственным гипотезам. Особенно это умственное поветрие было в ходу в университетских и литературных кругах Германии в 1919—1923 гг.; но и другие страны не остались от него свободными. С 1923, особенно же с 1924 г. это явление стало заметно ослабевать.

Разумеется, для этого явления война создала очень подходящую психологическую почву. Неслыханны были потери, причиненные мировой войной. Подсчеты как человеческих жертв, так и материальных убытков производились неоднократно, и цифры далеко не всегда совпадали. Особенно трудно, *конечно, подсчитать материальные потери населения воевавших стран.*

Человеческие жертвы были громадны, больше, чем за все войны, начиная от Великой французской революции вплоть до 1914 г. Приведем новейший (и признаваемый наиболее авторитетным) подсчет людских потерь за войну 1914—1918 гг. *Не* подсчитаны потери Турции и всего Балканского полуострова; *не* принято во внимание истребление турками в 1915—1916 гг. почти $^2/_3$ всего армянского народа, наконец, *не* подсчитаны потери гражданского населения в странах Антанты при нашествии германской армии, при оккупации, а также при потоплении судов подводными лодками, а в Германии — от последствий «голодной блокады», которой с августа 1914 г. по самый день подписания Версальского мира подвергал Германию британский флот. Заметим, к слову, что, по подсчетам имперского германского ведомства здравоохранения, голодная блокада умертвила за время войны 763 тысячи человек гражданского населения [1].

Вот статистика (в круглых цифрах), опубликованная в 1925 г., в IV томе «Анкеты о производстве», предпринятой Международным бюро труда. Эти цифры относятся *исключительно* к воинским чинам воевавших армий — рядовым, офицерам, военным чиновникам и медицинскому персоналу,— погибшим при военных действиях.

	Убитые и пропавшие без вести	Тяжко изувеченные (до потери трудоспособности)
Германия	2 000 000	1 537 000
Россия	1 700 000	755 000
Австро-Венгрия	1 542 000	не показано
Франция	1 400 000	1 500 000
Италия	750 000	800 000
Англия	744 000	900 000
Соединенные Штаты . .	68 000	157 000

Это — последняя по времени статистика. Цифры, относящиеся к России, выяснялись неоднократно и русскими авторами. По данным «Бюро о потерях Отчетно-статистического отдела управления Красной Армии (РККА)», боевые потери русской армии в войну 1914—1918 гг. выражаются в следующих цифрах: Россия потеряла: убитыми и умершими от ран и отравления газами 681 213 человек; пропавшими без вести—228 838 человек (итого 910 051 человек), ранеными и контуженными — 2 817 676 человек. Вообще русские потери разными авторами подсчитывались неодинаково, так как одни включали в итоги такие категории, которые исключались другими. Так, И. А. Троицкий в своей «Военной географии и статистике иностранных государств» дает цифру $2^1/_2$ миллиона, но сюда включены не только боевые потери, но и потери от недорождений и увеличения смертности (что *не включается в вышеприведенный подсчет* Международного бюро труда); М. П. Павлович в «Итогах мировой войны» дает цифру $1^1/_2$ миллиона убитых и 784 тысячи раненых и окончательно выбывших из строя. Анализируя все эти разноречия русских авторов, А. Снесарев в своей статье в сборнике «Кто должник» говорит: «Для нас достаточно остановиться на цифре $2^1/_2$ миллиона как на цифре убитых, но включая сюда не только убитых в точном смысле, но и убитых в экономическом смысле, а также безвозвратно потерянных для страны в плену и дезертирстве» [2]. Как видим, цифра, принимаемая А. Снесаревым, близко сходится с общим итогом русских потерь убитыми и тяжелоранеными, который дает приведенный мной подсчет Международного бюро труда, оставшийся неизвестным А. Снесареву.

Исчезновение всей этой колоссальной живой силы из европейского экономического обихода уже само по себе должно было нанести тяжкий и длительный ущерб хозяйственной жизни всех воевавших стран, кроме Соединенных Штатов, поздно вступивших в войну и относительно мало потерявших.

Что касается материальных убытков, то их реальные размеры не поддаются, конечно, доказательно-точному учету, если

пытаться сосчитать все убытки, которые понесло все население, все частные лица, все города и деревни воевавших стран. Несколько более поддаются учету суммы, израсходованные на ведение войны *правительствами* воевавших стран, и тут наиболее показательными считаются цифры довоенной и послевоенной внутренней и внешней задолженности — цифры начала 1914 и начала 1919 гг., потому что, конечно, военные расходы пришлось покрывать займами либо у Соединенных Штатов, либо у Англии (которая сама удесятерила свой долг), либо у нейтральных стран, либо, наконец, у собственных граждан. Сравнение для каждого государства этих двух цифр красноречиво свидетельствует, что *за все свое бытие от начала всей истории до 1914 г.* воевавшие державы, даже победившие, не имели — кто $^1/_3$, кто $^1/_4$, кто $^1/_5$, кто даже $^1/_{10}$ той суммы государственных долгов, которыми они все обзавелись в течение *4 лет и 3 месяцев* мировой войны.

Задолженность (по внутренним и внешних займам) отдельных государств до и после войны выражается в таких цифрах *в миллионах долларов:*

	1914 г.	1919 г.
Великобритания	3458	36 457
Франция	6598	30 494
Италия	2632	12 177
Россия	5092	67 362 (?)
Соединенные Штаты	1208	23 267
Германия	1165	38 531
Австрия	3277	17 072
Венгрия	1989	8 707
Турция	667	1 823

Конечно, сами Соединенные Штаты должны по внутренним займам *собственным своим гражданам;* большинство остальных должны еще 1) Соединенным Штатам, 2) Англии. По поводу этой фактической огромной задолженности, конечно, нужно согласиться, что война для *всех европейских держав* была страшной материальной катастрофой как для победителей, так и для побежденных [3].

Но не для Соединенных Штатов. О том, как обогатила мировая война Соединенные Штаты, я уже говорил, когда касался вопроса об их вступлении в коалицию, воевавшую с Германией. Соединенные Штаты после войны оказались в таком беспримерно счастливом положении, что их правительство могло совершенно безболезненно переносить фактическое временное банкротство европейских должников.

Положение вещей с европейскими долгами Соединенным Штатам создалось в самом деле своеобразное. Американское правительство в первое время после войны с теплым чувством

поминало в своих отчетах конгрессу две европейские страны — Англию и Финляндию, которые, правда, тоже не платили своих долгов Америке, но хоть не прочь были поговорить о сроках уплаты. Что же касается Франции, Италии, Польши, Бельгии, Эстонии, Румынии, Югославии, то эти державы долго (до 1923 г.) воздерживались вообще от праздных разговоров о своих долгах, да и теперь за редкими исключениями неохотно обращаются к этому предмету, а Чехословакия, Венгрия и другие дали в общей форме обещание уплатить, но сроков не поставили и согласились эти сроки ставить лишь постепенно. Но если правительство Соединенных Штатов является снисходительным кредитором относительно правительств, которые ему должны, то американские банки, промышленные предприятия и т. д. получают все же проценты и добиваются частичного погашения причитающихся им сумм. Высчитано (для первых лет после войны: взят 1920 г.), что ежегодно банки и частные граждане Соединенных Штатов получают от Европы за старые долги процентов и амортизации около 665 миллионов долларов. Уплата происходит больше всего ценными бумагами предприятий (так как золота у Европы нет: ни у ее правителей, ни у ее обитателей вообще), и, таким образом, непосредственное влияние капитала Соединенных Штатов в Европе растет с каждым годом. Значение этого факта для будущего огромно.

Но нужно обратить внимание читателя, что хотя американские финансисты и промышленники и не обнаруживают такого долготерпения, как вашингтонское правительство, однако тоже избегают всего, что могло бы разорить их должников, дают им довольно существенные отсрочки, допускают послабления, переписывают векселя, устраивают им новые кредиты. Дело в том, что при дороговизне доллара и обесценении европейской валюты европейский рынок мог в 1919—1923 гг. в значительной части своей фактически закрыться для американских товаров. Другими словами, американский кредитор вовсе не желал и не желает разорять вконец своего европейского должника, потому что европейский должник со временем еще может пригодиться в качестве покупателя американских товаров. А затем — полное разорение Европы знаменовало бы прекращение ею платежей вообще. Не воевать же с Европой, когда она объявит, что у нее абсолютно ничего нет и что платить она не будет не только вашингтонскому казначейству, но и никому из граждан заатлантической республики. Но никак не следует уже слишком преувеличивать значение этого мотива.

Кроме этих причин, есть еще одна, тоже делающая американский капитал сравнительно доступным. Америка задыхается от золотых гор, ей нужно искать помещения капиталов. Пожалуй, из всех этих причин сравнительной американской снисхо-

дительности к европейским должникам *наименьшую* роль играет опасение потерять европейский рынок сбыта товаров.

Николай Рузвельт, сын покойного президента, еще в марте 1924 г. на страницах французского официоза «Temps» старался убедительно доказать то, в чем американцы вполне убеждены и без него, но чего Европа очень долго не могла почему-то взять в толк. Все эти банальные повторения фразы: «Америка придет на помощь, потому что она сама не может никак обойтись без Европы», все эти чисто голословные, якобы основанные на экономических истинах, утверждения не имеют теперь никакого смысла. Рузвельт просит Европу сообразить, наконец, что она не очень нужна Америке и что Америка и как владетельница сырья, и как производительница фабрикатов, и как потребительский рынок в Европе не заинтересована.

2

Все это я привожу как пояснение того факта, что в первые годы после войны американский капитал занял прочное положение. Тут не место говорить об этом факте подробнее: это — одна из главных тем второй части моей книги, где будет речь о 1919—1926 гг.

Пока только укажу, что сейчас же после войны наблюдался интересный социологический феномен: Америка осталась на прежней позиции прочного денежного хозяйства, а Европа обнаружила как бы тенденцию к возвращению к стародавним, давно забытым временам, к векам, когда государственное банкротство являлось бытовым, никого особенно не смущавшим, периодически возвращавшимся, хоть и не через правильные промежутки времени, событием, вроде, например, наводнения или градобития, или падежа скота.

В первые годы после войны, когда в целом ряде стран последовала небывалая бумажная инфляция, когда воцарилась полная оторванность (вполне откровенная, нисколько не маскируемая) эмиссии бумажных денег от возможного их золотого обеспечения, когда государственное банкротство сделалось таким же нормальным способом устройства финансовых дел, каким прежде, например, был заем или новый налог, тогда некоторые финансисты высказали мысль, что все эти явления 1919 и следующих годов уже бывали, хотя и в несколько ином виде, например в XVIII в., и что вообще на столетие (1814—1914 гг.) от конца наполеоновских войн до начала великой катастрофы 1914 г. нужно смотреть как на *исключение*, а на мнимые деньги, на постоянные государственные банкротства и тому подобные явления следует смотреть как на правило, как на нечто гораздо более естественное и длительное; что ряд счастливых и исключи-

тельных условий позволил Европе целое столетие поддерживать золотое или находящееся в установленных и зависимых от золота отношениях бумажное обращение; что все правила так называемой теории финансов ни малейшего *научного*, т. е. обязательного, значения не имеют и иметь не могут, ибо все так называемое «финансовое право» есть попытка сделать из долго державшихся *обычаев* финансового быта XIX столетия мнимонаучную теорию.

Инфляция была не только неминуемым последствием войны, но и столь же неизбежным последствием социального, политического, психологического сдвига, который повлекла за собой вся сложившаяся после войны ситуация. Все капиталистические государства *боялись* вызвать революцию, отказываясь от инфляции бумажных денег; альтернатива была именно такая: или революция голодающих масс, или хотя бы временное государственное банкротство. Поясним эту мысль.

Война 1914 г. вспыхнула в такой период экономической истории человечества (и, в частности, Европы), когда и без того жизнь с каждым годом сравнительно не очень быстро, но непрерывно дорожала. Экономисты считают теперь возможным установить такие общие характеристики: с 1825 по 1850 г. — медленное и непрерывное удешевление предметов первой необходимости; с 1850 по 1869 г. (под влиянием, между прочим, открытия громадных золотых россыпей в Калифорнии) — вздорожание жизни; с начала 70-х годов, особенно с 1873 до 1895 г.— новое удешевление жизни; с 1895 г. до начала войны 1914 г.— вздорожание, которое с начала войны кое-где приобретает катастрофически быстрый характер. Это вздорожание с 1921—1924 гг. начинает (далеко не всюду) приостанавливаться, и кое-где (например в Англии) обнаруживается известная тенденция возвратиться к довоенному темпу.

Для Франции, например, это вздорожание за время войны выразилось в том, что общая стоимость товаров (как пропитания, так и одежды) повысилась к концу 1918 г. более чем в *четыре* раза сравнительно с началом 1914 г.[4] Что же было делать? Отказать рабочим в соответственном или хотя приближающемся к норме увеличении заработной платы значило вызвать взрыв. Пойти на *это* послевоенный капитализм в Западной Европе не отваживался. Не забудем, что, не говоря уже о побежденных странах, ведь и в «странах-победительницах» настроение рабочих в первые годы после войны было очень раздраженное. Неистовая, неслыханная, длительная бойня еще у всех была в памяти. И вопросы о том, кто «виновен» и кто «невиновен» в войне, кто и в котором часу послал (и куда именно) телеграмму в июльские дни 1914 г.,— все эти препирательства казались *тогда* народным массам бессмысленными и даже оскор-

бительными по своей явной ничтожности, при воспоминании о миллионах трупов, только что зарытых в землю. Руководящие верхи капиталистического мира во всех странах Европы в первое время после войны ни в каком случае не могли и не хотели вести себя сколько-нибудь вызывающе. В России, рядом, шла социальная революция, и это тоже на первых порах не поощряло к «тактике сопротивления». Только постепенно это положение (и то не всюду) начало меняться. Финансовая политика (или, точнее, политика государственного банкротства в той или иной мере, на тот или иной срок) диктовалась не только неуплаченными векселями, бывшими в американских руках, но и необходимостью *так или иначе* дать работу, *хотя половинную,* кусок хлеба, хотя урезанный, раздраженным массам.

А там, где решались отказаться от инфляции, беспрекословно соглашались на содержание долгими годами за государственный счет миллионной армии безработных, соглашались некоторое время и на колоссальные денежные субсидии для поддержки шахт и других предприятий, как, например, в Англии. 1919 год был в Англии годом стачек и подготовки к стачкам, которые иногда предотвращались с большими трудностями вмешательством правительства и (обыкновенно, в 1919 г.) уступками хозяев. Было не очень спокойно в стране. В начале марта произошел бунт в войсках — в Кинмель-парке, в канадской дивизии. Приходилось действовать с крайней осторожностью. В рабочих кругах многие явно сочувствовали революции в России, а в армии говорили о нежелании вести внутреннюю войну вслед за внешней. Это брожение продолжалось и в 1920 г. Не только в войсках, но и в полиции было очень неблагополучно. Весной 1919 г. Ллойд-Джордж принял депутацию от лондонской полиции, просившую об улучшении своего положения и довольно открыто угрожавшую стачкой. Правда, до стачки дело не дошло, но уже в 1919—1921 гг. пришлось так или иначе, полностью в одних случаях, частично — в других, удовлетворить требования полиции. Ясно было, что при этих условиях было бы очень неосторожно до поры, до времени слишком уповать на войска и полицию и с легким сердцем провоцировать революционное выступление рабочих. Политика уступок диктовалась всеми обстоятельствами. Отстоять себя от социальной революции западноевропейскому капитализму пока удалось. Но отстоять себя от тех требований, с которыми рабочий класс выступал вполне *единодушно,* европейскому капиталу в 1919 и следующих годах удавалось очень редко. Да он и не хотел доводить до решительной «пробы сил», в особенности в первые годы после войны. И это еще больше иллюстрирует силу и степень прочности и уверенности в себе американского капитала после войны, сравнительно с европейским. Что характерно и для внешней и

для внутренней политики *американского* капитала в первые годы после войны? Наступление, вызов, полная уверенность в победе как над соперниками извне, так и над революционерами внутри. Что характеризует и внешнюю и внутреннюю политику *европейского* капитала в 1919—1922 гг.? Банкротство, неплатеж долговых обязательств внешнему кредитору, выпуск ничем не обеспеченных бумажных денег, отступление перед американской промышленностью, американской торговлей, американскими банковскими захватами, перед диктатурой нью-йоркской биржи и одновременное отступление перед своим пролетариатом, перед его основными требованиями — откуда угодно добыть для него работу и пропитание. На этой почве и развивалась отмеченная выше болезненная и литературно-преувеличенная уверенность в «гибели Европы» и т. п.; чувствовались глухие толчки и сотрясения, а воображение уже видело всепоглощающее землетрясение; самовластный хозяин жизни, царивший перед 1914 г. и начавший войну в 1914 г.,— европейский капитализм — оказался в 1919—1922 гг. (да отчасти и позже) в трудном внутреннем и внешнем положении, а впечатлительным литераторам, дилетантам и художникам слова начинала мерещиться даже не революция, а гибель Европы и едва ли не всей человеческой культуры. «Гибель» не пришла, да и слово это в данном случае не имеет ясного смысла [5].

Европейский капитал постепенно стал отвоевывать у американского некоторые прежние позиции, и 1924 год, а особенно 1925—1926 годы были во многом уже непохожи на 1919 или 1920 годы. Как пойдет дальше борьба американского и европейского капиталов, мы не знаем, но отметить *этот* факт необходимо.

По данным, собранным Лигой наций, общая картина торговой деятельности Европы и Америки рисуется в таких цифрах:

	Доля Соединенных Штатов в мировом вывозе (в %)	Доля Соединенных Штатов в мировом ввозе (в %)
В 1913 г.	17,7	11,4
» 1920 »	37,6	34,7
» 1924 »	23,6	17,5

Цифровой материал, касающийся столь же показательных категорий фактов, дает при сравнении подобные же результаты. Ясно, что Европа после тяжкого кризиса и болезненных потрясений первых лет, следовавших за войной, начинает (с 1924 г.) оправляться.

Все же при всех этих оговорках, читатель, вспоминая первые страницы этой книги, должен уяснить себе, что если еще

до войны 1914 г. американский капитал выступил в качестве фактора громадного значения, то в самые первые годы после 1914—1918 гг. это значение увеличилось в огромной степени.

Значение же это (*если* оно будет усиливаться) для капитала европейского, конечно,— роковое: земной шар становится еще теснее, чем был; те отдушины, которые отдаляли взрыв, которые мешали наступлению внешних и внутренних катаклизмов, могут теперь закрываться одна за другой. Классовая борьба внутри социального организма каждой капиталистической державы, международная борьба извне не могут не обостряться особенно резко в Европе, *если* будет развиваться дальнейшее победное шествие американского капитала после остановки и некоторого его отступления в 1924—1926 гг. После небывалых кровопролитий, начавшихся в 1914 г. и лишь очень постепенно прекратившихся после 1919 г., пережившие эту эпоху поколения могут оказаться на некоторое время слишком утомленными и истощенными для новых напряжений воли, для новых внешних и внутренних войн. Но *почва* для новых революций, как и для новых войн, безусловно существует. «Факты революционны, хоть люди и не революционны» [6]. И если увлекаются и фантазируют те, кто видят в развивающейся после 1919 г. *исторической эволюции признаки какой-то «гибели Европы»*, то ничуть не менее фантазируют и те, кто провозглашают будто бы наступившую эру «пацифизма» во внешних отношениях и социального «умиротворения» во внутренних отношениях европейских держав. И *тени* основания для всех этих благодушных мечтаний нет, и сами мечтатели (поскольку они вообще искренни) слишком склонны иногда принимать *еще* продолжающееся утомление за *уже* наступившее «умиротворение».

Ни «гибели», ни «спасения»: продолжающаяся непрерывная, часто бурная и болезнетворная, эволюция, продолжающаяся характерная для социологической природы капитализма *одновременная* внешняя (международная) и внутренняя (классовая) борьба его за свое существование и преобладание, борьба, развивающаяся для американского капитала в условиях более благоприятных, чем до 1914 г., для европейского капитала — в условиях в общем менее благоприятных, как внешних, так и внутренних,— борьба, в долгом процессе которой дальнейшие катаклизмы, болезненные сдвиги и столкновения остаются более чем вероятными. Даже можно выразиться так, что скорее было бы невероятно уж очень длительное отсутствие этих явлений.

Анализу основных явлений полной глубочайшего исторического интереса эпохи, наступившей после окончания мировой войны, я надеюсь посвятить особую книгу.

1927 г.

БИБЛИОГРАФИЯ *

I

Новейший империализм и общий обзор истории Европы 1871—1914 гг.

Ленин В. И. Империализм, как высшая стадия капитализма. Соч., т. 22, стр. 173—290.

Гильфердинг Р. Финансовый капитал. Новейшая фаза в развитии капитализма. 5 изд. М.— Л., [1925]. XX, 460 стр.

Коллиер В. Американизм, мировая угроза. М., 1925. 169 стр.

Павлович М. П. Французский империализм в послеверсальский период. М., 1925. 78 стр.

Пашуканис Е. Б. Империализм и колониальная политика. М., 1928. 119 стр.

Преображенский П. Ф. Очерк истории современного империализма. 3 изд. М., 1926. 108 стр.

Рудой Я. Проблемы империализма. Л., [1928]. 180 стр.

Friedjung H. Das Zeitalter des Imperialismus (1884—1914). Berlin, 1919—1922. 3 Bde.

Kjellen N. Die Grossmächte und die Weltkrise. Leipzig, 1921. IV, 249 S.

Lengyel. Der Zusammenbruch des Kapitalismus. Wien, 1921.

Lichtenberger H. et Petit P. L'impérialisme économique allemand. Paris, 1918. 290 p.

Marcks E. Die imperialistische Idee in der Gegenwart. Dresden, 1903. 33 S.

Moon P. Th. Imperialism and world politics. New York, 1926. XIV, 583 p.

Naumann F. Mitteleuropa. Berlin, 1916. XIV, 359 S.

Rohrbach P. Der deutsche Gedanke in der Welt. Düsseldorf, 1912. 250 S.

Salomon F. Der britische Imperialismus. Leipzig, 1916. VIII, 223 S.

Tannenberg O. Gross-Deutschland. Leipzig, 1911. 280 S.

* См. в предисловии замечание относительно этой библиографии. Тут даны лишь самые краткие указания.

Viallate A. L'impérialisme économique et les relations internationales pendant le dernier demi-siècle (1870—1920). Paris, 1923. X, 316 p.

Международная политика новейшего времени в договорах, итогах и декларациях. М., 1925—1926. 2 т.

Что касается общих обзоров политической истории этого периода (1871—1914 гг.), то на русском языке можно указать ряд переводов, вроде книг:

Сеньобос Ш. Политическая история современной Европы. 6 изд. М.—Пг., 1923—1924. 2 т.

Гуч Г. П. История современной Европы. Сокр. пер. Ю. Соловьева и Н. Ждановой. Предисл. Ф. Ротштейна. М.— Л., 1925. VIII, 291 стр.

Кареев Н. И. История Западной Европы в новое время. СПб.—Пг., 1892—1917. 7 т.

Лукин Н. М. Новейшая история Западной Европы, т. I. 2 изд. М.— Л., 1925. 509 стр. (Курс, рассчитанный тоже на всю историю XIX—XX вв., доведен до 1848 г.).

Богатейшим новым первоисточником для истории всей Европы (а не только Германии) рассматриваемого периода является многотомное издание германского министерства иностранных дел Die Grosse Politik der europäischen Kabinette 1871—1914. Sammlung der diplomatischen Akten des Auswärtigen Amtes. Berlin, 1922—1927. 40 Bde.

Конечно, пользоваться им следует с осторожностью, памятуя, что германское министерство публикует лишь те документы, которые не могут нанести ущерба интересам Германии с точки зрения «вопроса о виновности» (в войне) или с точки зрения обвинения Германии в агрессивной политике в 1871—1914 гг. Издание пока еще не дошло до самых последних предвоенных событий, но известная тенденция в подборе в указанном смысле уже чувствуется. Во всяком случае эта публикация в высшей степени ценна. Ничего подобного пока не издано нигде *.

II

Франция в 1871—1914 гг.

Бороздин И. Н. Очерки по истории рабочего движения и рабочего вопроса во Франции XIX века. 2 изд. М., 1923. 104 стр.

Материалы по истории франко-русских отношений за 1910—1914 гг. М., 1922. 720 стр.

Покровский М. Франция до и во время войны. 3 изд. Л., 1924. 131 стр.

Тарле Е. В. Гегемония Франции на континенте.— «Анналы», т. IV, 1924, стр. 34—92.

Albin P. L'Allemagne et la France en Europe (1885—1894). Paris, 1913. X, 400 p.

André L., général. Cinq ans de ministère. Paris, 1907. 403 p.

Augé-Laribé M. L'évolution de la France agricole. Paris, 1912. XVII, 304 p.

Blum L. Les congrès ouvriers et socialistes français. Paris, 1901. 2 vol.

* В последнее время Англия, по-видимому, хочет последовать примеру Германии: см. упоминаемое дальше издание Gooch and Temperley.

Challaye F. Syndicalisme révolutionnaire et syndicalisme réformiste. Paris, 1909. 156 p.
Daudet E. Histoire diplomatique de l'Alliance franco-russe. (1873—1893). 3 éd. Paris, 1894. IV, 339 p.
Debidour A. Histoire diplomatique de l'Europe. Paris, 1926—1929. 2 vol. (Больше всего внимания уделено Франции.)
Gaffarel P. L'histoire de l'expansion coloniale de la France depuis 1870. Paris, 1916.
Gauvain A. L'Europe au jour le jour (1908—1917). Paris, 1917—1923. 14 vol. (Рассказ о европейских событиях с точки зрения французской политики).
Halévy E. Histoire du peuple anglais au XIX siècle. Paris, 1913—1928. 3 vol.
Hanotaux G. Histoire de la France contemporaine (1871—1900). Paris, 1903—1908. 4 vol.
Huret J. Enquête sur la question sociale. Paris, 1897. XXIV, 372 p.
Jacques L. Les partis politiques sous la troisième République. Paris, 1913.
Louis P. Histoire du mouvement syndical en France. Paris, 1907. IV, 282 p.
Louis P. Le syndicalisme français, d'Amiens à Saint-Etienne (1906—1922). Paris, 1924. 236 p.
Lavisse E. Histoire de France contemporaine, t. VIII. Paris, [1922]. Коллективный труд.
Pelloutier F. Histoire des bourses du travail. Paris, 1921. 340 p.
Pougt E. La confédération générale du travail. Paris, 1910. 64 p.
Rambaud A. Jules Ferry. Paris, 1903. XXVIII, 538 p.
Reinach J. Histoire de l'affaire Dreyfus. Paris, 1901—1911. 7 vol.
Risler G. Le travailleur agricole français. Paris, 1923. 281 p.
Say L. Les finances de la France. Paris, 1898—1901. 4 vol.
Souchon A. La propriété paysanne. Paris, 1899. 257 p.
Tardieu A. La France et les alliances. Paris, 1910. III, 428 p.
Weill G. Histoire du mouvement social en France (1852—1902). Paris, 1904. 494 p.
Zévaès A. Le socialisme en France depuis 1871. Paris, 1908. 353 p.

III

Великобритания

Беер М. История социализма в Англии. Пер. М. Е. Ландау. С предисл. Ф. А. Ротштейна. М.—Пг., 1923—1924. 2 т.
Беер М. Современная Англия. Пер. Б. Гимельфарба. [Харьков], 1925. VIII, 68 стр.
Гоблет И. М. Борьба Ирландии за независимость (1914—1920). Пер. и вступит. статья И. Л. Попова. Пг., 1923. 196 стр.
Гринвальд М. К. Автобиография М. Асквит.— «Анналы», т. IV, 1924, стр. 226—234.
Дионео. Меняющаяся Англия. М., 1914—1915. 2 т.
Дионео. Очерк современной Англии. М., 1907.
«Красный архив», т. X, 1925, стр. 54—66. Документы о русско-английском соглашении.
Лемонон Э. Очерк истории англо-французских отношений. М., 1923. 100 стр.
Мстиславский С. Д. Рабочая Англия. М., 1924. 133 стр.
Ротштейн Ф. А. Очерки по истории рабочего движения в Англии. 2 изд. М.—Л., 1925. 344 стр.

Руир А. М. Англо-русское соперничество в Азии в XIX веке. М., 1924. 180 стр.
Тарле Е. В. Англия и Турция.— «Анналы», т. III, 1923, стр. 21—71.
Херасков И. М. Англия до и во время войны. Пг., 1918. 86 стр.
Bardoux J. L'Angleterre radicale (1906—1913). Paris, 1913. VII, 559 p.
Bonn M. Irland und die irische Frage. München, 1918. VII, 268 S.
British documents on the origin of the war (1898—1914). Ed. by G. P. Gooch and H. Temperley. London, 1926—1938. 11 vol.
The Cambridge history of British foreign policy (1783—1919). Ed. by A. W. Ward and G. P. Gooch. Vol. 3. London, 1923. XIX, 664 p.
Conolly J. Labour in Ireland. Dublin, 1920. XXXVIII, 346 p.
Dunlop R. Ireland from the earliest times to the present day. London, 1922. 224 p.
Dunning W. A. The British Empire and the United States. London, 1914. XI, 381 p.
Fisher J., lord. Memories. London, 1919. XVI, 295 p.
Grazannes J. L'Empire britannique et la guerre européenne. Paris, 1916. VII, 230 p.
Grey of Falladon E. Twenty five years. London, 1925. 2 vol.
Hettner A. Englands Weltherrschaft und ihre Krisis. Leipzig, 1917. VI, 296 S.
Knowles L. Ch. The economic development of the British overseas Empire. London, 1925. 555 p.
Knowles L. Ch. The industrial and commercial revolutions in Great Britain during the XIX century. London, 1922. 432 p.
Lanessan J. Histoire de l'entente cordiale franco-anglaise. Paris, 1916. XII, 312 p.
Lee S. King Edward VII. London, 1925—1927. 2 vol.
Lemonon E. L'Europe et la politique britannique. Paris, 1910. VIII, 555 p.
Paton W. A. The economic position of the United Kingdom. Washington, 1919. 160 p.
Rees J. F. A social and industrial history of England (1815—1918). London, 1920. VII, 197 p.
Salomon F. Der britische Imperialismus. Leipzig. 1916. VIII, 223 S.
Siebert. Diplomatische Aktenstücke zur Geschichte der Entente Politik. Berlin, 1924.
Wells W. and Marlowe N. History of the Irish rebellion of 1916. Dublin, 1916. 279 p.
Welbourne E. A social and industrial history of England. London, [1922]. 212 p.

IV

Германия и Австрия в 1871—1914 гг.

Энгельс Ф. Роль насилия в истории. В кн.: Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. XVI, ч. 1, стр. 452—507.
Зайдель Г. Организационные принципы II Интернационала.— «Под знаменем марксизма», 1926, № 12, стр. 185—214.
Лукин Н. М. Очерки по новейшей истории Германии (1890—1914 гг.). Л.—М., 1925. 436 стр.
Меринг Ф. История германской социал-демократии. М., 1920—1921. 4 т.

Переписка Вильгельма II с Николаем II (1894—1914 гг.). С предисл. М. Н. Покровского. М.— П., [1923]. VIII, 198 стр.
Ривлин Е. Борьба течений в германской социал-демократии в первые годы после падения исключительного закона (1890—1895 гг.).— «Под знаменем марксизма», 1926, № 11, стр. 142—171.
Русско-германские отношения. (Сборник секретных документов. С предисл. М. Н. Покровского.) М., 1922. 211 стр.
Сигрист С. В. У порога великой войны. Балканы, как очаг европейских столкновений. Пг., 1924. 123 стр.
Bernstein E. Die Wahrheit über die Einkreisung Deutschlands. Berlin, 1920. 48 S.
Bismarck O. Gedanken und Erinnerungen. Berlin, 1922. 2 Bde.
Cartellieri A. Deutschland in der Weltpolitik. Jena, 1923. 27 S.
Charmatz R. Oesterreichs äussere und innere Politik von 1895 bis 1914. Leipzig, 1918. IV, 128 S.
Chlumecky L. Die Agonie des Dreibundes. Wien, 1915. VII, 443 S.
Chlumecky L. Oesterreich-Ungarn und Italien. Wien, 1907. IV, 247 S.
Curti A. Der Handelskrieg von England, Frankreich und Italien gegen Deutschland und Oesterreich-Ungarn. Berlin, 1917. XII, 146 S.
Dawson W. The German empire (1867—1914). London, 1919. 2 vol.
Dehn P. Die Völker Südosteuropas und ihre politischen Probleme. Halle, 1909. 98 S.
Denis E. La grande Serbie. Paris, 1919. XIII, 326 p.
Deutschland unter Kaiser Wilhelm II. Berlin, 1914. 3 Bde.
Eckardstein H. Lebenserinnerungen. Berlin, 1921. 3 Bde.
Egelhaaf G. Geschichte der neuesten Zeit. Stuttgart, 1920. 2 Bde.
Fournier A. Wie wir zu Bosnien kamen. Wien, 1909. VIII, 96 S.
Gradnauer und Schmidt. Die deutsche Volkswirtschaft.
Gruntzel J. Grundriss der Wirtschaftspolitik. Wien — Leipzig, 1920—1922. 5 Bde.
Haller H. Die Aera Bülow. Stuttgart, 1922. IX, 152 S.
Handbuch der Politik. Hrsg. v. M. Lenz u. a. Berlin, 1920—1921. 4 Bde. (Имеет значение также для 1914—1919 гг.)
Larmeroux J. La politique extérieure de l'Autriche-Hongrie (1875—1914). Paris, 1918. 2 vol.
Liman P. Der Kaiser. Berlin, 1913. VIII, 435 S.
Liman P. Der Kronprinz. Minden, 1914. 300 S.
Ludwig E. Wilhelm der Zweite. Berlin, 1926. 495 S.
Mandl L. Oesterreich-Ungarn und Serbien. Wien, 1911. VII, 76 S.
Mandl L. Oesterreich-Ungarn und Serbien nach dem Balkankrieg. Wien, 1912. 60 S.
Marcks E. Otto von Bismarck. Stuttgart, 1915. XI, 256 S.
Marriot J. and Robertson G. The evolution of Prussia. Oxford, 1917. 459 p.
Martin R. Kaiser Wilhelm II und König Eduard VII. Berlin, 1907. 95 S.
Mitocchi A. Triest, der Irredentismus und die Zukunft Triests. Graz, 1918. 166 S.
Molden B. Alois Graf Aerenthal. Stuttgart, 1917. 242 S.
Le pangermanisme colonial sous Guillaume II. Avec une préface par Ch. Andler. Paris, 1916. 335 p.
Le pangermanisme continental sous Guillaume II (1888—1914). Avec une préface par Ch. Andler. Paris, 1915. LXXXIII, 480 p.

Pribram A. Die politischen Geheimverträge Oesterreich-Ungerns (1879—1914). Wien, 1920. VII, 327 S.
Rathenau W. Der Kaiser. Berlin, 1923. 59 S.
Reventlow E. Deutschlands auswärtige Politik (1888—1913). Berlin, 1914. XVI, 402 S.
Sartorius von Walters-Hansen A. Deutsche Wirtschaftsgeschichte (1815—1914). Jena, 1920. 598 S.
Schlenther. Das Neunzehnte Jahrhundert in Deutschlands Entwicklung.
Schröder. Handbuch der Socialdemokratischen Parteitage von 1863—1909.
Singer A. und Helmolt H. Geschichte des Dreibundes. Leipzig, 1914. VIII, 293 S.
Slokar J. Geschichte der österreichischen Industrie. Wien, 1914. XIV, 674 S.
Stieve F. Deutschland und Europa (1890—1914). Berlin, 1926. VII, 247 S.
Stojanoff A. Die handelspolitische Situation der Balkanstaaten gegenüber Oesterreich-Ungarn. Wien, 1914. VIII, 108 S.
Streseman G. Reden und Schriften. Dresden, 1926. 2 Bde.
Valentin V. Deutschlands Aussenpolitik von Bismarcks Abgang bis zum Ende des Weltkrieges. Berlin, 1921. XV, 418 S.
Wolff Th. Das Vorspiel. München, 1924.
Литературу по новейшей истории социал-демократии см. дальше, в библиографии по истории Германской революции.

V

Мировая война

Адамов Е. А. Брест-Литовский мир и претензии держав Антанты к России.— «Международная жизнь», II, 1922.
Бирюкович В. Министр Ягов о причинах мировой войны.— «Анналы», т. III, 1923, стр. 275—278.
Версальский мирный договор. Пер. под ред. Ю. В. Ключникова и А. Сабанина. М., 1925. XXXI, 198 стр.
Зайончковский А. М., Подготовка России к мировой войне в международном отношении. Л., 1926. 401 стр.
Извольский А. П. Воспоминания Пг.— М., 1924. 191 стр.
Константинополь и проливы. По секретным документам б. министерства ин. дел, под ред. Е. А. Адамова. М., 1925—1926. 2 т.
Лихарев М. Секретная дипломатия в эпоху мировой войны.— «Анналы», т. III, 1923, стр. 258—269.
Переписка В. А Сухомлинова с Н. Н. Янушкевичем.— «Красный архив», т. III, 1923, стр. 29—74.
Поденная запись министерства иностранных дел.— «Красный архив», т. IV, 1923.
Покровский М. Н. Империалистическая война. Сборник статей. М., 1928. 296 стр.
Полетика Н. П. Возникновение мировой войны. М.—Л., 1935. 728 стр.
Раздел азиатской Турции. По секретным документам б. министерства ин. дел. Под ред. (и с предисл.) Е. А. Адамова. М., 1924. 384 стр.
Романов Б. А. Финансовые переговоры России с союзниками.
Сигрист С. Австрия в эпоху мировой войны.— «Анналы», т. IV, 1924, стр. 293—295.

Тарле Е. В. Германская ориентация и П. Н. Дурново в 1914 г.— «Былое», № 19, 1922, стр. 161—176.

Царская Россия в мировой войне. [Сборник материалов и документов с предисл. М. Н. Покровского]. Л., 1925. XXIV, 300 стр.

Энджелль Н. Версальский мир и экономический хаос в Европе. Пг., 1922. 112 стр.

Asquith H. The genesis of the war. London, 1923. X, 304 p.

Belgique. Ministère des affaires étrangères. Diplomatic documents (1905—1914). Berlin, 1915. X, 188 p.

Bernstorff J. H. Deutschland und Amerika. Berlin, 1920. XI, 113 S.

Bethmann-Hollweg Th. Betrachtungen zum Weltkriege. Berlin, 1919—1921. 2 Bde. (Русский перевод: Бетман-Гольвег Т. Мысли о войне. Пер. В. Н. Дьякова. С предисл. В. Гурко-Кряжина. М.— Л., 1925. XIII, 120 стр.).

Brockdorf-Rantzau U. K. Dokumente. Berlin, 1920. 200 S.

Churchill W. The world crisis. London, 1923—1925. 2 vol.

Die deutschen Dokumente zum Kriegsausbruch. Vollst. Samml. d. v. K. Kautsky zusammengest. amtl. Aktenstücke. Neue durchgas. u. verm. Ausg. Berlin, 1927. 4 Bde.

Deutsches Weissbuch über die Verantwortlichkeit der Urheber des Krieges. Berlin, 1919.

Endres F. Der Weltkrieg der Türkei. Berlin, 1920. 55 S.

Erinnerungen des Kronprinzen Wilhelm. Berlin, 1922. 347 S. (Русский перевод: Записки германского кронпринца. М.— Пг., 1923. 269 стр.)

Erzberger M. Erlebnisse im Weltkrieg. Stuttgart, 1920. VII, 396 S. (Русский перевод: Эрцбергер М. Германия и Антанта. Мемуары. М.— Пг., 1923. 356 стр.). Ср. Макаров А. Н. Эрцбергер и заключительные этапы дипломатической истории мировой войны.— «Анналы», т. III, 1923, стр. 177—190.

Falkenhayn E. Die Oberste Heeresleitung (1914—1916). Berlin, 1920. VIII, 252 S.

France. Ministère des affaires étrangères. Documents diplomatiques. Paris, 1918. X, 139 p.

Die Friedensbedingungen der alliierten und assoziierten Regierungen. Berlin, 1919. 256 S. (Полный текст Версальского мира.)

Gerard J. W. My four years in Germany. New York, 1917. VII—XVI, 448 p.

Great Britain and the European crisis. Correspondence and statements in Parliament. London, 1914.

Helfferich K. Der Weltkrieg. Berlin, 1919. 3 Bde. (Сокращенный русский перевод: Гельферих К. Т. Накануне мировой войны. М., 1924. 154 стр.)

Hindenburg P. Aus meinem Leben. Leipzig, 1920. XII, 409 S.

Humbert Ch. Chacun son tour. Paris, 1925. 442 p. (Против Пуанкаре.)

Jagow G. Ursachen und Ausbruch des Weltkrieges. Berlin, 1919. III, 195 S.

Jöhlinger O. Der britische Wirtschaftskrieg und seine Methoden. Berlin, 1918. IV, 522 S.

Judet E. Georges Louis. Paris, 1925. 318 p. (Против Пуанкаре.)

Karolyi M. Gegen eine ganze Welt. München, 1924. XVI, 515 S.

Kautsky K. Delbrück und Wilhelm II. Berlin, 1920. 55 S.

Kautsky K. Wie der Weltkrieg entstand. Berlin, 1919. 182 S. (Русский перевод: Каутский К. Как возникла мировая война. М., 1924. 230 стр.)

Keynes J. M. The economic consequences of the peace. New York, 1920. 298 p.
Lavisse E. Histoire de France contemporaine. T. IX. La grande guerre. Paris, 1922.
Lichnowsky K. M. Meine Londoner Mission (1912—1914). Zürich, 1918. 55 S. (Русский перевод: Лихновский К. М. Моя миссия в Лондоне (1912—1914). Пер. под ред. и с предисл. Н. Нордмана. [Б. м.], 1918. III, 40 стр.)
Louis G. Carnets de Georges Louis. Paris, 1926. 2 vol.
Ludendorff E. Meine Kriegserinnerungen (1914—1918). Berlin, 1919. VIII, 628 S. (Русский перевод: Людендорф Э. Мои воспоминания о войне 1914—1918 гг. Пер. под ред. А. Свечина. М., 1923—1924. 2 т.)
Moltke H. Erinnerungen, Briefe, Dokumente (1877—1916). Stuttgart, 1922. XV, 456 S.
Niemann A. Kaiser und Revolution. Berlin, 1922. 159 S.
Niemann A. Die Wanderungen mit Kaiser Wilhelm II. Leipzig, 1924. 127 S.
Nowak K. F. Der Weg zur Katastrophe. Berlin, 1920. XIV, 299 S.
Nowak K. F. Der Sturz der Mittelmächte. Berlin, 1921. VII, 435 S.
Paléologue M. La Russie des tsars pendant la grande guerre. Paris, 1925. 3 vol. (Русские переводы: Палеолог М. Царская Россия во время мировой войны. Предисл. М. Н. Павловича. М.—Пг., 1923. 314 стр.; Палеолог М. Царская Россия накануне революции. Пер. Д. Протопопова и Ф. Ге. М.—Пг., 1923. 471 стр.)
Payer F. Von Bethmann-Hollweg bis Ebert. Frankfurt a/Main, 1923. 304 S.
Poincaré R. Au service de la France. Paris, 1926—1927. 4 vol.
Poincaré R. Les origines de la guerre. Paris, 1921. 289 p.
Pourtalès F. Am Scheidewege zwischen Krieg und Frieden. Charlottenburg, 1919. 94 S.
Recueil des documents diplomatiques. Petrograd, 1914.
Renouvin P. Les origines immédiates de la guerre. Paris, 1925. XVI, 279 p.
Stegemann H. Geschichte des Krieges. Stuttgart und Berlin, 1917—1919. 4 Bde.
Tardieu A. La paix. Paris, 1921. XXXII, 520 p.
Tirpitz A. Erinnerungen. Leipzig, 1919. XII, 547 S. (Сокращенный русский перевод: Тирпиц А. Из воспоминаний. М.—Л., 1925. XVI, 246 стр.)
Ursachen des deutschen Zusammenbruches im Jahre 1918. Berlin, 1919—1928. 12 Bde. (Документы следственной комиссии.)
Wilhelm II., Kaiser. Ereignisse und Gestalten aus den Jahren 1878—1918. Leipzig — Berlin, 1922. 308 S. (Русский перевод: Вильгельм II, имп. Мемуары. События и люди. (1878—1918). Пер. Д. В. Триуса. Предисл. А. В. Луначарского. М.—Пг., 1923. XX, 177 стр. Ср. Вульфиус А. Г. Вильгельм II о себе самом.— «Анналы», т. III, 1923, стр. 104—113.)
Wilhelm, Kronprinz. Ich suche die Wahrheit! Stuttgart, 1925. VI, 396 S.
Wilhelm W. Versailles. Dresden, 1919. 123 S.
Witt-Guizot. Les grandes étapes de la victoire (1914—1918). Paris, 1923. 230 p.
Wrba. Der Kapitalismus im Weltkrieg. Prag, 1920.
Zedlitz-Trützschler R. Zwölf Jahre am deutschen Kaiserhof. Berlin, 1923. 250 S.

VI

Германская революция (1918—1919 гг.)

Барт Э. В мастерской германской революции.
Левинэ Р. Советская республика в Мюнхене. М., 1926.
Меринг Ф. В дни войны. М., 1920.
Мюллер Р. Мировая война и германская революция. М., 1924—1925. 2 т.
Попов И. Л. Документы о германской революции.— «Анналы», т. III, 1923, стр. 284—287.
Фрелих П. Германская социал-демократия. Л., 1928. 204 стр.
Bericht über den Gründungsparteitag der Kommunistischen Partei Deutschlands (Spartakusbund) vom 30. Dezember 1918 bis 1. Januar 1919. Berlin, 1919.
Bernstein E. Die deutsche Revolution. Berlin, 1921. (Русский перевод: Бернштейн Э. Германская революция. Пг., 1922. 110 стр.)
Blücher E. Une Anglaise à Berlin. Paris, 1922. (Последние страницы о революции.)
Braunthal J. Kommunisten und Sozialdemokraten. Wien, 1920. 55 S.
Crispien A. Eine Abrechnung mit den Rechtssozialisten. Berlin, 1919. 32 S.
Crispien A. Unabhängige Sozial. Partei Deutschlands trotz alledem! Berlin, 1920. 40 S.
Die deutsche Revolution. Eine Sammlung zeitgemässer Schriften. Hrsg. von H. Houben und E. Menke-Glückert. Leipzig, 1919—1920.
Diehl K. Die Diktatur des Proletariats. Jena, 1920. VII, 110 S.
Dirr. Auswärtige Politik Kurt Eisners und der Bayerischen Revolution. Leipzig, 1922.
Drahn E. Revolutions-Chronik der Jahre 1914—1920. Leipzig, 1920. 19 S.
Drahn E., Leonhard S. Unterirdische Literatur im revolutionären Deutschland während des Weltkrieges. Berlin, 1920. 200 S. (Русский перевод: Дран Э. и Леонгард С. Подпольная литература революционной Германии за время мировой войны. М., 1923. 76 стр.)
Duda G. A. Parlamentarismus und Gewerkschaft als Waffe im proletarischen Klassenkampf. Wien, 1920. 39 S.
Fischart J. Das alte und das neue System. Berlin, 1919. 3 Bde.
Fricke F. Die Rätebildung im Klassenkampf. Berlin, 1920. 47 S.
Gentizon. La révolution allemande. Paris, 1919.
Liebknecht K. Briefe aus dem Felde, aus der Untersuchungshaft und aus dem Zuchthaus. Berlin, 1919. 139 S.
Materialen und Protokolle des ersten Berliner Vollzugsrates und des ersten und zweiten Zentralrats. Protokolle des I. und II. Rätekongresses.
Meinecke F. Nach der Revolution. München, 1919. III, 144 S.
Noske G. Von Kiel bis Kapp. Berlin, 1920. 211 S. (Русский сокращенный перевод: Носке Г. Записки о германской революции. М., 1922. 176 стр.)
Pfemfert F. Die Sozialdemokratie bis zum August 1914. Berlin, 1918.
Protokoll des Gründungs-Parteitags des U. S. P. D. Vom 6. bis 8. April 1917 in Gota. Berlin, 1921.
Protokoll über die Verhandlungen des ausserordentl. Parteitages d. Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Von 2. bis 6. März 1919 in Berlin. Berlin, 1919. 286 S.

Rathenau F. Parlament und Räte. Berlin, 1919. 64 S.
Rother E. Die Sozialdemokratie am Scheidewege. Berlin, 1915. 16 S.
Scheidemann Ph. Der Zusammenbruch. Berlin, 1921. VIII, 251 S. (Русский перевод: Шейдеман Ф. Крушение Германской империи. М.— Пг., 1923. 326 стр.)
Seidel R. Die Gewerkschaftsbewegung und das Rätesystem. Berlin, 1919. 64 S.
Spartakus. Bauer! Wo fehlt's? Berlin, 1919.
Spartakus. Briefe. Herausgegeben von der Kommunistischen Partei Deutschlands. Berlin, 1920. IV, 194 S.
Stroebel H. Die deutsche Revolution. Berlin, 1920. 243 S. (Русский перевод: Штребель Г. Германская революция. Прага, 1921. 160 стр.)
Varga E. Die wirtschaftlichen Probleme der proletarischen Diktatur. 2. Aufl. Wien, 1921. 138 S.
Voss. Enthüllungen über den Zusammenbruch. Halle, 1920.
Wentzcke P. Die erste Deutsche Nationalversammlung und ihr Werk. München, 1922. LXIV, 404 S.
Werner P. Die Bayerische Räte-Republik. Leipzig, 1920. V, 109 S.

VII

Соединенные Штаты

Барраль-Монферра. От Монро до Рузвельта. (1823—1905). Пер. М. Тумповской. М.— Л., [1925]. 205 стр.
Бекер Р. С. Вудро Вильсон, мировая война, Версальский мир. Пер. А. Н. Карасика. Предисл. М. Павловича. М.— Пг., 1923. 451 стр. (Совершенно неудовлетворительная характеристика политики Вильсона, но есть некоторые интересные непосредственные наблюдения.)
Галкович М. Соединенные Штаты и дальневосточная проблема. М., Госиздат, 1928. 208 стр.
Гринвальд М. К. Лансинг против Вильсона.— «Анналы», т. II, 1923.
Заславский Д. И. Гражданская война в Соединенных Штатах Северной Америки (1861—1865). Л., 1926. 159 стр.
Киммен Э. Империалистическая политика Северо-Американских Соединенных Штатов. М., [1925]. 104 стр.
Колиер В. Американизм, мировая угроза. М., 1925. (Указано уже выше, в литературе по империализму.)
Либталь М. Вудро Вильсон.— «Анналы», т. IV, 1924, стр. 301—304.
Перельман З. История трэд-юнионистского движения в Соединенных Штатах. М., 1927. XII, 176 стр.
Попов А. Вступление Америки в войну.— «Историк-марксист», 1928, № 7, стр. 36—68.
Эндрус. История Соединенных Штатов. СПб., 1906.
Bonn M. Was will Wilson? München, 1918. 113 S.
Forman S. A history of the American people. London, 1922. 869 p.
Halévy D. Präsident Wilson. Zürich, 1919. VIII, 319 S.
House E. M. The intimate papers of colonel House. Arranged as a narrative by Ch. Seymour. London, 1926. 2 vol. (В высшей степени важна для истории вступления Соединенных Штатов в войну.)
Johnson. America's foreign relations. New York, 1906.
Kraus H. Die Monroe-Doktrin. Berlin, 1913.
Lansing R. The big four and others of the Peace Conference. New York, 1921.

Lansing R. The peace negotiations. New York, 1921.
Luckwaldt F. Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika. Bd. II. Berlin, 1920. VIII, 336 S.
Meyer E. Die Vereinigten Staaten. Frankfurt, 1920. IX, 290 S.
Meissner W. Das wirtschaftliche Vordringen der Nordamerikaner in Südamerika. Cöthen, 1919. VIII, 123 S.
Official statements of war aims and peace proposals. Washington, 1921.
Tardieu A. L'Amérique en armes. Paris, 1919. IX, 320 p.
Tumulty J. P. Woodrow Wilson as I know him. London, 1922. XVI, 538 p.
Wilson W. Das staatsmännische Werk des Präsidenten in seinen Reden. Hrsg. von G. Ahrens und C. Brinckmann. Berlin, 1919. XV, 309 S.

Граф С. Ю. Витте

Опыт характеристики внешней политики

1

Основная черта Витте, конечно,— жажда и, можно сказать, пафос деятельности. Он не честолюбец, а властолюбец. Не мнение о нем людей было ему важно, а власть над ними была ему дорога. Не слова, не речи, не статьи, а дела, дела и дела,— вот единственное, что важно. Сказать или написать можно, если нужно, все, что заблагорассудится, лишь бы расчистить пред собой поле, устранить препятствия и препятствующих и начать строить, создавать, переменять, вообще действовать. Один уже покойный публицист (А. И. Богданович) когда-то выразился так: «Витте не лгун, Витте — отец лжи». До такой степени это свойство казалось ему неразрывно сросшимся с душой графа Витте. Но это свойство происходило именно от полного *презрения к словам*. Сказать ложь или сказать правду — это решительно все равно, лишь бы дело было сделано, лишь бы царь согласился на водочную монополию, лишь бы Клемансо разрешил заем, лишь бы Комура уехал из Портсмута с разбитыми горшками, лишь бы вовремя одурачить еврейских (а также христианских) банкиров, лишь бы Вильгельм два месяца подряд верил, что Витте будет его поддерживать в бьоркской программе. Это ничего, что на третий месяц Вильгельм поймет, как его провели: дело будет сделано. Слова, высказываемые «истины» — все это *само по себе* ни малейшей ценности не имеет. Точно так же не имеют ни малейшей самостоятельной ценности и люди. Хорош тот, кто помогает графу Витте; худ тот, кто мешает или вредит графу Витте; безразличен (как муха) тот, кто ненужен графу Витте. Читая три тома его воспоминаний, мы постоянно наталкиваемся на беззаветно-восторженные суммарные характеристики разных встреч графа на его жизненном пути: «чуднейший человек! благороднейший человек! чистейшая лич-

ность! честнейший человек!» и т. д. И всегда в превосходной степени. Это происходит вовсе не потому, чтобы Витте можно было так легко очаровать: просто ему некогда с ними всеми возиться и еще тратить мысль и время на анализ натуры того или иного человека, подвернувшегося графу под руку. Ты чего хочешь? Помочь мне? Значит, чудеснейший и идеальнейший, хоть бы ты был даже великим князем Сергеем Александровичем или Рачковским. Ты намерен мешать мне? Значит, негодяй, вор, тупица, ничтожество. В пестром рое характеристик, которыми граф Витте снабжает своих ближних, бросается в глаза одна общая всем этим характеристикам черта: их лаконичность. «Идеальнейший» человек или законченный мошенник,— но получай свою квалификацию и не задерживай, уходи с глаз долой, так как у графа есть дела поважнее. Именно *дела,* а не слова и не люди. Иногда, впрочем, граф Витте останавливается дольше на том или ином человеке и предается неожиданно детальным биографическим изысканиям: тогда-то украл казенные деньги, ограбил жену, нарушает в своих нравах такие-то статьи уложения о наказаниях, покровительствует такому-то вследствие таких-то тайных видов и т. д.; это граф наскоро срывает свою злобу, накопившуюся против очень уж повредивших ему лиц. Но даже и это он все-таки делает как-то торопясь и без видимого удовольствия. Он так искренно к людям равнодушен и так, взаправду, многих презирает, что еще может на них рассердиться и озлобиться, но длительно их ненавидеть — органически неспособен уж потому, что неспособен длительно о ком-либо думать; *о чем-либо,* о деле, он может думать годами, возвращаясь к нему постоянно, если считает его важным.

Его интересуют дела, и прежде всего те, которые делал или будет делать именно он, Витте. Да и вообще он не очень представляет себе важное для государства дело, которое могло бы успешно осуществиться без его участия. Сознание своих громадных умственных сил, своего неизмеримого умственного превосходства над прочим родом человеческим, в чем он убежден, невидимо соприсутствует в каждой странице его мемуаров. Тут он исключений не знает. И «идеальнейшие», и «бесчестнейшие», и император Александр III, венец всех добродетелей, и император Николай II со всеми своими пороками, и Иосиф Гессен, и адмирал Дубасов, и Абаза, и Дурново, и Морган, и Вильгельм II, и Гапон — все они предназначены либо быть послушными марионетками графу Витте на утешение, отечеству на пользу, либо они бунтуют против Витте и губят и себя самих, и свое собственное дело. Это нас подводит к вопросу об историческом миросозерцании Витте, чего тоже уместно коснуться в этих предварительных замечаниях.

Это миросозерцание можно определить как довольно примитивную веру в «роль личности» в истории. Витте, вообще говоря, очень мало задумывается над вопросом об основных факторах исторической эволюции. С одной стороны, учитывая (и часто весьма здраво и вполне реально) силы и возможное значение отдельных социальных классов и их борьбы между собой, он нигде не делает общего вывода о классовой социальной борьбе как о решающем историческом факторе. С другой стороны, нет и речи о его вере в какие-либо сверхъестественные вмешательства. Чисто рассудочная натура Витте, быстрый, реальный, циничный ум его, все навыки его анализирующей и нетерпеливой мысли — все это, конечно, не допускало и тени настоящей религиозной веры или, вообще, увлечений каким-либо сверхчувственным умозрением. При случае он любит подчеркнуть, что он — из крепко православной семьи, любит (в похвалу) употреблять (по обыкновению, в превосходной степени) термин: православнейший, архиправославный,— но все это ничего не значит. Во влияние каких-либо высших сил на события в земной юдоли граф Витте не верит ни в малейшей степени, хотя ночь накануне подписания Портсмутского мира он и провел, по собственному свидетельству, «в какой-то усталости, в кошмаре, в рыдании и молитве» (Витте. Воспоминания, т. I, стр. 357).

Не слепая социально-экономическая эволюция и не бог творят историю и могут влиять на течение событий. На историю влияет великий государственный деятель: в частности, на историю России должен влиять Сергей Юльевич Витте, которому в этом деле должен не мешать государь император, не говоря уж о ком бы то ни было другом. Этот тезис весьма мало похож на законченную историко-философскую систему, но граф Витте за составлением систем никогда и не гонялся. А указанного тезиса ему вполне хватало для всегдашней внутренней устойчивости, для полного и непоколебимого признания внутренней своей правоты во всех своих делах и помышлениях.

Какой политический строй считал он в первый период своей деятельности наиболее целесообразным для России? По-видимому, самодержавие. И именно такое, когда самодержцем был бы Александр III, а великим визирем или, если нельзя, то хоть министром финансов был бы С. Ю. Витте. Гораздо хуже — самодержавие Николая II, при котором, все же, долгие годы работал Витте. Хороша ли конституция? Неизвестно, ибо с парламентом граф Витте, автор манифеста 17 октября, никогда не работал, а поэтому самый вопрос этот никогда его и не интересовал. Он хвалит Александра III за твердость. Но эта твердость только потому ему так нравится, что Александр III неуклонно утверждал все то, что ему подносил на утверждение Витте.

Витте, не сознавая того, хвалит твердость никогда не ломавшегося штемпеля, который прикладывался в нужном месте к нужным бумагам: больше ему абсолютно ничего и не требовалось от императорской власти. Александр III играл эту роль без отказа, и поэтому, конечно, он «был великий император» (т. III, стр. 331).

Но Александра III Витте знал лишь на заре своей государственной деятельности: больше всего ему пришлось поработать при Николае II.

Конечно, если бы нужно было в двух словах определить взаимоотношения между этими двумя людьми, то ближе всего к действительности было бы такое утверждение: со стороны Витте по отношению к Николаю — недоверие и презрение; со стороны Николая по отношению к Витте — недоверие и ненависть. Уже всякое третье слово будет чем-то наигранным и вымученным, и когда Витте распространяется (часто совершенно не к месту) о воспитанности и иных похвальных чертах императора Николая II, то это производит неизменно впечатление режущей фальши. С удовольствием цитирует Витте слова Ив. Ник. Дурново, сказанные о Николае II в самый день вступления его на престол: «Это будет нечто вроде копии Павла Петровича, но в настоящей современности». Витте тоже признает: «Конечно, император Николай II не Павел Петрович, но в его характере немало черт последнего и даже Александра I (мистицизм, хитрость и даже коварство), но, конечно, нет образования Александра I. Александр I по своему времени был одним из образованнейших русских людей, а император Николай II по нашему времени обладает средним образованием гвардейского полковника хорошего семейства». Иногда истинное мнение Витте о Николае II прорывается в убежденных и категорических выражениях: например, телеграмма царя Дубровину заставляет Витте признать «все убожество политической мысли и болезненность души самодержавного императора». Он усматривает в царе «коварство, молчаливую неправду, неуменье сказать да или нет и затем сказанное исполнить, боязненный оптимизм, т. е. оптимизм как средство подымать искусственно нервы», он признает в Николае II «сознательное стремление сваливать свою личную (и огромную) ответственность на заведомо невинных людей». «Графа Ламздорфа в конце концов стремились сделать козлом искупления за нелепейшую, бессмысленнейшую, бездарнейшую, а потому и несчастнейшую японскую войну. Конечно, государь сам этого не делал... но должен сказать, что государь сие знал и допускал. Грустно сказать, но это черта благородного царского характера»,— ядовито замечает Витте.

Разглядел Витте и еще одну черту в императоре Николае II,

именно ту, которая, может быть, больше всего или, точнее, *непосредственнее* всего способствовала конечной гибели этого монарха: «Такие лица ощущают чувство страха только, когда гроза пред глазами, а как только она отодвигается за ближайшую дверь, оно мигом проходит. Их чувство притуплено для явлений, происходящих на самом близком расстоянии пространства или времени». Конечно, это — не однозначуще с храбростью, и о психологических последствиях для царя японской войны, например, Витте говорит: «В глубине души не может быть, чтобы он не чувствовал, что главный, если не единственный, виновник позорнейшей и глупейшей войны— это он: вероятно, он инстинктивно боялся последствий этого кровавого мальчуганства из-за угла (*ведь, сидя у себя в золотой тюрьме, ух как мы храбры*)». Витте даже свой переход на конституционную платформу мотивирует индивидуальными чертами последнего представителя абсолютизма: «Когда громкие фразы, честность и благородство существуют только напоказ, так сказать, для царских выходов и приемов, а внутри души лежит мелкое коварство, ребяческая хитрость, пугливая лживость, а в верхнем этаже не буря, даже не ветер, а сквозные ветерочки из дверей, которые обыкновенно в хороших домах плотно припираются, то, конечно, кроме развала ничего ожидать нельзя от самодержавного неограниченного правления»... «*Поэтому*... слава богу, что он (манифест 17 октября — *Е. Т.*) совершился. Лучше было отрезать, хотя не совсем ровно и поспешно, чем пилить тупою, кривою пилою, находящейся в руках ничтожного, а потому бесчувственного оператора».

2

После этих предварительных замечаний переходим к непосредственной специальной теме этого очерка.

Основой всех воззрений Витте на внешнюю политику является глубокое убеждение, что Россия не может и не должна воевать. Замечательно, что, как и все центральные идеи этого человека, эта мысль тоже является у него скорее интуицией, чем логической выкладкой. Если почитать его мемуары, можно открыть немало хвастливых и горделивых заявлений о силе и могуществе России, слов о патриотизме и т. д.; по-видимому, никогда он особенно и не углублялся в вопросы об относительной силе или слабости Японии, Германии, России, Тройственного союза, Антанты, никогда вместе с тем не ставил России *никаких* внешнеполитических задач, кроме одной: сохранения своей территории. Политик-реалист до мозга костей, Витте вообще полагал главную задачу государственной деятельности в удовлетворении назревающих нужд и непосредственных запросов, и с этой точки зрения — правильно или неправильно — ставил

на очередь и разрешал колоссальные проблемы вроде введения и упрочения протекционизма, или вроде золотого денежного обращения, или вроде винной монополии, или торговых договоров с иностранными державами. В импорте иностранного капитала и в развитии (при помощи этого капитала) промышленности в России Витте видел одну из главных целей, к которым должна стремиться государственная власть. Что вся эта эволюция может со временем усилить агрессивность русской внешней политики, Витте, по-видимому, не думал. Во всяком случае за все свое существование он ни разу не обмолвился ни одним словом, которое позволяло бы заподозрить, что он понимает и признает прямую связь, которая существует между экономикой России и ее внешней политикой. Даже, когда он говорит об эпохе после 1907 г., эта связь у него никак не выявляется. Нечего и говорить о предшествующих годах.

С точки зрения Витте, России требовалось только одно: не ввязываться ни в какую войну. Нет ни единой потребности русского государства, которую нельзя было бы вполне удовлетворить, не прибегая к войне.

Но России не только незачем воевать: ей и невозможно воевать. Именно тут и проявлялась интуиция, так могущественно развитая в Витте: он мог там и сям обронить хвастливое, шовинистическое словцо, но всем нутром своим он понимал страшную опасность новых войн для всего бытия основанной Петром I петербургской империи. В этом отношении он сходился с П. Н. Дурново, но резко расходился с подавляющим большинством остальных сановников монархии. Когда начиналась японская война — повествует Витте — «Куропаткин считал, что нам нужно выставить на театр военных действий на полтора солдата японских одного русского, а Ванновский находил, что совершенно достаточно на двух солдат японских выставить одного нашего солдата». А ведь оба эти генерала были вовсе не из самых ограниченных или неспособных. После страшных и непрерывных поражений в эпоху японской войны эта самоуверенность значительно уменьшилась, но до 1904 г. это чувство господствовало.

Интуиция, политический инстинкт Витте всегда были сильнее, чем его мысль, хотя и мысль его от природы была очень сильна. И именно инстинктом Витте понимал всю ошибочность и эфемерность национального самохвальства, окружавшего его в течение большей части его жизни, но особенно усилившегося с 1894 г., со времени вступления Николая II на престол. Можно сказать, что именно в этом вопросе его натура была всегда сильнее его, и он, честолюбец и властолюбец, для которого жизнь без власти была медленным умиранием, который на все пошел бы для сохранения своей силы и влияния,—

именно и погубил свою карьеру резкой и решительной борьбой с царем по центральному вопросу внешней политики, по вопросу о войне с Японией. *Тут* он оказался неспособным ни систематически лукавить, ни длительно подлаживаться. *Только* в этих вопросах он и обнаруживал полную непоколебимость в убеждениях и в их отстаивании. И вместе с тем в тех случаях, когда он был уверен, что дело до войны не дойдет, что всегда можно будет вовремя дать задний ход, Витте обнаруживал необычайное уменье развить максимум энергии и произвести вовремя нужное впечатление на противника. Дипломатическая его деятельность началась блистательным успехом в Берлине в 1894 г., в год русско-германского торгового договора, и закончилась блистательным успехом в Париже, в 1906 г., в год миллиардного займа, и за все двенадцать лет, отделяющие эти две даты, всякий раз, когда русская политика шла не по той дороге, которую указывал Витте, дело кончалось неудачами и опаснейшими осложнениями. Не то, чтобы он сам никогда в этой области не направлялся по опасному пути: мы увидим в дальнейшем изложении, что и в дальневосточных делах Витте вовсе не всегда был столь мудр и безгрешен, как ему хочется это внушить потомству. Но сила его была в другом: в понимании, когда именно нужно остановиться или даже нужно повернуть назад. У него в высочайшей степени было то, чего мало было у Николая II и чего не было вовсе у Вильгельма II: понимания психологии противника. И Витте тоже делал ошибки: но он умел вовремя их обезвреживать; во всяком случае знал, как их обезвредить. Самолюбия, заставляющего упорствовать в раз содеянной ошибке, в нем не было и следа. Точно так же он был вполне свободен и в этой области (как и во всех прочих) от власти какой бы то ни было идеологии, традиционности и т. п. До курьеза немыслимо было бы найти в нем хоть тень мистических мечтаний о преодолении «желтой опасности», о кресте на св. Софии, о славянском призвании России, о «подъяремной Галиции», о борьбе против тевтонства или против нечестивых агарян, владеющих Босфором (о чем серьезно писал — поминая «агарян» — Чарыков и множество других больших и малых дипломатов). Все это графу Витте так же органически чуждо, как учение о трех китах, на коих базируется земной шар. Оппортунист по природе, оппортунист во всех без исключения вопросах внутренней политики, Витте был подавно полнейшим оппортунистом в политике внешней.

Обратимся к анализу наиболее крупных актов, когда Витте приходилось иметь дело с иностранными державами. Этот анализ приведет нас к некоторым любопытным выводам, касающимся самой природы абсолютизма в годы его заката. Витте мог перехитрить Каприви, мог победить Комуру, мог справиться

с Рувье. Но он оказался бессилен в своем утопическом стремлении спасти режим, который в этом фазисе своего бытия упорно и последовательно работал (*и не мог не работать*) для своей собственной гибели.

Первое выступление Витте на этом поприще произошло в 1892—1894 гг., когда он уже был министром финансов, но еще не снискал себе той громкой известности, которая спустя несколько лет окружила его имя. Протекционизм торжествовал уже в те времена в континентальной Европе и Северной Америке полную победу. Германия при Бисмарке, Россия при Вышнеградском, предшественнике Витте, перешли также к системе покровительственных, иногда прямо запретительных тарифов. В 1891 г. Вышнеградский провел тариф, необычайно затруднявший распространение германских фабрикатов на русском рынке. С своей стороны, Германия еще до этого времени сильно стеснила ввоз продуктов русского сельского хозяйства. Таково было положение вещей, когда 30 августа 1892 г. Витте был назначен министром финансов. Бисмарка в тот момент уже не было. Канцлером империи был Каприви, покорный и бесцветный исполнитель воли Вильгельма II. Торжествовала политика «нового курса», провозглашенного молодым германским императором. Одна из идей Вильгельма заключалась в необходимости теснейшей дружбы с Австрией и в уместности полной «свободы рук» относительно России. Это было время, когда Вильгельм II еще только начинал растрачивать доставшийся ему по наследству богатый капитал монархических чувств Германии. Вильгельма еще не успели разглядеть. Кроме его матери, кроме Бисмарка, кроме графа Вальдерзее, в те годы еще мало кто знал Вильгельма. Его внезапные переходы от неистового самохвальства к неожиданной трусости, его прямо исключающие друг друга суждения, его доходящая до курьезов абсолютная неспособность к дипломатической деятельности — все это понемногу уже начинало обнаруживаться, по для непосвященных все это исчезало в лучезарном блеске счастья и могущества Германской империи. В деле русско-германских торговых отношений в Германии боролись могущественнейшие классовые интересы: промышленная буржуазия была заинтересована в благополучном улажении дела, так как русский рынок сбыта был для нее одним из важнейших; представители интересов землевладения, напротив, не желали конкуренции русского сельскохозяйственного ввоза; рабочий класс, с одной стороны, тоже заинтересованный в обеспечении за германской промышленностью русского рынка, с другой стороны, вместе со всей потребительской массой вообще, желал возможно более широкого ввоза в Германию русского хлеба, огородных продуктов, русской птицы и скота, ожидая от этого понижения цен на предметы первой необходимости.

При этих условиях большинство населения не желало, конечно, экономического разрыва с Россией. Но Вильгельм II столько успел наговорить о своем благорасположении к верноподданному дворянству, до такой степени был непосредственно окружен при своем дворе представителями крупного землевладения, так любил превращать всякий спор в вопрос о престиже, что в эти первые времена конфликта склонен был рассчитывать на благие последствия от непоколебимой твердости в затеявшейся экономической борьбе.

Витте застал такое положение: германское правительство стало пускать в ход двоякого рода тарифы — минимальные и максимальные. Минимальные применялись к большинству держав (и именно к тем, которые в своем ввозе в Германию конкурировали с Россией), а максимальные ставки взимались именно со всех продуктов, шедших из России. При этом Германия заявляла, что такое положение будет продолжаться, пока не будет заключен русско-германский торговый договор (такой, который будет выгоден Германии).

Витте не только не хотел никогда войны с Германией, но его заветной идеей было привлечение Германии к союзу с Россией и Францией. Не хотел он войны с ней и тогда, в 1892—1894 гг. Но он сообразил, что Вильгельм II в тот момент и по такому поводу на войну ни за что не решится; что воевать из-за сохранения барышей остэльбских юнкеров абсолютно невозможно ни для Вильгельма II и ни для кого вообще. Следовательно, вопреки угрожающим намекам в германской прессе, таможенная война на этот раз никак не может перейти в настоящую, и сражения тарифами не перейдут в сражения бомбами и картечью. А в таможенной войне, конечно, победит Россия, потому что она гораздо менее экономически развита и скорее может обойтись без германских товаров, чем Германия без русского рынка. Боясь «настоящей» войны с Германией, Витте нисколько не испугался таможенной. И он начал эту таможенную войну.

Его идея была такова: Россия также вводит у себя два тарифа — минимальный и максимальный. При этом — минимальным объявляется именно тот тариф 1891 г., которым немцы так недовольны, что пустили против него в ход репрессалии, направленные против русского сельскохозяйственного ввоза; а кроме этого тарифа, вводится еще другой, максимальный, еще более запретительный. Этот максимальный тариф будет применяться против Германии, если она не понизит своих ставок. Тариф прошел в Государственном совете. Беспокойство стало охватывать некоторые сферы как в России, так и в Германии, еще когда тариф проходил через Совет, и о Витте начали говорить как о человеке прямо ведущем к вооруженному конфлик-

ту. Но Витте продолжал свое дело. Он немедленно предложил Германии начать переговоры о снижении ставок. В Германии отказались, и Витте тотчас применил к германскому ввозу максимальный тариф; германское правительство без малейшей потери времени ответило крутым дальнейшим повышением пошлин на русские сельскохозяйственные продукты. В ответ на это Витте («сию же минуту»,— как он пишет) повысил еще и еще свой «максимальный» тариф. Жестокая таможенная война фактически почти вовсе оборвала русско-германские экономические отношения. Убытки, конечно, весьма большие несла Россия, но, как и рассчитывал Витте, несравненно бóльшие убытки несла Германия. Тревога в обеих странах все усиливалась. «Как раз во время этой резкой таможенной войны,— вспоминает Витте,— когда почти все наши экономические отношения с Германией прекратились, помню, летом был какой-то царский день... В Петергофе был царский выход: все сановники, фрейлины, вообще вся свита и великие князья — все съехались в петергофский большой дворец... Когда я вошел в зал, то от меня все сторонились, как от чумы; всюду шли толки о том, что вот я, с одной стороны, благодаря своему неудержимому характеру, а с другой стороны,— молодости и легкомыслию, втянул Россию чуть ли не в войну с Германией, что началось это с таможенной войны, а так как Германия не уступит, то все это несомненно кончится войною с Германией...»

Но Витте рассчитал правильно. Германия уступила, и договор 1894 г., очень выгодный для германской промышленности и русского сельского хозяйства, был плодом этой победы русского министра финансов над германскими аграриями. Сам Вильгельм, когда окончательно убедился, что Витте ни в каком случае не уступит, употребил личное свое влияние, чтобы сломить оппозицию аграриев. Впечатление во всей Европе от этой блестящей русской победы над германскими аграриями и над упорством германского правительства было огромное. «В последние десятилетия,— заявил Бисмарк (уже бывший в отставке),— я в первый раз встретил человека, который имеет силу характера и волю и знание, чего он хочет». Советуя Гардену съездить в Петербург, чтобы познакомиться с Витте, Бисмарк сказал: «Вы увидите, этот человек сделает громадную государственную карьеру». С тех пор Бисмарк не переставал интересоваться Витте и расспрашивал о нем всех, кого только мог.

3

Вторым выступлением Витте на поприще международной политики было получение концессии на проведение Восточнокитайской железной дороги. Любимое детище Витте — Сибирская железная дорога и эта восточнокитайская ветвь относятся друг

к другу как причина и следствие; так хочет представить дело сам Витте. Нужно сказать, что в последние годы Александра III и в самом начале царствования Николая II Витте был единственным сановником, в руках которого сосредоточивались все дела, связанные с Сибирской дорогой. Мысль Витте заключалась в том, чтобы вести Сибирскую дорогу от Забайкалья не по русским владениям, делая большой круг к северу по Амуру, а по китайским, т. е. по северной Маньчжурии. Раньше чем был разрешен этот вопрос, произошла японо-китайская война и был заключен Симоносекский мир, по которому Япония получила, между прочим, Ляодунский полуостров. Именно Витте настоял тогда (в 1895 г.), чтобы Россия поддержала «принцип целости Китайской империи» и ультимативно потребовала от Японии отказа от Ляодунского полуострова. Витте настаивал на немедленных действиях. Тогда министр иностранных дел Лобанов-Ростовский привлек к делу Германию и Францию, и когда все три державы обратились к Японии с требованием, составленным в весьма категорических тонах, то Япония уступила.

Вслед за тем Витте устроил для Китая заем под русской гарантией на парижском денежном рынке и создал Русско-китайский банк, где вкладчиками были как французы, так и русская государственная казна. Словом, мысль Витте выявлялась в эти годы (1895—1896) так: охранение территориальной целости Китая, решающее влияние России в Пекине на центральное китайское правительство, финансовая опека над Китаем, получение концессии на проведение железной дороги через Северную Маньчжурию. Но при этом — ни в коем случае не захватывать в свое политическое обладание ни одной пяди китайской территории. Витте настаивает, что это была вполне мирная политика, основанная на обоюдных интересах, на дружеских, в будущем, может быть, и союзных отношениях России и Китая. Когда ему впоследствии ставили на вид, что сам же он первый пошел в Китай и начал дальневосточную политику, которая привела к вражде и войне с Японией, то Витте отвечал, что он не виноват, ибо не виноват хозяин, который только пригласил своих гостей пообедать, а они напились, пошли в другое место и затеяли там «скандал». Он полагал, что его политика привела бы к самым лучшим результатам, если бы не захваты, произведенные Германией и Россией в 1897 г.

Во всяком случае в 1895—1896 гг. политика Витте торжествовала. С Китаем отношения были самые дружеские. На коронацию Николая II прибыл Ли Хун-чжан, и именно с ним Витте решил покончить дело о маньчжурской железнодорожной концессии. Переговоры увенчались полным успехом. Было

лишь условлено, что дорогу будет строить не непосредственно русское правительство, а особое Общество Восточнокитайской дороги.

Со своей стороны, Россия обязывалась отныне защищать Китай от нападения со стороны Японии. Договор должен был храниться в тайне. Одновременно удалось заключить и договор с Японией, по которому определялись права России и Японии в Корее. Этот договор давал обеим сторонам одинаковые права.

Витте остался до конца дней своих убежден, что дальневосточные дела России, устроенные им в 1895—1896 гг., были улажены безукоризненно прекрасно и что он ничуть не отступил от традиций Александра III, ничуть не приобщил к России опасность войны. Правда, он вообще не признавал за собой возможностей ошибок, так что и тут их быть не могло, раз он, а никто другой, вел дело, но, конечно, шаги, совершенные Витте, были чреваты последствиями. Он круто, с угрозами, с ультиматумом, вмешался в японо-китайские дела, отнял у Японии плоды ее побед и этим, конечно, надолго и болезненно раздражил и настроил японцев против России, а между тем изображает дело так, будто уже в 1896 г. все с Японией уладилось и они с Россией стали в Корее вместе жить-поживать и добра наживать. А между тем японские публицисты, писавшие впоследствии о русско-японской войне, и барон Хаяси, посол в Лондоне, прямо возводили начальные этапы этого события именно к вмешательству России в Симоносекский договор. Далее. Витте настаивал, что он, проводя железную дорогу с согласия Китая по китайской территории, и не думал никогда двигаться к югу от этой железной дороги, в глубь Маньчжурии. Но, так или иначе, те авантюристические планы, с которыми он впоследствии так бесплодно боролся, могли зародиться при русском дворе уже после того, как был сделан первый шаг. И поэтому очень неточно картинное сравнение Витте своей политики и последующей политики России на Дальнем Востоке с «обедом», после которого вдруг гости учиняют непредвиденный хозяином «скандал». В данном случае «хозяин» повел «гостей» в чужие владения, открыл перед их очарованными взорами и пред их воображением широкое раздолье и спохватился, когда оказалось, что он уже не в силах их удержать. Нарушить русско-китайскую старую границу, перейти этот рубикон осмелился именно он, Витте. Как же мог он уповать, что будет после этого уважаться святость фиктивной, новой, искусственной и условной грани — полосы отчуждения Восточнокитайской дороги?

Конечно, уже очень скоро он дал отбой, уже с 1897 г. он стал резко бороться против опасного внедрения и готов был на

все пойти, чтобы избежать обострения отношений. И прежде всего никогда бы он не допустил нарушения дружбы с Китаем. Но Витте так любит приписывать «вины» другим, что должен был бы и себя «обвинить» в том, что показал опасный пример — и показал его людям, у которых не было в распоряжении ни его головы, ни его характера, чтобы вовремя понять, когда начинается опасность и где нужно остановиться.

Союз с Китаем — такова была в 1895—1896 гг. основа азиатской политики Витте. Но у него к этому времени была уже готова и программа европейской политики. И чуть ли не первым человеком, которому он эту программу высказал, был Вильгельм II, прибывший с визитом в Петергоф в июле 1897 г.

Конечно, Вильгельм, повинуясь своей природе, поторопился сразу расположить в свою пользу могущественного министра наивными, личными средствами: ни с того ни с сего, для первого же знакомства, Вильгельм пожаловал Витте высший орден Черного Орла, который (как сам император тут же пояснил) давался доселе только либо членам царствующих домов, либо министрам иностранных дел, а ему, министру финансов, «он жалует его как совершенное исключение, так как этого исключения еще никогда не делалось». После такого дебюта Вильгельм повел следующую речь: «Америка,— заявил он,— представляет для Европы большую конкуренцию, особенно для европейского земледелия, и следует оградиться от нее особыми пошлинами, не давая ей прав наиболее благоприятствуемой стороны. Невзирая на только что полученную награду, новый кавалер Черного Орла не согласился с германским императором, указав на то, что не видит оснований вдруг менять традиционные дружественные отношения к Америке на враждебные. Но, ухватившись за данную Вильгельмом тему, Витте начал совсем иного рода речь: «Европа в среде других стран представляет собой дряхлеющую старуху, и если так будет продолжаться, то чрез несколько столетий Европа будет совершенно ослаблена и потеряет первенствующее значение в мировом концерте, а заморские страны будут приобретать все большую и большую силу, и чрез несколько столетий жители нашей земной планеты будут рассуждать о величии Европы так, как мы теперь рассуждаем о величии Римской империи, о величии Греции, о величии некоторых малоазиатских стран и о величии Карфагена» и т. д. Вильгельма «этот взгляд очень удивил», и он спросил: «Что же, по вашему мнению, нужно делать для того, чтобы этого избегнуть?». Витте в ответ и развил свою идею: «Вообразите себе, ваше величество, что вся Европа представляет собой одну империю; что Европа не тратит массу денег, средств, крови и труда на соперничество различных

стран между собой, не содержит миллионы войск для войн этих стран между собой и что Европа не представляет собой того военного лагеря, каким она ныне в действительности является, так как каждая страна боится своего соседа; конечно, тогда Европа была бы и гораздо сильнее и гораздо культурнее; она действительно явилась бы хозяином всего мира, а не дряхлела бы под тяжестью взаимной вражды, соревнований и междоусобных войн. Для того, чтобы этого достигнуть, нужно прежде всего стремиться, чтобы установить прочные союзные отношения между Россией, Германией и Францией. Раз эти страны будут находиться между собой в твердом, непоколебимом союзе, то, несомненно, все остальные страны континента Европы к этому центральному союзу примкнут, и таким образом образуется общий континентальный союз, который освободит Европу от тех тягостей, которые она сама на себя наложила для взаимного соперничества. Тогда Европа сделается великой, снова расцветет, и ее доминирующее положение над всем миром будет сильным и установится на долгие времена. Иначе Европа и вообще отдельные страны, ее составляющие, находятся под риском больших невзгод».

Великий континентальный союз трех военных держав: России, Франции и Германии. Такова идея Витте. Этот союз гарантирует Россию от наиболее для нее опасной войны — от войны с Германией. Морских держав — Англии и Японии — Витте не боялся: завоевательные их экспедиции против России невозможны, а на них Россия тоже никогда не нападет. Следовательно, состоя в Азии в союзе с Китаем, а в Европе — в союзе с Францией и, в будущем, с Германией, Россия может не бояться никаких внешних опасностей.

Но Витте рассчитывал без хозяев. Визит Вильгельма ознаменовался двумя фактами, о которых Витте узнал уже после отъезда германского императора. Во-первых, Вильгельм, как оказалось, натолкнувшись на сопротивление Витте по вопросу о пошлинах против американского ввоза, вовсе не оставил своей мысли и передал непосредственно Николаю II записку об этом. Это было всегдашней манерой Вильгельма, в подобных случаях он все надеялся на личное свое обаяние и на ограниченность Николая. И сплошь и рядом ошибался, так как все равно миновать министерских советов было нельзя. Тут он тоже ошибся: Николай показал записку Вильгельма Витте, и именно Витте составил на эту записку ответ (конечно, отрицательный). Во-вторых, обнаружилось нечто, гораздо более серьезное: «Государь император возвращался вдвоем с германским императором в экипаже. Когда государь вернулся из этой поездки, то к нему по какому-то делу зашел великий князь (Алексей Александрович). Государь сказал великому князю,

что ему крайне неприятно, что на возвратном пути германский император спросил его: нужен ли России китайский порт Киао-Чау, что в этот порт русские суда никогда не заезжают и что в своих целях, в интересах Германии, он желал бы занять этот порт, чтобы он был стоянкой германских судов, но не хочет этого сделать, не имея на то согласия русского императора. Государь не сказал великому князю Алексею Александровичу, дал ли он, или не дал этого согласия, но только прибавил, что германский император, заговорив с ним об этом, поставил его в самое неловкое положение, так как он гость и категорически отказать ему в этом было бы неловко, что вообще ему это крайне неприятно».

По-видимому, Николай II отдавал себе отчет в том, что, соглашаясь на отхват части китайской территории в пользу Германии, он в корне разрушает всю политику Витте на Дальнем Востоке, и поэтому считал уместным выразить чрез Алексея Александровича, что ему это будто бы «крайне неприятно». Но это было лишь светской любезностью: Николай II уже предрешил нечто, несравненно более серьезное.

Спустя некоторое время Витте, совершенно для себя неожиданно, получил известие о прибытии в порт Циндао (Киао-Чау) германской эскадры и о занятии порта. Витте до такой степени не понял сразу в чем дело, что выразил министру иностранных дел Муравьеву уверенность, что «Россия и другие державы заставят их покинуть этот порт».

Только в начале ноября (1897 г.) дело объяснилось со всей точностью: Витте получил приглашение на заседание, которое должно было состояться под председательством Николая II и должно было быть посвященным рассмотрению записки графа Муравьева; в этой записке предлагалось занять русскими войсками Порт-Артур или Дальний. Мотивировалось это предложение необходимостью получить компенсацию в виду занятия Циндао немцами. Указывалось при этом и на огромное стратегическое значение пунктов, которые предлагалось занять. Теперь все было ясно: существовало соглашение с Вильгельмом о захвате частей китайской территории, и Россия начинала дело завоевания Северного Китая и прежде всего Ляодунского полуострова. Принцип ограждения целости Китая был радикально отвергнут; открывалась совсем новая глава в истории России. На совещании присутствовали, кроме царя, Витте и Муравьева, еще морской министр Тыртов и военный министр Ванновский. Характерно поведение всех членов этого совещания. Граф Муравьев, автор записки (составленной, конечно, по приказу Николая), объявил, что «берет на свою ответственность» Англию и Японию: они не воспротивятся. Ванновский, признаваясь, что он «не судья» в международной политике,

всецело уверился словами Муравьева и заявил, что следует захватить Порт-Артур или Дальний. Тыртов полагал, что лучше было бы иметь порт где-нибудь на берегу Кореи; но по существу не возражал. Что Николай II хочет захвата указываемых в записке пунктов, конечно, не могло быть никакого сомнения. В этой-то обстановке Витте и начал ту долгую борьбу против Николая II, которая кончилась первым крушением карьеры министра финансов и русско-японской войной.

Витте указал на полную недопустимость этого предложения: захватывать самим тот Ляодунский полуостров, который только что именно Россия не позволила занять Японии (и не позволила именно во имя сохранения целости Китая), было бы поступком в высшей степени вероломным и вызывающим; этот поступок в то же время должен был сделать врагом России также Китай, у которого без малейшего повода и права отбирали принадлежащую ему территорию; мало того, захват Ляодунского полуострова неминуемо должен был повлечь за собой проведение туда железной дороги через всю Маньчжурию, густо населенную страну, и, естественно, без упрочения России в Маньчжурии невозможно было бы удержать за собой Ляодун. Другими словами, Витте указывал, что реально вопрос ставится о захвате всего Северного Китая, причем нужно наперед учесть грозные последствия этого предприятия. Витте, словом, считал этот захват мерой не только «возмутительною и в высокой степени коварною», но и крайне опасной: «дело роковое, которое должно было кончиться ужасами». Император Николай II не решился тут же на заседании настоять на своем (до такой степени резко и горячо говорил Витте), но, конечно, как и всегда, поступил так, как хотел. Чрез несколько дней, «немного смущенным», царь сказал Витте: «А знаете ли, Сергей Юльевич, я решил взять Порт-Артур и Дальний и направил уже туда нашу флотилию с военною силою». Предлогом послужило лживое донесение Муравьева, будто англичане намерены захватить эти пункты (ничего подобного в действительности не было). Под первым впечатлением Витте сказал великому князю Александру Михайловичу: «Припомните сегодняшний день, вы увидите, какие этот роковой шаг будет иметь ужасные для России последствия». По-видимому, Витте был вне себя от раздражения и беспокойства. Он прямо от царя помчался в германское посольство к замещавшему посла Тширшки (которого Витте называет «Чирский») и заявил: «Я прошу вас убедительно телеграфировать германскому императору, что я, как в интересах моего отечества, так и в интересах Германии, убедительно прошу и советую, расправившись с виновными в Циндао, казнив тех, кого он считает нужным казнить, взыскав контрибуцию, если он сочтет это нужным, удалиться из Циндао,

так как этот шаг повлечет за собою и другие шаги, которые будут иметь самые ужасные последствия». Витте делал вид, будто верит, что в самом деле Циндао захвачено немцами в виде репрессии за убийство немецких миссионеров. Вся экстравагантность этого шага, очень мало смягчаемая тем позволением, которое Вильгельм дал Витте (сноситься с ним непосредственно через посольство), в высшей степени характерна: Витте никогда больше таких вещей не делал. Его выходка показывает, до какой степени он был встревожен захватом Порт-Артура. Вильгельм ответил Витте, что последовать его совету он не может. Вспомнил ли он о заклинании Витте, когда 15 августа 1914 г. Япония предъявила Германии ультиматум? Витте, разумеется, ошибался, полагая, что если Вильгельм согласится покинуть Циндао, то Николай согласится оставить Порт-Артур. Но и не добившись ничего от Вильгельма, Витте продолжал употреблять все усилия, чтобы сделать оккупацию Порт-Артура по возможности кратковременной. Конечно, ничего из этих усилий не вышло. Всю эту авантюру, и германскую и русскую, Витте назвал в доверительном разговоре с германским послом Радолином «ребячеством, которое очень дурно кончится». Радолин послал об этом телеграмму в Берлин, телеграмма по пути была перехвачена и расшифрована, и Николай узнал о ее содержании. «Сергей Юльевич, я бы советовал вам быть более осторожным в разговорах с иностранными послами»,— холодно заявил он Витте. Спустя несколько дней, ссылаясь на это замечание, Витте объявил царю о желании своем выйти в отставку. Но Николай II его удержал, хотя и прибавил, что «хорошо ли это сделано, или дурно», вопрос о Порт-Артуре кончен, и он, Николай, этого уже не изменит, а просит Витте посодействовать тому, чтобы все обошлось благополучно.

Между тем логика вещей требовала новых и новых опасных шагов. Куропаткин, сменивший в начале 1898 г. Ванновского, заявил о необходимости занять всю Квантунскую часть Ляодунского полуострова и вести ветку от Восточнокитайской железной дороги к Порт-Артуру. Без этого он не считал возможным защищать захваченные пункты. Китайское правительство (императрица-регентша) под влиянием Англии и Японии не соглашалось на «мирную передачу» России (под видом «аренды») всех этих чисто китайских земель. Тогда Витте вмешался в дело: он телеграфировал своему агенту в Пекине Покотилову, прося его повидаться, «посоветовать» Ли Хун-чжану и другому влиятельному сановнику Чжан Инь-хуань оказать воздействие, чтобы соглашение было принято: «причем я пообещал как первому, так и второму сановнику значительные подарки, а именно первому 500 тысяч рублей, а второму 250 тысяч рублей. Это был единственный раз, когда в моих переговорах

с китайцами я прибег к заинтересованию их посредством взяток».

Витте упустил из вида, что если не все, то многое тайное становится явным. Мы знаем теперь из непререкаемых официальных документов, что еще в марте 1897 г. Ли Хун-чжану чрез посредство князя Ухтомского был дан — тоже в виде взятки — 1 миллион рублей за получение Россией концессии на Восточнокитайскую железную дорогу. Что касается взяток в связи с уступкой Квантуна, то цифры, даваемые Витте, не вполне точны: Ли Хун-чжан получил 609 120 рублей, а Чжан Инь-хуань — 51 171 рубль [1].

Поправка (или дополнение), которую вносят документы, очень существенна: выходит, что Витте давал китайцам взятки вовсе не тот «единственный» раз, когда, по его уверению, это требовалось во имя избежания кровопролития, но и тогда, когда ему, Витте, желательно было осуществить свою идею о Восточнокитайской железной дороге, еще в 1897 г. Признаться в этом первом миллионе, данном Ли Хун-чжану, значило бы для Витте лишиться в глазах читателей его воспоминаний ореола мудреца и миротворца, который был совсем неповинен в русской захватнической политике на Дальнем Востоке. Витте, очевидно, так и не понял до конца дней своих, что он своим специально для китайских взяток созданным «лихунчжанским фондом» развращал не только старого сребролюбца Ли Хун-чжана и подобных ему сановников Поднебесной империи, но *прежде всего* Николая II, графа Муравьева и всех тех, с которыми ему пришлось тщательно бороться и в 1897 г., и впоследствии. В самом деле: почему же не захватить Северный Китай, раз за ничтожные деньги это возможно сделать без немедленного риска? Ведь если Китай молчит, то *немедленного* вмешательства со стороны Японии и Англии быть не может. Что будет *потом* — это на Николая II и его двор действовало очень мало. И Витте *знал* это, и сам говорит об этом свойстве царя: понимать опасность только, когда она уже прямо пред глазами, но никак не раньше. Зная это и вместе с тем показав царю, что вполне возможно всегда добиться мира с Китаем, сколько бы от него ни отхватить земли, чему же удивляется и чем возмущается Витте, когда описывает, как он был бессилен в царских совещаниях по делам Дальнего Востока?

Ли Хун-чжан принял мзду и сейчас же уладил все дело: Квантунский полуостров был отдан России. Николай II, которому Витте объяснил причину внезапной уступчивости Китая, написал резолюцию: «Это так хорошо, что даже не верится».

Необычайно характерная для Витте черта: настойчиво (*и тут же,* на следующей странице) повторяя, что обладание Квантуном повлекло за собой гибельные для России последствия,

ЦАРСКАЯ РОССИЯ

ПРОФ. Е. В. ТАРЛЕ

ГРАФ

С. Ю. ВИТТЕ

ОПЫТ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

«КНИЖНЫЕ НОВИНКИ» ЛЕНИНГРАД

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ КНИГИ «ГРАФ С. Ю. ВИТТЕ»

Витте в то же время явно *гордится* этой высочайшей резолюцией. В этом человеке был и проницательный политик, видевший будущее и с гневом и скорбью смотревший поэтому на захват чужих земель, и в нем же сидел одновременно ловкий политический делец, техник, царедворец, который полагал свою честь в том, чтобы целесообразно и безболезненно исполнить задание своего повелителя, чтобы обнаружить при этом уменье и находчивость, совсем независимо от внутреннего смысла исполняемого поручения. «Этот захват Квантунской области... представляет собою акт небывалого коварства»,— торжественно заявляет Витте (т. I, стр. 118), только что похвалившись тем, как он ловко все уладил с китайскими взяточниками, чтобы заполучить эту Квантунскую область (т. I, стр. 115). Нужно сказать, что для китайских контрагентов Витте все это дело сошло неблагополучно. Ли Хун-чжан был отставлен и занял сравнительно второстепенную должность: очевидно, о чем-то неладном догадались в Китае. Чжан Инь-хуань был сослан и в ссылке казнен. Наконец, по прибытии в Пекин, был там публично казнен и китайский посол в Петербурге Сюи-Кингшен, «весьма почтенный и добросовестный китаец»,— как с чувством замечает Витте, не понимающий, что в его устах и в данном случае эта хвала не может иметь особенно большой авторитетности. Прямым последствием этого захвата было, конечно, как уже сказано, полное и безвозвратное крушение политики Витте, как он ее представлял себе до тех пор: Китай из покровительствуемой державы делался тайным, но упорным врагом России, другие державы потребовали (и получили) отдельные части китайской территории, и, кроме того, пришлось, в виду явно угрожающей позиции Японии, отказаться от «влияния» в Корее, т. е. удалить оттуда русского финансового советника и вообще примириться с мыслью, что в Корее русское влияние будет заменено японским. Не желая многого додумывать до конца, Витте изображает дело так, будто если бы не захват Порт-Артура и затем всего Квантуна, то вовсе не зачем было бы уступать Корею японскому влиянию, и Россия могла бы продолжать там свою начатую в 1896 г. под эгидой Витте политику. Это все весьма фантастично: мы знаем теперь достоверно, по японским и английским данным, что Япония *ни за что* не *примирилась бы с утверждением* русского влияния в Корее; что Корея признавалась в Японии делом жизненной, первой необходимости; что одной Кореи было бы вполне достаточно для войны Японии против России, если бы в самом деле обнаружилось серьезное русское влияние в этой оспариваемой стране. Как и относительно Восточнокитайской дороги, так и относительно Кореи у Витте какая-то странная аберрация: он упорно не хочет видеть, что *и эти* вопросы таили в себе стран-

ную опасность; что Николай II продолжал очертя голову, с неслыханным (для России) риском то самое дело, которое умно, ловко, гораздо осторожнее *начал* в 1895—1896 гг. делать сам Витте.

Но чем дальше шел процесс захвата Китая, тем решительнее Витте боролся против всякой активной политики России на Дальнем Востоке. В 1900 г. разразилось боксерское восстание в Китае, и, вопреки желанию и советам Витте, русские войска приняли участие в походе усмирительных европейских отрядов на Пекин. Витте настаивал, что нам совсем нечего делать в Пекине, что Пекин должны усмирять те державы, которые заинтересованы в Южном Китае, Россия же заинтересована только на севере. Но остановить Николая и с готовностью исполнявшего его волю военного министра Куропаткина было невозможно. «Политика молодого человека», как злобно определяет Витте образ действий Николая, торжествовала; русские войска, вместе с другими, вошли в Пекин. Но из Пекина они ушли, а в Маньчжурии остались. На сцену выступил тот вопрос, который, конечно, неминуемо должен был рано или поздно обостриться после захвата Квантуна. *Уже тогда*, в *1898* г., *было ясно*, что такой тоненькой нитки, как ветка железной дороги, идущая чрез Маньчжурию, недостаточно для связи России с ее новым Квантунским владением и что под каким угодно предлогом рано или поздно русское правительство будет стремиться завладеть всей Маньчжурией. Боксерское восстание явилось удобнейшим поводом для ускорения этого предрешенного нового (и самого грандиозного) захвата. Куропаткин не скрывал своего восхищения по поводу боксерского восстания, прямо заявляя, что нужно превратить Маньчжурию в Бухару (т. е. в вассальную область России), пользуясь походом против боксеров.

С 1900 г. начинается новый этап в безнадежной борьбе Витте против Николая II, Николай и орудие его воли — Куропаткин — не желали уводить войска из Маньчжурии. На их стороне была вся сила, и не только потому, что Николай был *самодержавным императором и его желание (при его тихом, но* непреодолимом упрямстве) должно было поэтому в конце концов восторжествовать. Были и другие причины: захват Маньчжурии был очень уж традиционен, так сказать, очень *логичен* по своей природе: стародавняя захватническая политика, столетиями приводившая к территориальной экспансии, на *этот* раз, к концу XIX и началу XX в., еще более выигрывала в глазах всех правящих кругов в своей популярности, потому что с ней *можно было* связать (правда, пока больше на газетной бумаге, в мечтаниях) частичное разрешение «переселенческого вопроса», т. е. рокового вопроса о крестьянском малоземелье.

Восторги части прессы по поводу создания «Желтороссии» были лишь одним из отголосков этого течения. Захват Порт-Артура и Дальнего не возбудил и сотую долю того восхищения и тех надежд, как захват Маньчжурии и ее военная оккупация в 1900 г. и следующих годах. Мог ли всей этой силе противиться Витте? Что он был в состоянии ей противопоставить? Только свои опасения, что Россия непременно нарвется на жестокий отпор в этой Желтороссии и непременно потерпит поражение. Но ведь *доказать* это он не мог, и роль зловещей пророчицы Кассандры оттого всегда и является такой неблагодарной, что, кроме своей интуиции или своей проницательности, ни у какой Кассандры в распоряжении ничего нет, никаких аргументов. Да и ослаблялась позиция Витте тем, что не один Воронцов, но и многие другие считали, что именно сам Витте своей Восточно-китайской дорогой повел Россию на Дальний Восток и создал против нее новый, не существовавший доселе фронт.

И еще если бы Витте мог в самом деле настаивать, что дальневосточный фронт делает положение России особенно опасным ввиду существования *главного* ее, западного, австро-германского фронта! Но и это оружие в трудном споре было выбито у него из рук Вильгельмом II. От войны России с Японией или Англией, или, еще лучше, *с обеими одновременно* Германия непосредственно только выигрывала: во-первых, Россия этим ослаблялась в Европе (и надолго, даже в случае относительной удачи в дальневосточной войне), и для германской политики надолго — так казалось в 1900—1903 гг.— открывался широкий простор. Во-вторых, в случае удачи Россия оттесняла в Китае английское влияние и тем самым оказывала услугу германской экономической экспансии в Китайской империи. Словом, ни при каких обстоятельствах Германия от русской активной дальневосточной политики потерять не могла. И Вильгельм II, действуя в полном согласии с канцлером Бюловым и с стоящим за Бюловым фактическим руководителем германской внешней политики директором в министерстве иностранных дел бароном Фрицем фон Гольштейном, всячески толкал Николая II на ту дорогу, по которой Николай и без всяких толчков собирался следовать с большой охотой и ясностью духа. Дело было не в драконе, бороться с которым Вильгельм приглашал «народы Европы» («народы Европы, оберегайте ваши священнейшие права!»), и не в прощальном сигнале с яхты «Гогенцоллерн» после свидания с Николаем («адмирал западных морей шлет привет адмиралу морей восточных»). Все эти невинные — потому что слишком по-детски откровенные — провокации сами по себе, конечно, не могли вдохновить Николая II на окончательный отказ от всякой осторожности, на совсем безумную политику 1903 г. Но неоднократные и торжественные заверения

Вильгельма II, что западный фронт свой Россия может совершенно обнажить от войск, что он, Вильгельм, ручается за полную безопасность России на все время возможной ее войны на Дальнем Востоке,— *это,* конечно, не могло не действовать.

Эта последовательная и деятельная политика Вильгельма в 1902—1904 гг. лишала Витте одного из главнейших его аргументов. Говорить же со своими противниками о том, что Вильгельм может не напасть сегодня, но нападет уже после войны, завтра или послезавтра, что разоренная и ослабленная Россия целый ряд лет не сможет ему противиться,— доказывать им все это было совершенно бесполезно. Они понимали только сегодняшнюю опасность; да и ее понимали далеко не всегда. Опасность завтрашняя для них не существовала.

4

Такова была общая почва для дальнейшего развития событий после захвата Маньчжурии. От конца боксерского восстания и окончательной оккупации Маньчжурии (осень 1900 г.) до нападения японских миноносцев на «Палладу», «Цесаревича» и «Ретвизана» (27 января 1904 г.) прошло меньше $3^1/_2$ лет. Но зачерчивать эти $3^1/_2$ года одной краской никак нельзя. На средину или конец 1902 г. падает начало какого-то перелома, который в 1903 г. уже обозначается вполне явственно. Этот перелом (довольно медленный) поддается наблюдению легче всего не в России, а в Западной Европе, и определить его можно как некоторое (и, может быть, довольно значительное) уменьшение внешнеполитического престижа России с конца 1902 г. Чем он объясняется? Фактами разного порядка. Убийство Сипягина (2 апреля 1902 г.), аграрные волнения в Полтавской и Харьковской губерниях, резко обозначившийся рост оппозиции в земствах, явное бессилие правительства справиться органическими мерами с аграрным вопросом, с конституционными стремлениями буржуазии, с рабочим движением — все это заставило в Европе впервые в 1902 г. заговорить о русской революции, тогда как еще в 1901 г. по поводу убийства Боголепова речь шла лишь о студенческих волнениях. Эра Плеве была понята как начало скрытой пока внутренней войны. Впервые за все царствование Николая II главным заданием нового министра внутренних дел, той целью, для которой специально он был призван,— являлась борьба всеми средствами против революционного движения. Все это уже само по себе подрывало престиж русского правительства в европейских правящих сферах: политический капитал, оставшийся после Александра III, стал расходоваться именно в это время, с 1902 г. Еще осенью 1898 г. и в 1899 г., в эпоху созвания Гаагской конферен-

ции, этот капитал казался незатронутым: еще в 1900—1901 гг. на Николая смотрели как на одного из могущественнейших государей Европы, и легенды о царелюбивом русском народе твердо держались в среднем европейском общественном мнении. 1902 год первый нанес этим легендам далеко не окончательный, но все же ощутительный удар. Но не только внутренние дела производили постепенный сдвиг. С конца 1902 г. (после отъезда маркиза Ито из Петербурга и после заключения англо-японского договора) крутое изменение к худшему последовало и в международной позиции русского абсолютизма. Уже были налицо все предпосылки русско-японской войны; уже создалась та страшная запутанность положения, когда с каждым месяцем уход из Маньчжурии становился все труднее, а дальнейшее пребывание в Маньчжурии — все опаснее; Россия *выбыла* из Европы не в 1904 г., когда началась война, а с весны 1903 г., когда выяснилось, что Николай II без войны никогда не эвакуирует Маньчжурию и не откажется от замыслов на Корею.

После этих предварительных замечаний обратимся к деятельности Витте в этот момент. Это, может быть, самая трагическая страница его биографии.

Первая часть русско-японской драмы закончилась боксерским восстанием и его усмирением. Не только Россия удежала Квантунский полуостров, но захватила еще и Маньчжурию. Соединенные Штаты, Англия, Япония решительно с этим не мирились. И вот начинается вторая часть драмы: в Петербург, в середине ноября 1901 г., является маркиз Ито, влиятельнейший японский дипломат, противник Соединенных Штатов и *поэтому* сторонник соглашения с Россией. В высших правящих сферах Японии в этот момент наблюдалось колебание: уже быстро возрастала партия, желавшая войны и изгнания России вооруженной силой из Маньчжурии и Квантуна и стоявшая за немедленное заключение союза с Англией. Но Ито удалось отсрочить дело: он прибыл в Петербург с предложениями, вполне приемлемыми для обеих сторон. Россия отказывается бороться с японским влиянием в Корее и исполняет, наконец, собственное свое обещание увести из Маньчжурии войска, введенные под предлогом усмирения боксерского восстания. Квантун остается в русском обладании. Витте с полнейшим сочувствием встретил это предложение, но ничего не вышло. Николай II определенно не желал его. Ито водили очень долго, не говоря ни да, ни нет, делали контрпредложения и все больше убеждали его, что не только Маньчжурию ни за что не эвакуируют, но что имеются даже какие-то виды (еще не вполне ясные) на Корею, которую как будто решили уже уступить Японии, когда захватывали Квантун. Ничего не добившись, Ито уехал в Берлин и здесь (как сообщает в своих воспомина-

ниях А. В. Богданович[2]) посол русский Остен-Сакен сделал последнюю попытку предотвратить бедственные последствия безумной петербургской политики: он телеграфировал (с ведома Ито), что Ито еще подождет в Берлине окончательный ответ. Но и из этой попытки ничего не вышло. Ответа не было. Япония тогда — не медля нисколько — тотчас же заключила союз с Англией и стала деятельно готовиться к войне. «Часто говорят, что Япония готовилась к войне, и все равно, как бы мы себя ни вели, она бы нам объявила войну, — пишет Витте.— Это рассуждение безусловно неверно... если бы мы приняли искренние предложения, которые были нам сделаны Ито, и дальнейшее предложение, даже пред самою войною, сделанное нам японским послом Курино, то войны не было бы».

Через несколько времени после провала миссии Ито Витте выехал на Дальний Восток, посетил Маньчжурию и Квантун и вернулся полный самого черного пессимизма. Он явился к Николаю, подал ему обширный доклад, в котором определенно утверждал, что России грозят большие бедствия от продолжения той же политики в Маньчжурии и Корее, горячо настаивал на немедленной эвакуации Маньчжурии, но государь не желал его «подробно выслушивать» (как выражается своим беспорядочным стилем Витте).

В это время Николай II начинает утверждаться на той мысли, что дело о Квантуне и Маньчжурии уже, собственно, покончено, а разговор должен идти только о Корее и притом в таком смысле, что Россия вовсе не должна исполнять своего обещания, данного после захвата Квантуна,— не насаждать своего влияния в Корее, а, напротив, иметь полную возможность внедриться также и в Корею. Эту мысль Витте приписывает Безобразову. Но нужно сказать, что Витте всецело повторяет традиционный шаблон: «явился некий отставной ротмистр кавалергардского полка Безобразов», человек честный по натуре, но, согласно отзыву собственной супруги, «полупомешанный», был представлен царю, затем «получил влияние у его величества» и, наконец, «начал действовать на свой, так сказать, счет и страх». Все это тот прочно утвердившийся исторический лубок, который, собственно, не в состоянии выдержать даже первого прикосновения критического анализа. Почему на императора Николая *всегда* «имели влияние» только такие ротмистры или гадатели, или тибетские врачи, которые говорили и были готовы делать то, чего твердо желал еще до их пришествия сам Николай; почему *ни разу* не было такого ротмистра или прорицателя, или колдуна, который хоть в чем-нибудь разошелся бы с пристрастиями императора Николая II и хоть один день после этого сохранил бы «влияние»; каким образом «некий отставной ротмистр» мог без малейшего труда побороть Витте, не пред-

ставляя собой и не имея за собой абсолютно никакой собственной силы, никакого значения, будучи в петербургском свете полным нулем во всех отношениях,— все эти вопросы ничуть Витте не беспокоят. Явился отставной ротмистр и ускорил столкновение белой расы с желтой. Все эти наглядные несообразности не смущают Витте. Его потрясает, даже когда уже все кончилось, когда он сидит в Биаррице и пишет мемуары,— это воспоминание о борьбе, в которой он все видел наперед, все верно учел и остался *побежденным, выброшенным* за борт государственного корабля. Не все ли равно, по своей ли инициативе действовал царь и кто был главным актером: самодержец или отставной ротмистр? Он их обоих внутренне слишком презирает, чтобы долго задерживаться на этой детали.

Воля императора Николая II к полному овладению и округлению «Желтороссии», убеждение его, что все это обойдется мирно, ибо войны *он* не хочет, тихое, но непреклонное его *нежелание подчиниться* советам Витте и в то же время стремление как-нибудь обойти все эти противоборствующие течения и устрашающие аргументы — вот что вдохнуло силу в отставного ротмистра Безобразова и его друзей, составивших еще в 1898 г. план постепенного экономического овладения корейской территорией и усиления политического влияния в Корее при посредстве «частных» коммерческих компаний. Намечалась и еще сила, которая непременно подоспела бы на помощь безобразовским проектам, если бы катастрофа 1904 г. не положила предел всему: это был тот европейский финансовый капитал, который неминуемо овладел бы этими «частными» предприятиями. Но это было в будущем; а в настоящем была стойкая, ни разу не изменившая Безобразову поддержка Николая. Безобразов делал именно то, чего еще до его появления желал Николай.

Упорная борьба Витте против Безобразова и его друзей длилась в 1899, 1900, 1901, 1902 гг.

У Николая и Безобразова в сущности не было настоящей, деловой и активной поддержки в совете министров. Министры боялись стать резко на сторону Витте, но некоторые из них тоже с беспокойством относились к этим появившимся в непосредственной близости к царю искателям приключений, «финансистам», откровенно (и с раздражительностью) заявлявшим, что денег у них нет и что казна *обязана* дать им деньги. Безобразов уже в 1902 г. требовал от царя, чтобы Витте был смещен, и настаивал, что все предприятие должно будет остановиться «до того времени, как у нас будет новый министр финансов». «Мой государь», «большое русское дело» — с одной стороны, «английское пройдошество», «жидовский кагал» и «презренный» Витте — с другой стороны, эта антитеза, выработанная Безобразовым, имела полный успех. Витте был

необычайно вреден потому, что не давал финансистам, собравшимся получать концессии в Корее, именно тех финансов, без коих им невозможно было даже и начать свои действия. И не только он отказывал им в деньгах, но открыто агитировал против всей затеянной ими опаснейшей авантюры. Безобразов правильно ставил, с своей точки зрения, вопрос: либо отказаться от корейского предприятия, либо удалить Витте. Третьего выхода не было. Кружок Безобразова (его двоюродный брат Абаза и др.) забирал силу не по дням, а по часам. С лета 1902 г. к ним вполне присоединился новый министр внутренних дел Плеве. Для Плеве будущая война с Японией, «маленькая победоносная война», казалась желательным противоядием против революции; а в ожидании можно было, действуя с Безобразовым, свергнуть врага, могущественного министра финансов. Борьба для Витте становилась непосильной. У Витте был большой и своенравный характер; но добровольно уйти от власти он никогда не был в состоянии. Это было сильнее его... Когда в феврале 1903 г. царь *заставил* его дать, наконец, Безобразову два миллиона из государственных средств, Витте дал. Он дал их, зная твердо, что *в лучшем случае* эти два миллиона будут разворованы, а в худшем ускорят войну с Японией. В своих мемуарах Витте ни единым звуком не упоминает об этих двух миллионах, об этой своей малодушной уступке, сделанной в прямой, ясно сознаваемый вред России исключительно во имя сохранения за собой министерского портфеля. И все-таки идти дальше по этому пути, перейти в стан Безобразова Витте никак не мог. Одно за другим весной 1903 г. произошло несколько совещаний, и Витте на всех запальчиво, страстно, не взвешивая выражений, требовал ликвидации затеваемого предприятия. Видя, что Николай II твердо ведет свою линию, Витте поехал к князю Мещерскому, издателю «Гражданина», человеку, к которому с брезгливостью относились очень многие крайние консерваторы и которого презирал Витте, как он того и не скрывает в своих воспоминаниях. Он просил Мещерского повлиять на Николая. Витте и тут совсем не понял, что Мещерский, как и всякий без единого исключения человек, которому приписывалось «влияние» на императора Николая II, «влиял» на него лишь вплоть до той минуты, пока говорил и делал то, чего желал Николай. Мещерский был тогда в зените своей близости к царю и своего придворного значения. Но стоило ему (вполне разделявшему в этом вопросе взгляды Витте) написать Николаю об опасностях безобразовской политики, как он получил от царя в ответ возражение на все эти предупреждения и ироническую приписку: «6 мая увидят, какого мнения по этому предмету я держусь». А 6 мая Безобразов, отставной ротмистр, решительно вне всякого обычного порядка был сделан статс-

секретарем. С чисто формальной стороны подобный акт был (со времен Павла I) едва ли не единственным в русской истории. Это и был ответ Витте и Мещерскому, данный императором Николаем.

И все-таки, несмотря на эту пощечину, Витте не уходил. Падение его было предрешено. Что царь его ненавидит, об этом знали все и в России и в Европе,— по крайней мере, все заинтересованные. Чтобы избавиться от оппозиции Витте, Плеве и Безобразов добились учреждения дальневосточного наместничества, причем наместником был сделан пособник и клеврет Безобразова Алексеев. К Алексееву переходила вся внешняя политика, касающаяся дальневосточных дел, не говоря уже о всех делах внутренних этих земель (Квантуна и Маньчжурии). Об учреждении наместничества не только Витте, но и министр иностранных дел Ламздорф и все министры вообще, кроме Плеве, узнали *«из газет»*. С этой поры активно и сколько-нибудь плодотворно бороться против планов касательно Кореи становилось для Витте невозможным.

Он явно изнемогал уже в непосильной борьбе. Дорого ему давался уже с несомненностью обозначившийся проигрыш. Именно в эти дни увидел его однажды А. Ф. Кони: «Я встретил Витте в июне 1903 г., проживая в Сестрорецком курорте. Он приехал верхом и ходил, то ускоряя, то замедляя шаг по крытой длинной галерее близ морского берега, досадливо и с явным невниманием слушая какие-то объяснения старшего врача курорта. Я едва узнал в этом согнувшемся, мешковатом, с потухшим взором и тревожным лицом, человеке самоуверенную и энергичную фигуру министра финансов...» Он заговорил, но «я видел, что это лишь машинальные фразы, что он даже не слушает моих ответов и что он, оглушенный шумом внутренней тревоги, среди злобного торжества многочисленных врагов, радуется встрече с человеком, который не учинил ему никакой неприятности. Я понял, что над ним нависла грозовая туча».

Проходили последние дни, когда, уже лишенный всяких средств бороться против воли Николая II, Витте, своим светлым и огромным умом понимавший полную невозможность дальнейшего своего пребывания у власти, мог еще мотивированно подать в отставку и дать своей отставке характер яркого протеста против того черного дела, которое делалось на Ялу и которое он считал и губительной нелепостью и историческим преступлением. Но — как в феврале 1903 г. он предпочел дать два миллиона, *лишь бы оставаться* у *власти*, так летом того же 1903 г. он перенес и статс-секретарство Безобразова и учреждение наместничества — лишь бы не уходить, лишь бы еще месяц, еще неделю остаться министром. Но прошли месяцы, прошли недели, и настало 16 августа 1903 г., когда Николай II попросил,

к удивлению Витте, чтобы министр финансов привез к нему управляющего государственным банком Плеске. «Государь очень милостиво меня встретил... Когда я уже встал, чтобы проститься с его величеством, государь император, видимо, несколько стесненный, сконфуженный, обратился ко мне с вопросом: привез ли я Плеске?» — и спросил мнения Витте о Плеске. Мнение оказалось очень хорошим. Тогда царь сказал: «Сергей Юльевич, я вас прошу принять пост председателя комитета министров, а на пост министра финансов я хочу назначить Плеске».

Дело было сделано. Рассказывая обо всем этом и косвенно порицая Ламздорфа за то, что он тогда же не подал в отставку, Витте вовсе и не замечает всей ложности своего собственного поведения и положения. Его добровольная, демонстративная отставка несколькими месяцами раньше была бы историческим фактом очень крупной величины: его отставка 16 августа 1903 г. была инцидентом в петербургской хронике чиновничьих назначений и перемещений, деталью формулярного списка статс-секретаря Серг. Юл. Витте.

Как и всегда, на протяжении всех трех томов его воспоминаний, у Витте явственно перебивают друг друга два настроения или, точнее, сменяются два тона — один более искренний, а другой безусловно симулированный. Искреннее презрение и ненависть к человеку, последовательно и упрямо губившему и Витте, и Россию, и себя самого, вдруг сменяются торопливым желанием прикинуться верноподданнейшим монархистом, свято верующим в благие предначертания сбиваемого с толку, но добронамеренного помазанника. Витте все время как будто спохватывается, что ведь его песенка может быть еще и не спета, что его еще могут когда-нибудь призвать к делам и, неровен час, мемуары попадут как-нибудь из Биаррица в Зимний дворец. Так и тут: рассказав о своей отставке, Витте ни с того ни с сего начинает почтительнейше доказывать, что в сущности государь в начале авантюры «склонялся» к мнению своих «ответственных министров», а вот только Плеве так подействовал, что дал торжество Безобразову, который, впрочем, был государю «весьма симпатичен». Витте не только в 1903 г. не захотел укрепить за собой своей своевременной и добровольной отставкой то большое историческое место, на которое ему давала право его упорная оппозиция корейской авантюре, но он даже и там, в Биаррице, в 1911, в 1912 гг., хочет сознательно извратить и затушевать историю, и все это в тех же целях неистребимой воли к власти, неискоренимой мечты о конце опалы, о возвращении к делам...

Получив отставку, Витте уехал в Париж. Там тоже многие решительно ничего не понимали в происходящей подготовке дальневосточной драмы; Витте также и в Париже несколькими головами превосходил государственных людей, державших браз-

ды правления. Гулливер переехал с берегов Невы на берега Сены, но все-таки чувствовал себя среди лилипутов.

Так, министр иностранных дел Делькассе (а он еще считался самым выдающимся по талантам министром иностранных дел Третьей республики) «всюду авторитетно говорил, что по имеющимся у него достоверным сведениям войны быть не может». Остальные министры вторили ему: «Когда я приехал в Париж и увидел, что там существует такое оптимистическое настроение, то, боясь проговориться, я старался ни с кем не видеться и уехал поскорее в Виши»,— пишет Витте.

Оптимизм царил не только в Париже, но и в Петербурге. «Государь в отличном настроении духа»,— передавал министр двора барон Фредерикс. Наместник Алексеев вел чисто провокационную политику, возмущаясь «нахальством Японии» и постоянно советуя начать военные действия. Император Николай заявлял, что «он войны не желает», но что «если Япония и Китай не подчиняются, то это потому, что мы с ними церемонились; *с ними можно действовать, только внушая страх и не делая уступок*, если же и сделать какую-либо уступку, то как милость белого царя». Формулировал этот строй царских мыслей Витте такими словами: «Одним словом, я войны ни за что не начну, а они не посмеют,— значит, войны не будет». Это именно и были слова Николая II, когда даже и Вильгельм (желавший этой войны) довел до его сведения об идущих в Японии грандиозных военных приготовлениях: «Войны не будет, так как я ее не хочу».

Витте вернулся осенью в Петербург, и к нему явился японский посол Курино, не желавший войны, делавший от себя все зависящее, чтобы ее избежать. Он жаловался Витте, что на японские ноты ответы даются спустя месяцы, что Алексеев ведет дело к войне, что Япония раздражена... Курино еще в средине января, за несколько дней до нападения на русские броненосцы, предупреждал Витте, что война вспыхнет через несколько дней, если Россия не даст ответа... Бессильный Витте мог только передать об этом столь же бессильному Ламздорфу.

...В первый день войны Витте видел Николая II: «У него было выражение и осанка весьма победоносные. Очевидно, происшедшему он не придавал никакого значения в смысле, бедственном для России».

5

Император Николай II обыкновенно гораздо лучше и тоньше понимал мнение о себе собеседников и контрагентов, чем им это казалось. Так было с ограниченным Вильгельмом, так было и с могучим Витте. Витте, по-видимому, и не догадывается, что Николай II не просто был к нему «нерасположен», по всей

душой ненавидел его и, конечно, ненавидел его именно прежде всего вследствие нетерпеливой манеры Витте и его неуменья (невзирая на все усилия) скрыть полнейшее свое неуважение к Николаю и ко всем основным интеллектуальным и моральным качествам, коими природа одарила этого монарха. «Ум, любя простор, теснит», и, разумеется, Витте теснил собой сдержанного, внешне корректного и прекрасно воспитанного царя, постоянно оскорблял его, сам того не замечая (и только в мемуарах изредка и рассеянно в этом оправдывался в том духе, что вот, действительно, каюсь, бывал с царем резок). И было еще одно условие, которое не могло не усиливать ненависти Николая II к Витте: все-таки без Витте, в конце концов, никак нельзя было обойтись. Всегда, когда требовался в самом деле очень большой ум и изворотливость, приходилось, хоть со скрежетом зубовным, обращаться всякий раз на Каменноостровский проспект. Перед войной Витте не требовался: Безобразов и Алексеев рвутся в бой и удостоверяют, что японцы либо уступят, либо будут наголову разбиты. Во время войны Витте тоже не требовался (для самой войны), ибо, во-первых, войска идут в бой безропотно, и, значит, еще воевать можно очень долго, а во-вторых, помощник обер-гофмаршала полковник Путятин гарантирует полную победу на основании точного на сей предмет предсказания св. Серафима Саровского [3]. Но когда в 1904 г. понадобилось заключать новый торговый договор с Германией или в 1905 г. мириться с японцами, или в 1906 г. получить $2^1/_4$ миллиарда франков в Париже, то *в этих* случаях какое-то непосредственное и неодолимое чувство внушало даже душам, наиболее склонным ко всему потустороннему и мистическому, что тут со статс-секретарем Витте никакому чудотворцу лучше даже и не начинать тягаться. Нетерпеливый, легко раздражающийся, плохо воспитанный, самоуверенный, дерзновенный, всех презирающий Витте вдруг опять становился нужен и даже неизбежен, и опять приходилось идти к нему на поклон, расплачиваясь потом за это с ним еще большей ненавистью, чем прежде.

Кончался в 1904 г. десятилетний срок русско-германского торгового договора, заключенного в 1894 г., и Витте по просьбе Николая II взял на себя переговоры о новом договоре. Опять ему пришлось стоять лицом к лицу с Германией, но не та была обстановка: Витте мог на этом деле учесть, как страшно все изменилось за десять лет и как мало уцелело от «наследства Александра III», от былой мощи. В самом деле. Германское правительство готовилось пожать первые обильные плоды русской дальневосточной политики и борьбы России с «желтым драконом», против которого Вильгельм столь горячо приглашал в свое время «народы Европы» соединиться. Договор 1894 г. был блистательной победой Витте над германскими аграриями. Те-

перь, в 1904 г., аграрии «взяли реванш» самый полный. Еще до отъезда Витте в Германию было собрано особое совещание, чтобы установить общую линию поведения в этом вопросе. Вильгельм с ударением и многократно заявлял, что Россия, воюя с Японией, может быть совершенно спокойна за свою западную границу. Это означало, что в случае ссоры с ним Россия уже не может быть столь спокойна за эту границу. Дело было уже после Тюренчена, после первых русских потерь на море, наконец после того, как для всех в Европе и почти всех в России безнадежный проигрыш войны вполне выяснился. Совещание, по-видимому, было настроено довольно панически. Да и в самом деле, речи быть не могло о таком сопротивлении германским притязаниям, как то, которое оказал Витте в 1892—1894 гг. Не только было абсолютно немыслимо возобновление таможенной войны, но даже сколько-нибудь длительное упорство с русской стороны грозило беспокойнейшими осложнениями. Кроме непосредственной угрозы, к которой всегда мог прибегнуть Вильгельм, были налицо и иные соображения, крайне усиливавшие зависимость и связанность России в этом вопросе: так, новый министр финансов Плеске указал, что Россия должна будет прибегнуть к займам на дальнейшее ведение войны и что нужно уступить по вопросу о торговом договоре, лишь бы обеспечить за собой германский денежный рынок. Не Витте, конечно, мог при данных обстоятельствах предлагать борьбу и звать к опасному сопротивлению. Он высказался в том смысле, что нужно будет пойти на уступки, на явный экономический урон для России ввиду политико-стратегических соображений. Первые переговоры начались в письменной форме, и Витте, несмотря на вышеупомянутые решения, так упорно и ловко отстаивал безнадежно проигранные русские позиции, что понадобилось личное обращение Вильгельма к Николаю II, чтобы сопротивление Витте было окончательно сломлено. Собственно, когда он выехал на о. Нордерней (летом 1904 г.) для переговоров с канцлером графом Бюловым, то дело было ясно для обеих сторон: Витте знал, что уступит, и знал также, что граф Бюлов это знает уже наперед. Две недели длились переговоры. В умственном отношении граф Бюлов был крупным человеком, если его сравнивать с другими канцлерами послебисмарковского периода, с Каприви или с Гогенлоэ, или — позднее — с Бетман-Гольвегом, но он был, конечно, очень мал, если его сравнить с Витте. Но тут, летом 1904 г., слишком уж выгодна была для графа Бюлова самая обстановка спора. Отстояв все, что только при самых неблагоприятных условиях можно было отстоять, Витте должен был уступить в весьма важных пунктах, но в самом конце негоциации все-таки Бюлову пришлось неожиданно испытать львиный коготь: «Это человек недурной, хитрый, не особенно деловитый и не особен-

но умный, но умеет хорошо говорить, вообще как человека государственного считаю его совершенно второстепенным»,—так определяет Витте графа Бюлова. И, когда уже обсуждение торгового договора подходило к концу, Витте принялся вдруг настаивать на *официальном обязательстве* со стороны германского правительства открыть германский денежный рынок для русских займов. Бюлов всячески хотел уклониться от этого, показывал несколько телеграмм от Вильгельма, прямо воспрещающих это делать, и т. д. Витте дождался, когда договор был уже совершенно готов, но еще не подписан, и вдруг выехал из Нордернея в Берлин, объявив, что подпишет договор в Берлине. На другой день прибыл туда и Бюлов. Совершенно очевидно, что этой внезапностью Витте рассчитывал несколько обеспокоить Бюлова, который, конечно, очень хотел, чтобы выгодный для Германии торговый договор был немедленно подписан, без дальнейших трений, правда, опасных для России, но и не очень приятных для Германии: словом, Бюлов не мог не желать, чтобы созревший плод можно было, наконец, заполучить в руки. Витте явно на все это и рассчитывал, внезапно сорвавшись с места и выехав из Нордернея в Берлин. «На другой день туда приехал и Бюлов. Тогда я заявил, что не подпишу договора, который уже лежал на столе в готовом виде, пока не получу официального обязательства об открытии немецкого денежного рынка. Бюлов, увидав с моей стороны такую решимость, через четверть часа дал мне письмо, разрешающее заем, а я с своей стороны тогда подписал договор». Этот эпизод характерен для Витте как дипломата; он и дальше обнаружил уменье, не имея за собой никакой силы и материальной опоры, сообразить, каков тот максимум уступок, на который пойдет победитель, лишь бы не затягивать получения плодов своей победы, и в какой момент целесообразнее всего предъявить к победителю соответственное требование. Большим впоследствии нареканиям подвергся Бюлов в Германии за эту внезапно вырванную у него уступку.

Когда Витте еще находился в Германии, блеснул луч надежды на близкий конец «позорной и бессмысленной» бойни, затеянной на Дальнем Востоке: получились в Берлине положительные известия, что Япония вовсе не прочь заключить мир и что японский посол в Лондоне, барон Хаяси, хочет где-нибудь встретиться с Витте. Одновременно граф Бенкендорф, русский посол в Лондоне, дал знать об этом и в Петербург. Витте убежден был, что если ему поручат переговоры с Хаяси, то война окончится и окончится с не очень большими потерями для России. О необходимости мириться немедленно доводил до сведения властей в это же самое время и защитник Порт-Артура Кондратенко. Но все это провалилось; Николай II и слышать не желал о мире. Он, впрочем, и пред самой Цусимой не желал мириться, и Вит-

те знал это: «Тогда государь, по свойственному ему оптимизму, ожидал, что Рождественский перевернет все карты войны. Ведь Серафим Саровский предсказал, что мир будет заключен в Токио, значит, только одни жиды и интеллигенты могут думать противное». Войне суждено было, таким образом, длиться не $^1/_2$ года, но $1^1/_2$ года.

Только после гибели русского флота в Цусимском проливе и, главное, после восстания на «Потемкине» император Николай начал подумывать о прекращении войны. Если бы летом 1904 г. он согласился на встречу Витте с бароном Хаяси, не только потери России были бы при заключении мира меньше, но и несколько сот тысяч человек, погибших при Ляояне, Вафангоу, Сандепу, Мукдене, Цусиме, остались бы в живых. Но это соображение весьма мало кого в Петербурге и Царском Селе тревожило, и если уже очень скоро после начала посреднических действий Рузвельта опять стали поминать имя Витте (еще *до того*, как окончательно отказались Муравьев, Извольский и Нелидов), то произошло это вовсе не вследствие чего-либо похожего на раскаяние, а все по той же причине: не было налицо другого человека, который посмел бы на себя взять подобную задачу. Извольский прямо так и заявил, что «единственно кому можно было бы дать такое трудное поручение — это Витте, ввиду его авторитетности как в Европе, так и на Дальнем Востоке».

Но долго Николай не хотел идти на такое унижение. Восемь лет подряд отвергать все требования, советы, предостережения, увещания Витте и до войны и во время войны, совершить одно за другим все поистине неслыханные безумства, гибельные последствия которых Витте наперед указывал, и просить того же Витте, чтобы он ликвидировал эти последствия, потому что никто другой сделать это не в состоянии,— все это, конечно, было нелегко. Когда в первом же своем докладе по поводу выбора будущего главы русской делегации министр иностранных дел Ламздорф назвал Витте, то царь написал: «Только не Витте». Только после окончательного отказа всех, к кому обращались, Николай II «нехотя изъявил согласие» [4]. Николай II боялся (зная Витте), что натолкнется на отказ, именно затем, чтобы его унижение пред Витте было большее; к Витте поэтому был предварительно подослан граф Ламздорф. «Государь, ранее чем делать мне это предложение, поручил ему, ввиду наших личных хороших отношений, узнать это от меня, так как государю, конечно, будет неловко получить от меня отказ».

Витте согласился, и царь в краткой беседе благодарил его и сказал, что он хочет заключения мира, но «не может допустить ни хотя бы одной копейки контрибуции, ни уступки ни одной пяди земли». Витте, впрочем, не нуждался ни в каких руководящих указаниях; и когда граф Ламздорф спросил его,

желает ли он сохранить «инструкцию», которая была изготовлена для Муравьева (отказавшегося ехать), то Витте дал любопытный по-своему ответ, что для него это безразлично, так как все равно он с инструкцией считаться не будет, а будет ею пользоваться «постольку, поскольку сочтет нужным». Инструкция составлялась с участием Николая, которому, конечно, не только могли, но даже обязаны были сообщить о словах Витте. Этот эпизод дает нам некоторое представление о том, что, несомненно, должен был вообще вытерпеть Николай в эти дни, пред отъездом Витте в Портсмут. Великодушие, всепрощение и мягкость не принадлежали к числу добродетелей вновь назначенного главы русской мирной делегации.

Витте не только был абсолютно равнодушен к каким бы то ни было «инструкциям», которые он наперед решил не исполнять, но столь же безразлично он относился и к составу своей свиты. Эта свита подбиралась еще тогда, когда думали, что поедет Муравьев. Но Витте не пожелал даже внести какие бы то ни было изменения в личном ее составе. Он так твердо знал, что будет делать только то, что сам найдет нужным, ни с кем не советуясь и не считаясь, что не все ли ему равно было, будет ли при нем Мартенс, «очень хороший человек», но «крайне ограниченный, если не сказать более», или этот очень хороший человек останется в Петербурге; будет ли Плансон, Розен или Коростовец, или Ермолов, или вместо них будут другие. При Витте все члены делегации не могли иметь и тени самостоятельного значения. Им почти ни разу не приходилось даже и разомкнуть уста в Портсмуте.

6 июля Витте выехал к месту назначения. Конечно, первым важным этапом был Париж. В Париже правительство находилось еще под живым впечатлением угрожающей демонстрации Вильгельма II — поездки его в Танжер, провозглашения тоста за «независимого» марокккского султана, и под впечатлением ряда других аналогичных угроз, приведших к выходу в отставку Делькассе (за месяц до прибытия Витте в Париж). Поэтому как первый министр Рувье, так и президент республики Лубэ, хорошо понимая всю опасность для Франции дальнейшего ослабления России, всячески убеждали его в необходимости немедленного заключения мира. Рувье убеждал Витте не противиться даже, если японцы потребуют контрибуции, обещая при этом финансовую помощь Франции. Витте заявил на это, что ни одного су контрибуции Россия не заплатит, а на увещание Рувье, что вот Франция уплатила в свое время Германии громадную контрибуцию, но это не умалило ее достоинства, Витте ответил, что когда японская армия подойдет к Москве, тогда, может быть, и Россия согласится платить. Вообще Витте не очень обходителен был с французами. Он неоднократно выражал

свое убеждение, что если бы они энергично воспротивились губительной политике Николая II, то и всей японской войны могло бы не быть.

Было нечто, глубоко раздражавшее и оскорблявшее Витте во время этого его пребывания в Париже. Тут он на целом ряде невесомых, но очень реальных мелочей, чуть заметных деталей, болезненно почувствовал, как страшно подорван престиж России. Это была та обида, которую Витте ощущал не только за Россию, но и за себя самого. «Уже будучи в Париже, я почувствовал чувство патриотического угнетения и обиды. Ко мне, первому уполномоченному русского самодержавного государя, публика уже относилась не так, как она относилась прежде только как к русскому министру финансов, когда мне приходилось бывать в Париже, и даже не так, как она относилась прежде ко всякому русскому, занимающему более или менее известное общественное или государственное положение. Большинство относилось равнодушно, как к представителю quantité négligeable, и иные с чувством какого-то соболезнования, другие, впрочем малое меньшинство, с каким-то злорадством...»

Витте решил непременно приобщить к испытываемым им чувствам того человека, которого он и считал виновником всего позора. Николай был временно в его руках, он *должен* был терпеливо снести от Витте любое оскорбление, не имея ни малейшей возможности (немедленно, по крайней мере) защитить свое самолюбие. А Витте вовсе не расположен был миловать и хорошо учитывал момент. По-видимому, он находил, что недостаточно обстоятельно простился с государем пред отъездом. Он решился поэтому прибегнуть к почте... «„Нравственно тяжело быть представителем нации, находящейся в несчастье; тяжело быть представителем великой военной державы, России, так ужасно и так глупо разбитой! И не Россию разбили японцы, не русскую армию, а наши порядки, или, правильнее, наше мальчишеское управление 140-миллионным населением в последние годы". Это я написал графу Гейдену в письме для его величества... Конечно, меня ненавидели, такую правду цари редко когда слышат, а царь Николай совсем не привык слышать». Любопытно, что Витте, в подобных своих поступках руководившийся исключительно ненавистью и презрением к императору Николаю, всегда хочет выставить себя в глазах потомства неким правдолюбцем, в стиле, например, сподвижника Петра I, вошедшего в легенду, князя Якова Долгорукого,— режущим правду-матку будто бы исключительно по прямоте бесхитростной и чистосердечной своей натуры: вообще Витте не склонен преувеличивать умственные способности предполагаемых читателей своих мемуаров.

После этой прощальной весточки из Парижа государю Витте отплыл в Америку.

6

Способности больших дипломатов развертываются в полном блеске, конечно, в ликвидации несчастных войн, а не в использовании результатов войн счастливых, хотя, конечно, и для такого использования часто требуются большие интеллектуальные усилия. Витте за те шесть дней, которые он провел в своей пароходной каюте, должен был бы не раз вспоминать о князе Талейране, едущем в 1814 г. на Венский конгресс (если бы Витте интересовался Талейраном и вообще историей,— чего, по-видимому, не было и следа). Витте пишет, что в уединении, во время переезда через океан, он, много передумав, «остановился на следующем поведении: 1) ни в чем не показывать, что мы желаем мира, вести себя так, чтобы внести впечатление, что если государь согласился на переговоры, то только ввиду общего желания почти всех стран, чтобы война была прекращена; 2) держать себя так, как подобает представителю России, т. е. представителю величайшей империи, у которой приключилась маленькая неприятность; 3) имея в виду громадную роль прессы в Америке, держать себя особливо предупредительно и доступно ко всем ее представителям; 4) чтобы привлечь к себе население в Америке, которое крайне демократично, держать себя с ним совершенно просто, без всякого чванства и совершенно демократично; 5) ввиду значительного влияния евреев, в особенности в Нью-Йорке и в американской прессе вообще, не относиться к ним враждебно, что, впрочем, совершенно соответствовало моим взглядам на еврейский вопрос вообще».

Он и действовал в этом духе в течение всего своего пребывания в Америке. «Я был ежеминутно на виду, как актер на большой сцене, полной народом», вспоминает он. Роль свою (очень трудную) он сыграл мастерски. Его свита впоследствии не скрывала своего восторга пред ловкостью, обдуманной и всегда удававшейся хитростью всех шагов Витте в Америке, и крупных и мелких. Дебютом в этом направлении было знаменитое «предложение» Витте, чтобы при всех заседаниях конференции присутствовали все корреспонденты газет, какие пожелают. Пишущий эти строки находился во время портсмутских переговоров в Париже и внимательно следил как за французской, так и за английской и американской печатью и хорошо помнит то колоссальное впечатление,, которое произвело на весь мир это изумительное по своему широчайшему, неслыханному либерализму заявление главы русской делегации. Ларчик, впрочем, был открыт уже вскоре после заключения Портсмутского мира, когда в прессе подводились итоги. Уже тогда слышались голоса, что Витте в данном случае играл без всякого риска: ведь он твердо знал, что японцы все равно ни за что не согласятся на ведение переговоров в присутствии прессы и даже отнесутся к этому, как

к совсем нелепому и невозможному домогательству. Витте ведь и сам ни за что не стал бы вести переговоры при подобных изумительных условиях. Но почему же ему с первых слов и не обнаружить пред прессой своего теплого к ней отношения, если он наперед знает, что ничего затруднительного отсюда не получится, а бранить в прессе будут не его, но японцев, его же будут превозносить до небес? Витте в своих воспоминаниях *в точности* подтверждает это объяснение своей выходки. «Я с самого начала переговоров, между прочим, предложил, чтобы все переговоры были доступны прессе, так как все, что я буду говорить, я готов кричать на весь мир, и что у меня, как уполномоченного русского царя, нет никаких задних мыслей и секретов. *Я, конечно, понимал, что японцы на это не согласятся,* тем не менее мое предложение и отказ японцев сейчас же сделались известными представителям прессы, что, конечно, не могло возбудить в них особенно приятного чувства по отношению к японцам».

Витте был актером в страшно трудной пьесе, но разыграл он ее так блистательно, что Рузвельт официально заявил японцам к концу переговоров, что *за время* переговоров симпатии американского общественного мнения передвинулись заметно на сторону России. Конечно, не в том только было дело, что Витте либеральничал с прессой (тогда как Комура не пускал никого к себе на порог); что беспрепятственно позволял себя произвольное количество раз фотографировать; что побывал в англиканской церкви; что ездил кататься по еврейским кварталам Нью-Йорка и целовал там ребятишек; что (к удивлению и удовольствию газет) всегда жал руку машинистам возивших его поездов и неясно давал понять при случае, что и сам он будто бы тоже был в свое время чем-то недалеко от машиниста; что, беседуя с делегацией еврейских крупнейших банкиров, чуть ли не превзошел их самих в безудержном юдофильстве и вызвал их восторженные отзывы в печати; что газеты ежедневно разносили известия о том, как Витте запросто разговаривает с прислугой, и все повторяли, что он обращается со всеми вообще, как равный с равными [5]. Конечно, не в этой обстановочной части было главное. Но все эти особенности, о которых трижды в день кричали газеты, все это неслыханное для дипломата поведение, все бесчисленные беседы с репортерами и редакторами, которые непрерывно печатались, вся эта, с неподражаемым искусством, с истинно артистическим, вдохновенным приближением к натуре проведенная симуляция искренности, добродушия, демократизма, откровенности, простоты — все это безусловно имело значение. Любопытно, что японские делегаты к концу начали догадываться и с беспокойством учитывать очевидные и неожиданные результаты продуманной комедии, которую так мастерски

разыгрывал на глазах всего света их противник: они тоже перестали гнать от себя прочь корреспондентов, тоже появились в воскресенье в церкви и вообще пустились искать популярности. Но у них, замкнутых, сдержанных, как-то решительно ничего не вышло, хотя они старались по мере сил подражать Витте; образец оказался недосягаемым, да и хватились они слишком поздно. Конечно, помогали Витте главным образом более существенные обстоятельства. Ни Соединенным Штатам, ни Англии уже не нужна была дальнейшая русско-японская война. Достигнутая степень ослабления России на Дальнем Востоке казалась Рузвельту достаточной, а король Эдуард VII уже определенно думал о «возвращении России в Европу» и о включении России в Антанту. При этих обстоятельствах финансовая почва для продолжения войны становилась для Японии более шаткой, чем была до сих пор. Да и нужно было считаться с вероятным усилением недоверия и враждебности со стороны Соединенных Штатов в случае дальнейших японских успехов. Комура принужден был это учитывать. Этими соображениями, заметим к слову, его впоследствии защищали в Японии его друзья, когда там вспыхнули народные волнения по поводу не вполне удачного, как многим казалось, мира. Но еще раньше его все это учел соперник Комуры, и раньше, чем кому бы то ни было, Витте дал почувствовать это именно Рузвельту.

При первом же свидании с президентом Витте объявил, на какие уступки он не пойдет ни в каком случае. Рузвельт пожелал тогда напугать Витте, чтобы склонить его к уступчивости, и заявил, что при подобных взглядах Витте соглашение с Японией будет невозможно. В ответ на это Витте сразу же заговорил о том, как бы сделать так, «чтобы все-таки окончить это дело прилично, дабы не задеть самолюбия его, президента, как инициатора конференции. Было высказано, чтобы все-таки съехаться уполномоченным, констатировать непримиримую противоположность взглядов и затем разъехаться». Другими словами, на неудачную попытку Рузвельта запугать его Витте ответил такой тонкой симуляцией готовности *в самом деле* прервать переговоры, что Рузвельт, действительно, обеспокоился. Витте по этому вопросу все время вел в Портсмуте опасную игру: он ведь знал, что продолжение войны для России чревато новыми и тягчайшими катастрофами (в похвальбу кое-кого из военных он нисколько не верил). Нужно было, таким образом, прикидываться, будто Россия нисколько не заинтересована в заключении мира, и в то же время не очень натягивать эту струну и ни в каком случае не допустить, чтобы в самом деле переговоры были прерваны. И в этом вопросе тоже Витте вел сложную и трудную игру с вдохновением прирожденного великого актера: «О растущих к России здесь симпатиях можно судить по газе-

там. Многих из них, как например «The Evening Post» и «The New York Sun», считавшиеся японофильскими, совершенно перешли на сторону России. Сделалось это как-то само собою. Я приписываю подобный поворот не только ходу переговоров и обстоятельств, но также характеру и обращению Витте, которые подкупают американцев. Он держится просто и в то же время самоуверенно, интересуется или делает вид, что интересуется всем окружающим. Всех принимает, выслушивает, отвечает на все вопросы и в то же время импонирует своим умственным превосходством»,— пишет в своем дневнике наблюдавший его в портсмутские дни член русской делегации Коростовец. Удивлялись этому и американцы: «Это удивительно,— заявил в интимном разговоре Томсон,— как Витте сумел в три недели изменить общее положение. Теперь японцы к вам подлаживаются, это очевидно, а ведь было наоборот, да и общественное мнение Штатов переходит на сторону России».

Все это было важно, как благоприятная атмосфера, как обстановка переговоров. Важнее была, как сказано, трудность не *только для России, но и для Японии продолжать борьбу*. Витте повел переговоры с искусством, вызвавшим (когда были узнаны детали) восхищение присяжных дипломатов. Он уступил сразу по вопросам, по которым не мог не уступить, отдал Японии Квантунский полуостров и Корею, и без того уже ею занятые, но повел упорную борьбу по вопросу о Сахалине и о контрибуции. Ему удалось отстоять северную половину Сахалина, оборонять которую военными средствами Россия не могла, и удалось заставить японцев отказаться от контрибуции, которую не только французские государственные люди, но и Рузвельт считали совершенно неизбежной (и даже справедливой). Успех в деле борьбы против этого требования Японии был окончательно решен особым приемом, пущенным в ход Витте: он в разгаре прений спросил японцев, отказались бы они от контрибуции, если бы Россия согласилась на прочие их требования? Комура ответил отрицательно (очевидно, не желая «продешевить»), и Витте создал из этого аргумент, что японцы намерены продолжать кровопролитие исключительно из-за денег, и этим как в Америке, так и в Англии японская позиция в этом вопросе была крайне ослаблена, так как, вопреки настоятельным просьбам и формальным условиям с бароном Комурой, Витте не только принимал целые тучи корреспондентов, но и «проговаривался» им во всех тех случаях, когда мог возбудить общественное мнение против японцев. Большие и неожиданные уступки японцев нелегко им дались, и были дни (13, 14, 15 августа), когда разрыв казался совершенно неминуемым и когда Витте в самом деле, казалось, готов был прервать переговоры, хотя он знал (и впоследствии высказывал), что от продолжения войны ждал ка-

тастроф и свержения династии. Но он еще тверже знал (не только и не столько умом, сколько свойственной ему интуицией), что разрыва не будет, что японцы уступят. И когда 16 августа 1905 г. Комура уступил по всем спорным пунктам, то в американской прессе Витте был назван «королем всех дипломатов». Это был один из моментов его высшего торжества, хотя он наперед знал, что в Петербурге постараются умалить его заслугу.

Характерно, что одним из первых, приславших ему в Портсмут поздравительную телеграмму, был П. Н. Дурново, тоже думавший, что русская монархия погибнет именно от внешних войн, и поэтому понимавший все значение успеха Витте.

7

Дальневосточная политика России была окончена; не так, как желал ее окончить Витте в 1898—1903 гг., но так, как он оказался в силах ее окончить после долгой, тяжкой и безнадежно проигранной войны.

И тотчас же после Портсмута, едва успели просохнуть чернила, которыми был написан мирный трактат, как Витте оказался лицом к лицу с теми двумя европейскими комбинациями, выбирать между которыми значило для России предрешить свою будущую участь: одновременно, едва только Витте, переправившись через океан, вступил на твердую европейскую землю, до него дошли известия, что как Вильгельм II, так и король английский Эдуард VII очень бы желали с ним поговорить. И было ясно, что оба очень торопятся. Эдуард сейчас же подослал к Витте в Париж (где тот опять остановился на возвратном пути) секретаря лондонского русского посольства Поклевского, с которым у Эдуарда были личные дружественные отношения,— с целью добиться приезда Витте в Англию, а в Германию Витте просили приехать не только Вильгельм, чрез парижское германское посольство, но и канцлер Бюлов, находившийся в Бадене. Дело было ясное: Англия и Германия разделили Европу на два лагеря, и каждой из них было желательно по возможности скорее присоединить к своему лагерю Россию. Это мало значило, что Россия только что разбита, истощена, что в ней идет быстрым темпом усиливающееся революционное движение, что она немедленно никак не в состоянии была бы предпринять военные действия против кого бы то ни было: ведь немедленно никто и не собирался вступать в бой. Важно было обеспечить за собой Россию чрез несколько лет, когда столкновение станет неизбежным. А пока необходимым казалось ковать железо, пока горячо, завести первые разговоры, пока Россия слаба и скорее может пойти на ту или иную предлагаемую ей сделку. Витте, по-видимому, в тот момент ощущал ту же беспокойную подозритель-

ность к обеим группировкам европейских держав, которую он проявлял всегда, и до и после этого. Его стародавняя идея — создание континентального блока из России, Франции и Германии — была в последнее десятилетие XIX в. гораздо осуществимее, чем в первое десятилетие XX в. Вильгельм II (знавший тогда об этой идее Витте) пропустил в 1898 —1899 гг. единственный, никогда ни прежде, ни после не бывший момент, когда французы (в лице некоторых деятелей и части прессы) стали как будто задумываться над вопросом о том, против кого им строить свою внешнюю политику: против Германии или против Англии? Разница между Вильгельмом и Витте заключалась в данном случае в том, что Витте был реалистом до мозга костей и реалистом проницательного и широко охватывающего ума, а Вильгельм (думавший о себе, что он реалист) был всегда утопическим мечтателем; ибо фантазировать даже хотя бы и о чисто материальных приобретениях и выгодах еще не значит быть реалистом. Вильгельм в 90-х годах был настолько в выгодном положении, что он не хотел идти ни на соглашение с Россией, для которого тогда была почва, ни на союз с Англией, который ему предлагал (повторно) Джозеф Чемберлен. Ему представлялось более выгодным ждать и этим (как он полагал) повышать цену союза с Германией. Теперь, в 1905 г., первые плоды этой неумелой политики уже были налицо: Антанта с 1904 г. уже существовала, и соглашение Германии с Англией было совершенно невозможно. Оставалась Россия, и Вильгельм старался изо всех сил (уже с 1904 г.) создать тот самый континентальный союз, о котором за десять лет до того говорил Витте. Но теперь уже слишком многое изменилось в международной обстановке, и мы сейчас увидим, какую позицию занял Витте относительно планов Вильгельма, а пока отметим только, что он хотел отклонить все приглашения, не видеться ни с Эдуардом, ни с Вильгельмом, ни с Бюловым. Однако Вильгельм был так настойчив, что Николай II выразил в конце концов желание, чтобы Витте, проездом через Германию, повидался с Вильгельмом.

Уже предосторожности, которыми Витте обставил это свидание, показывают, что он предвидел ловушку: приехав в Берлин и собираясь отправиться к Вильгельму в Роминтен, Витте счел нужным повидаться с французским послом и заявить ему, что о результатах разговора с германским императором он даст знать послу, чтобы тот уведомил своего начальника, премьер-министра Рувье. Витте с первого же момента видел, что все усилия Вильгельма будут теперь направлены к тому, чтобы скомпрометировать Россию в глазах французского правительства и этим уничтожить франко-русский союз, и что Вильгельм поставит вопрос так: либо континентальный союз России, Германии и Франции против Англии, либо союз Германии и России *про-*

тив Франции и Англии. Оттого он и постарался прежде всего *«окопаться»* и обеспечить себя от французских подозрений.

По приезде в Роминтен, едва только Витте очутился в отведенной ему комнате, туда явился граф Эйленбург и сказал «что император вспоминает» о том разговоре, который у него был некогда с Витте в Петербурге, о мысли Витте, что континентальная Европа должна прекратить борьбу и соединиться. «Я ему сказал, что очень сожалею, что тогда разговор этот не имел никаких практических последствий. На это граф Эйленбург очень неопределенно заметил, что, может быть, мое чаяние гораздо ближе к осуществлению, нежели я думаю». Эти таинственные слова Эйленбурга объяснились в тот же день вечером, когда Вильгельм открыл Витте, что в Бьорке эта идея о континентальном союзе трех держав получила уже осуществление (при свидании Вильгельма с Николаем, в июле того же 1905 г.). Вильгельм, открыв эту тайну, спросил Витте, доволен ли он; Витте «радостно и с полным убеждением отвечал, что очень доволен». Но Витте понимал дело так, что «союза» никакого еще нет и что в Бьорке (он почему-то упорно пишет «в Биорках») могла быть только новая линия поведения. Во втором разговоре с Вильгельмом в тот же день Витте начал сразу с центрального пункта — с трудности постепенного сближения Германии с Францией. Отношения эти, всегда бывшие натянутыми, за последние годы еще ухудшились, у Франции уже есть теперь соглашение с Англией, и поэтому соглашение с Германией стало еще труднее. Вообще нужны для этого «обдуманные и систематические меры», а между тем он, Витте, таковых мер не усматривает ни в действиях русской дипломатии, ни в действиях дипломатии его германского величества. В ответ Вильгельм стал жаловаться на вызывающее и оскорбительное поведение французского правительства относительно Германии, на политику Делькассе и т. д. Витте возразил, что Делькассе уже ушел, что Рувье хочет примирения, и коснулся спора по марокканскому делу, причем настаивал на необходимости передать вопрос на разрешение международной конференции. Об этом он уже раньше говорил и самому Рувье, когда застал в Париже тревожнейшую атмосферу и ожидание столкновения с Германией. Конечно, конференция в тот момент была полезна уже Франции, а не Германии. Но аргументация Витте подействовала. Выслушав все резоны Витте, император взял со стола телеграфный бланк и написал телеграмму на имя Бюлова. Показав телеграмму, император сказал: «Вы меня убедили, вопрос будет улажен в указанном смысле». Известие об этом было немедленно отправлено Витте в Париж Рувье. Тревога улеглась, марокканское дело вступило в новый фазис. Конечно, Вильгельм имел в виду этой уступчивостью окончательно привлечь Витте на сторону своего

бьоркского плана и одновременно сделать шаг (или показать вид, что делает шаг) к привлечению Франции на сторону затеянной им комбинации. Но ни эта уступчивость, ни внезапно пожалованный в тот же день самый высший орден Красного Орла [6], даваемый до той поры только царствующим особам, ни личные проводы Витте на вокзал самим Вильгельмом не могли сделать Витте сторонником бьоркского дела, когда он узнал об истинных размерах и характере этого события по приезде в Петербург.

А случилось это очень скоро, при первом же большом разговоре с Ламздорфом, приехавшим поздравлять Витте с возведением в графское достоинство. «Да читали ли вы соглашение в Бьорке?» — спросил Ламздорф, когда Витте начал распространяться об идее континентального союза. Витте ответил, что ни Вильгельм, ни Николай не дали ему прочесть это соглашение. Тогда взволнованный Ламздорф дал Витте текст. Узнав, в чем дело, увидев, что речь идет *об уже заключенном* между Вильгельмом и Николаем союзе, с обязательством защищать друг друга в войне («даже в войне с Францией»,— вывел сейчас же Витте), прочитав внимательно текст, Витте не колебался ни минуты: «Да это прямой подвох, не говоря о неэквивалентности договора. Ведь такой договор бесчестен по отношению к Франции, ведь по этому одному он невозможен. Неужели все это сотворено без вас и до последних дней вы об этом не знали? Разве государю неизвестен наш договор с Францией?» Ламздорф ответил: «Как неизвестен! Отлично известен. Государь, может быть, его забыл, а вероятнее всего не сообразил сути дела в тумане, напущенном Вильгельмом»... Тогда кавалер Черного и Красного Орла категорически заявил, что нужно сейчас же уничтожить этот договор, и начал немедленно и очень деятельно работать в данном направлении. Мало полагаясь на авторитетность Ламздорфа у государя, Витте обратился к Николаю Николаевичу. Уже через несколько дней соединенные усилия дали плод. Николай II созвал на совещание по этому вопросу Витте, Ламздорфа и Николая Николаевича. Совещание единогласно решило, что договор должен быть аннулирован немедленно и всецело. «Государю, очевидно, было очень тяжело отказаться от своей подписи, но он должен был на это решиться и разрешить графу Ламздорфу в этом направлении действовать,— вспоминает Витте,—... и до меня начали доходить слухи, что германский император перестал мною восторгаться». Вильгельм снова убедился, как и в 1892—1894 гг., что *с Витте ему не справиться.*

Не императору Вильгельму с Эйленбургом и Бюловым было и браться за эту замысловатую задачу — обмануть графа Витте, когда это никогда не удавалось дружной и коллективной умственной работе самых испытанных банкирских синдикатов

и концернов, самых закаленных в боях, самых могущественных мировых бирж. Но Витте, разрушив бьоркское соглашение, вовсе не перестал держаться всегдашней своей идеи о континентальном союзе. Он только не хотел, чтобы Вильгельм впоследствии втянул Россию в войну против Англии, и не желал также, чтобы был разрушен франко-русский союз, без которого Россия оказалась бы в финансовом отношении в тот момент беспомощной. А Вильгельму именно эти две цели и были дороже всего во всем затеянном в Бьорке предприятии.

Но, с другой стороны, Витте очень опасался и слишком тесного сближения России с Англией, опять-таки потому, что ни за что не хотел, чтобы и Англия втянула, с своей стороны, Россию в войну против Германии. Когда в 1907 г. было заключено англо-русское соглашение, Витте не был спокоен: «Само по себе это соглашение полбеды, но как бы оно не стало началом других, которые могут кончиться большими пертурбациями». По поводу этого присоединения России к Антанте Витте заявлял, что в этом событии (которому Витте не сочувствовал) виновата отчасти именно «близорукая дипломатия» Вильгельма. С тех пор Витте не был спокоен за международное положение России: «В одном я уверен, это — что если императору Вильгельму не дано реального удовлетворения... то он будет носить против России за пазухой камень».

8

Октябрьская забастовка, манифест и все то, что за манифестом последовало; эра Дурново, которого, как теперь выяснено с документальной точностью, граф Витте, вопреки ходячей легенде, не только не останавливал, но, напротив, подстрекал и натравливал на самые крутые действия; отчаянная и кровопролитная борьба, вновь возгоревшаяся в декабре 1905 г. и продолжавшаяся в 1906 г.,— все эти события, тесно связанные с историей премьерства Витте, нас тут не касаются. Бывший приверженец самодержавия стал на сторону «конституции». Правда, на свой «манифест 17 октября» Витте смотрел по собственному признанию так: «Лучше воспользоваться хотя и неудобною гаванью, но выждать бурю в гавани, нежели в бушующем океане на полугнилом корабле». Правда, и во время премьерства между ним и П. Н. Дурново можно провести полнейший знак равенства (в смысле отношения к осуществлению принципов манифеста), и позднее, в Государственном совете, некоторые выступления Витте были прямо направлены в сторону урезывания и уничтожения законодательных прав Думы (и все это с явной целью выйти из своей второй опалы и опять получить власть), но все эти оговорки, все эти усилия, вся готовность «кривить душой» — все это не привело к результату, которого

Витте добивался. Уже во время премьерства фактическая власть от него отошла, а когда 15 апреля 1906 г. он вынужден был выйти в отставку, то эта отставка оказалась окончательной. Но еще до этого события произошло последнее выступление графа Витте на международной арене: мы говорим о негоциациях, связанных с заключением знаменитого колоссального апрельского займа 1906 г. в Париже.

В этом деле Витте опять обнаружил необычайную изворотливость ума и силу своих дипломатических дарований. Конечно, о «принципиальном» отношении графа Витте к финансовой сделке, которая должна была быть заключенной непременно до созыва Думы именно затем, чтобы дать возможность эту Думу распустить,— говорить не приходится. Витте так и признает мотивы своего поступка: «...мне было ясно, что если I Государственная дума, которая, несомненно, должна была быть неуравновешенной и в некоторой степени мстительной, будет сорвана, покуда правительство Николая II не будет иметь хорший запас денег и войска и начнет трактовать заем при Думе, то заем совершится не скоро, а время не терпело... а затем правительство без денег может совсем лишиться свободы действия, необходимой в известной мере вообще, а в смутное время, которое тогда переживалось, в особенности». Витте, при всех своих индивидуальных отличительных свойствах, до такой степени все же был ближе к строю, возглавляемому императором Николаем II (которого он иногда ненавидел и всегда презирал), чем к врагам этого строя, что он не усматривает ни малейших противоречий в своих словах и действиях. Особенно мало его тревожат эти противоречия, когда дело идет о министерстве не кого другого, а самого графа Витте. Для него эта деталь имела всегда решающее значение. Приведем пример. Расстреливать не только можно, но и должно, но лишь в том случае, если премьером состоит граф Витте. Если же он заменен Столыпиным или Коковцовым, или кем угодно, тогда граф Витте подымается, говоря о расстрелах, до истинно революционного пафоса: «Министр Макаров... закончил свою речь, оправдывая совершенные полицией массовые убийства безобразным восклицанием: так всегда было, так и будет впредь. Конечно, не нужно быть пророком, чтобы сказать, что если так было, то так долго не будет впредь, ибо такой режим, где подобные бойни возможны, существовать не может... такое правительство в XX в. долго существовать не может, оно искрошится!» Так громит Витте, в качестве карающего пророка, ленские события 1912 г. Но что все действия его самого (не Дурново только, а именно самого графа Витте) в течение зимы и весны 1905—1906 гг. клонились исключительно к упрочению этого режима и что одним из существеннейших действий этого порядка (притом таким действием, которое совершил и мог со-

вершить только он один, без всякой помощи Дурново или царя, или кого бы то ни было) оказался французский заем, это обстоятельство графу Витте как будто и в голову не приходит. Просто это кричащее противоречие его нисколько не интересует, а читателя своих мемуаров он уважает в той же степени, как и все остальное человечество, и считает лишним в чем бы то ни было его убеждать.

Хотя вся огромная область внутреннеполитической и финансово-экономической деятельности Витте устранена нами из этого специального очерка, но, конечно, говорить об апрельском займе, не коснувшись некоторых прямо сюда относящихся обстоятельств, невозможно.

Витте твердо желал заключить заем до Думы именно, чтобы держать в руках участь Думы и нисколько от нее не зависеть. А представители русского крупного капитала упорно не понимали, что революция в своем развитии непременно (и очень скоро) ударит именно их. Им тоже был неугоден заем, они тоже требовали и ждали всего от Думы. Витте говорит о них с откровенным презрением и насмешкой. Витте приписывал поведение представителей русского крупного капитала в 1905—1906 гг. не какому-то особому надклассовому их великодушию, но исключительно полному непониманию с их стороны страшной революционной опасности, которая выросла не только пред абсолютизмом, но и пред ними самими. Является, например, к графу Витте Крестовников от имени московского торгово-промышленного мира и просит приказать снизить в государственном банке учетные проценты. «Зная хорошо положение дела, я ему объяснил, что ныне понизить проценты невозможно, причем я не счел нужным объяснить о трудности положения дела до того времени, пока мне не удастся заключить заем. После такого моего ответа Крестовников схватил себя за голову и, выходя из кабинета, кричал: «Дайте нам Думу...» — и как шальной вышел из кабинета. Вот до какой степени тогда представители общественного мнения не понимали положения дела... представитель исключительного капитала воображал, что коль скоро явится I Дума, то она сейчас же займется удовлетворением карманных интересов капиталистов». И Витте их называет: «умеренные элементы с умеренным пониманием вещей». Он к ним относится не столько с сарказмом, сколько с презрительным юмором.

И Крестовникову, и Витте нужна была не I Дума, а был нужен заем в Париже. Но Витте это понимал, а Крестовников не понимал. Однако достигнуть желаемой цели оказалось необычайно трудным.

Во-первых, проигрыш войны и революция страшно расшатали и уменьшили престиж и кредит русского правительства на западноевропейских биржах. Зимой и весной 1905—1906 гг.

революция еще не была сломлена окончательно, несмотря на подавление московского восстания, усмирение прибалтийских губерний и т. д. В Европе ждали продолжения, причем слухи распространялись самые фантастические. Если бы даже не было других причин, то уже этой одной было бы достаточно, чтобы страшно затруднить всякую финансовую сделку с Россией. Во-вторых, немногие банкиры, которые были поздней осенью и в начале зимы запрошены (пока неофициально) и которые вообще соглашались со временем принять участие в займе, ставили условием ратификацию займа Думой; еще в большей степени во французских влиятельных политических сферах говорили о том, что разрешить реализацию русского займа во Франции можно, только если заем будет с согласия Думы (а Витте именно хотел обойтись без этого согласия). В-третьих, наконец, с самого начала русских займов во Франции никогда еще международное положение не внушало таких беспокойств, как в ранние месяцы 1906 г.; шла Алжезирасская конференция держав по вопросу о Марокко.

Затеяв заем, Витте повел целый ряд рассчитанных действий, которые имели целью побороть все эти три трудности.

Центром сопротивления были в его глазах не только банкиры, а также и французское правительство. Требовалось добиться его формального разрешения на производство займа во Франции; когда такое разрешение состоится, сладить с недоверием и «пессимизмом» банкиров всегда удастся. Это Витте со своим глубоким знанием парижской биржи мог учитывать безошибочно. Но как преодолеть сопротивление французского правительства? Что дело идет не о желании французов подкрепить позицию будущей Думы, а совсем о другом, это, впрочем, понял бы и несравненно менее проницательный человек, чем граф Витте, тем более, что и Рувье, бывший первым министром, когда начались первые негоциации о займе, и сменивший его Саррьен, и министр финансов в кабинете Саррьена Раймон Пуанкаре, и влиятельнейший член кабинета Саррьена Жорж Клемансо (вскоре сменивший Саррьена) не скрывали, что́ они хотят от России.

Речь шла, конечно, об Алжезирасской конференции. Роль Витте в созыве этой конференции была громадна. Мы видели уже, что Вильгельм окончательно согласился ждать решений конференции и пока прекратить дипломатическую борьбу против Франции именно под влиянием Витте (т. е. под влиянием соображений, что таким путем можно будет легче привлечь Францию к бьоркскому соглашению). В Париже знали об этом и были благодарны Витте (тем более, что никому из французов даже не был и показан бьоркский документ, да и документ этот, как только Витте о нем в точности узнал, был его же стараният-

ми аннулировал). Но французы понимали, что на самой конференции предстоит жестокая борьба. Решалась участь Марокканской империи. Положение вещей к концу 1905 г. было очень натянутое. Германская дипломатия, правда, еще не сознавалась тогда в убийственной ошибке Вильгельма и Бюлова, совершенной ими в первые две недели после отставки Делькассе (т. е. в средине июня 1905 г.), когда Рувье предлагал им «отступное» в самом Марокко, а они отказались. Но часть германской прессы уже стала себя спрашивать, был ли выгоден этот отказ. И сам Вильгельм, по-видимому, очень желал бы уже осенью 1905 г., чтобы Рувье повторил свое предложение. Но Рувье не повторял его, и упущенный случай уже никогда более не представился. Все упования свои германская дипломатия должна была поэтому, волей-неволей, возложить на конференцию. Что должна была дать Германии Алжезирасская конференция? «Открытые двери» в Марокко, полное обеспечение Марокко от политического захвата французами, сохранение обширной Марокканской империи как свободного поприща для приложения германского финансового капитала. Платформа Германии на готовящейся конференции, казалось бы, была очень выгодной, вполне приемлемой для всех держав, и, при сопротивлении Франции, подавляющее большинство держав должны были неминуемо стать на германскую точку зрения, а вовсе не на французскую: равноправие всех держав в Марокко, никаких преимуществ французам.

Но так только казалось, и Германия была очень неспокойна. Ведь в основе, в глубине всех этих споров скрывалось нечто поважнее Марокко. Шла борьба Германии против Антанты (пока еще только двучленной, англо-французской). Было наперед известно, что Англия станет на сторону Франции, что Испания (у которой было соглашение с Францией) тоже станет на сторону Франции, что Италия, получившая обещания, точный смысл коих тогда еще не был известен [7], тоже станет на сторону Франции или не будет во всяком случае поддерживать Германию. Значит, Германия могла рассчитывать только на поддержку Австрии. Этого было мало.

Как поступит Россия? Что Витте его обманул, что именно Витте разрушил все результаты бьоркского свидания, это Вильгельм, конечно, сообразил уже к концу 1905 г., и это не было уже тайной для его приближенных: тон отзывов о Витте резко переменился. Теперь, с октября 1905 г., Витте был премьером. Узнав его несколько поближе, германский император и Бюлов (и их ближайший советник, директор в министерстве иностранных дел барон Фриц фон Гольштейн) удостоверились, что за поддержку в Алжезирасе, если Россия согласится ее оказать Германии, придется принести жертвы и что вообще Красным

Орлом и аналогичными способами от Витте не отделаешься. Витте с своей стороны именно так и поставил вопрос с самого начала, что он стоит за справедливое и полюбовное размежевание интересов в Марокко между Францией и Германией, что он прикажет русскому представителю действовать по существу, по справедливости, во имя миролюбия и т. д., словом, дал понять и в Берлине и в Париже, что хотел бы прежде всего знать, что именно кто из них может России дать за поддержку?

Начать так игру было, конечно, в прямых его интересах: ведь только таким дебютом он мог дать понять также и французскому правительству, что один только голый факт существования франко-русского союза еще вовсе не обязывает Россию во всем поддерживать Францию и что за эту поддержку нужно на сей раз приплатить. А что поведение России на конференции очень важно и для Франции и для Германии именно с демонстративной, так сказать, стороны, что дело идет о *будущих* комбинациях, о том, к какой группировке держав впоследствии примкнет Россия,— это хорошо знали в Париже; но не хуже понимали значение этого и в Петербурге. Другой выгодой для Витте от принятого им умышленно неопределенного образа действий было то, что с Берлином предстояли некоторые щекотливые расчеты в декабре 1905 г. по краткосрочным обязательствам, да и нужно было поглядеть, чтó именно Германия могла бы предложить в будущем.

Для предварительных разведок Витте отправил в Париж и Берлин Коковцова. Но Коковцов попал в самый неблагоприятный момент, в дни московского декабрьского восстания. Рувье ему заявил, что до улажения марокканского дела никакого займа не будет. Впрочем, 100 миллионов рублей в виде аванса, в счет будущего займа, ему дали. В Берлине же успех был больше: германское правительство согласилось посодействовать отсрочке платежа по русским обязательствам (Коковцову). «Удалось отсрочить, что, впрочем, было не трудно, так как германское правительство еще находилось в недоумении относительно моего образа действий по отношению внешней политики»,— поясняет Витте. Но эта поездка была именно только первоначальными разведками. Ответ Рувье показывал, что французы понимают игру Витте и что если он ставит вопрос так: «сначала заем, потом Алжезирас», то Париж на это отвечает: «сначала Алжезирас, а потом, если вы заслужите своим поведением на конференции,— заем». Остановимся на характерных моментах. Миссия Коковцова выяснила почву, на которой должно было дать французам бой. Еще 20 декабря Коковцов телеграфировал из Парижа: «Виделся с некоторыми банкирами, настроение которых весьма пессимистическое... Без прямого поощрения правительства они не пойдут. Опасаюсь, что Рувье едва ли вы-

ступит решительно»,— а уже 21 декабря Коковцов сообщил Витте результат первой своей беседы с Рувье: «Успеху моего трудного положения могло бы значительно содействовать получение мною права заявить Рувье конфиденциально, что в марокканском вопросе Франция может рассчитывать на моральную поддержку России в смысле влияния ее на Германию. К этому вопросу Рувье возвращался дважды» [8]. Витте на другой же день телеграфировал Коковцову *«с высочайшего соизволения»*, что он может передать Рувье, что поддержка России в марокканском вопросе за Францией обеспечена. Но это на французов действовало мало. 6 января 1906 г. Коковцов должен был телеграфировать снова графу Витте, что «все банкиры единогласно и самым решительным образом заявляют о полной невозможности» займа, во-первых, вследствие внутреннего положения в России, а во-вторых, из опасения войны с Германий по поводу Марокко. Правда, «тем не менее правительство оказывает на банкиров очень сильное давление», но одновременно Рувье, действуя от имени совета министров, объявил, что «только после успокоения в России и разрешения марокканского вопроса значительный заем окажется возможным». В ответ Витте телеграфировал, что «германский император никогда не решится на войну» и что «если бы было возможно заключить заем при условии успокоительного заявления со стороны Германии, вероятно, мы могли бы достигнуть этого в той или иной форме». А в конце телеграммы он выдвинул прямую угрозу государственным банкротством, в случае уничтожения золотой валюты: «Предупредите французское правительство и банкиров, что при прекращении размена мы не будем в состоянии оградить интересы иностранных владельцев наших фондов». Но все это не оказало влияния. Коковцова Рувье успел убедить, что он рад бы, но не может повлиять на банкиров. Но Витте особой телеграммой разъясняет Коковцову, в чем дело: «Французское правительство, пользуясь переговорами о займе, всячески старается понудить нас поддержать их не только на марокканской конференции, но и непосредственно у германского императора».

Нужно сказать, что Витте, по собственным заявлениям, вообще в особую политическую прозорливость других не верил, и эти опубликованные в 1926 г. в «Красном архиве» архивные документы (телеграммы Витте к Коковцову и Коковцова к Витте), которые мы тут цитируем, носят характер наставлений со стороны графа Витте несколько заблуждающемуся и как бы оправдывающемуся в чем-то Коковцову.

По возвращении Коковцова в Петербург Витте решил непосредственно сам вступить в эту трудную негоциацию. Он вызвал в Россию Нетцлина, главу французского синдиката, для тайных переговоров (приезд Нетцлина был обставлен таким

секретом, что его поселили в Царском Селе, во дворце Владимира Александровича). Конечно, Нетцлин был снабжен инструкциями не только от синдиката, но и от людей, стоявших повыше: уступив по вопросу о Думе (сначала Нетцлин требовал, чтобы заем был заключен *после* созыва Думы и, значит, только с ее согласия, а Витте категорически отверг это условие), Нетцлин настоял на другом: заем должен был состояться лишь после того, как марокканский вопрос будет в Алжезирасе улажен. После этого центрального пункта все остальные были решены Нетцлином и Витте очень быстро — в пять дней (сумма займа была намечена в 2750 миллионов франков, фактически она оказалась равною $2^1/_4$ миллиардам франков = $843^3/_4$ миллиона рублей золотом; годовой процент — 6%; заем не подлежит конвертированию раньше 10 лет). Переговоры и их результат должны были держаться в строгой тайне.

Французское правительство получило то, чего оно домогалось: оно держало теперь в своих руках русскую дипломатию вплоть до конца Алжезирасской конференции. Витте тоже получил то, что хотел: заем до Думы, без Думы, против Думы, и заем колоссальный, в самом деле оказавшийся надолго родником живой воды для надломленного и истощенного русского политического строя. Но отныне все зависело от событий на Алжезирасской конференции, а тут положение Витте оказывалось не из легких: Германия раздражалась, тянула переговоры, ожесточенно спорила. Часто казалось, что конференция будет тянуться еще долгие месяцы. Это происходило от двух причин. Во-первых, если уже к концу 1905 г. Вильгельм и Бюлов несравненно меньше желали созыва этой конференции, чем весной того же 1905 г., когда они сами ее потребовали, то с начала 1906 г., когда представители держав съехались в Алжезирасе, для германского императора и его советников стало уже совершенно ясно, как они жестоко ошиблись. Наихудшие их опасения оправдались: с ними голосовала одна Австрия, против них — все остальные державы. Французы стали неуступчивы, и поведение германского правительства делалось все раздражительнее. Во-вторых, Германии хотелось затягивать конференцию еще и потому, что игра Витте была вполне, наконец, разгадана в Берлине. Его переговоры с Нетцлином, конечно, не могли остаться для Берлина тайной. Помешать займу, отдалить заем значило, быть может, отдалить Россию от Франции, показать Витте, что, разорвав бьоркское соглашение, он отныне должен считаться с враждой Германии. И это — тем более, что после переговоров с Нетцлином Витте принужден был снабдить русского представителя в Алжезирасе (Кассини) вполне уже определенной инструкцией: поддерживать беспрекословно все французские требования и голосовать всегда с французами. Витте

понял, что «германский император знает, что нам нужны деньги, что правительству нужно сделать большой заем, и, не желая этого, делает затруднения в Алжезирасе». И в конце января и в феврале Витте зондировал почву в Париже и, получая неизменный ответ с ссылкой на Алжезирас, решил, наконец, обратиться к Вильгельму. Чрез русского посла в Берлине Остен-Сакена до сведения Вильгельма и Бюлова было доведено мнение русского правительства, что Франция дошла до пределов уступчивости, а Германия как бы ведет дело к разрыву. «Мы отказываемся верить, чтобы император Вильгельм, с твердым убеждением высказавшийся пред нашим августейшим монархом за необходимость, в интересах всего человечества, сохранения мира, а также сближения, при посредстве России, между Германией и Францией, решился вызвать разрыв конференции»... Это граф Витте манил Вильгельма надеждой на возобновление в том или ином виде бьоркских переговоров. Другим аргументом, которым Витте хотел воздействовать на германского императора, являлась необходимость борьбы против всесветной революции (в которую сам граф Витте нисколько не верил): «Германскому правительству также хорошо известно, что с благополучным окончанием Алжезирасской конференции тесно связан вопрос о чрезвычайно важных для России денежных операциях; только с осуществлением последних императорское правительство в состоянии будет принять все необходимые меры к окончательному искоренению революционного движения, имевшего уже отголосок в соседних монархических государствах, которыми было признано необходимым действовать сообща против надвигающейся опасности со стороны анархических международных обществ».

Вильгельм старался указать, что заем не удастся России не вследствие Алжезираса, но по причине вражды еврейских банкиров. Тогда Витте по телеграфу чрез Рафаловича (финансового агента в Париже) попросил Рувье специально ответить, что заем затруднен не евреями, а именно поведением Германии в марокском деле. Рувье сейчас же прислал требуемую телеграмму. Все это было снова пущено в ход против Вильгельма, но дела в Алжезирасе все не сдвигались с мертвой точки. Тогда Витте решил воспользоваться данным ему в Роминтене любезным разрешением со стороны Вильгельма — писать непосредственно германскому императору чрез посредство Эйленбурга. Он и написал Вильгельму, прося ускорить и уладить дело в Алжезирасе и опять ссылаясь на план союза между Россией, Германией и Францией. Но Вильгельм ответил, что он не может без ущерба для престижа Германии отступить от некоторых условий.

В конце февраля 1906 г. Рувье ушел, и место его занял Сар-

рьен, в кабинете которого Клемансо стал министром внутренних дел, а Пуанкаре — министром финансов. При таких двух сотрудниках сам глава кабинета, конечно, отошел на второй план,— и Витте обратился немедленно к Пуанкаре: ему все хотелось получить заем до конца Алжезирасской конференции. Но и Пуанкаре не согласился. Витте все время был твердо уверен, что Вильгельм ни за что не решится воевать из-за Марокко и, значит, нужно лишь запастись терпением. И действительно, в середине марта произошел, наконец, сдвиг: Германия согласилась на те пункты, отступить от которых не пожелали французы. Тогда, даже не дожидаясь формального окончания конференции, министр финансов Пуанкаре дал понять Нетцлину, что путь свободен.

Но «чтобы отомстить за Алжезирас» (как выражается Витте), германское правительство не разрешило участия германского капитала в этом, организованном французским синдикатом, но международном по составу, займе. Отказ Германии (а также Моргана) несколько уменьшил предполагавшуюся сумму займа, но даже и в уменьшенном виде этой суммы (843¾ миллиона рублей золотом) хватило русскому правительству на весь труднейший для него период 1906—1910 гг. Витте с гордостью об этой стороне дела пишет, спортивное чувство специалиста, осилившего все трудности, снова берет верх, и он с удовольствием приводит слова из благодарственного письма к нему императора Николая II: «Благополучное заключение *займа составляет лучшую страницу вашей деятельности»*.

И одновременно Витте не перестает говорить о русской политике 1906—1910 гг. как о прямой дороге к гибели и разрушению России, совсем забывая, что, по его же словам, эта политика стала возможной *только* вследствие блестящей удачи огромного займа 1906 г. 26 марта Витте снова отправил в Париж Коковцова для оформления сделки, а 3 апреля «контракт на заем» был подписан.

История этого колоссального займа имела серьезные последствия и в области международной политики. Поведение германского правительства до Алжезираса, во время Алжезираса и после него, сознательная борьба против русского займа — все это окончательно отодвигало идею Витте о континентальном союзе в область несбыточных политических мечтаний, и Россия входила все больше и больше в фарватер английской политики. Витте, как сказано, не очень спокойным оком взирал и на это сближение с Англией и боялся, что Англия вовлечет тоже Россию в международные осложнения. Но ему уже не дано было активно влиять в том или ином смысле на русскую дипломатию: тотчас после приведения дела о займе к благополучному концу, пред самым созывом первой Думы, граф Витте вышел в отставку, на этот раз навсегда удалившись от власти.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«По моему глубочайшему убеждению, если бы не был заключен Портсмутский мир, то последовали бы такие внешние и внутренние катастрофы, при которых не удержался бы на престоле дом Романовых». Эта мысль Витте является характерной для всего его внешнеполитического воззрения. Все, что угодно, но только не воюйте, потому что вы не можете воевать и именно от войны погибнете; вы можете погибнуть и без войны, но при войне вы *не можете не погибнуть*. Вот как резюмируется вся его борьба против самоубийственной внешней политики абсолютистского строя.

Человек, стоявший на грани двух эпох и двух социальных слоев, деятель, старавшийся изо всех сил о привлечении иностранных капиталов и тоже изо всех сил боровшийся потом против международно-политических последствий этого привлечения, человек, способствовавший насаждению и укреплению крупной буржуазии, приверженец выросшего на совсем иной социальной почве самодержавия, автор манифеста 17 октября, сделавший все, что было в его силах, чтобы иметь возможность свести этот манифест к нулю и чтобы дать эту возможность также и своим преемникам по власти (которых он презирал и ненавидел), строитель Восточнокитайской дороги и ярый враг ближайших последствий этого выступления, министр, превосходящий разнообразием своих дарований, громадностью кругозора, умением справляться с труднейшими задачами, блеском и силой своего ума всех современных ему людей власти, кроме Бисмарка и Гладстона,— Витте всегда будет привлекать к себе внимание историков, и всегда их будет занимать раздвоенность поведения и мышления этой *цельной*, но

существу, натуры, это конечное бессилие в достижении *главного* при могучей силе в достижении и осуществлении отдельных труднейших заданий. Он хотел спасти, а ему только удалось несколько отсрочить гибель; он хотел гармонии, тишины и добровольного повиновения — в такую эпоху и в такой стране, где и когда социальная борьба не могла не возгореться особенно ярким пламенем, и притом сам же он в области финансов и экономической политики за свою долгую деятельность сделал все зависящее, чтобы подбрасывать новые и новые горючие вещества, которые должны были превратить это пламя в пожар. Истинным революционером против самодержавного строя был тот, кто создал завод; а тот, кто вывел из него рабочих на баррикады, был лишь продолжателем и логическим завершителем. Витте связал свое имя не с отдельным заводом, а с громадным по своему абсолютному и относительному значению процессом индустриализации. Кто при этих условиях был виноват в этой раздвоенности замыслов и результатов? Витте по природе был такой сильной и цельной индивидуальностью, что он с гневом замечал эту раздвоенность, но приписывал вину кому угодно, только не себе. Он был только наполовину прав: вина была не его, но вместе с тем и *ничья,* и даже нелепо о «вине» говорить. Мы тут не имели задачей дать полную его характеристику и поэтому не останавливались на этих общих условиях, идеях и плодах *всей* грандиозной деятельности Витте. И та, сравнительно ограниченная часть этой деятельности, которая была нами тут рассмотрена, носит следы тех же противоречий, отмеченных в своем месте, когда речь шла о Восточнокитайской дороге. Но вообще в *этой* области противоречий у него гораздо меньше, и цельность воззрений влечет тут за собой и гораздо большую цельность поступков.

Здесь, в области международной политики, он со страхом чуял не только грозную, но и всегда *близкую* пучину, которая скорее всего поглотит безумцев, не желающих ее видеть и от нее вовремя отпрянуть. Он ошибался, может быть, лишь в том, что не желал признавать особых свойств именно *этой* пучины: она не есть нечто неподвижное, и отпрянуть от нее не всегда еще значит от нее спастись; она сама иногда гонится за убегающим от нее. Во всяком случае в те годы, когда он жил и действовал, от этой пучины еще можно было попытаться спастись и, даже упав в нее, еще можно было стараться из нее выйти.

Ему пришлось дожить и до других времен, до начала мирового побоища, но не суждено было видеть гибели всего, чему он служил, и всех, кого он и презирал и пытался спасти против их воли. Но с одра болезни, пред открытой могилой он не мог уже быть даже внимательным наблюдателем.

Тот исторический период, с которым навсегда осталось связанным его имя, кончился и в Европе и в России тогда же, когда оборвалось физическое существование этого человека. Его нетерпеливой и своенравной душе не пришлось вынести сознания, что он себя пережил. Судьба, так много ему давшая, не поскупилась на милость и на этот раз.

1927 г.

Комментарии

ЕВРОПА В ЭПОХУ ИМПЕРИАЛИЗМА
1871—1919 гг.
Предисловие к первому изданию

[1] Те слушатели, которым я читал вслух эти главы, требовали еще более подробностей, тут же прибавляя, что краткость первых глав нисколько их не смущает и кажется им вполне уместной. Особенно много деталей они требовали о войне, о капитуляции Германии, о падении монархии в Германии.

Глава I

[1] Под финансовым капиталом условимся понимать (согласно объяснению этого термина, предложенному Гильфердингом) тот банковский, денежный капитал, теснейшим образом связанный с торговлей и промышленностью, который финансирует и организует в конечном счете всю торгово-промышленную жизнь современных капиталистических стран. Последние полвека были в Западной Европе временем усиленного процесса «сращения» банковского капитала с производством и с торговлей. В последние 25 лет банковский капитал занял командующее место окончательно. Об исторической роли финансового капитала в связи с критикой суждений Гильфердинга и с указаниями на симптомы «загнивания» всей системы см. работу В. И. Ленина, написанную им в Цюрихе весной 1916 г.: *Империализм, как высшая стадия капитализма*. Эта книга породила целую литературу.

[2] Ср. об этом вопросе Т а р л е Е. В. *Была ли екатерининская Россия экономически отсталою страною?* (см. наст. изд., т. IV, стр. 441—468. —*Ред.*).

[3] А д л е р Ф. *Возрождение Интернационала*. П., 1919, стр. 8.

[4] Об агрессивности русских дипломатов я говорю подробно в нескольких местах своей книги.

Глава III

[1] Т а р л е Е. В. *Александр III и генерал Буланже*.— *Красный архив*, 1926, т. I, стр. 260—261.

Глава IV

[1] Ср., например, брошюру С о х Н. *Are we ruined by the Germans?* London, 1896.

[2] Хотя многие были в Германии очень огорчены уступкой этих земель.

Глава V

[1] Bardoux J. *L'Angleterre radicale.* Paris, 1913, стр. 96.

Глава VI

[1] В 1899 г. в Германии произошло 1336 стачек (99 тысяч бастующих), в 1905 г.— 2448 стачек (408 145 бастующих).

[2] Mendelson M. *Die Entwicklungsrichtungen der deutschen Volkswirtschaft.* Leipzig, 1913.

[3] А со *служащими* в промышленных предприятиях — 9279 тысяч человек.

[4] Dix A. *Politische Geographie.* München, 1922, стр. 199.

[5] Эта книга, впрочем, недостаточно детальна. Вопрос этот еще ждет исследователей.

[6] Ср. также интересную статью: Ривлин Е. *Борьба течений в герм. с.-д. Под знаменем марксизма*, 1926, № 11, стр. 142—171.

[7] Тарле Е. В. *Три катастрофы. Вестфальский мир. Тильзитский мир. Версальский мир.— Анналы*, 1922, т. 2, стр. 59—94.

[8] Ср. Blondel G. *Les embarras de l'Allemagne.* Paris, 1912.

[9] Эта черта была отмечена в беспощадных словах монархистом и консерватором, фельдмаршалом Вальдерзее, осыпанным милостями Вильгельма, и отмечена им еще тогда, когда Вильгельм был в полной силе: «Ничего в императоре нет настоящего. Император — трус насквозь» (nichts am Kaiser ist echt. Der Kaiser ist ein Feigling durch und durch).

[10] Архив внешней политики России (далее: АВПР.—*Ред.*). Берлин, 16/29 ноября 1910. Остен-Сакен — Сазонову: «Глубокое монархическое чувство, которым проникнута речь канцлера, как ваше высокопревосходительство изволите усмотреть из прилагаемого у сего ее текста, придает ей особенно симпатичный оттенок».

[11] Eckardstein H. *Die Isolierung Deutschlands.* Leipzig. 1921, стр. 172.

[12] Pardon wird nicht gegeben, Gefangene werden nicht gemacht; führt eure Waffen so, dass auf tausend Jahre hinaus kein Chinese mehr es wagt einen Deutschen scheel anzusehen. Вильгельм рекомендовал своим войскам быть «гуннами» и поминал по этому поводу сочувственно Аттилу.

[13] АВПР. Берлин, 4/17 марта 1911. Шебеко — С. Д. Сазонову.

[14] Das deutsche Volk hat einen historischen Fehler begangen,— выразился в 1919 г. Эрцбергер.

Глава VII

[1] Eckardstein H. *Lebenserinnerungen.* Bd. II. Leipzig, 1920, стр. 202.

[2] Точные цифры (30 июня 1914 г.): германский торговый тоннаж — 5 099 120 тонн, британский тоннаж — 20 335 289 тонн.

[3] Первый морской лорд в эпоху Кемпбель-Баннермана и в первые годы Асквита — адмирал Фишер — предложил кабинету в 1908 г. внезапно, без *объявления войны*, напасть на германский флот, собранный в Северном море для маневров, и мигом пустить его целиком ко дну. По мнению лорда Фишера, это сделало бы надолго невозможной войну Германии против Англии. Но ему тогда не позволили произвести этот несколько смелый «опыт», и лорд Фишер долго не переставал грустить по этому поводу. В своих воспоминаниях, вышедших в 1920 г., он с гордостью признается в своем былом намерении и горько порицает Асквита за недостаток решимости и патриотизма (Lord Fischer. *Memories.* London, 1919). Настроения лорда Фишера были довольно широко распространены в английском флоте. Фишер абсолютно отказывался понять,

что же дурного могут находить в его плане Асквит и другие штатские люди.

[4] Kennedy A. L. *Old diplomacy and new*. London, 1922, стр. 192.

[5] Viscount Edward Grey of Fallоden. *Twenty five years 1892—1916*). London, 1925.

[6] «Мужик (le moujik) представил свой счет царю,— повторял он, когда в России началась после японской войны революция 1905 г.,— берегитесь, ваш мужик и вам представит свой счет, если вы затеете войну».

[7] Все попытки впоследствии изображать это соглашение как невыгодное для Франции никакого успеха не имели, и во французской историографии теперь ни малейших разногласий в оценке этого соглашения нет.

[8] Ср. 1) Мою статью *Переписка Вильгельма II и Николая II* и английский текст *телеграмм*, которыми они обменивались в 1904—1907 гг. (в журнале *Былое*, 1917, № 1; перепечатана в моей книге *Запад и Россия*, 1918, стр. 183—219); 2) *Переписка Вильгельма II с Николаем II*. С предисловием М. Н. Покровского. М.— П.,1923; 3) Документы, касающиеся Бьоркского договора—в журнале *Красный архив*, 1924, № 5, стр. 5—49 (весьма ценные свидетельства).

[9] Витте С. Ю. *Воспоминания*, т. II. М.-П., ГИЗ, 1923, стр. 174—198 (*Зием*).

[10] Рейснер И. М. *Англо-русская конвенция 1907 года и раздел Афганистана*.— *Красный архив*, т. X, 1925, стр. 55.

[11] Там же, стр. 58.

Глава VIII

[1] Нужно, кстати, тут же заметить, что во французской, русской и английской печати принято было негодовать на воинственность пангерманцев, причем делался вид, будто во всех странах Антанты не было налицо точь-в-точь таких же шовинистических агитаторов, сознательно или бессознательно гнавших Европу к войне и умышленно заострявших всякие конфликты. Для осведомленных кругов и в Германии, и в Австрии, и в странах Антанты не было тайной, что известная часть этой преувеличенно патриотической печати *всюду* субсидируется фабрикантами, работающими на оборону, т. е. на армию и флот.

[2] Martin R. *Kaiser Wilhelm II und König Eduard VII*. Berlin, 1907, стр. 95.

[3] Цитированные тут новые и важные документы впервые напечатаны в журнале *Красный архив*, т. X, 1925, стр. 41—53 А. М. Зайончковским. Самое соглашение России с Англией А. М. Зайончковский оценивает неправильно: «коварство Альбиона» было не столько в пунктах соглашения 1907 г., сколько в более далеком (и оправдавшемся) расчете на военное участие России в будущей англо-германской борьбе.

[4] Niemann A. *Wanderungen mit Kaiser Wilhelm II*. Leipzig, 1924, стр. 55: Unsere Loyalität hat ihren Lohn erhalten als König Eduard VII vergeblich versuchte Kaiser Franz-Joseph zu bestimmen sich der politischen Einkreisung Deutschlands anzuschliessen.

Глава IX

[1] АВПР. Берлин, 16/29 ноября 1910 г.

[2] Hammann O. *Bilder aus der letzten Kaiserzeit*. Berlin, 1922, стр. 144. Приложение: письмо Вильгельма Бюлову 12 августа 1908 г.

[3] Churchill W. *The world crisis*. London, 1923, стр. 44 и след.

[4] В популярных песенках вспоминалось с насмешкой, что это уже в третий раз Германия соглашается предать французам целый народ — сначала тонкинцев, потом туземцев Мадагаскара, наконец, марокканцев: Was schon zweimal da gewesen,— ist zum dritten mal vorhanden; Tonkinesen, Madagassen, Marokkaner — einverstanden!

Глава X

[1] В 1911 г. — 34 671 577 человек, тогда как в 1871 г. — всего 26 801 154 человека.

[2] Излишне распространяться, что Гартвиг был лишь орудием и что истинным творцом этого фатального балканского союза был С. Д. Сазонов.

Глава XI

[1] Последняя по времени [книга кронпринца Вильгельма] вышла в 1925 г. и носит курьезное название: *Я ищу истину!* (*Ich suche die Wahrheit!*). Он «ищет» виновников войны и находит, что одно только германское правительство было в ней неповинно.

[2] Liman P. *Der Kronprinz*. Minden in Westphalen, 1914, стр. 290.

[3] Например, в *Hamburger Nachrichten*, 24 октября 1896 г.

[4] Что касается мемуаров самого Извольского, то они не дают в сущности ничего нового тому, кто ознакомится с указанными источниками.

[5] Позже вышла книга Louis G. *Les carnets de Georges Louis, directeur des affaires politiques au Ministère des affaires étrangères, ambassadeur de France en Russie*, vol. 1—2. Paris, 1926.

[6] Он побывал, к слову, министром финансов в 1906 г., когда Витте заключил заем в $2^1/_4$ миллиарда франков, давший возможность русскому правительству устроить разгон I Думы.

[7] В 1926 г., в начале, вышли наделавшие много шума первые два тома мемуаров Пуанкаре: 1) *Le lendemain d'Agadir* — 1912 (Paris, 1926) и 2) *Les Balkans en feu* (Paris, 1926). Мемуары эти, конечно, очень неискренни, но полны интересных фактов. Третий том вышел в конце 1926 г. (*L'Europe sous les armes*). Четвертый том (*L'Union sacrée*) — в 1927 г.

[8] Хотя он не доверял Извольскому и вообще его политика была несравненно осторожнее и сдержаннее, чем поведение Сазонова и Извольского.

[9] Churchill W. Указ. соч., стр. 94: We were no enemies to German colonial expansion and we would even have taken active steps to further her wishes in this respect.

[10] Сначала, 8 июня 1881 г., была основана Демократическая федерация; наименование Социал-демократической федерации она приняла 4 августа 1884 г.

[11] Bardoux J. Указ. соч., стр. 475.

[12] Революционный синдикализм, отрицающий целесообразность парламентской работы и зовущий к прямому действию, стал довольно заметным явлением в Англии именно в 1907—1920 гг., хотя проявлялся уже и раньше, с 1903 г.

[13] Когда крестьянство не поддержало вспыхнувшего в 1916 г. в Дублине восстания.

[14] Не смешивать с лидером ольстерцев Эдуардом Кэрсоном (Carson).

Глава XII

[1] В кабинете Бриана Барту был министром юстиции.

[2] *Die deutschen Dokumente zum Kriegsausbruch*. Bd. I, стр. 109, № 84. Канцлер — императору. Hohenfinow, 20 Juli 1914.

[3] Там же, т. 1, стр. 128, № 105. Император — кронпринцу. Balholm, 21 Juli 1914.

[4] В предисловии к своей книжке *Империалистическая война* (1928) М. Н. Покровский, приведя это место из моей книги, пишет: «Академик Тарле забывает только упомянуть, что «бесспорный выигрыш» Антанты не свалился ей за ее добродетели, с неба, а был куплен целым морем газетной лжи, подтасовок и подделок...» С чего М. Н. Покровский взял, что академик Тарле об этом забыл,— неизвестно. В «добродетели» Антанты я верю приблизительно столь же горячо, как верит в них М. Н. Покровский, и выигрыш достался Антанте именно только ловким использованием ошибок Германии, причем, конечно, ложью и замалчиванием Антанта пользовалась ничуть не меньше, чем ее враги. Мало того: «министерство пропаганды», руководимое лордом Норсклиффом, достигло в этом смысле непревзойденных вершин.

[5] Интересующихся подробностями и точной документацией я отсылаю к высшей степени важным изданиям Наркоминдела — *Константинополь и проливы* и *Раздел Азиатской Турции по секретным документам б. министерства иностранных дел*. Под ред. Е. А. Адамова. Первый из названных сборников документов вышел в 1925 г., второй — в 1924 г. в Москве. Впервые документально освещен был вопрос о Константинополе и русской дипломатии того времени в статье М. Н. Покровского *Три совещания* в *Вестнике Народного комиссариата иностранных дел*, 1919, № 1.

[6] Тарле Е. В. *Граф С. Ю. Витте. Опыт характеристики внешней политики* (см. наст. том.— *Ред.*).

[7] Она была мной напечатана в № 19 журнала *Былое*. (*Германская ориентация и П. Н. Дурново в 1914 г. Былое*, 1922, № 19, стр. 161—176.— *Ред.*)

[8] Churchill W. Указ. соч., стр. 185: ... the deep unspoken understandings...

[9] Ср. Wilhelm Kronprinz. *Erinnerungen*. Berlin, 1922, стр. 111.

Глава XIII

[1] К отчаянию Лихновского, Тирпица, Баллина, Брокдорф-Ранцау и всех наиболее серьезных дипломатов.

[2] Это была уже вторая статья, внушенная Сухомлиновым.

Вот что говорит о предыдущей статье П. Н. Милюков: «Я считаю, что эта статья была фатальна. Она была одним из толчков, вызвавших в 1914 г. войну. Конечно, обмануть Германию она едва ли могла, когда она говорила, что у нас все в порядке, снарядов довольно, артиллерии в большом количестве, но она могла заставить германское общественное мнение отнестись с большой осторожностью к тому, что делалось в России, а главное, она дала германскому правительству возможность несколько подстрекнуть германское общественное мнение... На ней играли немецкие шовинисты, доказывая, что война необходима. Так что я считаю, что это заявление было одним из толчков, вызвавших войну в 1914 г.» (Ср. *Падение царского режима*. По материалам Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства, т. VI. М., 1926, стр. 360. Показание П. Н. Милюкова).

Многие ошибаются, относя вторую статью к февралю 1914 г.: она появилась в июне. А в феврале (27 февраля) там же появилась первая статья: «Россия хочет мира, но готова к войне», именно та, к которой относятся слова П. Н. Милюкова.

[3] АВПР, № 2200. Письмо за подписью «Польди» из Вены от 2 декабря 1912 г. барону Франкенштейну.

[4] Что отдельные лица из сербского штаба и вообще из военных кругов более чем подозрительны — в этом нет спора в данном случае.

[5] K a u t s k y K. *Delbrück und Wilhelm II*. Berlin, 1920, стр. 37.

[6] L i c h n o w s k y F. *Die Schuld der deutschen Regierung am Kriege. Meine Londoner Mission*, стр. 60.

[7] *Gegen die Kautsky-Mache. Menschliche Rechtfertigung Wilhelms II*. München, 1920.

[8] D e l b r ü c k H. *Kautsky und Harden*. Berlin, 1920, стр. 10. Полемика Дельбрюка и Каутского — наиболее важное по своему значению и содержательности, наиболее предопределившее позиции обеих спорящих сторон из всех первых произведений этой литературы о «виновности».

[9] Нужно сказать, что роль Вильгельма в эти дни Покровский характеризует так: «Войну Австрии с Сербией он провоцировал, на войну с Россией и Францией он шел с совершенно открытыми глазами. Правда, у него была тень надежды, что Николай II «постыдится» выступить на защиту «цареубийц», но он жил не этой тенью, а уверенностью, что со своими сухопутными противниками германо-австрийский союз справится легко и быстро. Поджилки у него дрогнули в первый раз, когда ему стало ясно, что Англия не останется на нейтральной позиции»... Это именно то, что я говорю по существу. Только по вопросу о «поджилках» я назвал бы не 28, а 29 июля.

[10] Генрих в своем немецком письме приводит по-английски слова Георга V: We shall try all we can to keep out of this and shall remain neutral.

Письмо Генриха было написано в Киле 28 июля, тотчас по приезде из Англии.

[11] Поденная запись министерства иностранных дел. Напечатана впервые в *Красном архиве*, т. IV, 1923, стр. 21.

[12] Там же. Поденная запись, стр. 30. Что Сазонов не мог не предвидеть, что русская всеобщая мобилизация будет прямым вступлением к войне, это, мне кажется, вполне несомненно, как бы он ни затушевывал это впоследствии в своих мемуарах 1927 г., где он безмятежно пересказывает всю официальную ложь 1914 г. своими словами.

[13] K a u t s k y K. Указ. соч., стр. 28.

[14] B e r n s t e i n E. *Die deutsche Revolution*. Berlin, 1921, стр. 7.

[15] M o l t k e V. *Erinnerungen*, *Briefe*, *Dokumente*. Stuttgart, 1922, стр. 23.

[16] R a t h e n a u W. *Der Kaiser. Eine Betrachtung*. Berlin, 1919, стр. 8.

[17] Ср. его прокламацию *Der Hauptfeind steht im eigenen Land* (*Unterirdische Literatur* etc., сборник Drahn E. und Leonhard S. Berlin, 1920. 200 S.). Написана она Либкнехтом в мае 1915 г. по поводу вступления Италии в войну (deutsche und oesterreichische Kriegshetzer, jene Hauptschuldige am Kriegsausbruch); там же страстная филиппика по поводу австрийского ультиматума и поведения германских дипломатов.

[18] L i e b k n e c h t K. *Brief an das Kommandanturgericht*. Berlin, 3 Mai 1916. Кстати замечу, что это письмо, может быть, наиболее блестящее с литературной стороны публицистическое произведение покойного Либкнехта.

[19] Русская всеобщая мобилизация именно и должна была сделать войну окончательно неизбежной при той обстановке, которая сложилась.

[20] Department of Commerce, Miscellaneous Series, № 36. *The Economic Position of the United Kingdom*. By W. Paton. Washington, 1919, стр. 107.

Цифры, касающиеся России, здесь отсутствуют (т. е. Россия посчитана в числе «всех других стран»).

Глава XIV

[1] Scheidemann Ph. *Der Zusammenbruch*. Berlin, 1921. стр. 21.

[2] Это обстоятельство, впрочем, довольно охотно забывается французскими историками. В виде одного из (нескольких десятков) примеров укажу на огромный IX том знаменитой *Histoire de France* Лависса, написанный Биду, Говэном и Сеньобосом: *La Grande Guerre*. О том, какую колоссальную роль сыграла русская армия в дни Марны, см. кн.: *Кто должник*. Сборник документальных статей по вопросу об отношениях между Россией, Францией и другими державами Антанты. Под редакцией А. Г. Шляпникова, Р. А. Муклевича и В. И. Доливо-Добровольского. М., 1926. Эти статьи основаны не только на русских источниках, но и на показаниях иностранных военных авторитетов.

[3] Фрелих П. *К истории германской революции*, т. I, стр. 105.

[4] Заслуженный профессор б. Академии генерального штаба, генерал Изместьев, утверждал в своей статье *Германское командование* (журнал *Анналы*, т. III, 1923, стр. 129), что если посредственные немецкие генералы били наших, то одно из объяснений этому факту заключается в том, что наши были еще неспособнее.— Ср. отзыв Николая II (крайне резкий). *Переписка Романовых*, т. IV. М., 1926, стр. 332.

[5] Гофман, генерал, *Война упущенных возможностей*. М., 1925, стр. 22: «Русская радиостанция передала приказ в нешифрованном виде, и мы перехватили его. Это был первый из ряда бесчисленных других приказов, передававшихся у русских в первое время с невероятным легкомыслием... Такое легкомыслие очень облегчало нам ведение войны на востоке, иногда лишь благодаря ему и вообще возможно было вести операции». (Этот первый перехваченный приказ и повлек за собой истребление армии Самсонова в Восточной Пруссии в августе 1914 г.)

[6] Вопреки легендам, ходившим в те времена в обывательской среде, а также в армии, великий князь Николай Николаевич весь первый год войны ровно ничего не сделал, чтобы избавить армию от Сухомлинова. Напротив, его начальник штаба поддерживал с Сухомлиновым, вплоть до отставки военного министра, самые сердечные, дружеские отношения и вел с ним интимную переписку.

[7] а) *Царская Россия в мировой войне*. С предисловием М. Н. Покровского. Издание Центрархива. Л., 1926; б) *Европейские державы и Турция во время мировой войны. Константинополь и проливы*. По секретным документам б. министерства иностранных дел. Под ред. Е. А. Адамова, т. 1—2. М., 1925—1926.

[8] Энвер обещал такие *немедленные* и решительные доказательства, как высылка из Турции всех немецких офицеров и увод войск с русской границы. Едва ли это была только хитрость. Во всяком случае в прямых интересах России было потребовать немедленного осуществления предлагаемых Энвером мер, ведь рисковала только Турция.

[9] Это соглашение было предусмотрено уже давно, и еще 3 августа Германия получила новые заверения. Но Энвер всегда очень мало стеснялся такими документами.

[10] Тарле Е. В. *Англия и Турция. Исторические корни и развитие конфликта*.— *Анналы*, 1923, т. 3, стр. 21—71.

[11] Письмо Сухомлинову. — *Красный архив*, т. III, стр. 44.

[12] Там же, стр. 34: «Своей карьерой последних 6—7 лет обязан исключительно вашему ко мне доброжелательству и не по заслугам оценке».

[13] Перед самой войной, еще 29 июня 1914 г., в годовщину нападения болгар на сербов в 1913 г., вождь крестьянской партии Стамболийский воскликнул, обращаясь к толпе манифестантов: «Если бы в Болгарии были порядок и справедливость, царь Фердинанд должен был бы быть повешен на этом месте».

[14] Секретная телеграмма посланника в Софии Сазонову от 13 ноября 1914 г. *Царская Россия в мировой войне*. Л., 1926, стр. 87, № 422.

[15] Занятые немцами (и удержанные в течение всей войны) французские департаменты имели огромное экономическое значение: они давали 94% *всего* французского производства шерстяных материй, 90% — полотняных, 60% — хлопчатобумажных, 90% — железной руды, 83% — чугуна, 70% — стали, 70% — сахара, 55% — угля, 45% — электрической энергии. Ср. Tardieu A. *L'Amérique en armes*. Paris, 1919, стр. 278.

[16] Bernstein E. *Die Wahrheit über die Einkreisung Deutschlands*. Berlin, 1919, стр. 3.

[17] Первыми его поддержали Рюле, Гаазе, Ледебур, Штатгааген и Гейер.

[18] Хотя и во Франции, и в Англии стачечное движение вовсе не замерло даже в 1915—1916 гг. (о 1917—1918 гг. будет упомянуто дальше).

[19] Hindenburg. *Aus meinem Leben*. Leipzig, 1920, стр. 136.

[20] Delbrück H. *Ludendorff*. Berlin, 1920, стр. 52.

[21] Письмо Базили Сазонову. Ставка, 14/27 мая 1916 г.: «Нельзя быть уверенными, что немцы не сделают Братиано весьма заманчивых компенсаций за счет Австрии и, кроме того, за наш счет, а Братиано я не верю» (*Царская Россия в мировой войне*, стр. 216, № 121).

[22] Ср. *Кто должник*, стр. 275—288.

[23] Adler F. *Vor dem Ausnahmegericht*. Jena, 1923. 263 S.

Глава XV

[1] См. изданную уже после его казни интереснейшую книгу *Labor in Ireland*. Dublin, 1917.

[2] ...this undue proportion it may be predicted that its existence will serve the cause of labour in Ireland (там же, стр. 330).

[3] Wells W. and Marlowe N. *History of the Irish rebellion of 1916*, Dublin, 1916, стр. 128.

[4] Листок. *Volk, nimm dir selbst den Frieden*, в сборнике *Unterirdische Literatur im revolutionären. Deutschland während des Weltkrieges*. Berlin, 1920, стр. 190. Этот сборник, напечатанный Эрнестом Драном и Сусанной Леонгард уже после германской революции, полон огромного исторического интереса.

[5] Союз сельских хозяев, Германский крестьянский союз, Христианский крестьянский союз, Центральный союз германских промышленников, Союз промышленных деятелей, Союз среднего класса.

[6] Это в точности выяснилось по «Актам» парламентской следственной комиссии при Национальном собрании Германии, (протокол 4 ноября 1919 г.).

[7] Замечу, что и в германской, и в американской литературе до сих пор держится и такое мнение, что уже с самого начала мировой войны Вильсон считал вмешательство неизбежным.

[8] *Mémoires de l'Ambassadeur Morgentau*. Paris, 1919, стр. 340.

[9] Payer F. *Von Bethmann-Hollweg bis Ebert*. Frankfurt a. M., 1923, стр. 219.

[10] Там же, стр. 223.

[11] Gerard J. *My four years in Germany*. New York, 1917, стр. 215—216.

[12] Там же, стр. 374.

[13] Tumulty J. P. *Woodrow Wilson as I know him*. London, 1922, стр. 255.

Глава XVI

[1] James Monroe. У нас часто (неправильно) выговаривается Монроэ.

[2] Eckardstein V. *Die Isolierung Deutschlands* стр. 175: *As long as England succeeds in keeping up the balance of power in Europe not only on principle but in reality, well and good; should she however, for some reason or other, fail in doing so, the United States would be obliged to step in at least temporarily, in order to reestablish the balance of power in Europe.*

[3] Dodd W. *W. Wilson*. New York, 1920, стр. 200.

[4] Адмирал Тирпиц определенно считает эту мексиканскую идею Циммермана одной из *самых губительных* ошибок Германии, одной из тех ошибок, «которые именно одни только и сделали возможной изумительную энергию (erstaunliche Vehemenz), с которой американский народ увлекся этой столь чуждой его интересам войной» (Tirpitz A. *Erinnerungen*. Leipzig, 1919, стр. 384).

Глава XVII

[1] Delbrück H. *Ludendorff, Tirpitz, Falkenhayn*. Berlin, 1920, стр. 17.

[2] На петербургскую резолюцию прямо и сослался Давид на совещании рейхстага 7 июля 1917 г.

[3] Payer. Указ. соч., стр. 181.

[4] Scheidemann Ph. *Der Zusammenbruch*. Berlin, 1921, стр. 157.

[5] Там же, стр. 158.

[6] *Ursachen des Zusammenbruchs*. Berlin, 1923, стр. 225. Показание Дельбрюка.

[7] Niemann A. *Wanderungen mit Kaiser Wilhelm*. Leipzig, 1924, стр. 90: ...Dabei wurde die politische Gefahr einer tangiosen Infektion erheblich unterschätzt... Раньше Вильгельм говорит о «Bolschewisierung des russischen Heeres».

Глава XVIII

[1] Я надеюсь подробно рассказать об этих фактах в особом небольшом исследовании о рабочем движении в странах Антанты во время мировой войны. (Автор не успел это выполнить.— *Ред.*)

[2] Позднейшие немецкие показания (вроде Лепсиуса) дают *еще более страшную* картину, чем Брайс.

[3] *Deutschland und Armenien. Sammlung diplomatischer Aktenstücke*. Herausgegeben von Dr. J. Lepsius. Potsdam, 1919. 541 S.

[4] Что дело идет именно о планомерном истреблении всего армянского народа, это хорошо понимал весь дипломатический корпус. Ср. *Le traitement des arméniens*. Documents, présentés au vicomte Grey par le vicomte Bryce. *Mélanges*, № 31, стр. 435, документ № 57: Cependant il semble que tout le projet avait été conçu par le pouvoir central pour exterminer par un effort impitoyable toute la nation arménienne.

[5] *Mémoires de l'Ambassadeur Morgentau*. Paris, 1919, стр. 292.

[6] Hindenburg P. *Aus meinem Leben*. Leipzig, 1920, стр. 311.

[7] Was wollen Sie, Excellenz, ich bin Dynast. (Payer F. Указ. соч., стр. 177).

[8] *Ursachen des Zusammenbruchs*. Показание фон Куля, Berlin, 1923, стр. 216.

[9] Hindenburg P. Указ. соч., стр. 351.

[10] См. показание генерала фон Куля перед следственной комиссией (цитированное выше издание *Ursachen des Zusammenbruchs*).

Глава XIX

[1] *Les origines de l'armistice.* Documents officiels allemands. Paris, 1919, стр. 26.

[2] Karolyi M. *Gegen eine ganze Welt.* München, 1924, стр. 358.

[3] Все попытки Чернина и самого Карла оправдаться были безуспешны. Граф Чернин солгал, у императора Карла гнилая совесть (une conscience pourrie),— публично заявил Клемансо. Когда ему заметили (конечно, частным образом и выбрав осторожно добрую минуту), что, может быть, не следует так оскорблять монарха, с которым придется после войны вести переговоры о мире, Клемансо ответил: «Я не устанавливаю отличий между лгунами, все равно разночинцы ли они или коронованные. Впрочем, успокойтесь, мы никогда не будем вести переговоров с императором Карлом». (Laurent M. *Nos gouvernements de Guerre.* Paris, 1920, стр. 230).

[4] Rossner K. *Der König.* Stuttgart, 1921.

[5] Kronprinz Wilhelm. Указ. соч., стр. 241.

[6] Nowak K. *Der Sturz der Mittelmächte.* München, 1921, стр. 254.

[7] Ср. вышецитированную книгу Rossner. *Der König.*

[8] Haenisch K. *Die Ursachen der deutschen Revolution, Handbuch der Politik.* Bd. IV. Berlin, 1920, стр. 256: Dem Volke wurde aber noch in den ersten Septemberwochen auf Riesenplakaten amtlich verkündet, dass «uns der Endsieg sicher sei».

[9] Die Friest war so...,auf Stundenschlag bemessen, — говорит расспрашивавший очевидцев того, что творилось в главной квартире, Новак (Nowak K. F. Указ. соч., стр. 255 и след.).

Глава XX

[1] *Official statements of war aims and peace proposals.* Washington, 1921, стр. 401: They have convinced us that they are without honour...

[2] The German people must by this time be fully aware that we cannot accept the word of those who forced this war upon us.

[3] Bernhardi. *Die Weltreise* etc. Leipzig, 1920, стр. 237.

[4] Mencke-Glückert. *Die November-Revolution.* Leipzig, 1919, стр. 26.

[5] Die sogenannte Foch'sche Reservearmee besteht zur Zeit überhaupt nicht mehr. (Точные слова военного министра Штейна 11 июня 1918 г. в рейхстаге).

[6] Niemann A. *Kaiser und Revolution.* Berlin, 1922.

Как непосредственные свидетельские показания книга Нимана представляет собой как бы прямое хронологическое продолжение книги Росснера.

[7] Graf Zedlitz-Trützschler. *Zwölf Jahre am Kaiserhofe.* Berlin, 1924, стр. 108—109.

[8] Karolyi M. Указ. соч., стр. 374.

[9] Niemann A. Указ. соч., стр. 117.

[10] Bernstorff J. H. *Deutschland und America.* Berlin, 1920, стр. 409.

[11] *Wilhelms II. Abdankung und Flucht.* Berlin, 1919, стр. 14.

[12] Hammann O. Bilder aus der letzten Kaiserzeit. Berlin, 1922, стр. 133.

[13] Herz L. *Die Abdankung.* Leipzig, 1924, стр. 69.

[14] Nach Tisch nur noch ein kurzes Beieinanderstehen mit der Kaffee-Tasse in der Hand. Ehe ich dem Kaiser ein letztes Wort sagen konnte, brach er plötzlich ab, mit eiligem und gewaltigem Händedruck, und eilte hinaus, wo die Adjutanten auf ihn warteten.

[15] Niemann A. *Wanderungen mit Kaiser Wilhelm II*, стр. 105:

Welchen Nutzen eine solche inszenierte Heldenrolle bringen sollte? Wir leben nicht mehr in einer Zeit, wo der königliche Feldherr mit dem Degen in der Rechten seine Triarier in den letzten Entscheidungs-Kampf führt. (Это подлинные слова Вильгельма. Под ироническим выражением «триарии» он разумеет, конечно, померанских дворян, наивно предлагавших ему принять участие в последней битве, чтобы спасти монархический принцип).

[16] Ср. также яркую картину в книге L u d w i g E. *Wilhelm II*, 1926.

[17] Точный текст см. в книге *Official statements of war aims and peace proposals*. Washington, 1921, стр. 477—488.

[18] *Times*, 7 November 1918, стр. 7 (*Two momentous events*).

Глава XXI

[1] Эта книга была переведена в 1923 г. на русский язык.

[2] См. воспоминание Mrs. O'Shahanessy в *Revue des deux Mondes* 1916. Уже в 1917 г., конечно, журнал не посмел бы напечатать этих воспоминаний. Нечего и говорить, что никто из биографов Вильсона никогда их не цитирует, как будто они никогда и написаны не были.

[3] 19 ноября 1918 г. (Ср. *Esprit de Clémenceau*. Paris, Gallimard, 1925, стр. 94).

[4] L a n s i n g R. *The big four*. London, 1922, стр. 12—13.

[5] Там же, стр. 20.

[6] Ср. W u n d e r l i c h T. *Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in Deutschland*. Berlin, 1925.

[7] См. его донесение Курту Эйснеру от 19 ноября 1918 г. в книге члена баварского ландтага Дирра, опубликовавшего ряд документов эпохи правления Курта Эйснера (*Auswärtige Politik Kurt Eisners*. München, 1922, стр. 248.)

[8] Интересующихся подробностями отсылаю к содержательной книжке: Л е в и н э Р. *Советская республика в Мюнхене* (вышла также в русском переводе в 1926 г.).

[9] За социалистов большинства — 11 510 000 голосов, за независимых социалистов — 2 317 000 голосов.

[10] B r o c k d o r f - R a n t z a u U. K. *Dokumente*. Berlin, 1922, стр. 113. Rede. Versailles, 7 Mai 1919.

[11] Относительно Рейна, сверх того, Франция получает особые огромные и исключительные права и преимущества.

[12] W i l h e l m W. *Versailles. Einsichten und Aussichten*, стр. 61. Запись от 8 мая.

[13] B r o c k d o r f - R a n t z a u U. K. Указ. соч., стр. 143.

[14] Там же, стр. 144. Versailles, 29 Mai 1919, стр. 152. *Anlage zur Mantelnote.*

[15] *Traité* etc., fait à Sèvres le 10 août 1920, article: La navigation dans les détroits comprenant les Dardanelles, la mer de Marmara et le Bosphore sera à l'avenir ouverte en temps de paix et en temps de guerre à tous les bâtiments de commerce ou de guerre et aux aéronefs militaires et commerciaux.

[16] Ср. G e o r g e s-G a u l i s B. *Angora, Constantinople, Londres*. Paris, 1922, стр. 231.

Глава XXII

[1] D e h n P. *Was kostet uns der Friede von Versailles*. München, 1919, стр. 20.

[2] *Кто должник*, стр. 321.

[3] Demangeon. *Le déclin de l'Europe*, стр. 31—32. Сличая эту таблицу с ранее приводившейся таблицей задолженности Европы Соединенным Штатам, мы видим, что *главная* сумма расходов была покрыта во *всех* государствах внутренними займами, т. е. там, где произошло государственное банкротство, частные лица потеряли все, что они вложили в военные займы.

[4] Bitch. *La hausse des salaires.* Thèse pour le doctorat. Paris, 1920, стр. 14—15.

[5] Приверженцы указанного тут мировоззрения имели в виду вовсе не гибель буржуазного строя в далеком или недалеком будущем, не социальный переворот, о степени близости которого много спорили тогда же социалисты с коммунистами. Идеалисты и фантазеры-мистики по всем навыкам своей мысли, эти литераторы почти сплошь относились резко враждебно ко всему, что прямо или косвенно соприкасалось с социализмом. Расцвет этого салонного пессимизма в Германии падает на первые три-четыре года после Версальского мира.

[6] Слова Лефевра в газете *Humanité*, № 5910 от 28 июня 1920 г. (статья *La doctrine et la tactique révolutionnaires*): Les faits sont révolutionnaires, mais les hommes ne le sont pas.

ГРАФ С. Ю. ВИТТЕ

[1] Ср. приложение к прекрасному исследованию: Романов Б. А. *Лихунчангский фонд.— Борьба классов*, 1924, № 1, стр. 77—126.

[2] Александра Викторовна Богданович — жена небезызвестного ктитора Исаакиевского собора и автора патриотических брошюр генерала Е. В. Богдановича.

[3] Витте С. Ю. *Воспоминания*, т. I, стр. 222: «Путятин во время войны с Японией несколько раз выражал свое удивление в том, что есть люди и, казалось ему, порядочные люди, которые полагают, что мы можем быть сокрушены японцами, тогда как существует несомненное предсказание Серафима, что нами победоносный мир будет заключен в Токио».

[4] Дневник Коростовца.— *Былое*, 1918, № 1, стр. 180.

[5] В газетах было даже, что Витте в Бостоне поцеловал машиниста, и в дневнике Коростовца мы читаем: «... эта легенда о поцелуе сделала больше для популяризации русской миссии и, в частности, Витте, чем наши дипломатические любезности». Аналогичных выходок Витте насчитывалось немало.

[6] «Черного Орла» Вильгельм дал Витте еще в 1897 г., как сказано выше.

[7] Дело касалось Триполитании, впоследствии и захваченной итальянцами.

[8] К переговорам Коковцова о займе в 1905—1906 гг.— *Красный архив*, 1925, т. X, стр. 4.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

Тарле Евгений Викторович

Собрание сочинений, т. V

Составители:

А. В. Паевская и *А. Г. Чернов*

*

Редактор издательства *К. А. Гусева.* Оформление художника *Н. А. Седельникова*
Технический редактор *Г. Н. Шевченко*

*

РИСО АН СССР № 26—8В. Сдано в набор 10/IV 1958 г. Подпис. к печати 15/VII 1958 г.
Формат 60×92¹/₁₆. 37,25 печ. л. +3 вкл. 36,6 уч.-издат. л. Тираж 30 000 экз. Изд. № 3079.
Тип. зак. № 390

Цена 20 р.

Издательство Академии наук СССР. Москва, Б-64, Подсосенский пер., 21

2-я типография Издательства АН СССР. Москва, Г-99, Шубинский пер., 10